This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD LIBRARIES

ON

WAR, REVOLUTION, AND PEACE

П. Вѣтринскій

Cheshikhin, Vasilii E.

ВЪ СОРОКОВЫХЪ ГОДАХЪ

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ

и

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дореформенное время. — Бѣлинскій. — Грановскій. — Искандеръ. — Боткинъ. — Кольцовъ. — Гоголь. — Никитенко и И. Аксаковъ. — Кн. В. Одоевскій. — Щепкинъ.

МОСКВА
Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ А. Д. Карчагина,
Моховая, домъ № 9
1899

PG 3011
C 524

184872

МОСКВА.
Типо-литографія Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К°,
Пименовская ул., соб. домъ.
1899.

THE HOOVER LIBRARY

Посвящается

Русскому Литературному Кружку

въ Ригѣ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
Отъ автора.	VII
I. Въ дореформенное время	1
II. В. Г. Бѣлинскій	24
III. Профессоръ сороковыхъ годовъ	62
IV. Искандеръ	96
V. В. П. Боткинъ	129
VI. А. В. Кольцовъ	196
VII. Загадочная книга	221
VIII. Два русскихъ общественныхъ типа	264
IX. Человѣкъ трехъ поколѣній	293
X. Бѣлинскій о театрѣ	331
XI. М. С. Щепкинъ и его сценическая дѣятельность	358

ВАЖНѢЙШІЯ ОПЕЧАТКИ.

Страница.	*Строка.*	*Напечатано:*	*Должно быть:*
18	1 сверху	читавшій	читавшимъ
22	2 снизу	духѣ	духъ
27	1 „	послѣдствіи	впослѣдствіи
30	8 сверху	дойдетъ	дойдемъ
36	7 снизу	раздражать	раздражить
40	14 сверху	выше,	выше всего,
47	19—22 сверху	Философія открывала ему цѣлый міръ мысли, высокихъ духовныхъ наслажденій и указывала путь жизни. „Весь безпредѣльный	Философія открывала ему. совмѣстно со Станкевичемъ, Боткинымъ и друг., цѣлый міръ мысли, высокихъ духовныхъ наслажденій и указывала путь жизни. „Весь безпредѣльный
		совмѣстно со Станкевичемъ, Боткинымъ и др., прекрасный Божій міръ...	прекрасный Божій міръ...
59	9 снизу	какъ	какъ бы
87	4 „	129	151—152
115	20 сверху	неразумѣніемъ	неразуміемъ
116	7 снизу	Много	Не много
167	9 „	сильный	сальный
168	7 „	родныя	разныя
171	3 сверху	на пиръ	за пиръ
187	3 снизу	Гоголя	Гегеля
209	14 сверху	теперь лишь	теперь, но лишь
214	7 снизу	шатко	свято
220	19 сверху	толку	толку"
225	2 „	Anschauung	Anschauung
236	20 снизу	Lumpen	Lumpe
240	4—5 сверху	нейтрализованная	централизованная
267	9 снизу	подломили	надломили
268	19 „	его	сего
270	7 сверху	Берновскою	Бернэвскою
280	10 „	рѣзкою	рѣдкою
281	2 „	плодили	плодило
284	19 снизу	приникаетъ	проникаетъ
309	16 „	оно	общество
321	13 сверху	правда	права
332	12 снизу	теологически	телеологически
340	9 сверху	можеть	можетъ
345	6 снизу	ярками	яркими
363	5 „	поелѣдній	послѣдній
364	5 „	имѣть	не имѣть
365	17 „	Соч. 7. XII	Соч. т. XII
373	19 „	ббльшимъ	большимъ
379	2 сверху	искусственныхъ	искусственныя

Упоминаемое на стр. 55 „Приложеніе" по независящимъ отъ автора причинамъ помѣщено быть не могло.

ОТЪ АВТОРА.

Статьи, собранныя въ предлагаемой читателямъ книгѣ и касающіяся важнѣйшихъ литературно-общественныхъ явленій сороковыхъ годовъ, первоначально печатались въ разныхъ журналахъ, а теперь являются въ свѣтъ съ кое-какими дополненіями и исправленіями, сколько то зависѣло отъ автора.

„Дни Бѣлинскаго", чествованія и въ столицахъ, и въ провинціи памяти великаго критика, по случаю пятидесятилѣтія его кончины, безъ сомнѣнія, возобновили въ читателяхъ интересъ къ той эпохѣ, въ которой прошла его дѣятельность. Авторъ смѣетъ надѣяться, что данныя, собранныя въ настоящей книгѣ, будутъ не безполезны для читателей, не имѣющихъ возможности обратиться къ документамъ и матеріаламъ, характеризующимъ эпоху, разсѣяннымъ во множествѣ изданій. Нѣкоторыя изъ статей, до появленія ихъ въ печати, были читаны авторомъ, какъ рефераты по поводу тѣхъ или другихъ юбилейныхъ событій, въ собраніяхъ Русскаго Литературнаго Кружка въ Ригѣ. Это обстоятельство и побуждаетъ автора посвятить настоящій сборникъ этому скромному учрежденію, содѣйствующему уже не мало времени, по мѣрѣ силъ и возможности, развитію и поддержанію въ провинціальномъ обществѣ идейныхъ интересовъ и любви къ родной литературѣ.

Г. Глазовъ, Вятской губ.
Декабрь, 1898 г.

I.

Въ дореформенное время.

Свѣжо преданіе...

Реформа 19-го февраля была началомъ ряда другихъ реформъ, естественныхъ слѣдствій этой первой и самой главной. Всѣ вмѣстѣ онѣ такъ измѣнили нѣкоторыя существеннѣйшія черты прежней русской жизни, что много въ ней, ранѣе рѣдко кого удивлявшее, представляется намъ уже какимъ-то тяжелымъ сномъ. Но въ этомъ прошломъ источникъ кое-какихъ отрицательныхъ сторонъ и современной жизни: отъ застарѣлыхъ общественныхъ привычекъ и отголосковъ крѣпостного права въ учрежденіяхъ отдѣлаться окончательно—не такъ-то легко, «переживанія» минувшаго вторгаются и въ нашу жизнь, le mort saisit le vif...

Черты дореформенной Россіи иными идеализируются. Поэтому полезно бываетъ иногда вспомнить, каковы онѣ были въ дѣйствительности. Въ бѣгломъ очеркѣ, конечно, трудно дать полную характеристику быта, во многихъ основахъ уже отчасти чуждаго намъ. Хорошо, если удастся остановить вниманіе на лету на самомъ главномъ, на наиболѣе рельефно рисующемъ крѣпостной строй. Задачу нашу облегчаетъ лишь то обстоятельство, что при этой характеристикѣ мы можемъ для иллюстраціи ссылаться на цѣлый рядъ литературныхъ свидѣтельствъ, каждому хорошо знакомыхъ еще со школьной скамьи.

Достигнувъ наибольшаго развитія при Екатеринѣ II, помѣщичья власть съ царствованія этой же государыни ограничивалась рядомъ законоположеній, имѣвшихъ въ виду облегчить явно бѣдственное состояніе крѣпостныхъ. Но сущность дѣла отъ этихъ ограниченій, въ родѣ запрещенія продажи людей на ярмаркахъ и семей въ розницу, не мѣнялась. Помѣщикъ могъ продавать и переуступать крестьянъ съ землею и безъ земли,

на выводъ; отдавать въ солдаты и ссылать на поселеніе; по усмотрѣнію сажать крестьянъ на барщину или облагать оброкомъ; брать въ дворъ для личныхъ услугъ и переводить изъ одного имѣнія въ другое; по усмотрѣнію наказывать ихъ за ослушаніе и проступки и рѣшать всѣ споры и тяжбы ихъ другъ съ другомъ; давать согласіе или не соглашаться на пріобрѣтеніе крестьянами недвижимой собственности (земля записывалась на имя помѣщика) и на вступленіе ихъ въ бракъ. Помѣщикъ съ своей стороны отвѣчалъ только за исправную уплату податей, по числу ревизскихъ душъ, а за явно жестокое обращеніе съ крестьянами и за разорительное управленіе, препятствующее правильной уплатѣ податей, могъ попасть подъ опеку и судъ, но эти гарантіи были, конечно, слишкомъ ничтожны...

Такимъ образомъ, для помѣщиковъ-дворянъ крѣпостное право дѣйствительно было «правомъ»; для крестьянъ же оно было полнымъ безправіемъ, которое нерѣдко было невыносимо, тяжело даже при благожелательномъ и благоразумномъ пользованіи со стороны помѣщика своими правами, и со своимъ положеніемъ крестьяне никогда окончательно не мирились. Поэтъ дивился на «край родной долготерпѣнья». Но и долготерпѣнію были границы. Отъ особенно суровыхъ помѣщиковъ крестьяне бѣжали врозь и заселяли украйны; съ иными изъ нихъ—расправлялись насиліемъ, какъ ни ужасны были наказанія за убійство помѣщиковъ. Мечта о волѣ и связанная съ нею типическая мужицкая мечта о вольной землѣ бродила въ умахъ крестьянъ неудержимо, и стоило кому-нибудь пустить вздорный слухъ, что помѣщики скрываютъ царскую волю, какъ волненія охватывали иногда уѣзды и цѣлыя губерніи въ разныхъ мѣстахъ одновременно. Грозная пугачевщина потому и увлекла добрую половину европейской Россіи, что воля и земля были обѣщаны Пугачевымъ народу.

Уничтоженіе зла въ корнѣ, т.-е. прекращеніе этой постоянной опасности народныхъ волненій освобожденіемъ крестьянъ отъ крѣпостной зависимости и надѣленіемъ ихъ землею, долго представлялось правительству дѣломъ черезчуръ громаднымъ и сложнымъ. Крѣпостное право, казалось, такъ тѣсно срослось со всѣмъ государственнымъ строемъ, что уничтоженіе этого права, думали, повлечетъ крушеніе и всего остального. Этотъ взглядъ особенно усердно поддерживали, конечно, всѣ крѣпостники, и онъ настолько былъ распространенъ, что, напр., въ сороковыхъ годахъ министръ народнаго просвѣщенія графъ Уваровъ прямо заявлялъ, что законность крѣпостного права и самодержавія одинакова, что безъ помѣщичьей власти надъ крестьянами немыслимо и самодержавіе *). И этотъ

*) Н. Барсуковъ. Жизнь и труды М. Погодина, т. IX, стр. 306.

взглядъ, если никогда и не былъ принятъ высшимъ правительствомъ (въ царствованіе Николая I дѣйствовало, напр., семь комитетовъ, обсуждавшихъ крестьянскій вопросъ), но все-таки производилъ свое дѣйствіе, и еще въ 1842 году было, напр., заявлено съ высоты престола, что «всякій помыселъ» объ уничтоженіи крѣпостного права былъ бы лишь «преступнымъ посягательствомъ на общественное спокойствіе и благо государства» *).

И такъ, въ сороковыхъ годахъ оно стояло еще незыблемо, проникая собою всѣ стороны русской жизни. «Значеніе крѣпостного права въ русской жизни было универсально,—говоритъ историкъ его паденія:—это право обусловливало всѣ стороны быта, начиная отъ крупныхъ и кончая самыми мелкими. Оно было тормазомъ, рѣшительно препятствовавшимъ развитію Россіи. Прогрессъ общественныхъ учрежденій, накопленіе національнаго богатства, распространеніе въ массахъ просвѣщенія, усовершенствованіе семейныхъ отношеній, воспитанія, нравовъ, понятій, словомъ улучшеніе какой бы то ни было стороны общественной жизни не были возможны при немъ. Вотъ почему общественные порядки Россіи крѣпостного права осуждены были окаменѣть, существовать въ прежнемъ видѣ, не подвигаясь ни шагу впередъ. И ничто не въ силахъ было измѣнить этого положенія, пока крѣпостное право составляло основу нашей общественной и гражданской жизни; ибо это былъ гордіевъ узелъ, къ которому сходились всѣ язвы русской жизни» **).

Прослѣдимъ нѣсколько подробнѣе, какъ именно отражалось оно на главнѣйшихъ сторонахъ общественной жизни.

Начнемъ хоть съ права «отеческаго» наказанія, принадлежавшаго помѣщикамъ, потому что оно было фактомъ, наиболѣе бросавшимся въ глаза по многочисленнымъ злоупотребленіямъ, которыя останавливали на себѣ серьезное вниманіе правительства и литературы и тогда, когда въ этихъ злоупотребленіяхъ видѣли лишь «злонравіе», по выраженію Фонъ-Визина, а не естественное слѣдствіе крѣпостной системы.

Не зачѣмъ указывать примѣры этихъ злоупотребленій, сохраненные исторіей и переходившіе границы самой жестокости. Извѣстны страшная Салтычиха, гладившая крѣпостныхъ дѣвушекъ горячими утюгами и т. п. и наказанная при Екатеринѣ II, или генералъ Измайловъ, прославившійся, въ первой половинѣ нынѣшняго столѣтія, своими амурными подвигами. Не въ этихъ чрезвычайныхъ случаяхъ былъ весь ужасъ, а въ томъ, что порядокъ вещей нимало не препятствовалъ ихъ возникновенію. Эта легкая возможность каждую минуту послать человѣка на ко-

*) В. И. Семевскій. Крестьянскій вопросъ въ Россіи. Спб. 1888, т. II, стр. 61.
**) И. Иванюковъ. Паденіе крѣпостного права въ Россіи. Спб. 1882, стр. 1.

нюшню—мѣсто, гдѣ почему-то спеціально производилось сѣченіе, возможность дать безнаказанно зуботычину и т. д.—вся эта воля дворянскихъ рукъ, нынѣ знакомая намъ только по литературнымъ изображеніямъ,—вотъ что налагало особый отпечатокъ на дореформенный бытъ въ его ежедневномъ обыденномъ теченіи. Необычайная грубость нравовъ была слѣдствіемъ этой свободы личнаго насилія. Пока манифестъ 19-го февраля не возвѣстилъ уваженія къ личному достоинству человѣка, до тѣхъ поръ палка, розги, побои—составляли неотъемлемую особенность всего русскаго быта, и отъ нея до сихъ поръ мы отдѣлались еще далеко не окончательно.

Извѣстный изслѣдователь народнаго быта Д. А. Ровинскій пишетъ о повальномъ битьѣ на Руси, доселѣ не искоренившемся: «Не однихъ только ребятъ въ школахъ били, — господа потчивали свою крѣпостную прислугу «березовой лапшей съ ременнымъ масломъ», мужья били своихъ женъ для дѣтей, а дѣтей били для «людей»; мастера били учениковъ, хозяева—рабочихъ; сѣкли дворянъ, сѣкли фрейлинъ, били придворныхъ и все это по правилу, что за битаго двухъ небитыхъ даютъ, такъ что при этомъ повальномъ битьѣ въ родномъ языкѣ нашемъ выработалось особое свойство, по которому изъ каждаго существительнаго «*боевой*» глаголъ можно сдѣлать.—Ужъ *я-те отстаканю*, говоритъ половой мальчику, уронившему стаканъ. — *Наегорьте-ка* Антошкѣ спину, говоритъ артельный староста. —Ну-тка *припонтійстимъ-ка* (отъ Понтійскаго Пилата!!) его, братцы, кричитъ артель на Волгѣ.—Встарину *учить* и *бить* значило одно и то же. Давно уже отмѣнено тѣлесное наказаніе,—говоритъ Ровинскій:—а боевой глаголъ все еще остался и не скоро, должно быть, выведется. Насъ тоже били, говоритъ иной, потому мы и въ люди вышли; какое безъ битья ученье,—безъ него ни отъ стараго, ни отъ малаго настоящаго толку *не добьешься*. Ну, какъ не проучить разсѣяннаго ученика, не задать ему хорошей встрепки, головомойки или подзатыльника, не вспрыснуть лѣниваго, не отхлестать или не отстегать за испорченную вещь; воришкѣ надо выколотить охоту воровать уже болѣе дѣйствительными мѣрами: высѣчь, отпороть, отодрать,—въ военномъ быту и крѣпостномъ за такую провинность «шкуру съ ногъ до головы сдирали». Въ домашнемъ быту тоже долго разговаривать нечего, за дѣло такъ и поучить надо: за святые волосы, да за бороду, да за виски, да въ ухо, да въ рыло, да бока пощупать. Ну, а незваннаго гостя какъ тычкомъ не выпроводить, какъ не накласть ему киселю, да не накостылять шею; и на западѣ такого человѣка выгонятъ, а по-нашему, по-русски: если ужъ гнать, такъ его въ *три шеи*. Въ духовномъ вѣдомствѣ, кромѣ общеупотребительныхъ боевыхъ терминовъ, есть еще свои спеціальные: «благословить, вздрючить, пришпандорить и взъефантулить. И

вся эта богатѣйшая терминологія повальнаго битья, конечно, не исчерпана этимъ перечнемъ «боевыхъ» выраженій.

Жестокость нравовъ сильно поддерживалась тѣмъ, что тѣлесное наказаніе составляло необходимую часть всякаго уголовнаго наказанія. До 1845 года господствовалъ страшный кнутъ, замѣнявшій собою во многихъ случаяхъ смертную казнь, номинально уничтоженную въ числѣ уголовныхъ наказаній еще Елизаветою. Искусники палачи на «торговой казни» убивали жертву съ трехъ ударовъ и даже однимъ ударомъ кнута. Пережившихъ наказаніе кромѣ того клеймили, въ родѣ того, какъ это дѣлалось съ рабами-неграми въ Америкѣ. Въ 1845 г. была произведена реформа: кнутъ замѣнили трехвостною плетью, но ничто не могло вытравить позорной памяти кнута и до сихъ поръ: за границею, въ карикатурахъ, кнутъ—неизбѣжный аттрибутъ Россіи. Для флота существовали линьки и кошки, но верхъ ужаса были шпицрутены для арміи, нѣмецкое изобрѣтеніе, усовершенствованное Аракчеевымъ.

«Выстраивается тысяча бравыхъ русскихъ солдатъ въ двѣ шпалеры, лицомъ къ лицу,—разсказываетъ Ровинскій:—каждому дается въ руки хлыстъ-шпицрутенъ,—живая «зеленая улица», только безъ листьевъ весело движется и помахиваетъ въ воздухѣ. Выводятъ преступника, обнаженнаго до пояса и привязаннаго за руки къ двумъ ружейнымъ прикладамъ; впереди двое солдатъ, которые позволяютъ ему подвигаться впередъ только медленно, такъ, чтобы шпицрутенъ имѣлъ время оставить слѣдъ свой на «солдатской шкурѣ»; сзади вывозится на дровняхъ *гробъ*. Приговоръ прочтенъ; раздается зловѣщая трескотня барабановъ, разъ! два! и пошла хлестать зеленая улица справа и слѣва. Въ нѣсколько минутъ солдатское тѣло покрывается сзади и спереди широкими рубцами, краснѣетъ, багровѣетъ, летятъ кровяные брызги... «Братцы, пощадите!»... прорывается сквозь глухую трескотню барабана, но вѣдь щадить значитъ самому тутъ же быть пороту, и еще усерднѣе хлещетъ березовая улица. Скоро бока и спина представляютъ одну сплошную рану; мѣстами кожа сваливается клочьями, и медленно движется на прикладахъ живой мертвецъ, обвѣшанный мясными лоскутьями, безумно выкативъ оловянные глаза свои... Вотъ онъ свалился, а бить осталось еще много; живой трупъ кладутъ на дровни и снова возятъ взадъ и впередъ, промежъ шпалеръ, съ которыхъ сыплются удары шпицрутеновъ, и рубятъ кровавую кашу. Смолкли стоны, слышно только какое-то шлепанье, точно кто по грязи палкой шалитъ, да трещатъ зловѣщіе барабаны» *).

---

*) Цѣлый рядъ иллюстрацій собранъ у Гр. Джаншіева: „Эпоха великихъ реформъ“. М. 1896 г., стр. 161—162, 166 и др.

Всякій помнитъ подобные же ужасы, разсказанные Достоевскимъ въ «Мертвомъ Домѣ», но всѣ они были въ порядкѣ вещей, были неизбѣжны и, можетъ-быть, необходимы для устрашенія, пока существовало крѣпостное право, всему дававшее свой безчеловѣчный тонъ.

Жестокость и развращающая публичность уголовныхъ наказаній, остатокъ болѣе страшныхъ казней Московской Руси, не были худшею стороною стараго суда. Мало того, что онъ былъ не милостивъ,—основанный цѣликомъ на сложномъ формальномъ бумажномъ вершеніи всѣхъ дѣлъ, онъ уже въ силу этого не могъ удовлетворять теперешнимъ требованіямъ суда скораго. Судомъ правымъ, онъ не могъ быть по той же причинѣ: слишкомъ широкій просторъ открывался подкупу и взяточничеству возможностью для судей, секретарей и приказныхъ такъ или иначе повернуть бумажное изображеніе дѣла. И наконецъ, это былъ судъ не равный, потому что для крестьянъ частью вовсе не существовалъ (всѣ иски крестьянъ между собою рѣшались помѣщикомъ, къ нему же никакихъ имущественныхъ претензій они предъявлять не могли), частью принципіально бралъ сторону знатнаго предъ незнатнымъ: напр., при двухъ противорѣчащихъ свидѣтельствахъ, по закону предпочтеніе отдавалось свидѣтельству знатнаго предъ незнатнымъ.

Дурная слава стараго суда съ его подкупностью, волокитою и проч. слишкомъ общеизвѣстна. Вспомните только ѣдкія басни Крылова, хоть это неподражаемое окончаніе одной изъ нихъ:

У Климыча судьи часишки воръ стянулъ,
А тотъ кричитъ на вора караулъ!

Всякій помнитъ, какъ судился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ; каждому памятенъ Ляпкинъ-Тяпкинъ, наивно восторгающійся тѣмъ, что можетъ травить во все свое удовольствіе зайцевъ на земляхъ и истца, и отвѣтчика; открытый грабежъ представленъ въ знакомой многимъ комедіи Сухово-Кобылина: «Дѣло», и т. д.

Не останавливаясь на характеристикѣ самыхъ судебныхъ учрежденій—судовъ полицейскихъ и уѣздныхъ, гражданскихъ и уголовныхъ палатъ и стараго сената, я позволю себѣ указать на малоизвѣстныя сцены И. С. Аксакова, ярко изображающія присутственный день уголовной палаты и между прочимъ—со стороны двойственныхъ отношеній суда къ помѣщикамъ и крестьянамъ.

Аксаковъ въ молодые годы свои изучилъ старый судъ вдоль и поперекъ и по личному опыту могъ писать, напримѣръ, въ 1884 г., когда раздавались голоса противъ судебныхъ уставовъ 1864 г.: «Старый судъ!... При одномъ воспоминаніи о немъ волосы встаютъ дыбомъ, морозъ деретъ

по кожѣ... Это было воистину мерзость запустѣнія на мѣстѣ святѣ. Предъ нами невольно встаютъ воспоминанія одно возмутительнѣе другого» *). И не наиболѣе вопіющіе примѣры судебной неправды, вызывавшіе время отъ времени суровыя кары правительства, должны останавливать наше вниманіе. Гораздо вреднѣе, пагубнѣе по своему разлагающему вліянію были тѣ «грѣшки», которые, составляя неотъемлемую принадлежность дореформеннаго суда, уже никого не удивляли, такъ что требовалось не малое напряженіе ума и нравственнаго чувства, чтобы признать ихъ чѣмъ-то неестественнымъ или предосудительнымъ. Судъ всегда бралъ сторону помѣщика противъ крестьянъ такъ же добродушно, просто и естественно, какъ составлялъ и мѣнялъ приговоры по желанію администраціи и бралъ взятки съ просителей.

Въ сценахъ, изображенныхъ Аксаковымъ, мы встрѣчаемъ подлинное дѣло саратовскаго помѣщика, который обвиняется въ томъ, что высѣкъ своими людьми гувернантку, приставленную имъ къ его же дѣтямъ, да еще вымазалъ ее купоросным масломъ, въ томъ, что засѣкъ чуть не до смерти крестьянина, и въ продажѣ фальшивыхъ рекрутскихъ квитанцій. Обвиняемый уже познакомился со своими будущими судьями, съ предсѣдателемъ уголовной палаты игралъ наканунѣ въ картишки у губернатора и уже успѣлъ завоевать симпатіи. Засѣдатели палаты отъ дворянства уже смущены тѣмъ, что дѣло касается явно помѣщичьей власти, поддерживать которую въ видахъ правительства. «Мудреное дѣло, господа, — говоритъ одинъ:—по моему мнѣнію, ну, коли воръ, знаете, эдакій, явный, разбойникъ, убійца, коли тамъ какой... ну, такого суди! А это, что около казны кто поживился, да тамъ эдакъ съ бабой повздорилъ... тутъ, ей Богу, и судить нечего! Я бы всѣ такія дѣла домашнимъ порядкомъ кончалъ, по-отечески, ей Богу!» — «Да человѣкъ-то онъ, кажется, хорошій!—говоритъ и предсѣдатель:—ну, какъ я его обвиню? Совѣстно какъ-то!» Наводятъ справки о свидѣтеляхъ. Противъ помѣщика рядъ свидѣтельствъ крѣпостныхъ его людей, но свидѣтельствъ, явно и намѣренно запутанныхъ и разнорѣчивыхъ.—«Какъ же это мы, такъ и станемъ про барина холопу вѣрить?»—сомнѣваются судьи и обрадованы тѣмъ, что на сторонѣ помѣщика имѣется свидѣтелемъ дѣйствительный статскій совѣтникъ.—«Одинъ свидѣтель, да хорошъ. Генералъ! Генералъ врать не станетъ, и коли совретъ, значитъ, ужъ должно было такъ соврать, не даромъ!... Что-жъ, мы и генералу не станемъ вѣрить?... Вѣдь, генералъ двухъ свидѣтелей стóитъ!»—Сверхъ того на «повальномъ обыскѣ» и окрестные дворяне показали, что обвиняемый «ведетъ себя какъ при-

*) И. С. Аксаковъ въ его письмахъ, томъ II, стр. 1.

**) И. С. Аксаковъ, т. III. Приложеніе, стр. 51 и слѣд.

лично благородному россійскому дворянину». Въ заключеніе и самъ онъ является запросто въ засѣданіе палаты, очаровываетъ судей болтовней и откровенными разсказами о своихъ похожденіяхъ съ тою же гувернанткой, а ловко наигрывая на вѣрной стрункѣ благонамѣренности и видовъ правительства, поддерживающаго авторитетъ дворянства, окончательно, въ полчаса этой бесѣды «по душѣ», даже не прибѣгая къ взяткамъ, безповоротно направляетъ все дѣло въ свою пользу. Оно доходило до сената и кончилось ничѣмъ.

Не удивительно, что послѣ крѣпостного права судъ былъ ненавидимъ народомъ болѣе всего. И до сихъ поръ не исчезла инстинктивная и глухая боязнь суда, боязнь волокиты, страхъ попасть въ свидѣтели и тому подобное, опасенія, при старомъ судѣ слишкомъ основательныя.

Если судъ, благодаря организаціи своей, совершенно не выполнялъ своей функціи блюсти законность, хотя бы въ той мѣрѣ, наприм., какою права народной массы ограждались положительнымъ законодательствомъ, то еще менѣе могло содѣйствовать соблюденію законовъ выборное начало, допущенное въ нѣкоторыхъ учрежденіяхъ (въ судѣ были представители отъ дворянства, купечества и крестьянъ (казенныхъ) и т. д.). Даже дворянство, пользовавшееся особыми правами, лишено было возможности, если бы и желало, бороться со злоупотребленіями. «Въ чемъ состоятъ его права *на самомъ дѣлѣ?* — спрашиваетъ въ запискѣ, представленной въ 1859 г. редакціонной комиссіи, А. М. Унковскій *).—Оно избираетъ должностныхъ лицъ въ нѣкоторыя судебныя и полицейскія учрежденія; право избранія судебныхъ должностныхъ лицъ не можетъ имѣть большого значенія, когда судъ не имѣетъ никакой власти; что же касается до низшихъ полицейскихъ должностей, то положеніе этихъ полицейскихъ чиновъ до того жалко и низко, что право выбора въ эти должности почти ничего не значитъ. Можетъ ли быть серьезная рѣчь о правѣ выбора, когда выборныя лица отдаются въ совершенно произвольное распоряженіе правительственныхъ канцелярій и когда избиратели не имѣютъ никакой возможности защитить своихъ избранныхъ отъ произвола начальства? При томъ еще выборъ этихъ лицъ долженъ быть утвержденъ начальникомъ губерніи. Одно право утвержденія часто уничтожаетъ совершенно выборное начало. Остальныя выборныя лица имѣли часто сословное значеніе и были посредниками въ отношеніяхъ между помѣщиками и крѣпостными людьми, или членами присутствій, въ которыхъ голоса ихъ ничего не значили, вслѣдствіе огромнаго перевѣса бюрократіи. При этихъ условіяхъ могло ли дворянство имѣть какое-нибудь вліяніе въ дѣлѣ управленія? Скажутъ, что дворянство имѣло право

*) Иванюковъ. Паден. крѣп. права въ Россіи, стр. 352 и слѣд.

представлять правительству о своихъ нуждахъ и пользахъ и такъ далѣе, какъ написано въ сводѣ законовъ; но это могутъ говорить только тѣ, которые не знаютъ практическаго примѣненія нашихъ законовъ. Дворянство убѣдилось опытомъ въ совершенной безполезности этихъ представленій... Дворянство представляло иногда объ административныхъ злоупотребленіяхъ вообще и о мѣрахъ къ искорененію ихъ, но на это смотрѣли какъ на вмѣшательство дворянства въ неприсвоенныя ему дѣла; поэтому дворянство на дѣлѣ «не могло имѣть почти никакого вліянія на мѣстное управленіе».

«Городскія сословія, — говорилъ далѣе Унковскій, — пользуются только нѣкоторыми личными преимуществами; но въ общественныхъ дѣлахъ совершенно безгласны. Ихъ думы и ратуши ничего не смѣютъ дѣлать безъ позволенія или приказанія; на самомъ дѣлѣ городскимъ хозяйствомъ распоряжаются губернскія правленія. При томъ правительственная опека надъ всѣмъ подчинила торговлю и городскую промышленность совершенному произволу полицейской исполнительной власти. Точное исполненіе нашихъ безчисленныхъ правилъ о торговлѣ до того невозможно, что полицеймейстеръ или городничій имѣютъ полную возможность во всякое время запереть всѣ лавки «на законномъ основаніи». Какую же самостоятельность можетъ имѣть торговое и промышленное сословіе? Отъ того купцы и мѣщане совершенно безгласны; ихъ головы и гласные платятъ оброки губернскимъ канцеляріямъ и даже иногда находятся въ дѣйствительномъ подчиненіи у секретарей, назначенныхъ начальствомъ и обыкновенно играющихъ роль посредниковъ при передачѣ оброковъ. Ратманы въ полиціяхъ исполняютъ только приказанія полицеймейстеровъ и городничихъ, не смѣя подать голоса и исправляя иногда должности сторожей; засѣдатели въ палатахъ и судахъ, при нашемъ порядкѣ судопроизводства, ничего не значатъ; наконецъ, собранія этихъ сословій имѣютъ право обсуждать только то, что разрѣшитъ или прикажетъ начальство».

Нечего и говорить, что примѣры плодотворной общественной дѣятельности, которыми заявили себя нѣкоторыя городскія управленія по введеніи городового положенія 1870 года, были безусловно немыслимы. Но мыслимъ былъ и дѣйствительно имѣлъ мѣсто, наприм., слѣдующій совершенно сказочный случай, какъ нельзя лучше показывающій отношеніе городовъ и администраціи. Въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ городъ Молога Ярославской губерніи изумлялъ начальство своимъ процвѣтаніемъ и благоустройствомъ. Ярославскіе губернаторы никакъ не могли взять въ толкъ, почему моложане исправно платятъ дани, какія полагались сообразно размѣрамъ городского хозяйства, но видъ имѣютъ бодрый, а не разорены въ противоположность обывателямъ другихъ городовъ. Дѣло разъяснилось только въ 1847 году, случайно и самымъ неожиданнымъ образомъ. Оказалось,

что моложане устроили у себя, на-ряду съ гласнымъ городскимъ управленіемъ, свое собственное тайное, взимали сборы на удовлетвореніе городскихъ нуждъ и расходовали ихъ такъ, что тайный бюджетъ (20 тысячъ руб.) во много разъ превышалъ гласный. Отчетъ въ распоряженіи тайными, въ сущности настоящими городскими суммами, отдавался обществу, а начальство знало только явныя ничтожныя смѣты. По раскрытіи дѣла, противозаконное самоуправленіе, при которомъ городъ процвѣталъ, было немедленно прекращено, городской голова преданъ былъ суду, тайные городскіе капиталы были причислены къ явнымъ, и чрезъ весьма короткое время Молога уже никого не удивляла своимъ процвѣтаніемъ *). И этотъ случай и живыя картины дореформеннаго городского быта, знакомыя каждому по «Ревизору», по піесамъ Островскаго, нѣкоторымъ очеркамъ Салтыкова и друг.,—все это достаточно ярко рисуетъ полную безпомощность, безгласіе и безсиліе городского обывателя дореформенной эпохи.

Нѣкоторою тѣнью самоуправленія пользовались государственные крестьяне, но положеніе ихъ было нерѣдко хуже, чѣмъ помѣщичьихъ, за которыхъ иногда могъ вступиться самъ помѣщикъ. «Совершенная зависимость сельскихъ начальствъ отъ бюрократіи, чуждой интересамъ народа,—пишетъ тотъ же Унковскій,—отняла у крестьянъ всякую возможность пользоваться ихъ общественными правами; она привела къ тому, что въ сельскіе начальники теперь не пойдетъ ни одинъ честный крестьянинъ. Въ этихъ должностяхъ необходимо грабить и доставлять начальству, иначе начальство всегда найдетъ причину удалить отъ должности, отдать подъ судъ или сдѣлать такой денежный начетъ, что всего имѣнія не достанетъ на пополненіе взысканія... Съ правами государственныхъ крестьянъ начальство обращается безъ всякой церемоніи: наприм., законъ дозволяетъ окружнымъ начальникамъ подвергать крестьянъ тѣлесному наказанію не иначе, какъ по приговору міра; чиновникъ, несмотря на это, сѣчетъ кого ему угодно, а потомъ приказываетъ писарю написать приговоръ и приложить за всѣхъ руки. Что дѣлать крестьянину въ случаѣ нарушенія его правъ? Итти жаловаться? Но куда? Прямо въ судъ жаловаться нельзя; чиновники отвѣтственны предъ судомъ только тогда, когда ихъ найдетъ виновными административное начальство. Итти къ этому начальству? Но тамъ дѣло должно попасть въ руки именно той канцеляріи, которой чиновникъ платитъ оброкъ, слѣдовательно—все будетъ скрыто, и еще затаскаютъ самого просителя по допросамъ и дознаніямъ. Такимъ образомъ, крестьяне должны молчать и сносить терпѣливо всѣ притѣсненія.

---

*) Сборникъ статей по случаю кончины И. С. Аксакова. М. 1886 г. Отд. III, стр. 5.

Такимъ образомъ, въ сущности, патріархальная опека простиралась на всѣ стороны государственной и общественной жизни. Крѣпостные были подъ безусловною опекой помѣщика; послѣдній, какъ и всякій другой обыватель, былъ подъ опекою государства, непомѣрно развившейся бюрократіи.

«Начальство сдѣлалось *все* въ странѣ, — пишетъ одинъ современникъ: — все кесареви; Богови оставалось весьма немного. Все сводилось къ простотѣ отношеній начальника и подчиненнаго. Въ начальствѣ совмѣщались законъ, правда, милость и кара. — Губернаторъ при какой-то ссылкѣ на законъ, взявшій со стола томъ Свода законовъ и *съѣвшій на него* съ вопросомъ: гдѣ законъ? — былъ лицомъ *типическимъ* и въ частности добрымъ и справедливымъ человѣкомъ... Купецъ торговалъ, потому что на то была милость начальства; обыватель ходилъ по улицѣ, спалъ послѣ обѣда — въ силу начальническаго позволенія. Приказный пилъ водку, женился, плодилъ дѣтей, бралъ взятки по милости начальническаго снисхожденія. Дышали воздухомъ потому, что начальство, снисходя къ слабости нашей, отпускало въ атмосферу достаточное количество кислороду; рыба плавала въ водѣ, птицы пѣли въ лѣсу, потому что такъ разрѣшено начальствомъ. Начальникъ былъ безотвѣтственъ въ отношеніяхъ своихъ къ подчиненнымъ, но имѣлъ въ тѣхъ же условіяхъ власть надъ собою... Военные люди, какъ представители дисциплины, считались годными для всѣхъ родовъ службы. Гусарскій полковникъ засѣдалъ въ синодѣ, въ качествѣ оберъ-прокурора, и т. п.» *).

Иначе и быть не могло. Строго централизованная бюрократическая система и патріархальная опека надъ жителями страны была неизбѣжна при «отеческой» власти помѣщиковъ надъ крестьянами или по крайней мѣрѣ казалась, подобно устрашающимъ уголовнымъ и домашнимъ наказаніямъ «на тѣлѣ», совершенно необходимою для поддержанія «порядка». Уже громадность пространства Россіи дѣлала при этомъ контроль надъ дѣйствіями среднихъ и низшихъ органовъ управленія чисто номинальнымъ. Отдаленность высшей власти, общая круговая порука между чиновниками данной мѣстности и предоставленная имъ власть и возможность толковать и посвоему примѣнять законы — ежечасно ставили ихъ въ искушеніе, и ни внезапныя ревизіи, ни строгія наказанія уличеннымъ и т. д. — ничто не могло искоренить противозаконнѣйшихъ злоупотребленій, лихоимства, взяточничества, вымогательствъ и т. п., вошедшихъ въ плоть и кровь русскаго дореформеннаго чиновника. «Русскій чиновникъ — ужасная личность, — писалъ объ этомъ въ 1861 г. въ своемъ дневникѣ *цензора* Никитенко. —

---

*) Приведенная цитата на стр. 452—453, соч. Джаншіева: „Эпоха великихъ реформъ“. О томъ же предметѣ, стр. 280—293, того же сочиненія и друг.

Что будетъ впереди—еще неизвѣстно, а до сихъ поръ онъ былъ естественный злѣйшій врагъ народнаго благосостоянія» *).

Высшее правительство не могло не сознавать коренныхъ недостатковъ чиновническаго управленія. Извѣстно, наприм., что «Ревизоръ» былъ допущенъ на сцену Государемъ Николаемъ I въ качествѣ «урока» властямъ. Въ видѣ палліативной мѣры создана была даже особая отрасль управленія, цѣлью которой было «утирать слезы» и которая, по мысли законодателя, должна была всюду вносить поправки въ дѣйствія мѣстныхъ властей. Это было знаменитое III отдѣленіе; въ инструкціи его говорилось, что оно должно «обращать вниманіе на безпорядки во всѣхъ частяхъ управленія; наблюдать, чтобы спокойствіе и права гражданъ не были нарушены людьми властными; внимать гласу страждущаго человѣчества и защищать беззащитнаго и безгласнаго гражданина». Такимъ образомъ, эти новые Гарунъ-аль-Рашиды, тайно, но дѣятельно наблюдая за всѣми, должны были при помощи сердцевѣдѣнія и усмотрѣнія исполнять функціи, которыя въ другихъ странахъ, и то не всегда хорошо, выполняютъ судъ, адвокатура, печать и общественное мнѣніе. Хорошо извѣстно, во что превратилось это учрежденіе, которому ставилась столь высокая и совершенно ему непосильная задача. Привѣтствуя въ 1880 г. упраздненіе III отдѣленія, Катковъ между прочимъ писалъ: «Принадлежа къ той системѣ, которая отрицала всякую свободу жизни и уже потеряла свою силу, учрежденіе это вносило собою только смуту и ложь въ жизни при ея измѣнившихся условіяхъ» **).

Но само собою разумѣется, что попытки устранить отрицательныя стороны всеобщаго крѣпостного и бюрократическаго строя не достигали ничего существеннаго, пока оставались незыблемыми его основы, произволъ владѣльцевъ крестьянами и произволъ чиновниковъ. Отсутствовали независимое общественное мнѣніе и гласность, и некому было болѣе или менѣе громко указать на дѣйствительное положеніе дѣлъ. Оно было выгодно дворянству, которое молча пользовалось своими вотчинными правами, было на руку всей централизованной бюрократіи, кормившейся около государственной службы и хлопотавшей лишь о томъ, чтобы этотъ порядокъ сохранялся и впредь. Народъ безмолвствовалъ. Крѣпостнымъ и былъ-то выборъ только между совершеннымъ безмолвіемъ или явнымъ возстаніемъ. Все было тихо, и сверху *казалось* спокойно и благополучно.

Голосъ возвышали только для славословія. Никогда ни до того, ни послѣ не слышно было столько громкихъ фразъ о величіи и славѣ Россіи, никогда такъ не заявляла о себѣ вся эта шумиха квасного патріотизма,

---

*) Записки и дневникъ, т. II, стр. 276.

**) Джаншіевъ: „Эп. вел. реф.“, стр. 389.

какъ лѣтъ пятьдесятъ назадъ, провозглашавшая въ числѣ своихъ трехъ девизовъ особенно «народность», подъ которою болѣе или менѣе открыто разумѣли крѣпостное право и сохраненіе status quo во всѣхъ его частностяхъ. Это былъ какой-то миражъ и туманъ, поддерживаемый не то наивно, не то цинически. Офиціальныя лица говорили въ 30-хъ годахъ вслухъ: «Прошедшее Россіи прекрасно, настоящее ея—болѣе чѣмъ великолѣпно, что касается будущаго, то оно выше всего, что можетъ себѣ представить самое пылкое воображеніе.*)

Внѣшнее основаніе для самовосхваленія, пожалуй, и было, но чисто внѣшнее. За границею составили себѣ преувеличенное понятіе о стальной «щетинѣ», которою блещетъ русская земля. Насъ боялись, благодаря успѣхамъ русскаго оружія, долго. Только подъ Севастополемъ воочію оказалось, что представляла изъ себя военная сила Россіи: это былъ желѣзный колоссъ на глиняныхъ ногахъ патріархальныхъ административно-крѣпостныхъ порядковъ. Тутъ и личная безропотная готовность русскаго солдата, т.-е. того же крѣпостного мужика, къ смерти оказалась безполезной.

Самый дореформенный военный бытъ, — сказать мимоходомъ, — тоже былъ примѣромъ показного «порядка» и почти полной внутренней несостоятельности. Достаточно напомнить, что солдаты не только постоянно обращались въ бѣга, но иногда совершали даже убійства, чтобы хоть цѣною страшныхъ шпицрутеновъ и каторги избавиться отъ 25-лѣтней военной лямки, голоднаго и холоднаго житья, мушгровки и ежедневнаго смертнаго боя отъ начальства. Что до рекрутчины и вносимаго ею въ народную жизнь и крестьянскую семью горя, то нѣтъ надобности распространяться. «Орину, мать солдатскую», помнитъ каждый:

Мало словъ, а горя—рѣченька,
Горя рѣченька бездонная...

Какъ бы то ни было, это самодовольное представленіе о внѣшнемъ всемогуществѣ и силѣ бѣдной и забитой страны налагало особый милитарный отпечатокъ на всѣ внутреннія отношенія. Даже у робкаго цензора Никитенки вырвалось въ минуту отчаянія горькое сознаніе: «Быть солдатомъ, а не человѣкомъ—вотъ наше единственное назначеніе»**). Спасительная формула: «все благополучно» и строжайшая дисциплина «на военную ногу» придавали всему ласкающую поверхностное око стройность и внѣшнее благоустройство и порядокъ.

И еще одною существенною особенностью отличалось это самодоволь-

*) Слова шефа жандармовъ, графа Бенкендорфа, сказанныя по поводу „философическаго“ письма П. Чаадаева.

**) Зап. и дневникъ, т. I, стр. 423.

ство: существующій порядокъ крѣпостныхъ и всѣхъ съ нимъ связанныхъ отношеній не только признавался законнымъ и безусловно благополучнымъ, но освящался и авторитетомъ представителей религіи. Достаточно упомянуть, что извѣстный митрополитъ Филаретъ былъ защитникомъ крѣпостного права и тѣлеснаго наказанія и мотивировалъ свою защиту священнымъ писаніемъ. Помѣщики нерѣдко и въ самомъ дѣлѣ практиковали извѣстные совѣты Гоголя, высказанные въ «Перепискѣ съ друзьями», и заставляли загнанное сельское духовенство защищать крѣпостное право отъ Евангелія. Еще въ 1858 г. одна помѣщица, привлеченная къ отвѣтственности за истязаніе крѣпостныхъ своихъ, развивала слѣдующую вощунственную теорію: «Богъ создалъ *особо* господъ и слугъ, которымъ и далъ особую натуру, способную къ перенесенію тяжелыхъ трудовъ въ услуженіи господамъ, тогда какъ господа натуру имѣютъ отъ Бога болѣе нѣжную. Къ этому *физическому* различію между господами и холопами присоединено Богомъ *нравственное* различіе между ними—способность повелѣвать и повиноваться. Законы гражданскіе, распредѣляя отношенія между людьми, основываются на этомъ *естественномъ* различіи господъ и холоповъ, рѣзко распредѣляя отношенія между ними и въ гражданскомъ быту, поставивъ господъ первыми въ рядахъ гражданственности и во всѣхъ движеніяхъ свѣта (sic) и освободивъ ихъ отъ тѣлесныхъ наказаній, а послѣднихъ, предоставляя имъ тѣлесный трудъ, подвергаютъ и наказанію тѣлесному» *). Эта теорія, однако, не представляла собою чего-либо исключительнаго, и потому къ атмосферѣ крѣпостного права присущъ былъ болѣе или менѣе сильный и замѣтный ароматъ ханжества и лицемѣрія. Іудушки Головлевы и вырастали на этой упитанной почвѣ.

Такъ все цѣплялось одно за другое, создавая какую-то неодолимую стѣну опиравшихся другъ на друга дурныхъ законовъ, обходовъ закона и злоупотребленій имъ, привычекъ мысли и дѣйствій, возмутительнаго и мало кого возмущавшаго произвола и насилія надъ человѣческимъ достоинствомъ и особенно лжи, лицемѣрія безъ конца. Представляя себѣ все это разомъ, понимаешь, что такъ-называемое дореформенное «общество», которое изображено «Мертвыми Душами» и «Ревизоромъ», Грибоѣдовымъ и т. д., вовсе не каррикатура; это изображеніе, при всей своей яркости, есть лишь слабое отраженіе дѣйствительности, во многихъ подробностяхъ не полное.

Общественную, т.-е. дворянско-чиновную привольную жизнь дореформеннаго губернскаго города характеризовалъ, между прочими бытописателями, И. С. Аксаковъ, проведшій всю молодость въ службѣ по провинціи. Позволю

*) Джаншіевъ, ц. соч., стр. 164 – 165.

себѣ остановиться на этой характеристикѣ, своевременно не появившейся въ печати и мало кому извѣстной; картина, рисуемая Аксаковымъ, заслуживаетъ вниманія отчасти и потому, что провинціальная городская жизнь во многомъ измѣнилась менѣе столичной, въ особенности въ чиновной своей полосѣ, и особенно тамъ, гдѣ не введены были земскія учрежденія, судъ по уставамъ 1864 г. и проч.

Внѣшній блескъ «общества» въ провинціи зависѣлъ прежде всего отъ того же крѣпостного права. «Присутствуя на великолѣпномъ балѣ у NN, «столичный гость» оставался въ невѣдѣніи, а мы хорошо знали, что оркестръ, подъ громкіе звуки котораго прыгала въ полькахъ, кружилась въ вальсахъ неслась въ галопахъ блестящая губернская молодежь,—состоялъ изъ крѣпостныхъ людей хозяина, нерѣдко, по милости ихъ, угощавшаго провинціальный beau monde и музыкальными вечерами; что въ тотъ же день утромъ альта и флейта были высѣчены за фальшивую ноту въ симфоніи Бетховена, до котораго хозяинъ, какъ слѣдуетъ просвѣщенному человѣку, былъ большой охотникъ, а гобой собственноручно приколоченъ. Любуясь на этихъ благовидныхъ помѣщиковъ солидныхъ лѣтъ, мы въ то же время имѣли вѣрныя свѣдѣнія, что эти красивые господа только вчера воротились изъ своихъ деревень, гдѣ собирали порядочныя суммы съ крестьянскихъ дѣвокъ, откупавшихся отъ замужества».

«А благотворительные балы, лотереи, спектакли, базары и концерты? Какое благородное соревнованіе между всѣми губерніями въ этомъ отношеніи! Правда, эти празднества требуютъ большихъ расходовъ, новыхъ пышныхъ нарядовъ.... Но вѣдь деревня подъ рукою, наложить лишнюю повинность на крестьянъ или прибавить оброка ничего не значитъ! Нерѣдко для подобныхъ благотворительныхъ и другихъ подвиговъ провинціальныя благотворительницы пріѣзжаютъ въ губернскій городъ изъ отдаленныхъ уѣздовъ *на своихъ*, т.-е. на лошадяхъ своихъ крестьянъ, обязанныхъ, вѣроятно, также участвовать въ дѣлахъ общественнаго благотворенія» *).

Благотворительно-свѣтскимъ блескомъ и исчерпывалась духовная жизнь губернскаго общества. «Провинція почти вовсе не выписываетъ книгъ,— жалуется Аксаковъ. —Если и попадаются кой-гдѣ частныя библіотеки, такъ ими никто и не пользуется. Гораздо больше книгъ читается въ тѣхъ семьяхъ, которыя никогда не живутъ въ губернскихъ городахъ, а проводятъ зиму въ деревнѣ, или, какъ скоро позволяютъ средства, въ Москвѣ и Петербургѣ. Въ губернскихъ же городахъ почти ни въ одномъ

*) И. С. Аксаковъ въ его письмахъ. Ч. III, Приложеніе, стр. 3—14. Статья написана въ 1852 г.

домѣ вы не найдете книги не только новой, да большей частью и никакой. Иногда только случайно заведется экземпляръ, одинъ единственный во всемъ городѣ, и прочтутъ его, выпрашивая другъ у друга, потому что издержать рубля три серебромъ на книгу считается мотовствомъ: въ самомъ дѣлѣ, на эти деньги можно купить пары двѣ настоящихъ французскихъ перчатокъ!» Нынѣ эта картина кажется преувеличеніемъ и для уѣзднаго, захудалаго даже, города.

Особенно поражали Аксакова въ провинціи какой-то полупатріархальный домашній характеръ отношеній общественныхъ и официальныхъ и— наоборотъ — какой-то отблескъ официальности на отношеніяхъ частныхъ. Вездѣ — необычайная терпимость ко взаимнымъ служебнымъ прегрѣшеніямъ, простосердечная откровенность и добродушный цинизмъ: «да и въ самомъ дѣлѣ Иванъ Петровичъ и Петръ Ивановичъ, слывущіе въ городѣ прекрасными и премилыми людьми, очень хорошо знаютъ, что каждому въ городѣ во всей подробности извѣстны источники ихъ нечистыхъ доходовъ, а потому они уже не находятъ надобности скрываться или вообще сколько-нибудь церемониться въ этомъ отношеніи». Съ другой стороны, какъ сказано, всевластіе официальности. «Рѣдкій балъ начнется до прибытія Его или Ея Превосходительства (губернатора),—пишетъ Аксаковъ:—я самъ видѣлъ, какъ въ одномъ губернскомъ городѣ, въ театрѣ, въ антрактахъ—ни одна изъ дамъ въ ложахъ не смѣла сидѣть, пока Ея Превосходительство стояла. Самая служба въ губернскомъ городѣ налагаетъ на васъ какую-то обязанность принимать участіе въ общественныхъ увеселеніяхъ; это также служба своего рода.... Въ самыхъ веселыхъ соблюдается нѣкоторое чинопочитаніе, и вообще лица называются большею частью не по фамиліи, а по мѣсту своего служенія.... Къ тому же самыя увеселенія ихъ болѣе или менѣе связаны съ какими-нибудь официальными событіями, съ отъѣздомъ въ отпускъ и возвращеніемъ губернатора, съ пріѣздомъ ревизора, новыхъ чиновниковъ и т. п. «У насъ нынѣшнюю зиму будетъ очень весело, — сказала намъ однажды губернская дама:—назначенъ рекрутскій наборъ!...» Вообще, въ губерніи, при трудности, почти невозможности бороться съ высшею мѣстною властью, чинопочитаніе, больше чѣмъ гдѣ-либо, доводитъ до забвенія всѣхъ завѣтныхъ, личныхъ, нравственныхъ убѣжденій; чиновное самолюбіе и тщеславіе волнуютъ дамскія сердца едва ли не сильнѣе, чѣмъ мужскія. Зато злоупотребленія служебныя не возбуждаютъ негодованія, мечты объ общемъ благѣ, желанія полезной дѣятельности не тревожатъ душу....»

Нечего и говорить, что при очерченныхъ здѣсь условіяхъ и состояніи массы общества положеніе и науки и литературы не могло быть особенно блестящимъ. Когда повторяютъ, что литература и наука въ сороковые года

воспитывали «общество», часто забываютъ и предѣлы ихъ вліянія, и смѣшиваютъ передовыхъ дѣятелей ихъ съ общимъ состояніемъ той и другой, которое должно быть признано совершенно плачевнымъ, если брать въ разсчетъ все общество, а не ничтожную его часть, тяготѣвшую къ чему-либо выше обыденныхъ низменныхъ интересовъ въ кругѣ крѣпостничества и службы.

Дѣйствительное положеніе университетовъ характеризуется полнѣе всего, быть можетъ, возможностью такихъ фактовъ, какъ тотъ, что въ 1830—33 годахъ каѳедру философіи Харьковскаго университета занималъ, по назначенію попечителя.... *частный приставъ*. Попечительская власть, вначалѣ отдаленная и едва замѣтная, мало-по-малу вторглась во внутреннюю жизнь университетовъ, стѣснила дѣятельность коллегій и затронула составъ профессоровъ, такъ что все стало зависѣть отъ личности попечителя, или, другими словами, отъ счастливаго случая. По уставу 1835 г., окончательно закрѣпившему начальническія права попечителя, управленіе, хозяйство, полиція, сужденіе о способностяхъ, прилежаніи и благонравіи профессоровъ— все было въ рукахъ попечителя. Судьбы науки и просвѣщенія рѣшались въ канцеляріи попечителя, чиновниками, не имѣвшими никакого понятія объ университетѣ, которые никогда въ немъ не учились и не привыкли уважать его. Изъ попечителей, которые управляли Харьковскимъ учебнымъ округомъ, многіе, говоря по справедливости, не скрывали своего презрѣнія къ профессорскому званію, тѣснили и раздражали студентовъ, распоряжались университетомъ произвольно, смотрѣли на науку и ученыя заслуги свысока, надменно и гордо. Такъ жаловались харьковскіе профессора при обсужденіи вопроса объ уставѣ 1863 г. *). Но то, что было въ Харьковскомъ, то встрѣчаемъ и въ другихъ университетахъ, не исключая отчасти и Московскаго, стоявшаго значительно выше всѣхъ другихъ, благодаря случаю, т.-е. тому, что во главѣ округа стоялъ просвѣщенный вельможа С. Г. Строгановъ; но и онъ оставался нерѣдко все-таки властнымъ вельможею, «хозяиномъ» университета, иногда подвергавшимъ профессоровъ «пыткѣ», по выраженію Погодина, «инквизиторскимъ допросамъ», какъ-то было, наприм., съ Грановскимъ во время его перваго курса публичныхъ лекцій, когда отъ него потребовали апологій и оправданій въ видѣ лекцій, наприм. изложенія реформаціи и революціи съ католической точки зрѣнія и какъ шаговъ назадъ. **)

Грановскіе были, конечно, исключеніемъ изъ исключеній. Средній

*) См. цит. книгу Джаншіева, стр. 247 и друг.

**) „Т. Н. Грановскій и его время". М. 1897, стр. 190. „Характеристика нѣкоторыхъ московскихъ профессоровъ", тамъ же, стр. 120—126.

профессоръ былъ или исполнительнымъ чиновникомъ, формально читавшій лекціи по старымъ тетрадкамъ, или сноровистымъ карьеристомъ, для котораго наука была средствомъ къ чинамъ и инымъ успѣхамъ на поприщѣ службы. Чѣмъ лучше умѣлъ онъ приспособить науку къ вѣяніямъ времени сверху, тѣмъ больше ему шансовъ было, конечно, на успѣхъ. И съ профессоромъ - частнымъ приставомъ достоинъ стоять рядомъ профессоръ вродѣ Я. Баршева, такъ изображеннаго у Салтыкова:

«Когда я былъ въ школѣ,—пишетъ Салтыковъ,—то въ нашемъ уголовномъ законодательствѣ еще весьма часто упоминалось слово «кнутъ». Профессоръ уголовнаго права такъ или иначе долженъ былъ встрѣтиться съ нимъ на кафедрѣ. И что же! выискался профессоръ, который не только не проглотилъ этого слова, не только не подавился имъ въ виду десятковъ юношей, внимавшихъ ему, не только не выразился хоть такъ: какъ, дескать, ни печально такое орудіе, но при извѣстныхъ формахъ общежитія представляется затруднительнымъ обойти его, а прямо и внятно повѣствовалъ, что кнутъ есть одна изъ формъ, въ которыхъ *идея правды и справедливости* находитъ себѣ наиболѣе приличное осуществленіе. Мало того, онъ утверждалъ, что самая злая воля преступника требуетъ себѣ воздаянія именно въ видѣ кнута. Но прошли времена, и кнутъ былъ замѣненъ трехвостною плетью. Насъ, школяровъ, интересовало, прольетъ ли слезу буквоѣдъ на могилѣ кнута или воткнетъ осиновый колъ. Оказалось, что онъ воткнулъ осиновый колъ. Цѣлую лекцію онъ сквернословилъ предъ нами, говоря, какъ скорбѣла идея высшей правды, когда она осуществлялась въ формѣ кнута, и какъ она ликуетъ теперь, когда съ изволенія вышняго начальства, ей предоставлено осуществляться въ формѣ трехвостной плети, съ соотвѣтствующимъ угобженіемъ. Онъ говорилъ—и его не тошнило, а мы слушали, и насъ тоже не тошнило!... Я не знаю,—продолжаетъ Салтыковъ,—какъ потомъ справился этотъ профессоръ, когда тѣлесныя наказанія были вовсе отмѣнены; но думаю, что онъ и тутъ вышелъ сухъ изъ воды. Кто же, однако, броситъ въ него камень за выказанную имъ научную сноровистость? Развѣ отъ него требовалось, чтобы онъ стоялъ на дорогѣ со свѣточемъ въ рукахъ? Нѣтъ, отъ него требовалось одно, чтобы онъ подыскалъ обстановку для истины, уже отверженной и офиціально признанной таковою».

Говорить ли ужъ о средней, а тѣмъ болѣе низшей дореформенной школѣ съ царившими въ ней зубреніемъ никуда не годныхъ учебниковъ и розгою? Уничтоженіе крѣпостного права—угроза самодержавію,—твердили крѣпостники:—необходимо же «просвѣщеніе». Такъ какъ на дѣлѣ крѣпостной порядокъ и заслонялъ дорогу къ просвѣщенію, то и понятно, что заботы о просвѣщеніи, напр., со стороны С. Уварова, взглядъ кото-

раго приведенъ выше, не могли не быть достаточно сдержаны. Идеалъ воспитанія былъ «благонравіе», и едва ли не идеальнымъ учителемъ, по понятіямъ, господствовавшимъ въ административныхъ всесильныхъ сферахъ, былъ извѣстный учитель, любитель порядка и тишины, которому подавалъ треухъ Чичиковъ. Нечего и говорить, что въ обществѣ учитель не пользовался ни малѣйшимъ уваженіемъ, и жалкій Лука Лукичъ изъ «Ревизора» съ горькою жалобой: «Не дай Богъ служить по ученому вѣдомству!»—лицо типическое. Только въ исключительныхъ случаяхъ, когда какое-нибудь учебное заведеніе почему-либо забывалось слишкомъ попечительнымъ начальствомъ—какъ это было съ нѣжинскимъ лицеемъ, гдѣ учился Гоголь, или съ новгородъ-сѣверской гимназіей, гдѣ воспитывался Ушинскій—только тамъ школа оставляла по себѣ въ ученикахъ хорошія воспоминанія и благотворный слѣдъ на развитіи воспитанниковъ. Вообще можно сказать, что учебныя заведенія были тѣмъ лучше, чѣмъ хуже были съ точки зрѣнія тогдашнихъ требованій порядка на военную ногу, показного благочинія и нравственной и умственной дрессировки.

Остается указать на положеніе литературы, подчиненной—по цензурному вѣдомству—также министерству народнаго просвѣщенія.

Мы не будемъ останавливаться на строгостяхъ и придиркахъ тогдашней цензуры. Ходячіе анекдоты о томъ, какъ «вольный духъ» вытравливался даже изъ поваренныхъ книгъ, подвиги Красовскаго и т. п.—все это слишкомъ общеизвѣстно. Обратимъ лишь вниманіе на одну характерную частность. Дѣло въ томъ, что разрѣшеніе цензорами давалось въ ту пору въ формѣ: «одобрено цензурою», въ противоположность теперешней формулѣ: «дозволено цензурою». Это различіе, какъ ни мелочно оно на первый взглядъ, выражаетъ собою дѣйствительную разницу между тогдашнимъ положеніемъ литературы и современнымъ, какъ бы ни мало удовлетворительно было послѣднее. Въ вѣдѣніе министерства народнаго просвѣщенія литература попала еще въ то время, когда никакого самостоятельнаго существованія въ качествѣ нѣкоторой общественной силы она не имѣла. Ее долго насаждали сверху и, конечно, хлопотали о насажденіи лишь такого рода литературы, которая безусловно заслуживала бы «одобренія» съ тогдашней правительственной точки зрѣнія. Предполагалось, что цензура содѣйствуетъ процвѣтанію литературы, даетъ ей желательное направленіе, уничтожая плевелы и охраняя своимъ «одобреніемъ» пшеницу. Само собою разумѣется, что цензура, призванная не только слѣдить за тѣмъ, чтобы въ оборотъ не проходили мысли вредныя, но еще и рѣшать, *полезны* ли тѣ или иныя, высказываемыя авторами, мысли, не могла не быть придирчивою и непослѣдовательною. Въ самомъ дѣлѣ, каждая новая мысль, и не носящая признаковъ вредной, могла

возбуждать опасенія цензора именно своею новизною: «одобрять» ее или нѣтъ? еще неизвѣстно, признаютъ ли эту не вредную мысль—полезною и заслуживающею «одобренія»? Чѣмъ болѣе развивалась литература, тѣмъ поводовъ къ такому раздумью представлялось болѣе и болѣе. И въ тридцатые и сороковые года мы видимъ, что охранители того времени относятся къ литературѣ съ крайнимъ подозрѣніемъ, но не потому, чтобы она проповѣдывала тѣ или иныя «вредныя» идеи, а просто потому, что въ ней чувствовались *«какія-то»* идеи, уклонявшіяся отъ регламентаціи, неуловимыя, разобраться въ которыхъ цензора были совершенно неспособны, сколько ни сажали ихъ на гауптвахту за постоянные промахи.

Къ числу безусловно «одобряемыхъ» идей, принадлежали собственно только идеи, получившія мѣткое названіе «официальной народности». Наиболѣе виднымъ защитникомъ этой системы идей, самодовольно возводившихъ тогдашній status quo въ прекрасный идеалъ, явился въ сороковыхъ годахъ журналъ историка М. П. Погодина и профессора словесности С. П. Шевырева, «Москвитянинъ». Петербургскій журналъ Бурачка «Маякъ» и «Сѣверная Пчела» Булгарина вторили ему выходками, иногда совершенно юродивыми. Но и противоположеніе Россіи Европѣ, какъ заживо гніющему трупу, заявленное въ первомъ же номерѣ «Москвитянина» Шевыревымъ, не можетъ не производить теперь впечатлѣнія изумительнаго юродства о величіи Россіи, юродства въ тонѣ вышецитированнаго заявленія Бенкендорфа.

Реформація въ Европѣ и французская революція были, по мнѣнію Шевырева, болѣзнями, окончательно подорвавшими и отравившими всѣ жизненныя силы Запада, которому противостоитъ со своими самобытными вѣчными началами Россія, «какъ бы шестая часть свѣта», по выраженію одной изъ подобныхъ же статей (Краевскаго). «Мы думаемъ, что эти болѣзни уже прекратились,—разсуждаетъ Шевыревъ:—нѣтъ, мы ошибаемся. Болѣзнями порождены вредные соки, которые теперь продолжаютъ дѣйствовать и которые въ свою очередь произвели уже поврежденіе органическое и въ той и въ другой странѣ (въ Германіи и во Франціи), признакъ будущаго саморазрушенія. Да, въ нашихъ искреннихъ, дружескихъ, тѣсныхъ сношеніяхъ съ Западомъ мы не примѣчаемъ, что имѣемъ дѣло какъ будто съ человѣкомъ, носящимъ въ себѣ злой, заразительный недугъ, окруженнымъ атмосферою опаснаго дыханія. Мы цѣлуемся съ нимъ, обнимаемся, дѣлимъ трапезу мысли, пьемъ чашу чувства... и не замѣчаемъ скрытаго яда въ безпечномъ общеніи нашемъ, не чуемъ въ потѣхѣ пира будущаго трупа, которымъ онъ уже пахнетъ! Онъ увлекъ насъ роскошью своей образованности... угождаетъ прихотямъ нашей чувственности, расточаетъ передъ нами остроуміе мысли, наслажденія искусства.

Мы рады, что попали на пиръ готовый къ такому богатому хозяину... Мы упоены... Но мы не замѣчаемъ, что въ этихъ яствахъ таится сокъ, котораго не вынесетъ свѣжая природа наша... Мы не предвидимъ, что просвѣщенный хозяинъ, обольстивъ насъ всѣми прелестями великолѣпнаго пира, развратитъ умъ и сердце наше; что мы выйдемъ изъ него опьянѣлые не по лѣтамъ, съ тяжкимъ впечатлѣніемъ отъ оргіи намъ непонятной»... Три коренныхъ чувства, свойственныхъ истиннымъ русскимъ, выставлялись Шевыревымъ, какъ «сѣмя и залогъ нашему будущему развитію»: чувство преданности православію, чувство ея государственнаго единства, опредѣляемое гармоніею ея политическаго бытія, «сокровище, вынесенное нами изъ нашей древней жизни, на которое съ особенною завистью смотритъ Западъ», и наконецъ сознаніе нашей народности. «Тремя коренными чувствами крѣпка наша Русь и вѣрно ея будущее,—замѣчаетъ Шевыревъ.—Мужъ Царскаго Совѣта, которому ввѣрены поколѣнія образующіяся (т.-е. министръ народнаго просвѣщенія графъ С. Уваровъ), давно уже выразилъ ихъ глубокою мыслію (т.-е. въ извѣстной формулѣ: «православіе, самодержавіе и народность») и они положены въ основу воспитанія народа» *).

Къ этой самодовольной теоріи примыкала и та литература, которая была по плечу массѣ невѣжественнаго общества, подобострастный Булгаринъ, гаеръ Сенковскій, напыщенные Бенедиктовъ и Кукольникъ съ Полевымъ съ ихъ ультра-патріотическими драмами. Понятно, что на такихъ литературныхъ дѣлъ мастеровъ смотрѣли въ офиціальныхъ сферахъ пренебрежительно, не допуская мысли, чтобы когда-нибудь литература могла стать какою бы то ни было общественно-двигательною силою. Ей даже покровительствовали, если тотъ или иной литераторъ, обратившій на себя вниманіе публики, успѣвалъ въ то же время угодить сознательно или безсознательно, безразлично—сильнымъ міра сего, какъ то было съ Гоголемъ. Такое отношеніе господствовало до конца сороковыхъ годовъ, и отчасти благодаря этому, несмотря на цензурныя строгости, движеніе мысли въ литературѣ и въ обществѣ не прекращалось.

Литература и отчасти наука представлялись такимъ образомъ единственными областями, которыя стояли внѣ обычнаго общаго строя мысли и привычекъ. Бѣлинскій мѣтко опредѣлилъ это значеніе тогдашней литературы, начавши одну изъ своихъ статей такими словами.

«Какова бы ни была наша литература, во всякомъ случаѣ ея значеніе для насъ гораздо важнѣе, нежели какъ можетъ оно казаться: въ ней, въ одной ней вся наша умственная жизнь и вся поэзія нашей жизни.

*) Н. Барсуковъ. „Жизнь и труды Погодина", т. VI, стр. 14—15.

Только въ ея сферѣ перестаемъ мы быть Иванами и Петрами, а становимся просто людьми, обращаемся къ людямъ и съ людьми».

Это значеніе литературы выдвигается съ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ все болѣе и болѣе, по мѣрѣ того, какъ она болѣе сближалась съ жизнью, становилась самобытною, національною (не въ смыслѣ, конечно, узкой программы »офиціальной» народности), захватывая въ свой кругъ всю національную жизнь, или по крайней мѣрѣ стремясь къ такому захвату, и становясь общественно-двигательною просвѣтительною силой.

Та страстная преданность къ литературѣ и вообще къ міру идей и идеаловъ, которую проявили при этомъ приснопамятные дѣятели сороковыхъ годовъ, создала около этого періода особый ореолъ. Тѣневыя его стороны легко отходятъ въ сознаніи современнаго человѣка на задній планъ, и иногда о сороковыхъ годахъ приходится слушать чуть не сожалѣнія, какъ о своего рода золотомъ вѣкѣ русской мысли.

Такимъ идеализаторамъ нашего прошлаго можно напомнить слова Экклезіаста: «Не говори:—«отчего это прежніе дни были лучше нынѣшнихъ?»—потому что не отъ мудрости ты спрашиваешь объ этомъ.

Еще менѣе можетъ быть оправдана точка зрѣнія людей, безусловно довольныхъ днями нынѣшними, и готовыхъ съ высоты своего умственнаго превосходства снисходительно одобрить, подобно гётевскому Вагнеру, мудрецовъ прошлаго:

. . . Es ist ein gross Ergötzen,
Sich in den Geist der Zeiten zu versetzen,
Zu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht,
Und wie wir's dann zuletzt so herrlich weit gebracht *).

Отвѣтомъ подобнымъ резонерамъ можетъ быть лишь ироническое замѣчаніе Фауста: «O ja, bis an die Sterne weit!—O, да! ужасно далеко!»

Въ томъ-то и дѣло, что при всѣхъ отличіяхъ нашего времени отъ дореформеннаго, мы ушли отъ него еще не слишкомъ далеко, не настолько, чтобы всѣ «переживанія» той эпохи перестали мѣшать спокойному и нормальному литературному и общественному развитію...

Благодаря этому жизнь, душевная борьба и идейныя стремленія людей, понимавшихъ задачи этого развитія, и получаетъ особый интересъ. Это всего-то вчерашній день, злобы котораго еще не удалились отъ насъ. Но въ дѣятельности этихъ же людей начало многому, что и теперь составляетъ содержаніе нашей умственной жизни, «поэзію нашей жизни».

«Идеалы и преданія, о которыхъ идетъ рѣчь,—замѣтилъ какъ-то Сал-

*) Велико наслажденіе переноситься въ духѣ временъ, наблюдать, какъ до насъ думалъ какой нибудь мудрецъ, и какъ далеко мы наконецъ отъ него ушли впередъ".

тыковъ,— не изгибли и теперь... Конечно, идеалы эти для настоящаго времени нѣсколько устарѣли и представляются уже недостаточными, но ежели содержаніе идеаловъ и подлежитъ критикѣ, то отношеніе къ нимъ литературы и донынѣ остается въ высшей степени поучительнымъ. Это то страстно-убѣжденное отношеніе, которое даже въ мертвыя тѣла вливаетъ духъ живъ, который даже пустыню призываетъ къ жизни».

Вотъ почему историко-литературное изученіе нашего дореформеннаго періода и имѣетъ особую цѣну: это изученіе неминуемо выдвигаетъ рядъ нравственныхъ и общественныхъ вопросовъ, имѣющихъ ближайшее соприкосновеніе съ современностью. Вмѣстѣ съ этимъ изученіемъ, при ознакомленіи съ людьми, такъ или иначе подготовлявшими въ умахъ современниковъ новое міропониманіе, или отстаивавшими старое—должно расти и то сознаніе, которое поэтъ выразилъ послѣ 19-го февраля въ четверостишіи:

Знаю: на мѣсто цѣпей крѣпостныхъ
Люди придумали много иныхъ...
Такъ... Но распутать ихъ легче народу.
Муза! Съ надеждой привѣтствуй свободу.

II.

Памяти В. Г. Бѣлинскаго.

Очеркъ жизни и дѣятельности.

Въ 1853 году, пять лѣтъ послѣ кончины В. Г. Бѣлинскаго, о немъ написалъ нѣсколько строкъ поэтъ, потомъ прославившійся не менѣе знаменитаго критика, обязанный ему много въ умственномъ и нравственномъ отношеніи. Самое имя Бѣлинскаго въ ту пору, по особымъ обстоятельствамъ времени, въ печати не называлось, и благоговѣйную память о немъ, какъ о человѣкѣ, хранили лишь немногіе личные друзья. Правда, не безъ читателей оставались старыя книжки «Отечественныхъ Записокъ» и «Современника», гдѣ печатались статьи Бѣлинскаго, но этого не могъ знать Некрасовъ, когда онъ писалъ свое «Памяти пріятеля», этотъ горькій упрекъ обществу, впавшему, какъ казалось тогда, въ непробудную апатію:

Наивная и страстная душа,
Въ комъ помыслы прекрасные кипѣли,
Упорствуя, волнуясь и спѣша,
Ты честно шелъ къ одной высокой цѣли,
Кипѣлъ, горѣлъ—и быстро ты угасъ!
Ты насъ любилъ, ты дружеству былъ вѣренъ—
И мы тебя почтили въ добрый часъ!
Ты по судьбѣ печальной безпримѣренъ:
Твой трудъ живетъ и долго не умретъ,
А ты погибъ, несчастливъ и незнаемъ!
И съ дерева невѣдомаго плодъ
Безпечные безпечно мы вкушаемъ.
Намъ дѣла нѣтъ, кто возрастилъ его,
Кто посвящалъ ему и трудъ, и время,
И о тебѣ не скажетъ ничего
Своимъ потомкамъ сдержанное племя...

И съ каждымъ днемъ окружена тѣснѣй,
Затеряна давно твоя могила.
И память благодарная друзей
Дороги къ ней не проторила...

Съ того времени много воды утекло. Свершилось кое-что изъ «завѣтныхъ грезъ и вожделѣнныхъ думъ» и поэта, и критика.

19-е февраля провозгласило уваженіе къ личному достоинству человѣка и правамъ свободной личности. Съ отмѣною жестокихъ тѣлесныхъ наказаній по закону 17-го апрѣля 1863 г., по выраженію современника, «словно въ сказкѣ какой изъ битаго царства вдругъ небитое стало». Судебная реформа 1864 г. заставила забыть время, когда Русь была «черна въ судахъ неправдой черной». Земское и городское устройство и расширеніе правъ печати создали возможность такой широкой общественной дѣятельности, о какой и не мечтали во времена Бѣлинскаго. Самое имя его, когда-то запретное, какъ бы равносильное имени государственнаго преступника, становится теперь извѣстно каждому образованному человѣку съ гимназической скамьи. Многотомное собраніе его сочиненій выдержало уже нѣсколько изданій, и широкое всенародное движеніе къ образованію такъ или иначе приближаетъ время, «когда мужикъ не Блюхера и не Милорда глупаго, Бѣлинскаго и Гоголя съ базара понесетъ».

Имя Бѣлинскаго теперь, когда мы пишемъ эти строки, все чаще повторяется на страницахъ газетъ и журналовъ, и будетъ на устахъ у всѣхъ образованныхъ читателей ко дню 26-го мая, когда чествуется пятидесятилѣтіе его смерти. Вниманіе читателей заполонятъ новыя изданія сочиненій Бѣлинскаго, которыя станутъ общественною собственностью, сборники, посвященные его памяти, газетные и журнальные очерки его жизни и дѣятельности, и т. п. Хотѣлось бы думать, что все это пройдетъ не минутнымъ порывомъ, а оставитъ по себѣ болѣе или менѣе прочный слѣдъ, какъ въ народно-образовательныхъ учрежденіяхъ, тамъ и сямъ проэктируемыхъ въ память Бѣлинскаго, такъ и вообще въ нѣкоторомъ подъемѣ общественной самодѣятельности, неизбѣжномъ тамъ, гдѣ людей соединяетъ общая мысль, общее безкорыстное чувство.

Выразить до извѣстной степени это чувство, оживить въ представленіи читателей скорбный и прекрасный образъ великаго учителя русскаго общества и имѣетъ въ виду настоящая бѣглая характеристика личности и дѣятельности Бѣлинскаго.

I.

Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій родился въ 1810 году въ Финляндіи, въ Свеаборгѣ, гдѣ стоялъ флотскій экипажъ, при которомъ отецъ

Бѣлинскаго состоялъ лѣкаремъ. Дѣдъ Бѣлинскаго былъ священникомъ села Бѣлыни (отсюда и пошла самая фамилія) въ Нижнеломовскомъ уѣздѣ Пензенской губерніи. Вскорѣ послѣ рожденія Виссаріона его отецъ переселился на службу въ родной край, именно уѣзднымъ врачемъ въ городъ Чембаръ. Здѣсь и прошло дѣтство будущаго писателя.

Впослѣдствіи онъ вспоминалъ о дѣтствѣ своемъ большею частью съ тяжелымъ чувствомъ. «Вспомнилъ я разсказъ матери моей,—передаетъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ:—она была охотница рыскать по кумушкамъ... я, грудной ребенокъ, оставался съ нянькою, нанятою дѣвкою: чтобъ я не безпокоилъ ее своимъ крикомъ, она меня душила и била... Впрочемъ, я не былъ грудным: родился я больнымъ при смерти, груди не бралъ и не зналъ ея... сосалъ я рожокъ, и то, если молоко было прокислое и гнилое—свѣжаго не могъ брать. Потомъ: отецъ меня терпѣть не могъ, ругалъ, унижалъ, придирался, билъ нещадно и площадно — вѣчная ему память. Я въ семействѣ былъ чужой. Можетъ быть—въ этомъ разгадка дикаго явленія. Я просто боюсь людей; общество ужасаетъ меня».

Постороннія свидѣтельства подтверждаютъ этотъ неблагопріятный отзывъ Бѣлинскаго о его дѣтствѣ. Отецъ его стоялъ нѣсколько выше уѣзднаго общества по уму и по образованію. Отличаясь вспыльчивымъ и неуживчивымъ нравомъ, испорченнымъ, быть можетъ, тѣмъ же обществомъ, онъ разошелся съ чембарцами, мстилъ имъ ѣдкими насмѣшками, не находилъ себѣ практики, и средства жизни въ семьѣ были иногда очень скудны. Самыя отношенія между родителями Виссаріона были, вслѣдствіе этого, далеко не мирныя. Женщина отъ природы добрая, но недалекая, мать Бѣлинскаго не соотвѣтствовала мужу по своему духовному развитію и изъза мелочныхъ хозяйственныхъ нуждъ нерѣдко такъ ссорилась съ нимъ, что домашніе буквально бѣжали изъ дому. Все это, конечно, отзывалось на дѣтяхъ «У жизни есть свои сынки и пасынки, и Виссаріонъ Григорьевичъ принадлежалъ къ числу самыхъ нелюбимыхъ своею лихою мачехою,—разсказываетъ очевидецъ, изображая домашній бытъ этого семейства:—не радостно она встрѣтила его въ родной семьѣ, и дѣтство его, эта веселая, беззаботная пора, было исполнено тревогъ и огорченій столько же, сколько и позднѣйшіе возрасты, и надобно было имѣть ему много воли, много любви, чтобы выйти побѣдителемъ изъ этой страшной борьбы съ роковыми случайностями».

Однако, хотя Виссаріонъ и много терпѣлъ отъ вспышекъ тяжелаго отцовскаго характера, но, повидимому, былъ ему обязанъ первыми толчками къ умственному развитію. На отца онъ и лицомъ больше походилъ, чѣмъ на мать. Отецъ сочувственно относился и къ пытливой любознательности ребенка, и къ ранней его страсти къ чтенію, и къ остроумію его рѣчей, перенимаемому отъ отца же. Мальчикъ невольно прислушивался къ желч-

нымъ разсказамъ отца о нравахъ уѣзднаго городка,—а каковы могли быть эти нравы, мы знаемъ хотя бы по комедіи Гоголя «Ревизоръ». Отецъ могъ заронить въ маленькаго Виссаріона и искру сочувствія къ тяжелому положенію крѣпостныхъ; много темныхъ сторонъ тогдашней жизни и само по себѣ могло поразить впечатлительнаго мальчика.

Онъ учился въ чембарскомъ уѣздномъ училищѣ, и здѣсь въ 1820 году на него обратилъ вниманіе при ревизіи училища тогдашній директоръ училищъ Пензенской губерніи, И. И. Лажечниковъ (извѣстный авторъ историческихъ романовъ «Басурманъ», «Ледяной Домъ» и др.).

«Во время дѣлаемаго мною экзамена,—разсказываетъ самъ Лажечниковъ,—выступилъ передо мною, между прочими учениками, мальчикъ лѣтъ 12, котораго наружность съ перваго взгляда привлекла мое вниманіе. Лобъ его былъ прекрасно развитъ, въ глазахъ свѣтился разумъ не по лѣтамъ; худенькій и маленькій, онъ, между тѣмъ, на лицо казался старѣе, чѣмъ показывалъ его ростъ. Смотрѣлъ онъ очень серьезно... На всѣ дѣлаемые ему вопросы онъ отвѣчалъ такъ скоро, легко, съ такою увѣренностью, будто налеталъ на нихъ, какъ ястребъ на свою добычу (отчего я тутъ же прозвалъ его ястребкомъ), и отвѣчалъ, большею частью, своими словами, прибавляя ими то, чего не было даже въ казенномъ руководствѣ. Доказательство, что онъ читалъ и книги, не положенныя въ классахъ. Я особенно занялся имъ, бросался съ нимъ отъ одного предмета къ другому, связывая ихъ непрерывною цѣпью, и, признаюсь, старался сбить его... Мальчикъ вышелъ изъ труднаго испытанія съ торжествомъ. Это меня пріятно изумило, также и то, что штатный смотритель не конфузился, что его ученикъ говоритъ не слово въ слово по учебной книжкѣ (какъ я привыкъ видѣть и съ чѣмъ боролся не мало въ другихъ училищахъ). Напротивъ, лицо добраго и умнаго смотрителя сіяло радостью, какъ будто онъ видѣлъ въ этомъ торжествѣ собственное свое. Я спросилъ его, кто этотъ мальчикъ. «Виссаріонъ Бѣлинскій, сынъ здѣшняго уѣзднаго штабъ-лѣкаря», сказалъ онъ мнѣ. Я поцѣловалъ Бѣлинскаго въ лобъ, съ душевной теплотою привѣтствовалъ его, тутъ же потребовалъ изъ продажной библіотеки какую-то книжонку, на заглавномъ листѣ которой подписалъ: «Виссаріону Бѣлинскому за прекрасные успѣхи въ ученіи (или что-то подобное) отъ такого-то, тогдато». Мальчикъ принялъ отъ меня книгу безъ особеннаго радостнаго увлеченія, какъ должную себѣ дань, безъ низкихъ поклоновъ, которымъ учатъ бѣдняковъ съ малолѣтства».

Эти воспоминанія, съ нѣкоторою идеализаціею рисующія образъ Бѣлинскаго-мальчика, ничего не говорятъ, что же болѣе всего занимало и интересовало этого «ястребка». Уже въ эту пору страстнымъ увлеченіемъ его была литература, которой послѣдствіи онъ отдалъ свою жизнь. О дѣт-

ствѣ своемъ, какъ уже сказано, онъ вспоминалъ, вообще говоря, съ чрезвычайною горечью, но раза два въ своихъ статьяхъ онъ съ любовью останавливается на томъ, какъ началъ въ дѣтствѣ свое литературное образованіе чтеніемъ сплошь всего, что попадалось подъ руку отъ лубочныхъ: «Повѣсти о приключеніи англійскаго милорда Георга», «Еруслана Лазаревича» и «Бовы Королевича» до Карамзина съ «Исторіею Государства Россійскаго» и до Жуковскаго.

«О, милордъ англійскій, о, великій Георгъ!—писалъ Бѣлинскій однажды, полушутя, полусерьезно, по поводу одного изъ множества изданій этой книги:—ощущаешь ли ты, съ какимъ грустнымъ, тоскливымъ и вмѣстѣ отраднымъ чувствомъ беру я въ руки тебя, книга почтенная, хотя и безсмысленная! Въ то время, когда я уже бойко читалъ по толкамъ, хотя еще и не умѣлъ писать, въ то время, когда еще только начиналось мое литературное образованіе, когда я прочелъ и «Бову», и «Еруслана» гражданскою печатью, и «повѣсти и романы господина Вольтера», и «Зеркало добродѣтели» съ раскрашенными картинами, — скажи, не тебя ли жадно искалъ я, не къ тебѣ ли тоскливо порывалась душа моя, пламенная ко всему благому и прекрасному?... Помню тотъ день незабвенный, когда, доставъ тебя, уединился я далеко, кажется, въ огородѣ между грядками бобовъ и гороха, подъ открытымъ небомъ, въ лѣсу пышныхъ подсолнечниковъ — этого роскошнаго украшенія огородной природы, и тамъ, въ этомъ невозмутимомъ уединеніи, быстро переворачивалъ твои толстыя и жесткія страницы, всею душою удивляясь дивнымъ приключеніямъ, такою широкою кистью, такъ могуче и красно изложеннымъ... О, милордъ! что ты со мною сдѣлалъ? Ты такъ живо напомнилъ мнѣ золотые годы моего дѣтства, что я вижу ихъ предъ собою; желѣзная современность исчезаетъ изъ моего сознанія; я снова становлюсь ребенкомъ, вотъ уже съ бьющимся сердцемъ бѣгу по пыльнымъ улицамъ моего родного городка, вотъ вхожу на дворъ родимаго дома съ тесовою кровлею, окруженный бревенчатымъ заборомъ... Вотъ отъ воротъ до крыльца трехугольный палисадникъ, съ акаціями, черемуховымъ деревомъ и купою розановъ... Вотъ и огородъ, которому со двора оградою служитъ погребъ и другія службы, съ небольшими промежутками частокола, а съ остальныхъ трехъ сторонъ плетень... Вотъ и маленькая баня при входѣ въ огородъ, даже и среди бѣлаго дня пугавшая мое дѣтское воображеніе своею таинственною пустотою... а вотъ возлѣ нея и стогъ сѣна, на которомъ я часто воображалъ себя то Александромъ Македонскимъ, то Ерусланомъ Лазаревичемъ... вотъ онъ и весь огородъ, съ своими грядами, своими подсолнечниками, которые черезъ его плетень дружелюбно наклонили свои густыя вѣтви... А въ домѣ—тамъ нѣтъ ни комнаты, ни мѣста на чердакѣ, гдѣ бы я не читалъ или не мечталъ, или, позднѣе, не сочинялъ...

По поводу одной книжки стихотвореній Бѣлинскій также вспоминаетъ невольно «золотое время дѣтства»:

«Еще будучи мальчикомъ и ученикомъ уѣзднаго училища, я, въ огромныя кипы тетрадей, неутомимо, денно и нощно, и безъ всякаго разбору, списывалъ стихотворенія Карамзина, Дмитріева, Сумарокова, Державина, Хераскова, Петрова, Станевича, Богдановича, Максима Невзорова, Крылова и другихъ, я плакалъ, читая «Бѣдную Лизу» и «Марьину Рощу» и вмѣнялъ себѣ въ священнѣйшую обязанность бродить по полямъ, при томномъ свѣтѣ луны, съ понурымъ лицомъ à la Эрастъ Чертополоховъ. Воспоминанія дѣтства такъ обольстительны, къ тому же природа дала мнѣ самое чувствительное сердце и сдѣлала меня поэтомъ, ибо, еще будучи ученикомъ уѣзднаго училища, я писалъ баллады и думалъ, что онѣ не хуже балладъ Жуковскаго, не хуже «Раисы» Карамзина, отъ которой я тогда сходилъ съ ума». Стихи мальчикъ-Бѣлинскій писалъ вообще, по его признанію, «въ родѣ чисто классическомъ и совершенно чувствительномъ», съ романтическимъ же онъ познакомился уже тогда, когда въ немъ совсѣмъ прошло это «стихотворное неистовство».

Это увлеченіе литературою не прерывалось и въ пензенской гимназіи, куда Бѣлинскій поступилъ въ 1825 г. Постановка преподаванія была здѣсь, какъ говорилъ тотъ же Лажечниковъ, далеко не удовлетворительна. Нашелся, однако, среди педагоговъ человѣкъ, не похожій на своихъ товарищей, которые мало интересовались и учениками, и преподаваніемъ, смотря на послѣднее, какъ на несложное ремесло: задалъ выучить урокъ по учебнику—и конецъ дѣлу. Учитель естественной исторіи, М. М. Поповъ, одно время преподававшій въ старшемъ классѣ и словесность, былъ, по выраженію Лажечникова, «кладомъ для гимназіи». Человѣкъ образованный, любившій науку и литературу, онъ тепло и участливо относился къ ученикамъ и особое вниманіе обратилъ на Бѣлинскаго, какъ на ученика, видимо, очень способнаго.

Бѣлинскій мало успѣвалъ у учителей, требовавшихъ одного заучиванія уроковъ наизусть. «Бывало, поэкзаменуйте его, какъ обыкновенно экзаменуютъ дѣтей,—вспоминаетъ о своемъ любимомъ ученикѣ Поповъ: — онъ изъ послѣднихъ; а поговорите съ нимъ дома, по-дружески, даже о точныхъ наукахъ—онъ первый ученикъ. Учителя словесности были не совсѣмъ довольны его успѣхами, но сказывали, что онъ лучше всѣхъ товарищей своихъ писалъ сочиненія на заданныя темы»...

«Онъ бралъ у меня книги и журналы, — разсказываетъ Поповъ:— пересказывалъ мнѣ прочитанное, судилъ и рядилъ обо всемъ, задавалъ вопросъ за вопросомъ... По лѣтамъ и тогдашнимъ отношеніямъ нашимъ, онъ былъ неравный мнѣ; но не помню, чтобы въ Пензѣ съ кѣмъ-нибудь

другимъ я такъ душевно разговаривалъ, какъ съ нимъ, о наукахъ и литературѣ... Естественныя науки превращались у насъ въ теорію или исторію литературы. Отъ Бюффона-натуралиста я переходилъ къ Бюффону-писателю, отъ Гумбольдтовой географіи растеній къ его «Картинамъ природы», отъ нихъ къ поэзіи разныхъ странъ, потомъ... къ цѣлому міру въ сочиненіяхъ Тацита и Шекспира, къ поэзіи въ сочиненіяхъ Шиллера и Жуковскаго... А гербаризація? Бывало, когда отправлюсь съ учениками за городъ, во всю дорогу, пока не дойдетъ до засѣки, что позади городского гулянья, или до рощи, что за рѣкой Пензой, Бѣлинскій пристаетъ ко мнѣ съ вопросами о Гёте, Вальтеръ-Скоттѣ, Байронѣ, Пушкинѣ, романтизмѣ и обо всемъ, что волновало въ то доброе время наши молодыя сердца».

Всѣ новѣйшія произведенія русской литературы на гимназической скамьѣ привлекали живое вниманіе Бѣлинскаго. Онъ и самъ писалъ въ эту пору стихи, при чемъ, по собственнымъ его словамъ, почиталъ себя одно время «опаснымъ соперникомъ Жуковскаго». Онъ былъ уже и ярымъ поклонникомъ Пушкина, первыя произведенія котораго въ эту пору каждое оставляли по себѣ сильное впечатлѣніе въ молодыхъ читателяхъ. Все въ Пушкинѣ было ново и привлекательно; небывалый еще по легкости и изяществу русскій стихъ, новыя формы, новое содержаніе—все это предвѣщало новую эру въ литературѣ. Слова Тургенева ярко передаютъ обаяніе, производимое Пушкинымъ на современниковъ, и въ томъ числѣ и на Бѣлинскаго: «Пушкинъ былъ въ ту эпоху для меня, какъ и для моихъ сверстниковъ, чѣмъ-то въ родѣ полубога. Мы, дѣйствительно, поклонялись ему».—Помимо новѣйшихъ произведеній, Бѣлинскій продолжалъ читать и перечитывать все, что было подъ руками, и это чтеніе, хотя и безпорядочное, дало ему, на школьной еще скамьѣ, то обширное и подробное знакомство съ русской литературой, которое такъ пригодилось ему впослѣдствіи, когда онъ выступилъ критикомъ.—Въ это же время онъ пристрастился и къ театру. Чтобы имѣть возможность посѣщать театръ, Бѣлинскій всячески сокращалъ и урѣзывалъ и безъ того скромные свои расходы.

Будучи въ гимназіи, онъ жилъ на частной квартирѣ, вмѣстѣ съ нѣсколькими бѣдняками-семинаристами. Нерѣдко приходилось терпѣть нужду. «Въ гимназіи, по возрасту и по возмужалости, — вспоминаетъ Поповъ,— Бѣлинскій во всѣхъ классахъ былъ старше многихъ сотоварищей. Наружность его мало измѣнилась впослѣдствіи; онъ и тогда былъ неуклюжъ, угловатъ въ движеніяхъ. Неправильныя черты лица его между хорошенькими лицами другихъ дѣтей казались суровыми и старыми. На вакаціи онъ ѣздилъ въ Чембаръ; но не помню, чтобы отецъ его пріѣзжалъ къ нему въ Пензу; не помню, чтобы кто-нибудь принималъ въ немъ участіе. Онъ, видимо, былъ безъ женскаго призору, носилъ платье кое-какое, иногда съ не-

починенными прорѣхами. Другой на его мѣстѣ смотрѣлъ бы жалкимъ, заброшеннымъ мальчикомъ, а у него взглядъ и поступки были смѣлые, какъ бы говорившіе, что онъ не нуждается ни въ чьей помощи, ни въ чьемъ покровительствѣ. Таковъ онъ былъ и послѣ, такимъ пошелъ и въ могилу». Съ ранней поры Бѣлинскому приходилось такимъ образомъ проходить въ жизни суровую школу, которая, однако, не подломила его таланта и нравственной самостоятельности.

Гимназіи Бѣлинскій не кончилъ. Въ февралѣ 1829 г. онъ былъ исключенъ изъ списка учениковъ, съ отмѣткою «за нехожденіе въ классъ». Это нехожденіе объяснялось тѣмъ, что Бѣлинскій, уже восемнадцатилѣтній юноша, задумалъ поступить въ университетъ и надѣялся дома скорѣе, чѣмъ въ гимназіи, приготовиться ко вступительному экзамену.

Онъ добился своего, и въ сентябрѣ 1829 г. былъ уже студентомъ московскаго университета по словесному факультету.

Университетъ, однако, во многомъ разочаровалъ рвавшагося въ него Бѣлинскаго. Дѣло въ томъ, что московскій университетъ въ эти годы далеко не стоялъ еще на той высотѣ своего призванія въ дѣлѣ науки и просвѣщенія, на которую поднялся впослѣдствіи, когда съ 1835 г. во главѣ его сталъ попечитель графъ С. Г. Строгановъ. Новый попечитель обновилъ составъ профессоровъ, сумѣлъ привлечь въ него и подготовить молодыхъ европейски образованныхъ ученыхъ, каковы были Рѣдкинъ, Крыловъ, Грановскій, Кавелинъ, Соловьевъ, Кудрявцевъ и др. Во времена же Бѣлинскаго, по выраженію его товарища по университету, извѣстнаго впослѣдствіи славянофила К. С. Аксакова: «солнце истины освѣщало умы очень тускло и холодно». Предметъ, наиболѣе интересовавшій Бѣлинскаго, русская словесность,—скучно и монотонно читалась престарѣлымъ профессоромъ Побѣдоносцевымъ, который держался всецѣло литературныхъ преданій, взглядовъ и вкусовъ XVIII вѣка. На лекціяхъ его студенты больше, чѣмъ слушали, болтали и школьничали. Бѣлинскій изъ университетскихъ преподавателей болѣе всего могъ цѣнить Надеждина. Литературно-критическія статьи Надеждина, подобно лекціямъ его, оставили, какъ извѣстно, свой слѣдъ на литературныхъ взглядахъ Бѣлинскаго.

Если университетскія лекціи мало дали Бѣлинскому знаній и возбужденій къ умственной дѣятельности, то съ другой стороны много дала среда, кругъ товарищей, гдѣ онъ вращался. Университетская молодежь старалась самостоятельно удовлетворить своимъ умственнымъ интересамъ и запросамъ. Русская литература и ея новинки занимали въ этихъ интересахъ главное мѣсто. Бѣлинскій, попавшій на «казенный счетъ», устраиваетъ въ 11-мъ нумерѣ студенческаго общежитія литературные вечера, на которыхъ находили себѣ откликъ всѣ тогдашнія литературныя злобы дня.

«Умственная дѣятельность (въ студенческомъ кругу), особенно въ 11-мъ нумерѣ, шла бойко,—разсказываетъ товарищъ Бѣлинскаго:—споръ о классицизмѣ и романтизмѣ еще не прекращался тогда между литераторами... И между студентами были свои классики и романтики, сильно ратовавшіе между собою на словахъ. Нѣкоторые изъ старшихъ студентовъ, слушавшіе теорію краснорѣчія и поэзіи Мерзлякова и напитанные его переводами изъ греческихъ и римскихъ поэтовъ, были въ восторгѣ отъ его перевода Тассова «Іерусалима» и очень неблагосклонно отзывались о «Борисѣ Годуновѣ» Пушкина, только-что появившемся въ печати, съ торжествомъ указывая на глумливые о немъ отзывы въ «Вѣстникѣ Европы». Первогодичные студенты, воспитанные въ школѣ Жуковскаго и Пушкина и не заставшіе уже въ живыхъ Мерзлякова, мало сочувствовали его переводамъ и взамѣнъ этого знали наизусть прекрасныя пѣсни его и безпрестанно декламировали цѣлыя сцены изъ комедіи Грибоѣдова, которая тогда еще не была напечатана. Пушкинъ приводилъ насъ въ неописанный восторгъ. Между младшими студентами самымъ ревностнымъ поборникомъ романтизма былъ Бѣлинскій, который отличался необыкновенной горячностью въ спорахъ и, казалось, готовъ былъ вызвать на битву всѣхъ, кто противорѣчилъ его убѣжденіямъ. Увлекаясь пылкостью, онъ ѣдко и безпощадно преслѣдовалъ все пошлое и фальшивое, былъ жестокимъ гонителемъ всего, что отзывалось реторикою и литературнымъ старовѣрствомъ. Доставалось отъ него иногда не только Ломоносову, но и Державину за реторическіе стихи ипустозвонныя фразы».

Любопытенъ для характеристики Бѣлинскаго и его воспріимчивости къ художественнымъ красотамъ разсказъ современника о томъ, какъ Бѣлинскій встрѣтилъ «Бориса Годунова», въ то время только-что появившагося въ печати въ полномъ видѣ. Трагедія Пушкина привела Бѣлинскаго въ восторгъ. Онъ съ удивленіемъ замѣчалъ въ этой драмѣ вѣрность изображеній времени, жизни и людей; чувствовалъ поэзію въ пятистопныхъ безрифменныхъ стихахъ, которые прежде называлъ прозаичными; чувствовалъ поэзію и въ самой прозѣ Пушкина. Особенно поразила его сцена «Корчма на литовской границѣ». Прочитавъ разговоръ хозяйки корчмы съ собравшимися у нея бродягами, улики противъ Григорія и бѣгство его черезъ окно, Бѣлинскій выронилъ книгу изъ рукъ, чуть не сломалъ стула, на которомъ сидѣлъ, и восторженно закричалъ: «да это живые; я видѣлъ, я вижу, какъ онъ бросился въ окно!» Эта необычайная воспріимчивость къ художественнымъ впечатлѣніямъ, эстетическое чутье всегда были и впослѣдствіи надежными руководителями Бѣлинскаго при оцѣнкѣ новыхъ поэтическихъ произведеній, а эта способность воспламеняться и заражать читателей своимъ благороднымъ, всегда искреннимъ энтузіазмомъ много содѣйствовала его литературному успѣху и вліянію.

Въ университетской обстановкѣ, вблизи литературнаго движенія, въ которомъ играли тогда важную роль и члены университета (особенно Надеждинъ) и интересъ къ которому поддерживался въ немъ и кружкомъ товарищей, Бѣлинскій, послѣ гимназическаго стихотворства, хотѣлъ снова попробовать свои силы. Онъ не зналъ пока своей настоящей дороги, и подъ вліяніемъ увлеченія романтическими драмами Шиллера, особенно «Разбойниками», написалъ трагедію «Дмитрій Калининъ» переполненную страстными тирадами о людскихъ злодѣйствахъ и страданіяхъ невинныхъ. Несмотря на неестественность и ходульность необузданныхъ страстей, изображенныхъ въ трагедіи, она замѣчательна какъ потому, что выражала пылкія идеальныя стремленія 20-лѣтняго Бѣлинскаго, такъ и потому, что онъ внесъ въ свое произведеніе кое-что, навѣянное непосредственно знакомымъ ему помѣщичьимъ крѣпостнымъ бытомъ. Мысль трагедіи дали эти наблюденія провинціальнаго быта и негодованіе къ возмутительнымъ явленіямъ крѣпостного права.

На свое произведеніе Бѣлинскій возлагалъ большія надежды, ожидая отъ него не только литературной славы, но и матеріальныхъ выгодъ. Эти надежды очень скоро рухнули. Когда пьеса была представлена въ цензурный комитетъ, то профессорамъ университета, засѣдавшимъ въ комитетѣ, она показалась крайне предосудительною, и Бѣлинскому сдѣланъ былъ выговоръ.

Эта неудача сильно поразила Бѣлинскаго, хотя онъ вскорѣ радовался уже, что слабое это произведеніе не увидѣло свѣта. Но дѣло этимъ не ограничилось. Дурное впечатлѣніе, произведенное трагедіею на профессоровъ, отразилось на ея авторѣ еще болѣе чувствительнымъ образомъ. Еще до того, у Бѣлинскаго происходили какія-то столкновенія съ инспекціей и съ однимъ изъ профессоровъ. Эти столкновенія, непосѣщеніе лекцій и, наконецъ, исторія съ трагедіей вызвали со стороны профессоровъ строгое отношеніе къ Бѣлинскому. Весной 1832 года онъ тяжело былъ боленъ, надѣялся сдать экзамены осенью, но въ сентябрѣ состоялось опредѣленіе объ исключеніи его изъ университета «за неспособность».

По выходѣ изъ университета, Бѣлинскій очутился въ самыхъ стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Онъ перебивался то уроками, то переводною и иною мелкою литературною работой, которую нашелъ, благодаря знакомству съ Надеждинымъ, въ издаваемыхъ послѣднимъ журналахъ «Телескопѣ» и «Молвѣ». Матеріальное положеніе Бѣлинскаго стало поправляться нѣсколько лишь съ 1834 года, когда появились его статьи, подъ заглавіемъ «Литературныя мечтанія», обратившія сразу общее вниманіе на начинающаго критика. Благодаря извѣстности, которую пріобрѣталъ Бѣлинскій, мало-по-малу лучше оплачивался и его литературный трудъ. Но вотъ

еще въ какой печальной обстановкѣ засталъ Бѣлинскаго въ Москвѣ Лажечниковъ, навѣстившій его однажды:

«Бѣлинскій квартировалъ въ *бель-этажѣ* (слово это было подчеркнуто въ его адресѣ), въ какомъ-то переулкѣ между Трубой и Петровкой. Красивъ же былъ его бель-этажъ! Внизу жили и работали кузнецы. Пробраться къ нему надо было по грязной лѣстницѣ; рядомъ съ его каморкой была прачешная, изъ которой безпрестанно неслись къ нему испаренія мокраго бѣлья и вонючаго мыла. Каково было дышать этимъ воздухомъ, особенно ему, со слабой грудью! Каково было слышать за дверями упоительную бесѣду прачекъ и подъ собою стукотню отъ молотовъ русскихъ циклоповъ, если не подземныхъ, то подпольныхъ! Не говорю о бѣднѣйшей обстановкѣ его комнаты, не запертой (хотя я не засталъ хозяина дома), потому что въ ней нечего было украсть. Прислуги никакой; онъ ѣлъ, вѣроятно, то, что ѣли его сосѣдки. Сердце мое облилось кровью.... Я спѣшилъ бѣжать отъ смрада испареній, обхватившихъ меня, скорѣе на чистый воздухъ, чтобы хоть нѣсколько облегчить грудь отъ всего, что я видѣлъ, что я прочувствовалъ въ этомъ убогомъ жилищѣ литератора, заявившаго Россіи уже свое имя».

Они вмѣстѣ придумывали средства, какъ выйти Бѣлинскому изъ этого положенія, и, наконецъ, рѣшили, чтобы онъ поступилъ въ домашніе секретари одного богатаго барина, пописывавшаго кое-что подъ псевдонимомъ. Занятія секретаря должны были состоять въ исправленіи грамматическихъ и другихъ погрѣшностей въ сочиненіяхъ этого любителя литературы. Лажечниковъ и рекомендовалъ въ секретари Бѣлинскаго.

«Вскорѣ онъ водворенъ въ аристократическомъ домѣ, — разсказываетъ Лажечниковъ: — пользуется не только чистымъ, даже ароматическимъ воздухомъ, имѣетъ прислугу, которая летаетъ по его мановенію, имѣетъ хорошій столъ, отличныя вина, слушаетъ музыку разныхъ европейскихъ знаменитостей (одна дочь его прев-ва музыкантша), располагаетъ огромной библіотекой, будто собственной, однимъ словомъ, катается, какъ сыръ въ маслѣ. Но вскорѣ заходятъ тучи надъ этой блаженной жизнью. Оказывается, что за нее надо подчасъ жертвовать своими убѣжденіями, собственной рукой писать имъ приговоры, дѣйствовать противъ совѣсти. И вотъ, въ одно прекрасное утро, Бѣлинскій исчезаетъ изъ дома, начиненнаго всѣми житейскими благами, исчезаетъ со своимъ добромъ, завязаннымъ въ носовой платокъ, и съ сокровищемъ, которое онъ носитъ въ груди своей. Его превосходительству оставлена записка съ извиненіемъ нижеподписавшагося покорнаго слуги, что онъ не сроденъ къ должности домашняго секретаря».

Тяжелыя испытанія, вынесенныя Бѣлинскимъ въ его трудные Lehrjahre,

не заставили его упасть духомъ. О его бодромъ нравственномъ настроеніи даютъ понятіе слова, сказанныя имъ въ письмѣ къ матери, еще въ то время, когда его внѣшнія обстоятельства были очень неблагопріятны.

«Я нигдѣ и никогда не пропаду, несмотря на всѣ гоненія жестокой судьбы,—писалъ Бѣлинскій:—чистая совѣсть, увѣренность въ незаслуженности несчастій, нѣсколько ума, порядочный запасъ опытности, а болѣе всего нѣкоторая твердость въ характерѣ не дадутъ мнѣ погибнуть. Не только не жалуюсь на мои несчастія, но еще радуюсь имъ: собственнымъ опытомъ узналъ я, что школа несчастія есть самая лучшая школа. Будущее не страшитъ меня. Перебираю мысленно всю жизнь мою, и хотя съ какимъ-то горестнымъ чувствомъ вижу, что я ничего не сдѣлалъ хорошаго, замѣчательнаго, за то не могу упрекнуть себя ни въ какой низости, ни въ какой подлости, ни въ какомъ поступкѣ, клонящемся ко вреду ближняго». Несмотря на всѣ жизненныя испытанія и припадки острой хандры, горечи и недовольства, настроеніе, вылившееся въ этомъ письмѣ, настроеніе безупречно чистаго душою борца за все признанное имъ благимъ и высокимъ остается у Бѣлинскаго преобладающимъ въ его послѣдующей жизни и дѣятельности.

II.

Внѣшнія событія жизни Бѣлинскаго въ тѣ 14 лѣтъ до его смерти, которыя всецѣло были отданы служенію русской литературѣ, очень несложны. Это—событія, неизбѣжныя въ жизни необезпеченнаго литератора-труженика: много тяжелаго и утомительнаго труда, оплачиваемаго нерѣдко плохо; иногда лишенія, переходы отъ работы къ отдыху или горячему обмѣну мнѣній въ кругу немногихъ друзей-единомышленниковъ и снова къ срочной работѣ—въ общемъ жизнь, не представляющая никакихъ внѣшнихъ блестящихъ разительныхъ чертъ, но несомнѣнно дававшая Бѣлинскому, несмотря на многія и неизбѣжныя огорченія, то глубокое нравственное удовлетвореніе, которое дороже всего во всякой дѣятельности, жизнь, полная глубокаго нравственнаго смысла и содержанія.

Бѣлинскій писалъ сначала въ московскихъ «Телескопѣ» и «Молвѣ», потомъ въ «Московскомъ Наблюдателѣ». Осенью 1839 г. онъ перебрался въ Петербургъ, гдѣ завѣдывалъ критическимъ и библіографическимъ отдѣломъ сначала въ «Отечественныхъ Запискахъ», а съ 1847 года въ «Современникѣ». Петербургскій періодъ его литературной дѣятельности является наиболѣе важнымъ и плодотворнымъ для русской литературы. Къ этому же времени относится и наибольшее количество извѣстій и воспоминаній современниковъ лично о Бѣлинскомъ. Эти воспоминанія, большая часть которыхъ оставлена первостепенными литературными дѣятелями, и

обширная переписка Бѣлинскаго даютъ такой благодарный матеріалъ, что достаточно сгруппировать немногое, чтобы всѣ существенныя черты личности Бѣлинскаго, неразрывно связанныя съ его литературною дѣятельностью и во многомъ ее объясняющія, выступили предъ читателемъ ярко и выпукло.

Начнемъ съ внѣшности Бѣлинскаго. «Это былъ — пишетъ Тургеневъ, одинъ изъ ближайшихъ друзей Бѣлинскаго,—человѣкъ средняго роста, на первый взглядъ довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, съ впалою грудью и понурой головой. Одна лопатка замѣтно выдавалась больше другой. Всякаго, даже не медика, немедленно поражали въ немъ всѣ главные признаки чахотки... При томъ же (въ послѣдніе годы), онъ почти постоянно кашлялъ. Лицо онъ имѣлъ небольшое, блѣдно-красноватое, носъ неправильный, какъ бы приплюснутый, ротъ слегка искривленный, особенно, когда раскрывался, маленькіе, частые зубы; густые бѣлокурые волосы падали клокомъ на бѣлый, прекрасный, хотя и низкій лобъ. Я не видывалъ глазъ, болѣе прелестныхъ, чѣмъ у Бѣлинскаго. Голубые, съ золотыми искорками въ глубинѣ зрачковъ, эти глаза, въ обычное время полузакрытые рѣсницами, расширялись и сверкали въ минуты воодушевленія; въ минуты веселости взглядъ ихъ принималъ плѣнительное выраженіе привѣтливой доброты и безпечнаго счастія. Голосъ у Бѣлинскаго былъ слабъ, съ хрипотою, но пріятенъ; говорилъ онъ съ особенными удареніями и придыханіями. «упорствуя, волнуясь и спѣша» (стихъ г. Некрасова). Смѣялся онъ отъ души, какъ ребенокъ. Онъ любилъ расхаживать по комнатѣ, постукивая пальцами красивыхъ и маленькихъ рукъ по табакеркѣ съ табакомъ. Кто видѣлъ его только на улицѣ, когда въ тепломъ картузѣ, старой енотовой шубенкѣ и стоптанныхъ калошахъ, онъ торопливой и неровной походкой пробирался вдоль стѣнъ и съ пугливой суровостью, свойственной нервическимъ людямъ, озирался вокругъ—тотъ не могъ составить себѣ вѣрнаго о немъ понятія... Между чужими людьми, на улицѣ, Бѣлинскій легко робѣлъ и терялся. Дома онъ носилъ обыкновенно сѣрый сюртукъ на ватѣ и держался вообще очень опрятно».

«Но для того, чтобы имѣть о Бѣлинскомъ полное понятіе, видѣть его во всемъ блескѣ,—вспоминалъ другой близкій другъ его, И. И. Панаевъ,—надобно было навести разговоръ на тѣ общественные предметы и вопросы, которые живо его затрогивали, и раздражать его противорѣчіемъ; затронутый, онъ вдругъ выросталъ, слова его лились потокомъ, вся фигура дышала внутренней энергіей и силой, голосъ по временамъ задыхался, всѣ мускулы лица приходили въ напряженіе... Онъ нападалъ на своего противника съ силой человѣка, власть имѣющаго, мимоходомъ игралъ имъ какъ соломенкой, издѣвался, ставилъ его въ комическое положеніе и, между тѣмъ, продолжалъ развивать свою мысль съ энергіей поразительной. Въ

такія минуты этотъ обыкновенно застѣнчивый, робкій и неловкій человѣкъ былъ неузнаваемъ». Друзья называли Бѣлинскаго за эти минуты безудержнаго увлеченія «неистовымъ Виссаріономъ».

Эта способность Бѣлинскаго воодушевляться, какъ только заходила рѣчь объ излюбленныхъ имъ предметахъ, способность во все, что говорилъ и писалъ, вкладывать душу—покоряла Бѣлинскому всѣхъ, кто имѣлъ счастье ближе присмотрѣться къ нему. «Онъ имѣлъ на меня и на всѣхъ насъ чарующее дѣйствіе,—вспоминаетъ третій изъ членовъ тѣснаго кружка, группировавшагося въ Петербургѣ около Бѣлинскаго и редакціи «Отеч. Зап.», К. Д. Кавелинъ: — Это было нѣчто гораздо больше оцѣнки ума, обаянія таланта,—нѣтъ, это было дѣйствіе человѣка, который не только шелъ далеко впереди насъ яснымъ пониманіемъ стремленій и потребностей того мыслящаго меньшинства, къ которому мы принадлежали, не только освѣщалъ и указывалъ намъ путь, но всѣмъ своимъ существомъ жилъ для тѣхъ идей и стремленій, которыя жили во всѣхъ насъ, отдавался имъ страстно, наполнялъ ими все свое бытіе. Прибавьте къ этому гражданскую, политическую и всяческую безупречность, безпощадность къ самому себѣ, при большомъ самолюбіи, и вы поймете, почему этотъ человѣкъ господствовалъ въ кружкѣ неограниченно. Мы понимали, что онъ въ своихъ сужденіяхъ часто бывалъ неправъ, увлекался страстно за предѣлы истины; мы знали, что свѣдѣнія его, кромѣ русской литературы и ея исторіи, бывали недостаточны; мы видѣли, что Бѣлинскій часто поступалъ, какъ ребенокъ, какъ ребенокъ капризничалъ, малодушествовалъ и увлекался... Но все это исчезало передъ подавляющимъ авторитетомъ великаго таланта, страстной, благороднѣйшей гражданской мысли и чистой личности, безъ пятна, личности, которой нельзя было подкупить ничѣмъ,—даже ловкой игрой на струнѣ самолюбія.—Бѣлинскаго въ нашемъ кружкѣ не только нѣжно любили и уважали, но и побаивались. Каждый пряталъ гниль, которую носилъ въ душѣ, какъ можно подальше»...

«Вліяніе Бѣлинскаго на мое нравственное и умственное воспитаніе за этотъ періодъ моей жизни»,—добавляетъ Кавелинъ,—было неизмѣримо, и оно никогда не изгладится изъ моей памяти». И подобное же признаніе дѣлаютъ такія крупныя величины русской литературы, какъ Тургеневъ, Гончаровъ, Достоевскій, Некрасовъ и другіе.

«Наивная и страстная душа»—такъ характеризуетъ Бѣлинскаго Некрасовъ въ извѣстномъ стихотвореніи «Памяти пріятеля». Это дѣйствительно была «наивная душа», полная простоты, искренности, не знавшая никакихъ своекорыстныхъ расчетовъ, по-дѣтски открытая. Дѣтей же онъ любилъ горячо, и своихъ, и чужихъ. Трогательны черты его дѣтскаго простодушія въ практическихъ дѣлахъ.

«Безкорыстнѣе и честнѣе Бѣлинскаго я не встрѣчалъ ни одного человѣка въ литературѣ въ послѣднія двадцать лѣтъ, — говоритъ Панаевъ:— Когда рѣчь заходила о платѣ за трудъ, онъ приходилъ въ крайнее смущеніе, весь вспыхивалъ и сейчасъ же соглашался на всякія предложенія, самыя невыгодныя для себя... Съ деньгами онъ обращался, какъ ребенокъ: онъ то экономничалъ, лишалъ себя необходимаго, то вдругъ прорывался и позволялъ себѣ неслыханныя роскоши при своемъ положеніи. Увлеченіе было его натурою, и онъ увлекался даже мелочами». Панаевъ изумился однажды въ Москвѣ, войдя къ Бѣлинскому и увидѣвъ его бѣдную комнату, уставленную цвѣтами.—«У меня, батюшка, страсть къ цвѣтамъ. Я зашелъ сегодня утромъ въ цвѣточный рядъ и соблазнился. Послѣдніе тридцать рублей отдалъ... Завтра ужъ мнѣ формально ѣсть нечего будетъ»... И, несмотря на это, Бѣлинскій въ это утро былъ веселѣе и одушевленнѣе обыкновеннаго.—Съ такимъ же дѣтскимъ увлеченіемъ Бѣлинскій игралъ въ дни отдыха въ карты съ пріятелями. «Повѣритъ ли читатель,—пишетъ, напр., Кавелинъ,—что въ нашу игру, невиннѣйшую изъ невинныхъ, которая въ худшемъ случаѣ оканчивалась рублемъ, двумя, Бѣлинскій вносилъ всѣ перипетіи страсти, отчаянія и радости, точно участвовалъ въ великихъ историческихъ событіяхъ? Садился онъ играть съ большимъ увлеченіемъ, и, если ему везло, былъ довольно веселъ... Поставя нѣсколько ремизовъ, Бѣлинскій становился мрачнымъ, жаловался на судьбу, которая его во всемъ преслѣдуетъ, и, наконецъ, съ отчаяніемъ бросалъ карты и уходилъ въ темную комнату. Мы продолжали игру какъ будто ни въ чемъ не бывало. Кульчицкій *) (игравшій обыкновенно счастливо) нарочно ремизился отчаянно и мы шумно выражали свою радость, что наконецъ-то и онъ попался. Послѣ двухъ-трехъ такихъ умышленныхъ ремизовъ и криковъ, сосѣдняя дверь тихонько пріотворялась, и Бѣлинскій выглядывалъ оттуда на игру съ сіяющимъ лицомъ. Еще два-три ремиза—и онъ выходилъ изъ темной комнаты, съ азартомъ садился за игру и она продолжалась вчетверомъ попрежнему. Такая наивность и ребячество меня всегда глубоко поражали въ замѣчательныхъ людяхъ и еще сильнѣе къ нимъ привязывали... Я дорожу этой чертой, какъ очень характеристической въ Бѣлинскомъ».

«Это была самая восторженная личность, изъ всѣхъ встрѣчавшихся мнѣ въ жизни,—говоритъ о Бѣлинскомъ Достоевскій, изумлявшійся въ немъ цѣльности и чистотѣ нравственнаго характера. «Этотъ всеблаженный чело-

*) Молодой литераторъ, умершій въ 1845 или 1846 г., писавшій юмористическіе очерки, въ томъ числѣ сочинившій книжку о преферансѣ, написанную не безъ участія кружка Бѣлинскаго.

вѣкъ, обладавшій такимъ удивительнымъ спокойствіемъ совѣсти, иногда, впрочемъ, очень грустилъ, но грусть эта была особаго рода,—не отъ сомнѣній, не отъ разочарованій, о нѣтъ, а вотъ—почему не сегодня, почему не завтра? Это былъ самый торопившійся человѣкъ въ цѣлой Россіи. Разъ я встрѣтилъ его, часа въ три пополудни, у Знаменской церкви. Онъ сказалъ мнѣ, что выходилъ гулять и идетъ домой.— «Я сюда часто захожу взглянуть, какъ идетъ постройка (вокзала Николаевской желѣзной дороги, тогда еще строившейся). Хоть тѣмъ сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконецъ-то и у насъ будетъ хоть одна желѣзная дорога. Вы не повѣрите, какъ эта мысль облегчаетъ мнѣ иногда сердце».—Это было горячо и хорошо сказано; Бѣлинскій никогда не рисовался».

Настроеніе Бѣлинскаго питалось, однако, чаще такими фактами, въ которыхъ отраднаго было не много. Всегда нервно настроенный, онъ болѣзненно откликался на всякое людское страданіе, мимо котораго другіе проходятъ не замѣчая его. Всякое униженіе человѣческаго достоинства до боли волновало и огорчало его. Отъ отвлеченностей теорій къ болѣе реальному пониманію жизни его всегда приводила могучая сила непосредственнаго чувства, возбуждаемаго столько же самою жизнью, сколько художественными ея изображеніями, сила, какъ-то разъ излившаяся въ слѣдующихъ строкахъ:

«Что мнѣ въ томъ, что живетъ общее, когда страдаетъ личность? — спрашивалъ Бѣлинскій, отказываясь понять, какъ можно успокоивать себя, напр., соображеніями о мнимомъ процвѣтаніи общества, въ которомъ несчастны хотя бы нѣкоторые.—Что мнѣ въ томъ, что геній на землѣ живетъ въ небѣ, когда толпа валяется въ грязи? Что мнѣ въ томъ, что *я* понимаю идею, что *мнѣ* открытъ міръ идеи въ искусствѣ, въ религіи, въ исторіи, когда я не могу этимъ дѣлиться со всѣми, кто долженъ быть моими братьями по человѣчеству, моими ближними по Христѣ, но кто— мнѣ чужіе и враги по своему невѣжеству? Что мнѣ въ томъ, что для избранныхъ есть блаженство, когда большая часть и не подозрѣваетъ его возможностей? Прочь же отъ меня блаженство, если оно — достояніе мнѣ одному изъ тысячъ! Не хочу я его, если оно у меня не общее съ меньшими братьями моими! Сердце мое обливается кровью и судорожно содрогается при взглядѣ на толпу и ея представителей. Горе, тяжелое горе овладѣваетъ мною при видѣ и босоногихъ мальчишекъ, играющихъ на улицѣ въ бабки, и оборванныхъ нищихъ, и пьянаго извозчика, и идущаго съ развода солдата, и бѣгущаго съ портфелемъ подъ мышкою чиновника, и довольнаго собою офицера, и гордаго вельможи. Подавши грошъ солдату, я чуть не плачу, подавши грошъ нищей, я бѣгу отъ нея, какъ будто сдѣлавши худое дѣло и какъ будто не желая услышать шелеста собственныхъ ша-

говъ своихъ. И это жизнь: сидѣть на улицахъ въ лохмотьяхъ, съ идіотскимъ выраженіемъ на лицѣ, набирать днемъ нѣсколько грошей, а вечеромъ пропить ихъ въ кабакѣ—и люди это видятъ, и никому до этого нѣтъ дѣла!.. И это общество, на разумныхъ началахъ существующее, явленіе дѣйствительности! И послѣ этого имѣетъ ли право человѣкъ забываться въ искусствѣ, въ знаніи!»

Эта горячая тирада лучше, чѣмъ отзывы посторонннихъ, характеризуетъ то «святое недовольство», ту тревожную жажду справедливости въ людскихъ отношеніяхъ, которыми былъ полонъ Бѣлинскій, и въ критической его дѣятельности всюду отразилось это горячее стремленіе къ правдѣ, хотя далеко и не въ такой страстной и рѣзкой формѣ, какъ въ его перепискѣ, гдѣ онъ чувствовалъ меньше стѣсненій. Но и подъ игомъ такихъ стѣсненій въ каждой написанной имъ страницѣ онъ является чистымъ восторженнымъ идеалистомъ, и литературу онъ ставилъ выше, какъ такую область, въ которой находятъ себѣ откликъ всѣ лучшія движенія человѣческой мысли, въ которой сосредоточено все умственное и нравственное движеніе русскаго общества.

«Какова бы ни была наша литература, — начинаетъ онъ одну изъ своихъ лучшихъ статей:—во всякомъ случаѣ, ея значеніе для насъ гораздо важнѣе, нежели какъ можетъ оно казаться: въ ней, въ одной ней вся наша умственная жизнь и вся поэзія нашей жизни. Только въ ея сферѣ перестаемъ мы быть Иванами и Петрами, а становимся просто людьми, обращаемся къ людямъ и съ людьми».

Въ высшей степени воспріимчивый къ художественнымъ впечатлѣніямъ, онъ по отношенію къ явленіямъ литературы, выходящимъ изъ ряду, всегда оставался «неистовымъ Виссаріономъ», потому что они волновали и затрогивали и эстетическое, и нравственное его чувство. Энтузіазмъ его къ литературѣ былъ неисчерпаемъ. Мы говорили, какъ относился онъ къ Пушкину. Въ такой же страстный восторгъ приводилъ его и Лермонтовъ. По прочтеніи, напр., «Боярина Орши», Бѣлинскій писалъ пріятелю: «Сейчасъ упился я «Оршею». Есть мѣста убійственно хорошія, а тонъ цѣлаго — страшное, дикое наслажденіе. Мочи нѣтъ, я пьянъ и неистовъ. Такіе стихи охмѣляютъ лучше всѣхъ винъ». Читая и перечитывая любимыхъ писателей, Бѣлинскій такъ сживался съ ними, что они становились лично близки и дороги ему. «Я странный человѣкъ,—писалъ онъ пріятелю вскорѣ послѣ смерти одного изъ лучшихъ своихъ друзей, Н. В. Станкевича: — Смерть Станкевича поразила меня сухо, мертво, но если бы ты зналъ, какъ это сухое страданіе тяжело... Его смерть поразила меня особеннымъ образомъ и—повѣришь-ли? — точно также поразила меня смерть Пушкина и Лермонтова. Я считаю ихъ моими потерями, и внутри меня не умолкаетъ

дисгармоническій, сухомучительный звукъ, по которому я не могу не знать, что это мои потери, послѣ которыхъ жизнь много утратила для меня». Такую же почти личную привязанность питалъ онъ и къ Гоголю; высоко ставя художественно-общественное значеніе его произведеній, онъ любилъ и разговоръ, и письма пересыпать гоголевскими словечками и цѣлыми фразами: «Я любилъ васъ, — писалъ онъ въ знаменитомъ письмѣ къ Гоголю, по поводу «Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями»: я любилъ васъ со всею страстью, какъ человѣкъ, кровно связанный со своею страною, можетъ любить ея надежду, честь и славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія и прогресса». И страстный тонъ отповѣди Бѣлинскаго Гоголю-публицисту, которому онъ даже въ искренности отказывалъ, въ значительной мѣрѣ и объясняется страстною любовью Бѣлинскаго къ Гоголю-художнику.

Изъ замѣчательныхъ писателей, дѣятельность которыхъ вся прошла на глазахъ Бѣлинскаго, онъ лично былъ близокъ только съ А. В. Кольцовымъ, и Бѣлинскому почти всецѣло обязаны мы тѣмъ, чѣмъ Кольцовъ сталъ въ русской литературѣ. Онъ не только далъ въ печати критическую оцѣнку Кольцова (до сихъ поръ ни въ чемъ не измѣненную), но и всѣмъ личнымъ своимъ вліяніемъ поддерживалъ Кольцова въ избранной имъ поэтической дѣятельности. Онъ много содѣйствовалъ умственному развитію Кольцова, и главное—воспиталъ его художественный вкусъ, удержалъ на почвѣ народной пѣсни, въ чемъ была главная сила таланта Кольцова. И поэтъ-прасолъ платилъ съ своей стороны критику нѣжною любовью и признательностью.

Такою же любовью и признательностью учителю дышатъ всѣ отчасти цитированные нами отзывы о Бѣлинскомъ писателей, которые только начинали при немъ свою громкую впослѣдствіи дѣятельность. Тургеневъ, Гончаровъ, Достоевскій, Некрасовъ, Григоровичъ и пр., равно узнали, какъ горячо и душевно умѣлъ Бѣлинскій привѣтить и ободрить начинающаго писателя, была бы въ новичкѣ только искра таланта и любви къ литературѣ и—что для Бѣлинскаго было то же самое — сердце, отзывчивое на все человѣческое.

Но эта неистощимая любовь къ литературѣ, любовь, которою Бѣлинскій заражалъ и учениковъ, и читателей, дорого ему стоила. По свойствамъ журнальной работы онъ былъ не только вождемъ въ литературѣ, но и рядовымъ, чернорабочимъ. Не говоря уже о томъ, что его часто томила и болѣзненно раздражала та или иная мысль, которой онъ не могъ высказать,—постоянно ждали очереди не замѣчательныя художественныя произведенія (писать о нихъ было для Бѣлинскаго праздникомъ), а массы текущаго печатнаго матеріала, случайныхъ и плохихъ книгъ, которыя не-

премѣнно надо было просмотрѣть и что-нибудь да сказать о нихъ, чаще всего то, что читать ихъ не стоитъ. Эта неблагодарная черная работа болѣе всего тяготила Бѣлинскаго и надрывала его силы, уже подточенныя лишеніями молодыхъ годовъ.

«Одинъ разъ,—говоритъ Панаевъ,—я засталъ Бѣлинскаго ходящимъ по комнатѣ въ волненіи и съ усиліемъ махающимъ правою рукою.—«Что это съ вами?»—спросилъ я его.—«Рука отекла отъ писанья... Я часовъ восемь сряду писалъ, не вставая. Говорятъ, я самъ виноватъ, потому что откладываю писанье свое до послѣднихъ дней мѣсяца. Можетъ быть, это отчасти и правда, но взгляните, Бога ради, сколько книгъ мнѣ присылаютъ... и какія еще книги — посмотрите: азбуки, грамматики, сонники, гадальныя книжонки! И я долженъ непремѣнно хоть по нѣскольку словъ написать о каждой изъ этихъ книжонокъ!»

Это сознаніе, что силы расходуются на пустяки, порою страшно тяготило Бѣлинскаго. «Я—Прометей въ каррикатурѣ,—жалуется онъ въ одномъ изъ писемъ: «Отеч. Записки»—моя скала, Краевскій *) — мой коршунъ. Мозгъ мой сохнетъ, способности тупѣютъ». Не было времени заниматься подробнымъ обдумываніемъ и отдѣлкою статей. Лучшія изъ нихъ—импровизаціи, писанныя почти безъ помарокъ, наканунѣ печатанія, въ пылу вдохновенія, хотя оно и вызывалось часто привычкой и необходимостью.

«Надобно было взглянуть на Бѣлинскаго въ тѣ минуты, когда онъ писалъ что-нибудь, въ чемъ принималъ живое, горячее участіе, — разсказываетъ Панаевъ:—лицо и глаза его горѣли, перо съ необыкновенною быстротою бѣгало по бумагѣ, онъ тяжело дышалъ и безпрестанно отбрасывалъ въ сторону исписанный полулистъ... Сколько разъ заставалъ я его въ такія минуты и смотрѣлъ на него, не замѣчаемый имъ; если же онъ оборачивался и взглядывалъ на меня, прежде нежели я уходилъ, онъ безъ церемоніи говорилъ мнѣ:—«Извините меня, Панаевъ... Видите, я занятъ».—Онъ откладывалъ на минуту перо и прикладывалъ руку къ головѣ. Я какъ теперь вижу его въ этомъ положеніи».

Но Бѣлинскій самъ хорошо понималъ, какъ много теряютъ его статьи отъ недостатка обработки. «Я вамъ прочту иную живую и горячую, но съ плеча написанную статью мою,—писалъ онъ однажды пріятелю:—она вамъ понравится, можетъ быть, приведетъ васъ въ восторгъ. Но дайте мнѣ время обработать эту импровизацію—вы не узнаете ея: живость и теплота въ ней останутся, а силы, ума и таланта прибавится на двадцать процентовъ... Знаете ли, какія лучшія мои статьи? Вы ихъ не знаете—это тѣ, которыя не только не напечатаны, а никогда не были и написаны, и

*) Издатель „Отеч. Записокъ".

которыя я слагалъ въ головѣ моей во время поѣздокъ, гуляній,—словомъ, въ нерабочее мое время, когда ничто извнѣ не понуждало меня приняться за работу. Боже мой! сколько яркихъ неожиданныхъ мыслей, сколько страницъ живыхъ, страстныхъ, огненныхъ! И многое, что особенно хорошо въ моихъ печатныхъ статьяхъ,—большею частью удержанные въ памяти и ослабленные урывки изъ этихъ на свободѣ слагавшихся въ праздной головѣ статей».

Непрерывная срочная журнальная работа и вскорѣ преждевременная смерть не дали Бѣлинскому возможности осуществить рядъ плановъ цѣльныхъ и связныхъ статей, напр., о Лермонтовѣ и Гоголѣ. Только наброски остались отъ задуманной имъ «критической исторіи русской литературы» съ древнѣйшихъ временъ. Итакъ, внѣшнія условія, срочность работы, разбросанность—все это дружно неблагопріятствовало полнотѣ и систематичности того, что говорилъ Бѣлинскій въ печати. Но какъ ни тяжела была ему порою литературная дорога, другой предъ Бѣлинскимъ не было, и въ минуту тяжелаго раздумья у него вырвались пророческія слова:

«Умру на журналѣ и въ гробъ велю положить подъ голову книжку «Отеч. Зап.». Я литераторъ—говорю это съ болѣзненнымъ и вмѣстѣ радостнымъ и гордымъ убѣжденіемъ. Литературѣ русской моя жизнь и моя кровь».

III.

Литературно-общественное значеніе дѣятельности Бѣлинскаго настолько широко, что о многихъ сторонахъ ея, наприм., о взглядахъ критика на воспитаніе, на положеніе женщины въ русскомъ обществѣ, на театръ и т. д. приходится почти не упоминать, чтобы въ предѣлахъ настоящаго очерка остановиться только на главномъ.

Новую русскую литературу принято вести со временъ Кантемира и Ломоносова. Такъ называемое ложно-классическое направленіе въ литературѣ было долго господствующимъ, и понятія о критикѣ сообразовались съ господствующими представленіями о цѣляхъ художественнаго творчества. Извѣстно, что существенными элементами начальной нашей художественной литературы были три ломоносовскихъ штиля, высокій, средній и низкій или «подлый»,—искусственное раздѣленіе поэзіи на роды и виды, три единства въ драмѣ (времени, мѣста и дѣйствія), «изученіе правилъ и подражаніе знатныхъ авторовъ», по выраженію Ломоносова. Соотвѣтственно этому, критическія статьи этой эпохи представляютъ собою сужденія мелочного и чисто внѣшняго характера преимущественно о «штилѣ», о грамматической правильности выраженій, съ прибавленіемъ голословныхъ за-

мѣчаній, что такое-то мѣсто у разбираемаго автора «скаредно», то—«презящно», а это—«подло и гнусно».

Долгое время содержаніе критики составлялъ споръ «о старомъ и новомъ слогѣ», и только Карамзинъ, которому принадлежитъ заслуга преобразованія литературнаго языка, положилъ конецъ этому спору, такъ что въ началѣ XIX вѣка высокаго «штиля» склонны были держаться лишь немногіе защитники старины въ родѣ Шишкова, вдававшагося въ извѣстные анекдотическіе пуризмы. Съ преобразованіемъ языка шло и преобразованіе формы литературныхъ произведеній, все болѣе уклонявшейся отъ «образцовъ». Въ нее вливалось болѣе и болѣе новое содержаніе, литература сближалась съ жизнью. Карамзинъ, Мерзляковъ, Батюшковъ и Жуковскій, представители сентиментализма и смѣнившаго его романтизма, уже далеко отошли отъ стараго классицизма. Соотвѣтственно этому и критика приближается къ выраженію взглядовъ, болѣе близкихъ къ современнымъ. Мерзляковъ, Венивитиновъ и затѣмъ ближайшіе предшественники Бѣлинскаго, Полевой и Надеждинъ, вносятъ въ область критики новыя начала. Требованія цѣльной художественной теоріи (еще ложно-классической у Мерзлякова); философско-эстетическія начала, требованія національности и самобытности въ литературныхъ произведеніяхъ, заявленныя Венивитиновымъ; наконецъ, болѣе или менѣе отчетливыя представленія объ общественно-воспитательномъ и историческомъ значеніи литературы, какъ высшемъ выраженіи духовной дѣятельности народа,—представленія, тамъ и сямъ высказываемыя Полевымъ, теоретикомъ романтизма во вкусѣ Виктора Гюго и первыхъ поэмъ Пушкина, и Надеждинымъ, уже заявлявшимъ о необходимости художественнаго реализма (основной тезисъ его диссертаціи: ubi vita, ibi poesis—гдѣ жизнь, тамъ и поэзія),—всѣ эти взгляды были усвоены Бѣлинскимъ, но переработаны, и высказанные въ цѣломъ ряду его статей въ болѣе опредѣленной и законченной формѣ и дали критикѣ его то весьма широкое значеніе въ разныхъ отношеніяхъ, которое оправдываетъ сближеніе Бѣлинскаго съ преобразователемъ нѣмецкой литературы, Лессингомъ.

Существеннѣйшимъ недостаткомъ критики ближайшихъ названныхъ предшественниковъ Бѣлинскаго было, конечно, то, что художественные вкусы ихъ воспитаны были въ такое время, когда литература наша дѣлала еще первые неувѣренные шаги на пути своего самостоятельнаго развитія. Въ литературныхъ взглядахъ Полевого и Надеждина было еще много отголосковъ стараго. Полевой былъ въ своей шумной защитѣ французскаго романтизма, во вкусѣ Виктора Гюго, больной руки формалистомъ: эта защита была лишь формальнымъ протестомъ противъ стараго формализма, преслѣдуемаго ложно-классическою теоріей съ ея про-

извольными и стѣснительными правилами. Вкусъ Полевого и Надеждина, образовавшійся въ то время, когда новыя теченія литературы еще не выяснились, не могъ оцѣнить по достоинству тѣхъ художественныхъ произведеній, которыя были даны, въ пору большого вліянія этихъ критиковъ, Пушкинымъ и Гоголемъ. На примѣрѣ Полевого и Надеждина, съ одной стороны, и Бѣлинскаго—съ другой, видно также, что если, по латинской поговоркѣ, oratores fiunt, poetae nascuntur, то родятся не одни поэты, но и критики. Ни обширная и глубокая эрудиція Надеждина, ни любовь къ литературѣ, ни остроуміе, ни спеціальный талантъ журналиста, чуткаго до злобъ дня, какимъ обладалъ Полевой, не предохранили ихъ отъ самыхъ странныхъ, на современный взглядъ, ошибокъ въ оцѣнкѣ лучшихъ нашихъ писателей.

Еще грубѣе были ошибки и сужденія второстепенныхъ тогдашнихъ журналистовъ, напр. Шевырева, съ которымъ много полемизировалъ Бѣлинскій, какъ и съ представителями самой поверхностной и грубоватой части тогдашней журналистики, съ Булгаринымъ съ его «Сѣверною Пчелою» и Сенковскимъ*) съ «Библіотекою для чтенія». Въ сочиненіяхъ Бѣлинскаго читатель сколько угодно можетъ подыскать образцовъ грубыхъ ошибокъ, промаховъ, прямыхъ нелѣпостей, которыя приходилось устранять Бѣлинскому. Для примѣра ихъ укажемъ только, что сплошь и рядомъ въ геніи, до которыхъ далеко Пушкину, Гоголю, Лермонтову и Грибоѣдову, возводились этою «расейскою» литературою, какъ ее называлъ Бѣлинскій, давно теперь забытые Бенедиктовъ, Марлинскій, Кукольникъ, Загоскинъ. До чего доходило непониманіе истиннаго значенія нарождавшейся тогда литературы, можно судить еще и по тому, напр., что даже Пушкинскій чудный по своей легкости стихъ и языкъ, близкій къ разговорной рѣчи, не находилъ достаточнаго признанія. Уже во время «Онѣгина», этого неподражаемаго образца гармоничнаго, плавнаго и легкаго стиха, профессоръ русской словесности Шевыревъ мечталъ о реформѣ русской поэзіи посредствомъ своего перевода Тасса, который (переводъ) достоинъ былъ «Телемахиды» Тредьяковскаго **).

Нечего и говорить, что, при возможности такихъ взглядовъ даже на форму въ литературѣ, во взглядахъ на содержаніе мы встрѣчаемъ еще болѣе странностей. Что Гоголь—писатель грязный и неприличный, что произведенія его—ничтожныя «побасенки»—это было, напр., еще одною изъ

*) Сенковскій писалъ подъ псевдонимомъ „Баронъ Брамбеусъ", постоянно появляющимся во многихъ статьяхъ Бѣлинскаго.

**) Шевыревъ, между прочимъ, вообразилъ, что *можетъ* быть такая же русская октава, какъ итальянская, что въ русскомъ стихѣ слѣдуетъ производить такія же сліянія гласныхъ (въ словѣ, кончающемся гласною, и въ слѣдующемъ словѣ, начи-

самыхъ обыкновенныхъ пошлостей, которыя провозглашались какъ неоспоримыя литературныя истины.

Устранить навсегда весь этотъ хаосъ ложныхъ и нелѣпыхъ представленій, унаслѣдованныхъ отъ временъ ложно-классицизма, романтизма и сентиментализма и выражавшихъ собою полное отсутствіе въ обществѣ здравыхъ эстетическихъ понятій и дѣйствительныхъ умственныхъ интересовъ,—вотъ что составляло одну изъ первыхъ немаловажныхъ заслугъ Бѣлинскаго.

Въ этой борьбѣ со старыми литературными предразсудками и укоренившимися ложными представленіями, Бѣлинскій шелъ по тому пути, на который указывала историческая необходимость. Онъ вѣрно угадалъ потребности времени, стоялъ на строго-исторической почвѣ. Онъ настойчиво и часто возвращался къ историческому обзору русской литературы съ котораго «Литературными мечтаніями» и началъ свою критическую дѣятельность, и эта установленная имъ окончательно въ русской критикѣ историческая точка зрѣнія была также не малымъ пріобрѣтеніемъ для русской литературы. Только исторической точкой зрѣнія и можно было установить всестороннее значеніе такихъ писателей, какъ Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь, Лермонтовъ, какъ писателей, которые стоятъ на высотѣ историческаго развитія общества и литературы, и которымъ, какъ угадалъ въ свое время одинъ Бѣлинскій, принадлежитъ все будущее. И Бѣлинскій навсегда связалъ свое имя съ именами Пушкина, Грибоѣдова, Гоголя, Лермонтова. По прекрасному выраженію Аполлона Григорьева, «имя Бѣлинскаго, какъ плющъ, обросло четыре поэтическихъ вѣнца, четыре великихъ и славныхъ имени, сплелось такъ, что, говоря о нихъ, какъ источникахъ современнаго литературнаго движенія, постоянно бываешь поставленъ въ необходимость говорить и о немъ. Высокій удѣлъ, данный судьбою немногимъ изъ критиковъ,—едва ли даже, за исключеніемъ Лессинга, данный не ему одному».

нающемся съ гласной), какъ въ итальянскомъ: пововведеніе, которое прискорбнымъ образомъ свидѣтельствовало объ его пониманіи языка и его вкусѣ. Вотъ одна изъ октавъ, которыми Шевыревъ намѣренъ былъ произвести реформу въ русской поэзіи:

Тамъ копіе хранилось, коимъ змѣй
Былъ прободенъ, и молнійныя стрѣлы,
Незримо язвы, тысячи смертей
Метающія на народы цѣлы;
Тамъ былъ повѣшенъ и трезубецъ,— сей
Первый угрозъ на всѣ земли предѣлы,
Когда ея основы потрясаются
Обширныя,—и грады расшатаются...

Подчеркнутые слоги, по Шевыреву, должны слиться въ одинъ слогъ!

Историческое попиманіе задачъ общественнаго развитія литературы совмѣстно съ художественнымъ чутьемъ всегда выводили Бѣлинскаго на вѣрную дорогу въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ впадалъ, подъ вліяніемъ той или другой поразившей его идеи, въ крайности и противорѣчія самому себѣ. Какъ на примѣры такихъ противорѣчій, можно указать на различія во взглядахъ Бѣлинскаго на Пушкина, высказанныхъ въ «Литер. мечтаніяхъ» и отдѣльныхъ статьяхъ, или на Грибоѣдова, высказанныхъ также въ «Литер. мечтаніяхъ» и въ отдѣльной статьѣ о «Горѣ отъ ума». Но замѣчательно, что даже впадая въ эти противорѣчія, Бѣлинскій никогда не впадалъ въ такія ошибки при оцѣнкѣ русскихъ писателей, которыя свидѣтельствовали бы, что бездарность онъ принялъ за талантъ или наоборотъ. Тѣмъ не менѣе необходимо въ существенныхъ чертахъ напомнить важнѣйшія измѣненія общихъ взглядовъ Бѣлинскаго, обусловливавшія и измѣненія нѣкоторыхъ взглядовъ на тѣ или иныя литературныя произведенія.

«Литературныя мечтанія» относятся къ тому періоду развитія Бѣлинскаго, когда онъ, какъ это уже выяснено его біографами, впервые погружаясь въ изученіе философіи Гегеля, былъ полонъ еще идеалистическихъ порывовъ къ личному только нравственному совершенствованію. Философія открывала ему цѣлый міръ мысли, высокихъ духовныхъ наслажденій и указывала путь жизни. «Весь безпредѣльный совмѣстно со Станкевичемъ, Боткинымъ и др., прекрасный Божій міръ есть не что иное, какъ дыханіе единой вѣчной идеи (мысли — единаго вѣчнаго Бога), проявляющейся въ безконечныхъ формахъ, какъ великое зрѣлище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи». «Богъ создалъ человѣка и далъ ему умъ и чувство, да постигаетъ сію идею умомъ и знаніемъ, да пріобщается къ ея жизни въ живомъ и горячемъ сочувствіи, да раздѣляетъ ея жизнь въ чувствѣ безконечной зиждущей любви!» Въ это время созерцательность такого взгляда не вполнѣ еще овладѣла Бѣлинскимъ. Онъ заявляетъ, что «жизнь есть дѣйствованіе, и дѣйствованіе есть борьба», что «безъ борьбы нѣтъ заслуги, безъ заслуги нѣтъ награды, а безъ дѣйствованія—жизни». Предъ человѣкомъ лежатъ двѣ дороги, любую изъ которыхъ онъ можетъ выбрать: спокойный и торный путь эгоизма и тернистый путь любви, который и приведетъ человѣка къ блаженству постиженія идеи. Тѣ же пути и предъ писателемъ. «Сочувствуй природѣ, люби и изучай ее, твори безкорыстно, трудись безвозмездно, отверзай души ближнихъ для впечатлѣній благого и истиннаго, изобличай порокъ и невѣжество, терпи гоненія злыхъ, ѣшь хлѣбъ, смоченный слезами, и не своди задумчиваго взора съ прекраснаго роднаго тебѣ неба. Трудно? тяжко?... Ну, такъ торгуй твоимъ божественнымъ даромъ, положи цѣну на каждое

вѣщее слово, которое ниспосылаетъ тебѣ Богъ въ святыя минуты вдохновенія; покупщики найдутся, будутъ платить тебѣ щедро, а ты лишь умѣй кадить кадиломъ лести, умѣй склонять во прахъ твое вѣнчанное чело, забудь о славѣ, о безсмертіи, о потомствѣ, довольствуйся тѣмъ, если услужливая рука торгаша-журналиста провозгласитъ «тебѣ, что ты великій поэтъ, геній, Байронъ, Гёте».

Эти пламенныя строки являются отголоскомъ и тѣхъ горячихъ тирадъ, которыми полна была неудачная трагедія Бѣлинскаго. При всемъ благородствѣ выраженныхъ здѣсь стремленій, ясна нѣкоторая отвлеченность и односторонность исключительно моральной точки зрѣнія, на которой стоялъ еще въ эту пору критикъ. Любимый его писатель—Шиллеръ, «Разбойникамъ» котораго онъ и подражалъ въ своей трагедіи. Въ Пушкинѣ онъ, подобно Полевому, съ особенною любовью остановился на первой половинѣ его дѣятельности, привлекаемый романтическими порывами поэта.

Подъ вліяніемъ болѣе усерднаго изученія философіи Гегеля, Бѣлинскій на время усваиваетъ своеобразное міровоззрѣніе, въ которомъ главною чертою стало созерцаніе, весьма мало соотвѣтствовавшее дѣятельной натурѣ Бѣлинскаго.

Философія Гегеля справедливо указывала на всеобщую связь, причинность и зависимость явленій, но изображала ихъ детерминизмъ въ видѣ безусловно неизмѣннаго процесса развитія по законамъ діалектики (логики), по схемѣ тезиса, антитезиса и синтезиса. Разумной личности остается только созерцать этотъ процессъ развитія, въ которомъ «все благо, все добро», потому что предначертано закономъ развитія, потому что «дѣйствительность—разумна», и надо только постичь эту разумность, скрытую въ смутномъ ходѣ явленій. Поэзія, если она только дѣйствительна, раскрываетъ эту разумность дѣйствительности, пріобщаетъ насъ къ созерцанію вѣчно развивающейся идеи. Согласно этому, поэзія должна быть безусловно объективна, полна разумнаго созерцанія, а не прекраснодушныхъ порывовъ и поверхностныхъ сужденій о добрѣ и злѣ. Съ этой точки зрѣнія, для Бѣлинскаго высшимъ образцомъ художника является уже не Шиллеръ, а «олимпіецъ» Гёте. Въ Пушкинѣ онъ переноситъ свою симпатію на болѣе объективныя его произведенія, чѣмъ написанныя въ началѣ дѣятельности поэта. Теперь Бѣлинскій значительно охладѣваетъ къ «Горю отъ ума» и осуждаетъ Чацкаго, какъ поверхностнаго фразера съ неразумными порывами прекраснодушнаго, но дѣтскаго негодованія на явленія дѣйствительности. За то онъ превозноситъ теперь Гоголя, какъ высоко объективнаго художника, уразумѣвшаго пустоту и ничтожество той призрачной дѣйствительности, въ которой вращаются его ничтожные герои, не могущіе подняться до разумной идеи и дѣйствительности.

Въ концѣ-концовъ взгляды Бѣлинскаго за этотъ періодъ представлялись довольно спутанными,—главнымъ образомъ, относительно вопроса: что же слѣдуетъ считать за разумную дѣйствительность и что въ жизни вообще и русскаго народа и общества въ частности представляетъ собою дѣйствительность лишь призрачную? Высоко ставя Гоголя, Бѣлинскій точно не замѣчалъ, что гоголевскіе типы и картины не только не призрачны, но стоятъ въ тѣснѣйшей зависимости отъ многихъ темныхъ сторонъ тогдашняго общественнаго быта, и въ особенности отъ крѣпостного права. Весь общественный бытъ, жизнь народа въ его цѣломъ представлялась ему непосредственнымъ выраженіемъ разумной дѣйствительности, противъ котораго смѣшно и говорить что бы то ни было во имя личныхъ нашихъ мнѣній и пожеланій: это—прекраснодушіе, не имѣющее права на существованіе. Мало-по-малу, однако, Бѣлинскій самъ сталъ возставать противъ такого приниженія правъ и нравственныхъ запросовъ личности, для которой отводилось только второстепенное мѣсто созерцателя всеобщей гармоніи и разумной дѣйствительности. Бѣлинскій отрѣшается отъ крайняго оптимизма по отношенію къ тогдашней русской жизни, который сказался наиболѣе въ двухъ его статьяхъ о «Бородинской годовщинѣ». Объ этихъ статьяхъ онъ и вспомнить позднѣе не можетъ безъ негодованія на самого себя и на того, кто неосторожно напоминалъ ему о нихъ. Судьба личности становится для Бѣлинскаго, по выраженію его въ письмѣ къ другу (отъ 1-го марта 1841 г.), «важнѣе судебъ всего міра». «Я не хочу счастія и даромъ, если не буду спокоенъ насчетъ каждаго изъ моихъ братій по крови... Говорятъ, что дисгармонія есть условіе гармоніи: можетъ быть, это очень выгодно и усладительно для меломановъ, но ужъ, конечно, не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участью идею дисгармоніи».

Такіе взгляды Бѣлинскаго, уже чуждые готовности всюду видѣть одну только гармонію и разумность, предъ которыми надо только умиляться, и которыя надо только благоговѣйно созерцать, сложились окончательно въ началѣ сороковыхъ годовъ, и съ этого же времени начинается наибольшее вліяніе Бѣлинскаго на читателей.

Горячее нравственное одушевленіе, которымъ полны были «Литературныя мечтанія», онъ сохранилъ до конца. Кое-что весьма существенное было имъ вынесено и изъ второго оптимистическаго періода развитія его взглядовъ. Ограничивъ крайности мысли, что предъ историческою жизнью народа въ его цѣломъ можно только благоговѣйно преклоняться, какъ предъ выраженіемъ высшей правды на землѣ, Бѣлинскій глубже прежняго понялъ и оцѣнилъ значеніе историческихъ условій общественной и народной жизни. Согласно раннимъ представленіямъ Бѣлинскаго, личность можетъ выбирать путь любви или эгоизма, но ни тотъ, ни другой путь не пред-

ставлялся критику въ ясной зависимости отъ историческихъ условій даннаго времени и мѣста. Теперь предъ Бѣлинскимъ постоянно въ виду не отвлеченное представленіе о личности, а живой конкретный человѣкъ, стоящій въ тѣхъ или иныхъ общественныхъ исторически-развившихся условіяхъ. Точно также и писатель вообще, по окончательно сложившемуся мнѣнію Бѣлинскаго, долженъ быть не чуждъ всего человѣческаго, имѣть сердце, открытое каждому движенію другого человѣческаго сердца, и вмѣстѣ съ тѣмъ стоять на всей высотѣ умственнаго развитія своего времени, правильно чувствовать, оцѣнивать и понимать исторически назрѣвшія потребности и нужды своего народа, потому что иначе произведенія его будутъ внѣ народныхъ или какихъ бы то ни было серьезныхъ реальныхъ потребностей. Бѣлинскій возвращается къ прежнему положенію: «жизнь есть дѣйствованіе, а дѣйствованіе — борьба», но дѣйствованіе и борьба должны быть направляемы уже не противъ неопредѣленнаго «эгоизма», а противъ реальныхъ и устранимыхъ недостатковъ въ воззрѣніяхъ людей и учрежденіяхъ, соотвѣтственно назрѣвшимъ народнымъ нуждамъ.

По мѣрѣ расширенія взглядовъ Бѣлинскаго на значеніе личности и исторически данныхъ условій жизни, понятіе о «народности», вызывавшее въ тѣ годы много пререканій и споровъ, углублялось и занимало въ воззрѣніяхъ критика опредѣленное мѣсто.

Понятія «народнаго» и общечеловѣческаго казались, на поверхностный взглядъ, противорѣчащими. Подъ именемъ «народности» многіе защищали и превозносили всѣ тѣ черты народно-общественной русской жизни, которыя ее отличали отъ Западной Европы; за послѣдней же не признавали уже и права на существованіе, и проф. Шевыревъ въ 1841 году печатно заявилъ, что Западъ гніетъ заживо. Даже крѣпостное право, подъ видомъ патріархальныхъ отношеній помѣщика къ крестьянамъ, какъ отца къ дѣтямъ, идеализировалось и рисовалось неотъемлемою чертою народности. Министръ Народ. Просв. Уваровъ, какъ извѣстно, признавалъ это право такою же законною и неизбѣжною особенностью Россіи, какъ и самодержавіе. Наивное самохвальство всѣмъ русскимъ только потому, что оно русское, безъ различія — хорошо ли оно или дурно — тогда же получило отъ князя Вяземскаго ѣдкое прозвище «квасного патріотизма». Во имя его произведеніе признавалось «народнымъ», если только въ немъ фигурировали простонародный говоръ, широта русской натуры, чисто внѣшніе аксессуары народнаго быта да громкія фразы о любви къ родинѣ. Бѣлинскому много пришлось бороться съ литературными грубыми поддѣлками подъ народность, вѣрнѣе простонародность, которыя сочинялись по большей части людьми, вовсе не интересовавшимися народною жизнью и наблюдавшими ее развѣ только съ внѣшней стороны. Въ этомъ отношеніи

нельзя не признать за нимъ немаловажной заслуги: преслѣдуя лживыя поддѣлки подъ народность, онъ подготовилъ русскихъ читателей къ воспринятію болѣе правдиваго освѣщенія русской народной жизни, которое дали вскорѣ Тургеневъ, Григоровичъ, Некрасовъ и др.

Помимо борьбы съ оффиціальною «народностью» и «квасным патріотизмомъ», Бѣлинскій не мало полемизировалъ и со славянофильскимъ пониманіемъ «народности». Славянофилы К. Аксаковъ, братья И. и П. Кирѣевскіе, А. Хомяковъ видѣли черты истинной народности въ прошломъ и идеализировали его, какъ святыню, поруганную Петромъ Великимъ, и нерѣдко сходились въ своемъ рѣзкомъ отрицаніи всего западно-европейскаго, какъ непригоднаго для русской жизни, съ болѣе грубыми защитниками народности, во что бы то ни стало. Бѣлинскій былъ убѣжденнымъ «западникомъ». какъ тогда выражались. Въ дѣйствительности онъ, конечно, былъ чуждъ преклоненія предо всѣмъ заграничнымъ только потому, что оно не русское; но свое русское, народное, національное не могло заслонить для него общечеловѣческаго, сокровищъ умственнаго превосходства и просвѣщенія, накопленныхъ Западомъ. «Какъ вы,—писалъ Бѣлинскій однажды Кавелину,—я люблю русскаго человѣка и вѣрю великой будущности Россіи; но, какъ и вы, я ничего не строю на основаніи этой любви и этой вѣры, не употребляю ихъ, какъ неопровержимыя доказательства. По мысли Бѣлинскаго, національное и общечеловѣческое сами по себѣ вовсе не противорѣчатъ другъ другу и одно безъ другого даже немыслимо. Что отдѣльная личность по отношенію къ идеѣ человѣка, то же и народность по отношенію къ идеѣ человѣчества. Какъ Иванъ, Петръ, Сидоръ, оставаясь людьми, въ то же время обладаютъ каждый ему одному свойственными особенностями и чертами, безъ которыхъ не были бы живыми личностями, такъ и отдѣльные народы, принадлежа къ общей семьѣ человѣчества, обладаютъ каждый ему одному свойственнымъ самостоятельнымъ обликомъ, если только это народъ живой, играющій роль въ человѣчествѣ.

Точно также и поэзія, и литература какого-либо народа народны, обладаютъ естественно оригинальными и самобытными чертами, если это дѣйствительно литература, отраженіе всей жизни народа въ сознаніи его лучшей и образованнѣйшей части, а не подражаніе, не сколокъ съ литературы чужого или чужихъ народовъ. Съ этой точки зрѣнія и Бѣлинскій требовалъ «народности» въ литературѣ. Онъ требовалъ самостоятельности ея и боролся съ готовыми формальными литературными теоріями, въ родѣ классицизма, романтизма и оффиціальной народности, кто бы эти теоріи ни навязывалъ писателямъ. Онъ указывалъ, что литература тогда только станетъ на ноги, когда отрѣшится отъ всѣхъ устарѣлыхъ традицій и отдастся вольному и внимательному наблюденію и изученію всей безконечно

обширной жизни русскаго народа и общества. Въ этой борьбѣ за самобытность русской литературы, не исключающую и общечеловѣческаго, но съ нимъ сливающуюся, Бѣлинскій умѣлъ быть краснорѣчивъ и неистощимъ, и, конечно, его страстная любовь именно къ *русской* литературѣ, горячее желаніе видѣть *всю русскую* жизнь изображенною въ художественныхъ произведеніяхъ, глубокое сознаніе, что для этого необходимъ еще небывалый подъемъ духовной дѣятельности общества и неустанная работа для распространенія такого сознанія и для этого подъема,—все это даетъ Бѣлинскому больше правъ на званіе «патріота», чѣмъ имѣли ихъ десятки его литературныхъ противниковъ, упрекавшихъ его въ «западничествѣ», въ отступничествѣ отъ всего русскаго. Да и по отношенію къ Пушкину и Гоголю важно не только то, что Бѣлинскій призналъ ихъ геніями, когда этого и не подозрѣвали современники, но и то, что онъ призналъ ихъ поэтами *національными*. И лично онъ не только страстно привязанъ былъ къ ихъ произведеніямъ, но готовъ былъ гордиться ими, какъ національными поэтами.

Въ связи съ этою мыслью о томъ, что литература должна быть оригинальна, свободна и самостоятельна, стояло и то отрицаніе самаго существованія у насъ литературы, съ котораго Бѣлинскій началъ свою дѣятельность. Но послѣднія произведенія Пушкина, вся дѣятельность Гоголя и Лермонтова проходили на глазахъ Бѣлинскаго. Очень скоро онъ къ полному отрицанію у насъ литературы добавляетъ многозначительныя оговорки (впрочемъ, и самое то отрицаніе довольно условно: въ устахъ Бѣлинскаго оно значило только то, что полнаго удовлетворенія идеалу литературы словесность наша не давала).

Заканчивая обозрѣніе русской литературы за 1840 годъ, Бѣлинскій написалъ уже, глядя въ будущее съ такою же увѣренностью, какъ и въ 1835 году, слѣдующія строки:

«Прошедшее нашей литературы не блестяще, настоящее тускло, но за будущее намъ нисколько не должно отчаяваться. У насъ нѣтъ литературы въ точномъ и опредѣленномъ значеніи этого слова, но у насъ есть уже начало литературы и, соображаясь со средствами, особенно же со временемъ, нельзя не дивиться, какъ уже много сдѣлано. Какихъ-нибудь сто лѣтъ едва прошло съ того времени, какъ мы не знали еще грамоты,—и вотъ мы уже по справедливости гордимся могущественными проявленіями необъятной силы народнаго духа въ отдѣльныхъ лицахъ, каковы: Ломоносовъ, Державинъ, Фонъ-Визинъ, Карамзинъ, Крыловъ, Жуковскій, Батюшковъ, Пушкинъ, Грибоѣдовъ и другіе. Нападая на нашу литературу, мы хотѣли только противоборствовать смѣшному самообольщенію, которое въ немногомъ видитъ безконечно многое и добродушно вѣритъ, что рус-

ская литература превосходитъ и англійскую, и нѣмецкую, и французскую; мы хотѣли показать дѣло въ настоящемъ положеніи, не скрывая ни хорошихъ, ни дурныхъ его сторонъ, хотѣли разсмотрѣть безпристрастно вопросъ о существованіи русской литературы, не утаивая ни того, что можно сказать противъ него, ни того, что можно сказать за него. Повторяемъ: у насъ нѣтъ еще литературы, какъ выраженія духа и жизни народной, но она уже начинается, а это въ такой короткій періодъ времени—успѣхъ, и успѣхъ великій, который не долженъ обольщать насъ въ настоящемъ, но который долженъ казаться залогомъ великихъ надеждъ въ будущемъ. Если сила и мощь отдѣльно дѣйствующихъ лицъ въ нашей литературѣ поражаютъ васъ невольнымъ удивленіемъ, то чѣмъ же должна быть наша литература, когда она сдѣлается выраженіемъ національнаго духа и національной жизни?.. И мы уже видимъ начало этого желаннаго времени... Да будетъ!»

Въ первой изъ своихъ большихъ статей о Пушкинѣ, въ 1843 году, когда уже появились «Мертвыя Души», Бѣлинскій болѣе не отрицаетъ существованія литературы и говоритъ только: «Писать о Пушкинѣ—значитъ писать о цѣлой русской литературѣ, ибо, какъ прежніе писатели русскіе объясняютъ Пушкина, такъ Пушкинъ объясняетъ послѣдовавшихъ за нимъ писателей. Эта мысль сколько истинна, столько и утѣшительна: она показываетъ, что, несмотря на бѣдность нашей литературы, въ ней есть жизненное движеніе и органическое развитіе, слѣдственно у нея есть исторія».

Въ 1847 году Бѣлинскій началъ рядъ статей въ «Современникѣ» и въ первой изъ нихъ говорилъ уже вотъ что:

«Было время, когда вопросъ—есть ли у насъ литература?—не казался парадоксомъ и многими разрѣшенъ былъ въ отрицательномъ смыслѣ. И такое рѣшеніе естественно и неизбѣжно, если русскую литературу судить на основаніяхъ, по которымъ должно судить исторію европейскихъ литературъ. Но одинъ изъ величайшихъ умственныхъ успѣховъ нашего времени въ томъ и состоитъ, что мы, наконецъ, поняли, что у Россіи была своя исторія... То же и въ отношеніи къ исторіи русской литературы». Исторія ея и заключается въ непрестанномъ стремленіи освободиться отъ искусственныхъ традицій, принятыхъ извнѣ, сблизиться съ жизнью, дѣйствительностью, слѣдовательно сдѣлаться самобытною, національною, русскою. Въ сочиненіяхъ Пушкина, Крылова, Грибоѣдова, Лермонтова и особенно Гоголя сдѣланы были послѣдніе крупные шаги къ такой литературѣ, такъ что и вопроса, существуетъ ли она, уже нельзя подымать: она вся предъ глазами. Литература наша дошла до такого положенія, что ея успѣхи въ будущемъ, ея движеніе впередъ зависятъ больше отъ объема и

количества предметовъ, доступныхъ ея завѣдыванію, нежели отъ нея самой. Чѣмъ шире будутъ границы ея содержанія, чѣмъ больше будетъ пищи для ея дѣятельности, тѣмъ быстрѣе и плодовитѣе будетъ ея развитіе. Какъ бы то ни было, но если она еще не достигла своей зрѣлости, она уже нашла, нащупала, такъ сказать, прямую дорогу къ ней,—а это великій успѣхъ съ ея стороны».

«Какъ ни молода наша литература,—писалъ Бѣлинскій подобнымъ же образомъ въ концѣ 1847 г. одному изъ друзей,—а ужъ сколько фактовъ успѣла она намъ дать для нашего возмужанія! Я помню, что такое были эти люди: Языковъ, Марлинскій, Баратынскій, Подолинскій, Брамбеусъ, Бенедиктовъ. Толковали ужъ не о томъ, таланты ли они, а не геніи ли? И гдѣ же они теперь, гдѣ ихъ слова, кто говоритъ о нихъ, кто помнитъ? Не обратились ли они въ какія-то темныя преданія? А между тѣмъ всѣ они дѣйствительно были люди не только не бездарные, но и съ талантами».

Бѣлинскому русскіе читатели болѣе всего и были обязаны тѣмъ, что онъ останавливалъ ихъ вниманіе на произведеніяхъ дѣйствительныхъ геніевъ и безпощадно преслѣдовалъ самодовольныя ничтожества мелкихъ талантовъ. Послѣ Гоголя и Бѣлинскаго литература всецѣло пошла по руслу, ими указанному. Критикъ тутъ дополнялъ художника, и въ этомъ отношеніи Бѣлинскому мѣтко дано названіе критика гоголевскаго періода русской литературы.

Послѣдняя большая статья Бѣлинскаго, обозрѣніе русской литературы за 1847 г., была посвящена снова Гоголю и начатой имъ «натуральной школѣ» литературы. И Бѣлинскій снова привѣтствовалъ здѣсь нѣсколько молодыхъ талантовъ, пріобрѣвшихъ потомъ всесвѣтную знаменитость: Гончарова, Достоевскаго, Тургенева.

Въ это время вліяніе Бѣлинскаго уже выходило далеко за предѣлы чисто-литературнаго воздѣйствія. Съ ростомъ и возмужаніемъ литературы, которымъ онъ такъ много содѣйствовалъ, она все болѣе становилась общественно-воспитательною двигательною силою, прежде всего тѣмъ, что создавался въ обществѣ безкорыстный интересъ къ книгѣ, къ новому міру идей, и это отрывало многихъ отъ той жизни «мертвыхъ душъ», которую изображалъ такъ сильно Гоголь. Литература при этомъ играла благородрую роль истинно-просвѣтительной силы. Прежде всего она сталкивалась съ темною силою крѣпостного права. Въ теченіе всего царствованія императора Николая I правительство постоянно было занято вопросомъ объ освобожденіи крестьянъ, который и обсуждался въ рядѣ комиссій, спеціально для того учреждаемыхъ. Но общество далеко было еще не подготовлено къ реформѣ, которой настоятельно требовали историческія условія,

не было и тѣхъ работниковъ, на которыхъ можно было бы опереться для приведенія реформы въ исполненіе. Литературѣ сороковыхъ годовъ, и въ особенности критикѣ Бѣлинскаго, и принадлежала важная роль—просвѣтить сознаніе общества, воспитать гуманныхъ и просвѣщенныхъ людей, стоящихъ на высотѣ задачи, которую предстояло вскорѣ разрѣшить. И хотя печатно Бѣлинскому не пришлось высказаться о крѣпостномъ правѣ, но мысль о необходимости освобожденія всюду сквозила въ его страстной и горячей рѣчи, не прерывавшейся, пока онъ могъ держать въ рукахъ перо. Наиболѣе полно Бѣлинскій изложилъ свой задушевный взглядъ на дѣло въ письмѣ къ Гоголю по поводу книги послѣдняго «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями». Это письмо тогда же разошлось во множествѣ списковъ по всей Россіи и всюду произвело огромное впечатлѣніе выраженнымъ въ немъ страстнымъ негодованіемъ на всѣ темныя стороны тогдашняго русскаго быта *). Современники справедливо называли это страстное посланіе «завѣщаніемъ» Бѣлинскаго.

Но въ это время дни Бѣлинскаго были уже сочтены, и приходила къ концу его плодотворная дѣятельность. Въ массѣ написаннаго имъ можно найти кое-какіе ошибки и промахи, легко, впрочемъ, объясняемые условіями времени и состояніемъ тогдашней науки. Напр., бросается въ глаза то, что народную поэзію Бѣлинскій ставилъ неизмѣримо ниже художественной. Съ этой точки зрѣнія онъ не оцѣнилъ, напр., поэзіи Шевченка, корни которой всецѣло въ народной безыскусственной пѣснѣ, не оцѣнилъ тѣмъ болѣе, что и областную малороссійскую литературу не считалъ жизнеспособною. Безусловно отрицательно Бѣлинскій относился и ко всему допетровскому времени съ его литературою, признавая, что только петровская реформа вызвала Россію изъ небытія къ бытію. «Для меня Петръ,—говорилъ Бѣлинскій,—моя философія, моя религія, мое откровеніе во всемъ, что касается Россіи. Это примѣръ для великихъ и малыхъ, которые хотятъ что-нибудь дѣлать, быть чѣмъ-нибудь полезными». Однако, позднѣйшія изслѣдованія допетровской эпохи показали, что реформы Петра I были во многихъ отношеніяхъ уже подготовлены и что во многомъ правы были славянофилы въ критикѣ реформы, тяжело легшей особенно на низшіе слои населенія. Ясна теперь и такая ошибка Бѣлинскаго, сдѣланная въ пылу полемики со славянофилами, какъ безусловное отрицаніе за южными славянами способности къ политической жизни, даже до предпочтенія имъ въ этомъ отношеніи турокъ, все-таки составляющихъ де нѣкоторый государственный организмъ. Еще очевиднѣе ошибки Бѣлинскаго во многихъ сужденіяхъ объ иностранной литературѣ. Но все это, конеч-

*) Наиболѣе полный печатный текстъ письма читатель найдетъ въ Приложеніи, взятомъ изъ VIII т. сочиненія г. Барсукова: „Жизнь и труды Погодина“.

но, нимало не можетъ умалить общихъ заслугъ Бѣлинскаго, какъ литературнаго критика и воспитателя русскаго общественнаго мнѣнія.

Борьба со взглядомъ, установившимся въ тридцатыхъ годахъ ко вреду литературы, будто она уже достигла не малаго величія; борьба со множествомъ устарѣлыхъ литературныхъ традицій и предразсудковъ, мѣшавшихъ движенію литературы впередъ; развѣнчаніе множества мнимыхъ литературныхъ величинъ и правильная оцѣнка цѣлаго ряда дѣйствительно великихъ писателей отъ Ломоносова до Гоголя; установленный Бѣлинскимъ историческій взглядъ на развитіе литературы и общества, будущее которыхъ еще впереди; изумительный даръ угадыванія крупныхъ талантовъ въ начинающихъ писателяхъ (Кольцовъ, Тургеневъ, Достоевскій, Гончаровъ, Майковъ и друг.); пробужденіе въ массѣ читателей живого интереса и сочувствія къ литературѣ и всѣмъ лучшимъ человѣческимъ стремленіямъ при первоначальномъ равнодушіи большинства общества къ умственной жизни; постоянная защита науки и просвѣщенія отъ нападокъ со стороны обскурантовъ, бездарныхъ, но сильныхъ слабостью умственныхъ интересовъ въ обществѣ; борьба съ теоріями о такой самобытности русскаго народа, которая исключаетъ для него возможность полезнаго общенія съ западно-европейскимъ просвѣщеніемъ; болѣе правильная оцѣнка значенія «народности» въ жизни и литературѣ; пробужденіе въ обществѣ сочувствія къ народу, страдавшему отъ крѣпостного права, правильное и широкое пониманіе задачъ воспитанія вообще и воспитанія женщинъ въ частности; освѣщеніе истинныхъ задачъ театра, и многое другое — вотъ тѣ великія заслуги Бѣлинскаго, которыя дѣлаютъ его имя безсмертнымъ въ исторіи нашей литературы.

Разнообразіе сторонъ, на которыя направлялось вліяніе Бѣлинскаго, вполнѣ оправдываетъ сравненіе его дѣятельности съ дѣятельностью энциклопедистовъ прошлаго вѣка, будившихъ умы въ каждой области, на которую обращалось ихъ вниманіе. Но для русскихъ Бѣлинскій, какъ публицистъ, — явленіе, быть можетъ, гораздо болѣе многозначительное, чѣмъ энциклопедисты для французовъ, уже потому, что не изжито и не скоро будетъ еще у насъ изжито главное общественно-просвѣтительное содержаніе страстныхъ импровизацій Бѣлинскаго въ формѣ критическихъ статей. Что оно, дѣйствительно, не изжито, это такъ очевидно, что достаточно, напр., напомнить цитированныя уже слова Бѣлинскаго о будущемъ нашей литературы: «ея успѣхи въ будущемъ, ея движеніе впередъ зависятъ больше отъ объема и количества предметовъ, доступныхъ ея завѣдыванію, нежели отъ нея самой». Эти простыя слова Бѣлинскаго понынѣ способны болѣзненно отдаваться въ душѣ каждаго искренне любящаго свое дѣло писателя, какъ и въ сердцѣ читателя, напрасно ищущаго въ литературѣ отвѣтовъ на то, что въ жизни болѣе всего томитъ его и смущаетъ.

IV.

Бѣлинскій скончался 26 мая 1848 года, въ 6 часовъ утра, 37 лѣтъ отъ роду. Извѣстная картина Наумова (снимокъ съ которой приложенъ къ 4-хъ-томному изданію сочиненій Бѣлинскаго, сдѣланному г. Павленковымъ) изображаетъ не смерть Бѣлинскаго, какъ объ этомъ распространено мнѣніе. Въ моментъ кончины ни Некрасова, ни Панаева при Бѣлинскомъ не было. Легенда о появленіи къ умирающему Бѣлинскому посланцевъ изъ III-го отдѣленія—только легенда. Но, дѣйствительно, покой Бѣлинскаго въ послѣдніе мѣсяцы былъ нарушенъ не разъ повторявшимися справками и приглашеніями для объясненій (критикъ, впрочемъ, по состоянію здоровья не являлся на эти приглашенія). Картина Наумова и изображаетъ подобное появленіе «одного изъ славныхъ русскихъ лицъ» въ квартирѣ Бѣлинскаго, въ тотъ моментъ, когда онъ заговорился съ друзьями о какой-то новой книгѣ. Предъ самою смертью Бѣлинскій въ бреду говорилъ часа два не переставая, обращаясь какъ бы къ русскому народу, приходилъ въ отчаяніе, что его не понимаютъ; просилъ жену все хорошенько запомнить и передать его слова, но изъ рѣчей его почти ничего нельзя было уже разобрать, кромѣ того, что послѣднею его думою была мысль о родинѣ и русскомъ народѣ.

«Благо Бѣлинскому, умершему во время»,—не разъ повторялъ Грановскій въ темные годы, послѣдовавшіе за смертью Бѣлинскаго. Кара, постигшая Достоевскаго, въ связи съ чтеніемъ въ дружескомъ кружкѣ письма покойнаго критика къ Гоголю, — достаточно подтверждаетъ справедливость такого отзыва Грановскаго.

Тѣло Бѣлинскаго погребено въ Петербургѣ на Волковомъ кладбищѣ. На могилѣ поставленъ скромный памятникъ. Болѣе драгоцѣннымъ и живымъ памятникомъ, конечно, являются его сочиненія и обширная, къ счастью, въ значительной своей части сохранившаяся его переписка съ друзьями, богатѣйшій матеріалъ какъ вообще для исторіи нашего литературнаго и умственнаго развитія, такъ и для характеристики этой исключительной личности.

Въ нихъ развертывается предъ нами поучительная и захватывающая картина развитія стремленій, борьба съ самимъ собою и съ внѣшними враждебными обстоятельствами богато одаренной умомъ и сердцемъ натуры, которой ничто не могло сломить нравственно. Съ этой нравственной стороны Бѣлинскій, безспорно, стоитъ такъ же высоко, какъ и въ качествѣ литературнаго дѣятеля.

Собственно говоря, сочиненія Бѣлинскаго потому такъ и захватывали въ свое время читателей, что въ каждой написанной имъ строчкѣ чув-

ствовалось горячее убѣжденіе автора, та глубокая искренность, для которой нѣтъ разницы между словомъ и дѣломъ. Сохранилось не мало свидѣтельствъ о впечатлѣніи, какое производили и по смерти критика его статьи, разсѣянныя по старымъ, но тщательно сохраняемымъ книжкамъ журналовъ. Когда въ 1859 году появилось впервые собраніе сочиненій Бѣлинскаго, въ статьѣ Добролюбова, привѣтствовавшей это знаменательное событіе, говорилось: «Во всѣхъ концахъ Россіи есть люди, исполненные энтузіазма къ этому геніальному человѣку, и, конечно, это лучшіе люди Россіи... Сколько счастливыхъ, чистыхъ минутъ снова напомнятъ намъ его статьи, — тѣхъ минутъ, когда мы полны были юношескихъ беззавѣтныхъ порывовъ, когда энергическія слова Бѣлинскаго открывали намъ совершенно новый міръ знанія, размышленія и дѣятельности! Читая его, мы забывали мелочность и пошлость всего окружающаго, мы мечтали объ иныхъ людяхъ, объ иной дѣятельности, и искренно надѣялись встрѣтить когда-нибудь такихъ людей, и восторженно обѣщали посвятить себя самихъ такой дѣятельности... Жизнь обманула насъ, какъ обманула и его; но для насъ до сихъ поръ дороги тѣ дни святого восторга, тотъ вдохновенный трепетъ, тѣ чистыя безпорочныя увлеченія и мечты, которымъ, можетъ-быть, никогда не суждено осуществиться, но съ которыми разстаться до сихъ поръ трудно и больно»...

Эти строки писаны человѣкомъ, лично на себѣ извѣдавшимъ вліяніе статей Бѣлинскаго. Еще драгоцѣннѣе другое заявленіе о благотворномъ воспитательномъ воздѣйствіи Бѣлинскаго на читателей, заявленіе со стороны человѣка, который не только не увлекался Бѣлинскимъ, но по взглядамъ своимъ во многомъ рѣзко расходился съ нимъ. Это—славянофилъ И. С. Аксаковъ. Какъ видно изъ семейной переписки Аксакова, онъ и лично къ Бѣлинскому относится сухо и холодно, хотя критикъ, весьма цѣнившій въ Аксаковѣ нѣкоторый поэтическій талантъ, не только не давалъ къ этому повода, но прямо выказывалъ свое расположеніе къ Аксакову. Въ молодые годы Аксаковъ долго служилъ въ провинціи по судебному и другимъ вѣдомствамъ. Міръ городничихъ, Тяпкиныхъ-Ляпкиныхъ и прочихъ гоголевскихъ типовъ изученъ былъ имъ въ натурѣ, и нерѣдко приходилъ онъ въ глубокое уныніе отъ пустоты и низменности провинціальной жизни, отъ того, что рѣдко можно было натолкнуться на образованнаго и порядочнаго человѣка. Вотъ что писалъ Аксаковъ въ 1856 году въ одну изъ такихъ минутъ, являя примѣръ истиннаго и благороднаго безпристрастія.

«Много я ѣздилъ по Россіи: *имя Бѣлинскаго извѣстно каждому сколько-нибудь мыслящему юношѣ, всякому жаждущему свѣжаго воздуха среди вонючаго болота провинціальной жизни.* Нѣтъ ни одного учителя гимназіи въ губернскихъ городахъ, который бы не зналъ наизусть

письма Бѣлинскаго къ Гоголю; въ отдаленныхъ краяхъ Россіи только теперь еще проникаетъ это вліяніе и увеличиваетъ число прозелитовъ. Тутъ нѣтъ ничего страннаго. Всякое рѣзкое отрицаніе нравится молодости, всякое негодованіе, всякое требованіе простора, правды принимается съ восторгомъ тамъ, гдѣ сплошная мерзость, гнетъ, рабство, подлость грозятъ поглотить человѣка, осадить, убить въ немъ все человѣческое. «*Мы Бѣлинскому обязаны своимъ спасеніемъ*»,—говорятъ мнѣ вездѣ молодые честные люди въ провинціи. И въ самомъ дѣлѣ, въ провинціи вы можете видѣть два класса людей: съ одной стороны, взяточниковъ, чиновниковъ въ полномъ смыслѣ этого слова, жаждущихъ лентъ, крестовъ и чиновъ, помѣщиковъ, презирающихъ идеологовъ, привязанныхъ къ своему барскому достоинству и крѣпостному праву, вообще довольно гнусныхъ. Вы отворачиваетесь отъ нихъ, обращаетесь къ другой сторонѣ, гдѣ видите людей молодыхъ, честныхъ, возмущающихся зломъ и гнетомъ, поборниковъ эмансипаціи и всякаго простора, съ идеями гуманными... И если вамъ нужно честнаго человѣка, способнаго сострадать болѣзнямъ и несчастіямъ угнетенныхъ, честнаго доктора, честнаго слѣдователя,—*ищите таковыхъ въ провинціи между послѣдователями Бѣлинскаго*».

И безспорно, Бѣлинскій заслужилъ своею печальною судьбою и поднятымъ имъ трудомъ то горячее чувство благодарности, поклоненія ему, какъ учителю жизни, съ которымъ люди, по словамъ Аксакова, говорили: «Мы Бѣлинскому обязаны своимъ спасеніемъ». Тепло говорилъ объ этомъ писатель, хотя и расходившійся съ Бѣлинскимъ, подобно Аксакову, во многомъ, но высоко его ставившій какъ геніальнаго критика и человѣка съ безупречнымъ нравственнымъ характеромъ, Аполлонъ Григорьевъ: «Горячаго сочувствія при жизни и по смерти стоилъ тотъ, кто самъ умѣлъ горячо и беззавѣтно сочувствовать. Безстрашный боецъ за правду—онъ не усумнился ни разу отречься отъ лжи, какъ только сознавалъ ее, и гордо отвѣчалъ тѣмъ, которые упрекали его за измѣненія взглядовъ и мыслей, что не измѣняетъ мыслей только тотъ, кто не дорожитъ правдой. Кажется даже, онъ созданъ былъ такъ, что натура его не могла устоять противъ правды, какъ правда ни противорѣчила его взгляду, какихъ бы жертвъ она ни потребовала. Смѣло и честно звалъ онъ первый геніальнымъ то, что онъ таковымъ сознавалъ, и, благодаря своему критическому чутью, ошибался рѣдко. Такъ же смѣло и честно разоблачалъ онъ, часто наперекоръ общему мнѣнію, все, что казалось ему ложнымъ или напыщеннымъ,—заходилъ иногда за предѣлы, но въ сущности, въ основахъ *никогда* не ошибался. У него былъ ключъ къ словамъ его эпохи, и въ груди его жила могущественная и волканическая сила. Теоріи увлекали его, какъ и многихъ, но въ немъ было всегда нѣчто высшее теорій, чего нѣтъ во мно-

гихъ... Вполнѣ дитя своего вѣка, онъ не опередилъ, да и не долженъ былъ опережать его... Если бы Бѣлинскій прожилъ до настоящаго времени, онъ и теперь стоялъ бы во главѣ критическаго сознанія, по той простой причинѣ, что сохранилъ бы возвышенное свойство своей натуры: неспособность закоснѣть въ теоріи противъ правды искусства и жизни».

Много можно было бы привести и еще болѣе или менѣе выпуклыхъ характеристикъ личности Бѣлинскаго и его дѣятельности, характеристикъ, съ любовью сдѣланныхъ замѣчательнѣйшими литературными дѣятелями позднѣйшей эпохи. Но смыслъ этихъ цитатъ былъ бы одинъ, выраженный, между прочимъ, въ слѣдующихъ словахъ Добролюбова:

«Многое, чѣмъ читатели восхищались у другихъ, принадлежитъ ему, вышло отъ него; многія изъ истинъ, на которыя теперь опираются наши разсужденія, утверждены имъ, въ ожесточенной борьбѣ съ невѣжествомъ, ложью и злонамѣренностью своихъ противниковъ, при сонной апатіи равнодушнаго общества... Да, въ Бѣлинскомъ наши лучшіе идеалы, въ Бѣлинскомъ же исторія нашего общественнаго развитія, въ немъ же и тяжкій, горькій неизгладимый упрекъ нашему обществу»...

«Что бы ни случилось съ русскою литературой, какъ бы пышно она ни развилась, Бѣлинскій всегда будетъ ея гордостью, ея славою, ея украшеніемъ».

Поколѣніе, лучшіе представители котораго съ безконечнымъ чувствомъ благодарности говорили: «мы Бѣлинскому обязаны своимъ спасеніемъ», одно изъ лучшихъ выраженій своего чувства нашло въ извѣстныхъ стихахъ Некрасова:

Молясь твоей многострадальной тѣни,
Учитель, передъ именемъ твоимъ
Позволь смиренно преклонить колѣни...

Если нашъ очеркъ хоть отчасти оживилъ въ читателяхъ это же настроеніе, или же, по крайней мѣрѣ, сдѣлалъ его понятнымъ, то наша задача исполнена.

P. S. Конецъ мая и начало іюня 1898 года были для русской читающей публики всецѣло «днями Бѣлинскаго». За ничтожными исключеніями (со стороны преемниковъ позорной памяти Булгарина), вся русская печать съ рѣдкимъ единодушіемъ спѣшила возложить свой вѣнокъ на великую могилу. Обаяніе «многострадальной тѣни» заставило зашевелиться публику не только въ столицахъ, но и въ провинціи, что особенно характерно. Не обошлось и безъ диссонансовъ, но всѣ эти отрицанія всенароднаго значенія Бѣлинскаго, попытки умалить смыслъ чествованія памяти Бѣлинскаго только сильнѣе подчеркнули, какъ въ общемъ дружно отозвалось

общество. Какой бы то ни было опредѣленной организаціи или общаго плана въ чествованіи Бѣлинскаго выработано ни кѣмъ не было, но въ разныхъ углахъ Россіи, не исключая самыхъ медвѣжьихъ, вездѣ, гдѣ находились люди, для которыхъ нѣчто звучало въ имени Бѣлинскаго, безъ всякихъ приглашеній со стороны заранѣе образованныхъ комитетовъ (какіе въ подобныхъ случаяхъ возникаютъ за границей), самопроизвольно люди собирались, чтобы въ той или другой формѣ почтить память «великаго сердца». До сихъ поръ не изсякло, очевидно, вліяніе Бѣлинскаго, до сихъ поръ «живъ Бѣлинскій», живъ уже потому, что остатки и переживанія былого крѣпостного строя, надломившаго его жизнь, до сихъ поръ цѣпко держатся въ нашей дѣйствительности. «Многострадальная тѣнь» до сихъ поръ непримиренною витаетъ надъ хаотическимъ смѣшеніемъ стараго и новаго, которое зовется русскою жизнью и въ которомъ старое такъ часто беретъ верхъ надъ новымъ. Хотѣлось бы думать, что «дни Бѣлинскаго», совпавшіе съ тяжелымъ вновь переживаемымъ Россіею бѣдствіемъ, не прошли безслѣдно, что, помимо тамъ и сямъ возникшихъ новыхъ народно-образовательныхъ учрежденій его имени, они дѣйствительно напомнили обществу образъ истиннаго русскаго гражданина, отдавшаго жизнь и кровь за то, что онъ считалъ лучшимъ и высшимъ... Новыя изданія сочиненій Бѣлинскаго, переписка его, статьи и новыя книги о немъ — все это на время волною захватило вниманіе общества и послужитъ новымъ толчкомъ къ еще болѣе широкому и глубокому распространенію идей и стремленій Бѣлинскаго. Хотѣлось бы думать, что «дни Бѣлинскаго» дали нѣкоторый толчекъ и болѣе дѣятельному приложенію этихъ идей и стремленій къ дѣйствительной жизни.

III.

Памяти Т. Н. Грановскаго *)

There is no time so miserable, but may be true.

Шекспиръ, Тимонъ Аѳин.

Не бываетъ времени настолько бѣдного, чтобъ человѣкъ не могъ быть честенъ.

Въ одной изъ аудиторій Московскаго университета должна была состояться 12-го сентября 1839 года вступительная лекція молодого преподавателя исторіи, только-что вернувшагося изъ-за границы, гдѣ онъ готовился къ каѳедрѣ. Болѣе двухсотъ пятидесяти слушателей съ любопытствомъ ожидали, каковъ-то будетъ новый профессоръ. Но впечатлѣніе отъ первой лекціи получилось очень неблагопріятное. Взойдя на каѳедру, молодой лекторъ, съ красивою южною физіономіей и длинными черными волосами, такъ смутился подъ устремленными на него взорами, что нѣсколько минутъ прошло въ томительномъ молчаніи. Наконецъ, онъ заговорилъ, но голосъ его былъ такъ слабъ, шепелявъ и невнятенъ, что только немногіе студенты, сидѣвшіе впереди, разслышали кое-что **).

Профессоръ, такъ неудачно начавшій свой курсъ, и былъ знаменитый впослѣдствіи Тимоѳей Николаевичъ Грановскій, оставившій почетное имя не только въ лѣтописяхъ Московскаго университета, но и въ исторіи всего русскаго общества.

*) Прочитано 4-го октября 1895 года, въ день сороковой годовщины смерти Т. Н. Грановскаго, въ Русскомъ Литературномъ Кружкѣ въ Ригѣ.—Статья представляетъ резюме книги „Т. Н. Грановскій и его время".

**) Тимоѳей Николаевичъ Грановскій. Біографическій очеркъ А. Станкевича. Москва, 1897 г., стр. 95.

«Время было тогда очень уже смирное,—говоритъ объ этой эпохѣ Тургеневъ:—правительственная сфера, особенно въ Петербургѣ, захватывала и покоряла себѣ все...» Изъ всего того, что подняло голосъ въ обществѣ впослѣдствіи, послѣ 1855 года, «ничего даже не шевелилось, а только бродило—глубоко, но смутно—въ нѣкоторыхъ молодыхъ умахъ» *).

Что представляла изъ себя Россія того времени, слишкомъ хорошо извѣстно, чтобы подробно цитировать изъ записокъ, воспоминаній и писемъ современниковъ рядъ тоскливыхъ жалобъ и свидѣтельствъ обо всѣхъ отрицательныхъ сторонахъ тогдашняго быта. То было время крѣпостного права, время «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ», время, когда въ отвѣтъ на малѣйшее сомнѣніе, что у насъ все благополучно, говорили: «Прошлое Россіи было достойно удивленія; ея настоящее—болѣе, чѣмъ великолѣпно; что же касается ея будущаго, то оно выше всего, что только можетъ вообразить себѣ самое смѣлое воображеніе: вотъ какъ, милый мой, надо понимать и писать исторію Россіи» **). То были, наконецъ, годы, когда даже робкій *цензоръ* и въ то же время профессоръ могъ съ отчаяніемъ записать въ своемъ дневникѣ: «Быть солдатомъ, а не человѣкомъ—вотъ наше единственное назначеніе... О, кровію сердца написалъ бы я исторію моей внутренней жизни! Проклято время, гдѣ существуетъ выдуманная, оффиціальная необходимость моральной дѣятельности, безъ дѣйствительной въ ней нужды» ***).

Благодаря всѣмъ этимъ внѣшнимъ условіямъ общественной жизни, все то, что «смутно бродило въ молодыхъ умахъ»—стремленія къ болѣе широкому умственному развитію и къ общественной справедливости, стремленія отъ неприглядной дѣйствительности въ чистыя области поэзіи и искусства, обратное стремленіе внести въ жизнь красоту поэзіи и правды—словомъ, все то, что составляло содержаніе умственной и нравственной жизни въ двухъ-трехъ тѣсныхъ кружкахъ сороковыхъ годовъ, все это получило значеніе важныхъ въ исторіи русскаго общества явленій. Подобнымъ же образомъ и скромная дѣятельность профессора исторіи, какимъ былъ Грановскій въ теченіе пятнадцати лѣтъ, явилась дѣятельностью гораздо болѣе знаменательною и важною, чѣмъ это возможно нынѣ для такого же талантливаго профессора.

---

*) „Литературныя воспоминанія“, соч. Тургенева, изд. 1891 года, т. X.

**) Слова шефа жандармовъ Бенкендорфа, сказанныя по поводу „философическихъ писемъ“ П. Чаадаева.

***) „Записки и дневникъ“ А. В. Никитенка. Спб., 1893 года, т. I, стр. 423.

Т. Н. Грановскій родился въ Орлѣ 9-го марта 1813 года, а воспитаніе получилъ совершенно такое, какое получали всѣ дворяне средней руки и какое охарактеризовано Пушкинымъ:

„Мы всѣ учились понемногу
Чему-нибудь и какъ-нибудь"... *).

Благодаря счастливому стеченію обстоятельствъ, семнадцати лѣтъ отъ роду Грановскій попалъ въ Петербургъ, опредѣлился было на службу, но бросилъ ее и поступилъ въ университетъ, гдѣ и кончилъ курсъ въ 1835 году. Университетъ былъ поставленъ въ это время очень плохо. Состоя на юридическомъ факультетѣ, Грановскій былъ больше заинтересованъ литературой, «Московскимъ Телеграфомъ» Полевого, самъ пописывалъ стихи, въ романтически-сентиментальномъ духѣ, былъ горячимъ поклонникомъ Пушкина и, настроенный чтеніемъ Вальтеръ-Скотта, увлекся въ концѣ концовъ исторіей, читалъ съ увлеченіемъ особенно французовъ, О. Тьерри и друг., ознакомился съ Нибуромъ. О послѣднемъ онъ могъ узнать и изъ «Московскаго Телеграфа», бывшаго въ то время на вершинѣ своего успѣха. Плетневъ, въ то время профессоръ словесности, какъ-то представилъ разъ Грановскаго, въ качествѣ особо способнаго студента, самому Пушкину.

Кругъ личныхъ знакомствъ Грановскаго за пребываніе въ университетѣ былъ очень тѣсенъ; студенты того времени по большей части съ одинаковой холодностью относились какъ къ сухой и вялой университетской наукѣ, такъ и къ литературѣ, и вели жизнь буршей. Грановскій не подходилъ къ ихъ компаніи уже потому, что, благодаря забывчивости отца, проигрывавшагося то и дѣло въ карты, часто буквально голодалъ, довольствуясь по недѣлямъ картофелемъ и чаемъ. Тургеневъ, познакомившійся съ Грановскимъ еще въ университетѣ, вспоминаетъ, какъ тотъ однажды читалъ ему отрывокъ изъ своей драмы «Фаустъ». Дѣло было въ темный зимній вечеръ, въ большой и пустой комнатѣ, за шаткимъ столомъ, на которомъ, вмѣсто всякаго угощенія, стоялъ графинъ воды и банка варенья. «Фаустъ былъ представленъ высоко-поднявшимся на воздухъ, вмѣстѣ съ Мефистофелемъ; обозрѣвая широко-раскинувшуюся землю, рѣки, лѣса, поля, жилища людей, Фаустъ произносилъ задумчивый, полный грустнаго созерцанія монологъ, показавшійся мнѣ тогда прекраснымъ. Мефистофель безмолвствовалъ; я, впрочемъ, и теперь не могу себѣ представить, какія бы рѣчи вложилъ Грановскій въ уста бѣсу... Иронія, особенно иронія

*) Книга А. Станкевича, въ той части, гдѣ идетъ рѣчь о дѣтствѣ и годахъ перваго ученія Грановскаго, дополняется воспоминаніями В. Селиванова, „Русск. Старина", 1877 года.

ѣдкая и безжалостная, была чужда его свѣтлой душѣ... Каждое свиданіе съ нимъ оставляло во мнѣ глубокое впечатлѣніе. Чуждый педантизма, исполненный плѣнительнаго добродушія, онъ уже тогда внушалъ то невольное уваженіе къ себѣ, которое столь многіе испытали» *).

По окончаніи университета Грановскій снова поступилъ на службу, писалъ кое-какія журнальныя статейки по исторіи, но это мало удовлетворяло его, и потому онъ съ радостью принялъ предложеніе попечителя Московскаго университета (съ 1835 года), С. Г. Строганова, умѣвшаго отыскивать и привлекать въ университетъ талантливыхъ людей, предложеніе ѣхать за границу доканчивать образованіе, чтобы потомъ занять каѳедру всеобщей исторіи.

За границею, главнымъ образомъ въ Берлинѣ, Грановскій пробылъ три года, въ которые сложились и опредѣлились всѣ его взгляды и нравственно-философскіе, и научно-историческіе.

Знаменитая гегелевская философія царила въ то время и въ Берлинскомъ университетѣ, гдѣ профессорами были нѣкоторые ученики Гегеля (Вердеръ, Гансъ). Не могъ не поддаться ея вліянію и Грановскій, подобно тому, какъ ей поддалась молодежь и въ Россіи, находя въ ней ключъ къ объясненію всего сущаго. Жившій съ Грановскимъ съ весны 1837 года пріятель его, Я. М. Невѣровъ, съ негодованіемъ писалъ друзьямъ, какъ Грановскій, только-что перенесся холеру, свирѣпствовавшую въ тѣ годы, не щадитъ себя: «Сочинилъ себѣ какое-то преглупое правило, что не покоряться должно природѣ, а итти ей наперекоръ, и съ этимъ правиломъ не хочетъ ни на минуту оставить своего Гегеля и исторію».

Въ Гегелѣ Грановскій искалъ примиренія и успокоенія отъ тѣхъ сомнѣній, которыхъ не остается чуждъ на извѣстной степени развитія ни одинъ умъ, не могущій принимать на вѣру традиціонныхъ представленій о мірѣ и природѣ вещей. На второй годъ жизни Грановскаго въ Берлинѣ, туда пріѣхалъ извѣстный Н. В. Станкевичъ, «одинъ изъ тѣхъ замѣчательныхъ людей, — по выраженію Бѣлинскаго, — которые не всегда бываютъ извѣстны обществу, но благоговѣйные и таинственные слухи о которыхъ переходятъ иногда и въ общество изъ тѣснаго круга близкихъ къ нимъ людей» **). Пылкій, хотя и туманный, благодушный мечтатель Станкевичъ, на нашъ взглядъ, ни на кого изъ друзей не оказалъ такого сильнаго вліянія, какъ на Грановскаго. Изученіе философіи Гегеля Станкевичъ полагалъ нравственною обязанностью всякаго просвѣщеннаго человѣка,

*) Два слова о Грановскомъ, некрологъ, появившійся въ „Современникѣ“ 1855 г. Соч. Тургенева, т. X.

**) Бѣлинскій, соч., т. XII, біографическій очеркъ о Кольцовѣ.

но онъ придавалъ ей своеобразную поэтическую окраску. «Поэзія и философія—душа всего сущаго»,—говорилъ онъ. Грановскій усвоилъ ту критическую сторону философіи Гегеля, которая впослѣдствіи въ лѣвой школѣ гегеліанцевъ, у Фейербаха, К. Маркса и др. выдвинулась на первый планъ. «Мы можемъ, мы должны сомнѣваться—это одно изъ прекрасныхъ правъ человѣка!»—восклицалъ Грановскій въ одномъ изъ своихъ писемъ. Но въ этомъ сомнѣніи, подъ вліяніемъ особенно Станкевича, онъ чаще всего останавливался на полпути, прикрывая поэтическими образами непонятное, постоянно высказывая извѣстный нравственно-философскій оптимизмъ. Въ этомъ отношеніи онъ навсегда остался романтикомъ. Едва ли не величайшею истиною, высказанною Гегелемъ, онъ считаетъ слова: «Wer die Welt vernünftig ansieht, den sieht sie auch vernünftig an» (кто разумно смотритъ на міръ, тому и міръ кажется разуменъ) *).

Ученіе Гегеля было тѣсно связано съ исторической наукою, къ которой и была приложена впервые идея развитія, освѣщавшая неожиданнымъ свѣтомъ связь и взаимоотношеніе, повидимому, ничѣмъ не связанныхъ событій и явленій. Грановскій, близко подружившійся съ профессоромъ Вердеромъ, излагавшимъ систему Гегеля, очень цѣнилъ и Ганса, читавшаго по Гегелю философію исторіи и иллюстрировавшаго свое изложеніе фактами текущей жизни; нерѣдко Гансъ являлся на лекцію не съ ветхимъ фоліантомъ, а съ послѣднимъ номеромъ французской газеты или англійскаго обозрѣнія. Эта отзывчивость на вопросы времени была, конечно, очень полезна для русскаго студента, зарывавшагося въ отвлеченности. Въ то же время на складъ историческихъ воззрѣній Грановскаго оказали сильное вліяніе знаменитый историкъ права Савиньи и создатель географіи, какъ науки, Риттеръ. Савиньи выставлялъ на первый планъ чисто историческое пониманіе государства и права, какъ выраженій внутренней жизни народа, а не какъ извнѣ наложенныхъ формъ. Школа Савиньи была по преимуществу школою консервативною. Риттеръ по отношенію къ Грановскому сыгралъ роль противовѣса тѣмъ, что высоко ставилъ и выдвигалъ культурный человѣческій элементъ въ жизни земли, творческую роль человѣка въ приспособленіи внѣшнихъ природныхъ условій къ его интересамъ и потребностямъ. Если мы упомянемъ, наконецъ, что Грановскій съ наслажденіемъ слушалъ въ Берлинѣ Ранке, восхищаясь его живымъ поэтическимъ взглядомъ на исторію, что онъ съ восторгомъ читалъ въ подлинникѣ Тацита, сравнивая его съ Шекспиромъ, если вспомнимъ, наконецъ, о всегдашней симпатіи къ историкамъ французамъ, особенно къ живому разсказчику О. Тьерри, то предъ нами будутъ всѣ вліянія, кото-

*) А. Станкевичъ, стр. 60 и слѣдующія.

рыя создали Грановскаго-историка. Въ его лекціяхъ и сочиненіяхъ слились въ одно художественное гармоническое цѣлое пониманіе исторіи, какъ непрерывнаго процесса развитія, какъ прогресса человѣчества, который свершается не фаталистически, а творческою работою личностей, и умѣніе и талантъ передавать это развитіе въ художественныхъ поэтическихъ образахъ.

На третій годъ жизни Грановскаго за границей, къ нему со Станкевичемъ и Невѣровымъ присоединился и Тургеневъ, очень еще юный. Друзья проводили время почти неразлучно, вмѣстѣ занимались, читали, ходили слушать въ театръ пьесы Шиллера. Вмѣстѣ же они стали бывать у Е. П. Фроловой (урожденной Галаховой), салонъ которой славился въ это время настолько, что даже дипломаты добивались чести быть представленными больной и далеко не красивой женщинѣ, соединявшей вокругъ себя цвѣтъ аристократіи, науки и литературы: у нея бывали А. Гумбольдтъ, Варнгагенъ фонъ-Энзе, Беттина Арнимъ, профессора Вердеръ и Гансъ и проч. Нравственный тактъ этой женщины, умѣвшей въ каждомъ затрогивать его лучшія душевныя струны, повліялъ и на Грановскаго. Не разъ далеко за полночь шла здѣсь рѣчь о Россіи, о крѣпостномъ правѣ. Послѣ одной изъ такихъ ночныхъ бесѣдъ, Станкевичъ, подъ живымъ впечатлѣніемъ ея, взялъ съ друзей торжественное обѣщаніе, что всѣ силы и всю дѣятельность они посвятятъ одной высокой цѣли — просвѣщенію русскаго народа *).

Вопросы общественной жизни невольно занимали Грановскаго, когда онъ думалъ о предстоящемъ возвращеніи въ Россію. Въ Вѣнѣ, гдѣ онъ побывалъ, заканчивая свои занятія, его поразила смѣсь невѣжества и самодовольства, господствовавшая здѣсь благодаря суровому меттерниховскому режиму. Интересуясь вѣнскою свѣтскою жизнью, Грановскій былъ пораженъ полною противоположностью ея тому, что онъ видѣлъ у Фроловой. На одномъ парадномъ обѣдѣ аристократы, прекрасно говорившіе по-французски, оказались въ полномъ невѣдѣніи относительно того, когда собственно была великая французская революція. Разъ Грановскаго возмутили розсказни какой-то русской аристократки, передаваемыя хозяйкою дома, о прекрасномъ положеніи русскихъ крѣпостныхъ, вполнѣ довольныхъ своею судьбою. «Я заспорилъ, разгорячился и, кажется, сыгралъ пресмѣшную роль»,—сообщалъ онъ объ этомъ въ письмѣ друзьямъ.

Пришло, наконецъ, и время возвращаться на родину. Грановскій ѣхалъ въ Россію не безъ тревожной думы о томъ, что ждетъ его, но спо-

*) Невѣровъ, Воспоминанія о Грановскомъ, „Русская Старина“, 1880 г., апрѣль, и его же Воспоминанія о Тургеневѣ, „Русская Старина, 1883 г., ноябрь.

войный и увѣренный въ себѣ. «Мнѣ хочется работать,—писалъ онъ,—но такъ, чтобы результатъ моей работы былъ въ ту же минуту полезенъ другимъ. Пока я внѣ Россіи — этого сдѣлать нельзя. Мнѣ кажется, что я могу дѣйствовать при настоящихъ моихъ силахъ, и дѣйствовать именно словомъ. Что такое даръ слова? краснорѣчіе? У меня есть оно, потому что у меня есть теплая душа и убѣжденія».

Очень скоро онъ заставилъ слушателей забыть печальное впечатлѣніе первой своей лекціи.

Университетъ того времени имѣлъ очень разнохарактерныя черты. При попечителѣ графѣ С. Г. Строгановѣ онъ сталъ на уровнѣ европейской науки, но было въ немъ много остатковъ и прежняго. Студенческіе нравы, съ одной стороны, носили отпечатокъ грубости, воспитываемой въ цѣломъ рядѣ поколѣній крѣпостнымъ правомъ, съ другой — отличались горячей преданностью умственнымъ интересамъ, какая свойственна людямъ, впервые понявшимъ цѣну духовнаго развитія: горячіе споры на философскія темы, увлеченіе Мочаловымъ въ шекспировскихъ роляхъ и т. д. шли рука объ руку съ разгуломъ въ «Британіи» — такъ назывался облюбованный студентами трактиръ, признаваемый даже инспекторомъ Нахимовымъ за нѣкоторый status in statu—съ побоищами противъ полиціи и т. п. *). Нѣчто подобное было и среди коллегіи профессоровъ, распадавшейся на двѣ довольно враждебныя стороны.

Представителями той университетской старины, когда студенты буянили еще и на лекціяхъ, были такіе профессора, какъ И. И. Давыдовъ, математикъ, физикъ, философъ, историкъ, словесникъ — все сразу — врагъ германской философіи, Гоголя и льстивый поклонникъ всякой власти; проф. богословія Терновскій. Какъ смотрѣли на этихъ защитниковъ православія, самодержавія и народности даже славянофилы, видно изъ того, что Хомякова однажды огорчилъ похвальный отзывъ ихъ о его статьѣ. Среди «стариковъ» вліятельны были два друга, издатели журнала «Москвитянинъ», проф. словесности Шевыревъ и русской исторіи (до 1844 г.) Погодинъ. Первый прославился открытіемъ, что Западъ уже сгнилъ и представляетъ собою трупъ, и цвѣтистое елейное краснорѣчіе его вошло въ пословицу. Второй, весь зарывшись въ хартіи, былъ на каѳедрѣ представителемъ всѣхъ инстинктивныхъ воззрѣній, какія давались тогдашнею жизнью, но обладалъ нѣкоторымъ здравымъ смысломъ, былъ себѣ на умѣ

---

*) О студенческихъ нравахъ сороковыхъ годовъ любопытны воспоминанія Колюпанова: Біографія А. И. Кошелева, т. II, и его же „Изъ прошлаго“, „Русское Обозрѣніе“, 1895 г., 1—5.

и иногда даже останавливалъ Шевырева въ его обскурантизмѣ. Эта затхлая атмосфера захватывала иногда и молодыя силы. Такъ профессоръ С. Баршевъ, криминалистъ, ученикъ Савиньи и Риттера, защищалъ «изъ соображеній человѣколюбія» плеть и розгу. Графъ С. Г. Строгановъ не всегда былъ способенъ сдерживать благонамѣренное усердіе «стариковъ», которые были сильны тѣмъ, что поняли, чего, въ сущности, хотѣли извнѣ отъ университета. По прекрасному выраженію Салтыкова, въ то время отъ профессора «требовалось одно: чтобъ онъ подыскалъ обстановку для истины, уже утвержденной и оффиціально признанной таковою».

Съ другой стороны, было нѣсколько профессоровъ, принесшихъ изъ-за границы завѣтныя мечты обновить общечеловѣческимъ знаніемъ русскую мысль, принесшихъ съ собою горячую вѣру въ науку и людей. «Они сохранили весь пылъ юности, и каѳедры для нихъ были святыми налоями, съ которыхъ они были призваны благовѣстить истину»,—говоритъ о нихъ Герценъ. Замѣчательнѣйшими изъ нихъ были П. Г. Рѣдкинъ, читавшій законовѣдѣніе, Никита И. Крыловъ, проф. римскаго права, Д. Л. Крюковъ, рано умершій предшественникъ Грановскаго по каѳедрѣ средней исторіи. Грановскій, примкнувшій къ нимъ немедленно по пріѣздѣ, скоро сравнялся, а затѣмъ и оставилъ ихъ позади по той горячей привязанности, которую умѣлъ внушать своимъ слушателямъ *).

Сочиненія Грановскаго, вышедшія въ 1892 г. третьимъ изданіемъ, только отчасти объясняютъ обаяніе его. Написалъ онъ не много. Къ нему буквально примѣнимы собственныя слова его о Нибурѣ: «Жизнь въ кругу людей, которые были въ состояніи понимать его, поддерживая внутреннюю дѣятельность..., иногда отвлекала его отъ литературной производительности. Высказанная и уясненная въ разговорѣ мысль теряла для него прелесть новизны. Онъ переставалъ считать ее своею собственностью и былъ доволенъ тѣмъ, что изустно передалъ ее другимъ, способнымъ ею воспользоваться» **). Зато, принимаясь за литературную обработку какой-либо темы, Грановскій считалъ своимъ долгомъ исполнить трудъ, какъ

---

*) О коллегіи профессоровъ характерны воспоминанія А. Аѳанасьева: „Московскій университетъ 1843—1849 гг.“, „Русск. Старина“, 1886 г., августъ. Свой неблагопріятный отзывъ о Грановскомъ Аѳанасьевъ ограничилъ и измѣнилъ въ его пользу въ части записокъ, пока не напечатанной, написанной послѣ смерти Грановскаго (см. объ этомъ сообщеніе въ „Русск. Вѣд.“ отъ 6-го окт. 1895 г.). Далѣе, любопытны воспоминанія Галахова: „Сороковые годы“, объ „Историч. Вѣстн.“, 1892 г., 1 и 2; Герцена „Былое и Думы“ и мн. другое. Наиболѣе разнообразенъ матеріалъ въ девяти вышедшихъ томахъ біографіи Погодина, принадлежащей г. Барсукову.

**) Сочиненія Грановскаго, Москва, 1892 г., т. II., стр. 40.

можно тщательнѣе. Ненужнаго балласта, повтореній одной и той же мысли нельзя найти въ его законченныхъ статьяхъ; по строгости формы и языка это классическія произведенія.

Они подтверждаютъ вполнѣ то, что сказано нами о складѣ историческихъ воззрѣній Грановскаго. На первомъ планѣ слѣдуетъ поставить его убѣжденную вѣру въ прогрессъ, не фаталистическій, но дающій широкій просторъ индивидуальнымъ усиліямъ: сущность историческаго процесса—разложеніе массъ личною индивидуальною мыслью. Благодаря послѣдней, сглаживается зависимость воззрѣній и жизни народа отъ непосредственныхъ природныхъ условій. Историческій процессъ, выясняемый всеобщею исторіею, есть детерминизмъ, не сковывающій личности. «У исторіи двѣ стороны, — говоритъ онъ: — въ одной является намъ свободное творчество духа человѣческаго, въ другой—независимыя отъ него данныя природою условія его дѣятельности» *). Нравственно-философскій оптимизмъ Грановскаго заставилъ его и въ исторіи признать, помимо детерминизма, неизбѣжное осуществленіе нѣкотораго «нравственнаго закона». «Благоговѣйно созерцаетъ историкъ,—пишетъ онъ,—ряды стройно развивающихся, по указанію Божественнаго перста, явленій...» и т. д. **) Этотъ оптимизмъ заставляетъ Грановскаго порою прикрывать поэзіею, художественными образами то, что съ точки зрѣнія оптимизма никакъ нельзя было объяснить. Въ блестящей характеристикѣ Тимура, «этой кровавой и скорбной загадки», Грановскій совершенно ненаучно допускаетъ, что исторія Востока «подчинена другимъ законамъ». «Тамъ народы коснѣютъ въ продолженіе вѣковъ въ непробудномъ снѣ. Имъ видятся странныя грезы, которыя они переносятъ не только въ свою поэзію, но и въ свою исторію» ***). Это смѣло и красиво, но дѣла все-таки не объясняетъ. Грановскій держался уже упомянутаго гегелевскаго «Wer die Welt vernünftig ansieht, den sieht sie auch vernünftig an» и не хотѣлъ допустить, въ противоположность Герцену, что ни природа, ни исторія сами по себѣ никуда не идутъ, а готовы идти всюду, куда имъ укажутъ, если ничто не мѣшаетъ. По своимъ нравственно-философскимъ взглядамъ онъ такъ и остался до извѣстной степени романтикомъ тридцатыхъ годовъ.

Замѣтимъ, однако, что въ общественно-историческомъ отношеніи это разногласіе никакой особой роли не играло, имѣя значеніе лишь для внутренней жизни кружка западниковъ. Наиболѣе существенно было то, что западники, въ томъ числѣ и Грановскій, выдвигали на первый планъ

---

*) То же, т. I, стр. 22.

**) То же, т. II, стр. 461.

***) Соч., т. I, стр. 339.

живую человѣческую личность, такъ развитую на Западѣ и такъ подавленную въ Россіи крѣпостнымъ правомъ и всѣмъ, что было тѣсно связано съ этимъ учрежденіемъ. «Нравственная, просвѣщенная личность» и «сообразное требованіямъ такой личности общество» *) — такъ опредѣляетъ самъ Грановскій сущность своего общественнаго идеала, и сообразно этому западническое міровоззрѣніе, котораго представителемъ онъ былъ на каѳедрѣ, можетъ быть опредѣлено, какъ индивидуализмъ въ широкомъ смыслѣ слова.

Этотъ взглядъ на личность связываетъ воедино всѣ статьи Грановскаго съ разсѣянными въ нихъ указаніями на отношеніе событій прошлаго къ современнымъ. Выставляя факторомъ прогресса личность, Грановскій, который, по прекрасному выраженію Герцена, «думалъ исторіей, учился исторіей и исторіей впослѣдствіи дѣлалъ пропаганду», Грановскій не разъ останавливался на томъ, какова можетъ быть роль историка и его личности. Онъ не разъ указываетъ на значеніе неподкупной исторической критики, разрушающей преданія, лестныя національному самолюбію того или другого народа **). Далѣе онъ постоянно подчеркиваетъ зависимость, указываемую исторіей, между частною и общественною нравственностью, т.-е. личнымъ поведеніемъ и общественными учрежденіями ***). Оба эти указанія въ то время, когда мысль о недосягаемомъ національномъ могуществѣ Россіи кружила головы и крѣпостное право развращало всѣ сословія, имѣли, конечно, большую важность. Руководящею нитью историка при этомъ должно служить теплое чувство человѣчности, развиваемой тѣмъ же изученіемъ. «Тотъ не историкъ, кто неспособенъ перенести въ прошедшее живого чувства любви къ ближнему и узнать брата въ отдаленномъ отъ него вѣками единоплеменникѣ» ****). Нравственный судъ такого историка надъ дѣятелями минувшаго будетъ, въ силу этого живого чувства, вліять и на современныхъ дѣятелей. Грановскій въ свой судъ вносилъ всю сердечную мягкость и даже особенную симпатію чувствовалъ

*) Соч., т. II, стр. 220. Г. Скабичевскій, обстоятельно разбирающій непослѣдовательность взглядовъ Грановскаго въ статьѣ „Три человѣка сороковыхъ годовъ“ (Соч., т. I), справедливо замѣчаетъ, что „только среди общества политически-зрѣлаго талантъ и убѣжденія Грановскаго могли бы вполнѣ выработаться и окрѣпнуть“ (стр. 523—524).

**) Таковы: статья о Сидѣ (т. II), магистерская диссертація, многія мѣста въ статьяхъ объ исторической литературѣ за 1847 г. (т. II).

***) Соч., т. II, стр. 383: „частная нравственность всегда въ зависимости отъ общественной“, и рядомъ, въ другой статьѣ, на стр. 384: „испанская инквизиція можетъ служить доказательствомъ того страшнаго вліянія, какое дурныя государственныя учрежденія имѣютъ на судьбу и характеръ цѣлыхъ народовъ“.

****) Соч., т. I, стр. 26.

къ дѣятелямъ «переходныхъ эпохъ», представителямъ того міровоззрѣнія, которое смѣняется новымъ: онъ повторяетъ, что нравственное достоинство личности не можетъ быть измѣряемо одною принадлежностью къ той или другой политической партіи. Наконецъ, однимъ изъ важныхъ средствъ историка для вліянія на современниковъ Грановскій считалъ то, что онъ вслѣдъ за Нибуромъ называлъ аналогическимъ методомъ. Онъ особенно любилъ темы содержанія аналогичнаго съ содержаніемъ современныхъ вопросовъ. Такъ, его занимала параллель между культурнымъ кризисомъ въ Римской имперіи и современнымъ европейскимъ положеніемъ, дѣятельность Гракховъ и аграрная агитація въ Америкѣ и т. д. Аналогія, мелькавшая въ его умѣ, явно чувствуется въ очеркѣ объ Океаніи, духовно-угасающей вдали отъ цивилизованнаго міра; именно аналогія съ положеніемъ Россіи, въ 1852 г., когда была написана статья, совершенно отрѣзанной отъ общенія съ Западною Европой.

Такимъ образомъ, идеалъ историка для Грановскаго—это всесторонне и критически образованный человѣкъ и гражданинъ, не только передающій рядъ болѣе или менѣе занимательныхъ «исторій», но и воспитывающій слушателей, проповѣдникъ живой дѣятельности и гуманности, не расплывающійся только въ возвышенныхъ фразахъ о добрѣ, истинѣ и красотѣ, но влагающій въ свою проповѣдь совершенно опредѣленныя начала широкаго общественнаго индивидуализма.

«Въ историкѣ,—говоритъ гдѣ-то Тэнъ,—есть *критикъ*, который провѣряетъ факты, *ученый*, который собираетъ ихъ, *философъ*, который ихъ поясняетъ; но всѣ они должны быть скрыты за *художникомъ*, который повѣствуетъ».

Примѣняя это опредѣленіе къ Грановскому, нельзя не сказать, что слабѣе всего въ немъ былъ критикъ. Способность къ мелочному анализу отступала на задній планъ предъ способностью его къ художественному синтезу. Послѣдній могъ проявляться съ блескомъ, потому что достаточно цѣльное философское міровоззрѣніе давало Грановскому возможность хорошо ориентироваться въ богатствѣ усвоенныхъ или всегда доступныхъ фактовъ изъ разнообразнѣйшихъ областей исторіи.

Художникъ-поэтъ, болѣе созерцатель, чѣмъ публицистъ, — въ противоположность тому, что казалось бы согласно вышесказанному, — вотъ кто всегда рѣшительно преобладаетъ въ Грановскомъ. Возьмите его сочиненія, и вы найдете сколько угодно блестящихъ образовъ и художественныхъ картинъ, разсѣянныхъ здѣсь и тамъ. Вотъ кое-что, взятое наудачу. «Къ высокимъ башнямъ господскаго дома робко жмутся бѣдныя, ждущія отъ

него защиты и покровительства хижины виллановъ» *). Бѣдная положительнымъ знаніемъ схоластика «была исполнена вѣры въ силы человѣческаго разума и думала, что истину можно взять съ бою, какъ феодальный замокъ» **). Двойственность англиканской церкви, изъ которой католицизмъ вытѣсненъ лишь отчасти, Грановскій сравниваетъ съ полуготическимъ, полуновымъ зданіемъ. «Зато католицизмъ, какъ привидѣніе, бродитъ въ уцѣлѣвшихъ остаткахъ храма, нѣкогда ему одному посвященнаго» ***).

Талантъ Грановскаго ученики его называли «живописующимъ», самого учителя называли Пушкинымъ исторіи ****). Это сближеніе имѣетъ подъ собою много основаній. Горячій поклонникъ Пушкина, Грановскій близокъ къ нему даже со стилистической стороны: у обоихъ та же простота и художественная безыскусственность языка, умѣніе избѣгать длинныхъ періодовъ даже при изложеніи отвлеченной мысли. Поэта и историка сближаетъ также умѣніе достигать художественныхъ эффектовъ самыми простыми средствами. Вспомните, напр., очеркъ о Тимурѣ *****). Образъ Тимура, «вѣявшаго вѣтромъ разрушенія на враговъ», рисуется какъ бы подавленнымъ непонятною стихійною разрушительною силой, воплотившеюся въ немъ. И «вѣтеръ разрушенія повѣялъ на собственное дѣло и родъ его». Нѣсколькими штрихами Грановскій рисуетъ картину запустѣнія, гдѣ пронесся этотъ вихрь, и центральное и самое сильное мѣсто этой картины—простыя, нисколько сами по себѣ не выразительныя слова: «Здѣсь прошли монголы».

Тайна этихъ живописныхъ эффектовъ въ томъ, что Грановскій, какъ видно изъ вышеприведенныхъ примѣровъ, выставляетъ на первый планъ не тѣ или иные *внѣшніе признаки* предмета, а *впечатлѣніе*, какое предметъ на него производитъ. Въ этомъ вообще тайна живописанія словомъ, какъ объяснено еще Лессингомъ, и Грановскій владѣлъ ею въ совершенствѣ.

Это же объясняетъ отчасти, почему Грановскій писалъ такъ мало: систематическій упорный письменный трудъ былъ ему не по душѣ, онъ старался писать въ свѣтлую минуту вдохновенія, а, благодаря природной общительности, оно приходило въ обществѣ и на каѳедрѣ, предъ слушате-

*) Сос., т. I, 373.

**) То же, т. I, 374.

***) То же, т. II, 268.

****) Затрудняемся указать, кому первому принадлежитъ это сравненіе: оно принадлежитъ къ числу тѣхъ необычайно удачныхъ выраженій, которыя сразу идутъ въ общій оборотъ, такъ что теряется личность автора ихъ.

*****) Соч., т. I, „Четыре характеристики“.

лями, скорѣе, чѣмъ при кабинетной работѣ. «Я вообще не умѣю и не желаю писать длинныхъ статей,—говоритъ Грановскій въ одномъ письмѣ:— если не умѣешь сказать въ немногихъ словахъ того, чѣмъ полно сердце, то многорѣчіемъ только разведешь водою собственное чувство. Вотъ моя литературная теорія».

Здѣсь рѣчь не столько о «чувствахъ добрыхъ», сколько о чувствѣ художественномъ, артистическомъ объективномъ воспріятіи историческихъ событій.

Какъ на поклоненіи Пушкину, какъ поэту, сходились люди самыхъ разнообразныхъ взглядовъ, такъ и Грановскій-художникъ соединялъ около себя иногда ожесточенныхъ противниковъ. Это было не только при лекціяхъ его, о которыхъ сейчасъ будемъ говорить, но и по отношенію къ его печатнымъ трудамъ. Книжки «Отечественныхъ Записокъ», гдѣ Грановскій охотнѣе всего помѣщалъ свои довольно рѣдкія статьи, раскупались особенно сильно. Тѣ изъ этихъ статей, которыя закончены, и до сихъ поръ не утратили своей свѣжести: онъ развернулъ въ нихъ и свой живописующій талантъ, и высказалъ занимавшія его идеи. Таковы «Четыре характеристики», о которыхъ современники говорили, что онѣ слишкомъ хороши для ученаго сочиненія, статьи объ исторической литературѣ во Франціи и Англіи въ 1847 году, статья о Нибурѣ и друг. Въ двухъ томахъ его сочиненій найдется не мало страницъ, дающихъ Грановскому почетное мѣсто въ ряду русскихъ художниковъ слова; какъ классическія, онѣ должны бы стать предметомъ изученія еще со школьной скамьи. Кое-что дѣйствительно вносится уже въ хрестоматіи.

Живописующій талантъ Грановскаго вполнѣ развертывался, однако, только на лекціяхъ. Если бы записки современниковъ не были такъ многочисленны и единодушны въ этомъ отношеніи, можно было бы усомниться въ справедливости восторженныхъ отзывовъ о томъ очарованіи, въ какое онъ повергалъ слушателей. Это былъ совершенно особый и рѣдкій ораторскій талантъ, яркимъ пламенемъ вспыхивавшій при подходящихъ условіяхъ, неподражаемая способность сообщать слушателямъ въ рѣчи, словами, тономъ голоса, взоромъ тѣ впечатлѣнія и эмоціи, какія вызывали въ немъ передаваемыя событія. Грановскій никогда не читалъ по запискамъ, а всегда импровизировалъ. Онъ самъ говаривалъ, что лучшее приходитъ ему въ голову во время самаго чтенія. «Мнѣ весело, признаюсь, братъ,—писалъ онъ Станкевичу,—смотрѣть на студентовъ, сидящихъ на ступеняхъ моей каѳедры или на стульяхъ кругомъ, чтобы лучше слышать и записывать». Окруженный этою сочувственною густою толпой, онъ вдох-

новлялся и жилъ на каѳедрѣ такъ же, какъ «живетъ» на сценѣ геніальный артистъ, увлекающій властно зрителей.

Любопытна въ этомъ отношеніи параллель, которую С. М. Соловьевъ проводитъ между Грановскимъ и Д. Крюковымъ; она чрезвычайно напоминаетъ ту параллель, которую Бѣлинскій проводилъ между извѣстными актерами Мочаловымъ, разсчитывавшимъ лишь на чувство, и Каратыгинымъ, разсчитывавшимъ каждый шагъ и каждое движеніе. «Между талантомъ Крюкова и талантомъ Грановскаго такая же большая разница, какъ и между ихъ наружностью,—говоритъ Соловьевъ:—Крюковъ имѣлъ чисто великороссійскую физіономію, круглое полное лицо, бѣлый цвѣтъ кожи, свѣтло-русые волосы, свѣтло-каріе глаза; талантъ его болѣе поражалъ съ внѣшней стороны, поражалъ музыкальностью голоса, изящною обработкой рѣчи; къ нему какъ нельзя болѣе шло прилагательное elegantissimus, какъ мы, студенты, его величали; но при этой элегантности, щегольствѣ, въ немъ самомъ, въ его рѣчи, чтеніяхъ было что-то холодное; его рѣчь производила впечатлѣніе, какое производитъ художественное изваяніе. Грановскій имѣлъ малороссійскую южную физіономію; необыкновенная красота его производила сильное впечатлѣніе не на однѣхъ женщинъ, но и на мужчинъ. Грановскій своею наружностью всего лучше доказываетъ, что красота есть завидный даръ, много помогающій человѣку въ жизни. Онъ имѣлъ смуглую кожу, длинные черные волосы, черные, огненные, глубоко смотрящіе глаза. Онъ не могъ похвастать внѣшнею изящностью своей рѣчи; онъ говорилъ очень тихо, требовалъ напряженнаго вниманія, заикался, глоталъ слова; но внѣшніе недостатки исчезали предъ внутреннею силой и теплотой, которыя давали жизнь историческимъ лицамъ и событіямъ и приковывали вниманіе слушателей къ этимъ живымъ, превосходно очерченнымъ лицамъ и событіямъ. Если изложеніе Крюкова производило впечатлѣніе, которое производитъ изящное изваяніе, то изложеніе Грановскаго можно сравнить съ изящною картиною, которая дышитъ теплотою, гдѣ всѣ фигуры ярко расцвѣчены, дышатъ, дѣйствуютъ предъ вами» *).

Въ первый же годъ чтеній Грановскаго между профессоромъ и студентами, сходившимися на лекціи его съ разныхъ курсовъ и факультетовъ, установилась неизмѣнная и тѣсная дружеская связь. Благоговѣйная тишина во время лекцій его нарушалась только шелестомъ бумаги да скрипомъ карандаша, записывавшаго лекціи. Но часто самые усердные невольно забывали о тетрадкахъ, заслушавшись тихой и задушевной рѣчи.

*) См. статью профессора Виноградова о Грановскомъ: „Русская Мысль“, 1893 г., кн. IV.

И вообще даже тому, кто слово въ слово записывалъ рѣчь Грановскаго,— какъ объ этомъ согласно говорятъ всѣ свидѣтельства,—казалось послѣ, что что-то пропущено, что-то исчезло, именно общее впечатлѣніе, самый изящный тонъ и образъ лектора, неуловимые и доступные только очевидцу.

Чѣмъ художественнѣе и изящнѣе была форма лекцій, тѣмъ сильнѣе, конечно, онѣ дѣйствовали на слушателей. Восторженные поклонники Грановскаго выше всего ставили «гуманность» его, но это нѣсколько неопредѣленное понятіе мало говоритъ о положительномъ содержаніи того, что осѣдало послѣ лекцій Грановскаго въ умѣ и сердцѣ его слушателей. Важно то содержаніе, которое было въ этой идеѣ гуманности, что̀ указано выше, важно то, что Грановскій не отдѣлялъ науки отъ жизни и менѣе всего былъ цеховымъ ученымъ. Одинъ изъ своихъ курсовъ онъ закончилъ слѣдующими словами: «Не для однихъ разговоровъ въ гостиныхъ, можетъ быть, умныхъ, но безполезныхъ, предназначаетесь вы, а для того, чтобы быть полезными гражданами и дѣятельными членами общества. Возбужденіе къ практической дѣятельности—вотъ назначеніе исторіи. Она избавитъ насъ отъ пристрастія къ прошедшему, отъ надеждъ (фаталистическихъ и самодовольныхъ) на будущее. Позвольте мнѣ пожелать, чтобы вы избрали на всю жизнь девизомъ слова Ульриха фонъ-Гуттена: «наука пробуждается, умъ свободенъ, весело жить!»—весело не во имя тѣхъ удовольствій, которыя доставляетъ жизнь, а во имя науки и труда» *).

Повторяемъ, лекціи Грановскаго никогда не были чѣмъ-то узко-тенденціознымъ. Онъ не любилъ «рѣзать по живому», какъ выражался самъ, и подгонять факты подъ теорію. Но и въ качествѣ художника-созерцателя онъ не скрывалъ симпатій своихъ, ему было всегда чуждо то «позорное», по его выраженію, безпристрастіе, въ которомъ видно только равнодушіе историка къ разсказу. Аналогіи и сближенія съ современностью обыкновенно сами собою возникали въ умѣ слушателей. «При просмотрѣ отрывочныхъ студенческихъ записей,—указываетъ профессоръ Виноградовъ,—особенно поражаетъ простота плана, отсутствіе изысканныхъ эффектовъ, обстоятельность и добросовѣстность, съ какою лекторъ касается всего существеннаго. Не видно никакого желанія прикрасить предметъ для аудиторіи. Нѣтъ намековъ, эпохи взяты обыкновенно отдаленныя отъ дѣйствительности. Авторъ, впрочемъ, нигдѣ не скрываетъ своихъ симпатій. Рыцарство и рыцарская честь, конечно, получаютъ прочувствованную оцѣнку въ словахъ человѣка, который самъ былъ рыцаремъ, въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Низшіе классы, обремененные трудомъ и заклейменные презрѣніемъ «лучшихъ людей», вездѣ вызываютъ глубокое состраданіе.

*) Воспоминанія о Грановскомъ въ „Русскомъ Обозрѣніи“, 1893 г., февраль, 731.

Въ этихъ записяхъ встрѣчаемъ такія, напримѣръ, мѣста. «Въ XII столѣтіи монахи монастыря св. Германа вытребовали позволеніе своимъ крѣпостнымъ людямъ выходить на поединокъ съ людьми какого бы то ни было сословія. Въ первый разъ рабъ, несчастный рабъ былъ поставленъ наравнѣ съ другими» *). Самое слово «рабъ» тщательно вымарывалось въ это время въ печати даже благодушнымъ цензоромъ Никитенкомъ **); 30-го марта 1842 года, государемъ въ государственномъ совѣтѣ было заявлено, что всякій помыселъ объ уничтоженіи крѣпостного права въ настоящую минуту «былъ бы лишь преступнымъ посягательствомъ на общественное спокойствіе и благо государства» ***). Говорить при такихъ обстоятельствахъ съ каѳедры о жалкой судьбѣ раба, несчастнаго раба— было дѣломъ не совсѣмъ легкимъ. Но Грановскій такъ просто и задушевно высказывалъ свои взгляды, не видя въ нихъ ни особой заслуги, ни считая нужнымъ скрывать ихъ, что обезоруживалъ обскурантовъ. По прекрасному выраженію Герцена, какъ предъ благодушными проповѣдниками реформаціи смущались суровые судьи-инквизиторы, такъ примирительная улыбка Грановскаго смущала его противниковъ.

Ту же простоту и задушевность Грановскій вносилъ въ личныя отношенія со студентами. «Будь личность Грановскаго болѣе своеобразна, болѣе рѣзко выражена,—пишетъ, напримѣръ, Тургеневъ:—молодые его ученики не такъ бы довѣрчиво къ нему обращались. Грановскій былъ доступенъ во всякое время, не отталкивалъ никогда никого. Проникнутый весь наукой, посвятивъ себя всего дѣлу просвѣщенія и образованія, онъ считалъ себя самого какъ бы общественнымъ достояніемъ, какъ бы принадлежностью всякаго, кто хотѣлъ бы образоваться и просвѣтиться... Къ нему, какъ къ роднику близъ дороги, всякій подходилъ свободно и черпалъ живительную влагу изученія, которая струилась тѣмъ чище, чѣмъ самъ преподаватель меньше прибавлялъ своего» ****). Молодежь льнула къ Грановскому невольно и естественно, и для нея двери его не затворялись даже во время болѣзни: къ услугамъ студентовъ всегда были научный совѣтъ, его книги, простое участіе и помощь въ частныхъ дѣлахъ. Въ пользу нуждавшихся студентовъ онъ организовалъ сборы въ многочисленномъ кругу своихъ друзей *****), и трудно сказать, кого больше любили студенты—Грановскаго-профессора или человѣка.

---

*) Указанная статья профессора Виноградова.

**) „Сперанскій подъ цензурой 40-хъ годовъ", „Русская Старина", 1891 года, 1.

***) Біографія Кошелева, II, 109, и Семевскій, Крестьянскій вопросъ, 7, II.

****) „Два слова о Грановскомъ".

*****) „Помощь голодающимъ", Москва, 1892 г. Письмо Огарева, стр. 525.

Въ 1845 году, при защитѣ Грановскимъ диссертаціи, студенты вмѣстѣ съ публикой горячо аплодировали ему и ошикали нѣкоторыхъ оппонентовъ. Друзья послѣднихъ начали толковать о студенческомъ бунтѣ, за что въ то время виновнымъ грозила по меньшей мѣрѣ солдатчина. Грановскій 24-го февраля просилъ студентовъ разъ навсегда прекратить выраженіе какихъ бы то ни было знаковъ одобренія. Рѣчь эта такъ полно дорисовываетъ Грановскаго, какъ профессора, что нельзя не привести ея цѣликомъ. «Мм. гг.!—говорилъ Грановскій,—благодарю васъ за тотъ пріемъ, которымъ вы почтили меня 21-го февраля. Онъ меня еще болѣе привязалъ къ университету и къ вамъ. Въ этотъ день я получилъ самую благородную и самую драгоцѣнную награду, какую только могъ ожидать преподаватель. Теперь отношенія наши уяснились; поэтому я думаю, мм. гг., что впередъ внѣшнія изліянія вашихъ чувствъ будутъ излишни, точно такъ, какъ между двумя старинными, испытанными друзьями излишни новыя увѣренія въ дружбѣ. Теперь эти рукоплесканія могутъ только обратить на насъ вниманіе. Я прошу васъ, мм. гг., не перетолковывайте этихъ словъ въ дурную сторону. Я говорю не изъ страха за себя, даже не изъ-за страха за васъ, мм. гг.,—я знаю, что страхомъ васъ нельзя остановить. Меня заставляютъ говорить причины болѣе разумныя, болѣе достойныя меня и васъ. Мы, равно и вы, какъ и я, принадлежимъ къ молодому поколѣнію,—тому поколѣнію, въ рукахъ котораго жизнь и будущее. И вамъ и мнѣ предстоитъ благородное и, надѣюсь, долгое служеніе нашей великой Россіи,—Россіи, преобразованной Петромъ, Россіи, идущей впередъ и съ равнымъ презрѣніемъ внимающей и клеветамъ иноземцевъ, которые видятъ въ насъ только легкомысленныхъ подражателей западнымъ формамъ, безъ всякаго собственнаго содержанія, — и старческимъ жалобамъ людей, которые любятъ не живую жизнь, а ветхій призракъ, вызванный ими изъ могилы, и нечестиво преклоняются предъ кумиромъ, созданнымъ ихъ праздным воображеніемъ. Побережемъ же себя на великое служеніе. Въ заключеніе скажу вамъ, мм. гг., что гдѣ бы то ни было и когда бы то ни было, если кто-нибудь изъ васъ придетъ ко мнѣ во имя 21-го февраля, тотъ найдетъ во мнѣ признательнаго и благодарнаго брата». Эта рѣчь подала въ свое время поводъ къ обвиненіямъ противъ Грановскаго въ популярничаньѣ, но въ виду тогдашняго остраго настроенія должна быть признана необычайно тактичною и деликатною. Впослѣдствіи и другимъ профессорамъ приходилось не разъ просить студентовъ не аплодировать имъ, но врядъ ли кто бы то ни было могъ бы что-либо добавить къ тому, что было сказано Грановскимъ.

Даже убѣжденные противники Грановскаго, не исключая и такихъ,

какъ Шевыревъ *), не могли не оцѣнить того нравственно-воспитательнаго вліянія, какое оказывалъ на студенческую молодежь Грановскій. «Не пропали эти живыя впечатлѣнія, которыя выносили слушатели изъ его аудиторіи,—писалъ, напримѣръ, славянофилъ К. Аксаковъ:—онъ воспитывалъ своихъ слушателей; онъ поднималъ ихъ надъ обыденною жизнью въ высшія сферы духа; онъ будилъ въ нихъ благородныя движенія и чувства; онъ образовывалъ и устремлялъ ихъ силы; это—великое дѣло, огромное значеніе. И вотъ почему эта всеобщая любовь къ Грановскому, и вотъ почему она понятна и законна. Говорятъ: онъ ничего не написалъ, ничего не сдѣлалъ: онъ точно мало написалъ, но онъ много сдѣлалъ. Онъ могъ, въ отвѣтъ на такой упрекъ, указать (какъ сдѣлалъ нѣкогда Мерзляковъ) на студентовъ и сказать: вотъ мои лекціи!» **).

«Но не однихъ студентовъ могъ указать Грановскій,—добавляетъ Аксаковъ:—онъ могъ указать на общество, внимавшее полной одушевленія и изящества, возвышенной, увлекательной его рѣчи, и теперь благодарно произносящее имя Грановскаго». Къ дѣятельности Грановскаго для общества и въ обществѣ мы и должны теперь перейти.

«Окружающее меня здѣсь—нерадостно,—писалъ Грановскій Станкевичу вскорѣ послѣ пріѣзда въ Москву.—Въ университетѣ у насъ есть движеніе, жизнь, но въ этой жизни есть что-то искусственное. Студенты занимаются хорошо, пока не кончили курса; по выходѣ изъ университета лучшіе изъ нихъ, тѣ, которые подавали наиболѣе надеждъ, пошлѣютъ и теряютъ участіе къ наукѣ и ко всему, что выходитъ изъ круга такъ-называемыхъ положительныхъ интересовъ. Ихъ губитъ матеріализмъ и безнравственное равнодушіе нашего общества. Вотъ почему университетская жизнь кажется мнѣ искусственною, оторванною отъ русскаго быта». Посвящая свои силы университету, Грановскій думалъ о томъ, какъ связать жизнь его съ жизнью московскаго общества. Если гора не идетъ къ Магомету, Магометъ долженъ итти къ ней. Съ этою цѣлью Грановскій открылъ зимою 1843—1844 г. большой публичный курсъ исторіи среднихъ вѣковъ, читанный имъ въ стѣнахъ университета два раза въ недѣлю.

Въ высшемъ свѣтскомъ обществѣ Москвы, слегка фрондировавшей предъ дѣловитымъ чиновникомъ—Петербургомъ, была уже нѣкоторая мода на ученость. Въ первый же годъ профессорской дѣятельности Грановскаго его просили прочесть рядъ лекцій для дамъ. Красавецъ профессоръ, «интересный» собою, очень нелюбезно, наотрѣзъ отказался занимать дам-

*) Біографія Кошелева, т. II, стр. 264.

**) „Молва“ за 1857 г., № 1.

ское любопытство. Теперь это долженъ былъ быть серьезный курсъ лекцій, такихъ же, какія онъ читалъ въ университетѣ.

Въ исторіи русскаго общества этотъ курсъ долженъ быть отмѣченъ, какъ замѣчательное событіе. Грановскій собралъ около себя, — какъ пишетъ современникъ, — «не только людей науки, всѣ литературныя партіи и обычныхъ своихъ восторженныхъ слушателей—молодежь университета, но и весь образованный классъ города—отъ стариковъ, только-что покинувшихъ карточные столы, до дѣвицъ, еще не отдохнувшихъ послѣ подвиговъ на паркетѣ, и отъ губернаторскихъ чиновниковъ до неслужащихъ дворянъ» *). Лекціи начались 23-го ноября 1843 г., и публика воочію убѣдилась, что не преувеличена была молва, разнесенная по городу молодежью, о необычайномъ талантѣ лектора.

Лекціи Грановскаго были важны не только потому, что отвлекали публику отъ обычнаго празднаго препровожденія времени, но и потому, что Грановскій явился на каѳедрѣ публично врагомъ того узкаго національнизма, который гнѣздился въ университетѣ и господствовалъ всюду. По мѣткому выраженію Герценовскаго дневника, лекціи были «камнемъ въ голову узкимъ націоналистамъ», камнемъ тѣмъ болѣе чувствительнымъ, что Грановскій, неспособный ни къ какимъ полемическимъ рѣзкостямъ, былъ такъ рыцарски сдержанъ и простъ, что не могъ вызвать никакого личнаго раздраженія. Стали указывать подъ рукой на «духъ» его лекцій, на пристрастіе къ Западу, на молчаніе о православіи, на симпатіи къ Гегелю. Печатно эти толки были высказаны Шевыревымъ въ «Москвитянинѣ», и Грановскій, принимая этотъ вызовъ, отвѣтилъ въ концѣ одной изъ лекцій.

«Обвиняютъ, что я пристрастенъ къ Западу,—говорилъ Грановскій:— я взялся читать часть его исторіи, я дѣлаю это съ любовью и не вижу, почему мнѣ должно бы читать ее съ ненавистью. Западъ кровавымъ потомъ выработалъ свою исторію, плодъ ея намъ достается даромъ — какое же право не любить его? Если бы я взялся читать нашу исторію, я увѣренъ, что и въ нее я принесъ бы ту же любовь. Далѣе, меня обвиняютъ въ пристрастіи къ какимъ-то системамъ; лучше было бы сказать, что я имѣю мои ученыя убѣжденія. Да, я ихъ имѣю и только во имя ихъ явился я на этой каѳедрѣ, — разсказывать голый рядъ событій и анекдотовъ не было моею цѣлью». «Громъ рукоплесканій и неистовое браво,—разсказываетъ очевидецъ,—окончили его рѣчь: съ невыразимымъ чувствомъ одушевленія былъ сдѣланъ этотъ аплодисментъ, проводившій Грановскаго до самой двери аудиторіи. На этотъ разъ публика была достойна профессора. И какая плюха доносчикамъ!..»

*) Анненковъ, статья „Замѣчательное десятилѣтіе". „Воспоминанія и критическіе очерки", т. III, стр. 74.

Несмотря на новыя интриги, благодаря которымъ Грановскому пришлось подвергнуться непріятнымъ объясненіямъ съ попечителемъ, курсъ удалось довести до конца. Въ теченіе всѣхъ лекцій Грановскій «прямо касался самыхъ волнующихъ душу вопросовъ и нигдѣ не явился трибуномъ, демагогомъ, а вездѣ свѣтлымъ и чистымъ представителемъ всего гуманнаго». И сочувствіе слушателей, чутко ловившихъ каждую мысль и каждое слово, вылилось при окончаніи лекцій взрывомъ восторга и благодарности, какого никогда до той поры не видывали университетскія стѣны.

«На послѣдней лекціи аудиторія была биткомъ набита,—разсказано въ Герценовскомъ дневникѣ.—Когда онъ въ заключеніе сталъ говорить о славянскомъ мірѣ, какой-то трепетъ пробѣжалъ по аудиторіи, слезы были на глазахъ и лица у всѣхъ облагородились. Наконецъ, онъ всталъ и началъ благодарить слушателей — просто, свѣтлыми, прекрасными словами, слезы были у него на глазахъ, щеки горѣли, онъ дрожалъ. «Благодарю тѣхъ,— такъ кончилъ онъ,— которые съ симпатіею слушали меня и раздѣляли добросовѣстность моихъ ученыхъ убѣжденій, благодарю и тѣхъ, которые, не раздѣляя ихъ, съ открытымъ челомъ, прямо и благородно высказывали мнѣ свою противоположность. Еще разъ благодарю васъ!» Вся аудиторія поднялась съ восторженными рукоплесканіями, раздались крики: браво! прекрасно! трескъ, шумъ! Дамы махали платками, другіе бросились къ каѳедрѣ, тѣснились пожать руку Грановскому. Онъ хотѣлъ уйти изъ аудиторіи, толпа преградила ему путь. Онъ стоялъ блѣдный, сложа руки и склоня голову, хотѣлъ еще произнести нѣсколько словъ... и не могъ. Шумъ одобренія поднялся съ новою силой, росъ и длился. Студенты густыми рядами заняли лѣстницу, и Грановскій, изнемогая отъ волненія, едва могъ пробраться въ залы университетскаго совѣта. «Я вышелъ изъ аудиторіи въ лихорадкѣ»,—замѣчаетъ Герценъ, и не скоро остыло это лихорадочное возбужденіе во всѣхъ сколько-нибудь впечатлительныхъ слушателяхъ *).

«Лекціи Грановскаго,— отмѣтилъ одинъ изъ современниковъ,— явленіе потому уже замѣчательное, что, несмотря на долгое время, которое онѣ продолжались (что большой искусъ для терпѣнія), онѣ выдержали свой характеръ, или, лучше сказать, публика умѣла принять, поддержать и закончить. Слѣдовательно, это не вспышка успѣха, а успѣхъ постоянный и прочный, и блистательный» **). Литературные вопросы, къ которымъ въ эту пору все сильнѣе обращались интересы публики, все болѣе сливались

*) Разсказъ о первомъ публичномъ курсѣ Грановскаго, о необычайномъ успѣхѣ и интригахъ противъ него, переданный А. Станкевичемъ, пополняется дневникомъ Герцена и матеріалами, сообщенными въ VII томѣ сочиненія Барсукова: „Жизнь и труды Погодина".

**) „И. С. Аксаковъ въ его письмахъ", т. I, стр. 130.

съ вопросами жизни. «Мертвыя души», вышедшія года полтора предъ тѣмъ, произвели при своемъ появленіи впечатлѣніе событія съ огромнымъ общественнымъ значеніемъ: впервые послѣ «Ревизора» и «Горя отъ ума» Русь видѣла себя въ такомъ обнаженномъ видѣ. Подобнымъ же образомъ успѣхъ лекцій Грановскаго показалъ, что вопросы науки для лучшей части русскаго общества сливаются съ вопросами жизни. Университетъ въ лицѣ Грановскаго сдѣлалъ первый шагъ къ обществу.

До сихъ поръ мы почти не говорили о славянофилахъ и отношеніи Грановскаго къ нимъ. Онъ былъ западникомъ, конечно, не только потому, что учился за границей, но и потому, что усвоилъ въ существенныхъ чертахъ вышеуказанный нами взглядъ на роль личности въ исторіи и ея значеніе въ общественной жизни, какъ главнаго мѣрила достоинства учрежденій. Извѣстно, что славянофилы, если причислять къ нимъ Хомякова, братьевъ Кирѣевскихъ, К. Аксакова, Самарина и немногихъ другихъ, усвоили себѣ программу оффиціальныхъ націоналистовъ, высказанную графомъ Уваровымъ: самодержавіе, православіе, народность. Но въ то время, какъ подъ народностью такіе люди, какъ Уваровъ, разумѣли всѣ имѣвшіяся въ ту минуту особенности Россіи, какъ государства, т.-е. хлопотали о сохраненіи status quo, славянофилы подъ понятіе народности подводили многія представленія, усвоенныя оттуда же, откуда почерпали свои взгляды западники. И западники, и славянофилы одинаково думали объ уничтоженіи крѣпостного права, о реформѣ суда, объ уничтоженіи тѣлеснаго наказанія, о свободѣ печати. Формально славянофилы и защитники оффиціальной народности, въ родѣ Погодина и Шевырева, сходились часто, поддерживая и личныя дружескія отношенія. Но, конечно, совсѣмъ мало общаго было, напримѣръ, между славянофилами и графомъ Уваровымъ, который заявлялъ, что «вопросъ о крѣпостномъ правѣ тѣсно связанъ съ вопросомъ о самодержавіи и даже единодержавіи. Это двѣ параллельныя силы, кои развивались вмѣстѣ. У того и другого одно историческое начало; законность ихъ одинакова» *). Вслѣдствіе такой рѣзкой разницы между взглядами тогдашнихъ правительственныхъ сферъ и взглядами славянофиловъ, на послѣднихъ сверху смотрѣли чуть ли не подозрительнѣе, чѣмъ на западниковъ, готовы были видѣть въ нихъ чуть не пугачевцевъ.

Въ началѣ сороковыхъ годовъ, однако, западники не всегда имѣли возможность отличать славянофиловъ отъ Шевыревыхъ и Погодиныхъ, особенно потому, что споры, по весьма понятнымъ причинамъ, шли на крайне отвлеченной философской почвѣ, и примѣненій къ практическимъ сторо-

---

*) Жизнь и труды Погодина, т. IX, стр. 306.

нашъ жизни въ спорахъ не дѣлалось: дѣйствительная ежедневная жизнь носила слишкомъ ужъ застывшій, слишкомъ опредѣленный характеръ. Это же было причиною почти непонятной нынѣ ожесточенности споровъ. Въ нихъ уходила вся умственная энергія, которая теперь расходуется въ газетной и журнальной работѣ, въ скромной пока дѣятельности для народнаго просвѣщенія, въ болѣе живой, чѣмъ прежде, службѣ и т. п. Бѣлинскій, въ пылу увлеченія, былъ болѣе другихъ повиненъ въ томъ, что въ обществѣ плохо понимали сильную сторону славянофильства.

Грановскій немедленно по пріѣздѣ въ Москву отнесся вполнѣ отрицательно къ идеямъ славянофиловъ, хотя искренно уважалъ, даже любилъ нѣкоторыхъ изъ нихъ. «Ты не можешь себѣ вообразить, какая у этихъ людей философія,—писалъ онъ Станкевичу о Кирѣевскихъ:—главныя ихъ положенія: Западъ сгнилъ, и отъ него уже не можетъ быть ничего; русская исторія испорчена Петромъ. Мы оторваны насильственно отъ родного историческаго основанія и живемъ наудачу; единственная выгода нашей современной жизни состоитъ въ возможности безпристрастно наблюдать чужую исторію; это даже наше назначеніе въ будущемъ; вся мудрость человѣческая истощена въ твореніяхъ св. отцовъ греческой церкви, писавшихъ послѣ отдѣленія отъ западной. Ихъ только нужно изучать: дополнять нечего; все сказано... Кирѣевскій говоритъ эти вещи въ прозѣ, Хомяковъ въ стихахъ... Славянскій патріотизмъ здѣсь теперь ужасно господствуетъ: я съ каѳедры возстаю противъ него, разумѣется, не выходя изъ предѣловъ моего предмета, за что́ меня упрекаютъ въ пристрастіи къ нѣмцамъ. Дѣло идетъ не о нѣмцахъ; а о Петрѣ, котораго здѣсь не понимаютъ, и неблагодарны къ нему» *).

Сначала отношенія обѣихъ сторонъ были довольно мирныя. Грановскій, вообще полагавшій, что худой миръ лучше доброй ссоры, никогда не доводилъ споровъ до ссоры, которую со стороны западниковъ вызывали Бѣлинскій, въ журнальныхъ статьяхъ не щадившій ни Шевырева, ни его друзей, и отчасти Герценъ, поселившійся въ Москвѣ съ 1842 года, неистощимый спорщикъ и остроумецъ, прижимавшій противниковъ къ стѣнѣ. Съ другой стороны, тѣ узкіе націоналисты, кто чувствовалъ себя ушибленнымъ лекціями Грановскаго, постарались раздуть мелкіе уколы самолюбія и довести дѣло до полнаго разрыва. Славянофилы: Хомяковъ, К. Аксаковъ, Самаринъ, еще усердно посѣщали публичный курсъ Грановскаго и хлопали ему не меньше другихъ **). Они же участвовали въ обѣдѣ, устроенномъ Грановскому по окончаніи лекцій. Но всѣ эти Шевыревы и Давыдовы

*) Книга Станкевича, стр. 105—106.

**) Пыпинъ, Бѣлинскій, т. II, 232—233.

не дремали, усердно подкапываясь подъ положеніе Грановскаго въ университетѣ и намекая о «направленіи» западниковъ. Въ концѣ 1844 года въ московскомъ обществѣ распространены были стихи-пасквиль противъ старѣйшаго изъ западниковъ — Чаадаева, противъ Герцена и Грановскаго, написанные Языковымъ, подъ заглавіемъ «Не нашимъ». Къ Грановскому умиравшій уже поэтъ, родственникъ Хомякова, обращался такъ:

... Ты—краснорѣчивый книжникъ,
Оракулъ юношей невѣждъ,
Ты легкомысленный сподвижникъ
Безпутныхъ мыслей и надеждъ.

Ко всѣмъ западникамъ Языковъ обращался, какъ къ измѣнникамъ. Приводимъ изъ довольно длиннаго стихотворенія двѣ строфы:

Вы, людъ заносчивый и дерзкій,
Вы, опрометчивый оплотъ
Ученья школы богомерзкой,
Вы всѣ—не русскій вы народъ!
Умолкнетъ ваша злость пустая,
Замретъ проклятый вашъ языкъ!
Крѣпка, надежна Русь святая,
И Русскій Богъ еще великъ! *)

Толки, вызванные этими стихами и ихъ специфическимъ ароматомъ, повели, наконецъ, къ тому, что друзья-враги, какими долго были западники и славянофилы, разошлись окончательно. К. С. Аксаковъ первый почувствовалъ невозможность продолжать прежнія товарищескія отношенія и трогательно разстался съ Герценомъ и Грановскимъ. Къ Грановскому онъ пріѣхалъ ночью, поднялъ его съ постели и въ послѣдній разъ простился съ нимъ, какъ съ потеряннымъ другомъ, и напрасно убѣждалъ его Грановскій, что и помимо славянства есть между ними связи нравственныхъ убѣжденій, которыя должны остаться неразрывны. Аксаковъ остался непоколебимъ и уѣхалъ сильно взволнованный, въ слезахъ **).

Всего замѣчательнѣе, что, прервавъ близкія отношенія другъ съ другомъ, обѣ стороны очень скоро выяснили дѣйствительное отношеніе между собою: обѣ какъ бы спѣшили по-рыцарски отдать должное противникамъ. Тотъ же Аксаковъ далъ рѣзкій отпоръ стихамъ Языкова и тѣмъ, кто обрадовался имъ. Журналъ «Москвитянинъ», въ началѣ 1845 года перешедшій на три-четыре мѣсяца въ руки славянофиловъ, высказалъ рядъ взглядовъ, чрезвычайно не понравившихся защитникамъ оффиціальной народности. Съ другой стороны, въ это же время московскіе западники въ

*) Барсуковъ, Погодинъ, VII, стр. 467—468.
**) „Замѣчательное десятилѣтіе“, стр. 86.

своемъ кругу признали огромное значеніе демократической стороны славянофильства.

Первые заявили это Грановскій и Герценъ, неразлучные съ самаго пріѣзда Герцена въ Москву. Второй не разъ повторялъ, что для того, чтобы стать дѣйственною, жизнеспособною общественною группой, западники должны овладѣть темами славянофиловъ. Какъ объ этомъ подробно разсказываетъ Анненковъ въ своемъ «Замѣчательномъ десятилѣтіи», Грановскій рѣзко заявилъ лѣтомъ 1845 г., во время пребыванія въ Соколовѣ, полное свое сочувствіе славянофиламъ въ ихъ отношеніи къ народу: тогда какъ западники, не исключая даже Бѣлинскаго, склонны были смотрѣть на народъ, какъ на невѣжественную только массу, съ жалостью нѣсколько презрительною, славянофилы открыли въ немъ такія явленія, какъ община, артель и т. д., показывающія о работѣ человѣческой мысли въ глубинѣ этой массы *). Въ дальнѣйшей дѣятельности Грановскаго заявленный имъ отпоръ барскому взгляду на народъ не игралъ большой роли. Но важно было уже то, что этотъ отпоръ исходилъ отъ такого авторитетнаго лица. Новый взглядъ подхватили другія болѣе молодыя силы: Тургеневъ, Кавелинъ и проч., и развили его. Цѣлая пропасть—между изображеніемъ народныхъ типовъ у Тургенева въ «Запискахъ охотника» и, напримѣръ, въ разсказахъ у Даля или даже у Гоголя. Впослѣдствіи Чернышевскій заявлялъ, что всѣ теоретическія заблужденія, всѣ фантастическія увлеченія славянофиловъ съ избыткомъ вознаграждаются уже однимъ убѣжденіемъ ихъ, что общинное устройство нашихъ селъ должно оставаться неприкосновеннымъ при всѣхъ перемѣнахъ въ экономическихъ отношеніяхъ. Подобное заявленіе, кажется намъ, едва ли было бы возможно, если бы въ сороковые годы не была уже подготовлена къ этому почва, и въ воздѣлываніи ея Грановскій и Герценъ на годъ, на два опередили Бѣлинскаго. Это должно быть отмѣчено, какъ немаловажная заслуга. Правда, ставя вопросъ о положеніи и стремленіяхъ крѣпостной массы, какъ насущнѣйшій вопросъ русской жизни, и Грановскій, и Герценъ, и Тургеневъ, и Огаревъ оставались все-таки помѣщиками; но освободить всѣхъ своихъ крестьянъ было не такъ-то легко, освобожденія крестьянъ массами и съ землею разрѣшались только въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ, а, во-вторыхъ, кто можетъ требовать отъ людей геройства?...

---

*) Относящіяся сюда показанія П. В. Анненкова (стр. 118—124 названной книги) стоятъ довольно одиноко, но находятъ себѣ косвенныя подтвержденія. Такъ, въ воспоминаніяхъ г-жи Житовой объ И. С. Тургеневѣ разсказано о бесѣдахъ, происходившихъ между нимъ и Грановскимъ на тему о крѣпостномъ правѣ („Вѣстникъ Европы", 1884 г., 11).

Рыцарственность, съ какою Грановскій готовъ былъ отдать дань уваженія противникамъ, была одною изъ основныхъ чертъ его натуры. Какъ странствующій рыцарь въ средніе вѣка шелъ на защиту всякаго угнетеннаго, такъ Грановскій отдавалъ себя всякому, кто просилъ у него помощи, не только студентамъ. Трудъ и досугъ его постоянно тратились на дѣла и нужды другихъ людей. Онъ не скупился ни временемъ, ни участіемъ. Мать, не знающая, что дѣлать со своимъ сыномъ, какъ его воспитывать, гдѣ учить, обращалась къ Грановскому. Онъ принималъ ее у себя, ѣхалъ къ ней, говорилъ съ ней и съ сыномъ, давалъ совѣты и исполнялъ все это точно по обязанности. Учитель, ищущій мѣста, педагогъ или гувернеръ-иностранецъ, литераторъ или молодой ученый къ нему же обращались за совѣтомъ или рекомендаціей, нужной книгой, часто за однимъ сочувствіемъ или одобреніемъ своимъ намѣреніямъ и предпріятіямъ. «Иногда хотѣлось бы имѣть свободный день, день только для себя,—говоритъ Грановскій въ одномъ изъ писемъ:—но этого никогда не случается» *).

Отдаваясь такъ обществу, Грановскій скоро занялъ въ немъ своеобразное положеніе какого-то верховнаго нравственнаго судьи, мягкаго, терпѣливаго и снисходительнаго къ людямъ, человѣка, полнаго той доброты, которой боятся. «Такіе люди, какъ Грановскій,—говоритъ о немъ С. М. Соловьевъ,—заставляютъ многихъ внутренно охорашиваться; друзья и недруги, прежде чѣмъ сдѣлать, прежде чѣмъ сказать что-нибудь, задавали себѣ вопросъ: «что скажетъ объ этомъ Грановскій?» Сдѣлавшіе что-нибудь, по ихъ мнѣнію, порядочное, люди, вовсе не близкіе Грановскому, спѣшили ему первому сообщить о своемъ дѣлѣ, получить отъ него одобреніе, произвести на него выгодное впечатлѣніе, чтобы повѣрить достоинство своего дѣла» **). «Въ Грановскомъ была неотразимая притягательная сила, которая собирала около него многочисленную семью молодыхъ и немолодыхъ людей, но, что всего важнѣе, людей порядочныхъ, ибо съ увѣренностью можно сказать, что тотъ, кто былъ врагомъ Грановскаго, любилъ отзываться о немъ дурно, былъ человѣкъ дурной» ***). «Послѣ его смерти,—говоритъ одинъ изъ знавшихъ его людей,—ярко обнаружилось, какъ важно было его вліяніе, когда про нѣкоторыхъ изъ близко стоявшихъ къ нему лицъ стали говорить: «При Грановскомъ они не были бы таковыми» ****). И Грановскій такъ просто несъ этотъ авторитетъ, что ему охотно и радостно подчинялись.

---

*) Книга Станкевича, стр. 116—117.

**) Рѣчь Соловьева на актѣ Московскаго университета 12-го января 1856 г., „Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія", 1856 г., т. LXXXIX, отд. VII.

***) Слова Соловьева же. Указан. выше статья Виноградова.

****) „Вѣстникъ Европы", 1869 г., май, статья о сочиненіяхъ Грановскаго.

Къ нему можно примѣнить слова Некрасова:

Воплощенной укоризною,
Свѣтелъ мыслью, сердцемъ чистъ,
Ты стоялъ передъ отчизною...

Всѣ мягкія задушевныя черты характера Грановскаго, художника въ душѣ, слегка романтика и мечтателя, наиболѣе полно сказывались въ жизни его въ тѣсномъ кружкѣ его съ Герценомъ и ихъ женами; къ кружку принадлежали, кромѣ того, Бѣлинскій въ его наѣзды въ Москву, переводчикъ Шекспира, вѣчный буршъ медикъ Н. Х. Кетчеръ, Е. Ѳ. Коршъ, петербургскій другъ Грановскаго, В. П. Боткинъ, авторъ «Писемъ объ Испаніи». Каждый изъ членовъ кружка находилъ въ Грановскомъ гармонирующія себѣ струны. «Грановскій былъ одаренъ удивительнымъ тактомъ сердца,—пишетъ Герценъ.—У него все было такъ далеко отъ неувѣренной въ себѣ раздражительности, отъ притязаній, такъ чисто, такъ открыто, что съ нимъ было необыкновенно легко. Онъ не тѣснилъ дружбой, а любилъ сильно, безъ ревнивой требовательности и безъ равнодушнаго—все равно. Я не помню, чтобы Грановскій когда-нибудь дотронулся грубо или неловко до тѣхъ «волосяныхъ» нѣжныхъ, бѣгущихъ свѣта и шума сторонъ, которыя есть у всякаго человѣка, жившаго въ самомъ дѣлѣ. Отъ этого съ нимъ не страшно было говорить о тѣхъ вещахъ, о которыхъ трудно говорится съ самыми близкими людьми, къ которымъ имѣешь полное довѣріе, но у которыхъ строй нѣкоторыхъ, едва слышныхъ, струнъ не по одному камертону».

10-го апрѣля 1843 года Герценъ записалъ въ дневникѣ характерныя строки, гдѣ рядомъ съ наслажденіемъ этой жизнью дружескаго круга звучитъ диссонансомъ нота, врывающаяся извнѣ, изъ дѣйствительности, холодной и равнодушной къ мечтаніямъ идеалистовъ. «Вчера,—пишетъ Герценъ,—такъ тихо, мирно сидѣли мы вечеръ у Грановскаго, мы, они, Кетчеръ и Боткинъ, какая благородная кучка людей, какой любовью перевязанная! Въ настоящемъ много прекраснаго, ловить, ловить, все ловить и всѣмъ упиваться: дружбой, виномъ, любовью, искусствомъ. Это значитъ жизнь. Впередъ смотрѣть—отрадно и страшно, тучи, волканическія гибели и хорошая погода послѣ тучъ... да можетъ солнце этихъ вѣдреныхъ дней посвѣтитъ на могилы наши. А это скверно. Нѣтъ столько самоотверженія, чтобъ отказаться отъ участія въ наградѣ, когда не отказываешься ни отъ какого труда» *).

*) „Былое и Думы“ и „Дневникъ“ Герцена. См. также далѣе статью о В. П. Боткинѣ (стр. 129), гдѣ указана, на основаніи также болѣе новой „переписки недавнихъ дѣятелей“, печатавшейся въ „Русской Мысли“, характеристичная черта кружка, эта смѣна восторженно-поэтическихъ настроеній чувствомъ тоски и неудовлетворенности.

Такое же облако то и дѣло налетало на свѣтлый образъ Грановскаго и туманило его.

Университетскія занятія, изрѣдка публичный курсъ лекцій (разрѣшенъ былъ только три раза), литературная работа, свѣтская жизнь и жизнь въ кружкѣ и дома (Грановскій жилъ съ женой, кроткой и тихой, по происхожденію нѣмкой, очень счастливо)—все это не удовлетворяло Грановскаго вполнѣ; его природная общительность и жажда дѣятельности не всегда находили себѣ исходъ, какой наиболѣе соотвѣтствовалъ бы его натурѣ. Онъ разсчитывалъ издавать журналъ, журнала не разрѣшили. Въ 1846 году на прошеніи о журналѣ была положена краткая, но выразительная резолюція: «Не надо». Сверхъ того, приходилось опасаться видимыхъ и невидимыхъ интригъ со стороны Давыдовыхъ, Шевыревыхъ. Приходилось не разъ ожидать предложенія выйти въ отставку. Въ 1845 году, въ разгаръ перваго публичнаго курса, Грановскому предложено было въ курсѣ новой исторіи излагать реформацію съ католической точки зрѣнія, а революцію съ точки зрѣнія роялистской. Грановскій съ трудомъ отстоялъ возможность свободно излагать реформацію, совсѣмъ отказавшись отъ революціи. Всѣ эти обстоятельства въ связи съ общимъ тогдашнимъ отношеніемъ къ наукѣ и литературѣ ложились на Грановскаго, какъ на человѣка крайне впечатлительнаго, съ особенною силой.

Быстро слѣдовавшія одна за другою смерти близкихъ ему людей и безъ того сильно потрясли его: одинъ за другимъ умерли Станкевичъ, Е. П. Фролова, горячо любимыя сестры его. На него стали находить полосы темной хандры, humeur noire, охватывавшія его иногда среди веселаго круга друзей или среди работы, когда ему представлялось, какъ собственно мала она. Біографъ его сообщаетъ о цѣломъ рядѣ задуманныхъ и заброшенныхъ статей на разнообразныя темы. «Печально наше время,—писалъ онъ однажды Вердеру,—и особенно въ моемъ отечествѣ. До дѣла не достигаешь и однакожъ желаешь внутренняго мира. Напряженная дѣятельность истомила бы меня гораздо менѣе, чѣмъ это стремленіе безъ имени и цѣли». «Когда подумаешь,—говоритъ онъ въ другомъ письмѣ,—сколько годовъ уже прошло въ безплодныхъ сборахъ и надеждахъ, то тяжело станетъ на сердцѣ. Мы всѣ перешагнули за 30 лѣтъ; у всѣхъ насъ были надежды, желаніе труда, силы. Что же изо всего вышло? Назади мало, впереди темно и неопредѣленно» *)...

Недостатокъ общественной дѣятельности крайне вредно отражался и на внутренней жизни кружка. Заключенные въ немъ, какъ бѣлка въ колесѣ, друзья не могли же все время довольствоваться академическими бе-

*) Книга Станкевича, стр. 123 и 136.

сѣдами, и естественно возникали острыя столкновенія на почвѣ такихъ отвлеченныхъ разногласій и вопросовъ, которые при другихъ условіяхъ могли бы и не ссорить людей, страстно привязанныхъ другъ къ другу. Такъ, дружеская связь Грановскаго и Герцена охладѣла, мучительно для обоихъ, именно такимъ образомъ, изъ-за споровъ чисто теоретическаго философскаго характера, о безсмертіи души, о томъ, будетъ ли соціальная революція полезна для соціальнаго преобразованія, и т. д. *).

Послѣ отъѣзда Герцена за границу въ 1847 году, цѣлый рядъ тягостныхъ обстоятельствъ обрушился на Грановскаго: тревога за свое мѣсто, болѣзнь жены, смерть отца и разстройство имѣнія. Снова захватившая его хандра разрѣшилась запойною страстью къ азартной игрѣ, можетъ быть, наслѣдственною, такъ какъ отецъ и дѣдъ Грановскаго были страстными игроками. «Это былъ странный, невиданный игрокъ!—разсказываетъ біографъ Грановскаго.—Выигрышъ былъ для него исключительнымъ случаемъ, и онъ бывалъ смущенъ имъ, онъ не могъ прекратить игры, пока проигравшій партнеръ не отыгрывался или, въ свою очередь, не обыгрывалъ его самого. Странно и больно было видѣть благородный образъ Грановскаго, его блѣдное, усталое, печальное лицо, его лихорадочно блестящіе глаза за карточнымъ столомъ, среди тускнѣющаго освѣщенія поздней ночи, среди молчаливыхъ лицъ игроковъ съ выраженіемъ напряженнаго вниманія и сдержанной жадности. А онъ игралъ торопливо, разсѣянно, ронялъ карты, не умѣлъ ихъ скрыть отъ зоркихъ глазъ партнеровъ, забывалъ записывать свой выигрышъ. Онъ былъ почти всегда въ проигрышѣ и платилъ, дѣлая долги... Истомленный, измученный волненіемъ и безсонною ночью, Грановскій покидалъ игру съ внутренними упреками себѣ, и однакоже въ слѣдующую ночь печальный игрокъ являлся опять за роковымъ зеленымъ столомъ». Эта опустошительная страсть такъ завладѣла Грановскимъ, что однажды цѣлая компанія московскихъ шуллеровъ, зная, сколько у него долговъ, явилась къ нему съ предложеніемъ продать имъ свое незапятнанное имя и вмѣстѣ открыть игорный домъ **).

Все то, что заставляло Грановскаго чувствовать себя «лишнимъ человѣкомъ», заставляло бросаться въ азартную игру, лишь бы найти исходъ внутреннему томленію,—все это во сто кратъ усилилось съ наступленіемъ рокового 1848 года. Темный періодъ съ 1848 по 1855-й годъ достаточно извѣстенъ, извѣстны тѣ строгости, превзошедшія все, что было раньше, которыя обрушились на литературу, сразу обмелѣвшую. Для уни-

*) Разсказы объ этомъ, кромѣ книги Станкевича, въ „Быломъ и Думахъ“, въ „Замѣчательномъ десятилѣтіи“ и въ VIII томѣ біографіи Погодина.

**) Станкевичъ, стр. 210, и Панаевъ, Литературныя Воспоминанія, Спб., 1888 г., стр. 232.

верситетовъ былъ придуманъ трехсотенный комплектъ, удалены нѣкоторые профессора, изданы строжайшія правила о содержаніи университетскихъ лекцій. Графъ С. Г. Строгановъ потерялъ мѣсто московскаго попечителя, не удержался даже министръ Уваровъ, показавшійся слишкомъ либеральнымъ. У И. С. Аксакова вырвались въ эту пору стихи, живо передававшіе настроеніе общества:

Пусть сгибнетъ все, къ чему сурово
Такъ долго духъ готовленъ былъ:
Трудилась мысль, дерзало слово,
Въ запасѣ много было силъ...
Слабѣйте, силы,—вы не нужны!
Засни ты, духъ,—давно пора!
Разсѣйтесь всѣ, кто были дружны
Во имя правды и добра!

«Благо Бѣлинскому: онъ умеръ во время!»—не разъ повторялъ въ эти годы Грановскій въ тяжеломъ раздумьѣ. «Если бы знали, какая безвыходная тяжелая хандра стала навѣщать меня,—писалъ онъ однажды:—Впереди такъ пусто и темно; въ настоящемъ такъ безцвѣтно. Только въ прошедшемъ есть хорошее и святое, но я боюсь глядѣть въ ту сторону. Зато не могу отдѣлаться отъ сновъ, въ которыхъ это прошедшее оживаетъ предо мною до того ясно, что, просыпаясь, я готовъ плакать о недавней, только-что испытанной утратѣ».—«Когда же поймутъ, что человѣку нельзя помириться съ мыслью о погибшемъ собственномъ существованіи, что эта мысль, временно подавленная и заглушенная, безпрерывно грызетъ его. Если бы семейное счастье залѣчивало всѣ раны сердца, неужели думаютъ, что я не понялъ бы своего счастья?»... Только эта привязанность къ женѣ и скрашивала жизнь Грановскому, среди общества, гдѣ исчезли и прежніе интересы, и прежніе люди. «Сердце ноетъ при мысли, чѣмъ мы были прежде, и чѣмъ стали теперь,—писалъ Грановскій Герцену въ 1853 году.—Вино пьемъ по старой памяти, а веселья въ сердцѣ нѣтъ; только при воспоминаніи о тебѣ молодѣетъ душа». Вдобавокъ къ служебнымъ тревогамъ (для объясненія образа мыслей Грановскаго вызывали не только къ начальству, но однажды даже къ московскому митрополиту Филарету) начала преслѣдовать Грановскаго и болѣзнь*).

Между тѣмъ началась и турецкая, а потомъ и крымская война, показавшая полную несостоятельность господствовавшей тогда системы даже въ военной области, которою она наиболѣе гордилась.

*) Послѣдняя глава книги Ставкевича. Объ оскудѣніи умственныхъ интересовъ въ московскомъ обществѣ за это время—смотри-также, напр., Галахова „Сороковые годы“, и др.

12-го января 1855 г. состоялось празднованіе столѣтія Московскаго университета. На торжественномъ оффиціальномъ обѣдѣ въ честь университета тостъ за него былъ провозглашенъ по счету седьмымъ, вслѣдъ за тостами въ честь христолюбиваго, храбраго и побѣдоноснаго россійскаго воинства (что звучало весьма иронически) и за Москву *). Грановскій былъ центромъ болѣе интимныхъ празднествъ, и они оживили и ободрили его.

Новое потрясеніе, пережитое всею Россіей, не могло не отразиться на немъ: 18-го февраля 1855 г. скоропостижно скончался императоръ Николай I. Грановскому суждено было видѣть только семь мѣсяцевъ новаго царствованія, но, по общему признанію, никогда не былъ онъ такъ бодръ, оживленъ и дѣятеленъ, какъ въ эти семь мѣсяцевъ, несмотря на жестокія физическія страданія: врачи подозрѣвали каменную болѣзнь, но противорѣчили другъ другу.

«Я какъ будто увидалъ предъ собою новаго человѣка, или, по крайней мѣрѣ, совсѣмъ преображеннаго,— разсказываетъ Панаевъ, встрѣтившій Грановскаго весною 1855 года въ Петербургѣ, куда онъ ѣздилъ по дѣламъ университета.—Внутренній пылъ отражался въ его благородныхъ, прекрасныхъ чертахъ, въ которыхъ мелькала грустная, но ѣдкая иронія; даже въ голосѣ его была несвойственная ему энергія. Я никогда не слышалъ, чтобы рѣчь его лилась такъ звонко, горячо и свободно...» Грановскій говорилъ здѣсь о томъ, что Москва и все, что она представляетъ собою въ національныхъ идеалахъ исключительнаго, теряетъ съ каждымъ днемъ свое значеніе **). Вообще историческія судьбы Россіи болѣе всего занимали его въ эти дни: онъ собиралъ матеріалы для очерковъ общественнаго движенія при Александрѣ I, чаще и чаще обращался къ мысли о Петрѣ Великомъ. Лѣтомъ 1855 года палъ Севастополь. Въ воздухѣ носилось уже что-то новое, говорили о новомъ государѣ, разрѣшались новые журналы и расширялась программа существующихъ. Грановскій былъ утвержденъ, наконецъ, деканомъ факультета, тогда какъ раньше, несмотря, что выбирали его, назначался постоянно Шевыревъ. Лѣтомъ Грановскій жилъ въ деревнѣ у знакомыхъ, возобновлялъ литературныя работы, писалъ порученный ему учебникъ всеобщей исторіи, задумывалъ журналъ и т. д., забывалъ о своей болѣзни.

По пріѣздѣ осенью этого 1855 года въ Москву, Грановскій простудился и слегъ, но еще за два дня до смерти онъ одобрилъ окончательно проектъ историко-литературнаго журнала, разработанный имъ вмѣстѣ съ

*) См. отчетъ о празднованіи этого юбилея въ „Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія“ за 1855 г.

**) Панаевъ, указан. книга, стр. 240.

Кудрявцевымъ; просматривалъ приготовленныя къ печати статьи; принималъ знакомыхъ, освѣдомлявшихся о его здоровьѣ, которое, казалось, поправлялось. Утромъ 4-го октября онъ еще читалъ съ карандашемъ въ рукахъ, бесѣдовалъ съ женою о предположенномъ публичномъ курсѣ и ожидалъ къ обѣду нѣсколькихъ студентовъ. Вдругъ онъ опустился на изголовье постели, его поразилъ ударъ. Послѣднее его слово было обращено къ женѣ. «Бѣдная!»—произнесъ онъ, цѣлуя ея руку, и впалъ въ забытье. Немедленно прибылъ врачъ, но Грановскій былъ уже въ агоніи и скончался, все держа руку жены въ холодѣющей рукѣ своей.

Печальная вѣсть быстро облетѣла городъ. Ей не вѣрили, всякій спѣшилъ къ дому Грановскаго въ тайной надеждѣ, что это ошибка... Въ университетѣ остановились лекціи. Профессора, студенты, знакомые и незнакомые тѣснились въ квартиру его. Смерть заставила забыть вражду къ нему и со стороны недруговъ. Теплый некрологъ, написанный Катковымъ и появившійся въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», живо передавалъ охватившее всѣхъ чувство безконечной и умиленной скорби *).

«Ничья смерть такъ сильно не поражала университета съ незапамятныхъ временъ, какъ смерть его,—записалъ въ своемъ дневникѣ профессоръ Бодянскій, не слишкомъ расположенный къ Грановскому:—всѣ безъ исключенія были подъ гнетомъ ея; съ утра и до поздней ночи двери его жилища не затворялись. Только на третій день вынесли его въ университетскую церковь. Торжественность была полная, но и того полнѣе была она на слѣдующій день, когда хоронили его. Послѣ обѣдни, совершенной ректоромъ семинаріи Леонидомъ, и панихиды, профессора историко-филологическаго факультета, при помощи нѣкоторыхъ изъ другихъ, а также и самого попечителя **), вынесли гробъ его изъ церкви до сѣнныхъ дверей и сдали студентамъ, которые понесли его гробъ на своихъ рукахъ чрезъ весь городъ на Пятницкое кладбище, разстояніемъ верстъ шесть. Путь былъ усыпанъ цвѣтами и лавровыми листьями. Давно наша столица не видала такихъ похоронъ, давно никого она такъ славно, такъ единодушно не чтила». Сравнивая похороны Грановскаго съ недавно предъ тѣмъ происходившими похоронами бывшаго министра народнаго просвѣщенія С. С. Уварова, пышными, но холодно-оффиціальными, Бодянскій добавляетъ: «Честь и благодарность Москвѣ, умѣвшей понять, оцѣнить и

*) № 120 „Московскихъ Вѣдомостей“ 1855 г. Извлеченія изъ мелкихъ некрологовъ, живо рисующихъ страстную привязанность къ Грановскому со стороны его учениковъ и всѣхъ, кто приходилъ съ нимъ въ сколько-нибудь близкое соприкосновеніе, помѣщены въ статьѣ В. Якушкина въ № 273 „Русскихъ Вѣдомостей“ 1895 г.

**) Назимова.

отдѣлить истинныя заслуги отъ мнимыхъ или, по крайности, взять во вниманіе и взвѣсить средства и дарованія, не увлекаясь громкостью роли (министра),—могшей почувствовать, какъ много требовалось истиннаго дарованія и умѣнія отъ покойника, чтобы возбудить въ себѣ такое повсемѣстное и единодушное сочувствіе на томъ низкомъ поприщѣ, каково поприще профессора» *).

«На древнихъ саркофагахъ встрѣчаемъ изображенія погребальныхъ процессій, изъ которыхъ можно узнать о значеніи покойнаго,—говорилъ Соловьевъ.—Если бы на надгробномъ памятникѣ Грановскаго можно было изобразить вполнѣ скорбь, слезы многочисленной семьи чужихъ людей, то этотъ памятникъ далъ бы понятіе о значеніи человѣка, подъ нимъ сокрытаго» **).

«Похороны его были чѣмъ-то удивительнымъ и глубоко знаменательнымъ,—писалъ Тургеневъ:—онѣ останутся событіемъ въ памяти каждаго, участвовавшаго въ нихъ. Никогда не забуду я этого длиннаго шествія, этого гроба, тихо колыхавшагося на плечахъ студентовъ, этихъ обнаженныхъ головъ и молодыхъ лицъ, облагороженныхъ выраженіемъ честной и искренней печали, этого невольнаго замедленія между разбросанными могилами кладбища, даже тогда, когда все уже было кончено и послѣдняя горсть земли упала на прахъ любимаго учителя... Одни и тѣ же ощущенія наполняли всѣхъ, высказывались во всѣхъ устахъ, во всѣхъ взорахъ; всѣмъ хотѣлось продлить ихъ въ себѣ, и расходиться было жутко... Всякое общее чувство, даже скорбное, связуя людей, возвышаетъ ихъ. Каждый изъ пришедшихъ на кладбище, къ какому бы направленію ни принадлежалъ онъ, слишкомъ хорошо зналъ, чего лишилась въ Грановскомъ русская жизнь и русская наука.—Для душъ молодыхъ, еще не искушенныхъ, не утопленныхъ плоскою незначительностью житейскихъ дрязгъ, такія ощущенія особенно благотворны; подъ напоромъ ихъ сердце крѣпнетъ, и сѣмена будущихъ добрыхъ дѣлъ и доблестныхъ поступковъ зрѣютъ въ немъ... Дай Богъ, чтобы мы научились хотя эту пользу извлекать изъ нашихъ утратъ» ***).

Но и тутъ не обошлось безъ нѣкоторой рѣзкой нотки диссонанса. Общій взрывъ скорби и выраженій ея въ видѣ вѣнковъ и цвѣтовъ, сыпавшихся на пути шествія, показался неумѣстнымъ, неприличнымъ. По разсказу Бодянскаго, на другой день послѣ похоронъ, «попечитель, призвавши въ одну изъ аудиторій деканова, нѣсколькихъ профессоровъ и сту-

*) Сборникъ Общества Любителей Россійской Словесности на 1891 г. Выдержки изъ дневника О. М. Бодянскаго, стр. 134—135.

**) Указ. рѣчь Соловьева на актѣ 1856 г.

***) „Два слова о Грановскомъ".

дентовъ, сталъ выговаривать имъ за вѣнки (лавровые), которыми наканунѣ забросали Грановскаго при опущеніи въ могилу гроба его. «Это обычай рѣшительно языческій, противный нашей церкви. Какой-нибудь аѳинскій ареопагъ или римская академія могли это дѣлать, но намъ, христіанамъ, такія дѣла неприличны» *). Эта странная нотація у свѣжей еще могилы Грановскаго—выраженіе того, что съ нимъ все-таки не хотѣли помириться...

Какъ бы то ни было, въ обществѣ, съ которымъ нераздѣльно слилъ онъ свое имя, во всѣхъ концахъ Россіи эта кончина отозвалась одинаково. Долго, безъ различія направленія, всѣ газеты и журналы наполнялись скорбными воспоминаніями о свѣтлой личности покойнаго, объ его профессорской и общественной дѣятельности. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ въ память его раздавались подаянія: такъ въ Харьковѣ, въ лазаретѣ, гдѣ лѣчились раненые, было прислано значительное денежное приношеніе «отъ Грановскаго». Долго памяти его посвящались новыя книги, выдающіяся ученыя сочиненія.

Онъ умеръ въ самомъ началѣ новой эпохи, которая сулила уже осуществленіе дорогихъ надеждъ и задушевныхъ стремленій его юности, молодыхъ и зрѣлыхъ лѣтъ. Въ обществѣ уже чувствовалось приближеніе того приподнятаго настроенія, которое такъ прекрасно было вскорѣ передано И. С. Аксаковымъ:

День встаетъ багрянъ и пышенъ,
Долгой ночи скрылась тѣнь,
Новой жизни трепетъ слышенъ,
Чѣмъ-то вѣщимъ смотритъ день!
Съ сонныхъ вѣждъ стряхнувъ дремоту,
Бодрой свѣжести полна,
Вышла, съ Богомъ, на работу
Пробужденная страна.

Такъ торжественно, прекрасно
Блещетъ утро на землѣ,
На душѣ свѣтло и ясно,
И не помнится о злѣ,
Объ истекшихъ дняхъ страданья,
О потратѣ многихъ силъ
Въ скорбныхъ мукахъ ожиданья,
Въ безвременности могилъ.

*) Сборникъ Общества Любителей Россійской Словесности на 1891 г., стр. 136.

«Потрата многихъ силъ», «скорбныя муки ожиданья»—всего этого не мало было въ жизни Грановскаго. Не разъ чувствовалъ онъ себя «лишнимъ человѣкомъ». Какая глубочайшая иронія скрыта въ этомъ словцѣ Тургенева! Какъ бы то ни было, всѣ видѣли, что сдѣлалъ уже Грановскій, какъ сверстникъ и товарищъ дѣятелей Гоголевскаго періода русской литературы, уже получавшаго въ извѣстныхъ статьяхъ Н. Чернышевскаго свою историческую и общественную оцѣнку. Какъ къ живому представителю недавней эпохи, къ Грановскому обращалось не мало симпатій, и онъ самъ, казалось, обѣщалъ своимъ оживленіемъ оправдать общественныя надежды и ожиданія. Преждевременная смерть (ему было только 42 года) разрушила ихъ, но онъ сошелъ въ могилу, озаренный отблескомъ догоравшей вечерней зари того времени, когда онъ былъ въ цвѣтѣ молодыхъ силъ и таланта, и первыми робкими лучами зари новой эпохи, по которой болѣло и томилось его сердце такъ долго и такъ напрасно. И въ памяти потомства образъ Грановскаго навсегда будетъ представляться въ томъ свѣтломъ, но скорбномъ ореолѣ, какой окружалъ его въ глазахъ свидѣтелей его кончины.

IV.

Искандеръ.

Жизнь и дѣятельность А. И. Герцена въ Россіи и за границей. *Біографическіе наброски В. Д. Смирнова. Спб. 1897.*

Съ конца тридцатыхъ и начала сороковыхъ годовъ, въ журналѣ «Отечественныя Записки» время отъ времени стали появляться беллетристическіе наброски, философскія статьи, замѣтки о литературныхъ злобахъ дня, подписанныя однимъ и тѣмъ же псевдонимомъ: Искандеръ. Въ глаза бросалось прежде всего изумительное разнообразіе содержанія въ этомъ литературномъ матеріалѣ. Къ нему шло названіе одной изъ статей Искандера: «Капризы и раздумье». Ѣдкіе сарказмы и легкая веселая шутка капризно переплетались съ глубокимъ, порою нѣсколько грустнымъ, раздумьемъ надъ основными нравственно-философскими вопросами человѣческаго существованія; картины будничной жизни глухой провинціи, гдѣ полновластно было крѣпостное безправіе, смѣнялись бойкими остротами неистощимаго въ борьбѣ полемиста или бодрымъ лирическимъ призывомъ живыхъ умовъ къ сознанію и движенію.

Но во всемъ этомъ было что-то единое, трудно опредѣлимое, но несомнѣнное—глубокая тревожная искренность крайне сложной исключительной личности...

Псевдонимъ Искандеръ сталъ извѣстенъ тогдашней немногочисленной читающей публикѣ, на-ряду съ именами Бѣлинскаго и Грановскаго. Чисто литературное значеніе замѣчательнаго писателя къ концу сороковыхъ годовъ стало разрастаться такъ же, какъ это было съ дѣятельностью самого Бѣлинскаго, до размѣровъ замѣтнаго общественнаго явленія.

Затѣмъ псевдонимъ исчезаетъ съ горизонта русской журналистики, имя Герцена-Искандера глухо произносится лишь нѣсколькими личными друзьями его, но вскорѣ опять имя это на устахъ у всѣхъ, не оставшихся чуждыми

общественному движенію въ началѣ новаго царствованія. Нѣсколько лѣтъ это имя колоколомъ звучало отъ наивысшихъ вершинъ аристократическаго и государственнаго русскаго міра до послѣднихъ низинъ русской читающей публики. Въ эти годы оправдалось предсказаніе Бѣлинскаго, что его другъ навсегда свяжетъ свое имя съ исторіей Россіи, и имя эмигранта-Герцена заняло не послѣднее мѣсто рядомъ съ оффиціальными дѣятелями крестьянской реформы.

Вскорѣ же, однако, начинается и паденіе шумной извѣстности Герцена вплоть до его смерти и до нашихъ дней, когда огромное большинство читающей публики знаетъ его только по наслышкѣ и изъ вторыхъ рукъ, потому что ей почти недоступны даже тѣ сочиненія великаго писателя, которыя прошли драконовскую цензуру сороковыхъ годовъ.

Болѣе 25 лѣтъ назадъ авторъ одного изъ некрологовъ Герцена писалъ: «Если бы русская печать дѣйствительно хотѣла и имѣла возможность заниматься изученіемъ русской жизни, стремилась къ пробужденію въ обществѣ истиннаго сознанія и при этомъ не отступала предъ серьезными вопросами, то изученіе и опредѣленіе личности и дѣятельности Герцена могло бы представить ей одну изъ важныхъ задачъ».

Книга, заглавіе которой выше выписано, пытается дать рѣшеніе этой, едва только теперь робко поставленной, задачи. Какъ первый сколько-нибудь подробный и *связный* очеркъ о Герценѣ, наброски г. Смирнова заслуживаютъ полнаго вниманія и самаго широкаго распространенія. Но въ общемъ это дѣйствительно «наброски», въ которыхъ лишь мелькомъ намѣчены многія такія стороны жизни, дѣятельности и личности Герцена, которыя нуждаются въ детальной разработкѣ уже потому, что до сихъ поръ различными лицами, писавшими о Герценѣ, освѣщались иногда совершенно различно.

Въ нашей статьѣ мы имѣемъ въ виду, какъ показываетъ и самое ея заглавіе, остановиться на литературной дѣятельности Герцена за сороковые годы. Попытаемся ближе прослѣдить по даннымъ, накопившимся уже въ достаточномъ количествѣ, тѣ связанныя тѣсно одна съ другой и законченныя черты житейской и литературной физіономіи Искандера, которыя создали широкую популярность ему въ сороковые годы и дѣлаютъ его, наряду съ Бѣлинскимъ и Грановскимъ, замѣчательнѣйшимъ представителемъ этой литературной и общественной эпохи.

Исторія развитія Герцена въ дѣтствѣ и юности передана имъ самимъ въ «Запискахъ одного молодого человѣка», дополненныхъ воспоминаніями «Былое и думы», въ воспоминаніяхъ друга дѣтства его Т. П. Пассекъ и не разъ уже пересказывалась такъ что отсылаемъ читателя къ этимъ

воспоминаніямъ и къ очерку г. Смирнова. Отмѣтимъ лишь крайнее разнообразіе элементовъ, изъ которыхъ слагался его характеръ и духовная физіономія. Натура Искандера, въ концѣ концовъ, оказывалась сотканною изъ такого разнообразнаго матеріала, что въ сужденіяхъ о ней разныхъ писателей, въ опредѣленіи «задней мысли, дающей тонъ его жизни», мы встрѣчаемся съ рядомъ самыхъ противорѣчивыхъ отзывовъ.

Рельефнѣе всего, конечно, тѣ противорѣчія въ этихъ сужденіяхъ, которыя возникали вслѣдствіе совершенной непримиримости точекъ зрѣнія на отношенія Герцена къ Россіи. Для сторонниковъ «оффиціальной народности», пышнымъ цвѣтомъ распустившейся въ тридцатые и сороковые годы, онъ былъ, конечно, отщепенцемъ, ненавистникомъ «всего русскаго». Поэтъ Языковъ выразилъ это мнѣніе въ извѣстныхъ стихахъ къ К. Аксакову, котораго укорялъ за то, что онъ дружелюбно подаетъ руку Герцену.

Тому, кто гордую науку
И торжествующую ложь
Глубокомысленно становитъ
Превыше Истины Святой;
Тому, кто нашу Русь злословитъ
И ненавидитъ всей душой,
И кто Нѣметчинѣ лукавой
Передался,—и вслѣдъ за ней,
За госпожею величавой,
Идетъ, блистательный лакей...
А православную столицу,
А матерь русскихъ городовъ
Смѣнить на пышную блудницу
На Вавилонскую готовъ!...

Между тѣмъ нѣмецкій біографъ Герцена, десятокъ лѣтъ близко знававшій его, Фридрихъ Альтгаузъ, не могъ не подчеркнуть въ авторѣ, сказавшемъ въ рядѣ заграничныхъ своихъ произведеній столько горькихъ истинъ «лукавой Нѣметчинѣ», по преимуществу русскаго патріота.

«При своей энергичной натурѣ и геніальномъ дарованіи,—говоритъ Альтгаузъ въ мало у насъ извѣстной біографіи *), — Герценъ всюду, гдѣ бы велѣніемъ судьбы ни родился, игралъ бы выдающуюся роль. Всюду работалъ бы его смѣлый скептическій умъ, всюду его быстрый, безстрашный взглядъ открывалъ бы недостатки существующаго, всюду влеченіе его горячо и благородно чувствовавшаго духа къ идеалу выдвинуло бы его въ первые ряды оппозиціи и поставило бы во главѣ освободительнаго движенія. Ибо это былъ скептикъ отъ рожденія, прирожденный боецъ противъ авторитета за

*) Unsere Zeit, 1872, VIII, 1.

свободно пріобрѣтенное, признанное высшимъ убѣжденіе. Но столь же несомнѣнно и то, что особыя обстоятельства, при которыхъ онъ вступилъ въ жизнь, произвели на все его существо характерное, рѣшительное и прочное воздѣйствіе. При всемъ его космополитизмѣ и свободомысліи, въ существѣ своей натуры онъ всегда оставался русскимъ, патріотомъ, славяниномъ, котораго и въ изгнаніи сковывали съ отчизною сильнѣйшія узы привязанности. Обладая въ высшей степени способностью своей расы къ усвоенію, онъ умѣлъ создать себѣ родину не въ одной чуждой ему странѣ, въ Швейцаріи, Италіи, Франціи, Англіи; преимущества каждой изъ этихъ странъ онъ признавалъ и любилъ, но все-таки онъ ни на мгновеніе не терялъ глубоко коренившагося въ немъ влеченія къ далекой отчизнѣ».

Подобныя противорѣчія въ приговорахъ мы встрѣчаемъ и тогда, когда рѣчь идетъ о Герценѣ безотносительно къ его взглядамъ на задачи общественнаго развитія Россіи. Въ то время, какъ г. Скабичевскій признаетъ въ немъ рѣзко выраженный типъ Гамлета, авторъ некролога въ «Вѣстникѣ Европы», написаннаго почти одновременно со статьею г. Скабичевскаго, объявляетъ Герцена чуть ли не Донъ-Кихотомъ: «Идеализмъ составляетъ вообще господствующую черту Герцена,—читаемъ здѣсь.—Это былъ, вѣроятно, самый идеалистическій характеръ всего кружка, къ которому онъ принадлежалъ,—идеалистъ не только по свойству идей, лежавшихъ въ основѣ его общественныхъ и нравственныхъ убѣжденій, но и по идеалистическому пониманію дѣйствительности, которое потомъ и давало столько поводовъ обвинять его въ погонѣ за эффектомъ, въ играніи роли, въ шарлатанствѣ Это былъ идеализмъ въ его крайностяхъ». Страховъ признавалъ въ Герценѣ безнадежнаго пессимиста. Г. Смирновъ видитъ въ немъ борца по натурѣ, «трезваго реалиста, какимъ онъ по самому темпераменту своему былъ чуть не съ пеленокъ и какимъ онъ остался вплоть до гробовой доски»; причислить Герцена къ разряду пессимистовъ—«болѣе грубой ошибки нельзя и сдѣлать».

Самъ писатель до извѣстной степени содѣйствовалъ этой, даже загадочной на первый взглядъ, противорѣчивости сужденій о немъ. Мало на свѣтѣ писателей до такой степени «личныхъ», какъ Герценъ. Каждое свое настроеніе онъ могъ передать въ такомъ яркомъ и сильномъ свѣтѣ и въ то же время столько писалъ о себѣ, что писавшіе о немъ находили достаточно матеріала какъ для подтвержденія того или другого предвзятаго взгляда, такъ и для того, чтобы, останавливаясь на извѣстной группѣ настроеній и идей Герцена,—останавливаясь, соотвѣтственно личной своей впечатлительности именно къ *этому*, а не къ иному кругу идей и настроеній,—отожествить его со *всѣмъ* нравственнымъ характеромъ и міровоззрѣніемъ Герцена.

Интересно слѣдить за разнообразіемъ настроеній, часто совершенно неожиданно переплетавшихся у Герцена съ самаго дѣтства, и позднѣе приводившихъ въ недоумѣніе лицъ, мало его знавшихъ. Неномѣрная живость и подвижность въ дѣтствѣ соединялись у него въ то же время съ серьезностью не по лѣтамъ: по воспоминаніямъ о Герценѣ-ребенкѣ, онъ шалитъ, шумитъ, кричитъ, точно дѣлая серьезное дѣло. Острый языченъ сказывается чуть не съ перваго дня, когда онъ заговорилъ, и онъ подражаетъ ѣдкой иронiи отца, которою тотъ, сухой и брюзгливый старикъ, изводилъ дворовую челядь. И въ то же время ребенокъ нѣжно привязывается не только къ загнанной отцомъ его слабохарактерной матери, приходившей въ отчаяніе отъ его проказъ, но и ко многимъ изъ крѣпостного люда, начиная съ няни, что впослѣдствіи дало ему поводъ замѣтить, что въ основѣ взаимной привязанности дѣтей и прислуги содержится взаимная любовь простыхъ и слабыхъ». Одну изъ такихъ дѣтскихъ привязанностей онъ увѣковѣчилъ позднѣе въ русской литературѣ въ трогательномъ образѣ затравленнаго деревенскаго дурачка Лёвки. Разсказы о сожженной Москвѣ, въ которой онъ двухлѣтнимъ ребенкомъ едва не погибъ, воспламеняютъ въ немъ патріотическіе порывы и мечты о славѣ боевого героя, которыя смѣняются нѣсколько позднѣе, по поводу декабрьскихъ событій, ребяческими фантазіями о кровавыхъ подвигахъ нѣсколько въ другомъ родѣ, но Суворовъ и Робеспьеръ въ немъ способны горько плакать надъ бѣлкою, застрѣленною потому, что она подвернулась ему подъ ружье, хотя онъ и врагъ всякой слезливой чувствительности. То унижаемый, то балуемый свыше мѣры властнымъ отцомъ, онъ успѣваетъ, вопреки отцу, развить въ себѣ чувство собственнаго человѣческаго достоинства, страдающее отъ униженія его въ другихъ. Бурное чувство протеста, вспыхивающее въ немъ порою противъ отца, при видѣ гоненій послѣдняго на мать, или противъ своего ложнаго положенія въ качествѣ незаконнорожденнаго, уживается порою съ резиньяціею, съ чувствомъ покорности, которое такъ преобладало въ его другѣ Огаревѣ. «Скептикъ отъ природы», какъ называетъ его Альтгаузъ, онъ могъ вполнѣ искренно говорить о себѣ: «Не помню, чтобы когда-нибудь я взялъ въ руки Евангеліе съ холоднымъ чувствомъ. Это проводило меня чрезъ всю жизнь. Во всѣ возрасты, при разныхъ событіяхъ, я возвращался къ чтенію Евангелія, и всякій разъ его содержаніе низводило миръ и кротость на мою душу».

Разнородныя влеченія переплетаются въ немъ и въ юношескіе, и въ болѣе зрѣлые годы. Мистикъ и романтикъ, поклонникъ Шиллера, онъ страстно возстаетъ противъ квіэтическаго примиренія съ дѣйствительностью, которое одно время сталъ было проповѣдывать Бѣлинскій. Поглощая массу книгъ, онъ ни на минуту не превращается въ типъ «книгоѣда», въ ге-

тевскаго Вагнера: «живая симпатія ему нравится больше книги». Увлеченный въ борьбу западничества и славянофильства и самъ принимая въ ней горячее участіе, онъ никогда не теряетъ извѣстной трезвости и широты взглядовъ и оставляетъ въ своемъ дневникѣ объ этой борьбѣ замѣтки, съ приговорами которыхъ чуть ли не во всѣхъ мелочахъ долженъ согласиться безпристрастный историкъ. Онъ находитъ въ себѣ столько человѣческой симпатіи, чтобы дружески протянуть руку «друзьямъ-врагамъ», славянофиламъ, къ негодованію Бѣлинскаго, который пишетъ ему гнѣвное письмо на ту тему, что онъ, Бѣлинскій, «жидъ» и не пойдетъ «ѣсть съ филистимлянами». И въ то же время онъ настолько дорожитъ своими убѣжденіями, что между нимъ и лучшимъ его другомъ послѣ Огарева, Грановскимъ, невольно ложится на время полоса отчужденія, когда выяснилось, что Грановскій въ своихъ нравственно-философскихъ взглядахъ не отрекся еще отъ нѣкотораго романтизма.

Эта сложная натура поражала съ перваго взгляда своею разносторонностью, которая въ глазахъ мало знавшихъ Герцена могла казаться странностью, неустойчивостью, капризностью. Его неистощимое остроуміе, разсыпавшееся градомъ остротъ, поражало не менѣе огромнаго ума, неистощимой способности къ побѣдоноснымъ спорамъ, въ родѣ тѣхъ его преній съ Хомяковымъ, которыя длились чуть не по полсутокъ и на которыя москвичи съѣзжались къ Елагиной и Свербѣевымъ посмотрѣть какъ на турниръ. Новичковъ Герценъ подавлялъ и пугалъ своимъ умственнымъ авторитетомъ, этою вѣчною неустанною работой все разлагавшаго ума и безпощадностью выводовъ. Быть-можетъ, этимъ слѣдуетъ отчасти объяснить то обстоятельство, что не онъ, а болѣе мягкій и ровный Грановскій занялъ въ кругѣ московскихъ западниковъ центральное мѣсто. И Грановскому, вѣдь, не разъ приходилось брать Герцена подъ свою защиту отъ обвиненій въ странностяхъ и легкомысліи, маску котораго тотъ иногда охотно надѣвалъ на себя, подобно тому, какъ не разъ надѣвали ее многіе замѣчательные русскіе люди отъ Петра I и Суворова до Тургенева. Но, въ концѣ концовъ, правда брала свое, личность Герцена выдерживала всѣ испытанія, и мы видимъ, что къ Герцену позднѣе относились почти съ одинаковою симпатіей и единомышленники, и разно съ нимъ мыслившіе. Извѣстно, наприм., что многократно и безпощадно осмѣянный Герценомъ въ печати Погодинъ питалъ къ нему какую-то особенную симпатію, выразившуюся, между прочимъ, въ наивныхъ попыткахъ уговорить Герцена написать исторію французской революціи «наоборотъ» и этимъ заслужить прощеніе и возвращеніе на родину.

Анненковъ въ «Замѣчательномъ десятилѣтіи» особенно удачно подчеркнулъ въ натурѣ Герцена это соединеніе въ немъ огромнаго умственнаго

превосходства надъ окружающими, которое проявлялось порою слишкомъ рѣзко и требовательно. съ искренностью отзывчиваго и впечатлительнаго сердца. Такъ какъ г. Смирновъ почему-то не воспользовался горячими строками, посвященными Анненковымъ Герцену, какъ не воспользовался подобнымъ же отзывомъ Вольфсона, то мы и приведемъ ихъ здѣсь.

«Однимъ изъ важныхъ борцовъ въ плодотворномъ диспутѣ, завязавшемся тогда на Руси, — вспоминаетъ Анненковъ, — былъ Герценъ. Признаться сказать, меня ошеломилъ и озадачилъ, на первыхъ порахъ знакомства, этотъ необычайно подвижный умъ, переходившій съ неистощимымъ остроуміемъ, блескомъ и непонятной быстротой отъ предмета къ предмету, умѣвшій схватить и въ складѣ чужой рѣчи, и въ простомъ случаѣ изъ текущей жизни, и въ любой отвлеченной идеѣ ту яркую черту, которая даетъ имъ физіономію и живое выраженіе. Способность къ поминутнымъ неожиданнымъ сближеніямъ разнородныхъ предметовъ, которая питалась, во-первыхъ, тонкою наблюдательностью, а во-вторыхъ, и весьма значительнымъ капиталомъ энциклопедическихъ свѣдѣній, была развита у Герцена въ необычайной степени,—такъ развита, что подъ конецъ даже утомляла слушателя. Неугасающій фейерверкъ его рѣчи, неистощимость фантазіи и изобрѣтенія, какая-то безоглядная расточительность ума—приводили постоянно въ изумленіе его собесѣдниковъ. Послѣ всегда горячей, но и всегда строгой, послѣдовательной рѣчи Бѣлинскаго, скользящее, безпрестанно перерождающееся, часто парадоксальное, раздражающее, но постоянно умное слово Герцена требовало уже отъ собесѣдниковъ, кромѣ напряженнаго вниманія, еще и необходимости быть всегда наготовѣ и вооруженнымъ для отвѣта. Зато уже никакая пошлость или вялость мысли не могли выдержать и полчаса сношеній съ Герценомъ, а претензія, напыщенность, педантическая важность просто бѣжали отъ него или таяли предъ нимъ, какъ воскъ предъ огнемъ. Я зналъ людей преимущественно изъ такъ-называемыхъ серьезныхъ и дѣльныхъ, которые не выносили присутствія Герцена. Зато были и люди, даже между иностранцами, въ эпоху его заграничной жизни, для которыхъ онъ скоро дѣлался не только предметомъ удивленія, но страстныхъ и слѣпыхъ привязанностей».

«Почти такіе же результаты постоянно имѣла и его литературная, публицистическая дѣятельность. Качества первокласснаго русскаго писателя и мыслителя—Герценъ обнаружилъ очень рано, съ перваго своего появленія на арену свѣта, и сохранилъ ихъ въ теченіе всей жизни, даже и тогда, когда заблуждался... Ошибки и заблужденія его носили еще на себѣ печать мысли, отъ которой нельзя было отдѣлаться однимъ только презрѣніемъ или отрицаніемъ ея. Этой стороной своей дѣятельности онъ

походилъ на Бѣлинскаго, но Бѣлинскій, постоянно витавшій въ области идей, не имѣлъ вовсе способности угадывать характеръ людей и не обладалъ злымъ юморомъ психолога и наблюдателя жизни. Герценъ, наоборотъ, какъ будто родился съ критическими наклонностями ума, съ качествами обличителя и преслѣдователя темныхъ сторонъ существованія. Это обнаружилось у него съ самыхъ раннихъ поръ, еще съ московскаго періода его жизни. И тогда Герценъ былъ умомъ въ высшей степени непокорнымъ и неуживчивымъ, съ врожденнымъ органическимъ отвращеніемъ ко всему, что являлось въ видѣ какого-либо установленнаго правила, освященнаго общимъ молчаніемъ о какой-либо въ умѣ представляемой истинѣ».

И въ то же время въ немъ уживались самыя нѣжныя, почти любовныя отношенія къ избраннымъ друзьямъ, не избавленнымъ отъ его анализа, но тутъ,—продолжаетъ Анненковъ,—дѣло объясняется уже другой стороной его характера.

«Какъ бы для возстановленія равновѣсія въ его нравственной организаціи, природа позаботилась, однакоже, вложить въ его душу одно неодолимое вѣрованіе, одну непобѣдимую наклонность: Герценъ вѣровалъ въ благородные инстинкты человѣческаго сердца, анализъ его умолкалъ и благоговѣлъ предъ инстинктивными побужденіями нравственнаго организма, какъ предъ единственной, несомнѣнной истиной существованія. Онъ высоко цѣнилъ въ людяхъ благородныя, страстныя увлеченія, какъ бы ошибочно они еще не помѣщались, и никогда не смѣялся надъ ними. Эта двойная, противорѣчивая игра его природы—подозрительное отрицаніе, съ одной стороны, и слѣпое вѣрованіе съ другой—возбуждали частыя недоумѣнія между нимъ и его кругомъ и были поводомъ къ спорамъ и объясненіямъ; но именно въ огнѣ такихъ пререканій, до самаго его отъѣзда за границу, привязанности къ нему еще болѣе закалились, вмѣсто того, чтобы разлагаться. Оно и понятно почему: во всемъ, что тогда думалъ и дѣлалъ Герценъ, не было ни малѣйшаго признака лжи, какого-либо дурного, скрыто-вскормленнаго чувства или разсчетливаго коварства; напротивъ, онъ былъ всегда весь цѣликомъ въ каждомъ своемъ словѣ и поступкѣ. Да была и еще причина, заставлявшая прощать ему даже иногда и оскорбленія, — причина, которая можетъ показаться невѣроятной для людей, его не знавшихъ.—При стойкомъ, гордомъ, энергическомъ умѣ, это былъ совершенно мягкій, добродушный, почти женственный характеръ. Подъ суровою наружностью скептика и эпиграмматиста, подъ прикрытіемъ очень мало церемоннаго и нисколько не застѣнчиваго юмора, жило въ немъ дѣтское сердце. Онъ умѣлъ быть какъ-то угловато нѣженъ и деликатенъ, а при случаѣ, когда наносилъ слишкомъ сильный ударъ противнику, умѣлъ тотчасъ же принести ясное, хотя и подразумѣваемое,

покаяніе. Особенно начинающіе, ищущіе, пробующіе себя люди находили источники бодрости и силы въ его совѣтахъ: онъ прямо принималъ ихъ въ полное общеніе съ собою, съ своею мыслью, что не мѣшало его разлагающему анализу производить надъ ними очень мучительные психическіе эксперименты и операціи. Говорить ли о странной аномаліи? Онъ самъ чувствовалъ эту струну добродушія въ себѣ и принималъ мѣры, чтобы она звучала не слишкомъ явственно. Самолюбіе его словно было оскорблено при мысли, что, кромѣ ума и способностей, у него могутъ еще подмѣтить и доброту сердца. Ему случалось насильственно ломать свой природный характеръ, чтобы на нѣкоторое время казаться не тѣмъ, чѣмъ онъ созданъ, а человѣкомъ свирѣпаго закала; но капризы эти длились недолго».

Такова же, въ сущности, менѣе пространная характеристика, данная Вольфсономъ, извѣстнымъ въ свое время переводчикомъ на нѣмецкій языкъ русскихъ повѣстей, и цитируемая Альтгаузомъ, какъ вѣрный снимокъ съ натуры.

«Я зналъ Герцена въ Москвѣ въ 1845 году,—говоритъ Вольфсонъ.— Высокое идейное и нравственное содержаніе его произведеній выступало въ его личности еще поразительнѣе. Человѣкъ, видывавшій его въ различныхъ житейскихъ обстоятельствахъ, отозвался мнѣ объ немъ: «C'est un homme à toute épreuve». Искренность и правдивость—основная черта его характера. У него нѣтъ тайнъ. Какъ предъ друзьями, такъ и предъ всѣмъ міромъ, у него что на сердцѣ, то и на языкѣ; это не только ясный, это — прозрачная душа. Потому-то лицемѣріе, въ какой бы то ни было формѣ, ему совершенно чуждо; потому-то онъ высказывается обо всемъ рѣшительно, иногда даже слишкомъ рѣзко. Человѣкъ пламеннаго, сангвиническаго темперамента, онъ нерѣдко впадаетъ въ крайность, но никогда онъ не измѣняетъ глубокой сущности своей натуры. Все, что граничитъ съ фальшивою чувствительностью, ему ненавистно, но не можетъ быть сердца болѣе мягкаго, болѣе впечатлительнаго, чѣмъ сердце Герцена. Какъ онъ воспринимаетъ каждое впечатлѣніе, съ величайшею отзывчивостью, такъ и хранитъ его—вѣрно и прочно».

Посмотримъ, какъ въ отношеніяхъ Герцена къ русской дѣйствительности и въ его литературной дѣятельности переплелись эти особенности его характера и настроеній, создавая нѣчто въ такой же степени удивительное, подчинявшее себѣ читателей, какъ и своеобразное.

Отношеніе къ тогдашней русской дѣйствительности въ кружкѣ людей сороковыхъ годовъ было, какъ извѣстно, безусловно почти отрицательнымъ; да инымъ и быть не могло со стороны чуткихъ, широко и по-европейски

образованныхъ умовъ отношеніе къ такимъ явленіямъ этой дѣйствительности, какъ крѣпостное право во всѣхъ его развѣтвленіяхъ, съ вытекавшими изъ него бюрократическимъ произволомъ и опекою надъ малѣйшими проявленіями умственной и общественной самостоятельности. Герценъ тутъ занималъ тоже положеніе человѣка, совершенно чуждаго этому строю по привычкамъ мысли, какъ и другіе западники, съ тѣмъ лишь добавленіемъ, что лично на себѣ испыталъ, и въ довольно острой формѣ, кое-какія неудобства тогдашней системы. Но онъ же выразилъ лучше, быть-можетъ, чѣмъ кто-либо другой изъ дѣятелей эпохи, кровную связь свою и друзей своихъ съ безмолвствовавшею народною массой. И въ этой инстинктивно чувствуемой связи была для него и друзей, въ минуты уныніе—а наплывали онѣ нерѣдко—одна изъ немногихъ нравственныхъ поддержекъ. Они, конечно, не обманывали себя, чтобы ихъ трудъ и мысли понятны были массѣ: предсмертныя мысли Бѣлинскаго, какъ извѣстно, были отравлены острымъ сознаніемъ, что волновавшія его стремленія еще недоступны и чужды народу. Но несомнѣнно, что невольное влеченіе къ народу и родному быту, такъ сильное въ Герценѣ и отлившееся позднѣе въ своего рода идею мессіанизма, было явленіемъ и нормальнымъ, и многозначительнымъ. Тутъ впервые, хотя и смутно, подчеркивалось то сознаніе человѣческаго и національнаго единства общества и народа, которое въ будущемъ должно замѣнить теперешнее распаденіе, отъ чего бы оно ни зависѣло, со всѣми его для обѣихъ сторонъ тяжелыми спутниками и слѣдствіями.

Герценъ прекрасно выразилъ эту глубокую основу движенія сороковыхъ годовъ, когда въ 1861 году отдавалъ должное славянофиламъ. «Кирѣевскіе, Хомяковъ и Аксаковъ сдѣлали свое дѣло,—писалъ онъ:—долго ли, коротко ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себѣ съ полнымъ сознаніемъ, что они сдѣлали то, что хотѣли сдѣлать... они остановили увлеченное общественное мнѣніе и заставили призадуматься всѣхъ серьезныхъ людей. Съ нихъ начинается *переломъ русской жизни*. И когда мы это говоримъ, кажется, насъ нельзя заподозрить въ пристрастіи.—Да, мы были противниками ихъ, но очень странными. У насъ была *одна* любовь, но не *одинаковая*. У нихъ и у насъ запало съ раннихъ лѣтъ одно сильное, безотчетное, физіологическое страстное чувство, которое они принимали за воспоминаніе, а мы за пророчество,—чувство безграничной, обхватывающей все существованіе любви къ русскому народу, русскому быту, къ русскому складу ума. И мы, какъ Янусъ или какъ двуглавый орелъ, смотрѣли въ разныя стороны, въ то время, какъ сердце билось одно. Они всю любовь, всю нѣжность перенесли на угнетенную мать. У насъ, воспитанныхъ внѣ дома, эта связь ослабла. Мы были на рукахъ

французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству въ чертахъ, да потому, что ея пѣсни были намъ роднѣе водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ея была намъ тѣсна... Считаться намъ странно, патентовъ на пониманіе нѣтъ; время, исторія, опытъ сблизили насъ, не потому, чтобы они насъ перетянули къ себѣ, или мы ихъ, а потому, что и они, и мы ближе къ истинному воззрѣнію теперь (начало 1861 г.), чѣмъ были тогда, когда безпощадно терзали другъ друга въ журнальныхъ статьяхъ, хотя и тогда я не помню, чтобы мы сомнѣвались въ ихъ горячей любви къ Россіи, или они въ нашей».

Это «физіологическое», какъ его называетъ Герценъ, чувство въ поэтической формѣ неожиданно налетающаго раздумья сквозитъ всюду, гдѣ Герценъ заговоритъ объ общихъ своихъ впечатлѣніяхъ, какія давала ему русская жизнь. Это была та «странная» любовь къ родинѣ, которую такъ поэтически изобразилъ отчасти родственный Герцену по натурѣ поэтъ,—любовь, въ которой въ одно сливалось и поэтическое настроеніе, навѣваемое тоскливою русскою равниной, и смутное чувство отвѣтственности за то страданіе, что шевелилось тамъ, гдѣ дрожали «огни печальныхъ деревень», и жажда отдаться той волнѣ жизни, которая несла куда-то эту массу, какъ будто давая смыслъ ея вѣковому терпѣнію, отозвавшемуся только въ тоскливой пѣснѣ.

Первое свое знакомство съ русскою природою и жизнью Герценъ самъ сопоставляетъ съ горячимъ чувствомъ привязанности къ Огареву, съ дружбою, сопровождавшею его при всѣхъ житейскихъ испытаніяхъ, и несмотря на нихъ, до могилы. Нѣсколько строкъ изъ «Записокъ одного молодого человѣка» могутъ лучше уяснить читателю это настроеніе.

«Въ деревнѣ я сдѣлалъ знакомство, достойное сдѣланнаго въ Москвѣ (съ Огаревымъ): я въ первый разъ послѣ ребячества явился лицомъ къ лицу съ природой, и ея выразительныя черты сдѣлались понятны для меня. Это отдохновеніе отъ школьныхъ занятій было на мѣстѣ; я закрылъ учебную книгу, несмотря на то, что надобно было готовиться къ университету. Колоссальная идиллія лежала развернутая предо мною, и я не могъ наглядѣться на нее: такъ нова она была мнѣ, выросшему въ третьемъ этажѣ на Пречистенкѣ. Читалъ я мало, и то одного Шиллера; на высокой горѣ, съ которой открывались пять-шесть деревенекъ, пробѣгалъ я «Телля», и въ мрачномъ лѣсу перечитывалъ Карла Мора—и, казалось, молодецкій посвистъ его ватаги и топотъ конницы, окружавшей его, раздавался между соснами и елями. Но чаще всего я бросалъ книгу и долго-долго смотрѣлъ на окружающія поля, на рѣку, перерѣзывающую ихъ, на храмъ Божій, бѣлый какъ лилія и, какъ лилія, окруженный зеленью.

Иногда мнѣ казалось, что вся эта даль—продолженіе меня, что гора со всѣмъ окружающимъ—мое тѣло, и мнѣ слышался пульсъ ея, и мы вмѣстѣ вдыхали и выдыхали воздухъ. Иногда мнѣ казалось, что я совершенно потерянъ въ этой безконечности—листокъ на огромномъ деревѣ; но безконечность эта не давила меня: мнѣ было хорошо лежать на моей горѣ: я понималъ, что я дома, что все это родное»...

Подобное же лирическое отступленіе во второй части романа «Кто виноватъ» ставитъ въ связь это же настроеніе съ дѣйствіемъ на душу народной пѣсни, напоминая восклицаніе Гоголя, что не русскій тотъ, кто не слышалъ упрека себѣ и страннаго волненія въ звукахъ заунывной народной пѣсни.

Это «русское» настроеніе вызвано въ Герценѣ обыкновеннымъ видомъ на рѣку въ губернскомъ городкѣ. «Видъ былъ недуренъ; большая (и съ большою грязью) дорога шла каймою около сада и впадала въ рѣку; рѣка была въ разливѣ; на обоихъ берегахъ стояли телѣги, повозки, тарантасы, отложенныя лошади, бабы съ узелками, солдаты и мѣщане; два досчаника ходили безпрерывно взадъ и впередъ; биткомъ набитые людьми, лошадьми и экипажами, они медленно двигались на веслахъ, похожіе на какихъ-то ископаемыхъ многоножныхъ раковъ, послѣдовательно поднимавшихъ и опускавшихъ свои ноги; разнообразные звуки доносились до ушей сидѣвшихъ, скрипъ телѣгъ, бубенчики, крикъ перевозчиковъ и едва слышный отвѣтъ съ той стороны; брань торопящихся пассажировъ, топотъ лошадей, устанавливаемыхъ на досчаникѣ, мычаніе коровы, привязанной за рога къ телѣгѣ, и громкій разговоръ крестьянъ на берегу, собравшихся около разложеннаго огня... Отчего все это издали такъ сильно дѣйствуетъ на насъ, такъ потрясаетъ — не знаю, но знаю, что дай Богъ Віардо и Рубини, чтобы ихъ слушали всегда съ такимъ біеніемъ сердца, съ какимъ я много разъ слушалъ какую-нибудь протяжную и безконечную пѣсню бурлака, сторожащаго ночью барки,—пѣсню унылую, перерываемую плескомъ воды и вѣтромъ, шумящимъ между прибрежнымъ ивнякомъ. И мало ли что мнѣ чудилось, слушая монотонные, унылые звуки; мнѣ казалось, что этою пѣснью бѣднякъ рвется изъ душной сферы въ иную, что онъ, не давая себѣ отчета, оглашаетъ свою печаль, что его душа звучитъ потому, что ей грустно, потому, что ей тѣсно, и пр. и пр. Это было въ мою молодость!»

Это была та «русская печаль», которая съ такою болью и такъ поэтически вылилась позднѣе въ извѣстномъ стихотвореніи Некрасова. Но она осложнялась, какъ сказано, острымъ сознаніемъ, что она остается непонятною, что въ глазахъ народа на каждомъ образованномъ человѣкѣ лежитъ клеймо «барина». «Взглянулъ бы на тебя, дитя, юношей,—пишетъ

Герценъ однажды въ своемъ дневникѣ о народѣ,—но мнѣ не дождаться благословляю же тебя хоть изъ могилы. Но все это ни одной нотой не уменьшаетъ горечи жизни. Сверхъ всего, повтореннаго много разъ, отдѣльность, несимпатія со всѣхъ сторонъ тягостны. Барству, чиновничеству мы не хотимъ протянуть руки, да и они на нашего брата смотрятъ, какъ на безумнаго, а православный народъ, которому, для котораго, за который всякій благородный человѣкъ готовъ Богъ знаетъ что дѣлать,— если не въ открытой войнѣ, въ которой онъ насъ опутываетъ сѣтью мошенничества, то онъ молчитъ и недовѣряетъ, — я это испытываю очень часто; когда онъ видитъ простой расчетъ, — дѣло другое, но когда не изъ расчета, а просто изъ доброжелательства, что-либо сдѣлать — онъ качаетъ головой и боится быть обманутымъ».—«Поймутъ ли, оцѣнятъ ли грядущіе люди весь ужасъ, всю трагическую сторону нашего существованія?—восклицаетъ онъ въ другомъ мѣстѣ въ настроеніи, навѣянномъ подобными же ѣдкими мыслями.—А между тѣмъ наши страданія—почва, изъ которой разовьется ихъ счастіе. Поймутъ ли они, отчего мы—лѣнтяи, отчего ищемъ всякихъ наслажденій, пьемъ вино и пр.? Отчего руки не подымаются на большой трудъ? Отчего въ минуту восторга не забываемъ тоски?... О, пусть они остановятся съ мыслью и грустью передъ камнями, подъ которыми мы уснемъ,—мы заслужили ихъ грусть. Была ли такая эпоха для какой-либо страны? Римъ въ послѣдніе годы существованія?—и то нѣтъ. Тамъ были святы воспоминанія, было прошедшее, наконецъ, оскорбленный состояніемъ родины могъ успокоиться въ лонѣ юной религіи, являвшейся во всей чистотѣ и поэзіи. Насъ убиваетъ пустота и безпорядокъ въ прошедшемъ, какъ въ настоящемъ - отсутствіе всякихъ общественныхъ интересовъ».

Извѣстно, что славянофилы, столь же остро чувствовавшіе ненормальность этого стараго раскола между обществомъ и народомъ, находили нѣкоторое нравственное успокоеніе какъ разъ въ идеализаціи прошедшаго и въ томъ сліяніи съ наивными народными вѣрованіями, минуту котораго такъ сильно изобразилъ Некрасовъ:

Какъ ни тепло чужое море,
Какъ ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Храмъ воздыханья, храмъ печали -
Убогій храмъ земли твоей:
Тяжеле стоновъ не слыхали
Ни римскій Петръ, ни Колизей!
Сюда народъ, тобой любимый,
Своей тоски неодолимой

Святое бремя приносилъ—
И облегченный уходилъ!
Войди! Христосъ наложитъ руки
И сниметъ волею святой
Съ души оковы, съ сердца муки
И язвы съ совѣсти больной...
Я внялъ... я дѣтски умилился...
И долго я рыдалъ и бился
О плиты старыя челомъ,
Чтобы простилъ, чтобъ заступился,
Чтобъ осѣнилъ меня перстомъ
Богъ угнетенныхъ, Богъ скорбящихъ,
Богъ поколѣній предстоящихъ
Предъ этимъ скуднымъ алтаремъ!

Герценъ пережилъ подобные порывы, пережилъ ихъ даже въ крайне мистической формѣ, и уваженіе къ нимъ, разъ они искренни, уцѣлѣло въ немъ навсегда. Съ рѣдкою теплотою онъ вспоминаетъ, напр., въ «Быломъ и Думахъ», какъ Иванъ Кирѣевскій передавалъ ему исторію своего возвращенія къ наивнымъ дѣтскимъ вѣрованіямъ (при созерцаніи чудотворной иконы, Кирѣевскаго поразила мысль, что она могла впитать въ себя всю скорбь и жажду правды, которыя изливались предъ нею цѣлые вѣка милліонами вѣрующихъ). Но Герценъ не могъ не отнестись вполнѣ отрицательно къ тѣмъ же славянофиламъ, когда дѣло и вопросы живого религіознаго чувства ими дѣлались предметомъ схоластическаго разслѣдованія и нескончаемыхъ и нетерпимыхъ словопреній. «Типъ этихъ споровъ одинъ, — ѣдко замѣтилъ онъ по поводу дебатовъ между славянофилами и Чаадаевымъ съ княземъ Гагаринымъ:—откуда вѣдьмы—изъ Кіева или изъ Чернигова? Для людей, не вѣрящихъ въ вѣдьмъ, остается зѣвать и жалѣть расточенія силъ... Есть и протестанты, улыбающіеся надъ тѣми и другими, какъ надъ отсталыми, смѣющіеся надъ невѣждами, утверждающими, что вѣдьмы изъ Кіева или Чернигова, а сами они знаютъ навѣрное, что вѣдьмы идутъ изъ Житомира»...

Итакъ, Герцену, какъ и его друзьямъ,—говоря его словами,—тѣсно было въ сферѣ загнанной крестьянки, на которую перенесли всю свою любовь славянофилы, перенесли вплоть до намѣреннаго приведенія своего міросозерцанія въ нѣкоторыхъ частяхъ его къ уровню ея кое въ чемъ дѣтски-чистыхъ, но во многомъ другомъ дѣтски-наивныхъ взглядовъ. Герценъ сознавалъ, въ чемъ правы славянофилы, и сознавалъ, что въ русскомъ общественномъ сознаніи совершается переломъ, но онъ рѣшительно сталъ на точку зрѣнія, противоположную исходнымъ точкамъ славянофиловъ и тѣмъ болѣе защитниковъ оффиціальной народности.

Этотъ переломъ въ міровоззрѣніи Герцена совпалъ съ оставленіемъ

имъ службы въ новгородскомъ губернскомъ правленіи въ званіи совѣтника, и такое совпаденіе отнюдь не было случайнымъ. Это былъ вполнѣ послѣдовательный, достойный искренняго идеалиста шагъ, своего рода символъ разрыва съ прошлымъ и съ дѣйствительностью, чуждавшеюся малѣйшаго движенія мысли и чувства. Разсказъ самого Герцена о новгородской службѣ и о послѣдней каплѣ, переполнившей чашу терпѣнія его и заставившей отказаться отъ службы и косвеннаго содѣйствія свершенію вопіющихъ несправедливостей,—этотъ разсказъ говоритъ самъ за себя.

«Помня знаменитое изреченіе Талейрана, я не старался особенно блеснуть усердіемъ и занимался дѣлами, насколько было нужно, чтобы не получить замѣчанія и не попасть въ бѣду. Но въ моемъ отдѣленіи было два рода дѣлъ, на которыя я не считалъ себя въ правѣ смотрѣть такъ поверхностно: это были дѣла о раскольникахъ и злоупотребленіяхъ помѣщичьей власти...

«Дѣла о раскольникахъ были такого рода, что всего лучше было совсѣмъ не подымать ихъ вновь; я ихъ просмотрѣлъ и оставилъ въ покоѣ. Напротивъ, дѣла о злоупотребленіи помѣщичьей власти слѣдовало сильно перетряхнуть; я сдѣлалъ все, что могъ, и одержалъ нѣсколько побѣдъ на этомъ вязкомъ поприщѣ, освободилъ отъ преслѣдованія одну молодую дѣвушку и отдалъ подъ опеку одного морского офицера... Морякъ, заранѣе увѣренный, что дѣло о немъ кончится благополучно, какъ громомъ пораженный, явился послѣ указа въ Новгородъ. Ему тотчасъ сказали, какъ что было; яростный офицеръ собирался напасть на меня изъ-за угла, подкупить бурлаковъ и сдѣлать засаду, но, не привыкшій къ сухопутнымъ кампаніямъ, мирно скрылся въ какой-то уѣздный городъ. Это, кажется, единственная заслуга моя по служебной части...

«Разъ,—продолжаетъ Герценъ,—въ холодное зимнее утро пріѣзжаю въ правленіе, въ передней стоитъ женщина лѣтъ тридцати, крестьянка; увидѣвши меня въ мундирѣ, она бросилась предо мной на колѣни и, обливаясь слезами, просила меня заступиться. Баринъ ея, Мусинъ-Пушкинъ, ссылалъ ее съ мужемъ на поселеніе, ихъ сынъ лѣтъ 10 оставался, она умоляла дозволить ей взять съ собою дитя. Пока она мнѣ разсказывала дѣло, вошелъ военный губернаторъ, я указалъ ей на него и передалъ просьбу. Губернаторъ объяснилъ ей, что дѣти старше 10 лѣтъ остаются у помѣщика. Мать, не понимая закона, продолжала просить; ему было скучно; женщина, цѣпляясь за его ноги, рыдала, и онъ сказалъ, грубо отталкивая ее отъ себя: «да что ты за дура такая, вѣдь по-русски тебѣ говорятъ, что я ничего не могу сдѣлать, что-жъ ты пристаешь!»... Послѣ этого онъ пошелъ твердымъ и рѣшительнымъ шагомъ въ уголъ, гдѣ ставилась сабля...

«И я пошелъ... Съ меня было довольно... развѣ эта женщина не приняла меня за одного изъ нихъ? Пора кончить комедію.

«— Вы нездоровы?— спросилъ меня совѣтникъ Хлопинъ, переведенный изъ Сибири за какіе-то грѣхи.

«— Боленъ,—отвѣчалъ я, раскланялся и уѣхалъ. Въ тотъ же день написалъ я рапортъ о моей болѣзни, и съ тѣхъ поръ нога моя не была въ губернскомъ правленіи».

Это «пора кончить комедію!» звучитъ какъ итогъ всего предыдущаго періода развитія Герцена. Со времени переѣзда въ Москву, въ половинѣ 1842 года, онъ посвящаетъ себя всецѣло литературной работѣ, и въ ней у Искандера всецѣло звучитъ эта же нота: «пора бросить комедію»—какъ въ области нравственно-философскихъ воззрѣній, такъ и въ жизни, какъ въ отношеніи къ дѣйствительности, такъ и въ отношеніи къ собственнымъ вѣрованіямъ, которыя должны быть, наконецъ, заявлены безповоротно. «Пора бросить комедію»—чего бы ни сулило будущее, какъ ни тяжело было бы даже полное непониманіе со стороны тѣхъ, ради кого и съ мыслью о комъ заявлялся этотъ разрывъ съ невыносимымъ настоящимъ ради темнаго и невѣрнаго будущаго.

Останавливаясь прежде всего на чисто-философскихъ статьяхъ Герцена, о «дилетантизмѣ въ наукѣ» и «объ изученіи природы», нѣтъ особой надобности, какъ намъ кажется, подробно разсматривать вліяніе на Герцена лѣваго гегеліанства и отношеніе его къ этому умственному теченію. Вліяніе Гегеля на всѣхъ дѣятелей сороковыхъ годовъ уже достаточно извѣстно, а, кромѣ того, суть была вовсе и не въ Гегелѣ. Его діалектика была лишь скорлупою, прикрывавшею мысли, которыя безъ нея, вѣроятно, остались бы не высказанными на страницахъ журналовъ.

Сами по себѣ мысли, развиваемыя Искандеромъ, не представляли чего-либо единичнаго. Носителемъ ихъ было и литературное движеніе, и то научное оживленіе, которое внесено было въ московскій университетъ конца 30-хъ и сороковыхъ годовъ учеными, посланными графомъ С. Г. Строгановымъ за границу, Рѣдкинымъ, Крыловымъ, Крюковъ, Грановскимъ и др. «Діалектическимъ построеніемъ,—говоритъ Герценъ въ «Быломъ и Думахъ»,—пробовали тогда рѣшить историческіе вопросы въ современности; это было невозможно, но привело факты къ болѣе свѣтлому сознанію. Наши профессора привезли съ собою эти завѣтныя мечты, горячую вѣру въ науку и людей; они сохранили весь пылъ юности, и каѳедры для нихъ были свѣтлыми налоями, съ которыхъ они были призваны благовѣстить истину; они являлись въ аудиторію не цеховыми учеными, а миссіонерами человѣческой

религіи». Герценъ всецѣло примкнулъ къ этому теченію, но чутьемъ находилъ дорогу тамъ, гдѣ порою плутали Бѣлинскій съ друзьями. Такъ, во время извѣстнаго періода въ развитіи критика, когда онъ находился въ «примиреніи съ дѣйствительностью», выразившемся между прочимъ въ отрицаніи Шиллера и преклоненіи предъ «олимпійцемъ» Гете, Герценъ въ «Запискахъ одного молодого человѣка», въ разсказѣ Трензинскаго о встрѣчѣ съ Гете, рѣшительно протестовалъ противъ возвеличенія гражданскаго индифферентизма. Точно также рѣшительно ополчался онъ на искаженія значенія науки, которыя дѣлались какъ врагами ея, желавшими видѣть въ ней не только ancillam theologiae, но и ancillam всего, что оффиціально признавалось истиною, не терпящею критики, такъ и плохе понимавшими духъ науки друзьями ея.

Для воздѣйствія на умъ и чувство читателей нерѣдко важнѣе то, какъ сказано, чѣмъ то, что сказано писателемъ. Герценъ самъ передаетъ въ «Дневникѣ» и «Быломъ и Думахъ», съ какимъ восторгомъ встрѣтилъ онъ наменитую фейербахову «Сущность христіанства», какъ на собственный страхъ выпрыгнулъ онъ изъ бѣличьяго колеса діалектическихъ построеній, чтобы признать за фантастически освѣщенный туманъ тѣ сѣдые утесы, о которые бились отъ семи мудрецовъ до Канта всѣ дерзавшіе думать. Не все, что думалъ Герценъ, могъ онъ высказать, но онъ сполна высказывался о томъ, какъ думалъ: не отступая предъ традиціями и предвзятыми льстившими личному чувству взглядами. Изъ каждой написанной имъ строчки сквозила несокрушимая вѣра въ силы всепостигающаго разума, вѣяло бодрымъ, яснымъ настроеніемъ. «Хвала дерзкому языку, которымъ съ нѣкотораго времени заговорила наука нашего времени,—восклицаетъ онъ въ одномъ мѣстѣ:—это кончитъ поскорѣе всѣ недоразумѣнія. Ей не нужно скрываться, у нея совѣсть чиста; пора говорить просто, ясно; пора все говорить, насколько это возможно. Половина поклонниковъ современной мысли непремѣнно отойдетъ—что за бѣда? Кто отойдетъ, тотъ былъ чужой, тотъ былъ обманутъ. Оставлять что-либо недоговореннымъ—значитъ оставлять возможность ложнаго непониманія; надобно, напротивъ, предупреждать всякое двусмысленное выраженіе — этого требуетъ честность въ наукѣ. Таковъ языкъ Спинозы. Можно съ нимъ ни въ чемъ не соглашаться, но нельзя не остановиться съ уваженіемъ предъ этою мужественною и открытою рѣчью, и вотъ разгадка, почему его вдесятеро болѣе ненавидѣли, нежели другихъ мыслителей, говорившихъ то же, что и онъ».

Это новое (для тогдашнихъ русскихъ читателей) требованіе простоты, ясности и трезвости философской мысли ставило Герцена въ оппозицію, конечно, не одной только «оффиціальной народности», а и тѣмъ мнимымъ

друзьямъ науки, которыхъ онъ называетъ дилетантами науки, буддистами ея и цеховыми учеными. Дилетанты—это платоническіе поклонники науки, недовольные ею, когда она подрываетъ ихъ предубѣжденія и тревожитъ дешево доставшееся нравственное спокойствіе; буддисты—успокоившіеся на разсудочномъ отвлеченномъ пониманіи, не претворенномъ въ жизнь; цеховые—формалисты, за формою забывшіе содержаніе, метафизики, затерявшіеся въ частностяхъ спеціальныхъ наукъ Вагнеры. Для Герцена философія осмысливала жизнь, указывая въ хаотическомъ броженіи ея нѣчто несомнѣнное, именно живое человѣческое сознаніе, живую личность человѣка.

«Науку надобно прожить, чтобы не формально усвоить ее себѣ,—со всею силою выстраданнаго убѣжденія пишетъ въ одномъ мѣстѣ Герценъ, выясняя читателямъ эту идею индивидуализма, въ общемъ лежавшую въ основѣ воззрѣній людей сороковыхъ годовъ.—Переломившій ногу полнѣе и тверже всякаго врача знаетъ, какая именно боль при переломѣ. Пострадать феноменологію духа, исходить горячею кровью сердца, горькими слезами очей, худѣть отъ скептицизма, жалѣть, любить многое, много любить и все отдать истинѣ—такова лирическая поэма воспитанія въ науку. Наука дѣлается страшнымъ вампиромъ, духомъ, котораго нельзя прогнать никакимъ заклинаніемъ, потому что человѣкъ вызвалъ его изъ собственной груди и ему *некуда* скрыться. Тутъ надобно оставить пріятную мысль благоразумно заниматься въ извѣстный часъ дня бесѣдой съ философами для образованія ума и украшенія памяти. Вопросы страшные безотходны: куда ни отвернется несчастный, они передъ нимъ, писанные огненными буквами Даніила, и тянутъ куда-то въ глубь, и силъ нѣтъ противостоять чарующей силѣ пропасти, которая влечетъ къ себѣ человѣка загадочною опасностью своей. Змѣя мечетъ банкъ; игра, холодно начинающаяся съ логическихъ общихъ мѣстъ, быстро развертывается въ отчаянное состязаніе; всѣ заповѣдныя мечты, святыя, нѣжныя упованія, Олимпъ и Аидъ, надежда на будущее, довѣріе настоящему, благословеніе прошедшему—все послѣдовательно является на картѣ, и она, медленно вскрывая, безъ улыбки, безъ ироніи и участія, повторяетъ холодными устами: «убита». Что еще поставить? все проиграно; остается поставить себя; понтёръ ставитъ, и съ той минуты игра мѣняется. Горе тому, кто не доигрался до послѣдней таліи, кто остановился на проигрышѣ: или онъ падаетъ подъ тяжестью мучительнаго сомнѣнія, снѣдаемый алканіемъ горячей вѣры, или приметъ проигрышъ за выигрышъ и самодовольно примирится со своимъ увѣчьемъ: первое—путь къ нравственному самоубійству, второе—къ бездушному атеизму. Личность, имѣвшая энергію себя поставить на карту, отдается наукѣ безусловно; но наука не можетъ уже по-

глотить такой личности, да и она сама по себѣ не можетъ уничтожиться во всеобщемъ—слишкомъ просторно. Погубящій душу *найдетъ ее*. Кто такъ дострадался до науки, тотъ усвоилъ ее себѣ не токмо какъ остовъ истины, но какъ живую истину, раскрывающуюся въ живомъ организмѣ своемъ; онъ дома въ ней, не дивится болѣе ни своей свободѣ, ни ея свѣту; но ему становится мало ея примиренія; ему мало блаженства спокойнаго созерцанія и видѣнія; ему хочется полноты упоенія и страданій жизни; ему хочется *дѣйствованія*, ибо одно дѣйствованіе можетъ вполнѣ удовлетворить человѣка. Дѣйствованіе—сама личность».... «Въ разумномъ, нравственно-свободномъ и страстно-энергическомъ дѣяніи,—добавляетъ Герценъ далѣе,—человѣкъ достигаетъ дѣйствительности своей личности и увѣковѣчиваетъ себя въ мірѣ событій. Въ такомъ дѣяніи, человѣкъ вѣченъ во временности, безконеченъ въ конечности, представитель рода и самого себя, живой и сознательный органъ своей эпохи»*).

Этотъ широкій индивидуализмъ, вѣра въ творческую роль личности вызываетъ у Искандера въ концѣ статьи воодушевленныя строки о будущемъ, которое, созрѣвая изъ настоящаго, изъ распространенія и сознанія неопровержимой научной истины, принесетъ съ собою осуществленіе требованій ея въ дѣйствительной жизни. «Изъ вратъ храма науки человѣчество выйдетъ съ гордымъ и поднятымъ челомъ, вдохновенное сознаніемъ: omnia sua secum portans—на творческое созданіе воли Божіей.... Но *какъ* будетъ это? *Какъ* именно принадлежитъ будущему. Мы можемъ предузнавать будущее, потому что мы посылки, на которыхъ основается его силлогизмъ—но только общимъ, отвлеченнымъ образомъ. Когда настанетъ время, молнія событій разорветъ тучи, сожжетъ препятствія и будущее, какъ Паллада, родится въ полномъ вооруженіи. Но вѣра въ будущее—наше благороднѣйшее право, наше неотъемлемое благо; вѣруя въ него, мы полны любви къ настоящему. И эта вѣра въ будущее спасетъ насъ въ тяжкія минуты отъ отчаянія; и эта любовь къ настоящему будетъ жива благими дѣяніями».

Не будь этого возвышеннаго и благороднаго лиризма въ статьяхъ Искандера, онѣ едва ли бы могли привлекать много читателей: писанныя нерѣдко условнымъ языкомъ, понятіе о которомъ даютъ и приведенныя цитаты съ аллегорическими образами змѣи, мечущей банъ, и проч., эти статьи ставили самые общіе, хотя и основные вопросы человѣческаго существованія въ формѣ также совершенно общей, въ противоположность, напр., статьямъ Бѣлинскаго, касавшимся гораздо болѣе конкретныхъ явленій жизни и литературы. Но въ искандеровскихъ статьяхъ столько этого мо-

*) Изъ статьи „Буддизмъ въ наукѣ".

лодого и бодраго настроенія, что оно не могло не передаваться читателямъ даже тогда, когда являлось въ этой недоступной для мало подготовленнаго читателя формѣ. Извѣстно, что въ сороковыхъ же годахъ, когда Искандеръ не сталъ еще запретнымъ именемъ для журналовъ, противъ «Отечеств. Записокъ» со стороны ревнителей «оффиціальной народности» однимъ изъ главныхъ обвиненій выставлялось помѣщеніе этихъ статей, популяризировавшихъ идеи лѣваго гегеліанства. Въ дѣйствительности, вѣроятно, читателямъ передавалось преимущественно лишь то нравственное одушевленіе, которымъ онѣ были полны, такъ что Грановскій имѣлъ основаніе въ спорахъ своихъ съ другомъ заявлять, что, не вдаваясь въ мало для него обязательные *выводы* «Писемъ объ изученіи природы», цѣнитъ въ нихъ тѣ же черты, что въ сочиненіяхъ Дидро и Вольтера: они живо и рѣзко затрогиваютъ такіе вопросы, которые будятъ и толкаютъ впередъ человѣка.

Въ высшей степени характерно для Герцена, что его безпокойный, будящій другихъ философскій анализъ направляется въ значительной части его произведеній на обыденныя стороны дѣйствительности, на то, что уже примелькалось людямъ, и по этому самому не привлекаетъ къ себѣ вниманія, хотя при взглядѣ со стороны поражаетъ своею ненормальностью, уродствомъ и неразумѣніемъ. Въ цѣломъ рядѣ своихъ «капризовъ» Герценъ настаиваетъ предъ читателемъ именно на необходимости анализа обыденнаго, и въ этомъ отношеніи къ обыденному у него мы наблюдаемъ любопытную близость съ такимъ же революціоннымъ въ существѣ своемъ умомъ, какъ у Льва Толстого.

Онъ постоянно «grübelte» надъ этими явленіями обыденности, подобно тому чудаку, которому приписывалъ свои «Капризы и раздумье», эти небрежные по формѣ и удивительные по силѣ и глубинѣ чувства наброски, откуда можно было бы почерпнуть цѣлые ряды яркихъ афоризмовъ, полныхъ глубокаго знанія человѣческой психологіи. «Не истины науки трудны, — твердилъ Герценъ, — а расчистка человѣческаго сознанія отъ всего наслѣдственнаго хлама, отъ всего осѣвшаго ила, отъ принииманія неестественнаго за естественное, непонятнаго за понятное... Дѣйствительно трудное для пониманія не за тридевять земель, а возлѣ насъ, такъ близко, что мы и не замѣчаемъ его: частная жизнь наша, наши практическія отношенія къ другимъ лицамъ, наши столкновенія съ ними. Людямъ все это кажется очень простымъ и чрезвычайно естественнымъ, а въ сущности нѣтъ головоломнѣе работы, какъ понять все это; кто разъ, на минуту отступя въ сторону, добросовѣстно всмотрится въ ежедневную мелочь, въ которой мы проводимъ время, да подумаетъ о ней, тотъ или расхохочется до того, что сдѣлается боленъ, или расплачется до того, что по-

теряетъ глаза. Мы слишкомъ привыкли къ тому, что мы дѣлаемъ и что дѣлаютъ другіе вокругъ насъ; насъ это не поражаетъ; привычка—великое дѣло; это самая толстая цѣпь на людскихъ ногахъ; она сильнѣе убѣжденій, таланта, характера, страстей, ума». «Считаютъ, что все достойное вниманія, замѣчательное, любопытное, гдѣ-нибудь вдали, въ Египтѣ или въ Америкѣ; добрые люди не могутъ убѣдиться, что нѣтъ такого далекаго мѣста, которое не было бы близко откуда-нибудь; что вещь, возлѣ нихъ стоящая со дня рожденія, отъ этого не сдѣлалась ни менѣе достойна изученія, ни понятнѣе. Какъ на смѣхъ подобнымъ мнѣніямъ, все самое трудное, запутанное, самое сложное сосредоточилось подъ крышей каждаго дома, и критическій, аналитическій вѣкъ нашъ, критикуя и разбирая важные историческіе и всяческіе вопросы, спокойно, у ногъ своихъ, дозволяетъ расти самой грубой, самой нелѣпой непосредственности, которая мѣшаетъ ходить и предательски прикрываетъ болота и ямы; ядра, летящія на разрушеніе падающаго зданія готическихъ предразсудковъ, пролетаютъ надъ головою преготическихъ затѣй, отъ того, что онѣ подъ самымъ жерломъ».

Эти мысли, такія глубокія въ ихъ простотѣ, высказаны точно вчера, и, конечно, всегда живо будетъ въ нихъ вызвавшее ихъ чувство. Совпаденіе съ мыслителемъ нашихъ дней тутъ до того полно, точно Л. Толстой только развиваетъ мысль, брошенную Герценомъ. «Люди никакъ не могутъ заставить себя серьезно подумать о томъ, что они дѣлаютъ дома съ утра до ночи; они тщательно хлопочутъ и думаютъ обо всемъ: о картахъ, о крестахъ, объ абсолютномъ, о варіаціонныхъ исчисленіяхъ, о томъ, когда ледъ пройдетъ на Невѣ,—но объ ежедневныхъ будничныхъ отношеніяхъ, обо всѣхъ мелочахъ, къ которымъ принадлежатъ семейныя тайны, хозяйственныя дѣла, отношенія къ роднымъ, близкимъ, приснымъ, слугамъ и пр., и пр.,—объ этихъ вещахъ ни за что въ свѣтѣ не заставишь подумать: онѣ готовы, выдуманы. Паскаль говоритъ, что люди для того играютъ въ карты, чтобы не оставаться никогда долго наединѣ съ собою, чтобы не дать развиться угрызеніямъ совѣсти. Очень вѣроятно, что, руководствуясь тѣмъ же инстинктомъ, человѣкъ не любитъ разсуждать о семейныхъ тайнахъ»...

Много приносила ему отрады эта безпокойная мысль, направленная на обыденную и безсознательную жестокость людскихъ отношеній.

«Когда я хожу по улицамъ, особенно поздно вечеромъ, когда все тихо, мрачно и только кое-гдѣ свѣтится ночникъ, тухнущая лампа, догорающая свѣча,—на меня находитъ ужасъ; за каждой стѣной мнѣ мерещится дра-
а, за каждой стѣной виднѣются горячія слезы,—слезы, о которыхъ никто не свѣдаетъ, слезы обманутыхъ надеждъ, слезы, съ которыми утекаютъ

не одни юношескія вѣрованія, но всѣ вѣрованія человѣческія, а иногда и самая жизнь.—Есть, конечно, дома, въ которыхъ благоденственно ѣдятъ и пьютъ цѣлый день, тучнѣютъ и спятъ безпробудно цѣлую ночь, да и въ такомъ домѣ найдется хоть какая-нибудь племянница, притѣсненная, задавленная, хоть горничная или дворникъ, а ужъ непремѣнно кому-нибудь да солоно жить».

Отчего все это?—спрашиваетъ Герценъ въ раздумьи и бросаетъ капризную мысль, позднѣе въ нѣсколько измѣненномъ видѣ блестяще развитую въ «Запискахъ Крупова».—«Я полагаю, что вещество большого мозга не совсѣмъ еще выработалось въ продолженіе шести тысячъ лѣтъ; оно еще не готово; оттого люди не могутъ сообразить, какъ устроить домашній бытъ свой...»

Но къ этому произведенію Герцена, которое мы считаемъ лучшимъ изъ всего имъ написаннаго въ сороковые годы и стоящимъ наравнѣ съ «Былымъ и Думами», намъ придется перейти позднѣе, а пока посмотримъ нѣсколько ближе, какъ этотъ взглядъ на значеніе обыденнаго отразился въ его беллетристическихъ произведеніяхъ. Здѣсь мы встрѣчаемся съ отношеніемъ его къ двумъ группамъ явленій: первая —явленія крѣпостного быта, вторая—семейныя отношенія.

Извѣстно историческое и общественное значеніе литературной дѣятельности Гоголя, особенно двухъ его произведеній—«Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ». Во второмъ изъ нихъ самъ писатель подчеркнулъ доминирующую черту своего творчества, когда говорилъ о трудности поприща писателя, озирающаго міръ сквозь незримыя слезы и рисующаго обыденные типы, пошлыя картины всѣмъ приглядѣвшейся дѣйствительности. Беллетристика второй половины сороковыхъ годовъ, осторожно и отдаленными намеками касавшаяся крѣпостного права, пошла всецѣло по пути, проложенному Гоголемъ. Ничего подобнаго «Хижинѣ дяди Тома», конечно, не могло появиться у насъ въ то время, литературѣ пришлось какъ бы мимоходомъ и вскользь набрасывать обыденныя и ничѣмъ не поражавшія, на первый взглядъ, картинки, значеніе которыхъ становилось ясно только во всей ихъ совокупности. Герценъ, такой же страстный поклонникъ Гоголя, какъ и всѣ образованные читатели того времени, также далъ цѣлый рядъ подобныхъ сценокъ и картинокъ, въ своей совокупности рельефно рисовавшихъ всѣмъ приглядѣвшійся крѣпостной бытъ во всей его первобытной прелести.

Въ «Сорокѣ-Воровкѣ» и «Кто виноватъ?» мы встрѣчаемъ три сходныхъ характера, изображенныхъ Герценомъ съ особенною любовью, что зависитъ какъ отъ дѣйствительнаго трагизма представленнаго имъ положенія, такъ и отъ тѣхъ родственныхъ чертъ, которыя были въ самомъ писателѣ и въ

изображенныхъ имъ герояхъ. Это — три женскихъ образа, вина страданій которыхъ всецѣло въ крѣпостномъ строѣ. Крѣпостная актриса въ «Сорокѣ-Воровкѣ», не сдающаяся своему господину князю Скалинскому; крѣпостная гувернантка (мать Бельтова въ «Кто виноватъ?»), бросающая на краю либели въ глаза своему преслѣдователю все свое презрѣніе къ нему; незаконнорожденная Любонька (въ томъ же романѣ), таящая въ душѣ молчаливый, но страстный протестъ противъ порядка вещей, сдѣлавшаго ее съ матерью крѣпостною игрушкой въ домѣ Негровыхъ, — таковы излюбленные Герценомъ типы людей, страдающихъ отъ поруганнаго въ нихъ чувства человѣческаго достоинства, отъ болѣзни оскорбленной чести. Это — драма жизни Шевченка и тѣхъ погибшихъ талантовъ изъ крѣпостной среды, самоубійства которыхъ вызвали даже въ 30-хъ годахъ запрещеніе принимать въ академію художествъ крѣпостныхъ. Въ томъ, что Герценъ остановился на ней, хотя бы косвенно, была не маловажная заслуга, лично ему принадлежавшая, тогда какъ изображеніе обыденныхъ сторонъ крѣпостного быта было у него общимъ съ начинавшими тогда свою карьеру Григоровичемъ и Тургеневымъ.

Романъ «Кто виноватъ?» произвелъ въ свое время особенное впечатлѣніе не столько постановкою семейнаго вопроса, сколько именно изображеніемъ — особенно въ первой части — помѣщичьей заурядной жизни со всѣмъ, что было въ ней душу возмущавшаго,—изображеніемъ настолько полнымъ, насколько это можно было сдѣлать въ то время въ свойственной Герцену формѣ неуловимой иронiи. Еще Бѣлинскій подчеркнулъ это обстоятельство, когда писалъ, что въ романѣ Герцена его основная мысль наименѣе интересна. И дѣйствительно, напр., всѣ подробности домашней жизни Негровыхъ — живая картина жизни, всецѣло построенной на рабовладѣльческомъ принципѣ,—гораздо больше говорятъ и теперь воображенію читателя, чѣмъ, напр., длинныя бесѣды Бельтова и Круциферской во второй части романа. Въ этихъ картинахъ наиболѣе сказались черты художественнаго дарованія Герцена, которое ярко воспроизводило не все, непосредственно схваченное изъ жизни, а преимущественно то, что такъ или иначе соотвѣтствовало доминирующему настроенію его мысли, направленной на безсознательную жестокость людскихъ обыденныхъ отношеній.

Бѣлинскій мѣтко опредѣлилъ въ этомъ отношеніи талантъ Герцена. «Разрядъ поэтовъ, къ которому принадлежитъ авторъ «Кто виноватъ?», можетъ изображать вѣрно только тѣ стороны жизни, которыя особенно почему бы то ни было поразили ихъ мысль и особенно знакомы имъ... доступный ихъ таланту міръ жизни опредѣляется ихъ задушевною мыслью, ихъ взглядомъ на жизнь»... Задушевная мысль Искандера, которая служитъ ему источникомъ вдохновенія, возвышаетъ его иногда, въ вѣрномъ изображеніи

явленій общественной жизни, почти до художественности, — это, по Бѣлинскому, «мысль о достоинствѣ человѣческомъ, которое унижается предразсудками, невѣжествомъ и унижается то несправедливостью человѣка къ своему ближнему, то собственнымъ добровольнымъ искаженіемъ самого себя. Герой всѣхъ романовъ и повѣстей Искандера, сколько бы онъ ни написалъ ихъ, всегда былъ и будетъ одинъ и тотъ же: это — человѣкъ, понятіе общее, рядовое, во всей обширности этого слова, во всей святости его значенія. Искандеръ — по преимуществу поэтъ гуманности». Идея ея даетъ общую связь всему имъ написанному и именно она объединяетъ въ «Кто виноватъ?» разрозненные наброски провинціальной жизни и біографіи дѣйствующихъ лицъ, а вовсе не вопросъ о семейномъ счастіи. Эта мысль «дала жизнь и душу каждой чертѣ, каждому слова разсказа, сообщила ему убѣдительность и увлекательность, которыя равно неотразимо дѣйствуютъ на читателей, симпатизирующихъ и не симпатизирующихъ съ авторомъ, образованныхъ и необразованныхъ. Мысль эта является у автора, какъ чувство, какъ страсть; словомъ, изъ его романа видно, что она столько же составляетъ пафосъ его жизни, какъ и его романа»... «Это-то чувство гуманности и составляетъ, такъ сказать, душу твореній Искандера. Онъ ея проповѣдникъ, адвокатъ. Выводимыя имъ на сцену лица—люди не злые, даже большею частью добрые, которые мучатъ и преслѣдуютъ самихъ себя и другихъ чаще съ хорошими, нежели съ дурными намѣреніями, больше по невѣжеству, нежели по злости. Даже тѣ изъ его лицъ, которыя отталкиваютъ отъ себя низостью чувствъ и гадостью поступковъ, представляются авторомъ больше какъ жертвы ихъ собственнаго невѣжества и той среды, въ которой они живутъ, нежели ихъ злой натуры». «Невѣжество» и «среда» въ сущности значили тутъ крѣпостныя отношенія, крѣпостное право, и Бѣлинскій явственно подчеркивалъ значеніе романа Герцена, какъ протеста противъ крѣпостного быта, когда тутъ же говорилъ, что публика въ романѣ «Кто виноватъ?» и въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ другихъ писателей нашла больше ближайшихъ къ ней и потому нужнѣйшихъ и полезнѣйшихъ истинъ, чѣмъ, напр., въ «Запискахъ д-ра Крупова», въ произведеніи гораздо болѣе цѣльномъ и опредѣленномъ.

Послѣ этихъ замѣчаній объ общественномъ значеніи беллетристическихъ произведеній Герцена, какъ протеста противъ крѣпостного права, мы можемъ лишь бѣгло отмѣтить значеніе «Кто виноватъ?», какъ произведенія, ставившаго на очередь вопросъ семейный и вопросы домашняго и отчасти общественнаго воспитанія.

Самый романъ задуманъ былъ, какъ иллюстрація къ мыслямъ, изложеннымъ въ статьѣ «По поводу одной драмы». Герцена поражало, какъ страшна можетъ быть тѣсная сфера исключительно личныхъ отно-

шеній полною необезпеченностью отъ случайностей, навсегда портящихъ людямъ жизнь. Этихъ случайностей въ жизни такъ много, что строить *все* свое счастіе на одной изъ нихъ, на случайностяхъ чисто личнаго чувства, по меньшей мѣрѣ неразумно. Нужно одно—«не отвергнуться влеченій сердца, не отречься отъ своей индивидуальности и всего частнаго, не предать семейство—всеобщему, но раскрыть свою душу всему человѣческому, страдать и наслаждаться страданіями и наслажденіями современности; работать столько же для рода, сколько для себя,—словомъ, развить эгоистическое сердце во всѣхъ скорбящее, обобщить его разумомъ и въ свою очередь оживить имъ разумъ... По мѣрѣ расширенія интересовъ, уменьшается сосредоточенность около своей личности, а съ нею и ядовитая жгучесть страстей». Нѣтъ этой широты интересовъ, и случайность нераздѣленнаго или утраченнаго чувства навсегда дѣлаетъ человѣка несчастнымъ и безполезнымъ.

Извѣстно положеніе, въ которое Герценъ ставитъ героевъ повѣсти «Кто виноватъ?». Счастье четы Круциферскихъ, построенное всецѣло на взаимной ихъ привязанности, рушится, какъ только является человѣкъ, по характеру и стремленіямъ болѣе соотвѣтствующій натурѣ энергичной Любоньки, чѣмъ мужъ ея, мечтатель-меланхоликъ. Уже Бѣлинскій указывалъ, однако, что самое развитіе романа Бельтовой и Круциферской слабѣе всего въ этомъ произведеніи. Герценъ и самъ понималъ, что пафосъ въ изображеніи любви ему чуждъ, и говоритъ въ одномъ мѣстѣ романа: «Мнѣ музы отказали въ способности описывать любовь: о, ненависть, тебя пою!» Натянутыя патетическія мѣста у него обрываются невольно ироническою выходкою, въ родѣ упоминанія о пестромъ парижскомъ жилетѣ Бельтова, на который лились горькія слезы Круциферской. Указано было позднѣе Бѣлинскаго и на то, что для тенденціи романа не совсѣмъ удачно выбрана профессія учителя: дѣятельность его, сама по себѣ, a priori, отнюдь не можетъ служить примѣромъ жизни, исключительно замкнутой въ личныхъ интересахъ. Круциферскій представленъ головою выше Медузиныхъ, этой низменной среды провинціальныхъ педагоговъ, но отношеній Круциферскаго къ ученикамъ мы совершенно не знаемъ.

О Бельтовѣ намъ придется говорить ниже, а пока приходится о романѣ «Кто виноватъ?» повторить то, что сказано было выше: романъ, какъ иллюстрація къ напередъ задуманной темѣ, оказался менѣе удаченъ, нежели въ качествѣ собранія яркихъ и живыхъ картинъ русскаго быта, связанныхъ съ крѣпостнымъ правомъ. Основной вопросъ былъ только намѣченъ. Характерно, какъ формулируетъ тотъ же вопросъ вскорѣ человѣкъ другого поколѣнія. Не «кто виноватъ?» спрашиваетъ онъ, а «что дѣлать?» Но каковы бы, однако, ни были недостатки романа, какъ развитія извѣстной

идеи, за нимъ остается заслуга самой постановки предъ русскимъ читателемъ вопроса о семейныхъ отношеніяхъ, не говоря о томъ, что картинки домашняго воспитанія, представленныя, напримѣръ, въ эпизодѣ съ Вавою, до сихъ поръ не утеряли всей живости, а, пожалуй, и жизненности. Кто на себѣ не испыталъ всѣхъ прелестей русскаго воспитанія?

Мы уже упоминали, что въ различныхъ очеркахъ Герценъ тамъ и сямъ бросалъ мимоходомъ мысли и парадоксы, блестяще развитые въ «Запискахъ д-ра Крупова», къ которымъ мы теперь и переходимъ. Это произведеніе должно быть признано наиболѣе полно отразившимъ въ себѣ всѣ лучшія стороны таланта публициста-художника, какимъ былъ Герценъ. Бѣлинскій и Грановскій равно считали эту вещь высшимъ изъ всего написаннаго ихъ другомъ, произведеніемъ, наиболѣе задушевно и полно отразившимъ личность Герцена. Послѣ размолвки съ Герценомъ изъ-за отвлеченнаго философскаго вопроса о личномъ безсмертіи, Грановскій заочно примирился съ нимъ, вчитавшись въ «Крупова». «Я его слышалъ отъ тебя прежде,—писалъ Грановскій,—но онъ мало произвелъ на меня впечатлѣнія, не знаю почему. Въ «Современникѣ» онъ напечатанъ съ большими выпусками, а я не могу его начитаться. Знаешь ли, что это просто геніальная вещь. Давно я не испытывалъ такого наслажденія, какое онъ мнѣ далъ. Такъ шутилъ Вольтеръ во время оно, и сколько теплоты и поэзіи; мнѣ отъ него повѣяло тобою, днями, проведенными въ Покровскомъ въ деревянномъ домѣ. «Круповъ» снялъ у меня съ души что-то ее сжимавшее, отъ чего ей было неловко съ тобою. Мнѣ кажется, что я опять вижу тебя во всей красотѣ и молодости твоей природы... Дай же руку, carissime! Да здравствуютъ записки доктора Крупова, онѣ были для меня и художественнымъ произведеніемъ, и письмомъ отъ тебя. Изъ нихъ я опять услышалъ твой голосъ, увидѣлъ твое лицо»...

Съ фигурою доктора Крупова мы встрѣчаемся не только въ «Запискахъ», но и въ романѣ «Кто виноватъ?» и не можетъ быть сомнѣнія, что это одно и то же лицо, хотя въ романѣ не упоминается объ его теоріи повальнаго сумасшествія рода человѣческаго, если не считать намекомъ кое-какихъ замѣчаній Крупова о моральныхъ эпидеміяхъ нашего времени.

Круповъ, какъ онъ рисуется въ романѣ, — своеобразная фигура облѣнившагося въ провинціальной жизни человѣка, «но однако человѣка». «Узнавъ рядомъ горькихъ опытовъ, что всѣ прекрасныя мечты, великія слова остаются до поры до времени мечтами и словами, онъ поселился на вѣки вѣковъ въ №№, и мало-по-малу научился говорить съ разстановкой, носить два платка въ карманѣ: одинъ красный, другой бѣлый. Ничто въ мірѣ такъ не портитъ человѣка, какъ жизнь въ провинціи. Но онъ не совсѣмъ еще вымеръ: въ глазахъ его еще попрыгивали огоньки». Эти

огоньки—остатокъ того пыла, съ которымъ онъ когда-то мечталъ о преобразованіи всей науки и погружался въ нее, и они въ провинціи дѣлаютъ его однимъ изъ тѣхъ праведниковъ, которыми городъ стоитъ. «Старый безбожникъ», убійственной иронія котораго боятся обыватели до смерти, онъ является въ романѣ типомъ гуманнаго врача, знающаго только больного человѣка, а не больного помѣщика или больную кухарку. Природное благодушіе его прикрыто ласкою стараго ворчуна, проповѣдника эгоизма, который въ устахъ его выше многихъ елейныхъ проповѣдей альтруизма.

Отрывокъ — «Изъ сочиненія доктора Крупова: о душевныхъ болѣзняхъ вообще и объ эпидемическомъ развитіи оныхъ въ особенности» — начинается разсказомъ д-ра Крупова о своемъ дѣтствѣ и о томъ, какъ дружба съ деревенскимъ дурачкомъ Лёвкою натолкнула его на желаніе изучать медицину и въ частности психіатрію, вслѣдствіе чего онъ и вышелъ изъ духовнаго званія. Эпизодъ съ Лёвкою принадлежитъ безспорно къ лучшимъ произведеніямъ русской литературы: только у Тургенева, Достоевскаго и Льва Толстого можно найти столь же трогательные дѣтскіе образы. Содержаніе этого эпизода мы передавать не будемъ, съ нимъ надо познакомиться цѣликомъ, чтобы получить о немъ полное представленіе. Лёвка натолкнулъ Крупова, въ то время еще скромнаго семинариста, на мысли, преслѣдовавшія его всю жизнь и мало-по-малу сложившіяся въ цѣлую стройную теорію. Герценъ превосходно выдержалъ какъ послѣдовательное развитіе этой теоріи, такъ и оттѣнокъ комическаго семинарскаго педантизма, съ которымъ Круповъ подтверждаетъ свою идею на частныхъ примѣрахъ.

«Съ чего люди, окружающіе его (Лёвку),—спрашивалъ себя Круповъ,—воображаютъ, что они лучше его? Съ чего считаютъ себя въ правѣ презирать, гнать это существо, тихое, доброе, никогда никому не сдѣлавшее вреда?—и какой-то таинственный голосъ шепталъ мнѣ: оттого, что и всѣ остальные—юродивые, только на свой ладъ, и сердятся, что Лёвка глупъ по-своему... И я постоянно возвращался къ основной мысли, что причина всѣхъ гоненій на Лёвку состоитъ въ томъ, что Лёвка глупъ на свой особенный салтыкъ, а другіе повально глупы; и такъ, какъ картежники не любятъ неиграющихъ, и пьяницы неньющихъ, такъ и они не любятъ бѣднаго Лёвку».

Останавливаться на тѣхъ иллюстраціяхъ, которыми Круповъ далѣе освѣщаетъ свою мысль, конечно, нѣтъ возможности. Беретъ ли онъ необразованную мѣщанку-кухарку, или якобы образованную чиновную среду, касается ли русскихъ обыденныхъ общественныхъ, гражданскихъ или семейныхъ отношеній — вездѣ Герцену, анализирующему въ нихъ отсутствіе сознанія, не трудно найти богатѣйшій матеріалъ для иронія и раздумье надъ глубиною человѣческаго неразумія. Въ устахъ Крупова эта, казалось

бы банальная, мысль приняла форму яркаго парадокса, и вотъ неожиданно все то, что. казалось, было уже извѣстно, пересказано и переизвѣстно, бьетъ читателю въ глаза, какъ нѣчто совершенно новое, захватываетъ его мысль и чувство, и онъ, смѣясь и негодуя, не можетъ оторваться отъ картинъ, давно, повидимому, знакомыхъ, но показанныхъ теперь въ неожиданномъ освѣщеніи подъ новымъ угломъ зрѣнія.

«Записки д-ра Крупова» послужили, между прочимъ, Страхову однимъ изъ поводовъ признать Герцена неисправимымъ пессимистомъ. Но это, очевидно, одна изъ тѣхъ ошибокъ, въ которыя люди впадаютъ при сужденіи о другихъ въ тѣхъ случаяхъ, когда слишкомъ ужъ различны и исходныя точки, и весь складъ міровоззрѣній. Въ теоріи Крупова, какъ развилъ ее Герценъ, мы не встрѣчаемся и съ тѣнью того человѣконенавистничества, которымъ дышитъ столь же сильная иронія Свифта, сравнявшаго человѣка съ презрѣнными ягу и выше ихъ поставившаго лошадей. Нигдѣ у Герцена иронія и добродушная шутка надъ россійскими нравами, надъ слабостями человѣческими, тоскливое порой раздумье надъ человѣческимъ неразумѣемъ и вытекающею изъ него безсознательною жестокостью не переходятъ въ ненависть къ человѣку; во всемъ чувствуется идеальный порывъ къ тому, чѣмъ бы могъ быть человѣкъ; всюду вѣетъ «чаяніемъ будущаго вѣка»; исторія для Крупова не только «связный разсказъ родового, хроническаго безумія», но и «его медленнаго излѣченія».

Но тотъ бодрый и полный сердечной теплоты тонъ «Записокъ», который такъ чаруетъ насъ въ этомъ удивительномъ произведеніи, переплетаясь съ ѣдкою ироніей надъ искаженіями идеала человѣка, лучше всего высказывается въ тѣхъ строкахъ, гдѣ Круповъ-Герценъ говоритъ о настроеніи, вызванномъ въ немъ его открытіемъ повальнаго помѣшательства. Истина, что всѣ нелѣпости и несообразности исторіи и современной жизни не что иное, какъ слѣдствіе эпидемическаго разстройства умственныхъ способностей, — эта истина кажется ему несчастною только на первый взглядъ и полною утѣшенія на второй и она вызываетъ у него слѣдующія задушевныя строки, достойныя истиннаго мудреца, который все постигъ, все простилъ и все готовъ отдать невѣдающимъ, что творятъ: «Совѣсть моя чиста! — говоритъ Круповъ, предупреждая обвиненія въ желаніи блеснуть новизною, въ гордости и пренебреженіи къ больнымъ: — совѣсть моя чиста! Не гордость и пренебреженіе, а любовь привела меня къ моей теоріи, и когда я совершенно убѣдился въ истинности ея, весь нравственный бытъ мой перемѣнился, мнѣ стало легко, упованія и надежды расцвѣли, какъ въ молодости. Прежняя нетерпимость, готовность порицанія и осужденія замѣнились теплымъ чувствомъ состраданія къ больнымъ, и вмѣсто желанія отвратительной мести за дѣйствія, явнымъ образомъ сдѣланныя подъ влія-

ніемъ болѣзни, явилось кроткое снисхожденіе и сильное желаніе помочь больному».

Веселая шутка, которою оканчиваются «Записки» (съ цѣлью испытать дѣйствіе медикаментовъ на душу и тѣло, въ видахъ исцѣленія человѣчества отъ помѣшательства, докторъ Круповъ испытываетъ на себѣ лѣтъ десять уже дѣйствіе шампанскаго, бургонскаго и проч.), еще разъ подчеркиваетъ то бодрое настроеніе, которымъ проникнуто все это произведеніе. Правда, позднѣе Герценъ устами «д-ра Тита Левіаѳанскаго» подвергъ сомнѣнію благодушныя надежды Крупова, но это относится къ иной уже полосѣ жизни писателя. Въ Запискахъ же Крупова Искандеръ рисуется во весь ростъ, какъ смѣлый, трезвый и благородный мыслитель, бодро смотрящій въ будущее; ѣдкая иронія срывается то и дѣло съ устъ его, — иронія надо всѣмъ самодовольнымъ и не по праву занимающимъ первенствующее мѣсто въ жизни, но въ сердцѣ его живетъ горячее сочувствіе каждому движенію другого человѣческаго сердца, и оно болѣзненно сжимается отъ каждаго чужого страданія...

Если «Круповъ» является живымъ отраженіемъ всей нравственной личности Герцена, то въ героѣ «Кто виноватъ?» Бельтовѣ, о которомъ мы до сихъ поръ почти не упоминали, мы найдемъ не мало чертъ, подчеркивающихъ многія особенности положенія Герцена въ тогдашнемъ обществѣ.

Извѣстно, что Бельтовъ, дилетантъ, всѣмъ интересующійся и ни къ чему не прилагающій какъ слѣдуетъ рукъ своихъ, занимаетъ мѣсто въ длинномъ ряду типовъ «лишнихъ людей», въ ряду Онѣгина, Печорина, Чацкаго, Тентетникова, Рудина, Райскаго, Агарина и др. Едва ли можно отрицать, что литература наша, останавливаясь, по внѣшнимъ своимъ условіямъ, почти исключительно на психологической жизни людей этого типа, почти вовсе не давала исторической и общественной перспективы, внѣ которой значеніе ихъ становится загадочнымъ, какъ явленія, повидимому, совершенно неожиданнаго. Въ самомъ дѣлѣ, контрастъ между мирно прозябавшими, самодовольными, ограниченными гоголевскими героями и скучающимъ талантливымъ и образованнымъ «лишнимъ человѣкомъ» былъ слишкомъ великъ. Теперь, на разстояніи десятковъ лѣтъ, въ которыя произошло коренное измѣненіе ряда условій русской дѣйствительности, мы, конечно, хладнокровно можемъ констатировать, что появленіе типа лишнихъ людей было необходимымъ слѣдствіемъ крѣпостного строя, такъ какъ этотъ строй, стоявшій незыблемо, внѣ непосредственной критики, не допускалъ никакихъ проявленій нерегламентированной общественной дѣятельности, каждое же отступленіе отъ обычнаго въ этомъ строѣ бросалось въ глаза и клеймилось, какъ оппозиція правительству, какъ «масонство» или иною подобною кличкой. Но среднимъ образованнымъ людямъ того времени, какъ оно

бываетъ и во всякое время, конечно, трудно было сознательно признать, какъ необходимый фактъ, свою рознь съ тогдашнимъ бытомъ. Это могли сдѣлать и дѣлали только немногіе, наиболѣе энергичные и талантливые, уходившіе въ литературную работу, какъ единственное прибѣжище. Естественно, что они смотрѣли на «лишнихъ» отчасти сверху внизъ, и мы наблюдаемъ любопытное явленіе: въ то время, какъ литература безпощадно изображаетъ всѣ отрицательныя стороны типа «лишнихъ людей», для читающей публики эти самые герои являются поистинѣ «героями своего времени», потому что они и дѣйствительно стояли выше рядовой массы гоголевскихъ персонажей.

Бѣлинскому Бельтовъ казался «самымъ неудачнымъ лицомъ во всемъ романѣ», произвольно превращеннымъ во второй части романа изъ человѣка, жаждавшаго полезной дѣятельности и ни въ чемъ не находившаго ея, по причинѣ ложнаго воспитанія, даннаго ему женевскимъ мечтателемъ, въ какую-то высшую геніальную натуру, для дѣятельности которой дѣйствительность не представляетъ достойнаго поприща, во что-то въ родѣ Печорина... Но едва ли это можетъ быть признано безусловно справедливымъ. Дѣло въ томъ, что «ложное» воспитаніе Бельтова было ложно, можетъ быть, болѣе всего по несоотвѣтствію человѣческихъ началъ, положенныхъ въ развитіе Бельтова крѣпостной средой, въ которой ему приходилось жить и дѣйствовать. Женевецъ воспитывалъ въ Бельтовѣ врага крѣпостного права, а Бельтовъ сталъ помѣщикомъ-рабовладѣльцемъ, оставивъ лишь всѣ заботы объ имѣніи и крестьянахъ на матери: ложно было, въ сущности, не воспитаніе, а то положеніе, въ которое сталъ Бельтовъ. Но въ немъ же стояли и всѣ остальные представители типа «лишнихъ людей», да и многіе изъ замѣчательныхъ литературныхъ дѣятелей того времени. При оцѣнкѣ нравственной личности Бельтова безъ оговорокъ это обстоятельство, такимъ образомъ, едва ли можетъ идти въ счетъ.

Если затѣмъ обратиться къ той бездѣятельности, которой предается Бельтовъ, то, въ сущности, противорѣчіе между Бельтовымъ первой и второй части едва ли можетъ быть признано настолько рѣзкимъ, какъ оно представлялось Бѣлинскому. Карьерой своей Бельтовъ едва ли не напоминаетъ болѣе Чацкаго, чѣмъ Печорина. Какъ о Чацкомъ носятся слухи о связи съ министрами и потомъ о разрывѣ, такъ служебная карьера Бельтова начинается при самыхъ счастливыхъ предзнаменованіяхъ. И самъ онъ увлекается бѣгло ею, но очень скоро расхолаживается, и причины охлажденія слишкомъ ясны по тѣмъ намекамъ, которые разсыпаны Герценомъ. Бельтовъ сопоставленъ со старымъ служакою Осипомъ Евсеичемъ (одинъ изъ множества мастерскихъ портретовъ, разсѣянныхъ въ романѣ), которому развить и воспитать практическій умъ не мѣшали ни наука, ни

чтеніе, ни фразы, ни несбыточныя теоріи, которыми мы изъ книгъ развращаемъ воображеніе, ни блескъ свѣтской жизни, ни поэтическія фантазіи. «Осипъ Евсеичъ отъ роду не переходилъ мысленно отъ дѣлопроизводства на бумагѣ къ дѣйствительному существованію обстоятельствъ и лицъ», смыслъ канцелярской дѣятельности былъ для него въ сообщеніи движенія бумагамъ, и насмѣшливая оцѣнка съ его стороны для Бельтова, конечно, только лестна. «Формы не знаетъ,—негодуетъ Осипъ Евсеичъ:— да кабы не зналъ по глупости, по непривычкѣ — не велика бѣда: когда-нибудь научился бы; а то *изъ ума не знаетъ;* у него изъ дѣла выходитъ *романъ,* а главное-то между пальцевъ идетъ; отъ кого сообщено, достодолжное ли теченіе, кому переслать—ему все равно; это называется по-русски вершки хватать... Три мѣсяца всякій день ходитъ и со всякою *дрянью* носится, горячится, точно отца родного, прости Господи, рѣжутъ, а онъ спасаетъ, — ну, куда уйдешь съ этимъ?» Можно себѣ представить, что Бельтовъ, волновавшійся изъ-за всякой «дряни», превращавшій ее въ «романъ», т. е. сознательно видѣвшій за бумагами тѣхъ живыхъ людей, участь которыхъ рѣшалась этими бумагами, оказался непригоднымъ къ служебной дѣятельности. «Узнать изъ ума» форму и ею удовлетвориться могъ, конечно, только такой бездушный кротъ, какъ этотъ Осипъ Евсеичъ.

Совершенно также Бельтовъ оказывается непригоденъ и для службы по выборамъ. По литературнымъ воспроизведеніямъ (хотя бы въ «Пошехонской Старинѣ») мы знаемъ, чѣмъ была эта служба въ дореформенное время, сколько надо было способности угодить, напр., сильнымъ и духу крѣпостничества, чтобы хоть удерживать мѣсто за собою. Для Бельтова все общество, съ которымъ ему пришлось имѣть дѣло, слилось «въ одно фантастическое лицо какого-то колоссальнаго чиновника, насупившаго брови, нерѣчистаго, уклончиваго, но который постоитъ за себя», и Бельтовъ увидѣлъ, что «ему не совладать съ этимъ Голіаѳомъ, и что его не только не собьешь съ ногъ обыкновенной пращей, но и гранитнымъ утесомъ, стоящимъ подъ монументомъ Петра I». Для этого собирательнаго обывателя Бельтовъ былъ «масонишка,» его возненавидѣли, потому что смутно чувствовали въ немъ «протестъ, какое-то обличеніе ихъ жизни, какое-то возраженіе на весь порядокъ ея».

Воплощенной укоризною,
Свѣтелъ мыслью, сердцемъ чистъ,
Ты стоялъ передъ отчизною.

Бельтовъ «не имѣлъ способности быть хорошимъ помѣщикомъ, отличнымъ офицеромъ, усреднымъ чиновникомъ, а затѣмъ въ дѣйствительности оставались только мѣста праздношатающихся, игроковъ и кутящей братіи

вообще; къ чести нашего героя должно признаться, что къ послѣднему сословію онъ имѣлъ побольше симпатіи, нежели къ первымъ, да и тутъ ему нельзя было распахнуться; онъ былъ слишкомъ развитъ, а развратъ этихъ господъ слишкомъ грязенъ, слишкомъ грубъ». Обладай Бельтовъ дѣйствительнымъ художественнымъ или литературнымъ талантомъ, изъ него еще могъ бы выйти полезный дѣятель, но въ качествѣ просто образованнаго и развитого человѣка, который былъ бы на мѣстѣ въ той или другой практической дѣятельности при другихъ историческихъ условіяхъ, онъ оказался не у дѣлъ и былъ осужденъ на бездѣятельное созерцаніе жизни. Менѣе всего удовлетворяло это, конечно, его самого, и тутъ Бельтовъ и Герценъ почти двойники: Герценъ также былъ наблюдатель и созерцатель вовсе не по натурѣ, а по положенію, какъ онъ и самъ заявлялъ объ этомъ позднѣе.

«Счастливъ тотъ человѣкъ,—писалъ Герценъ по поводу своего героя,—который продолжаетъ начатое, которому преемственно передано дѣло: онъ рано пріучается къ нему, онъ не тратитъ полжизни на выборъ, онъ сосредоточивается, ограничивается для того, чтобы не расплыться, и производитъ. Мы чаще всего начинаемъ вновь, мы отъ отцовъ своихъ наслѣдуемъ только движимое и недвижимое имѣніе, да и то плохо хранимъ; оттого по большей части мы ничего не хотимъ дѣлать, а если хотимъ, то выходимъ на необозримую степь — иди, куда хочешь, во всѣ стороны — воля вольная, только никуда не дойдешь: это наше многостороннее бездѣйствіе, наша дѣятельная лѣнь. Бельтовъ совершенно принадлежалъ къ подобнымъ людямъ; онъ былъ лишенъ совершеннолѣтія, несмотря на возмужалость своей мысли; словомъ, теперь, за тридцать лѣтъ отъ роду, онъ, какъ 16-лѣтній мальчикъ, готовился начать свою жизнь, не замѣчая, что дверь, ближе и ближе открывавшаяся, не та, черезъ которую входятъ гладіаторы, а та, въ которую выносятъ ихъ тѣла. «Конечно, Бельтовъ во многомъ виноватъ». Я совершенно съ вами согласенъ, а другіе думаютъ, что есть за людьми вины лучше всякой правоты. Такъ на свѣтѣ все превратно».

Въ литературной дѣятельности Искандера мы встрѣчаемъ такія же вины, которыя лучше всякой правоты. Онъ бросался отъ предмета къ предмету, не далъ вполнѣ законченныхъ и цѣльныхъ произведеній, капризно перескакивалъ отъ личныхъ впечатлѣній къ публицистикѣ и къ художественнымъ образамъ, но на всемъ имъ сказанномъ лежитъ печать могучаго духа, искавшаго себѣ новые пути и тревожно откликавшагося на каждую человѣческую мысль и каждое человѣческое чувство... Мы бѣгло намѣтили тѣ черты, которыя кажутся намъ наиболѣе существенными въ нравственной физіономіи Герцена, отмѣтили наиболѣе существенное въ его

литературной дѣятельности, и наше дѣло сдѣлано, если настолько заинтересовали читателя, что онъ пожелаетъ лично, а не изъ вторыхъ рукъ познакомиться съ Искандеромъ.

Къ несчастію, надъ писателемъ, дѣятельность котораго проходила три царствованія назадъ, все еще тяготѣетъ старое недовѣріе къ нему. Сборникъ статей 40-хъ годовъ «Раздумье» (Москва, 1870) и изданіе «Кто виноватъ?» 1891 г. («Семейная библіотека», № 13) — вотъ и все, что хотя и стало библіографическою рѣдкостью (особенно первое изданіе), но изрѣдка попадаетъ въ руки русскаго читателя. По газетнымъ извѣстіямъ, второе отдѣленіе Имп. академіи наукъ предпринимаетъ изданіе полныхъ собраній сочиненій русскихъ авторовъ; издательское дѣло намѣчается и «Союзомъ взаимопомощи русскихъ писателей». Эти два учрежденія должны бы были вспомнить объ Искандерѣ и сдѣлать съ своей стороны все зависящее, чтобы писатель, которому въ исторіи русской литературы XIX вѣка принадлежитъ одно изъ почетнѣйшихъ мѣстъ, сталъ доступенъ русскому читателю хоть начала XX вѣка.

V.

В. П. Боткинъ.

Біографическій очеркъ *).

В. П. Боткинъ извѣстенъ въ литературѣ и въ исторіи русскаго общества, какъ авторъ высоко-художественныхъ «Писемъ объ Испаніи» и какъ личный другъ Бѣлинскаго, Грановскаго и другихъ дѣятелей сороковыхъ годовъ и послѣдующей эпохи. 10-го октября 1894 г. исполнилось 25 лѣтъ со дня его кончины, но до сихъ поръ не появлялось о немъ ни одного сколько-нибудь обстоятельнаго и цѣльнаго очерка, несмотря даже на то, что обильный матеріалъ для его біографіи уже опубликованъ.

Боткинъ не занимаетъ въ исторіи русскаго общества мѣста самостоятельнаго: вліяніе его не можетъ итти въ сравненіе ни съ вліяніемъ Бѣлинскаго, ни съ вліяніемъ Грановскаго, несмотря ни на природныя дарованія его, ни на то широкое образованіе въ спеціальной сферѣ искусства, какое онъ пріобрѣлъ исключительно собственными усиліями. Но нѣкоторыя черты, свойственныя въ большей или меньшей степени почти всѣмъ дѣятелямъ сороковыхъ годовъ, сказались въ немъ особенно рѣзко и пониманіе этой эпохи не можетъ быть полнымъ, если не будетъ ясенъ литературный и нравственный обликъ такихъ незаурядныхъ, хотя и второстепенныхъ представителей эпохи, какъ Боткинъ **).

---

*) Прочитанъ въ Русск. лит. кружкѣ въ Ригѣ, 12 и 26 октября 1894 г., по случаю исполнившейся 25-лѣтней годовщины смерти В. П. Боткина.

**) Къ сожалѣнію, переписка В. П. Боткина опубликована до сихъ поръ еще не вся, напр., письма его къ Бакунинымъ и др.

I.

Происхожденіе В. П. Боткина.—Развитіе въ молодости подъ вліяніемъ нѣмецкихъ книгъ.—Первое путешествіе В. П. Боткина за границу.—Увлеченіе романтическими вѣяніями.—Боткинъ въ кругѣ Н. В. Станкевича.—Сближеніе съ Бѣлинскимъ.—Личный характеръ Боткина въ молодости.—Гегелевская философія и „примиреніе съ дѣйствительностью".—Собранія кружка у Боткина.—Боткинъ и Кольцовъ.

Василій Петровичъ Боткинъ, одинъ изъ видныхъ представителей нашего западничества сороковыхъ годовъ, происходилъ изъ чистокровной великорусской семьи, безъ примѣси иноземной крови. Прадѣдъ или дѣдъ его былъ крестьяниномъ Псковской губерніи и переселился въ Москву для торговли. Отецъ В. П. Боткина, Петръ Кононычъ Боткинъ, былъ уже зажиточнымъ купцомъ и основателемъ извѣстнаго чайнаго торговаго дома. По образованію и образу жизни Петръ Кононычъ принадлежалъ къ типу стариннаго московскаго купечества, хорошо всѣмъ извѣстному по комедіямъ Островскаго. Но это былъ, во всякомъ случаѣ, человѣкъ недюжиннаго ума и способностей, которыя сказались въ его дѣтяхъ. Однимъ изъ сыновей его былъ знаменитый врачъ Сергѣй Петровичъ Боткинъ; имя его затмило своею популярностью имя автора «Писемъ объ Испаніи».

Василій Петровичъ Боткинъ, старшій сынъ въ семьѣ Боткиныхъ, родился въ 1810 году (день его рожденія намъ неизвѣстенъ), въ домѣ, который и понынѣ извѣстенъ въ Москвѣ, на Маросейкѣ, въ Петро-Веригіевскомъ переулкѣ. Здѣсь же прошли дѣтство и юность будущаго писателя. Извѣстно только, что онъ былъ отданъ отцомъ въ пансіонъ Кряжева и здѣсь выучился французскому и нѣмецкому языкамъ и впервые познакомился съ иностранною литературой. Впослѣдствіи Боткинъ читалъ также свободно англійскія, итальянскія и испанскія книги. Долго ли онъ былъ въ пансіонѣ, не знаемъ.

Отецъ сдѣлалъ его своимъ приказчикомъ. Цѣлые дни юношѣ приходилось проводить въ чайномъ амбарѣ, возиться съ покупателями, слѣдить за отправкою чая и т. д. Но умственные интересы были уже пробуждены въ немъ настолько сильно, что среди этого однообразнаго дѣла юноша умудрялся учиться и умственно развиваться. Все свое свободное время онъ употребляетъ на чтеніе иностранныхъ книгъ; нѣмецкія—преобладали, и развитіе его шло, такимъ образомъ, подъ вліяніемъ германской литературы, которое стало первенствующимъ, когда онъ сблизился съ извѣстнымъ кружкомъ Станкевича.

«Станкевичъ, Грановскій, вся моя юность клонитъ меня къ Германіи,—вспоминаетъ самъ В. П. Боткинъ въ письмѣ 1862 г.—Всѣ мои лучшіе

идеалы выросли здѣсь, всѣ первые восторги музыкой, поэзіей, философіей шли отсюда. И въ этомъ не моя вина или вина моего воспитанія. Воспитывался я, или точнѣе сказать — воспитанія у меня никакого не было; вышедши изъ пансіона (весьма плохого), я ровно ни о чемъ не имѣлъ понятія. Все кругомъ меня было смутно, какъ въ туманѣ. Изъ этого періода я помню только одно: я прочелъ «Фіеско» и «Разбойниковъ» Шиллера, да еще переводы Жуковскаго изъ него же. Вотъ что впервые и навсегда сроднило меня съ Германіей... Виноватъ ли я въ томъ, что мнѣ баллады Шиллера въ тысячу разъ больше волновали сердце, нежели русскія сказки и старинныя сказанія о князѣ Владимірѣ? И вотъ на склонѣ лѣтъ своихъ я снова привѣтствую эту страну, которая впервые пробудила въ моей душѣ все, что ей до сихъ поръ дорого» (Фетъ, Мои воспоминанія, I, 402—403).

Болѣе или менѣе связныя свѣдѣнія о жизни В. П. Боткина имѣются лишь съ 1835 года, со времени его путешествія въ Парижъ и по Италіи. Тогда онъ, кажется, не былъ еще своимъ человѣкомъ въ кругѣ Станкевича. Нѣкоторыя подробности о первомъ заграничномъ путешествіи Боткина сохранились въ его печатныхъ письмахъ.

Первое изъ нихъ, подъ заглавіемъ «Русскій въ Парижѣ», появилось вскорѣ послѣ путешествія, именно въ «Телескопѣ» 1836 года (№ 14), гдѣ сотрудничалъ и Бѣлинскій. Въ одномъ письмѣ 1842 года къ Краевскому Боткинъ замѣчаетъ, что во время путешествія былъ подъ вліяніемъ сенсимонизма. Но это вліяніе можно уловить развѣ только въ симпатіи Боткина къ парижской жизни.

Это письмо написано съ увлеченіемъ, почти восторженно. Въ немъ ярко обрисовывается авторъ его, еще юноша, жадно наблюдающій кипучую жизнь Парижа вскорѣ послѣ іюльской революціи, жизнь такъ не похожую на русскую дѣйствительность. Онъ какъ будто растерянъ отъ разнообразія и полноты этой жизни и готовъ благоговѣть предо всѣмъ. Особенно поражаетъ его «жизнь народа, трепещущая всѣми своими нервами, прорывающаяся изъ каждаго отверстія своего», удивляетъ его въ народѣ «юность кипучая, страстная, бѣшеная, увлекающаяся, вся преданная первому впечатлѣнію».

Въ общественно-литературныхъ парижскихъ кругахъ того времени кипѣла борьба за романтизмъ, отраженіе борьбы политической: ниспроверженіе установившихся литературныхъ формъ такъ называемаго лжеклассицизма занимало парижанъ столько же, сколько политика. Имя Виктора Гюго въ особенности было на устахъ у всѣхъ. Нашъ молодой москвичъ еще дома зачитывался «Соборомъ Парижской Богоматери» (романъ вышелъ въ свѣтъ въ 1831 году). Противорѣчивые толки о личности Гюго

взманили Боткина лично познакомиться съ авторомъ «дивнаго романа». Предварительно онъ осмотрѣлъ соборъ, еще разъ перечиталъ романъ и тогда только счелъ себя достойнымъ увидѣть прославленнаго писателя. Онъ засталъ Гюго за самымъ прозаическимъ занятіемъ: поэтъ обѣдалъ; но это нисколько не умалило энтузіазма гостя, который, вѣроятно, позабавилъ Гюго.

«Еще полный впечатлѣнія «Notre Dame de Paris», увидалъ я предъ собою Гюго, — разсказываетъ Боткинъ: — и вы поймете причину, отчего я уставился на него съ глупымъ любопытствомъ, разсматривая это полное свѣжее лицо, это чело, ознаменованное печатью генія. Смѣйтесь надо мною, но когда я увидѣлъ предъ собою великій талантъ, перваго поэта современной Франціи, неопредѣленное, доселѣ незнакомое мнѣ чувство наполнило меня». Послѣ непродолжительнаго разговора, въ которомъ Гюго разспрашивалъ гостя о народныхъ пѣсняхъ и о русскихъ цыганахъ, Боткинъ съ замѣшательствомъ просилъ поэта написать ему на память свое имя. «Eh, avec un grand plaisir, M-r», — отвѣчалъ тотъ, вышелъ въ кабинетъ и черезъ минуту вынесъ бумажку, на которой было написано: «Qui sperat vivit — Victor Hugo».

Въ письмахъ изъ Италіи и изъ Рима также достаточно ярко обрисовывается восторженный туристъ. Онъ разсказываетъ, напр., какъ по переѣздѣ чрезъ Симплонскій горный хребетъ почувствовалъ, что передъ нимъ Италія: «и надобно испытать такое чувство! Мнѣ стало легко, весело, я легъ на траву и съ упоеніемъ нѣжилъ глаза на очаровательной долинѣ, которая, какъ чаша, лежала между горами, покрытыми темною густою зеленью.—Италія, Италія! я, наконецъ, вижу тебя!—повторялъ я; чудная, блаженная минута!»

Эта расточительность на знаки восклицанія зачастую затемняетъ самый разсказъ о видѣнномъ.

Извѣстно, какъ романтики начала вѣка увлекались средневѣковыми реминисценціями, средневѣковымъ религіознымъ міровоззрѣніемъ, культомъ рыцарства и женщины. Письмо Боткина изъ Италіи очень хорошо характеризуетъ его именно съ этой стороны. Въ Миланѣ на него произвела чарующее впечатлѣніе внутренность готическаго собора. Въ этой обстановкѣ онъ переносится воображеніемъ въ средніе вѣка, и ему кажется, что изъ душнаго города онъ переходитъ на просторъ полей и лѣсовъ. Его тянетъ «въ эту поэтическую эпоху броженія общественныхъ стихій, между этихъ желѣзныхъ характеровъ, среди общества, чуждаго наукъ и просвѣщенія, отвергавшаго образованность древняго міра, какъ имя діавола. Любо тамъ смотрѣть на борьбу кастъ, общинъ, власти духовной и политической, любо воображенію бродить по этимъ развалинамъ, памятникамъ среднихъ временъ. «Нѣтъ, среднія времена ближе моему сердцу!—

восклицаетъ онъ:—долго томясь въ формахъ древняго міра, вырвался онъ, наконецъ, на свѣжій воздухъ новой жизни и отдался всему ея волненію».

Въ столь же романтическомъ восторгѣ онъ вспоминаетъ въ Венеціи нѣмецкаго романтика, пользовавшагося у насъ едва ли не большею популярностью, чѣмъ на родинѣ, Гофмана, «своего волшебнаго Гофмана, съ его нѣжною Аннунціатою и удалымъ гондольеромъ» (герои повѣсти «Дожъ и Догаресса»).

Такимъ образомъ можно думать, что Боткинъ былъ уже въ достаточной степени романтикомъ по своему настроенію, когда по возвращеніи въ Москву сошелся ближе съ кругомъ Станкевича, гдѣ романтизмъ былъ также преобладающимъ настроеніемъ. Мы считаемъ поэтому необходимымъ выдѣлить наиболѣе характерныя черты этого настроенія, отмѣтившаго собою на западѣ цѣлую четверть вѣка.

Какъ литературно-общественное теченіе, романтизмъ имѣлъ на западѣ двойственный характеръ.

Съ одной стороны онъ былъ протестомъ во имя правъ личности противъ установившихся формъ и традицій жизни, которыя сковывали личность, противъ абсолютныхъ общественныхъ и политическихъ формъ, противъ догматизма въ области философіи и религіи, противъ лже-классицизма. Эта сторона первоначально была на первомъ планѣ, и долго романтизмъ былъ явленіемъ не только прогрессивнымъ, но даже революціоннымъ, именно у нѣмецкихъ писателей — въ «періодъ бури и натиска». Типичнѣйшее и наиболѣе талантливое изъ произведеній этого рода — «Разбойники» Шиллера, за которое поэтъ былъ удостоенъ званія почетнаго гражданина французской республики. То же значеніе романтизмъ сохранилъ и тогда, когда перешелъ во Францію и Англію, гдѣ явился разрушителемъ традиціонныхъ представленій о формахъ искусства (Викторъ Гюго), объ общественныхъ и семейныхъ отношеніяхъ (Байронъ, Шелли, Жоржъ Зандъ) и т. д. И до сихъ поръ многія произведенія романтической школы, ранняго періода ея, не утратили поэтическаго живого интереса.

Не то приходится сказать о послѣдующей порѣ романтизма, вполнѣ выразившейся лишь въ Германіи, гдѣ наиболѣе развилась другая сторона романтизма. Въ самой сущности своей онъ носилъ зародышъ вырожденія. Дѣло въ томъ, что протесты романтизма противъ дѣйствительности носили черезчуръ отвлеченный характеръ, оторванный отъ жизни. Романтики протестовали не во имя конкретной личности, стоящей въ тѣхъ или иныхъ опредѣленныхъ условіяхъ, а во имя представленія о личности, какъ о чемъ-то абсолютномъ и самодовлѣющемъ. И мало-по-малу такое самодовлѣніе получало рѣшительный перевѣсъ надо всѣмъ другимъ: исканіе личнаго счастья и наслажденія, эпикурейство романтиковъ выступили на первый планъ. Смутное стремленіе и тоска по какому-то таин-

ственному и неведомому идеалу, романтическое «Sehnsucht» заслоняютъ собою то, что было живого въ первоначальномъ настроеніи. Романтикъ недоволенъ жизнью, трезвою и равнодушною природой, бѣжитъ отъ нихъ и въ мистическомъ углубленіи въ свои ощущенія, въ «гемютѣ», ищетъ и не находитъ себѣ удовлетворенія. Въ своемъ темномъ и вяломъ настроеніи, теряя всякую опору для дѣятельной жизни, романтикъ весь отдается созерцанію жизни, и мало-по-малу примиряется со всѣмъ, что раньше вызывало въ немъ протестъ.

Замѣчательно и характерно пристрастіе романтиковъ къ музыкѣ, къ самому непосредственному изъ искусствъ. Романтики—меломаны по преимуществу. Она для нихъ—искусство всѣхъ искусствъ, она богаче слова. Ежеминутно утопать до самозабвенія въ музыкальныхъ ощущеніяхъ, томительныхъ, раздражающихъ и неопредѣленныхъ — для истаго романтика такое же естественное состояніе, какъ для смертнаго, у котораго не вскружена голова,—ходить, пить и ѣсть. Инструментальная музыка, не знающая слова, т.-е. элемента искусства, который требуетъ болѣе или менѣе трезваго, сознательнаго отношенія къ себѣ, такая музыка въ особенности чтилась романтиками. «Она есть наиболѣе романтическое изъ всѣхъ искусствъ, — говоритъ Гофманъ устами своего героя Крейслера: — можно даже сказать, что въ ней одной дышетъ романтизмъ, потому что она имѣетъ своимъ предметомъ только безконечное».

Указанныя черты романтизма мы могли бы обстоятельно прослѣдить на молодыхъ представителяхъ нашей литературы за 30-е годы. Религіозная мечтательность, романтическія представленія о дружбѣ, о любви къ женщинѣ, резиньяція и т. д.—все, съ чѣмъ соединяется представленіе о такомъ типѣ романтика, какъ Владиміръ Ленскій Пушкина или Яковъ Пасынковъ Тургенева,—можно въ изобиліи найти въ письмахъ тридцатыхъ годовъ Огарева и Герцена, Станкевича и Грановскаго, Бѣлинскаго и Боткина.

В. П. Боткинъ, черпавшій свой романтизмъ, благодаря знакомству съ языками, изъ его непосредственныхъ источниковъ, личными своими качествами, мягкостью и отзывчивостью какъ нельзя лучше подошелъ подъ настроеніе кружка Станкевича.

Бѣлинскій первый изъ этого кружка познакомился съ Боткинымъ чрезъ типографа П. С. Селивановскаго. Это было въ 1835 и 1836 году. Чрезъ нѣсколько дней Бѣлинскій былъ уже на «ты» съ Боткинымъ, какъ вообще съ друзьями того времени. Молодой купецъ, почти самоучка, и уже знатокъ западно-европейской литературы, не могъ не представить живого интереса для энтузіастовъ, какими были тогда Станкевичъ, Бѣлинскій, М. Бакунинъ, К. Аксаковъ и другіе; отзывы ихъ, и особенно Бѣлинскаго, характеризуютъ Боткина, какъ натуру чрезвычайно мягкую.

Станкевичъ писалъ ему изъ-за границы: «Ты вѣрно давно знаешь, что я

тебя люблю и что ты принадлежишь къ немногимъ людямъ внѣ моего семейства, дѣлающимъ мнѣ возвращеніе въ Россію пріятнымъ». Отзывы Бѣлинскаго, приведенные въ книгѣ Пыпина, еще восторженнѣе. Бѣлинскій старался приходить къ Боткину такъ, чтобы быть съ нимъ только вдвоемъ, шелъ къ нему, по его собственному выраженію, «какъ на свиданіе любви, съ какимъ-то мистическимъ волненіемъ». Въ одномъ изъ писемъ (отъ 16 авг. 1837 г. къ Бакунину) Бѣлинскій говоритъ о Боткинѣ: «Его безконечная доброта, его тихое упоеніе, съ какимъ онъ въ разговорѣ называетъ того, къ кому обращается, его ясное, гармоническое расположеніе духа во всякое время, его всегдашняя готовность къ воспринятію впечатлѣній искусства, его совершенное самозабвеніе, отрѣшеніе его отъ своего *я* — даже не производятъ во мнѣ досады на самого себя: я забываюсь, смотря на него... Меня въ особенности восхищаетъ въ немъ то, что у него внѣшняя жизнь не противорѣчитъ внутренней, что онъ столько же честный, сколько и благородный человѣкъ... По дѣламъ торговли, онъ смотритъ на свои отношенія къ отцу, какъ на отношенія приказчика къ своему хозяину. Да, это единственный способъ быть независимымъ отъ внѣшней жизни и людей—быть вполнѣ свободнымъ. Гармонія внѣшней жизни человѣка съ его внутреннею жизнью есть идеалъ жизни, и только въ Васильѣ нашелъ я осуществленіе этого идеала. Онъ умѣетъ отказать себѣ во всемъ, исполненіе чего вовлекло бы его въ обязательство и зависимость отъ людей; онъ не займетъ денегъ для своихъ издержекъ, даже похвальныхъ, и входитъ въ долги для того, чтобы помочь негодяю своему пріятелю». Въ послѣднихъ словахъ Бѣлинскій хотѣлъ осудить свою собственную непрактичность.

Очень скоро Боткинъ вошелъ во всѣ духовные интересы и дѣла кружка. Въ только-что цитированномъ письмѣ Бѣлинскій, между прочимъ, говоритъ: «Онъ шелъ по ложному пути: встрѣтилъ людей, которые лучше его понимали истину, и тотчасъ призналъ свои ошибки, не почитая себя нисколько чрезъ это униженнымъ». Здѣсь идетъ рѣчь, вѣроятно, о нѣкоторомъ увлеченіи Боткина французскими писателями, къ которымъ кружокъ Станкевича относился съ антипатіей, уже увлекаясь гегелевскою философіею. Съ осени 1837 года и въ 1838 году Бѣлинскій былъ фактическимъ редакторомъ «Московскаго Наблюдателя», и друзья дѣятельно поддерживали журналъ. Онъ шелъ плохо, потому что ему былъ приданъ черезчуръ отвлеченный философскій характеръ. Боткинъ неустанно хлопоталъ для журнала. Въ немъ онъ помѣстилъ свои переводы изъ Гофмана «Донъ-Жуана» и «Капельмейстера Крейслера» и рядъ музыкальныхъ рецензій.

Вообще онъ всегда считался авторитетомъ въ истолкованіи музыки. Въ качествѣ истаго романтика онъ упивался ею. Музыкальные вечера, которые онъ устраивалъ у себя, приглашая на нихъ любителей и знатоковъ

музыки, пользовались извѣстностью. Объ одномъ такомъ вечерѣ Бѣлинскій писалъ осенью 1837 года, что Боткинъ походилъ «на Пиѳію на треножникѣ и былъ на небѣ отъ одного адажіо, лучшаго, какъ говоритъ онъ, какое только написалъ Бетховенъ». Тутъ воспроизвели однажды мрачно-романтическую музыкальную фантазію, программа которой дана Гофманомъ во второй части «Крейслера».

Основательное знаніе языковъ давало Боткину много преимуществъ въ кружкѣ, и по объему литературно-эстетическихъ свѣдѣній онъ считался однимъ изъ первыхъ. Однако, было бы трудно указать, какія именно черты, отличавшія этотъ удивительный кружокъ, сложились подъ его вліяніемъ. Чрезъ 20 лѣтъ Боткинъ справедливо самъ замѣчалъ это (въ письмѣ Дружинину отъ 8 марта 1857 г.), указывая на единство и совокупность общей умственной работы. «То время было то, что нѣмцы называютъ Sturm und Drang Periode, — говоритъ онъ. — Все въ насъ кипѣло, и все требовало отвѣта и разъясненія; всякій клалъ свою посильную лепту въ общую сокровищницу, которою была критика Бѣлинскаго. Одинъ меньше, другой больше,— но какъ теперь разберешь?» Боткинъ болѣе вдавался въ вопросы искусства, которое было прибѣжищемъ отъ внѣшняго суроваго и черствaго міра, какимъ была тогда общая русская дѣйствительность; въ изученіи же философіи Боткинъ былъ менѣе самостоятеленъ.

Письмо Бѣлинскаго, писанное въ ноябрѣ 1837 года, живо характеризуетъ Боткина въ этотъ періодъ. Критикъ выражаетъ даже зависть своему другу, на все отзывчивому, всегда свѣтло настроенному и жизнерадостному.

«Онъ всегда въ гармоніи и всегда въ интересахъ духа,— говоритъ Бѣлинскій тогдашнимъ нѣсколько условнымъ философскимъ языкомъ: — ко всѣмъ внимателенъ, со всѣми ласковъ, всѣми интересуется; читаетъ Шекспира, нѣмецкія книги, хлопочетъ о судьбѣ и положеніи книжекъ «Наблюдателя» часто больше меня, покупаетъ очерки къ драмамъ Шекспира, по субботамъ и воскресеньямъ даетъ квартеты, въ которыхъ участвуетъ собственною персоной, со скрипкою подъ подбородкомъ, ѣздитъ въ театръ русскій и французскій, — словомъ, живетъ рѣшительно внѣ своего конечнаго *я*, въ свободномъ элементѣ бытія, всегда веселый, ясный, свѣтлый, доступный мысли, чувству; ежели груститъ временемъ, то все-таки безъ подавляющаго духа страданія. Смотрю на него и дивлюсь».

Въ то время, какъ Боткинъ окончательно сошелся съ Бѣлинскимъ и со всѣмъ кружкомъ, глава котораго, Станкевичъ, уѣхалъ въ 1837 году за границу, гегелевская философія стала въ занятіяхъ кружка на первомъ мѣстѣ. «Примиреніе съ дѣйствительностью» во имя непреложныхъ требованій философіи въ теченіе нѣкотораго времени явилось альфою и омегою всѣхъ взглядовъ молодыхъ москвичей.

Въ сущности это увлеченіе носило тотъ же отвлеченный романтическій характеръ, какъ и прежніе «прекраснодушные» порывы, которыми такъ полны, напр., «Литературныя мечтанія» Бѣлинскаго. «Примиреніе съ дѣйствительностью» — во имя ли философіи, или же во имя положительной религіи, какъ оно проповѣдывалось Жуковскимъ и позднѣе Гоголемъ—было несравненно болѣе чуждо реальнаго содержанія, чѣмъ предыдущее отрицаніе. Когда въ Германіи безпочвенный идеализмъ сталъ уступать мѣсто болѣе положительному направленію, Арнольдъ Руге въ своихъ «Hallesche Jahrbücher» съ полнымъ правомъ указалъ на романтичность примиренія съ дѣйствительностью, будто бы требуемаго философіею. «Романтикомъ, — говорилъ Руге, — называется писатель, который во всеоружіи нашего образованія (т.-е. овладѣвшій философскимъ методомъ Гегеля) возстаетъ противъ эпохи просвѣщенія и революціи, отвергаетъ въ области искусства, морали и политики принципъ самодовлѣющей гуманности (т.-е. конкретной личности, стоящей въ опредѣленныхъ соціальныхъ условіяхъ) и борется противъ него».

У насъ примиреніе съ дѣйствительностью впервые провозгласилъ, какъ извѣстно, М. Бакунинъ, послѣ отъѣзда Станкевича считавшійся въ кружкѣ первымъ авторитетомъ по части Гегеля.

Увлеченный обаятельною діалектикой Бакунина, Бѣлинскій въ своихъ статьяхъ о Менцелѣ и Бородинской годовщинѣ явился ярымъ защитникомъ того же направленія, явился имъ въ то время, какъ «прекрасная русская дѣйствительность» *) показывала ему себя съ самой непривлекательной стороны, когда матеріальное положеніе его было наиболѣе ужасно.

Боткинъ не остался чуждъ этого направленія. Онъ до извѣстной степени оппонировалъ Бакунину въ его безграничномъ оптимизмѣ, какъ это указываетъ Анненковъ, но далекъ былъ отъ мысли считать этотъ оптимизмъ совершенно неумѣстнымъ. Когда Бѣлинскій переѣзжалъ осенью 1839 года въ Петербургъ, чтобы работать въ «Отеч. Запискахъ», Боткинъ опасался, что въ Петербургѣ Бѣлинскій увлечется французскими мыслителями и отрѣшится отъ широкаго философско-примирительнаго взгляда на вещи.

Статья Бѣлинскаго о Бородинской годовщинѣ не понравилась Боткину, не содержаніемъ, впрочемъ, а изложеніемъ. Зато другая статья той же тенденціи (о Менцелѣ) пришлась ему вполнѣ по вкусу. Въ письмѣ отъ 9—12 февраля 1840 г. онъ писалъ Бѣлинскому: «Сейчасъ дочиталъ твою статью о Менцелѣ—одна изъ самыхъ живыхъ, одушевленныхъ статей, какія я когда-либо читалъ. Спасибо тебѣ, ты мнѣ ею доставилъ много пріятныхъ минутъ».

Но и отдавшись этому безграничному оптимизму, который совпадалъ во многомъ, если не во всемъ, съ пышною оффиціальною программою

*) Выраженіе М. Бакунина.

«народности», кружокъ рѣзко выдѣлялся изъ всей тогдашней общественной жизни; беззавѣтная увѣренность въ силахъ человѣческаго разума, все объясняющаго, всему дающаго смыслъ, и восторженный подъемъ духа, общій членамъ кружка—были явленіемъ во всѣхъ отношеніяхъ исключительнымъ. «Дѣйствительность», предъ которою преклонялись они, конечно, не была дѣйствительностью, изображенною, напр., въ «Ревизорѣ»; эту послѣднюю они называли «призрачною», искаженіемъ того идеала, который грезился имъ въ основахъ русскаго быта. Очень скоро они признали, что на самомъ дѣлѣ «призрачное» черезчуръ реально. Но и теперь занятія философіей, искусствами и наукой ставили ихъ въ разрѣзъ съ господствовавшими взглядами. Любопытно въ этомъ отношеніи то обстоятельство, что «Московскій Наблюдатель» со своимъ примирительно-консервативнымъ направленіемъ не пользовался симпатіей со стороны подлинныхъ представителей консерватизма. Въ біографіи Погодина г. Барсуковъ сообщаетъ, что статья Бакунина въ «Московскомъ Наблюдателѣ» 1838 г., провозглашавшая необходимость примиренія съ прекрасною русскою дѣйствительностью, несмотря на кажущуюся благонамѣренность, «пришлась не по сердцу православнымъ кіевскимъ философамъ» (Барсуковъ, Жизнь и труды М. П. Погодина, V, 153).

Собранія кружка у Боткина носили, кажется, особенно оживленный характеръ, полный поэтическаго колорита. Домъ Боткиныхъ расположенъ на одномъ изъ самыхъ живописныхъ мѣстъ Москвы. Изъ флигеля, выходившаго въ садъ, изъ-за кустовъ зелени открывалась часть Замоскворѣчья. Садъ былъ расположенъ на горѣ, въ серединѣ его бесѣдка, вся окруженная фруктовыми деревьями. Восторженный хозяинъ, всегда находившійся «въ интересахъ духа», встрѣчалъ гостей или здѣсь, или въ своемъ кабинетѣ, во флигелѣ. Анненковъ рисуетъ его, какъ «молодого человѣка въ красивомъ парикѣ съ чрезвычайно умными и выразительными глазами, въ которыхъ меланхолическій оттѣнокъ постоянно смѣнялся огоньками и вспышками, свидѣтельствовавшими о физическихъ силахъ, далеко не покоренныхъ умственными занятіями. Онъ былъ блѣденъ, очень строенъ, и на губахъ его мелькала добродушная, но какъ-то осторожная улыбка,—словно врожденный его скептицизмъ, по отношенію къ людямъ, сохранялъ надъ нимъ свои права и въ области безграничнаго идеализма, въ которой онъ тогда находился» (Анненковъ, «Замѣчательное десятилѣтіе», Воспомин. и Крит. очерки, III, 45).

Кромѣ Бѣлинскаго, съ Боткинымъ былъ особенно близокъ въ эту пору Кольцовъ; и его захватывало свѣтлое настроеніе кружка. Въ одно изъ собраній кружка имъ написана была «Пѣсня Лихача-Кудрявича», которою онъ по-своему какъ бы отвѣчалъ и вторилъ шумной рѣчи молодыхъ московскихъ энтузіастовъ.

Онъ посвятилъ нѣсколько стихотвореній изображенію кружка: «Поминки» (памяти Н. В. Станкевича), «На новый 1842 г.» и др., и лично В. П. Боткину «Думу сокола» съ извѣстнымъ четверостишіемъ:

Иль у сокола
Крылья связаны?
Иль пути ему
Всѣ заказаны?

Бѣлинскій въ концѣ 1839 года уѣхалъ въ Петербургъ. Московскіе друзья его были еще нѣкоторое время въ томъ же оптимистическомъ настроеніи. Бѣлинскій ранѣе ихъ созналъ безповоротно, что оно-то и связываетъ крылья мысли и заказываетъ пути для той дѣятельности, къ которой влекла его сущность его природнаго характера. Боткинъ явился посредникомъ между нимъ и остальными членами московскаго кружка; послѣдній уже распадался съ тѣмъ, чтобы войти въ составъ болѣе обширнаго круга лицъ, получившихъ тогда же прозвище западниковъ, и во главѣ ихъ сталъ Грановскій. Послѣдній лучше всѣхъ сошелся, вскорѣ по пріѣздѣ изъ-за границы, съ Боткинымъ же. Грановскій съ самаго начала отрицательно отнесся къ «примиренію съ дѣйствительностью», и Боткинъ, вѣроятно, былъ и ему обязанъ отрѣшеніемъ отъ «примиренія».

Къ этому же времени относится, повидимому, и сближеніе Боткина съ Огаревымъ, по натурѣ также родственнымъ Боткину. Въ перепискѣ Грановскаго любопытенъ эпизодъ о домашнемъ спектаклѣ 25 ноября 1839 г., устроенномъ у Огаревыхъ, гдѣ Боткинъ изображалъ какого-то сержанта, а затѣмъ Катковъ читалъ приличное Gelegenheitsgedicht, въ которомъ говорилось обо всѣхъ участникахъ вечера и, между прочимъ, о Боткинѣ:

Лицо отъ радости блистаетъ,
Но не отъ радости чело;
Оно безрадостно блистаетъ, *)
Оно безрадостно свѣтло.

Жилось, такимъ образомъ, довольно шумно и безпечно, но были и свои тревоги, и своя умственная борьба, которою и цѣнна была жизнь.

II.

Ссора между Боткинымъ и Бѣлинскимъ предъ отъѣздомъ второго изъ Москвы.— Примиреніе между ними и начало переписки.—Перемѣна въ міровоззрѣніи Бѣлинскаго и вліяніе ея на Боткина.—Враждебныя отношенія Боткина къ славянофильству.

Предъ отъѣздомъ Бѣлинскаго въ Петербургъ у него была какая-то ссора съ Боткинымъ. Ближайшимъ поводомъ къ ней, насколько можно судить на

*) Грановскій и его переписка, II, стр. 368.

основаніи отрывочныхъ намековъ, попавшихъ въ печать, послужило увлеченіе обоихъ друзей двумя сестрами М. Бакунина; хотя оно и не кончилось ничѣмъ, но захватило ихъ сильно. Полуфилософскій, полумистическій колоритъ мнѣній и настроенія въ этой замѣчательной семьѣ сперва поразилъ Бѣлинскаго, но потомъ онъ трезвѣе отнесся къ этому настроенію, и изъза этого, кажется, и имѣлъ столкновеніе съ Боткинымъ, болѣе податливымъ женскому вліянію.

Романтическое пониманіе правъ дружбы также играло роль въ этомъ столкновеніи. Въ кружкѣ ужъ черезчуръ привыкли распоряжаться въ душѣ пріятеля, какъ въ своей собственной. Въ письмѣ къ Фету (Фетъ, «Мои Воспоминанія», II, стр. 94) Тургеневъ вспоминаетъ забавную остроту завсегдатая литературныхъ кружковъ того времени, М. А. Языкова, о дружеской безцеремонности, которая долго господствовала въ нихъ: «друзья соберутся, разлягутся, да вдругъ одинъ встанетъ и, ни слова не говоря, другому черепъ долой». Бѣлинскій первый запротестовалъ противъ этихъ обычаевъ и преувеличеній, убивавшихъ, наконецъ, свободныя дружескія отношенія. Ссора его съ Боткинымъ удалила весь этотъ романтическій хламъ, и скоро между ними установилась прѣжняя задушевность.

Разсказъ Бѣлинскаго въ письмѣ къ Станкевичу о томъ, какъ состоялось это примиреніе, характеризуетъ Боткина въ чрезвычайно симпатичномъ свѣтѣ. Бѣлинскій былъ у кого-то изъ знакомыхъ. «Входитъ Боткинъ, — передаетъ далѣе критикъ, — и безъ всякихъ вычуръ начинаетъ со мною дружески разговаривать о прочитанной имъ недавно драмѣ Шекспира «Ричардъ III». Несмотря на все мое желаніе держать камень за пазухой и быть какъ можно холоднѣе, я съ досадою замѣчалъ, что увлекся разговоромъ до одушевленія и никакъ не могъ удержаться отъ спокойно-дружественнаго тона. Мы пошли ходить, Боткинъ заговорилъ о ссорѣ съ такимъ спокойствіемъ, какъ будто бы дѣло шло о чьей-то чужой ссорѣ; я невольно впалъ въ тотъ же тонъ, и Боткинъ заключилъ, что мы, наконецъ, такъ поносили другъ друга, что сквернѣе другъ о другѣ говорить уже не можемъ, слѣдовательно, новой ссоры опасаться нечего, — и оба начали смѣяться. Вражда пожрала самоё себя—и кончилась: все гадкое и дѣтское въ прежнихъ отношеніяхъ всплыло на верхъ. Оно-то и было причиною вражды».

Точно также И. И. Панаеву Бѣлинскій писалъ объ этой ссорѣ и примиреніи, что она «уничтожила бездну пошлаго» въ ихъ отношеніяхъ. «Вообще въ нашей ссорѣ много семейнаго, только для насъ понятнаго», — замѣчаетъ онъ.

При отъѣздѣ Боткинъ ссудилъ Бѣлинскаго деньгами. Разлука вышла, вѣроятно, именно вслѣдствіе этого, «ледовито-холодною», по словамъ самого Бѣлинскаго. Но затѣмъ оба одновременно почувствовали потребность обмѣ-

няться мыслями, и первыя письма ихъ встрѣтились. О первомъ письмѣ Боткина Бѣлинскій говорилъ: «Въ каждой строкѣ его, въ каждомъ словѣ я видѣлъ, чувствовалъ, что̀ такое для меня этотъ человѣкъ и что̀ я для него. Получаю отъ него отвѣтъ на письмо мое — начинаю читать — нѣтъ, у меня нѣтъ словъ, чтобы выразить это впечатлѣніе. Я былъ и взволнованъ, и восторженъ, и умиленъ: я никогда не могъ предполагать въ человѣкѣ столько любви и такой любви».

Такъ завязалась между ними частая и пространная переписка, составляющая, даже въ томъ неполномъ видѣ, въ какомъ она извѣстна, въ высшей степени цѣнный матеріалъ для исторіи русскаго общественнаго и литературнаго развитія. Друзья обмѣниваются въ ней новостями о друзьяхъ и литературными мнѣніями по вопросамъ литературы и философіи, не стѣсняясь ни формою, ни предметами. О томъ, какъ задушевна и искрення была эта переписка, можно судить хотя бы по такому заявленію Бѣлинскаго (въ письмѣ за іюнь 1840 г.): «есть у меня на душѣ многое, чего я никому не скажу и никому не имѣю охоты сказать, кромѣ тебя. Не говоря уже о моихъ внутреннихъ скорбяхъ и терзаніяхъ, которыя, кромѣ тебя, никому не понятны, у меня и объ искусствѣ какъ-то мало охоты говорить съ кѣмъ бы то ни было, кромѣ тебя».

Такою же откровенностью отвѣчаетъ ему и Боткинъ. Въ письмахъ послѣдняго романтическія изліянія о самоотреченіи, объ идеальной дружбѣ, объ отношеніяхъ къ женщинѣ и т. д. занимаютъ не мало мѣста. Въ письмѣ отъ 9 февраля 1840 г. онъ выражаетъ увѣренность, что Бѣлинскій найдетъ себѣ теплое женское сочувствіе и счастье, если больше и глубже разовьетъ въ себѣ таинственное Entsagung, «этотъ высокій актъ нравственнаго духа... который, какъ красная тоненькая, часто совсѣмъ незамѣтная снаружи ниточка въ снастяхъ англійскаго королевскаго флота, проходитъ сквозь всѣ почти большія произведенія Гете, и которой апотеоза такъ поразительно и могущественно представлена въ «Wahlverwandschaften». Боткинъ находилъ въ эту пору большимъ недостаткомъ Пушкина, что у него мало рефлексіи. Стихотвореніе Лермонтова «На смерть князя А. И. Одоевскаго» понравилось Боткину—очевидно меланхолическими размышленіями своими—болѣе «Терека». Бѣлинскій, мало-по-малу переходившій отъ романтическаго примиренія съ дѣйствительностью къ инымъ, болѣе плодотворнымъ воззрѣніямъ, рѣшительно запротестовалъ противъ этихъ мнѣній. Боткинъ, вѣроятно, въ видѣ комплимента Бѣлинскому, заявлялъ, что у того рефлексіи столько же, сколько у Бакунина. «Такъ да не такъ,—отвѣчалъ Бѣлинскій (въ письмѣ отъ 24 февраля 1840 г.):—я резонеръ и рефлектировщикъ, правда, — но зато, какъ скоро представали предъ меня дивныя явленія дѣйствительности, въ искусствѣ и жизни, я посылалъ къ чорту свою рефлексію и ни-

когда не мѣнялъ человѣка на книгу». Боткинъ уклонился было отъ полемики съ Бѣлинскимъ по вопросу о рефлексіи, и Бѣлинскій съ досадою писалъ другу (отъ 16 мая 1840 г.): «О! вы все тѣ же, о московскія души! Кто несогласенъ съ вами да съ нѣмецкими книжками, съ тѣмъ нечего и толковать—тотъ ничего не понимаетъ. Ты, Боткинъ,—тебѣ всѣхъ стыднѣе».

Въ перепискѣ находимъ указанія и на прежнее увлеченіе Боткина, приходившее къ концу. Любовь, чувство естественное и робкое, не хотѣло разыгрываться такъ, какъ того требовалъ романтическій кодексъ. Вмѣшательство М. Бакунина не мало запутывало странныя отношенія Боткина къ предмету его увлеченія. Впослѣдствіи Тургеневъ, придавшій Рудину многія черты характера Бакунина, не обошелъ и этой склонности его вмѣшиваться въ сердечныя дѣла своихъ друзей. Словомъ, «сродство душъ» никакъ не вытанцовывалось у Боткина. Бѣлинскій сочувствовалъ его горестямъ, но старался въ письмахъ 1840 г. охладить романтическую его экзальтацію, совѣтовалъ бросить нѣмцевъ а читать Купера, Скотта или Шекспира, или заняться практическими дѣлами. «Тебя сгубило то же, что и ее—фантазмъ», говоритъ Бѣлинскій въ письмѣ отъ 13 марта 1841 г., снова возвращаясь къ этой старой любовной исторіи:—ты имѣлъ о любви самыя экстатическія и мистическія понятія. Это лежало въ самой твоей натурѣ... Марбахъ и Беттина (отъ которыхъ ты съ ума сходилъ) развили это направленіе до чудовищности».

Въ это время умеръ Станкевичъ. Въ Москвѣ Грановскій еще не занялъ того виднаго мѣста, которое принадлежало ему съ Герценомъ нѣсколько позднѣе. Вслѣдствіе этого кружокъ остался безъ руководителя. «Москва въ литературной жизни совсѣмъ устарѣла, выжилась,—писалъ объ этомъ Кольцовъ въ началѣ 1841 г. Бѣлинскому:—можетъ и есть кружки молодыхъ людей, но я ихъ не знаю. Въ ней остается одинъ Василій Петровичъ. Забрось онъ и послѣдніе обломки—стараго талантливаго, горячаго, вдохновеннаго кружка какъ не бывало. Все разсыпется врозь и едва ли когда-нибудь опять соберется».

Извѣстное меланхолическое настроеніе сказывалось въ письмахъ Боткина также и вслѣдствіе этого временнаго оскудѣнія жизни въ его кружкѣ. Стараясь отрезвить Боткина отъ романтическихъ фантазій, Бѣлинскій уговаривалъ его дѣятельно работать для «Отечеств. Записокъ», доказывалъ, что у него несомнѣнный литературный талантъ, оспаривалъ высказанное другомъ о себѣ мнѣніе, что у него «непроизводительная натура», и находилъ, что Боткинъ скромничаетъ, берясь лишь за мелкія извлеченія. Неохоту Боткина работать критикъ объясняетъ не «непроизводительностью» его, но сонным состояніемъ общества, которое своимъ индифферентизмомъ не поддерживаетъ въ писателѣ охоты къ дѣятельности. Всѣ эти убѣжденія

видимо подѣйствовали на Боткина. Съ осени 1840 г. онъ является довольно дѣятельнымъ сотрудникомъ «Отеч. Записокъ».

Занятія для «От. Зап.» и вліяніе Грановскаго мало-по-малу, вѣроятно, и ввели Боткина въ кругъ новыхъ идей, сложившихся у Бѣлинскаго въ концѣ 1840 и началѣ 1841 года. Онѣ такъ расходились съ послѣдними московскими взглядами его, что онъ не разъ выражаетъ опасеніе, какъ бы не пришлось подраться съ Боткинымъ изъ-за этого переворота во мнѣніяхъ. Многократно цитированное въ статьяхъ о людяхъ 40-хъ годовъ, письмо отъ 1-го марта 1840 г. наиболѣе полно изображаетъ новое направленіе Бѣлинскаго, полное отреченіе во имя правъ конкретной личности отъ примиренія съ дѣйствительностью и отъ философіи, искажающей жизнь ради логической красоты своихъ построеній.

«Ты, я знаю, будешь надо мною смѣяться»—читаемъ здѣсь. Эти слова показываютъ, какъ еще чуждъ былъ Боткинъ новому строю мыслей Бѣлинскаго. «Но смѣйся, какъ хочешь, а я—свое,—продолжаетъ «неистовый Виссаріонъ», раздѣлываясь со своимъ нынѣ рухнувшимъ міровоззрѣніемъ:—судьба субъекта, индивидуума, личности важнѣе судебъ всего міра и здравія китайскаго императора (т.-е. гегелевской Allgemeinheit)! Мнѣ говорятъ: развивай всѣ сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утѣшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣстницы развитія, а споткнешься—падай, чортъ съ тобой,—таковскій и былъ, сукинъ сынъ... Благодарю покорно, Егоръ Ѳедоровичъ (Гегель), кланяюсь вашему философскому колпаку, но, со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ, честь имѣю донести вамъ, что если бы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія,—я и тамъ попросилъ бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филипа II и пр. и пр.; иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головою. Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ насчетъ каждаго изъ моихъ братьевъ по крови... Говорятъ, что дисгармонія есть условіе гармоніи: можетъ быть, это очень выгодно и усладительно для меломановъ, но ужъ, конечно, не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участью идеи дисгармоніи».

Новое представленіе о личности требовало перестройки и всѣхъ другихъ представленій о нравственности, объ обществѣ, о семьѣ и т. д. Западники сороковыхъ годовъ исходили именно отсюда, отъ личности, ея достоинства и правъ. «Личность и сообразное ея требованіямъ общество» —такъ формулировали они сущность своего широкаго индивидуализма (напр. Грановскій, соч. т. II, стр. 220). Съ того момента, какъ эта идея

начинаетъ укрѣпляться въ ихъ сознаніи, собственно и можно считать начало сороковыхъ годовъ.

Какъ разъ въ это время и противники новаго литературно-общественнаго теченія выступили съ заявленіями своего credo. Въ 1841 году начинаетъ выходить «Москвитянинъ», и въ первой же статьѣ первой книги новаго журнала проф. Шевыревъ провозглашаетъ гніеніе Запада, который заражаетъ насъ своимъ тлетворнымъ дыханіемъ заживо разложившагося трупа. Это было объявленіемъ войны со стороны оффиціальной народности и со стороны славянофиловъ, тогда еще не совсѣмъ обособившихся отъ защитниковъ status quo. «Отечеств. Записки» въ лицѣ Бѣлинскаго подняли брошенную имъ перчатку, и скоро завязалась полемика, горячая и полная глубокаго смысла.

Боткинъ принялъ въ ней дѣятельное участіе, хотя закулисное. Помимо постоянныхъ хлопотъ по дѣламъ московской конторы «О. З.», онъ всячески старается добывать въ Москвѣ интересныя статьи для журнала, напр. пристаетъ безъ конца къ профессорамъ Крюкову и Рѣдкину, къ Е. Ѳ. Коршу, чтобы только «отвлечь ихъ отъ поганаго «Москвитянина», заранѣе радуясь, «какая это будетъ пакость вонючему «Москвитянину», если статьи названныхъ лицъ появятся въ петербургскомъ журналѣ.

Эта ненависть Боткина къ «славянофиламъ», какъ окрестили тогда людей круга Погодина и Шевырева, Хомякова и Кирѣевскихъ, совершенно понятна, какъ реакція романтическому настроенію, которое такъ сильно захватило московскіе кружки тридцатыхъ годовъ и очень сильно повліяло на возникновеніе и складъ славянофильскихъ воззрѣній. Нѣсколько позднѣе, по поводу полемики изъ-за «Мертвыхъ Душъ», Боткинъ говорилъ въ письмѣ Бѣлинскому, что надо дать урокъ «московскимъ философамъ, въ которыхъ выразилась вся темная, аскетическая, душная, сидячая, абстрактная сторона нѣмецкаго философствованія». Лѣтомъ 1841 г. Боткинъ передалъ К. Аксакову письмо отъ Бѣлинскаго, которое прекращало прежнія дружескія отношенія и было началомъ полнаго разрыва между обѣими сторонами. «Ну, ну! Вотъ до чего дошло!—писалъ Боткинъ Бѣлинскому по поводу этого письма:—но меня это нисколько не удивило. Въ Аксаковѣ лежала всегда возможность того, чѣмъ онъ теперь сталъ, и я благодарю свою натуру, которая никакъ не могла симпатизировать съ нимъ», т.-е. съ его мнѣніями.

Въ началѣ 1842 года Боткинъ ѣздилъ по дѣламъ въ Харьковъ, гдѣ познакомился съ молодымъ литераторомъ Кульчицкимъ, впослѣдствіи пріятелемъ Бѣлинскаго, съ которымъ самъ и свелъ его.

Въ это время мы видимъ Боткина уже вполнѣ раздѣляющимъ новыя воззрѣнія.

III.

Начало сороковыхъ годовъ въ Москвѣ.—Рецензія Боткина на книгу Зедергольма.—Новое настроеніе Боткина.—Увлеченіе лѣвою гегелевскою школой.—Статьи о германской литературѣ.—Чувство изолированности, общее людямъ сороковыхъ годовъ.—Неудачный романъ Боткина, какъ характерный эпизодъ изъ интимной жизни дѣятелей этой эпохи.

Эти новыя воззрѣнія нѣкоторое время носили въ средѣ русской интеллигенціи названіе «новаго романтизма». Боткинъ, написавшій (по указанію Анненкова) страницы о романтизмѣ для статьи Бѣлинскаго о Пушкинѣ, по крайней мѣрѣ именно такъ опредѣляетъ сущность новыхъ взглядовъ, въ отличіе отъ романтизма стараго, «средневѣковаго, который принимаетъ на вѣру всѣ традиціонныя особенности догматическаго міросозерцанія.

Переходъ къ «новому романтизму», т.-е. къ болѣе трезвому міровоззрѣнію, признающему высшимъ критеріемъ лишь достоинство и права реальной человѣческой личности, давался, однако, не легко. Душевная борьба сопровождалась тяжелыми колебаніями, желаніемъ какъ-нибудь забыться отъ нея, и иногда разрѣшалась разгуломъ. Разгулу этому еще придавали нѣкоторый романтическій характеръ. Боткинъ писалъ въ эту пору Бѣлинскому, что «лучше замереть въ развратѣ, чѣмъ въ пряничной любви».

Забавенъ разсказъ Грановскаго объ одной изъ нечаянныхъ романтическихъ пирушекъ, въ которой принималъ участіе и Боткинъ. «Василій Петровичъ вправду sittliche Natur *) — писалъ Грановскій Станкевичу отъ 12-го февр. 1840 г.:—мы съ нимъ часто бесѣдуемъ о томъ, о семъ—и хорошо очень оба о многихъ предметахъ выражаемся. Говорить же съ нимъ для меня стало потребностью; жаль, что пьяница, и не всегда владѣетъ языкомъ. Вотъ, напр., третьяго дня былъ bal masqué et paré au profit des pauvres въ залѣ благороднаго собранія. Я, собственно, для бѣдныхъ поѣхалъ туда; народу бездна... Гляжу—Боткинъ ходитъ и во всѣ стороны шаркаетъ. Пришли еще къ намъ Кетчеръ, Рѣдкинъ, Крюковъ, Крыловъ, Гофманъ (профессоръ греческаго языка—отличный человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ), словомъ, все молодое поколѣніе университета. Подумали и рѣшились поужинать. Началось тостомъ за reines Sein, провозглашеннымъ Крюковымъ. Прошли всѣ категоріи: я удралъ, когда еще стояли въ сферѣ Wesen, но Боткинъ—der hat es bis zu der Idee gebracht **). А весело было—кутили какъ-то отъ души. Подъ конецъ затянули Burschenlied, несмотря

*) Натура нравственно—отзывчивая.

**) Дошелъ до идеи.

на присутствіе публики. Подозрѣваю, что Боткинъ отплясывалъ подъ эту пѣснь, но навѣрное не знаю».

Въ письмѣ отъ 14-го марта 1842 года Бѣлинскій пишетъ: «Боткинъ—чудовище! Старый развратникъ, козелъ грѣхоносецъ! Съ ужасомъ прочелъ я нечестивое письмо твое, съ ужасомъ выслушалъ разсказы Кульчицкаго о вашемъ общемъ непотребствѣ, пьянствѣ, плотоугодіи, чревоненавистничествѣ и прочихъ седьми смертныхъ грѣхахъ. Покайтеся!»

Но каковъ бы ни былъ этотъ внѣшній характеръ тогдашней жизни московской интеллигенціи, объясняемый нравами и привычками крѣпостного права, здѣсь въ эту раннюю пору сороковыхъ годовъ ставились и впервые уяснились общіе насущные вопросы, впослѣдствіи получившіе жизненное практическое значеніе. В. П. Боткинъ занималъ здѣсь въ кругу Грановскаго, Герцена и др. постоянно не послѣднее мѣсто.

Въ 1842 г. вышли «Мертвыя Души» и произвели сильное впечатлѣніе не только какъ художественное произведеніе, но и какъ общественная сатира. «Ревизоръ», съ его эпиграфомъ: «На зеркало неча пенять, коли у самого рожа крива» и съ его знаменитою фразою городничаго: «Чему смѣетесь?—Надъ собою смѣетесь!»,—дополнялся «Мертвыми Душами». Художественное воспроизведеніе жизни, если оно удачно, дѣйствуетъ сильнѣе всякой преднамѣренной сатиры. Такъ было и съ произведеніями Гоголя. Послѣ «Мертвыхъ Душъ», разоблачившихъ мертвенность и пустоту русской дѣйствительности, реалистическое направленіе получило у насъ первенствующее значеніе. Новое направленіе критики Бѣлинскаго, сліяніе въ Москвѣ бывшаго круга Станкевича съ кружкомъ Герцена и Огарева въ одинъ общій кругъ западниковъ, новое реалистическое истолкованіе философіи Гегеля, принятое у насъ вслѣдъ за лѣвою гегеліанскою школою Герценомъ и другими, публичныя лекціи Грановскаго, начатыя въ концѣ 1843 года, ожесточенная борьба между славянофилами и западниками—вотъ наиболѣе видные признаки времени, возникшіе на почвѣ сознанія, что крѣпостная русская дѣйствительность совсѣмъ не прекрасна.

Нѣкоторые факты изъ біографіи Боткина прекрасно оттѣняютъ многія черты этого времени, страстное увлеченіе людей новыми вѣрованіями, увлеченіе борьбою мнѣній, происходившей въ московскихъ салонахъ Свербѣевыхъ, Елагиной и др.

Въ началѣ 1842 года въ Москвѣ вышла «Исторія древней философіи» Карла Зедергольма. Введеніе къ ней было написано въ кругѣ славянофиловъ, Кирѣевскимъ и Хомяковымъ. Піэтистическая тенденція книги за живое задѣла западниковъ, и Боткинъ написалъ довольно ѣдкую рецензію о ней. Онъ указывалъ, что авторъ не разграничилъ сферы философіи и теологіи (какъ не разграничивали ихъ и славянофилы и наши философы-

романтики въ пору «примиренія съ дѣйствительностью»), и потому не могъ не впасть въ противорѣчія и путаницу. Философія,— говоритъ Боткинъ,—не есть сборъ какихъ-нибудь, хотя и прекрасныхъ, но принятыхъ на вѣру или произвольныхъ мнѣній, положеній, представленій и т. п., но «она есть великая и важная наука, основанная на имманентномъ началѣ, развивающаяся изъ него по законамъ внутренней, самодѣйствующей необходимости,— наука, исключающая всякую произвольность субъективныхъ мнѣній, всякую особенность, принадлежащую индивидуальности человѣческой: ибо предметъ ея—бытіе, какъ сущность міра явленій, и абсолютная истина, отрѣшенная отъ временности, страстей и уклоненій жизни человѣческой,—истина, которая есть новѣйшій fatum всего конечнаго, ибо она рано или поздно, въ той или другой формѣ, но разражается надъ конечнымъ и призываетъ къ суду своему». Эта тирада, написанная еще довольно таки птичьимъ условнымъ языкомъ, все-таки живо передаетъ настроеніе, непреложную увѣренность, что философіи доступна абсолютная истина, что конечное, наприм., временные традиціонные взгляды на міроустройство или русская дѣйствительность, должно уступить свое мѣсто новымъ, болѣе разумнымъ воззрѣніямъ и устройству.

Весь тонъ статьи Боткина прекрасно вторилъ новому направленію «Отеч. Зап.». Въ той же книжкѣ журнала, гдѣ была эта статья, появился ѣдкій памфлетъ Бѣлинскаго «Педантъ», направленный противъ проф. С. Шевырева, образецъ безпощадной ироніи, къ которой бывалъ способенъ Бѣлинскій. Памфлетъ произвелъ въ Москвѣ цѣлую бурю, и Боткинъ съ живѣйшимъ наслажденіемъ описывалъ въ письмѣ Краевскому, какъ суетились противники «Отеч. Зап.», собираясь протестовать печатно и жаловаться высшему начальству, какъ Грановскій публично обѣщалъ обнять Бѣлинскаго за эту статью на любой площади и т. д. Боткинъ, впрочемъ, ошибочно приписалъ памфлетъ, появившійся подъ псевдонимомъ «Петръ Бульдоговъ», не Бѣлинскому, а другому (И. П. Клюшникову).

Увлеченный «Римомъ» Гоголя, Боткинъ послалъ въ «Отеч. Зап.» статью о своемъ путешествіи 1835 г., намѣренно помѣтивъ ее 1842 г., во избѣжаніе нареканій со стороны публики, что ее угощаютъ такими устарѣлыми воспоминаніями.

По своему содержанію, въ которомъ чисто художественный романтическій интересъ къ древнему городу былъ на первомъ планѣ, статейка эта очень была далека отъ новаго строя мыслей, увлекшаго Боткина. Онъ зачитывается теперь сочиненіями писателей, принадлежавшихъ къ лѣвой гегелевской школѣ, Фейербахомъ, Бруно Бауэромъ и др. Новое настроеніе и направленіе взглядовъ Боткина, общее и многимъ другимъ западникамъ 40-хъ годовъ, живо характеризуется его письмомъ къ Бѣлинскому отъ 22-го марта 1842 г.

Про свою новую жизнь Боткинъ говоритъ теперь: «она есть не что другое, какъ отрицаніе мистики и романтики, къ которымъ особенно была склонна моя натура, но въ которыхъ я совершенно потонулъ въ продолженіе отношеній моихъ къ NN (къ Бакуниной). Все, на чемъ лежитъ печать мистики и романтики, пробуждаетъ во мнѣ теперь враждебное чувство».

Съ этимъ признаніемъ можно сопоставить слова Боткина въ письмѣ къ Бѣлинскому, написанномъ тогда же, по поводу посѣщенія Боткинымъ М. В. Орловой, будущей жены Бѣлинскаго. Орлова, дѣвушка уже не первой молодости, чрезвычайно понравилась Боткину, но относительно женитьбы на дѣвушкѣ такихъ лѣтъ, хотя бы и самыхъ высокихъ внутреннихъ достоинствъ, онъ откровенно признается, что въ немъ для этого слишкомъ много непосредственнаго чувства пластической красоты; послѣдняя имѣетъ для него цѣну независимо отъ своего содержанія. Эти признанія, конечно, проще и естественнѣе и потому симпатичнѣе прежнихъ напряженныхъ романтическихъ мечтаній о сродствѣ душъ и т. п.

Возвращаемся къ письму отъ 22-го марта, за которое Бѣлинскій горячо благодарилъ своего друга, потому что оно опредѣленно и живо высказывало то же, къ чему самостоятельно приходилъ и критикъ.

«Въ настоящее время начинается въ Европѣ новая эпоха, — писалъ Боткинъ: — міръ среднихъ вѣковъ*), міръ непосредственности, патріархальности, туманной мистики, авторитетовъ, вѣрованій вступаетъ въ бой съ мыслью, анализомъ... и вступаетъ въ борьбу не въ одинокихъ разбросанныхъ явленіяхъ,—что было и въ средніе вѣка, — а цѣлыми массами... Во Франціи совершилось отрицаніе среднихъ вѣковъ въ сферѣ общественности; въ Байронѣ явилось оно въ поэзіи, и теперь является въ сферѣ религіи, въ лицѣ Штрауса, Фейербаха и Бруно Бауэра... Духъ новаго времени вступилъ въ рѣшительную борьбу съ догмами и организмомъ среднихъ вѣковъ... Новые люди съ новыми идеями о бракѣ, религіи, государствѣ,— фундаментальныхъ основахъ человѣческаго общества, — прибываютъ съ каждымъ днемъ: новый духъ, какъ кротъ, невидимо бѣгаетъ подъ землею и копаетъ ее—чудный рудокопъ. Das alte stürzt, es ändert sich die Zeit, und neues Leben steigt aus den Ruinen **)».

Переходя къ русской литературѣ, Боткинъ указываетъ на Лермонтова,

---

*) Напомнимъ читателю о томъ условномъ значеніи, которое придали у насъ понятію „средніе вѣка“; оно означаетъ господство принимаемаго извнѣ традиціоннаго догматическаго взгляда на вещи въ сферахъ религіозной, политической, общественной и т. д.

**) „Старое рушится, мѣняется время, и изъ развалинъ подымается новая жизнь“. Стихи изъ „Вильгельма Телля“ Шиллера.

какъ на представителя этого новаго духа. Лермонтовъ никакъ не укладывался въ схемы гегелевской эстетики и не мало доставилъ хлопотъ и Бѣлинскому, и друзьямъ его, такъ какъ непосредственное чувство горячей симпатіи къ поэту подсказывало о несостоятельности теоретическаго отрицательнаго взгляда на его произведенія, чуждыя «примиренія». Теперь—новое реалистическое воззрѣніе признавало законность лермонтовскаго направленія и отводило ему чрезвычайно важное мѣсто. Боткину особенно понравился «Договоръ» Лермонтова. «Въ меня онъ особенно вошелъ потому,—говоритъ онъ,—что въ этомъ стихотвореніи жизнь разоблачена отъ патріархальности, мистики и авторитетовъ». Далѣе Боткинъ очень мѣтко указываетъ различіе между паѳосами Пушкина и Лермонтова, т.-е. между господствующими существенными настроеніями ихъ. У перваго паѳосомъ является «земная человѣчность», у второго—«титаническій духъ протеста». И вотъ какъ Боткинъ объясняетъ реальный смыслъ этого протеста. «Паѳосъ его (Лермонтова),—пишетъ онъ Бѣлинскому, — какъ ты совершенно справедливо говоришь, есть «съ небомъ гордая вражда». Другими словами, отрицаніе духа и міросозерцанія, выработаннаго средними вѣками, или еще другими словами—пребывающаго общественнаго устройства».

Мимоходомъ Боткинъ возмущается пушкинскою Татьяною, «добровольно осуждающей себя на проституцію съ своимъ старымъ генераломъ».

Лѣтомъ 1842 года Боткинъ былъ въ Петербургѣ, останавливался у Бѣлинскаго и, кажется, въ это время впервые познакомился и сошелся съ Тургеневымъ, который былъ уже извѣстенъ, какъ авторъ «Параши».

«Весело намъ было очень,—вспоминаетъ Кавелинъ о тѣсномъ кружкѣ, сгруппировавшемся тогда около Бѣлинскаго:—насколько можно было веселиться при отвратительной тогдашней обстановкѣ сверху и кругомъ. Каждый литературный кружокъ, въ томъ числѣ и нашъ, былъ тогда похожъ на секту, въ которую новые члены принимались трудно, по испытаніи и рекомендаціи. Мы мечтали о лучшемъ будущемъ, не формулируя положительно, какимъ оно должно быть, жадно собирали всѣ анекдоты, слухи и разсказы, изъ которыхъ прямо или косвенно слѣдовало (или должно было слѣдовать), что апокалипсическій звѣрь не долго провоеводствуетъ, также жадно и зорко слѣдили за всякимъ проявленіемъ въ словѣ или печати мыслей и стремленій, которыми были преисполнены». («Вѣст. Евр.», іюль 1886 г.).

Новое направленіе, которому отдался Боткинъ, конечно, еще болѣе укрѣпилось въ немъ при совмѣстной жизни съ Бѣлинскимъ. Въ письмѣ отъ 9-го декабря 1842 г., когда Боткинъ былъ уже снова въ Москвѣ, Бѣлинскій вспоминалъ съ наслажденіемъ, какъ весело и спокойно жилось ему въ то время, когда у него гостилъ Боткинъ, когда, бывало, возвращаясь

одинъ, онъ видѣлъ со двора привѣтный огонекъ въ своихъ окнахъ и находилъ Боткина, знатока гастрономической науки, «священнодѣйствующимъ» за чаемъ или за другимъ смакованіемъ.

«Ты счастливѣе меня—съ тобою Герценъ», замѣчаетъ здѣсь Бѣлинскій. Дѣйствительно, переѣздъ въ Москву Герцена, издавна знакомаго съ французскою общественно-политическою литературой, страстнаго поклонника Фейербаха, человѣка, обладавшаго изумительнымъ даромъ критическаго анализа въ самыхъ разнообразныхъ областяхъ человѣческаго вѣдѣнія, имѣлъ не малое значеніе въ исторіи московскаго западничества. Неутомимый и обаятельный діалектикъ, онъ началъ съ ожесточенныхъ споровъ противъ славянофиловъ, безпощадно разоблачая логическія несообразности въ ихъ философско-богословскихъ построеніяхъ. Онъ, не менѣе Бѣлинскаго, вліялъ на раздѣленіе московской интеллигенціи на двѣ группы—западниковъ и славянофиловъ, и первая всецѣло сплотилась около него и Грановскаго. Въ «Быломъ и Думахъ» онъ набросалъ ослѣпительныя поэтическія картины жизни людей этого времени.

Боткинъ занимаетъ въ этихъ картинахъ второстепенное мѣсто. Повидимому, онъ сближался съ Герценомъ болѣе чрезъ Грановскаго, но еще не было и тѣни той вражды, которая появилась позднѣе. Боткинъ дѣлилъ всѣ интересы круга. Осенью въ 1842 г. появилась его статья о Шекспирѣ, какъ человѣкѣ и лирикѣ, и затѣмъ онъ принялъ на себя составленіе статей по текущей германской литературѣ. Онѣ чрезвычайно завлекали его, какъ ни трудно было составлять ихъ при тогдашнихъ цензурныхъ условіяхъ.

«Признаюсь, очень неловко составлять,—жаловался онъ 29-го декабря 1842 г. Краевскому:—Litterarische Zeitung издается въ самомъ сухомъ, тупо-ученомъ, филистерскомъ прусскомъ духѣ, а новый теологическій и критико-философскій духъ германской науки, какъ ни вертишь, никакъ нельзя приложить къ нашимъ условіямъ. Думалъ было составить разборъ новой исторіи Лео, да вопросы тутъ все такіе жизненные, что и страшно приниматься... Цѣль моя—выбирать такія книги, по поводу которыхъ можно сказать что-нибудь о современномъ. Теперь въ Германіи самыя замѣчательныя сочиненія выходятъ лишь по части теологіи и философіи, и движеніе философско-религіозное теперь въ Германіи такъ сильно, что во всякое философское сочиненіе входитъ опредѣленіе и метафизика религіи и обратно. Что прикажете говорить о такихъ книгахъ?.. Вотъ, напримѣръ, теперь читаю я нѣмецкое сочиненіе чрезвычайно умнаго нѣмца Штейна о соціализмѣ и коммунизмѣ нынѣшней Франціи. Книга во всѣхъ отношеніяхъ превосходная. Съ удивительнымъ вниманіемъ наблюдаетъ онъ біеніе внутренняго пульса новаго французскаго общества, анализируетъ

и излагаетъ его съ глубиною и тактомъ человѣка, стоящаго на вершинѣ современной цивилизаціи,—и, несмотря на все мое желаніе, на новость предмета для русской публики, нельзя сказать ничего объ этой книгѣ. Поневолѣ надо переливать изъ пустого въ порожнее».

Чувство безплодности усилій, струйка досады, которая прорывается въ послѣднихъ словахъ, въ той или иной формѣ подмѣчается у всѣхъ представителей того же кружка. Искусство, театръ, новыя книги и новыя идеи, дружба и т. д., всѣ эти предметы горячаго увлеченія людей сороковыхъ годовъ носятъ на себѣ отраженіе, болѣе или менѣе рѣзкое, чего-то тоскливаго, болѣзненнаго, что навѣвалось изолированнымъ положеніемъ этихъ людей въ обществѣ. Надъ «безпредметною тоскою» не разъ подсмѣивались, въ нее драпировались гамлеты щигровскаго и другихъ уѣздовъ, «лишніе» люди, но на дѣлѣ это было явленіемъ далеко не комическимъ: праздность Рудиныхъ, въ дѣйствительности, была чаще слѣдствіемъ подлинной невозможности приложить куда-нибудь свои силы, чѣмъ слѣдствіемъ недѣятельной натуры. Дневникъ Герцена прекрасно оттѣняетъ эту особенность въ настроеніи его друзей и единомышленниковъ.

Подъ 10-мъ апрѣля 1843 года читаемъ: «Вчера такъ тихо, мирно сидѣли мы вечеръ у Грановскаго, мы, они, Кетчеръ и Боткинъ, какая благородная кучка людей, какой любовью перевязанная! Въ настоящемъ много прекраснаго, ловить, ловить, все ловить и всѣмъ упиваться: дружбой, виномъ, любовью, искусствомъ. Это значитъ жить. Впередъ смотрѣть отрадно и страшно, тучи, волканическія гибели и хорошая погода послѣ тучъ... да, можетъ, солнце этихъ дней посмотритъ на могилы наши. А это скверно. Нѣтъ столько самоотверженія, чтобъ отказаться отъ участія въ наградѣ, когда не отказываемся ни отъ какого труда. И часто то грядущее и отрадно, и страшно». Черезъ недѣлю послѣ записанныхъ здѣсь думъ о будущей борьбѣ за свои идеи, кружокъ собрался 18-го апрѣля у В. П. Боткина. Послѣ оживленнаго и веселаго обѣда, Грановскіе, Герцены, Кетчеръ, Коршъ, проф. Крюковъ писали коллективное письмо Огареву, который былъ за границею, смѣялись, шутили, спорили, пили на общее братское «ты», забывая о враждебной окружавшей ихъ дѣйствительности, примиреніе съ которою было уже давно немыслимо. Но проходилъ восторженный порывъ—и «апокалипсическій звѣрь», какъ выражался Кавелинъ, т.-е. дѣйствительность снова холодно смотрѣла въ глаза. Всего черезъ день послѣ только-что упомянутой вечеринки Герценъ записалъ (21-го апрѣля): «Спорили, спорили и, какъ всегда, кончили ничѣмъ, холодными рѣчами и остротами. Наше состояніе безвыходно, потому что ложно, потому что историческая логика указываетъ, что мы внѣ народныхъ потребностей и наше дѣло — отчаянное страданіе. Страданіе безсимпатичное, неоцѣняемое и,

конечно, полезное для будущаго, но намъ не дающее никакого личнаго вознагражденія; жить отвлеченной идеей самопожертвованія неестественно, даже религіозные фанатики имѣли награду личную въ упованіи. Стоицизмъ есть тоже отчаянное положеніе».

У Грановскаго эта болѣзненная нотка постоянно звучитъ въ письмахъ. Humeur noire, навѣваемая бездѣятельностью и мелочами жизни, преслѣдуетъ его. «Напряженная дѣятельность истомила бы меня гораздо менѣе, чѣмъ это стремленіе безъ имени и цѣли», такъ пишетъ онъ своему берлинскому другу и учителю, профес. Вердеру, въ началѣ сороковыхъ годовъ. И аналогичныхъ мѣстъ полна его переписка. Даже у Бѣлинскаго, наименѣе склоннаго поддаваться унынію, можно найти не мало тѣхъ же тоскливыхъ жалобъ.

Боткинъ, рядовой членъ круга, конечно, могъ поддаваться этому настроенію сильнѣе другихъ. «Конечно, я лѣнивъ,— говоритъ онъ въ письмѣ къ Краевскому (отъ 20-го мая 1843),—но, вѣрьте, эта лѣность пропала бы передъ возможностью говорить о книгахъ и предметахъ, имѣющихъ общій интересъ». Распущенная до извѣстной степени жизнь подобныхъ среднихъ литературныхъ дѣятелей, кромѣ общаго распущеннаго характера жизни въ тогдашнемъ верхнемъ слоѣ, объяснялась до извѣстной степени и этой невозможностью тратить свои силы болѣе производительно. «Вы ужъ, ради Бога, не очень меня ругайте,—писалъ тотъ же Боткинъ Краевскому, нѣсколько ранѣе (1-го февраля):—что дѣлать! добраго-то желанія у меня много, да воли и терпѣнія нѣтъ выполнять его, а притомъ хочется прочесть то то, то другое, а передъ тобою проходитъ нѣкоторая, такъ сказать, сладость жизни, т.-е. и порядочный обѣдъ, и бургиньонъ, и шампаньонъ, и добрые пріятели; день идетъ за днемъ, а въ итогѣ душевная пустота».

Особыя обстоятельства еще болѣе содѣйствовали тому, что Боткинъ отстранялся отъ дѣятельной литературной работы. Въ мартѣ онъ сообщалъ Краевскому, что собирался было написать двѣ статьи о паденіи язычества, «да нѣкоторыя чувствительныя обстоятельства,—говоритъ онъ,—мутятъ голову и погружаютъ въ романтическое бездѣйствіе, весьма, впрочемъ, пріятное». Эти слова относятся къ новому любовному роману Боткина, кончившемуся неудачною женитьбой и имѣвшему огромное вліяніе на характеръ его.

Предметъ привязанности Боткина, француженка-модистка «съ Кузнецкаго моста», явилась въ Россію дѣлать фортуну, какъ являлись и являются сотни ея соотечественницъ, и о законномъ бракѣ, вѣроятно, и не помышляла до тѣхъ поръ, пока Боткинъ, въ заключеніе случайнаго сближенія, не сдѣлалъ ей по рыцарски предложенія.

Въ посмертномъ своемъ очеркѣ «Базиль и Армансъ» Герценъ подробно разсказалъ исторію женитьбы Боткина; самъ онъ не зналъ никакихъ колебаній, когда рыцарски увезъ изъ Москвы свою невѣсту, противъ воли родни и вопреки запрещенію выѣзжать изъ Владиміра, и онъ не пощадилъ красокъ, чтобы представить всѣ колебанія Боткина въ самомъ смѣшномъ видѣ. «Резонеръ въ музыкѣ и философъ въ живописи,—говоритъ Герценъ не безъ преувеличенія,—онъ былъ изъ самыхъ полныхъ представителей ультра-гегеліанцевъ. Онъ всю жизнь носился въ эстетическомъ небѣ, въ философскихъ и критическихъ подробностяхъ. На жизнь онъ смотрѣлъ такъ, какъ Ретшеръ на Шекспира, возводя все въ жизни къ философскому значенію, дѣлая скучнымъ все живое, пережеваннымъ все свѣжее,—словомъ, не оставляя въ своей непосредственности ни одного движенія души».

«Итакъ,—продолжаетъ Герценъ,—влюбленный сорокалѣтній философъ, щуря глазки, сталъ сводить всѣ спекулятивные вопросы на «демоническую силу любви», равно влекущую Геркулеса и слабаго отрока къ ногамъ Омфалы, началъ уяснять себѣ и другимъ нравственную идею семьи, почву брака. (Гегелевой философіи права, глава Sittlichkeit). Препятствій не было со стороны Гегеля. Но призрачный міръ случайности и кажущагося,—міръ духа, не освободившагося отъ преданій, не былъ такъ сговорчивъ. У Базиля былъ отецъ, Петръ Кононычъ, богачъ, который самъ былъ женатъ послѣдовательно на трехъ, и отъ каждой имѣлъ по трое дѣтей. Узнавъ, что его сынъ, и притомъ старшій, хочетъ жениться на католичкѣ, на нищей, на француженкѣ, да еще съ Кузнецкаго моста, онъ рѣшительно отказалъ въ своемъ благословеніи. Безъ родительскаго благословенія, Базиль, принявшій шикъ и манеры скептицизма, какъ-нибудь и обошелся бы; но старикъ связывалъ съ благословеніемъ не только послѣдствіе jenseits (на томъ свѣтѣ), но и diesseits (на этомъ свѣтѣ), а именно наслѣдство.—Препятствіе старика, какъ всегда, двинуло дѣло впередъ, и Базиль сталъ подумывать о скорѣйшей развязкѣ. Оставалось жениться, не говоря худого слова, а впослѣдствіи заставить старика принять un fait accompli, или скрыть отъ него бракъ, въ ожиданіи, что скоро онъ не будетъ ни благословлять, ни клясть, ни распоряжаться наслѣдствомъ».

Для соблюденія тайны, рѣшено было вѣнчаться въ деревнѣ, с. Покровскомъ, гдѣ жили лѣтомъ Герцены. Назначенный день истекъ, а пара не являлась. Поздно ночью, наконецъ, подъѣхалъ тарантасъ и изъ него вылѣзъ Базиль, а за нимъ—не Армансъ, а Бѣлинскій.

Оказалось, что Боткинымъ овладѣла вдругъ томительная нерѣшительность, и онъ тянулъ дѣло до пріѣзда Бѣлинскаго. Тотъ только плечами пожалъ, выслушавъ рефлексіи и сомнѣнія друга. По его совѣту, Боткинъ

написалъ невѣстѣ письмо съ изложеніемъ своихъ сомнѣній; вѣроятно, въ родѣ того, что писалъ Обломовъ Ольгѣ. Армансъ отвѣтила на такое письмо, какъ и слѣдовало ожидать, отказомъ въ своей рукѣ. «Я васъ буду помнить съ благодарностью,—писала она,—и нисколько не виню васъ: я знаю, вы чрезвычайно *добры*, но еще болѣе слабы. Прощайте же и будьте счастливы».

«Исторія Боткина отравила почти все время,—записалъ Герценъ 30-го іюня въ своемъ дневникѣ по поводу пребыванія въ Покровскомъ Бѣлинскаго, Боткина, а также Грановскаго:—она поселила неловкость между нами и покрыла чѣмъ-то тяжелымъ все время». Въ то время Герценъ находилъ еще, что «слабость Боткина испугалась въ самомъ дѣлѣ страшнаго. Онъ содрогнулся отъ слова бракъ: истинная любовь не содрогнулась бы, но все же бракъ страшенъ. Контрактованіе себя—кабала, цѣпь и т. д.».

Въ концѣ концовъ Боткинъ все-таки женился. Вскорѣ послѣ возвращенія въ Москву, 6-го августа, онъ писалъ женѣ А. И. Герцена: «Тѣ двѣ недѣли (т.-е. отъ разрыва съ невѣстой) были великой школой для меня, и я впродолженіе ихъ уразумѣлъ много такого, о чемъ прежде не имѣлъ и понятія,—я уразумѣлъ, что сердце живетъ само по себѣ, независимо отъ нашего ума и размышленія, что у него есть свои законы, которые оно налагаетъ на него деспотически,—страшный подземный міръ, мистическая ночь, которая рождаетъ и судьбу, и любовь и ненависть. Я помню: ужасъ охватилъ меня, когда я почувствовалъ въ сердцѣ пустоту и ледяную, непріязненную холодность». Ужасъ этой пустоты, одиночества, повидимому, совершенно овладѣлъ имъ, ему опять казалось, что привязанность къ Арманс могла бы наполнить эту пустоту. «Я боролся съ собою изо всѣхъ силъ,—разсказываетъ Боткинъ,—подалъ просьбу о выдачѣ мнѣ заграничнаго паспорта, гналъ всякую мысль, всякое желаніе увидѣть ее. Двѣ недѣли почти продолжалась эта борьба, и я, утомленный, измученный, разслабленный, съ мучительною болью въ груди просилъ свиданія и сказалъ, что я не могу, не имѣю силъ уѣхать отъ нея».

О всемъ своемъ поколѣніи Боткинъ съ отчаяніемъ говорилъ: «въ насъ рефлексія убила возможность истинной полноты чувства». Въ данномъ случаѣ, истинная полнота чувства была, дѣйствительно, доступна не многимъ изъ представителей тогдашней интеллигенціи, кажется, впрочемъ, что такъ было не отъ рефлексіи, а отъ того, что въ эту пору женщины интеллигентнаго класса въ общемъ ужъ очень отставали въ своемъ общемъ развитіи отъ мужчинъ. Очеркъ Салтыкова въ «Пошехонской Старинѣ» «Валентинъ Бурмакинъ» прекрасно передаетъ трагическое одиночество средняго интеллигентнаго мужчины въ тогдашнемъ обществѣ. Лизы изъ «Дворянскаго Гнѣзда» для жизни не годились, а такіе типы, какъ Елены

изъ «Наканунѣ», появились позднѣе. Глубокая пропасть лежала между умственными развитіями мужчины и женщины и мысль связать свою жизнь съ женщиною, съ которою имѣешь мало общаго, не могла не смущать многихъ. «Знаете, какую женщину полюбилъ бы я совершенно безъ всякой рефлексіи?—спрашивалъ Боткинъ, и слова его, на нашъ взглядъ, живо передаютъ настроеніе многихъ людей сороковыхъ годовъ:—Женщину, которая умѣла бы вездѣ ставить $2\times2=4$, женщину, съ которой я не долженъ бы былъ обращаться, какъ съ дитятею, съ которой могъ бы я мѣняться всѣми своими убѣжденіями и вѣрованіями, женщину, которая имѣла бы смѣлость презирать общественное мнѣніе, презирать его не вслѣдствіе скоропреходящаго экстаза чувства, но вслѣдствіе размышленія, вслѣдствіе сознанія тѣхъ лживыхъ и лицемѣрныхъ законовъ, на какихъ зиждется его пошлое устройство... До сихъ поръ цѣнятъ въ женщинахъ невинность и непосредственность. Какая эгоистическая оцѣнка,—оцѣнка, въ которой такъ и просвѣчиваетъ отношеніе повелителя къ рабу! Я знаю, романтики строятъ на этихъ двухъ безтолковыхъ качествахъ свою сентиментальную кабалистику. Но изъ этой кабалистики нельзя построить ни матерь Жанно, ни Шарлотту Корде».

Арманъ, конечно, не могла бы ни въ чемъ удовлетворить этимъ требованіямъ, во всякомъ случаѣ вполнѣ законнымъ. Но развязка наступила гораздо даже скорѣе, чѣмъ можно было ожидать при различіи характеровъ и развитія обѣихъ сторонъ. Въ Петербургѣ Боткинъ обвѣнчался съ Арманъ и молодые немедленно отправились за границу. Но уже на пароходѣ они поссорились; по увѣренію Герцена, ссора вышла изъ-за разнорѣчія молодыхъ относительно героя жоржъ-зандовскаго романа «Jacques», читаннаго ими въ дорогѣ. Въ Гаврѣ Арманъ бросила мужа. Впослѣдствіи она вернулась въ Россію и, въ поискахъ фортуны, исчезла гдѣ-то въ Сибири.

Боткинъ, называвшій въ цитированномъ письмѣ къ Н. А. Герценъ свое предстоящее путешествіе съ Арманъ—«праздникомъ своей жизни», остался за границею одинъ.

IV.

Тяжелое нравственное состояніе Боткина послѣ разрыва съ женою.—Жизнь русской интеллигенціи сороковыхъ годовъ въ Парижѣ. — Черезчуръ отвлеченный, оторванный отъ жизни, характеръ умственныхъ интересовъ.—Погоня за наслажденіями, какъ выходъ изъ этой оторванности.

Свѣдѣнія о первомъ пребываніи Боткина за границею послѣ разрыва съ Арманъ—крайне скудны. Но понятно, какъ тяжело было его нравственное состояніе. Оно произвело въ немъ даже рѣшительный переломъ, развило

до крайности скептицизмъ въ отношеніяхъ къ людямъ, вызвало наружу все, что таилось непривлекательнаго въ его характерѣ и что ранѣе не всплывало наружу, заслоненное живыми интеллектуальными интересами. Несомнѣнно, хотя порою и печально, что взгляды человѣка бываютъ подчинены его настроенію и аффектамъ. То же случилось и съ Боткинымъ. Разочарованный въ людяхъ, онъ мало-по-малу скептически начинаетъ смотрѣть и на проведеніе въ жизнь того или иного взгляда на вещи; мало-по-малу онъ становится въ рѣзкую оппозицію тѣмъ общественнымъ теченіямъ, которыя были необходимымъ слѣдствіемъ взглядовъ и стремленій его собственной молодости. Въ періодъ отъ половины сороковыхъ годовъ до начала шестидесятыхъ и происходилъ мало-по-малу полный переворотъ въ нравственной личности Боткина.

Всю осень 1843 года и до половины 1844 г. Боткинъ ни разу не обмѣнялся письмами даже съ Бѣлинскимъ. Въ іюнѣ этого года Боткинъ отъ другихъ узналъ о женитьбѣ критика. Столь же сдержанъ былъ онъ и съ друзьями. Они другъ отъ друга узнавали о странствованіяхъ В. П.— если не ошибаемся, главнымъ образомъ въ Италіи; этими кочеваніями онъ, видимо, хотѣлъ заглушить свою душевную тоску. Напомнимъ, что неудачная любовь совпала съ окончательнымъ отрѣшеніемъ Боткина отъ прежняго традиціоннаго и романтическаго міровоззрѣнія.

«Вас. Петр. много измѣнился,—сообщалъ друзьямъ въ іюнѣ 1844 года Огаревъ, получившій за границею отъ него нѣсколько писемъ:—его характеръ принялъ странный оттѣнокъ желчности, и лучшая его натура только изрѣдка пробивается симпатически, какъ и прежде. Онъ теперь въ Италіи. Пишетъ, что впечатлѣнія природы не имѣютъ въ немъ отголоска, чему я не вѣрю; должно быть, онъ натягиваетъ на себя это расположеніе духа. Какъ бы то ни было, онъ страдаетъ». («Изъ переписки». Р. М. 1890, IX).

Тогдашнее душевное состояніе свое Боткинъ ярко изобразилъ въ письмѣ Огареву отъ 17-го февраля 1845 года, имѣющемъ большой интересъ въ историко-литературномъ отношеніи, какъ живой и правдивый «человѣческій документъ» эпохи:

«Со мною случилось словно перерожденіе, словно съ души спала кора, и я нашелъ себя послѣ долгой, долгой потери,—говоритъ Боткинъ.—Теперь мнѣ все хочется уединенія, чтобы привести хоть немного въ какой-нибудь порядокъ эту безсознательно стремящуюся полноту души. Мнѣ кажется, что я выбрался изъ длиннаго, душнаго подземнаго прохода, и не надышусь свѣжимъ воздухомъ. Засохнувшая душа подаетъ признаки жизни и съ любовью, хотя и стыдливо и съ робостью, смотритъ на все, чѣмъ прежде дорожила, къ чему стремилась и отъ чего оторвана была потокомъ горькихъ обстоятельствъ. Можетъ быть, это мучительное чистилище и нуж-

но было, но оно, все-таки, было такъ тяжело, такъ долго продолжалось, что страшно подумать, что я снова могу впасть въ него. Причина его была не одна только практическая *), но всего болѣе теоретическая. Разрушеніе всего прежняго міросозерцанія; полное искреннее отрицаніе такъ называемаго бога, жалкій жребій человѣка, преданнаго произволу силы и случайности, шаткость или, точнѣе сказать, разстройство большей части прежнихъ моральныхъ и мнимо-нравственныхъ законовъ,—словомъ, полный Untergang **) всего, на чемъ держится практически и теоретически современное общество,—охватывая постепенно душу и умъ, погрузили ихъ въ хаосъ и выбили ихъ изъ нормальной колеи. Я чувствовалъ, что я потерялся, ибо не чувствовалъ подъ собой никакой основы; я внутренно слѣдовалъ только одному закону—закону произвола. Чувство долга я потерялъ даже изъ созерцанія; aucune de mes sentiments et même de sensations n'avaient ni intensité, ni intimité ***), все внутри не шло, а перевалилось какъ-то механически; мысли апатически сидѣли въ головѣ и не переходили въ сердце... Жизнь казалась мнѣ, какъ говоритъ Гамлетъ, пустымъ полемъ, покрытымъ изсохшею травою, надъ которымъ носится смерть, какъ самый отрадный другъ. Страшно, Огаревъ, такое состояніе; я томился, чувствуя на себѣ какія-то тяжкія и неуловимыя оковы, мнѣ было душно—и въ душѣ никакихъ потребностей, никакой вѣры, никакой надежды. Я отдалъ бы жизнь свою за грошъ, за пустую ссору, отдалъ бы свою будущность первой . . . . , которая бы мнѣ полюбилась... въ чувствахъ были только желчь и сарказмъ. И въ такомъ состояніи промаялся я почти годъ. Экая живучесть во мнѣ мерзости! Прошу послѣ этого имѣть обо мнѣ порядочное мнѣніе». (Р. М. 1891 г., VIII).

Это душевное настроеніе сгладилось въ Парижѣ, куда Боткинъ пріѣхалъ осенью 1844 года. Здѣсь онъ нашелъ не мало знакомыхъ и въ богатой умственной жизни Парижа того времени, въ городѣ, который такъ прельщалъ его въ годы ранней молодости, ожилъ.

Изъ русскихъ, съ которыми встрѣтился Боткинъ, въ Парижѣ были въ это время М. Бакунинъ, Сазоновъ, русскій помѣщикъ, проведшій всю жизнь въ разговорахъ среди кружковъ русской эмиграціи, супруги Панаевы, наконецъ Огаревъ, уѣхавшій потомъ снова въ Германію.

Огаревъ и раньше еще былъ близокъ съ Боткинымъ; близость ихъ достаточно видна и изъ цитированнаго только-что письма. Натуры ихъ, по-русски расплывчатыя, были родственны. Сближала ихъ также одина-

*) Т.-е. неудачный бракъ.

**) Гибель, крушеніе.

***) Боткинъ пишетъ по-французски не безъ ошибокъ.

ковая страстная любовь къ музыкѣ. Огаревъ прекрасно проникъ въ характеръ Боткина и въ одномъ изъ писемъ этого времени освѣщаетъ черту жесткости, которая въ Боткинѣ приняла впослѣдствіи отталкивающее выраженіе. «Энергическая слабость моей практической жизни,—писалъ Огаревъ Герцену отъ 29/17 декабря 1844 года:—убійственна; она всегда меня перебрасываетъ изъ глупости въ жесткость или жестокость. Не смѣйся надъ этимъ. Это черта слабыхъ характеровъ. Милый Вас. Петр.—самый рѣзкій примѣръ».

Самая внѣшность парижской жизни, «парижская улица», живо занимала кружокъ русскихъ. Улицу иные изъ нихъ изучали до того пристально, что попадали въ скандальные процессы, какъ то случилось съ какимъ-то капитаномъ Клыковымъ, вертѣвшимся здѣсь. Болѣе серьезные бросались на политику, на искусство, на науку.

Собственно политическіе вопросы мало интересовали Боткина. По увѣренію Головачевой-Панаевой, чрезвычайно, впрочемъ, враждебно относящейся къ Боткину въ своихъ воспоминаніяхъ, онъ былъ мученикомъ въ тѣхъ случаяхъ, когда Бакунинъ, Сазоновъ или Панаевъ начинали гдѣ-нибудь въ ресторанѣ, не стѣсняясь, разсуждать другъ съ другомъ или даже съ французами о политическомъ положеніи Европы. Ему всюду мерещились шпіоны, которые будто бы слѣдятъ за русскими въ Парижѣ, и въ каждомъ посѣтителѣ, обѣдающемъ одиноко, онъ видѣлъ шпіона и страшно сердился на спорящихъ. Его воображеніе разыгрывалось иногда до того, что онъ отъ страха убѣгалъ изъ ресторана.

Новыя научныя теченія болѣе занимали Боткина. Вмѣстѣ съ Н. Г. Фроловымъ (другъ Грановскаго, впослѣдствіи переводчикъ «Космоса» Гумбольдта и издатель «Магазина землевѣдѣнія и путешествій») Боткинъ съ восторгомъ слушалъ лекціи О. Конта, развивавшаго свою систему положительной философіи. Въ это время славились также лекціи Кёста (Coste) по эмбріологіи. Массу слушателей привлекали, наконецъ, Кэне и Мишле. Фроловъ писалъ о послѣднихъ, что «они твердятъ молодежи, что и ей нужно жить и дѣйствовать, что она—дитя революціи, а церковь уже три вѣка не въ состояніи принести людямъ что-либо живое и питательное». Боткина живо интересовали также новыя вѣянія въ Германіи, родной его душѣ. Пріѣхавшій изъ Берлина членъ герценовскаго кружка Н. М. Сатинъ привезъ друзьямъ новые разсказы о Германіи. «Германія не спитъ,—съ воодушевленіемъ писалъ Боткинъ Огареву въ томъ же письмѣ отъ 17-го февраля:—нѣтъ, философія не даромъ прошла по Германіи; конечно, теоретическая смѣлость далеко не есть еще практическая, но важно то, что Германія воспиталась теоретическою отвагою, а это необходимо должно вести къ практической отвагѣ, особенно, когда Германія убѣдится, что философія не сама себѣ цѣль, и отдѣльный философствующій субъектъ не есть еще во-

площающій міровой духъ; что цѣль ея—сдѣлать свободнымъ не субъекта (и что важнаго во внутренно абстрактной свободѣ?).—Теперь не то; вѣчная проблема снова становится во всей своей неумолимой дикости, и человѣкъ выступаетъ изъ фантастическаго царства своего въ свою тяжкую философскую сферу и въ ней долженъ завоевать свое положительное царство и достоинство».

Въ поясненіе къ этимъ словамъ можно привести нѣсколько стиховъ изъ четвертаго «монолога» Огарева, гдѣ то же настроеніе—переходъ отъ безплоднаго скептицизма къ дѣятельному міровоззрѣнію во имя правъ и свободы человѣка—передано въ видѣ освобожденія отъ Мефистофеля.

Боткинъ, какъ передаетъ Огаревъ въ одномъ тогдашнемъ письмѣ, называлъ такое настроеніе, бодрое, несмотря на то, что въ міровоззрѣніи рухнули прежніе призраки: «смотрѣть чорту въ глаза». Такая «негація», какъ выражались тогда, конечно, оставляетъ человѣку увѣренность въ его силахъ и въ правотѣ его стремленій. «Мефистофель—чистое безсиліе, негація—чистая сила»,—говоритъ Огаревъ.

Къ сожалѣнію, люди сороковыхъ годовъ чувствовали ежеминутно, что прилагать къ чему-либо только-что выработанные ими идеалы дѣятельности зачастую совершенно немыслимо, или, по крайней мѣрѣ, немыслимо въ той широтѣ, какую идеалы имѣли въ теоретической сферѣ. Тѣмъ болѣе чувствовалось отсутствіе почвы для дѣятельности за границею и расхолаживающе дѣйствовало на энтузіастовъ, особенно на тѣхъ, въ комъ жилка дѣятельности была сильна.

Н. Г. Фроловъ, очень симпатичный постояннымъ своимъ стремленіемъ не ограничиваться теоретическими разговорами и переходить къ практической дѣятельности, къ широкому распространенію пріобрѣтаемыхъ знаній, мѣтко указываетъ отрицательную сторону господствовавшаго въ парижскомъ кружкѣ отношенія къ жизни. «Какъ намъ спастись отъ этой умственной болѣзни, которая снѣдаетъ наше поколѣніе?—спрашиваетъ онъ Огарева въ письмѣ отъ 8-го марта 1845 года:—отъ этого броженія мысли, въ минуту готовой строить и разрушить міръ и не внушающей ни сильныхъ, ни плодотворныхъ подвиговъ, ни истинно живыхъ ощущеній и дѣйствій, связныхъ, глубоко обозначающихъ себя?.. Послѣ всѣхъ этихъ разборовъ, преній, криковъ и возгласовъ, которыми наполнено наше время, съ какою тоскою возвращаешься въ свой уголъ, бросаешься на постель въ безсиліи и изнеможеніи! Одно меня поддерживаетъ и утѣшаетъ въ этомъ угрюмомъ взглядѣ на наше безплодно бьющееся поколѣніе, что сзади насъ подрастаютъ болѣе живые и свѣжіе умы, и собою веселѣе, и крѣпче, утвердительно созидая, будутъ продолжать наши глухія усилія».

Подобнымъ же образомъ писалъ Огареву и Сатинъ: «George Sand права,

Огаревъ! Въ наше время экспатріація—несчастье даже для русскаго. Я въ этомъ убѣдился, смотря на всѣхъ нашихъ пріятелей и знакомыхъ въ Парижѣ». Протестуя противъ того, что Фроловъ уклонялся отъ нравственно-философскихъ собесѣдованій, Сатинъ замѣчаетъ: «Дѣйствительно, эти толки большею частью обращаются въ празднословіе, а потому я не могъ согласиться и съ Боткинымъ, который сдѣлалъ свою жизнь изъ этихъ толковъ». Повидимому, въ Боткинѣ появилось теперь также не мало самоувѣренности, вызванной сознаніемъ, что міровоззрѣніе его окрѣпло. «Ты обвиняешь меня въ недовѣріи къ самому себѣ,—писалъ Сатинъ Огареву (4-го марта 1845 г.):—Душа моя, радъ бы въ рай! Но на чемъ же основать это довѣріе, не оправданное поступками? Это своего рода безсиліе и самонадуваніе».

Весь новый складъ мыслей Боткина, такимъ образомъ, висѣлъ въ воздухѣ. Отвлеченно-философскіе интересы, которымъ онъ отдавался съ жаромъ, сводились на своего рода умственную гимнастику. Негація, которою онъ проникался, оставалась сама по себѣ, а жизнь—сама по себѣ тоже: скептикъ во взглядѣ на людей, онъ не чувствовалъ, въ противоположность даже Фролову, не говоря о Бѣлинскомъ, Герценѣ или Грановскомъ, стремленія распространять новые свои взгляды, настоятельной необходимости того, чтобы слова обращались въ дѣло. Выработка подробностей новаго міровоззрѣнія, наиболѣе характеризующаго людей сороковыхъ годовъ, доставляла ему чисто дилетантское наслажденіе. Какъ истый эпикуреецъ, онъ жуировалъ и въ умственной сферѣ, разъ разрѣшивши себѣ всяческое жуированіе.

Иногда жуированіе прерывалось въ Парижѣ тѣми прискорбными послѣдствіями, которыми оно обыкновенно сопровождается и о которыхъ говорить обыкновенно не принято иначе, какъ со спеціалистами. Любопытно письмо Сатина отъ 3-го марта 1845 года, писанное, какъ видно, въ одинъ изъ подобныхъ гигіеническихъ перерывовъ, когда услаждаться и ему, и Боткину можно было только искусствами. Сатинъ разсказываетъ, какъ онъ въ полъ-пьяна послѣ завтрака съ капитаномъ получилъ письмо Огарева, разнѣжился, пошелъ слушать «Пуританъ» и какъ томился жаждою любви къ женщинѣ. У колонны театральныхъ сѣней онъ замѣтилъ какую-то молодую красавицу, которая показалась ему столь же растревоженною музыкой. «Съ другой стороны, не замѣчая меня, стоялъ Боткинъ,—разсказываетъ Сатинъ,—и тоже съ грустною улыбкой впился въ эту дѣвушку. Я подошелъ къ нему... Милый Боткинъ, его волновали тѣ же чувства, тѣ же страданія! «Милое, свѣтлое видѣніе», сказалъ онъ: «Да, и мы должны смотрѣть на него, какъ падшіе ангелы на врата рая!» Боткинъ сжалъ мою руку: «я плакалъ, Сатинъ, я давно такъ не плакалъ, какъ нынче; за-

чѣмъ васъ не было подлѣ меня, зачѣмъ тутъ нѣтъ Огарева?» Мы замолчали и снова смотрѣли на наше видѣніе; наконецъ, она вышла, сѣла въ карету съ двумя старушками и исчезла. Боткинъ проводилъ меня до дому, и мы разстались, крѣпко обнявшись и не сказавши двухъ словъ въ продолженіе получаса».

По увѣренію Анненкова, путешествіе по Испаніи, памятникомъ котораго стались извѣстныя письма, было совершено Боткинымъ въ одинъ изъ подобныхъ гигіеническихъ перерывовъ.

V.

Путешествіе Боткина по Испаніи.—„Письма объ Испаніи“ съ художественной стороны и какъ матеріалъ для характеристики личности Боткина.—Намеки въ „Письмахъ объ Испаніи“ на русскіе общественные вопросы.—Возвращеніе въ Россію.

Мы затрудняемся съ точностью опредѣлить время путешествія Боткина по Испаніи. Первое изъ «писемъ объ Испаніи» помѣчено: Мадритъ—май. Между тѣмъ Сатинъ писалъ Огареву 11-го августа изъ Барежа (въ Пиринеяхъ), какъ о событіяхъ вчерашняго дня: «Боткинъ и Тургеневъ проводили меня до Барежа (изъ Парижа). Тургеневъ шляется по Пиринеямъ, а Боткинъ, пробывъ со мною два дня, отправился въ Испанію. Мы очень веселились въ Бордо, купались въ океанѣ около Байонны и вообще совершили это путешествіе очень недурно».

Какъ бы то ни было, не имѣетъ никакихъ основаній басня, которую пустили въ шестидесятыхъ годахъ, будто Боткинъ никогда не бывалъ въ описанной имъ Испаніи, такъ что Щербина возглашалъ въ акаѳистѣ своемъ:

Радуйся, въ Испаніи небываніе,
Радуйся, Испаніи описаніе,
Плѣшивый чаепродавче, донъ-Базиліо, радуйся!

«Письма объ Испаніи» безспорно до сихъ поръ не утратили своего интереса. Помимо талантливаго, живого, нисколько не вычурнаго изложенія, своимъ успѣхомъ они обязаны были тому, что не были только болтовнею о первыхъ попавшихся на глаза предметахъ. Предпринимая свою поѣздку, Боткинъ основательно готовился къ изученію страны. Онъ уже ранѣе зналъ ея языкъ и читалъ въ подлинникахъ испанскихъ писателей старыхъ и новыхъ. Первоначально онъ не предполагалъ писать объ Испаніи. Книга его была составлена мало-по-малу изъ частныхъ писемъ въ Россію, пересмотрѣнныхъ и дополненныхъ. Но и не собираясь еще описывать путешествія, Боткинъ прочелъ нѣсколько сочиненій по исторіи

Испаніи, познакомился съ испанскими политическими изданіями, запасся рекомендательными письмами къ представителямъ различныхъ партій и т. п. Благодаря этому «письма» получили солидный характеръ. По увѣренію Дружинина, въ его статьѣ о «Письмахъ» (Библіотека для чтенія, 1857 г.), они «обратили на себя вниманіе германскихъ журналовъ, переведены по частямъ и встрѣтили за границею общее одобреніе». Мы не могли, впрочемъ, провѣрить это сообщеніе.

Оцѣнка «писемъ» съ художественной стороны, сдѣланная Дружининымъ въ упомянутой статьѣ, очень полна и вполнѣ справедлива. «Книга Боткина,— говоритъ Дружининъ,— долго останется любимою книгой читателя поэтически-развитого. Артистическій духъ, ее проникающій, всегда свѣжъ и плѣнителенъ. Въ ней родники поэзіи, которыхъ мы всегда жаждемъ. Она явилась во время и сдѣлала довольно пользы». «Въ письмахъ этихъ, несмотря на предметъ ихъ, такъ отдаленный отъ насъ и отъ интересовъ нашихъ, смѣло сказалось слово человѣка, цѣнящаго наслажденія и умѣющаго наслаждаться, слово писателя, всю жизнь любившаго солнце и цвѣтъ жизни, свято чтившаго правду и законность высшей поэзіи».

Дѣйствительно, Боткинъ любилъ «солнце и цвѣтъ жизни» и любовно рисовалъ теплыя картины южной жизни и природы. Спокойный, сочувственный, жизнерадостный интересъ къ испанской жизни налагаетъ особый поэтическій колоритъ на все, что разсказываетъ Боткинъ. Бой быковъ, море, берега Африки и Гибралтара, особенно же Гранада и Альгамбра и т. д. частью попали уже и въ христоматіи, какъ образцы художественной описательной прозы. Наблюденія надъ нравами иллюстрируются народными пѣснями, картинами природы, очерками о произведеніяхъ искусства и т. п.

Но вездѣ и всегда въ этихъ письмахъ чувствуется авторъ ихъ. Тонкая скептическая улыбка эпикурейца особенно сквозитъ въ описаніяхъ женщинъ, севильянокъ, кадиксянокъ и т. д. «Южная андалузка представляетъ собою самый совершенный типъ женской артистической натуры,— читаемъ въ одномъ изъ писемъ:—Можетъ быть, вслѣдствіе этого, здѣсь на женщинъ смотрятъ исключительно съ артистической стороны. Но, вѣдь, это безнравственно,—замѣтите вы мнѣ. Что же дѣлать! подите, убѣдите южнаго человѣка въ томъ, что духовныя отношенія выше чувственныхъ, что недостаточно только любить женщину, а надобно еще уважать ее, что чувственность страхъ какъ унижаетъ нравственное достоинство женщины... увы! ничего этого не хочетъ знать страстная натура южнаго человѣка». (Соч. т. I, 233).

Для характеристики Боткина далѣе слѣдуетъ отмѣтить то мечтательное

расплывчатое упоеніе, которому онъ отдается въ созерцаніи красотъ природы, «ненасытную нѣгу», по его собственному выраженію, которой онъ проникается среди ласкающей южной природы. Особенно любопытно описаніе томительно-сладкихъ ощущеній, навѣянныхъ на Боткина Гранадою.

«Гранада!!—восклицаетъ онъ въ послѣднемъ письмѣ:—если-бъ это слово могло передать вамъ хоть часть ея красоты, если-бъ я могъ перенести васъ въ маленькую комнату въ то время, когда закатывается солнце». Отказываясь, въ концѣ концовъ, отъ попытки нарисовать обаятельную картину этого заката, Боткинъ восклицаетъ: «Да нѣтъ! этой красоты нельзя передать, и все, что я пишу, есть не болѣе, какъ пустыя фразы; да и возможно ли отчетливо описывать то, чѣмъ душа бываетъ счастлива! Описывать можно только тогда, когда счастіе сдѣлается воспоминаніемъ. Минута блаженства есть минута нѣмая. Представьте же себѣ, что эта минута длится для меня здѣсь вотъ уже три недѣли. Въ головѣ у меня нѣтъ ни мыслей, ни плановъ, ни желаній; словомъ, я не чувствую своей головы; я ни о чемъ, таки совершенно ни о чемъ не думаю; но если-бъ вы знали, какую полноту чувствую я въ груди, какъ мнѣ хорошо дышать...

«Мнѣ кажется, что я растеніе, которое изъ душной темной комнаты вынесли на солнце: я тихо, медленно вдыхаю въ себя воздухъ, часа по два сижу гдѣ-нибудь подъ ручьемъ и слушаю, какъ онъ журчитъ, или засматриваюсь, какъ струйка фонтана падаетъ въ чашу... Ну что, если-бъ вся жизнь прошла въ такомъ счастіи!» (Соч. I, 283).

Этотъ недѣятельный, созерцательный, исключительно артистическій идеалъ счастья становится у Боткина мало-по-малу преобладающимъ.

Возвращаясь къ «Письмамъ объ Испаніи», считаемъ нужнымъ отмѣтить въ нихъ еще нѣкоторыя черты, любопытныя для стѣсненной литературы того времени и, можетъ быть, содѣйствовавшія успѣху «писемъ» въ то время, какъ они печатались въ «Современникѣ». Дѣло въ томъ, что Испаніею и Италіею въ сороковые годы у насъ интересовались не мало, не только потому, что жизнь этихъ странъ привлекала, какъ вообще заграничная малодоступная тогда жизнь, но и потому, что въ исторической судьбѣ ихъ видимо искали косвенныхъ аналогій съ положеніемъ Россіи. Еще раньше, въ «Европейцѣ» 1832 г., И. Кирѣевскій, очевидно не безъ умысла, помѣстилъ картину Испаніи, необыкновенно близко подходящую къ тогдашней Россіи и выставляющую слабое образованіе народа, поразительное развитіе нищенства, самоуправство властей и неисполненіе закона. Къ историческимъ аналогіямъ у насъ, вообще, чувствовали особенную симпатію, благодаря, между прочимъ, Грановскому, защищавшему ихъ, какъ спеціальный историко-публицистическій методъ. Послѣдній былъ довольно

благодарнымъ средствомъ для того, чтобъ обходить бдительность цензуры. Самъ Грановскій въ началѣ своей профессорской карьеры былъ живо заинтересованъ Испаніею. Кудрявцевъ написалъ диссертацію по исторіи Италіи. Объ Испаніи и Ирландіи, странахъ застоя, собирался писать въ сороковыхъ годахъ неизмѣнный членъ кружка Грановскаго, Е. Ѳ. Коршъ. Не будетъ преувеличеніемъ съ нашей стороны предположить, что и «Письма объ Испаніи», особенно первыя изъ нихъ, когда цензура не такъ еще свирѣпствовала, какъ въ смутный періодъ 1848—1855 годовъ, привлекали разсѣянными тамъ и сямъ намеками, вкрадывавшимися въ нихъ, можетъ быть, совершенно невольно.

Путевыя впечатлѣнія отъ Бургаса до Мадрита, географическія условія мѣстности навѣяли на путешественника впервые мысль о томъ, что въ Испаніи найдется кое-что общее съ Россіею. «Сколько разъ говорилъ я про себя, — читаемъ въ одномъ мѣстѣ: — да это наши безконечныя равнины Россіи—только дальняя синяя полоса горъ разрушала сходство».

Испанія—для Боткина—«мало знаемая сторона, которая до сихъ поръ продолжаетъ представлять одну изъ печальнѣйшихъ политическихъ задачъ нашего времени». Контрастъ между природнымъ богатствомъ страны и даровитостью обитателей, съ одной стороны, и между матеріальнымъ и духовнымъ обнищаніемъ ея съ другой — особенно поражаетъ туриста. «Въ Испаніи богатство лежитъ у ногъ человѣка, стоитъ только наклониться за нимъ; но испанцы еще не любятъ наклоняться». «Все здѣсь необыкновенно дѣйствуетъ на душу, на воображеніе, а главное—возбуждаетъ самый страстный интересъ къ этой благородной странѣ, имя которой каждый сынъ ея не произноситъ, не прибавивъ: «несчастная!..» «Вотъ уже тридцать лѣтъ Испанія постоянно находится въ судорожныхъ конвульсіяхъ. Она хочетъ оторваться отъ своего прошедшаго и хочетъ въ то же время сохранить всѣ свои старыя, завѣтныя преданія». «Главное несчастіе Испаніи въ томъ, что она отстранена была отъ того движенія, которое составляетъ почву новой исторіи Европы, и не только это движеніе здѣсь не проникло въ народъ, даже высшіе классы остались ему чужды. Вотъ существенная причина этой удивительной неопредѣленности всѣхъ политическихъ движеній Испаніи. Она хочетъ и ищетъ формы, не уяснивъ себѣ сначала сущности, не усвоивъ содержанія; а потому—несмотря на всѣ внѣшнія реформы, несмотря на то, что нигдѣ теперь правительство не составляетъ больше законовъ и проектовъ для всякаго рода улучшеній, несмотря на нескончаемыя рѣчи, которыя говорятся въ палатахъ кортесовъ,—финансы, судопроизводство, администрація остаются въ томъ же видѣ, какъ они были при блаженной памяти испанскихъ короляхъ,—и продажность, подкупъ, взятки властвуютъ по прежнему» (I, 128—129).

Все это—мотивы, хорошо знакомые русской интеллигенціи и впервые громко раздававшіеся и въ печати, а еще болѣе въ обществѣ, именно въ сороковые годы. Отъ патріархальнаго «земля наша велика и обильна, но порядка въ ней нѣтъ» и отъ восклицанія Пушкина, которое вырвалось у него при чтеніи ему Гоголемъ «Мертвыхъ Душъ»: «Боже, какъ грустна наша Россія!» до споровъ между квасными защитниками россійской самобытности и до безчисленныхъ и безплодныхъ тогдашнихъ мѣропріятій искоренить у насъ взяточничество и водворить дѣйствительный порядокъ въ управленіи—во всемъ этомъ есть дѣйствительное сходство съ тѣмъ, что Боткинъ говоритъ объ Испаніи, и современники, конечно, жадно ловили подобныя совпаденія.

Какъ въ произведеніи, написанномъ въ состояніи духа до извѣстной степени переходномъ, въ «Письмахъ» слѣдуетъ отмѣтить еще скептическія сомнѣнія Боткина въ самой способности рода человѣческаго къ совершенствованію,—сомнѣнія, которыя впослѣдствіи привели его къ враждебному отношенію ко всякому дѣятельному жизненному идеалу. «Если подумать,—говоритъ онъ объ испанскихъ маврахъ,—что это блестящее арабское племя, за 1000 лѣтъ до насъ совершившее столько доблестныхъ подвиговъ, возвысившееся до такой образованности и оставившее по себѣ столь изящные памятники, теперь погружено въ такое глубокое варварство, то право трудно не усомниться въ этомъ такъ называемомъ безконечномъ совершенствованіи, особенно когда еще видишь, что на мѣстѣ исчезнувшей цивилизаціи владычествуютъ дикость, невѣжество и изувѣрство» (I, 93).

Итакъ, въ путешествіи Боткина по Испаніи эпикурейско-созерцательное отношеніе къ жизни и желчный скептицизмъ по отношенію ко многому, что раньше влекло его къ себѣ, уже преобладаютъ въ его характерѣ.

Изъ Испаніи Боткинъ пробрался въ Италію, а лѣтомъ 1846 г. странствовалъ по Рейну со своимъ братомъ Николаемъ Петровичемъ, всю жизнь проводившимъ въ путешествіяхъ. Этимъ же лѣтомъ Боткинъ встрѣтился за границею съ П. В. Анненковымъ и путешествовалъ съ нимъ по Тиролю и Ломбардіи. Анненковъ привезъ обстоятельные разсказы о внутреннихъ событіяхъ, которыя московскій кругъ западниковъ пережилъ за время отсутствія Боткина, о поворотѣ къ изученію народа вслѣдъ за славянофилами, о размолвкѣ между Герценомъ и Грановскимъ, который не рѣшался итти въ новыхъ реальныхъ нравственно-философскихъ воззрѣніяхъ до конца. Эти разсказы переданы Анненковымъ въ его «Замѣчательномъ десятилѣтіи». Боткинъ, можетъ быть, именно увлеченный Анненковымъ, возобновляетъ сношенія съ московскими друзьями; готовясь возвратиться на родину, онъ снова знакомится съ ихъ литературными работами, особенно обильными у Герцена и Бѣлинскаго.

Въ октябрѣ 1846 года Боткинъ былъ въ Женевѣ, куда попалъ на другой день послѣ внутренней революціи въ городѣ, которую и описываетъ въ письмѣ Анненкову.

Въ ноябрѣ Боткинъ былъ уже въ Петербургѣ.

VI.

Практическое направленіе Боткина. - Боткинъ въ роли защитника западно-европейской буржуазіи. — Раздоръ съ „Современникомъ". — Боткинъ объ „Антонѣ-Горемыкѣ" и „Запискахъ охотника".

«Встрѣча моя съ нашими общими пріятелями была для меня необыкновенно пріятна и интересна,—такъ Боткинъ писалъ изъ Петербурга П. В. Анненкову. — Изъ нихъ, разумѣется, первое мѣсто принадлежитъ Бѣлинскому. Въ его понятіяхъ я нашелъ большую перемѣну, по моему мнѣнію, къ лучшему».

Такимъ образомъ первая встрѣча Боткина, настроеннаго по-новому, съ петербургскими друзьями еще не привела къ разрыву или сильному охлажденію. Бѣлинскій надѣялся, что Боткинъ поселится въ Петербургѣ и будетъ сотрудникомъ тогда только-что устроеннаго подъ новою редакціею «Современника». Помѣшали тому собственныя дѣла Боткина въ Москвѣ и еще, какъ сообщаетъ г. Пыпинъ, «личное недоразумѣніе съ однимъ изъ издателей новаго журнала (кажется, съ И. И. Панаевымъ).

«Скажу тебѣ правду,—писалъ Боткину, когда тотъ уже былъ въ Москвѣ, Бѣлинскій (29-го янв. 1847 г.):—твое новое практическое направленіе, соединенное со враждою ко всему противоположному, произвело на всѣхъ насъ равно непріятное впечатлѣніе, на меня перваго». Но Бѣлинскій надѣялся, что Боткинъ лишь въ теоретическомъ спорѣ придаетъ такое значеніе ультра—практическому направленію. Это направленіе — вывезенный изъ-за границы взглядъ на важную роль, которую должна сыграть въ русской жизни просвѣщенная буржуазія. Къ ней, повидимому, и причисляетъ себя теперь Боткинъ.

Скажемъ нѣсколько словъ о томъ, что Боткинъ нашелъ въ Москвѣ. Дѣло въ томъ, что кругъ западниковъ началъ въ ней уже терять свой прежній поэтическій и одушевленный характеръ. Университетъ и главнымъ образомъ Грановскій достигли уже въ обществѣ извѣстнаго признанія, и вліяніе университета стало уже обычнымъ факторомъ московской умственной жизни. Столкновенія со славянофилами еще продолжались, но споры приняли уже менѣе острую окраску: западники овладѣвали темами славянофиловъ и историческая роль послѣднихъ закончилась бы гораздо ранѣе, если бы періодъ съ 1848 по 1855-й годъ не задержалъ послѣдовательнаго

развитія обоихъ направленій мысли. Съ другой стороны, въ средѣ самихъ западниковъ появлялись новыя теченія, какъ слѣдствіе прежняго. Разрывъ между Герценомъ и Грановскимъ, вслѣдствіе несогласія по нравственно-философскимъ вопросамъ, предвѣщалъ еще болѣе рѣзкія столкновенія между людьми сороковыхъ годовъ и послѣдующими поколѣніями.

«Съ отъѣздомъ Герцена кружокъ нашъ какъ-то осиротѣлъ»,—жаловался Боткинъ Анненкову. Это было понятно, потому что никто такъ сильно, какъ Герценъ, не заставлялъ итти впередъ, мѣшая замыкаться въ готовые кружковые взгляды. Теперь все получало извѣстную опредѣленную форму, и Боткинъ справедливо жаловался на узкій кружковый отпечатокъ, который легъ на лицъ и мнѣнія ихъ, на офиціальность въ смыслѣ общихъ идей, на рутину мысли и чувства (письмо Анненкову отъ 20-го марта 1847 года).

Письма Боткина къ Анненкову за этотъ періодъ чрезвычайно любопытны, какъ матеріалъ для характеристики московскихъ нравовъ и событій. Здѣсь находимъ отклики на «Переписку» Гоголя съ друзьями, къ которой Боткинъ отнесся, конечно, вполнѣ отрицательно; на университетскія дѣла, изъ-за которыхъ вышли въ отставку профессора Рѣдкинъ и Кавелинъ и едва не вышелъ Грановскій; на славянофильскую проповѣдь, за которою Боткинъ теперь вполнѣ признаетъ ея отрицательное значеніе.

Но политико-экономическіе вопросы привлекаютъ его болѣе всего; по крайней мѣрѣ онъ возвращается къ нимъ почти въ каждомъ письмѣ, отстаивая западно-европейскую буржуазію. Статьи Милютина въ «Отеч. Зап.» о пауперизмѣ, письма Герцена изъ Avenue-Marigny въ «Современникѣ» начали у насъ литературу по соціальному вопросу. Боткинъ, самъ капиталистъ, становится на оппортунистическую точку зрѣнія. Онъ протестуетъ противъ отрицательнаго отношенія къ западно-европейской буржуазіи, потому что оно можетъ быть на руку реакціонерамъ. «Я вовсе не поклонникъ буржуазіи,—рѣшительно заявляетъ онъ въ письмѣ отъ 12-го октября 1847 г., повторяя то, что говоритъ и въ другихъ мѣстахъ писемъ: — и меня не менѣе всякаго другого возмущаетъ и грубость ея нравовъ, и ея сильный прозаизмъ; но въ настоящемъ случаѣ для меня важенъ фактъ *). Я скептикъ; видя въ спорящихъ сторонахъ, въ каждой, столько же дѣльнаго, сколько и пустого, я не въ состояніи пристать ни къ одной, хотя въ качествѣ угнетеннаго классъ рабочій, безъ сомнѣнія, имѣетъ всѣ мои симпатіи. А вмѣстѣ съ тѣмъ не могу не прибавить: дай Богъ, чтобъ у насъ была буржуазія!» Уже такое двойственное отношеніе къ предмету, въ ко-

*) Т.-е. извѣстное совершенство общественныхъ формъ, сравнительно съ болѣе отсталыми странами, котораго достигла буржуазія.

торомъ надо стать рѣшительно на ту или другую сторону, предвѣщало въ будущемъ еще большія разногласія между Боткинымъ и представителями новаго направленія въ литературѣ.

Любопытно, что свою новую политико-экономическую точку зрѣнія Боткинъ примѣнилъ было и къ литературѣ, измѣряя ея достоинство тѣмъ, насколько она стоитъ на высотѣ практическихъ промышленныхъ интересовъ страны. Это было своего рода «экономическимъ матеріализмомъ», о которомъ такъ много говорятъ въ настоящее время. Тутъ онъ пошелъ было дальше Бѣлинскаго, который въ эту пору все болѣе склонялся къ приданію критикѣ исключительно публицистическаго характера. Боткинъ находилъ, что русская литература уже сдѣлала крупные шаги въ этомъ направленіи. «Остается только литературной критикѣ освободиться отъ своего Молоха—художественности... Пока промышленные интересы у насъ не выступятъ на сцену, до тѣхъ поръ нельзя ожидать настоящей дѣльности въ русской литературѣ». Впрочемъ, онъ тутъ же оговаривается, что, должно быть, «вретъ». «Тогда какъ въ Англіи и Франціи литература есть зеркало нравовъ, у насъ она—наставительница. Вотъ почему вся сила ея заключается въ идеалогіи. Двигаютъ массами не идеи, а интересы, но просвѣщаютъ ихъ идеи» (письмо Анненкову отъ 20-го ноября 1846 г.) *).

Антипатія Боткина къ «художественности» оказалась ужъ очень преходящею. Очень скоро онъ начинаетъ отрицательно относиться къ Бѣлинскому именно за то, въ недостаткѣ чего упрекаетъ критика сначала.

Размолвкѣ между Бѣлинскимъ и Боткинымъ содѣйствовало и чисто внѣшнее обстоятельство: личная симпатія второго къ издателю «Отеч. Зап.», къ Козьмѣ Рощину—какъ называлъ Краевскаго Бѣлинскій, столько времени на него работавшій. Бѣлинскій требовалъ, чтобъ и московскіе друзья его оставили «Отеч. Зап.», какъ журналъ, обязанный своимъ успѣхомъ исключительно ему, и перешли бы въ «Современникъ». Тѣ не согласились,—кажется, благодаря больше всего Боткину, доказывавшему, что надо поддержать оба журнала; онъ, напримѣръ, усиленно старался втянуть въ «О. З.» Соловьева и т. п. На литературное поприще Бѣлинскаго онъ смотрѣлъ, какъ на покончennое, о чемъ прямо заявляетъ въ письмѣ къ Краевскому отъ 3-го апр. 1847 г.

---

*) Въ „Нов. Словѣ“ за апрѣль 1897 г. г. Novus въ статьѣ „На родныя темы“ съ большимъ сочувствіемъ отмѣчаетъ всѣ эти взгляды Боткина. Замѣтимъ, что они не только не имѣли ни какого вліянія, такъ какъ въ печати и не высказывались, но и врядъ ли ихъ вліяніе могло быть сколько-нибудь полезно, такъ какъ едва ли эта реабилитація буржуазіи могла бы породить въ то время что-либо кромѣ недоразумѣній, какъ это мы видимъ и теперь, когда къ такъ называемому „марксизму“, будто бы „оправдывающему“ буржуазію, примазываются несомнѣнные „буржуи“.

Лѣтомъ Бѣлинскій ѣздилъ за границу для лѣченія на средства, собранныя, между прочимъ, и Боткинымъ. Здѣсь, въ Зальцбруннѣ, онъ блистательно опровергъ опасенія друзей насчетъ паденія его таланта своимъ знаменитымъ письмомъ къ Гоголю, быстро распространившимся по всей Россіи въ многочисленныхъ спискахъ. Новый характеръ приняло и послѣднее написанное имъ обозрѣніе литературы (за 1847 годъ). Бѣлинскій дѣлалъ теперь рѣшительный шагъ вслѣдъ за Герценомъ, чисто-художественная сфера уже не удовлетворяла его. «Въ умѣ его,—говоритъ Анненковъ,—созрѣвали цѣли и планы для литературы, которые должны были измѣнить ея направленіе, оторвать отъ почвы, гдѣ она укоренилась, и вызвать враговъ другой окраски и, конечно, другого, болѣе рѣшительнаго и опаснаго характера, чѣмъ всѣ прежніе враги, хотя и горячіе, но уже обезсиленные на-половину и безвредные...» т.-е. Булгарины, Сенковскіе, Шевыревы и проч. (Анненковъ, Замѣч. десят., стр. 179). Боткину, скептику-созерцателю, нечего было дѣлать въ новой дѣятельной сферѣ, къ которой стремилась литература, а Бѣлинскій жаждалъ этой сферы для русскихъ, мечталъ о новомъ Петрѣ Великомъ и надѣялся подготовить литературно-критическою дѣятельностью хоть нѣкоторую почву для настоятельно-необходимой полной реформы всего крѣпостного строя.

Въ этомъ отношеніи Бѣлинскій придавалъ особенное значеніе живой цѣпкой беллетристикѣ, которая можетъ касаться такихъ предметовъ, говорить о которыхъ прямо по меньшей мѣрѣ затруднительно. Онъ, напримѣръ, высоко поставилъ извѣстную повѣсть Григоровича «Антонъ-Горемыка», произведеніе, имѣющее нынѣ, конечно, лишь историческій интересъ. Боткинъ, недовольный реалистическимъ, тенденціознымъ направленіемъ подобной народнической литературы, остался недоволенъ «Антономъ Горемыкою». «Ты сибаритъ, сластена,—писалъ ему на это Бѣлинскій въ декабрѣ 1847 года:—тебѣ, вишь, давай поэзіи, да художества—тогда ты будешь смаковать, да чмокать губами, а мнѣ поэзіи и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повѣсть была истинна, т.-е. не впадала бы въ аллегоріи или не отзывалась диссертаціею». Зато Боткинъ съ восторгомъ встрѣтилъ «Записки охотника», отнесясь къ нимъ съ чисто эстетической стороны. «Я читалъ ихъ съ такимъ же наслажденіемъ,—говоритъ онъ,—съ какимъ, бывало, разсматривалъ золотыя работы Челлини». Въ другомъ письмѣ Анненкову онъ говоритъ, что смакуетъ разсказы Тургенева, какъ великолѣпные персики Виченцы, гдѣ жилъ одно время съ Анненковымъ.

Такимъ-то образомъ чисто созерцательныя наклонности получали въ Боткинѣ, эпикурейцѣ и скептикѣ, мало-по-малу перевѣсъ надъ другими сторонами его характера. Темный періодъ 1848—1855 гг., положившій

почти полный конецъ какимъ бы то ни было дѣятельнымъ стремленіямъ общественнаго характера, могъ только укрѣпить въ немъ эти уже выразившіяся рѣзко наклонности.

VII.

Оскудѣніе умственной жизни въ эпоху 1848—1855 гг.—Статьи Боткина объ Огаревѣ, о Шекспирѣ, увлеченіе Карлейлемъ.—Боткинъ въ своей семьѣ и въ коммерческой сферѣ.—Переписка съ Дружининымъ и статья о Фетѣ.—Эстетическіе взгляды Боткина.—Полная неподготовленность его къ шестидесятымъ годамъ.

Мы не будемъ останавливаться на подробной характеристикѣ предсевастопольской эпохи. Извѣстно, что событія 1848 года въ Европѣ вызвали у насъ ничѣмъ не оправдываемую панику и рядъ мѣропріятій, имѣвшихъ цѣлью совершенно прекратить притокъ изъ-за границы освободительныхъ идей и положить предѣлы внутреннему умственному броженію. Дневникъ цензора Никитенки, «Очерки по исторіи русской цензуры» Скабичевскаго и другіе матеріалы могутъ дать достаточно ясное представленіе о тѣхъ невозможныхъ условіяхъ, въ которыя была поставлена литература, подчиненная чуть не дюжинѣ разнообразныхъ цензуръ. Журналы страшно упали и съ охотою печатали статьи—какъ острили неунывающіе россіяне—по исторіи кочерги и о значеніи ухвата. Даже сохранившіяся письма этого времени становятся совершенно безцвѣтными, такъ что могутъ служить лишь доказательствомъ, какъ замерла въ эту пору умственная жизнь.

Она почти изсякла и въ Москвѣ, гдѣ постоянно жилъ Боткинъ. Пріѣздъ танцовщицы Фанни Эльслеръ былъ едва ли не самымъ замѣчательнымъ событіемъ, которое дѣйствительно расшевелило московское общество. Среди интеллигенціи на первомъ планѣ были мелочные дрязги и сплетни, въ родѣ скандала между супругами Павловыми. Прежніе блестящіе салоны Елагиной, Свербѣевыхъ и пр. частью закрылись, частью потеряли свое прежнее обаяніе. Такія явленія, какъ защита прогремѣвшей диссертаціи (Грановскаго, Кудрявцева), какимъ-то чудомъ разрѣшенныя публичныя лекціи (1851 г., лекціи Грановскаго, Рулье, Соловьева и Шевырева), изрѣдка выходъ дѣльной книги («Пропилеи» Леонтьева, имѣвшія успѣхъ въ качествѣ изданія, которое шло въ разрѣзъ тогдашнему подозрительному отношенію къ классической древности),—такія явленія были и рѣдки и ужъ не возбуждали въ обществѣ прежняго плодотворнаго энтузіазма.

«Сердце ноетъ при мысли, чѣмъ были прежде, и чѣмъ стали теперь,—писалъ Грановскій Герцену о своемъ кругѣ, къ которому Боткинъ принадлежалъ еще попрежнему. — Вино пьемъ по старой памяти, но веселья въ сердцѣ нѣтъ». Онъ же повторялъ съ тоскою: «Благо Бѣлинскому! Онъ

умеръ во время». Боткинъ и другіе часто повторяли теперь четверостишіе изъ Гете, переведенное Грановскимъ:

Приди и сядь со мной на пиръ,
Грустить о вздорѣ перестанемъ:
Гніетъ, какъ рыба, дряхлый міръ —
Мы впрокъ его солить не станемъ.

Глубокіе нравственно-философскіе и литературно-общественные вопросы теперь уже не затрогиваются Боткинымъ. Онъ обрабатываетъ для печати свои «Письма объ Испаніи» и снова отдается музыкѣ—искусству, наименѣе соприкасающемуся съ дѣйствительностью. Но и тутъ выходили столкновенія: въ 1849 году цензура задержала отчетъ Боткина объ итальянской оперѣ въ Петербургѣ.

Въ «Современникѣ» 1850 г. Боткинъ напечаталъ небольшую статью объ Огаревѣ. Она интересна потому, что характеризуетъ до извѣстной степени ту «чистую художественность», которой увлекается Боткинъ и изъ-за которой—особенно по поводу Фета—у насъ переломали въ шестидесятые годы не мало копій.

Стихотворенія Огарева печатались въ «От. Зап.» первой половины сороковыхъ годовъ, и уже въ пятидесятые годы были забыты, потому что долго не было отдѣльнаго изданія ихъ. Изданіе пятидесятыхъ годовъ не повторялось, и потому Огаревъ забытъ нынѣ, все-таки незаслуженно, почти совершенно. Боткинъ относитъ его къ числу очень небольшому дѣйствительно оригинальныхъ русскихъ поэтовъ. «Огаревъ, — читаемъ въ статьѣ,—по самостоятельности таланта, истинѣ и простотѣ выраженія, задумчивой прелести и оригинальности колорита и глубокому поэтическому чувству, занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ между современными поэтами послѣ Лермонтова. Дѣйствительно, ни у одного изъ пишущихъ теперь поэтовъ не заключается столько музыкальности въ ощущеніяхъ, и никто не выражаетъ такъ эту беззвучную музыкальность чувства, какъ г. Огаревъ. Мы разумѣемъ подъ этими словами то состояніе души, когда она, вся погруженная въ свои внутреннія явленія, отдается имъ вполнѣ, не разбирая ихъ значенія, не стараясь сосредоточить ихъ въ какую-либо опредѣленную мысль, — когда она передаетъ эти затаенныя движенія чувства въ томъ самомъ видѣ, какъ проходятъ они въ сердечной глубинѣ, во всей ихъ безыскусственности и искренности». Особенно Боткинъ симпатизируетъ тому, что у Огарева впечатлѣнія природы, музыки, жизни—все пріобрѣтаетъ какую-то задушевность, понятную только сердцу читателя, и вмѣстѣ съ тѣмъ особенную музыкальную неопредѣленность, которую всего лучше можно сравнить съ паромъ, облегающимъ вечеромъ нашу сѣверную природу и который сообщаетъ полю и лѣсу какую-то неопредѣленную воз-

душность и что-то мечтательное, меланхолическое». Эта неуловимая меланхолическая мечтательность, воздушная фантастичность образовъ и настроеній, самодовлѣющая музыкальность особенно и привлекаютъ Боткина. Онъ и лично всегда симпатизировалъ мягкой, расплывчатой романтической натурѣ Огарева, симпатизируетъ и романтической задушевности (нѣмецкому Gemüth) его поэзіи; какъ Огаревъ и какъ истый сынъ романтической Германіи, онъ готовъ ежечасно предаваться сладкому и самодовлѣющему упоенію музыкальными ощущеніями.

Интересно, какъ къ этимъ же стихотвореніямъ Огарева отнесся человѣкъ уже иного склада характера. Въ 1856 году они были изданы отдѣльной книжкой и въ «Современникѣ» появилась о нихъ небольшая статья Н. Г. Чернышевскаго. Послѣдній не останавливается на поэтическихъ достоинствахъ стихотвореній и особенностяхъ таланта Огарева, такъ милыхъ Боткину. Чернышевскій подчеркиваетъ лишь психологическій интересъ стихотвореній, ихъ важное историко-литературное значеніе, какъ будто желая сказать: мы можемъ понять психологическое настроеніе поэта, сочувствовать ему, какъ предшественнику нашему, страдавшему отъ невольнаго бездѣйствія, но упиваться подолгу мотивами, меланхолическими и однообразными, которыми проникнуты его стихотворенія,— мы не въ силахъ; намъ нужно и въ поэзіи что-нибудь болѣе разнообразное, что захватывало бы не только созерцательные элементы нашего характера, но и активныя стремленія, въ насъ развитыя.

Нечего и говорить, что литературныя условія того времени не давали возможности развитію этихъ активныхъ стремленій. Отъ того-то такъ и процвѣтало въ эти годы такъ называемое «искусство для искусства», «чистое искусство», «чистая художественность».

Боткинъ занялся въ это время снова статьями о Шекспирѣ. Впрочемъ, написано изъ нихъ было только двѣ, широко же задуманный планъ—дать картину времени Шекспира, охарактеризовать литературныя теченія эпохи и англійскій театръ, критически разобрать произведенія Шекспира и т. д. остался не выполненъ. Причиною тому были частью недостатокъ времени изъ-за торговыхъ дѣлъ, частью болѣзнь, которая теперь постоянный спутникъ Боткина.

Написанныя статьи «Литература и театръ въ Англіи до Шекспира» и «Первые драматическіе опыты Шекспира» читаются съ большимъ интересомъ. Здѣсь и слѣда нѣтъ той философской шумихи, которой не чужды прежнія статьи Боткина о Шекспирѣ. Онъ указываетъ, вслѣдъ за Гервинусомъ, на несостоятельность метафизическихъ объясненій англійскаго драматурга и на то, что, несмотря на всѣ бывшіе, настоящіе и будущіе критическіе разборы Шекспира, ясное и отчетливое пониманіе его произведе-

ній возможно только въ ихъ сценическомъ представленіи, потому что для сцены единственно они были писаны *). Мимоходомъ Боткинъ иронизируетъ надъ узко-моралистическимъ взглядомъ на литературу вообще и на Шекспира въ частности, надъ взглядомъ, особенно развитымъ у англичанъ, которымъ «хотѣлось, чтобъ любимецъ ихъ и какъ человѣкъ остался бы безъ упрека,—черта, безъ сомнѣнія, дѣлающая честь нравственному чувству націи, хотя, съ другой стороны, затемняющая истину и вредящая вѣрному пониманію человѣка» (Сочинен. т. II, стр. 60 и 85).

Боткинъ въ это время охладѣлъ къ французамъ и къ прежней своей симпатіи, къ Жоржъ-Зандъ. Произведенія ея ему перестали нравиться своимъ дидактизмомъ. Симпатіи его теперь переходятъ мало-по-малу къ англичанамъ. Онъ особенно полюбилъ Карлейля, такъ что одно время у него было высшею похвалою для книги сказать, что она доставляетъ ему такое же наслажденіе, какъ Карлейль. Онъ перевелъ съ нѣкоторыми сокращеніями и напечаталъ въ «Современникѣ» первую и третью лекціи Карлейля «о герояхъ и почитаніи героевъ». Въ предисловіи къ нимъ онъ говоритъ съ восторгомъ о блестящей импровизаторской манерѣ Карлейля. «Этотъ, такъ сказать, осязательный процессъ глубокой, самостоятельной пытливой мысли, постоянно устремленной на высокое, прекрасное и таинственное въ природѣ и человѣкѣ, составляетъ величайшее очарованіе въ Карлейлѣ»,—читаемъ мы въ предисловіи Боткина. — «Притомъ мысль его выражается всегда съ необыкновеннымъ, увлекательнымъ одушевленіемъ». «Мы не знаемъ писателя,—говоритъ Боткинъ,—который съ глубочайшею серьезностью содержанія соединялъ бы такую суровую простоту и такую наивную характерность изложенія» (Соч. т. II, 4).

П. В. Анненковъ передаетъ въ «Замѣч. десятилѣтіи», что основу своихъ консервативныхъ воззрѣній Боткинъ и почерпнулъ въ Карлейлѣ. Дѣйствительно, скептикъ Боткинъ могъ найти много симпатичнаго себѣ въ Карлейлѣ, въ писателѣ, тоже романтикѣ на свой ладъ, такъ враждебно относящемся ко всякимъ готовымъ политическимъ доктринамъ, принимаемымъ на вѣру, ко всякому узко-кружковому взгляду, или къ книжному, не самостоятельному, черезчуръ отвлеченному воззрѣнію на вещи.

Лѣтомъ 1853 года умеръ Петръ Кононычъ Боткинъ. По завѣщанію, четверо изъ его 9 сыновей, въ томъ числѣ и Василій Петровичъ, были оставлены распорядителями наслѣдства. Торговыя занятія теперь почти совершенно отвлекаютъ Боткина отъ литературы; какъ главѣ семьи и какъ главѣ торговой фирмы, ему было долгое время не до литературныхъ занятій.

*) Боткинъ, впрочемъ, подобно Гервинусу, преувеличиваетъ трудность постановки шекспировскихъ пьесъ.

Фетъ разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Боткинѣ, какъ старшемъ въ семьѣ. «Даже самый ненаблюдательный человѣкъ не могъ бы не замѣтить того вліянія, которое Василій Петровичъ незримо производилъ на всѣхъ окружающихъ. Замѣтно было, что насколько всѣ покорялись его нравственному авторитету, настолько же старались избѣжать рѣзкихъ его замѣчаній, на которыя онъ такъ же мало скупился въ кругу родныхъ, какъ и въ кругу друзей. Кромѣ того, всѣ только весьма недавно испытали его педагогическое вліяніе, такъ какъ, вліяя въ свою очередь и на покойнаго отца своего, Василій Петровичъ младшихъ братьевъ провелъ черезъ университетъ, а сестрамъ нанималъ на собственный счетъ учителей, по предметамъ, знаніе которыхъ считалъ необходимымъ». (Фетъ, I, стр. 188).

Поддерживая свой безусловный авторитетъ въ семьѣ, В. П. Боткинъ вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно отстаивалъ репутацію своей солидности въ коммерческомъ мірѣ. Въ этомъ отношеніи очень любопытенъ слѣдующій эпизодъ.

Боткинъ въ эти годы очень привязался къ Тургеневу. 26-го сентября 1850 г. онъ писалъ Анненкову, что ждетъ свиданія съ Тургеневымъ, какъ съ любимою женщиной. Эта дружба была даже косвенною причиной извѣстной непріятности съ Тургеневымъ, когда онъ написалъ послѣ смерти Гоголя теплый некрологъ, не пропущенный петербургскою цензурой, и переслалъ его Боткину, а тотъ поспѣшилъ напечатать фельетонъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». За это Тургеневъ просидѣлъ три недѣли на съѣзжей и былъ высланъ въ свое село Спасское. Лѣтомъ 1855 года у Тургенева собралось много гостей, въ томъ числѣ Боткинъ, Дружининъ, Григоровичъ. Для собственнаго развлеченія общими силами сочинили и разыграли фарсъ, въ которомъ игралъ и Боткинъ, въ молодости участвовавшій въ спектакляхъ въ домѣ Огаревыхъ. Дружининъ вздумалъ изобразить это времяпрепровожденіе въ своихъ фельетонахъ, печатавшихся въ въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ». Это намѣреніе привело Боткина въ ужасъ: онъ телеграфировалъ Краевскому, а потомъ писалъ и Краевскому, и Дружинину, чтобы его имя—Боже упаси—не появилось въ этихъ фельетонахъ, рисуя его, главу торговаго дома, въ столь легкомысленномъ свѣтѣ. Въ письмѣ къ Дружинину онъ называлъ поѣздку къ Тургеневу «свѣтлымъ оазисомъ своей жизни», тѣмъ не менѣе—говорилъ онъ:—«находясь въ значительныхъ торговыхъ дѣлахъ, я долженъ держать въ строгости свое имя, въ противномъ случаѣ—это можетъ произвесть бурное впечатлѣніе на тотъ классъ, съ которымъ я связанъ по положенію моему». По всей вѣроятности, это опасеніе за свою репутацію не слишкомъ пріятно подѣйствовало на друзей его. Между нимъ и особенно редакціею «Современника» накоплялось не мало такихъ обостренныхъ отношеній изъ-за

мелочей. «*Современникъ* распускаетъ обо мнѣ ужаснѣйшія клеветы»,— жаловался Боткинъ Краевскому еще въ 1853 г.

Къ 1855 и 1856 гг. относится переписка Боткина съ Дружининымъ, тогда еще сотрудникомъ «Современника», а потомъ редакторомъ «Библіотеки для чтенія», и статья о Фетѣ, интересныя, какъ матеріалъ для характеристики эстетическихъ воззрѣній Боткина.

Нельзя, однако, безусловно причислить воззрѣній Боткина въ этой сферѣ къ взглядамъ защитниковъ чистаго искусства. Въ пятидесятые годы такими защитниками у насъ были Дружининъ и отчасти Анненковъ. Въ статьѣ о Пушкинѣ Дружининъ отрицательно отнесся къ гоголевскому реалистическому направленію литературы, какъ къ направленію дидактическому и потому ложному; искусство должно смотрѣть на жизнь тихо, спокойно и радостно, идиллически должно примирять насъ съ жизнью; сфера его—изображеніе психологической жизни, чуждой бурныхъ и грязныхъ волнъ дѣйствительности. Дидактическое направленіе Дружининъ совершенно напрасно приписалъ и критикѣ Бѣлинскаго, требовавшаго лишь, чтобы писатель стоялъ на всей высотѣ нравственныхъ, философскихъ и общественныхъ идей своего времени. Какъ въ произведеніяхъ писателей сороковыхъ годовъ, Тургенева, Гончарова, Герцена, Достоевскаго и пр. слились пушкинское и гоголевское теченіе, такъ и Боткинъ стоялъ за равноправность и синтезъ обоихъ направленій, изъ которыхъ защитники чистаго искусства одно прославляли въ ущербъ другому.

«По моему мнѣнію,—говоритъ Дружинину Боткинъ,—если русскій писатель любитъ свою страну и дорожитъ ея достоинствомъ, онъ не въ состояніи впасть въ идиллію. Намъ милы ясныя и тихія картины нашего быта, но онѣ могутъ быть для насъ только кратковременнымъ отдыхомъ, потому что, въ сущности, мы окружены не ясными и не тихими картинами. Нѣтъ, не протестуйте, любезный другъ, противъ гоголевскаго направленія—это необходимо для общественной пользы, для общественнаго сознанія. Я не хочу этимъ сказать, чтобы задушевный взглядъ Пушкина на русскую жизнь былъ не нужнымъ—о, напротивъ! Но сохрани Богъ исключительно слѣдовать одному изъ нихъ» (Письмо 6-го авг. 1855 г.).

Дружининъ заподозрилъ въ Боткинѣ симпатію къ дидактическому и тенденціозному направленію въ искусствѣ, и Боткинъ счелъ нужнымъ рѣшительно отвергнуть это подозрѣніе.

«По моему мнѣнію,—говоритъ Боткинъ ясно и опредѣленно,—не направленіе дѣлаетъ произведеніе дидактическимъ, а тупая, мелкая мысль, придуманная мысль, резонерскій умъ, холодное чувство, безталантность. Истинный поэтическій талантъ никогда не сдѣлаетъ свое произведеніе дидактическимъ, и Гоголь только тогда впадалъ въ дидактику, когда выхо-

дилъ изъ своего рода». (Боткинъ имѣетъ въ виду вторую часть «Мертвыхъ Душъ»). «Если наша литература впадетъ въ дидактику, это будетъ рѣшительнымъ признакомъ бездарности. Нѣтъ, я терпѣть не могу пошлаго; но, съ другой стороны, я вовсе не врагъ гоголевскаго направленія. Писуны могутъ опошлить всякое направленіе, но дѣло критики—всегда отдѣлять направленіе отъ бездарности. Къ сожалѣнію, общественная дидактика, по легкости своей, представляетъ большой просторъ для бездарныхъ писуновъ. Вы видите, что въ сущности мы сходимся, но вы, имѣя въ виду пошлыхъ представителей гоголевскаго направленія, осуждаете и самое направленіе. Я только въ томъ смыслѣ называю направленіе нашей литературы гоголевскимъ, что она, подобно ему, стремится воспроизводить дѣйствительность во всей ея реальности; но дидактизма въ ней я пока не замѣчаю». Такимъ образомъ, намъ кажется, что взглядъ Боткина на искусство былъ достаточно широкъ и, во всякомъ случаѣ, шире взглядовъ Дружинина, который со своимъ примирительнымъ направленіемъ строилъ одну изъ узкихъ и резонерскихъ теорій, ненавистныхъ Боткину и дѣйствительно вредныхъ въ сферѣ искусства, если онѣ навязываются художнику.

«Мы живемъ въ эпоху непомѣрнаго резонерства и необузданнаго стремленія все приводить къ теоріи,—писалъ Боткинъ Дружинину.—Не положительность и матеріальность составляютъ болячку нашего времени, а резонерство и тупая страсть къ теоріямъ и системамъ. Онѣ однѣ подтачиваютъ современное чувство: онѣ убили талантъ Ж. Занда, убили талантъ Гоголя. Духовный горизонтъ человѣка пересталъ имѣть просторъ и свободная игра фантазіи стѣснена разными, всюду насъ окружающими, тенетами теорій, системъ и резонерства».

Если переписка Боткина съ Дружининымъ интересна, какъ матеріалъ для характеристики его взгляда на широту содержанія искусства, то статья о Фетѣ любопытна тѣмъ, что показываетъ, подобно статьѣ объ Огаревѣ, въ какую сторону склоняются личныя симпатіи Боткина. По собственнымъ его словамъ, онъ упивался нѣкоторыми стихотвореніями Фета до сладострастія, но онъ далекъ отъ того, чтобы придавать поэзіи Фета значеніе всеобъемлющее и безусловное.

Статья, появившаяся въ «Современникѣ» 1857 года, распадается на двѣ части. Въ первой изъ нихъ Боткинъ хотѣлъ развить общія свои воззрѣнія на сущность поэзіи, но самъ признавался, въ письмѣ Дружинину отъ 26-го іюля 1856 г., что безпрестанно путается въ глубинахъ эстетическихъ опредѣленій. Дѣйствительно, эта часть очень туманна. Она начинается цѣлымъ рядомъ оговорокъ, имѣющихъ въ виду опровергнуть возможное подозрѣніе со стороны читателей, что авторъ, собираясь говорить

о поэтическихъ потребностяхъ, отрицательно относится къ болѣе насущнымъ вопросамъ экономическаго благосостоянія. Онъ заявляетъ, что съ радостью привѣтствуетъ тяготѣніе общественнаго мнѣнія къ этимъ вопросамъ и къ такому матеріальному направленію, но привѣтствуетъ не ради одного только матеріальнаго довольства, которое разольетъ это направленіе въ европейскомъ обществѣ, а потому, что «если это общество имѣетъ великую историческую будущность, то увеличившееся благосостояніе народовъ непремѣнно поведетъ за собою и возвышеніе нравственныхъ потребностей ихъ». Одна изъ такихъ вѣчныхъ нравственныхъ потребностей—безкорыстное чувство наслажденія красотою, сущность поэзіи. Боткинъ пытается опредѣлить, что такое красота и чувство красоты, но не выходитъ здѣсь изъ сферы чисто метафизическихъ представленій. Чувство красоты, разлитое, какъ намъ кажется, въ природѣ, онъ не пытается проанализировать такъ, какъ это дѣлается современными изслѣдованіями эстетики, стоящими на психо-физіологической почвѣ. «Мы живемъ тѣмъ же духомъ, которымъ живетъ природа,—говоритъ Боткинъ въ одномъ мѣстѣ:—мы—та же самая природа, но одухотворенная и сознающая себя. Нѣмая поэзія природы есть наша сознательная поэзія: намъ дано высказывать эту нѣмую поэзію природы. Отсюда наше чувство природы и вѣчной красоты ея. Красота эта не есть только случайная принадлежность какихъ-либо одинокихъ явленій въ природѣ: красота составляетъ вѣчную основу явленій мірового духа, основу всей неизслѣдимой творческой силы вселенной». Эти туманныя и ничего не говорящія опредѣленія на разные лады повторяются во всей первой части, причемъ въ одномъ мѣстѣ Боткинъ договаривается, наконецъ, до того, что называетъ чувство природы шестымъ человѣческимъ чувствомъ. Словомъ, понятіе о красотѣ представляется ему чѣмъ-то элементарнымъ, чуждымъ вліянія другихъ областей человѣческаго духа, независимымъ, напр., отъ моральныхъ представленій.

Признавая прежде всего крайнюю ограниченность сферы таланта Фета, Боткинъ этимъ самымъ обезоруживаетъ всѣхъ противниковъ «чистаго искусства», если бы они обратились противъ его восхищенія поэтомъ любви и весны. Затѣмъ въ статьѣ указаны отличительныя черты поэзіи Фета: искренность и задушевность, музыкальность неуловимыхъ ощущеній, къ которымъ чувствуетъ симпатію поэтъ, наконецъ въ особенности—свѣтлая и спокойная жизнерадостность, проникающая большинство произведеній Фета. Мимоходомъ Боткинъ высказываетъ чрезвычайно мѣткую мысль, именно, что стихи Фета могутъ служить пробнымъ камнемъ для опредѣленія, есть ли эстетическое чувство въ человѣкѣ. Пресловутое стихотвореніе: «Шопотъ, робкое дыханье», вызвавшее столько пародій и столько насмѣшекъ надъ Фетомъ, отнесено Боткинымъ, по справедливости, къ числу

произведеній очень удачныхъ. Словомъ, статья должна быть признана удачною характеристикою Фета; къ произведеніямъ его Боткинъ чувствуетъ теплую симпатію, но онъ далекъ отъ мысли видѣть въ нихъ альфу и омегу поэзіи. Сказать мимоходомъ, это послѣднее мнѣніе часто приписывается тѣмъ, кто защищаетъ *Фета* отъ нападокъ, направленныхъ собственно противъ землевладѣльца Шеншина.

Къ 1857 г. относится небольшая, довольно интересная въ своемъ родѣ статейка: «Объ употребленіи розы у древнихъ». Она появилась въ «Журналѣ садоводства», издаваемомъ зятемъ Боткина, проф. Пикулинымъ, и пожалуй любопытна въ томъ отношеніи, что показываетъ, какъ Боткинъ далекъ уже былъ въ эту пору отъ тогдашняго общаго оживленія литературы, предвѣстника шестидесятыхъ годовъ.

Это оживленіе такъ рѣзко отличалось отъ прежняго застоя, что онъ, подобно многимъ людямъ предшествовавшаго застоя, былъ просто оглушенъ новыми бодрыми голосами: они казались ему черезчуръ громки. Въ это время общее вниманіе привлекали, между прочимъ, «Очерки гоголевскаго періода русской литературы» Чернышевскаго, печатавшіеся въ «Современникѣ» и объяснявшіе обществу историческое значеніе и общественный смыслъ дѣятельности Бѣлинскаго. Боткину сдержанная рѣчь Чернышевскаго показалась черезчуръ громкою. Онъ просилъ Дружинина въ письмѣ отъ 9-го окт. 1856 г. передать редактору «Современника» Панаеву, чтобъ онъ остановилъ Чернышевскаго отъ дальнѣйшаго развитія послѣдней статьи его: потому что москвичи возмущены-де «ея несвоевременностью и ребяческою откровенностью».

Такимъ образомъ, Боткинъ, весь ушедшій въ свои торговые интересы и въ эпикурейское созерцаніе жизни, скептически относившійся ко всякимъ системамъ и теоріямъ, былъ застигнутъ шестидесятыми годами врасплохъ. Міровоззрѣніе его сложилось въ тяжелую для русскаго общества пору и годилось для дилетанта, любителя и тонкаго цѣнителя искусствъ. Теперь жизнь настоятельно требовала отъ всякаго, чтобъ онъ опредѣлилъ свое отношеніе къ совершающимся вокругъ него общественнымъ событіямъ. Боткинъ же перенесъ пассивное созерцательное отношеніе къ жизни и вражду къ системамъ и въ новую сферу, вдругъ открывшуюся для общества. А между тѣмъ здѣсь нельзя было обойтись безъ системы, безъ опредѣленнаго взгляда на общественныя отношенія. Растерянный, оглушенный общимъ порывомъ къ дѣятельности, Боткинъ нѣсколько времени еще увлеченъ освободительнымъ движеніемъ, но затѣмъ, не умѣя разобраться въ немъ, рѣзко отворачивается отъ него, не хочетъ признать его необходимымъ слѣдствіемъ своихъ собственныхъ вѣрованій.

VIII.

Боткинъ въ Парижѣ и Римѣ.—Начало реформъ.—Проекты журнала и общества распространенія грамотности.—Симпатіи къ Англіи.—Антипатія къ журналистикѣ.—Боткинъ о положеніи Россіи послѣ севастопольскаго разгрома.—Сближеніе съ Катковымъ.—Воспоминанія.—Музыка.—Эпикурейскій созерцательный идеалъ жизни, какъ причина сравнительной безплодности талантовъ Боткина.

Предъ восшествіемъ на престолъ Государя Александра II, путешествія за границу были у насъ очень затруднены. При измѣнившихся обстоятельствахъ, Боткинъ, какъ только позволили дѣла, поспѣшилъ за границу. Съ этого времени и до самой смерти онъ почти ежегодно надолго уѣзжаетъ изъ Россіи; болѣзни заставляютъ его скитаться по курортамъ, и эти болѣзни и скитанія—чуть ли не главное содержаніе его жизни за послѣднія 12 лѣтъ.

Главный біографическій матеріалъ для этого періода данъ перепискою Боткина съ Фетомъ, который въ 1857 г. женился на одной изъ его сестеръ. Матеріалъ этотъ долженъ быть признанъ очень богатымъ, особенно же онъ рисуетъ лично Боткина, его симпатіи и антипатіи, перемѣнчивое настроеніе его и т. д. Съ этой стороны мы и будемъ преимущественно пользоваться письмами Фета, оставляя частью въ сторонѣ иногда очень тонкіе критическіе отзывы Боткина о литературныхъ произведеніяхъ, разсѣянные тамъ сямъ, и путевые наброски, часто не уступающіе по живости «Письмамъ объ Испаніи».

Лѣто 1857 года Боткинъ провелъ въ Парижѣ, гдѣ жили тогда Тургеневъ и Гончаровъ, а также и Фетъ, потомъ художникъ Ивановъ. Наблюдая парижскіе нравы, наслаждаясь музыкою и художествами, Боткинъ прожилъ здѣсь и осень, и въ ноябрѣ перебрался вмѣстѣ съ Тургеневымъ въ Римъ. «Изъ Марселя ѣхали мы на Ниццу и потомъ берегомъ моря до Генуи,—разсказываетъ Боткинъ.—Я съ разныхъ сторонъ въѣзжалъ въ Италію, но ни откуда не являлась она въ такомъ сладкомъ чарующемъ видѣ, какъ со своей горной стороны.

„Все растетъ и рвется вонъ изъ мѣры".

«И рощи пальмъ, и огромные олеандры, и сады апельсинныхъ деревьевъ, а возлѣ всего этого голубое море. Есть мѣста, передъ которыми остаешься въ нѣмомъ экстазѣ». Самый Римъ и особенно дорога отъ Чивита-Веккіи произвели на него сначала гнетущее впечатлѣніе. «Я думаю, на всей землѣ нѣтъ ничего унылѣе тѣхъ мѣстъ, которыми ѣдешь отъ Чивита-Веккіи до Рима. Это какая-то прокаженная, проклятая земля. И въ народѣ, какъ въ землѣ этой, все выгорѣло, все выродилось. Я не знаю, причиною ли тому воображеніе или что другое, но ни одна страна, ни одинъ городъ не про-

изводитъ на мою душу такихъ впечатлѣній, какъ этотъ грязный, засаленный, унылый Римъ». Но ужъ черезъ двѣ недѣли онъ освоился съ нимъ и снова, какъ во дни молодости, готовъ былъ восхищаться всѣмъ. Онъ пишетъ, что не замѣчаетъ, какъ летитъ время, которое проходитъ въ задумчивомъ созерцаніи величавыхъ развалинъ старины и грязной современной нищеты. Вмѣстѣ съ Тургеневымъ онъ изучаетъ вѣчный городъ во всѣхъ подробностяхъ, и Тургеневъ называетъ его въ этомъ отношеніи неоцѣненнымъ товарищемъ.

Личный характеръ Боткина, однако, уже не былъ въ эту пору симпатиченъ Тургеневу. 12-го ноября н. с. 1857 г. послѣдній писалъ Анненкову: «Боткинъ здоровъ; я съ нимъ ежедневно вижусь, но я не живу съ нимъ. Въ его характерѣ есть какая-то старческая раздражительность, эпикуреецъ въ немъ то и дѣло пищитъ и киснетъ; очень ужъ онъ заразился художествомъ».

Кромѣ Тургенева, въ Римѣ Боткинъ нашелъ художника Иванова, князя Черкасскаго, молодого Ростовцева (сына извѣстнаго дѣятеля крестьянской реформы) и еще нѣсколькихъ русскихъ. Вѣсти съ родины скоро заставили этотъ кружокъ почти забыть о томъ, что было интереснаго на мѣстѣ. Въ іюлѣ 1857 г. членомъ секретнаго комитета по крестьянскому вопросу былъ назначенъ Великій Князь Константинъ Николаевичъ. 20-го ноября послѣдовалъ высочайшій рескриптъ на имя литовскаго дворянства съ разрѣшеніемъ устраивать губернскіе комитеты для составленія проекта «объ улучшеніи и устройствѣ быта крестьянъ». Въ дополнительномъ «секретномъ» отношеніи министра внутреннихъ дѣлъ уже прямо говорилось объ уничтоженіи крѣпостной зависимости, правда не вдругъ, а постепенно. Въ одну ночь, знаменитую ночь 20-го ноября, по иниціативѣ Великаго Князя и при дѣятельнѣйшемъ участіи Н. А. Милютина, рескриптъ и циркуляръ были отпечатаны и утромъ уже разосланы по всѣмъ губерніямъ съ поспѣшностью, которая вполнѣ оправдывалась глухими усиліями крѣпостниковъ тормазить реформу. Гласность, приданная такимъ образомъ дѣлу, сразу поставила его въ опредѣленное положеніе, и трудно передать восторгъ, охватившій лучшую часть русскаго общества, когда стало ясно, что поворота назадъ уже ни въ какомъ случаѣ не будетъ. Стихотвореніе И. С. Аксакова «на новый 1858 годъ» живо передаетъ тогдашнее бодрое и радостное настроеніе:

День встаетъ багрянъ и пышенъ,
Долгой ночи скрылась тѣнь,
Новой жизни трепетъ слышенъ,
Чѣмъ-то вѣщимъ смотритъ день.
Съ сонныхъ вѣждъ стряхнувъ дремоту,
Бодрой свѣжести полна,
Вышла, съ Богомъ, на работу
Пробужденная страна.

Въ Римѣ въ русскомъ кружкѣ сами собою составились сходки, на которыхъ обсуждались всѣ стороны великаго вопроса, рѣшавшагося тамъ—въ Петербургѣ. Произносились рѣчи; особеннымъ краснорѣчіемъ отличался князь В. А. Черкасскій, впослѣдствіи лично принявшій дѣятельнѣйшее участіе въ крестьянской реформѣ, какъ членъ редакціонной комиссіи. Боткинъ также сбросилъ здѣсь съ себя стариковское брюзжаніе. Возникла мысль объ основаніи журнала, посвященнаго спеціально реформѣ. Сообща обсудили и составили программу журнала; объяснительную записку къ ней написалъ И. С. Тургеневъ (помѣчена 9-мъ января 1858 г.). Цѣлью журнала должно было быть содѣйствіе правительству со стороны науки и литературы, т.-е. со стороны тѣхъ силъ,—говорилось въ запискѣ,—«которыя до сихъ поръ были поставлены въ недовѣрчивое отдаленіе отъ правительства—и готовы теперь съ радостью открыто, безъ всякихъ задникъ мыслей и тайныхъ намѣреній, отдаться въ распоряженіе власти, явно стремящейся къ водворенію и упроченію общаго блага». Мы идемъ къ Власти,—говорилось здѣсь далѣе:—не потому, что она Власть, а потому, что она желаетъ истины и добра и не налагаетъ на насъ никакого отреченія, не принуждаетъ насъ къ лукавству. Мы вѣримъ ей—пусть и она повѣритъ намъ!»

Задуманный журналъ, однако, не былъ разрѣшенъ. Тѣмъ не менѣе, только благодаря допущенной гласности, которою широко и умѣло воспользовалась литература шестидесятыхъ годовъ, — особенно «Современникъ» и «Русскій Вѣстникъ», — реформа была осуществлена наперекоръ упорному сопротивленію крѣпостниковъ: голосъ послѣднихъ былъ дискредитированъ именно русскою литературой.

Въ началѣ 1858 г. рескрипты объ учрежденіи губернскихъ комитетовъ были распубликованы въ губернскихъ вѣдомостяхъ, и эта мѣра сразу успокоила возбужденное состояніе народныхъ массъ; среди послѣднихъ ходили слухи, что помѣщики прячутъ волю. Вслѣдствіе приданной дѣлу гласности, крестьяне повсемѣстно спокойно дождались 1861 года.

«Духъ захватываетъ, когда думаешь о томъ, какое великое дѣло дѣлается теперь въ Россіи, — писалъ въ эту пору Боткинъ — ...уже ни о чемъ другомъ не думается и не читается, и постоянно переносишься мыслью въ Россію. Да, и даже вѣчная красота Рима не устояла въ душѣ, когда заговорило въ ней чувство своей родины» (Фетъ, I, 232).

Послѣ путешествія весною по Италіи, Боткинъ лѣтомъ 1858 г. былъ въ Англіи. Симпатія къ Карлейлю влекла его сюда уже давно. Англія, по его словамъ, превзошла всѣ его ожиданія *) и на нѣкоторое время онъ

*) Въ своихъ воспоминаніяхъ Фетъ почему-то выпустилъ ту часть письма Боткина изъ Лондона, въ которой говорилось о политической и общественной жизни въ

становится рѣшительно англоманомъ, настолько, что когда слабость зрѣнія стала ему мѣшать читать, онъ заводитъ себѣ для чтенія компаньонку, именно англичанку. Для Англіи Боткинъ снова берется за перо и помѣщаетъ, нѣсколько позднѣе, двѣ статейки въ англофильствовавшемъ «Русскомъ Вѣстникѣ»: «Двѣ недѣли въ Лондонѣ» и «Пріютъ для бездомныхъ нищихъ въ Лондонѣ».

Въ этихъ статьяхъ Боткинъ противопоставляетъ, между прочимъ, англійскій идеалъ джентльмена — внутренно распущеннымъ русскимъ людямъ. Особенно пріятно поражаетъ его, что гордый духъ независимости, живой интересъ къ общественной жизни вошли въ плоть и кровь народа, что уже стали дѣломъ чисто домашнимъ и обыденнымъ. Онъ не закрываетъ глазъ на отрицательныя стороны англійской жизни, но указываетъ на то, что ни одинъ англичанинъ не пытается, подъ предлогомъ любви къ родинѣ, недостатки которой надо будто бы скрывать, затушевывать эти отрицательныя черты. «Ни одна страна въ мірѣ, — говоритъ Боткинъ, — не подвергается такому неумолимому процессу анализа и критики отъ сыновъ своихъ, какъ Англія, и дай Богъ, чтобы каждый изъ насъ любилъ Россію, какъ англичанинъ любитъ свою Англію» (Соч. т. I, 337).

Въ это же время Боткинъ побывалъ на островѣ Уайтѣ, гдѣ жилъ Тургеневъ. Здѣсь былъ обработанъ проектъ общества грамотности, задуманнаго очень широко, но не осуществленнаго, подобно журналу, за неполученіемъ разрѣшенія.

Объ отношеніяхъ Боткина къ Герцену, жившему въ это время въ Лондонѣ и уже издававшему «Колоколъ», ничего опредѣленнаго мы сказать не можемъ: кажется, они видѣлись другъ съ другомъ и разошлись, какъ и слѣдовало ожидать, холодно.

Осенью 1858 г. Боткинъ вернулся въ Россію. Весною слѣдующаго 1859 г. онъ жаловался Дружинину на русскіе журналы, особенно на «Современникъ». «Ужъ не знаю, какъ и что сказать о немъ. Такого пошлаго панибратства со всѣми предметами, конечно, никогда еще не видано было въ русской литературѣ. Правда, что молодая редакція покойнаго «Москвитянина» оказывала подобное же панибратство, но только въ однихъ литературныхъ вопросахъ, — а «Современникъ» распространилъ эту пошлую безцеремонность на всѣ сферы и на всѣ возможные предметы. Это именно должно нравиться нашей публикѣ, и особенно нашей молодежи, потому что озадачиваетъ и льститъ нашему невѣжеству, которое изстари привыкло презирать и плевать на все, чего не понимало» *).

Англіи (I, 243). Можетъ быть, тутъ была параллель съ русскою дѣйствительностью, не понравившаяся Фету.

*) Далѣе въ письмѣ пропускъ. XXV лѣтъ, сборникъ, стр. 508.

Эта странная антипатія Боткина именно къ манерѣ тогдашней публицистики, какъ мы ужъ говорили, достаточно объясняется тѣмъ, что онъ никакъ не могъ привыкнуть къ свободной рѣчи, всюду раздававшейся тогда въ печати, хотя и подцензурной. Самъ онъ въ своихъ письмахъ, для печати не предназначавшихся, говоритъ пока рѣшительно то же, что и антипатичные ему публицисты «Современника» *). Очень характерно въ этомъ отношеніи письмо Боткина отъ 17-го іюня 1859 г. Здѣсь онъ рѣзко подчеркиваетъ значеніе севастопольскаго разгрома, совершенно въ томъ же смыслѣ, какъ понимали его и всѣ сторонники реформъ шестидесятыхъ годовъ.

«Для русскаго человѣка все европейское имѣетъ таинственное обаяніе. Такъ и быть должно, иначе мы были бы осуждены вѣчно коснѣть, подобно финнамъ и другимъ низшимъ племенамъ, въ нашемъ — не скажу варварствѣ, — а въ тупости и младенчествѣ. Собственно говоря, всякій народъ, все равно, европейскій или азіатскій, тупъ и младенецъ **). Послѣдняя война сняла плеву съ нашихъ глазъ; она показала, что съ туностью и младенчествомъ народа въ наше время далеко не уѣдешь. Назвавшись европейскимъ государствомъ, надо идти сообразно съ европейскимъ духомъ, или потерять всякое значеніе. Мы тридцать лѣтъ боролись съ европейскимъ духомъ и опомнились, очутившись у бездны. Мы только теперь начинаемъ понимать, что мы государство бѣдное, истощенное всяческою неурядицей, что мы не по одежкѣ протягивали ножки, что мы почти наканунѣ новаго банкротства, что наша полицейская роль въ Европѣ была безумствомъ. Да и многіе ли понимаютъ это теперь? Но великое счастье въ томъ, что это, наконецъ, поняло правительство. Винить тутъ некого: виновата та же тупость и младенчество; — вѣдь онѣ ходятъ не въ армякѣ только, но и въ шитыхъ золотомъ мундирахъ. Мы, дѣйствительно, самое еще младенческое государство въ Европѣ, и наши такъ называемые «образованные» напрасно съ такимъ презрѣніемъ смотрятъ на «необразованныхъ». Тутъ опять разница въ одномъ только платьѣ и внѣшности; внутренно же та же самая дичь, только подъ другими формами» (I, 298).

Чрезъ Фета Боткинъ близко сошелся съ редакціею «Русскаго Вѣстника». Съ Катковымъ онъ былъ близокъ во дни романтической молодости. Потомъ они разошлись, когда Катковъ вернулся изъ-за границы проповѣдникомъ Шеллинговой философіи откровенія. Катковъ «сталъ очень похожъ на вошь», читаемъ въ письмѣ Боткина къ Краевскому отъ 20-го мая 1843 года. Теперь

*) Совершенно подобнымъ же образомъ цензоръ Никитенко, крайне враждебный къ печатно высказываемымъ мнѣніямъ „Современника“ или „Русскаго Слова“, въ своемъ дневникѣ, самъ того не замѣчая, является во многомъ рѣшительно солидарнымъ съ ними.

**) Только подъ этою фразой и не подписалась бы редакція „Современника“.

отношенія ихъ приняли очень дружескій характеръ. Каткову Боткинъ уступилъ вышеупомянутыя статьи объ Англіи, на которыя претендовалъ Дружининъ. Съ симпатіей Боткинъ отнесся и къ Леонтьеву.

Во второй половинѣ лѣта 1859 г. Боткинъ снова уѣхалъ за границу. Въ этихъ безпрестанныхъ переѣздахъ онъ иногда какъ будто хотѣлъ заглушить чувство пустоты, его охватывавшее. «Въ душѣ моей тихо и душно, какъ передъ грозой, — жаловался онъ Фету въ письмѣ изъ Парижа: — но грозы ни откуда не предвидится, а потому вѣрнѣе будетъ сравнить ее со стоячимъ болотомъ...»

Недовольный сутолокой и мелочностью, какъ ему казалось, тогдашней жизни, онъ охотно обращается къ воспоминаніямъ о своемъ прошломъ. Особенно поразили и взволновали его извѣстныя литературныя воспоминанія И. И. Панаева, печатавшіяся въ «Современникѣ». «Они произвели на меня такое впечатлѣніе,—пишетъ онъ 20-го марта 1860 года Фету,— что я цѣлый вечеръ проходилъ словно во снѣ, забылъ идти на одинъ званый вечеръ и до перваго часа ночи бродилъ по Парижу, совершенно погруженный въ прошлое. Ты меня какъ-то упрекалъ за то, что я скучаю, но я часто вспоминаю это «прошлое», и моя ли въ томъ вина, что въ этомъ прошломъ заключено все мое лучшее? Моя ли въ этомъ вина, что смерть отрываетъ отъ сердца лучшихъ людей и лучшія чувства? Нѣтъ, я не скучаю, но одинокая жизнь иногда страшно тяготитъ меня. Сдѣлаться эгоистическимъ, эпикурейскимъ старцемъ — увы! — я не могу. Къ сожалѣнію, въ этомъ снаружи высохшемъ сердцѣ сохранились всѣ прежнія юношескія стремленія, съ тою только разницей, что подъ старость человѣкъ менѣе способенъ жить въ «общемъ», въ отвлеченномъ. Но всему этому уже теперь не поможешь» (I, 319).

Мимоходомъ отмѣтимъ, что въ этомъ же письмѣ Боткинъ спрашиваетъ Фета о дѣлахъ литературнаго фонда, основаннаго за годъ передъ тѣмъ по мысли Дружинина и при дѣятельномъ содѣйствіи Тургенева. Боткинъ относился пока къ новому учрежденію очень сочувственно.

Лѣто и осень 1860 г. прошли у него въ борьбѣ съ болѣзнью, онъ побывалъ въ Лондонѣ, въ Италіи и снова вернулся въ Парижъ. Здѣсь онъ и встрѣтилъ, объявленный 5-го марта, манифестъ 19-го февраля. Боткинъ лежалъ въ постели и не могъ принять участія въ томъ радостномъ празднованіи великой реформы, которое устроила часть русской колоніи въ Парижѣ, И. С. Тургеневъ, Н. И. Тургеневъ (декабристъ) и другъ.

Боткинъ въ эту пору съ трудомъ двигался, не могъ писать, потому что ослабѣло зрѣніе и т. п. Но, несмотря на жестокія физическія страданія, онъ не можетъ обойтись безъ того, чтобы не пополнять «пробѣлы» своего образованія, какъ онъ выражается; слушаетъ, напр., съ живѣйшимъ инте-

ресомъ книгу Гиббона, необходимую для него, чтобы познакомиться съ Византійскою исторіей; позднѣе читаетъ съ увлеченіемъ исторію Индіи или увлекается археологическими сочиненіями и т. п.

Особенно страстно онъ предается слушанію музыки, устраиваетъ у себя квартеты, приглашаетъ слушать ихъ знакомыхъ, особенно И. С. Тургенева съ г-жею Віардо. «Музыка теперь преобладающій элементъ моей жизни,— читаемъ въ одномъ изъ писемъ этого періода:—можетъ быть, это причиной того, что я не впадаю въ хандру. Это самый животворный источникъ для души». Въ концѣ концовъ, музыка стала для него, кажется, чѣмъ-то въ родѣ охмѣляющаго и возбуждающаго средства.

Переписываясь преимущественно съ Фетомъ, съ этимъ «Іереміей южной части Мценскаго уѣзда», какъ называлъ его Тургеневъ за безконечныя жалобы на злокозненность мужиковъ, Боткинъ отъ него, повидимому, и получалъ всѣ свѣдѣнія о положеніи дѣлъ въ Россіи и начиналъ смотрѣть на вещи его глазами. Онъ сочувствуетъ трудному положенію Фета въ хозяйствѣ, изливаетъ ему скорбь на великое «безобразіе» русскихъ журналовъ и т. п.

8-го октября н. с. 1861 г. Тургеневъ, всегда нецеремонный въ своихъ письмахъ, сообщаетъ изъ Парижа Анненкову: «Боткинъ — entre nous soit dit — окончательно превратился въ безобразно-эгоистическаго, циническаго и грубаго старика». Дѣйствительно, подобное впечатлѣніе не могъ не производить человѣкъ, весь ушедшій исключительно въ исканіе пріятныхъ ощущеній, даваемыхъ музыкою и другими искусствами. Съ этой стороны очень характерны признанія его въ письмѣ отъ 28-го января 1862 г. Описавши свое болѣзненное состояніе, онъ говоритъ. «Но не думайте, что я упалъ духомъ или впалъ въ апатію; напротивъ, все живое прежнее словно окрѣпло во мнѣ; мнѣ кажется, что я ближе сталъ къ своей молодости и яснѣе понимаю тѣ immer grüne Gefühle, о которыхъ говоритъ Жанъ-Поль. Всѣ прежніе боги сохранили ко мнѣ свою благосклонность, исключая одной Венеры; ну, да съ ней я уже давно былъ въ холодныхъ отношеніяхъ. Но зато Аполлонъ, кажется, удвоилъ свою благосклонность ко мнѣ. Въ самомъ дѣлѣ, способность чувствовать прекрасное не только не угасла во мнѣ, но, кажется, удвоилась. Нѣтъ, тысячу разъ неправда, что жизнь обманываетъ насъ, и что напрасно намъ даны наши лучшія стремленія. Въ 50 лѣтъ я имѣю право говорить о нихъ уже съ увѣренностью опыта. Съ этой далекой станціи яснѣе виденъ пройденный путь, яснѣе видишь своихъ истинныхъ и ложныхъ друзей. И что же! Къ чему стремилась душа въ юности, то оказывается неизмѣннымъ; въ предчувствіи чего она находила счастіе, то и теперь даетъ ей счастіе. Неизслѣдимы тайны человѣческаго духа, и не можетъ бѣдный умъ мой проникнуть въ ихъ глубины, да я отказался

уже отъ этихъ тщетныхъ усилій, отъ всѣхъ опредѣленій. Одно знаю я, что существуетъ что-то, называемое людьми мыслью, что-то называемое поэзіею, искусствомъ, которое даетъ мнѣ величайшее счастіе, и съ меня этого довольно. Знаю я, что потеря этихъ ощущеній равняется для меня смерти, и пока живы органы, которыми я могу ощущать это, я властитель безконечнаго пространства. Что мнѣ за дѣло, что человѣкъ есть, въ сущности, безсильный червь, который каждую минуту гибнетъ и сливается съ этою безконечною жизнью вселенной, — но пока этотъ червь существуетъ, онъ имѣетъ способность испытывать неизреченныя наслажденія. Что мнѣ за дѣло, что я не знаю *абсолютной* истины, но я знаю то, что мнѣ кажется истиной. Боже меня сохрани выдавать мое воззрѣніе за единственно истинное, но оно *хорошо* для меня, а вѣдь, въ сущности, всякій долженъ *дѣлать* свое счастіе. Жизненная мудрость состоитъ въ томъ, чтобы обѣдать кускомъ чернаго хлѣба и ѣсть его съ наслажденіемъ, или, какъ говорятъ музыканты, производить великіе эффекты малыми средствами» (Фетъ, Соч. т. I, 386—387).

На самомъ дѣлѣ, Боткинъ великими средствами достигалъ ничтожныхъ эффектовъ: оттого такъ скоро и забытъ онъ былъ, не оставивъ по себѣ, какъ о человѣкѣ, памяти сколько-нибудь прочной. Чтобы еще разъ оттѣнить полную безплодность усвоеннаго Боткинымъ исключительно эпикурейски-созерцательнаго взгляда на жизнь, мы позволимъ себѣ напомнить слова человѣка, тоже не первостепенныхъ талантовъ, умѣвшаго цѣнить чувственно-прекрасную сторону жизни, но оставившаго по себѣ прочный слѣдъ въ жизни цѣлаго народа,—слова Дидро:

«Я не пренебрегаю чувственными наслажденіями; у меня также нёбо, которому доставляютъ удовольствіе тонкія явства и прекрасныя вина; у меня есть сердце и есть глаза, и мнѣ пріятно видѣть хорошенькую женщину. Иногда я съ удовольствіемъ принимаю участіе въ обществѣ друзей въ такихъ пирушкахъ, которыя бываютъ шумны. Но я не хочу скрывать отъ васъ, что мнѣ гораздо болѣе пріятно помочь какому-нибудь несчастному, окончить какое-нибудь щекотливое дѣло, дать спасительный совѣтъ, прочесть что-нибудь поучительное, сдѣлать прогулку въ обществѣ дорогихъ для меня мужчины или женщины, провести нѣсколько часовъ въ занятіяхъ съ моими дѣтьми, написать хорошую страницу, исполнить обязанности моего положенія, сказать той, которую я люблю, что-нибудь столь нѣжное и пріятное, что она за это обовьетъ своими руками мою шею. Есть такія дѣянія, что я отдалъ бы все, что имѣю, за то, чтобы быть въ состояніи ихъ совершить. «Магометъ» — великое произведеніе, но я предпочитаю ему возстановленіе чести Каласа» (племянникъ Рамо).

Весною 1862 года Боткинъ (вмѣстѣ съ Тургеневымъ) пріѣхалъ въ Рос-

сію. Реакція не завершеннымъ еще реформамъ уже носилась въ воздухѣ, но въ литературѣ было еще въ полномъ разгарѣ выясненіе нравственнаго содержанія ихъ, шелъ дѣятельный пересмотръ старыхъ формъ и воззрѣній на всѣ области человѣческаго вѣдѣнія. Но все это не могло уже встрѣтить такого сочувствія со стороны эпикурейца, чуждаго стремленій какъ бы то ни было вмѣшиваться въ общественную жизнь и не видѣвшаго въ ней никакого человѣческаго смысла.

IX.

Послѣдніе годы жизни Боткина.—Польскій вопросъ.—Мнѣнія Боткина о журналистикѣ.—Тяжелое сознаніе одиночества и неудачно прожитой жизни.—Послѣдняя болѣзнь и смерть Боткина.—Л. Толстой о смерти Боткина.—Завѣщаніе Боткина.—Фетъ и Тургеневъ о Боткинѣ.—Заключеніе.

Въ половинѣ мая 1862 г. Боткинъ былъ въ Москвѣ и затѣмъ въ Степановкѣ у Фетовъ, куда явился вмѣстѣ съ Тургеневымъ. Въ своихъ воспоминаніяхъ Фетъ передаетъ объ этой встрѣчѣ, что она ознаменовалась ожесточеннымъ споромъ между нимъ и двумя западниками по вопросу о грамотности. Тургеневъ, горячо поддерживаемый Боткинымъ, представлялъ будто бы Россію въ видѣ параличнаго тѣла, которое надо де «буравить», для оживленія, его всякими буравами, въ томъ числѣ и распространеніемъ грамотности. Воспоминанія Фета, особенною достовѣрностью не отличающіяся, въ данномъ случаѣ говорятъ только, что Боткинъ все-таки далеко не былъ похожъ на заурядняго ретрограда, въ родѣ самого Фета.

«Въ Москвѣ пусто и скучно,—писалъ Боткинъ тогда же осенью, собираясь снова за границу:—отвожу душу только у Каткова, съ которымъ вижусь часто». Отводить душу имъ было можно, конечно, на воспоминаніяхъ о прошломъ, къ которымъ Боткинъ отдается теперь съ особенною любовью.

Въ августѣ онъ былъ проѣздомъ въ Берлинѣ, и здѣсь, на родной его душѣ нѣмецкой почвѣ, воспоминанія нахлынули на него съ особенною силой. Осматривая городъ, посѣщая театры и наслаждаясь въ нихъ классическими произведеніями германской литературы, онъ невольно противопоставляетъ германскую культуру славянской. «Дорогой я все вспоминалъ васъ и вашу Степановку,—пишетъ онъ Фетамъ.—Какъ обработана эта бѣдная почва, сколько кладется навоза на эти скудныя поля! Что бы сдѣлали нѣмцы съ почвой Степановки? Переѣзжая изъ мутной Польши въ нѣмецкую землю, словно вступаешь въ какой-то свѣтлый край. Бѣдное славянское племя! Мы винили Гоголя за то, что онъ давалъ славянскому племени низшее значеніе противъ германскаго. Увы!—всякій убѣдится въ этомъ наглядно».

«Да, здѣсь es wird mir behaglich zu Muthe,—продолжалъ онъ:—это,

главное, оттого, что все мое духовное развитіе связано съ Германіею. Не говоря уже о философіи, поэзіи, даже нѣмецкій комизмъ мнѣ по сердцу». Онъ вспоминаетъ Станкевича, Грановскаго, свои первыя увлеченія нѣмецкимъ романтизмомъ. «И вотъ на склонѣ лѣтъ своихъ я снова привѣтствую эту страну, которая впервые пробудила въ моей душѣ все, что ей до сихъ поръ дорого. Въ сущности, какъ мало мѣняется человѣкъ! Говорятъ, что старость есть возвращеніе къ дѣтству; нѣтъ, не къ дѣтству, а къ юности:

„Такъ исчезаютъ заблужденья
Съ измученной души моей,
И возникаютъ въ ней видѣнья
Первоначальныхъ чистыхъ дней".

«Чѣмъ болѣе вдумываюсь въ себя, тѣмъ болѣе нахожу въ себѣ то, чѣмъ былъ я въ юности; странно, и идеалы даже не измѣнились, прибавилось только résignation и терпѣнія».

Это признаніе самого Боткина подтверждаетъ то, что мы выше уже говорили по поводу статьи объ Огаревѣ: нѣкоторыя стороны нѣмецкаго романтизма — особенно эта созерцательная задушевность (Gemüth) — уцѣлѣли въ характерѣ Боткина.

Увлеченный воспоминаніями, онъ одно время мечталъ даже завести себѣ гдѣ-нибудь въ Германіи спокойный chalet, чтобы имѣть постоянный уголъ на то время, когда врачи совѣтовали ему покидать Россію.

Зиму Боткинъ проводилъ опять въ Парижѣ. Но здѣсь спокойствіе его было нарушено польскимъ возстаніемъ 1863 года. Онъ даже прекратилъ свои квартеты, потому что потерялъ на время охоту къ музыкѣ, поглощенный чтеніемъ газетъ. За границею, какъ извѣстно, сочувствовали польскому возстанію, и особенно сильно это сочувствіе было въ Парижѣ. Въ виду этого русскимъ парижская жизнь была не особенно пріятна, и Боткинъ хотѣлъ поскорѣе вернуться въ Россію.

Къ тѣмъ русскимъ газетамъ и журналамъ, которые пытались по этому щекотливому вопросу сохранить свое мнѣніе и занять примирительную позицію, Боткинъ отнесся съ озлобленіемъ, которое можно объяснить, вѣроятно, только непріятностями, случавшимися въ Парижѣ съ русскими. Въ своихъ письмахъ онъ то и дѣло честитъ русскихъ журналистовъ — «пустоголовыми прогрессистами», «мальчишками», «легкомысленными головами» и т. п. «Я никогда не подозрѣвалъ въ себѣ такой національной струны, которая теперь обнаружилась, — говоритъ онъ: — все другое замерло во мнѣ».

Знаменитыя катковскія статьи, съ громами и молніями противъ поляковъ, были встрѣчены Боткинымъ съ полнымъ восторгомъ. «Вотъ настоящій государственный взглядъ на дѣло, — говорилъ онъ. — Наши безмозглые прогрессисты не могутъ понять его, драпируясь въ свой абстрактный и пустой

либерализмъ»... «Цѣль поляковъ вовсе не конституція, — твердитъ Боткинъ на разные лады обычное тогдашнее обвиненіе противъ польскихъ замысловъ, — а прогнать и забить насъ въ Азію и обратить Россію въ слабое второстепенное государство. Вотъ этой-то цѣли не понимаютъ мальчишки-прогрессисты» (Фетъ, I, 414—416).

Въ концѣ апрѣля 1863 г. Боткинъ снова въ Петербургѣ, гдѣ снова ужасается «безсмыслію» русской литературы и умиляется «Московскими Вѣдомостями». По пріѣздѣ въ Москву, онъ прежде всего спѣшитъ повидаться съ Катковымъ и, кажется, принимаетъ участіе въ торжественномъ обѣдѣ, устроенномъ въ честь Каткова въ англійскомъ клубѣ. «Имя Каткова уже вошло въ исторію нашего общественнаго развитія», — замѣчаетъ онъ въ одномъ изъ писемъ.

Въ маѣ мѣсяцѣ въ Москвѣ былъ и Фетъ. Вмѣстѣ съ Боткинымъ они бывали у Каткова и ужасались и ахали тлетворной проповѣди «Современника» и особенно прогремѣвшаго тогда романа Чернышевскаго «Что дѣлать?». Фетъ вызвался написать для «Русскаго Вѣстника» разборъ романа и принялся за него лѣтомъ, съ одобренія Боткина. Но, кажется, разборъ вышелъ и для Каткова черезчуръ ужъ охранителенъ, такъ что онъ и не принялъ его въ свой журналъ *).

Тургеневъ, переписывавшійся въ эту пору съ Боткинымъ, писалъ ему 8-го іюля 1863 года, съ тонкою ироніей: — «Твое письмо, любезный Василій Петровичъ, дышитъ патріотизмомъ. Видно, что ты въ Москвѣ плавалъ въ его волнахъ. Я это вполнѣ понимаю и завидую тебѣ, но все-таки я не могу, подобно тебѣ, не пожалѣть о запрещеніи «Времени» — журнала, во всякомъ случаѣ, «умѣреннаго». Да и мнѣ, какъ старому щелкоперу, всегда жутко, когда запрещаютъ журналъ» (Фетъ, I, 433).

Боткинъ, какъ видно изъ этого письма, выражавшій удовольствіе по поводу запрещенія журнала, уже настолько удалился отъ литературной сферы, что осенью этого года, поселившись въ Петербургѣ, писалъ Фету: «Знакомыхъ у меня здѣсь много и, слава Богу, не изъ литературнаго круга». Симпатія къ новому направленію Каткова, къ фетовскимъ «письмамъ изъ деревни» и т. д. — все это отдѣляло Боткина отъ прежнихъ знакомыхъ и друзей. Онъ поддерживаетъ лишь сношенія съ литераторами, занимавшими второстепенное и третьестепенное мѣсто въ тогдашней журналистикѣ, съ П. В. Анненковымъ, А. Д. Галаховымъ, Дудышкинымъ, Тютчевымъ. Къ литературному фонду онъ охладѣлъ, находя, что тамъ дѣ-

*) Фетъ увѣряетъ, будто Боткинъ иллюстрировалъ разборъ „коммунистическими эпизодами парижской жизни, коихъ былъ въ 1848 году свидѣтелемъ". На дѣлѣ, Боткинъ преспокойно жилъ въ 1848 г. въ Россіи.

лами завѣдуютъ какіе-то нигилисты. Привычная жизнь стараго холостяка протекала незамѣтно и безплодно.

Весною (1864 г.) онъ снова собрался за границу, при чемъ непремѣнно вздумалъ взглянуть на Варшаву, «на это гнѣздо убійствъ и ненависти къ Россіи». До Варшавы онъ ѣхалъ вмѣстѣ съ Н. А. Милютинымъ и пробылъ здѣсь 10 дней, но дальнѣйшее путешествіе было не совсѣмъ благополучно. «Жгучій польскій вопросъ я чувствовалъ тамъ во всей его ядовитой силѣ,—писалъ онъ Фету.—Въ этой мрачной картинѣ не обошлось и безъ комическаго. Я поѣхалъ изъ Варшавы на Бромбергъ, т.-е. чрезъ еще небезопасную мѣстность. Какой чортъ вздумаетъ этой дорогой ѣхать за границу! И дѣйствительно меня приняли за поляка, ѣдущаго съ фальшивымъ паспортомъ, арестовали, до-гола раздѣли и обыскали, держали подъ карауломъ. Вся эта исторія продолжалась часовъ пять, пока не получена была отвѣтная телеграмма изъ ближайшаго городка, что я вовсе не тотъ, кого слѣдовало арестовать, и проч. Варшавскія впечатлѣнія имѣли для меня тотъ результатъ, что я цѣлую недѣлю прохворалъ въ Берлинѣ. Куда мнѣ съ моими хилыми нервами пускаться на такія впечатлѣнія, какъ, напр., застрѣленный и плавающій въ крови русскій жандармъ, котораго увидѣлъ въ Вилановѣ, верстъ 5 или 7 отъ Варшавы, куда я съ нѣсколькими знакомыми поѣхалъ, запасшись револьверами и взявши человѣкъ семь конвоя» (Фетъ, II, 10—11).

На лѣто Боткинъ снова вернулся въ Россію и проводилъ его у Фетовъ. Къ характеристикѣ среды, гдѣ онъ вращался тамъ, да и къ его собственной характеристикѣ можетъ служить слѣдующій анекдотъ, обязательно передаваемый Фетомъ, о какомъ-то помѣщикѣ Барыковѣ, просвѣщенномъ консерваторѣ и благодѣтелѣ крестьянъ, по увѣренію Фета. Боткинъ съ Фетомъ были въ гостяхъ у этого помѣщика и съ удивленіемъ замѣтили у него на столѣ книжку «Современника». «Какъ это вы, Ѳедоръ Ивановичъ,—спросилъ Боткинъ,—при строго-охранительномъ характерѣ всей вашей дѣятельности, выписываете такой красный журналъ?»—«Да развѣ онъ красный?—воскликнулъ Барыковъ.—«Я усердно читаю его отъ доски до доски и этого не замѣчалъ».—«Въ настоящее время это самый красный»,—отвѣчалъ Боткинъ.—«Ахъ онъ, свинья!»—воскликнулъ Барыковъ, швырнувъ подъ столъ «Современникъ».

Въ Степановкѣ Боткинъ получилъ, между прочимъ, тургеневское письмо отъ 6-го іюня 1864 г., «соборное посланіе двумъ обитателямъ Степановки отъ смиреннаго Іоанна». Въ немъ говорится о неизвѣстномъ намъ письмѣ Боткина, гдѣ послѣдній описывалъ женщину-медика. Что это было за описаніе, легко вообразить себѣ по словамъ Тургенева (повидимому, тоже склоннаго видѣть въ женщинахъ, впервые занимавшихся у насъ тогда

медициною, какихъ-то Кукшиныхъ). «Почтенный Боткинъ!—говоритъ Тургеневъ:—мнѣ слѣдовало бы ударить въ струны лиры, чтобы достойно воспѣть письмо твое, сейчасъ полученное мною, въ которомъ ты такъ графически описалъ женщину-медика! Да, братъ, новыя пошли безобразія! Видно, судьба какъ только замѣтитъ, что люди признали какую-нибудь штуку карикатурой, безобразіемъ, она сейчасъ распорядится такъ, чтобы эту же штуку поставить на пьедесталъ: поклоняйтесь, молъ, дурачье! Воображаю я твою фигуру передъ этой Дульцинеей!»

Мы приведемъ еще рядъ выписокъ изъ писемъ Боткина, характеризующихъ его отношеніе къ шестидесятымъ годамъ, какъ къ ненужному хаосу. Къ литературѣ онъ присматривается все съ тѣмъ же брезгливымъ негодованіемъ. Изъ представителей журналистики только Некрасовъ не прерываетъ съ нимъ сношеній. «Дѣло въ томъ,— пишетъ Боткинъ 20-го марта 1865 г.,—что его воюючая лавочка «Современника» дѣлается ему самому гадкою. Онъ слишкомъ уменъ, чтобы не чувствовать ея омерзительность». На дѣлѣ, кажется, было не совсѣмъ такъ, и Некрасовъ являлся къ Боткину съ заднею мыслью—вывѣдывать отъ него, каково настроеніе въ сферахъ, наблюдающихъ за духомъ литературы. Боткинъ самъ признается въ одномъ письмѣ, что близокъ къ этимъ сферамъ, не стыдится даже признаться въ томъ, что пользуется знакомствомъ съ членами совѣта по книгопечатанію, чтобы поддерживать ихъ энергію въ преслѣдованіи «Современника» и «Русскаго Слова» (письмо отъ 1-го февраля 1866 г.). Новый законъ о печати, давшій просторъ чисто административнымъ мѣропріятіямъ противъ литературы, былъ встрѣченъ Боткинымъ съ большимъ сочувствіемъ; онъ радуется, что теперь изъ «Современника» «выкурятъ его нигилистическо-коммунистическій духъ» и что «Русское Слово» находится при послѣднемъ издыханіи. Въ одномъ изъ позднѣйшихъ писемъ онъ прямо обвинялъ названные журналы въ прикосновенности къ извѣстному преступленію 4-го апрѣля.

Это письмо было писано изъ Баденъ-Бадена, гдѣ жили тогда также Тургеневъ и опальный уже Н. А. Милютинъ. Между прежними друзьями ужъ не было тѣни прежняго единства. «Великій Моголъ», какъ прозвалъ Тургеневъ Боткина, вѣроятно, за непререкаемость его сужденій, видимо раздражалъ своею нетерпимостью Тургенева. Нѣсколько позднѣе Тургеневъ поручалъ Анненкову изъ Баденъ-Бадена подписаться для него на крѣпостническую «Вѣсть», газету, отъ чтенія которой одичалъ щедринскій помѣщикъ. «Нужно знать, что наши враги думаютъ и говорятъ,—замѣчаетъ Тургеневъ и добавляетъ: — Боткинъ, который, я полагаю, любитъ ее («Вѣсть») даже до двѣнадцатиперстной кишки, вѣроятно, похвалитъ меня».

Къ этому же времени относится комическій эпизодъ встрѣчи въ Швей-

царіи Боткина съ Герценомъ, передаваемый Ге со словъ Герцена. Боткинъ, подъѣзжая къ Женевѣ на пароходѣ, увидѣлъ на берегу Герцена, испугался, засуетился, схватилъ мѣшки и, обращаясь къ своей компаньонкѣ-чтицѣ, сталъ бѣгать по палубѣ, повторяя: «Ma chère, ma chère!» А Герценъ стоялъ на пристани и говорилъ: «Василій Петровичъ, стыдно! Василій Петровичъ, стыдно!» Но онъ-таки убѣжалъ.

Но порою Боткинъ сознавалъ, какъ видно, свое обрюшенное положеніе и тяготился пустотою своего существованія. «Признаюсь откровенно,— читаемъ въ одномъ изъ писемъ:—всѣ эти вопросы политико-экономическіе, финансовые, политическіе—внутренно нисколько меня не интересуютъ. А здѣсь (въ Петербургѣ) всѣ только ими и заняты. А я, между тѣмъ, понимаю ясно, что они составляютъ настоятельную необходимость,—да я чужой въ нихъ» (10-го февраля 1866 г.). Объ этихъ вопросахъ онъ говоритъ, что они необходимы, «какъ насущный хлѣбъ, но не этотъ хлѣбъ питаетъ его душу».

Зиму 1867 г. Боткинъ проводилъ въ Петербургѣ и сошелся особенно съ семействомъ графа А. К. Толстого. Взгляды послѣдняго—аристократически-консервативные — достаточно понятны по такимъ стихотвореніямъ его, какъ «Потокъ-богатырь» или по повѣсти «Князь Серебряный». Съ Боткинымъ его сблизила, сверхъ того, симпатія къ искусствамъ. «Надо сказать,—пишетъ Боткинъ,—что домъ Толстыхъ есть единственный домъ въ Петербургѣ, гдѣ поэзія не есть дикое, безсмысленное слово, гдѣ можно говорить о ней; и, къ удивленію, здѣсь же нашла себѣ пріютъ и хорошая музыка. Правда, здѣсь много занимаются музыкой, но какъ-то странно, по-петербургски; на этой почвѣ все принимаетъ отвлеченный характеръ, головной, совершенно односторонній, тенденціозный. Я дорожу искусствомъ за наслажденіе, которое оно мнѣ доставляетъ, а до всего прочаго мнѣ нѣтъ дѣла».

Лѣтомъ 1868 г. Боткинъ въ послѣдній разъ отправился за границу уже полуумирающимъ, скитаясь по лѣчебнымъ мѣстамъ. Лѣто 1869 г. онъ проводитъ на островѣ Исхіи. Здѣсь онъ прочиталъ, между прочимъ, «Войну и Миръ» Толстого и «Обрывъ» Гончарова. Первый романъ восхитилъ его, но произведеніе Гончарова онъ называлъ «длинной, многословной рапсодіей, утомительной до тошноты». О героѣ романа Райскомъ онъ отзывается такъ: «Райскій есть просто нелѣпость». Въ сущности, Боткинъ, быть можетъ, узналъ себя въ Райскомъ, въ этомъ дилетантѣ сороковыхъ годовъ, безплодно растратившемъ свою жизнь въ эпикурейскомъ отношеніи и къ наукѣ, и къ искусству, и къ жизни.

Осенью Боткина лѣчилъ въ Ахенѣ его братъ, Сергѣй Петровичъ Боткинъ. Здѣсь былъ и Анненковъ, читавшій ему какъ-то одно изъ старыхъ

писемъ Бѣлинскаго. В. П. нѣсколько разъ останавливалъ чтеніе, говоря: «Погодите, дайте отдохнуть... это меня ужасно волнуетъ... Господи, какъ интересно!.. Если бы вы знали, какое это было славное время!» Память уже значительно измѣняла ему; онъ говорилъ съ трудомъ и на всѣ вопросы объ этомъ времени отвѣчалъ отрывисто, общими фразами, на иное говорилъ просто, что не помнитъ. «Моя жизнь не удалась,—сознавался онъ въ это время:—мнѣ бы надо быть профессоромъ», и задумывалъ, какъ только нѣсколько оправится, диктовать исторію искусства.

Изъ Ахена Боткина, по его желанію, перевезли въ Петербургъ съ большими предосторожностями. Всѣ сочлененія и въ особенности руки были у него сведены, его переносили съ мѣста на мѣсто на кожѣ съ прикрѣпленными къ ней ручками. Въ Петербургѣ, по его распоряженію, нанята была великолѣпная квартира, убранная со всевозможною роскошью и комфортомъ. Повара онъ нанялъ изъ кухни цесаревича и ежедневно самъ просматривалъ обѣденную карту. Онъ опять завелъ у себя великолѣпные квартеты, приглашалъ къ себѣ ежедневно на роскошные обѣды знакомыхъ и, присутствуя на нихъ какъ зритель, настойчиво рекомендовалъ имъ то или другое блюдо, казавшееся ему наиболѣе удачнымъ. «Райскія птицы поютъ у меня на душѣ»,—говорилъ онъ предъ концомъ, ребячески услаждаясь всѣмъ этимъ роскошествомъ. Кажется, и окружавшіе его забывали, что имѣютъ дѣло съ умирающимъ.

«За три дня до смерти,—читаемъ въ некрологѣ, помѣщенномъ въ «Моск. Вѣдомостяхъ», выписку изъ чьего-то частнаго письма,—во вторникъ, онъ какъ бы на прощальный пиръ пригласилъ обѣдать старыхъ друзей своихъ... Самого его принесли на рукахъ и помѣстили на хозяйскомъ мѣстѣ; онъ не владѣлъ руками и печать смерти, видимо, уже лежала на немъ, но глаза блистали огнемъ полнаго и живого сознанія. Ѣлъ онъ мало, но съ видимымъ удовольствіемъ. Въ срединѣ обѣда онъ опустилъ голову и легъ ею на свою тарелку, на которую тотчасъ же положили маленькую кожаную подушку; служившіе ему люди уже привыкли къ этимъ внезапнымъ défaillances. А вокругъ него шелъ все тотъ же веселый и живой разговоръ, который такъ любимъ былъ имъ и въ которомъ онъ чувствовалъ необходимость до самыхъ предсмертныхъ своихъ минутъ. Къ десерту онъ велѣлъ вновь приподнять себѣ голову, съѣлъ какой-то фруктъ, потомъ перенесли его на диванъ, и гости его продолжали вокругъ него смѣяться и болтать. Наканунѣ смерти онъ заказалъ себѣ къ слѣдующему утру квартетъ и долго обсуждалъ его программу: «музыку надо выбрать пояснѣе, я вѣдь слабъ, сложное утомитъ меня».

Онъ умеръ утромъ въ 7 часовъ, 10-го октября 1869 г., такъ незамѣтно, что ухаживавшій за нимъ камердинеръ не замѣтилъ агоніи.

Смерть Боткина въ такой обстановкѣ, напоминающей нравы римскихъ патриціевъ, глубоко возмутила, между прочимъ, Льва Толстого. «Если правда, что разсказываютъ, это ужасно,—писалъ онъ Фету:—какъ не нашлось между всѣми друзьями ни одного, который бы придалъ этому высочайшему моменту въ жизни тотъ характеръ, который ему подобаетъ!» Въ сущности же смерть Боткина была по своему характеру достойнымъ завершеніемъ его эпикурейскаго міровоззрѣнія. Традиціонное міровоззрѣніе было ему чуждо и такъ называемая смерть христіанина невозможна, но невозможна была и стоическая смерть, въ сознаніи исполненнаго долга, какою умеръ, напримѣръ, дѣятель, то же не изъ первоклассныхъ, извѣстный педагогъ Водовозовъ, скончавшійся съ прекрасными словами: «Что же, я работалъ!»

Боткинъ погребенъ въ Москвѣ, на кладбищѣ Покровскаго монастыря.

Онъ оставилъ завѣщаніе, по которому назначилъ 70000 рублей въ пользу различныхъ учрежденій и самъ распредѣлилъ это пожертвованіе слѣд. образомъ: Московскому университету 15000 рублей, изъ нихъ по 5000 рублей на стипендіи студентамъ филологическаго факультета, на премію каждые 2—3 года за лучшее сочиненіе по классической древности, и въ художественный музей при университетѣ на пріобрѣтеніе художественныхъ произведеній; въ обѣ консерваторіи, московскую и петербургскую, по 15000 рублей; въ С.-Петербургское Общество поощренія художествъ, на выдачу каждые 2—3 года преміи за лучшія картины изъ русскаго жанра или пейзажа—5000 руб.; въ Московское Художественное общество на тотъ же предметъ—5000 руб.; въ московскій художественно-промышленный музей на пріобрѣтеніе художественно-промышленныхъ произведеній—5000 руб.; въ московское мѣщанское училище на воспитаніе двухъ мальчиковъ—5000 руб.; въ училище глухонѣмыхъ—5000 рублей.

Фетъ написалъ на погребеніе В. П. Боткина стихотвореніе, въ которомъ намекаетъ на враждебное отношеніе покойнаго къ тогдашнимъ общественно-литературнымъ вѣяніямъ и на его пожертвованія.

Но въ своихъ пожертвованіяхъ Боткинъ обошелъ литературный фондъ, и это очень обидѣло Тургенева, который писалъ Анненкову: «Смерть Боткина навела на меня философическія разсужденія, которыя я сообщаю вамъ, потому что убѣжденъ, что и вы таковымъ же предавались. Au bout du fossé la culbute! какъ говорятъ французы, и никто изъ насъ не можетъ знать, когда ему придется кувыркнуться! Давно не исчезало съ житейской сцены человѣка, столь способнаго наслаждаться жизнью; это былъ своего рода талантъ, но неумолимая судьба не щадитъ и талантовъ. Товарищемъ меньше! Съ братьями своими и пр. онъ поступалъ хорошо; но

наше бѣдное общество осталось въ его глазахъ недостойнымъ козлищемъ. Удивительно ретроградные инстинкты и предубѣжденія сидѣли въ этомъ московскомъ купеческомъ сынкѣ. Не хуже любого прусскаго юнкера или николаевскаго генерала... Литература для него все-таки отзывалась чѣмъ-то въ родѣ бунта. Миръ его праху».

Отзывъ Тургенева вполнѣ справедливъ. Дѣйствительно, именно инстинкты и предубѣжденія, привычки ограничивать свою умственную жизнь одною художественною сферой отталкивали Боткина отъ теченій, господствовавшихъ въ послѣднюю эпоху его жизни и оставившихъ такой плодотворный слѣдъ въ исторіи русскаго общества. Эта неполнота міровоззрѣнія, отсутствіе связи съ жизнью, окружавшею его, и была причиною того, что всѣ таланты его оказались, несоотвѣтственно размѣрамъ ихъ, безплодны для русскаго общества. И жизнь его—примѣръ, у насъ, къ сожалѣнію, не рѣдкій, какъ то, что должно бы было двигать жизнь, не только не исполняетъ этого, но ложится бревномъ на дорогѣ ея нормальнаго развитія.

«Письма объ Испаніи» и переписка Боткина, съ которою мы здѣсь имѣли дѣло, достаточно говорятъ, что это былъ человѣкъ не заурядный и въ спеціальной своей сферѣ проявившій и тонкій критическій тактъ, и широту пониманія. Но и въ ней онъ не оставилъ слѣда настолько самостоятельнаго, чтобы мы имѣли возможность говорить о вліяніи Боткина въ такомъ же смыслѣ, какъ, напр., говоримъ о Бѣлинскомъ или Грановскомъ. Но еще разъ напомнимъ, что если Боткинъ сдѣлалъ значительно меньше, чѣмъ могъ бы, то виною тому въ значительной степени были внѣшнія условія его дѣятельности въ сороковые годы. Въ этомъ отношеніи безусловно справедливы слова, которыми закончилъ свой некрологъ П. В. Анненковъ (въ «С.-Петерб. Вѣдомостяхъ»):

«Какъ бы ни смотрѣло наше молодое поколѣніе на дѣятелей прежняго времени, оно никогда не должно забывать, сквозь какія дебри и чащи этимъ честнымъ работникамъ знанія приходилось пробивать дорогу себѣ и намъ... Не даромъ же покойный Боткинъ говорилъ даже про далеко еще несовершенное теперешнее наше законодательство о печати: «Если бы мнѣ въ то время кто-нибудь сказалъ, что я доживу до чего-нибудь подобнаго, я бы не повѣрилъ». Эти труды, эта борьба даетъ и Боткину полное право на признательность поколѣнія, которое не имѣетъ и понятія о томъ, что значило заниматься наукой въ сороковыхъ годахъ. Въ работѣ того времени починъ многаго, что принесло и еще принесетъ свои добрые плоды».

VI.

А. В. Кольцовъ.

Кольцовъ—русскій простолюдинъ, ставшій выше своего сословія настолько, чтобы только увидѣть другую, высшую сферу жизни, но не настолько, чтобъ овладѣть ею и самому совершенно отрѣшиться отъ этой сферы.

В. Г. Бѣлинскій.

„Во мнѣ хотятъ видѣть мѣщанина, а я прошу всѣхъ, чтобы на меня смотрѣли, какъ на человѣка".

Слова Кольцова.

«Жизнь Кольцова не богата, или, лучше сказать, вовсе бѣдна внѣшними событіями, но тѣмъ богатѣе исторія его внутренняго развитія и тяжелой борьбы между его призваніемъ и его суровою судьбою».

Эти слова Бѣлинскаго можно было бы взять эпиграфомъ къ очерку о Кольцовѣ, если бы извѣстная біографія, составленная знаменитымъ критикомъ, не страдала одностороннимъ подчеркиваніемъ столкновенія среды съ поэтомъ. Борьба между судьбой и призваніемъ въ жизни Кольцова является внѣшнимъ драматическимъ положеніемъ, которое далеко не всегда и не во всемъ соотвѣтствовало дѣйствительности, что и доказывалъ де-Пуле въ своемъ очеркѣ о Кольцовѣ *), гдѣ говоритъ даже, что Бѣлинскій «сбилъ съ толку» Кольцова и явился чуть ли не главною причиной несчастій поэта. Болѣе внимательное сопоставленіе данныхъ и той, и другой біографій заставляетъ сдѣлать кое-какіе другіе выводы. Принимая цѣнныя фактическія свѣдѣнія біографіи де-Пуле, приходится признать, что существовалъ извѣстный разладъ въ самомъ Кольцовѣ. Только это не былъ

*) „Древняя и Новая Россія", 1878 г., №№ 3—6.

разладъ между прасоломъ-пѣсенникомъ и кабинетнымъ литераторомъ, въ котораго будто бы хотѣлъ превратить Кольцова Бѣлинскій, какъ это доказываетъ де-Пуле, а гораздо вѣроятнѣе—нравственный разладъ въ личности самого Кольцова—противорѣчіе между Кольцовымъ, плотью и кровью мѣщанской среды, и между человѣкомъ, котораго коснулись вѣянія сороковыхъ годовъ, но только коснулись, не произведя въ немъ коренного нравственнаго и умственнаго переворота.

Если душевная борьба этого рода, которая, очевидно, не разъ въ немъ загоралась, и принесла ему не мало тяжелыхъ часовъ, то винить Бѣлинскаго въ томъ, что онъ былъ причиною этой драмы, конечно, немыслимо. Да и сомнительно, чтобы Кольцовъ создалъ столько пѣсенъ, если бы и самъ не вращался въ литературной средѣ, въ частности въ кругу Бѣлинскаго. Пѣсни его были выраженіемъ лучшаго, что было въ его средѣ,—ими онъ откликался на то тяготѣніе къ самобытности, къ «народности», которое сильно сказывалось тогда въ литературѣ, сближавшейся все болѣе съ жизнью и выходившей на широкую дорогу національнаго значенія. Онѣ же—существенная часть его личной біографіи, занимающей въ ряду біографій другихъ дѣятелей 30-хъ и 40-хъ годовъ не послѣднее мѣсто.

Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ родился 3-го октября 1809 года, въ Воронежѣ. Отецъ его, Василій Петровичъ, былъ мѣщаниномъ-прасоломъ. Ко времени рожденія поэта родъ его до нѣкоторой степени уже выбился изъ непригляднаго состоянія мелкаго торгашества, мелочного кулачества. Василій Петровичъ владѣлъ домомъ въ лучшей части города, на Дворянской улицѣ, имѣлъ даже крѣпостную прислугу, такъ какъ человѣку состоятельному въ то время не трудно было обойти законъ, дозволявшій владѣть людьми лишь дворянамъ. Словомъ, онъ начиналъ приближаться къ «полированному купечеству», гдѣ невѣжество и дикіе нравы прекрасно уживаются съ внѣшними признаками европеизма. Онъ—«человѣкъ простой, купецъ, спекулянтъ, вышелъ изъ ничего, вѣкъ рожь молотилъ на обухѣ»,—характеризуетъ его впослѣдствіи сынъ. Естественно, что свой домъ этотъ человѣкъ держалъ въ ежовыхъ рукавицахъ. Общая суровость семейнаго быта мало смягчалась кроткою безотвѣтною матерью поэта, которая одна относилась къ сыну съ неизмѣнною лаской до самой его смерти

На десятомъ году мальчика, жившаго до тѣхъ поръ почти безъ присмотра, жизнью улицы, начали учить грамотѣ подъ руководствомъ семинариста. Затѣмъ Кольцовъ попалъ въ уѣздное училище. Что это было за ученіе, видно по свидѣтельству Бѣлинскаго: «Какъ ни коротко мы знали Кольцова лично, но не замѣтили въ немъ никакихъ признаковъ элементарнаго образованія... Что онъ не много вынесъ изъ уѣзднаго училища, хотя и пробылъ четыре мѣсяца даже во второмъ классѣ—это всего яснѣе

видно изъ того, что онъ не имѣлъ почти никакого понятія о грамматикѣ и писалъ вовсе безъ орѳографіи».

Десятилѣтній мальчикъ начинаетъ уже помогать отцу въ торговлѣ, бродитъ лѣтомъ по степи съ гуртами скота, зимою разъѣзжаетъ съ приказчиками по базарамъ, дѣлаетъ мелкія закупки и т. п. Школа какъ-никакъ, а пріохотила его къ чтенію. Отъ неизмѣнныхъ Еруслана Лазаревича и Бовы-королевича онъ переходитъ къ библіотекѣ своего товарища по школѣ, сына купца Варгина; въ этой библіотекѣ были романы Дюкре-де-Мениля и Августа Лафонтена и т. п. вздоръ, были, однако, и сказки «Тысячи и одной ночи», особенно овладѣвшія фантазіей мальчика. Безотчетно наслаждаясь просторомъ и привольемъ степей, въ книгахъ онъ искалъ чего-то, чего не могла дать дѣйствительность. И она, по выраженію Бѣлинскаго, «украдкою подошла къ нему и овладѣла имъ прежде, нежели онъ былъ въ состояніи увидѣть ея безобразіе». Непосредственно сближаясь съ народомъ, привыкая понимать его несложныя волненія и тревоги и сочувствовать имъ, будущій поэтъ въ то же время, незамѣтно для самого себя, проходилъ школу «житейской мудрости», освоивался со всѣми неприглядными сторонами дѣятельности прасола, учился, какъ извлекать пользу и кулаку-торгашу изъ пониманія нуждъ народныхъ...

Въ такой жизни — между степью, вліяніе которой на позднѣйшее творчество Кольцова достаточно оцѣнено и извѣстно, между дѣлами да кое-какими книгами, скоро забылось первое большое горе Кольцова— смерть Варгина (ему посвящено стихотвореніе «Ровеснику»), тѣмъ болѣе, что мальчика стихи уже совершенно заполонили. Случайно на толкучемъ рынкѣ Кольцовъ, когда ему было уже 17 лѣтъ, купилъ за сходную цѣну сочиненія Дмитріева. Первые стихи, которые онъ разучиваетъ наизусть и поетъ, принимая за пѣсни, производятъ на него сильное впечатлѣніе. Онъ начинаетъ покупать только книги со стихами, пріобрѣтаетъ на томъ же толкучемъ Ломоносова, Державина, Богдановича, пробуетъ, наконецъ, и свои силы. Первый блинъ вышелъ, конечно, комомъ, и впослѣдствіи самъ поэтъ не любилъ вспоминать о своемъ первомъ дѣтищѣ, «Трехъ видѣніяхъ», гдѣ онъ изобразилъ сонъ кого-то изъ своихъ товарищей, какъ о слишкомъ ужъ нелѣпомъ. Не имѣя понятія о версификаціи и о ритмѣ, Кольцовъ выбралъ одну изъ пьесъ Дмитріева и старался подражать ея стиху. Можно себѣ представить, какія трудности встрѣчались ему при этомъ. Онъ долго провозился съ первыми стихами, потомъ дѣло пошло быстрѣе. Кольцовъ просидѣлъ цѣлую ночь, и къ утру готова была ужасная по стиху пьеса. Эти первые опыты, конечно, не имѣли никакого достоинства, а интересны только какъ свидѣтельства о развитіи Кольцова и трудностяхъ пути, который онъ себѣ прокладывалъ.

За совѣтомъ по поводу своихъ первыхъ произведеній юноша рѣшился обратиться къ воронежскому книгопродавцу Дм. Ант. Кашкину. Послѣдній отнесся очень сочувственно къ усиліямъ поэта-мѣщанина, такъ какъ если самъ онъ и не получилъ сколько-нибудь систематическаго образованія, то все-таки зналъ ему цѣну. Онъ подарилъ Кольцову «Русскую просодію», открылъ ему доступъ въ книжный складъ. Кольцовъ теперь сталъ покупать уже прочтенныя раньше книги, и Ломоносовъ, Державинъ, Богдановичъ, Жуковскій, Дельвигъ и Пушкинъ потомъ заняли подобающее мѣсто въ библіотечкѣ Кольцова. Кашкинъ, сверхъ того, ввелъ Кольцова въ воронежскіе кружки (преимущественно молодежи), гдѣ, подъ вліяніемъ либеральнаго движенія начала царствованія Александра I, пробуждался интересъ къ литературѣ.

Посѣтители книжной лавки Кашкина часто видали тамъ юношу, одѣтаго въ засаленный полушубокъ или въ старую чуйку, съ любопытствомъ разсматривающаго и читающаго книги. И Кольцовъ въ это время платилъ Кашкину горячею признательностью. Онъ писалъ ему:

...ты
Въ замѣну хладной пустоты,
Съ улыбкой дружества пристойной,
Гласъ лиры тихой и нестройной
Прочтешь и скажешь про себя:
„Его трудовъ виновникъ я!“
Такъ точно, другъ, мечты младыя
И незавидливый фіалъ,
И чувствъ волненье ты впервые
Во мнѣ, какъ ангелъ, разгадалъ.
Ты помнишь, разъ сказалъ: „разсѣй
Съ души туманъ непросвѣщенья...“

Когда Кольцову было 18 лѣтъ, у него завязался романъ съ крѣпостною семьи, Дуняшей, которая росла съ сестрами поэта скорѣе въ качествѣ ихъ подруги, чѣмъ горничной.

На зарѣ туманной юности
Всей душой любилъ я милую...
Былъ въ глазахъ у ней небесный свѣтъ,
На лицѣ горѣлъ любви огонь...

— вспоминаетъ впослѣдствіи поэтъ. Въ планы старика Кольцова, конечно, не могла входить женитьба сына на крѣпостной, а «баловства» въ своемъ домѣ онъ не могъ потерпѣть. Воспользовавшись отлучкой сына въ степь, Дуняшу продали какому-то донскому помѣщику, гдѣ ее выдали замужъ и гдѣ она «скоро зачахла и умерла въ тоскѣ разлуки и въ мукахъ жестокаго обращенія», какъ говоритъ Бѣлинскій. По позднѣйшимъ свѣдѣніямъ,

это, однако, не совсѣмъ вѣрно. Какъ бы то ни было, этотъ короткій романъ съ его насильственной развязкой оставилъ глубокій слѣдъ на Кольцовѣ. Въ 1839 г., черезъ десять лѣтъ, когда онъ разсказывалъ объ этомъ эпизодѣ своей жизни Бѣлинскому, «лицо его было блѣдно, слова съ трудомъ и медленно выходили изъ его устъ и, говоря, онъ смотрѣлъ въ сторону и внизъ...» Не осталась безъ вліянія эта «обыкновенная» исторія и на поэзіи Кольцова. Женская народная доля изображена въ ней очень односторонне и единственный грустный мотивъ въ пѣсняхъ, говорящихъ о любви къ женщинѣ и женской любви (женщины-труженицы Кольцовъ совсѣмъ не знаетъ),—тоска вслѣдствіе разлуки съ любящей душой, оторванной отъ предмета любви людьми или смертью. Подобныя пѣсни очень немногочисленны у Кольцова, хотя къ нимъ принадлежатъ такія вещи, какъ «Не шуми ты, рожь» и «Ты не пой, соловей» и др. Положительно преобладаютъ зато пѣсни «торжествующей любви», соотвѣтственно жизнерадостной сильной натурѣ самого поэта. Чрезъ призму воспоминанья, когда талантъ поэта достигъ полнаго развитія, первая любовь согрѣла и освѣтила поэзію его. «Пора любви», «Послѣдній поцѣлуй», «Въ полѣ вѣтеръ вѣетъ», «Такъ и рвется душа», «Не весна тогда»—однѣ изъ наиболѣе сильныхъ и яркихъ вещей у Кольцова. И если можно говорить о широтѣ русской натуры, подъ чѣмъ часто разумѣютъ недисциплинированность и безалаберность мысли и чувства, то, пожалуй, только въ такихъ пѣсняхъ Кольцова, какъ «Въ полѣ вѣтеръ вѣетъ», и можно видѣть примѣръ этой широты.

Обойми, поцѣлуй,
Приголубь, приласкай,
Еще разъ, поскорѣй,
Поцѣлуй горячѣй!
. . . . . .
Какъ по утру заря,
Пусть сіяетъ любовь
На устахъ у тебя.
Какъ мнѣ мило теперь
Любоваться тобой!
Какъ весна, хороша
Ты, невѣста моя.

И съ этимъ счастіемъ—все ни почемъ:

Молодецъ удалый
Соловьемъ засвищетъ—
Безъ пути, безъ свѣта
Свою долю сыщетъ.
Что ему дорога,
Тучи громовыя,
Какъ придутъ по сердцу

Очи голубыя!
Что ему на свѣтѣ
Доля не людская,
Когда его любитъ
Она молодая!

Сильную жизнерадостную, а, главное, молодую еще натуру Кольцова не сломило несчастіе. На помощь пришла и дружба съ Андреемъ Порфирьевичемъ Серебрянскимъ, съ которымъ Кольцовъ познакомился въ одномъ изъ упомянутыхъ выше кружковъ. Умный, слѣдившій за литературою, семинаристъ Серебрянскій, впослѣдствіи поступившій въ медико-хирургическую академію, былъ душою своихъ товарищей, и Кольцовъ вскорѣ горячо привязался къ нему. Серебрянскій самъ писалъ стихи (ему принадлежитъ, между прочимъ, всѣмъ извѣстная пѣсня:

„Быстры, какъ волны,
Дни нашей жизни...“).

Онъ могъ быть и дѣйствительно былъ руководителемъ Кольцова, какъ то доказывается и извѣстнымъ посвященіемъ, гдѣ тотъ говоритъ:

Не посуди: чѣмъ я богатъ,
Послѣднимъ подѣлиться радъ.
Вотъ мой досугъ; въ немъ умъ твой строгій
Найдетъ ошибокъ слишкомъ много...
...Но не щади ты недостатки,
Замѣть, что требуетъ поправки.

Чѣмъ былъ Серебрянскій для поэта, лучше всего видно изъ писемъ послѣдняго по поводу кончины друга. «Да, лишился я человѣка, котораго любилъ столько лѣтъ душою и котораго потерю горько оплакиваю». «Скажите: въ одну минуту разломить, что крѣпло нѣсколько лѣтъ—моя любовь къ нему, прекрасная душа его, желанія, мечты, стремленія, ожиданія, надежды на будущее—и все вдругъ! Вмѣстѣ мы съ нимъ росли, вмѣстѣ читали Шекспира, думали, спорили. И я такъ много былъ ему обязанъ, онъ черезчуръ меня баловалъ». Подъ вліяніемъ совѣтовъ и указаній Серебрянскаго, Кольцовъ все лучше и лучше справлялся съ техническою стороной писанья стиховъ и отъ подражаній Жуковскому, Пушкину начиналъ переходить къ настоящему своему роду, къ народной пѣснѣ, послѣ того, какъ ознакомился съ подражаніями Дельвига.

Нѣсколько позднѣе Кольцовъ такъ повѣрялъ Жуковскому свои воспоминанія о времени, когда онъ упивался чтеніемъ этихъ писателей, любовался ихъ портретами, и о вліяніи, какое они на него оказывали:

«Бывало, въ тѣсной моей комнаткѣ, поздно вечеромъ, сидѣлъ одинъ и велъ бесѣду съ вами, Пушкинымъ, кн. Вяземскимъ, Дельвигомъ. Какъ

хорошо тогда мнѣ было! Какою полною жизнью жила душа моя въ безпредѣльномъ мірѣ красоты и чувства! На легкихъ крылахъ вашей фантазіи куда ни уносился я мечтою! Гдѣ не былъ я тогда? Бывало, скоро свѣтъ, а я сижу да думаю, не сводя глазъ съ портретовъ вашихъ: какъ хороши эти люди, Боже мой! Какъ хороши! Гдѣ жъ живутъ они?.. Небось, въ Москвѣ да въ Питерѣ? Гдѣ эта Москва да Питеръ? Охъ, если бы мнѣ удалось побывать въ нихъ! Ужъ какъ-нибудь, а посмотрѣлъ бы я изъ нихъ хоть одного. Пришло время, былъ я на Москвѣ и на Питерѣ, видѣлъ всѣхъ милыхъ мнѣ людей издавна, былъ у васъ, благоговѣлъ предъ вашею святынею».

Прибавимъ, что любимыми поэтами Кольцова были Шекспиръ и Пушкинъ.

Пока Кольцовъ еще только мечталъ о знакомствѣ съ извѣстными нашими писателями, онъ черезъ книгопродавца Кашкина познакомился съ однимъ проѣзжавшимъ черезъ Воронежъ литераторомъ, нѣкіимъ Сухачевымъ, писавшимъ и печатавшимъ свои стихи. Кольцовъ передалъ Сухачеву нѣкоторыя свои стихотворенія, и одно изъ нихъ («Не мнѣ внимать напѣвъ волшебный») было напечатано въ сборникѣ «Листки изъ записной книжки Василья Сухачева» (1830 г.): это было первое печатное стихотвореніе Кольцова.

Въ 1830 г. у Кольцова завязывается новое знакомство, имѣвшее для него огромное значеніе. Черезъ Воронежъ изъ московскаго университета домой, въ свое помѣстье, проѣзжалъ Николай Владиміровичъ Станкевичъ. Имя это извѣстно всякому, кто хоть сколько-нибудь знакомъ съ исторіей московскихъ литературныхъ кружковъ 30-хъ годовъ. Какъ началось это знакомство, достовѣрно не извѣстно, а преданіе разсказываетъ слѣдующее. Однажды Станкевичъ долго не могъ вечеромъ докликаться своего слуги; тотъ, когда пришелъ, объяснилъ, что съ ними ужиналъ прасолъ, который читалъ имъ свои пѣсни и стихи, — и они заслушались. При этомъ слуга повторилъ нѣсколько отрывковъ изъ слышаннаго, что запомнилъ. Это заинтересовало Станкевича, который и пригласилъ на другой день прасола къ себѣ. Прасолъ этотъ былъ Кольцовъ: на винокуренномъ заводѣ въ имѣніи Станкевича стояли для откормки на бардѣ быки Кольцова, и поэтъ-прасолъ пріѣхалъ ихъ посмотрѣть. Какъ бы то ни было, Станкевичъ принялъ живѣйшее участіе въ поэтѣ-прасолѣ. Въ 1831 г. Кольцову по дѣламъ отца пришлось побывать въ Москвѣ, и Станкевичъ перезнакомилъ его со своими друзьями, въ томъ числѣ и съ Бѣлинскимъ. Въ это время стихотворенія Кольцова уже стали годны для печати и дѣйствительно кое-гдѣ печатались. Болѣе широкую извѣстность они получили, когда Станкевичъ съ Бѣлинскимъ въ 1835 г. издали на свой счетъ отдѣльною книжкой 18 изъ этихъ стихотвореній. Поэтъ-прасолъ, поэтъ-самоучка невольно заинтересовывалъ публику...

Съ поѣздки Кольцова въ Москву и Петербургъ начинается самый важный періодъ его жизни, сдѣлавшій его тою крупною литературною величиною, какою мы его знаемъ нынѣ. До сихъ поръ поэтъ жилъ довольно беззаботно. Молодость, любовныя приключенія, извѣстность въ городѣ — все это занимало его, льстило его самолюбіе, и контрастъ между средой и занятіями съ одной стороны и стремленіями, какъ поэта, пока не поражалъ и не особенно тяготилъ Кольцова, если только онъ замѣчалъ его. Прасольство не имѣло для поэта еще ничего отталкивающаго; его безсознательно тянуло къ степи, какъ и къ изліянію этого влеченія къ ней и порывовъ своихъ въ стихахъ. Трезвенность и практичность отлично уживались пока со всѣмъ тѣмъ, что впослѣдствіи, своимъ противорѣчіемъ имъ, измучило поэта. За стихами онъ не забывалъ «дѣла», не давалъ отцу поводовъ негодовать на это «баловство».

«Ужъ если торгуешь, все норовишь похитрѣе дѣло обдѣлать: руки чешутся!»—довольно-таки наивно щеголялъ торгашескимъ ухарствомъ поэтъ въ кругу московскихъ друзей, какъ объ этомъ передаетъ Катковъ.—«Ну, а если бы вы, Алексѣй Васильевичъ, съ нами имѣли дѣло,—спросилъ Бѣлинскій,—и насъ бы надули?»—«И васъ,—отвѣчалъ Кольцовъ:—ей-Богу, надулъ бы... Можетъ быть, и вдвое потомъ бы назадъ отдалъ, а не утерпѣлъ бы: надулъ!» Словомъ, жизнь была для Кольцова до сихъ поръ сама по себѣ, а поэзія—тоже сама по себѣ. Изображая въ стихахъ дѣйствительность на половину выдуманную, онъ естественно долженъ былъ оставаться поэтомъ на половину подражательнымъ. Онъ застылъ бы, быть можетъ, навсегда на этомъ, если бы сближеніе съ Бѣлинскимъ не перевернуло вверхъ дномъ его міровоззрѣнія, гдѣ, въ силу вкоренившихся привычекъ, мысли, уживались рядомъ вопіющія противорѣчія.

Въ Москвѣ Кольцовъ остановился прямо у Станкевича. Онъ попалъ, слѣдовательно, въ кружокъ Бѣлинскаго, Бакунина, Боткина и прочихъ, гдѣ всевластно царила туманная философія Гегеля. И, конечно, поэтъ, увѣрявшій Станкевича относительно «сглаза» скота, что «эфто бываетъ,» могъ лишь чувствовать, что

Могучая сила
Въ душѣ ихъ кипитъ...

Интересы и стремленія ихъ были ему мало доступны, споры совершенно непонятны, но его невольно тянуло къ этимъ людямъ. По разсказу Анненкова, въ разгарѣ московскаго философскаго настроенія собрался однажды у В. П. Боткина кружокъ друзей, занимавшихся наукой наукъ, и притомъ собрался въ самомъ счастливомъ и веселомъ расположеніи духа. Тогда еще существовали для людей *радости* по вычитанной идеѣ, по открытію новаго фактора въ духовной жизни, по пріобрѣтенію новаго

горизонта для мысли и т. д. Кружокъ ликовалъ одною изъ этихъ нематеріальныхъ, отвлеченныхъ и теперь уже не многимъ доступныхъ радостей. Случайно попалъ на него и Кольцовъ, конечно, не вполнѣ уразумѣвавшій основанія восторженныхъ рѣчей своихъ друзей, но общее настроеніе подѣйствовало на него обаятельно. Онъ самъ просвѣтлѣлъ и, удалившись въ кабинетъ хозяина, сѣлъ за письменный его столъ и возвратился чрезъ нѣсколько минутъ къ пріятелямъ съ бумажкой въ рукахъ. «А я написалъ пѣсенку»,—сказалъ онъ робко, и прочелъ стихотвореніе: «Пѣснь Лихача Кудрявича», пьесу, которою по-своему какъ бы отвѣчалъ и вторилъ шумной рѣчи молодыхъ московскихъ энтузіастовъ.

Кольцовъ, однако, не могъ не чувствовать себя не въ своей сферѣ, разъѣзжая въ столицахъ по литературнымъ знаменитостямъ въ качествѣ диковинки. Нѣсколько позднѣе описываемаго времени съ нимъ и познакомился Анненковъ, при отъѣздѣ своемъ за границу, отмѣтившій указанное обстоятельство въ своихъ воспоминаніяхъ. «Какъ теперь смотрю на малорослаго, коренастаго поэта, со скулистой, чисто русской физіономіей и съ весьма пытливымъ и наблюдательнымъ взглядомъ,—пишетъ Анненковъ.—Все время проводовъ онъ молчалъ, какъ бы озадаченный и подавленный умными, а еще болѣе—развязными рѣчами литературныхъ авторитетовъ,—рѣчами, которыя выслушивалъ съ покорнымъ вниманіемъ неофита. Это была какъ будто обязательная маска, принятая имъ въ литературномъ обществѣ, которое такъ много дѣлало для распространенія его извѣстности, потому что и ко мнѣ, совершенно безвѣстному и нимало не вліятельному лицу кружка, онъ подошелъ послѣ обѣда въ Кронштадтѣ, со словами: «не забывайте, что вы обязаны насъ учить и просвѣщать». Много было искренняго въ чувствѣ, которое ему подсказывало подобныя слова, но много въ нихъ было также и привычки, взятой въ постоянномъ общеніи съ кругомъ писателей. Она не мѣшала, однакоже, его сужденію. По словамъ Бѣлинскаго, не было человѣка болѣе зоркаго, проницательнаго и догадливаго, чѣмъ Кольцовъ съ его спокойнымъ и покорнымъ видомъ: онъ распознавалъ людей сквозь кору наносной культуры и цивилизаціи и судилъ о нихъ очень правильно и самостоятельно».

Лишь съ немногими, относившимися къ нему просто, по-дружески, Кольцовъ выходилъ изъ своей замкнутости, открывалъ свою душу, и эти немногіе только и могли вполнѣ оцѣнить, чѣмъ былъ Кольцовъ въ глубинѣ своей натуры. Объ этихъ минутахъ полной душевной откровенности Кольцова горячо вспоминалъ впослѣдствіи Катковъ, который писалъ: «Душа его отличалась удивительною чуткостью. При всей скудости своего образованія, какъ многое понималъ онъ! Самыя утонченныя чувствованія, самыя сложныя сочетанія душевныхъ движеній были доступны ему. Чув-

ствомъ души своей онъ постигалъ многое, чего не успѣлъ и не могъ выразить. Біографъ Кольцова (т.-е. Бѣлинскій) имѣлъ полное право назвать его натуру геніальною. Жажда знанія и мысли сильно томила его. Никогда я не забуду нашихъ бесѣдъ съ нимъ. Часы, бывало, летѣли, какъ минуты. Помню я ночь, которую я провелъ у него. Онъ остановился гдѣ-то въ Зарядьѣ, въ какомъ-то мрачномъ и грязномъ подворьѣ, гдѣ я лишь съ большимъ трудомъ могъ отыскать его. Зашелъ я къ нему на минуту, вечеромъ. Онъ не хотѣлъ отпустить меня безъ чаю. Слово за словомъ, и ночи—какъ не бывало. Часто захаживалъ онъ ко мнѣ и, засидѣвшись, оставался ночевать. Живо я помню нашу прогулку въ окрестностяхъ Москвы. Мы ходили съ нимъ въ Останкино. День былъ прекрасный. Души наши настроены были такъ радостно. Сколько поэзіи, сколько звуковъ было въ этомъ кремнѣ, въ этомъ длинноломъ, приземистомъ, сутуловатомъ прасолѣ!» «Неистовый Виссаріонъ», какъ называли друзья критика, безпощадный потрясатель основъ россійской поэзіи и разрушитель установившихся литературныхъ репутацій и традицій, лучше всѣхъ понялъ, какія силы таились въ Кольцовѣ, и сумѣлъ пробудить ихъ. Онъ былъ крестнымъ отцомъ новому Кольцову, и тотъ горячо привязался къ своему учителю и другу. Горячая дружба, соединившая ихъ,—одинъ изъ самыхъ трогательныхъ эпизодовъ въ исторіи русской литературы.

«Думы» въ значительной мѣрѣ отражаютъ въ себѣ ломку воззрѣній Кольцова и хаосъ ихъ, возникшій вслѣдствіе крайне малаго его образованія и неумѣнія отвлеченно мыслить. Величественная, стройная система Гегеля, обнимавшая всю вселенную и всему опредѣлявшая свое мѣсто, осталась для него навсегда тайной за семью печатями.

«Субъектъ и объектъ я немножко понимаю,—сознавался онъ простодушно въ письмѣ Бѣлинскому,—а абсолюта—ни крошечки, но если и понимаю, то весьма худо». Кое-какихъ фразъ изъ философіи Гегеля онъ, правда, нахватался. «Повсюду мысль одна—одна идея... Въ судьбѣ народовъ, царствъ, ума и чувства, всюду—она одна—царица бытія!»—разсуждаетъ онъ, напр., въ думѣ «Царство мысли», или въ «Поэтѣ»:

Властелинъ-художникъ
Создаетъ картину—
Великую драму,
Исторію царства.
Въ нихъ духъ вѣчной жизни,
Самъ себя сознавши,
Въ видахъ безконечныхъ
Себя проявляетъ...

Можно бы и еще увеличить примѣры подобныхъ же гегелевскихъ фразъ и мыслей, взятыхъ напрокатъ Кольцовымъ. Рядомъ съ ними найдемъ ужъ совершенно не философскія разсужденія:

Подсѣку жъ я крылья
Дерзкому сомнѣнью,
Прокляну усилья
Къ тайнамъ Провидѣнья!

Умъ нашъ не шагаетъ — Наобумъ мѣшаетъ
Міра за границу; — Съ былью небылицу.

Вообще относительно «Думъ» остается только повторить слова Бѣлинскаго. Въ нихъ «Кольцовъ—русскій простолюдинъ, ставшій выше своего сословія настолько, чтобы только увидѣть другую, высшую сферу жизни, но не настолько, чтобъ овладѣть ею и самому совершенно отрѣшиться отъ этой сферы». И лучшими изъ «Думъ» являются, конечно, тѣ, гдѣ онъ ставитъ лишь вѣчные вопросы, занимавшіе его, не давая на нихъ отвѣта, какъ въ очень извѣстныхъ стихахъ:

Спаситель, Спаситель,
Чиста моя вѣра...

Пушкинъ, съ которымъ Кольцовъ познакомился въ Петербургѣ, находилъ у Кольцова большой талантъ, широкій кругозоръ, но бѣдность образованія, отчего эта ширь часто разсыпается фразами. Сближеніе съ лучшими людьми того времени открыло глаза Кольцову въ этомъ отношеніи и онъ ничѣмъ такъ постоянно не тяготился, какъ именно сознаніемъ своего глубокаго невѣжества во многомъ и многомъ. «Будь человѣкъ и геніальный, а не умѣй грамотѣ,—разсуждаетъ онъ въ одномъ письмѣ къ Бѣлинскому,—а не умѣй грамотѣ—не прочтешь и вздорной сказки. На всякое дѣло надо имѣть полные способы. Прежде я таки, грѣшный человѣкъ, думалъ о себѣ и то и то, а теперь кровь какъ угомонилась, такъ и осталося одно желаніе въ душѣ—учиться. И думаю, что это хлѣбъ прочный, и его мнѣ надолго станетъ; а тамъ, что Богъ дастъ. Васъ же прошу объ одномъ: всѣ дурныя пьесы бросайте безъ вниманія, а какія нравятся, тѣ печатайте». Этотъ отрывокъ интересенъ, какъ характеристика и безграничной вѣры поэта критику, и его скромности. Любопытный въ послѣднемъ отношеніи эпизодъ изъ пребыванія Кольцова въ Петербургѣ, гдѣ тотъ познакомился съ Жуковскимъ, Пушкинымъ, съ князьями Одоевскимъ и Вяземскимъ, разсказанъ Тургеневымъ. На литературномъ вечерѣ у Плетнева, гдѣ былъ и Пушкинъ, Тургеневъ встрѣтилъ человѣка, одѣтаго въ длинный двубортный сюртукъ, короткій жилетъ съ голубою бисерною цѣпочкой и шейный платокъ съ бантомъ. Этотъ человѣкъ сидѣлъ въ уголкѣ, скромно подобравъ ноги, и изрѣдка покашливалъ, торопливо подымая руку къ губамъ. Онъ поглядывалъ кругомъ не безъ застѣнчивости и внимательно прислушивался; въ глазахъ его свѣтился необыкновенный умъ, но лицо было самое простое, русское. Это и былъ Кольцовъ. Хозяинъ съ гостями стали просить его прочитать послѣднюю думу, но тотъ сконфузился. Тургеневъ, подвезя Кольцова къ его квартирѣ, спросилъ, почему онъ не захотѣлъ читать стиховъ. «Что же бы это я сталъ читать-съ?—не безъ досады

отвѣтилъ Кольцовъ.—Тутъ Александръ Сергѣичъ только-что вышли, а я бы читать сталъ! Помилуйте-съ!»

О знакомствѣ съ Пушкинымъ Кольцовъ хранилъ благоговѣйное воспоминаніе. Онъ былъ у своего идола нѣсколько разъ, но никогда о своихъ бесѣдахъ съ нимъ не распространялся. «Слѣпая судьба,—писалъ онъ, послѣ кончины Пушкина, Краевскому въ витіеватомъ, но искреннемъ письмѣ,—развѣ у насъ мало мертвецовъ, развѣ кромѣ Пушкина тебѣ нельзя было кому другому смертный гостинецъ передать? Мерзавцевъ много,—за что жъ ты любишь ихъ, къ чему бережешь? Злая судьба!» Одинъ изъ первыхъ откликнулся на кончину поэта Кольцовъ стихотвореніемъ «Лѣсъ».

Сохранилась картина, представляющая собраніе въ кабинетѣ Жуковскаго: мы видимъ здѣсь Плетнева, Одоевскаго, Гоголя, Пушкина, Глинку, Крылова, Козлова и др.; посреди кабинета стоитъ и Кольцовъ. Существуетъ предположеніе, что Жуковскій представлялъ Кольцова даже государю Николаю Павловичу. Домой Кольцовъ вернулся въ какомъ-то счастливомъ чаду и годъ пролетѣлъ незамѣтно; талантъ его достигаетъ полной силы, а мѣстная извѣстность—апогея. Въ 1837 г., во время проѣзда наслѣдника (Александра II) чрезъ Воронежъ, городъ былъ свидѣтелемъ небывалаго вниманія къ простому мѣщанину, который былъ, вѣроятно, представленъ наслѣднику Жуковскимъ. По горячей рекомендаціи Жуковскаго, воспитателя наслѣдника, Кольцову открылся доступъ въ высшіе слои воронежскаго общества. Это было на руку и старику Кольцову, который не безъ основанія разсчитывалъ на связи сына для своихъ дѣлъ и дѣлишекъ и относился въ это время къ нему сравнительно мягко. Онъ даже хвалился, что сынъ его сочинилъ такой важный пѣсенникъ, за который получилъ царскую награду.

Поэтъ сблизился теперь со своею младшею сестрой Анисьею, добился для нея покупки фортепьяно у отца, читалъ вмѣстѣ съ нею книги, какими надѣлили его московскіе и петербургскіе друзья. Онъ очень полагался на ея чутье и при оцѣнкѣ своихъ стихотвореній. Вообще дѣйствительность пока не особенно тяготила его и онъ безотчетно рвался лишь въ столицы, чтобы снова пожить жизнью, не похожею на обычную воронежскую.

Въ концѣ 1837 г. онъ снова былъ въ Москвѣ и Петербургѣ. На этотъ разъ онъ особенно долго жилъ въ Москвѣ и до отъѣзда въ Петербургъ, и по возвращеніи оттуда, и жизнь въ Москвѣ съ Бѣлинскимъ особенно полюбилась ему. Въ Петербургѣ онъ проводилъ время въ дѣловыхъ хлопотахъ, при чемъ широко пользовался поддержкою своихъ высокопоставленныхъ друзей. Чисто-литературныя знакомства въ Петербургѣ и въ beau-monde'ѣ не нравились Кольцову. Онъ раза два-три угощалъ, по свидѣтельству Панаева, знакомыхъ литераторовъ какою-то особенною соленою ры-

бой, но ни съ кѣмъ почти не сближался. Петербургскихъ литераторовъ, вѣроятно, шокировало нѣкоторое мѣщанское щегольство Кольцова; было, быть можетъ, и неудовольствіе на то, что прасолъ, набравшійся духу, осмѣливался вмѣшиваться въ разговоры, и т. д. «О душевной жизни вечеровъ моихъ и прочихъ, не знаю, что вамъ сказать,—писалъ онъ Бѣлинскому:—кажется, они довольно для души холодны и для ума мелки... Серьезный разговоръ о пустоши людей, серьезныхъ не по призванію, а по роли, ими разыгрываемой. На нихъ можно скорѣе всего пріучить себя къ ловкому свѣтскому обращенію, а ума прибавить нельзя ни на лепту». Бѣлинскій говорилъ впослѣдствіи Панаеву: «Ваши петербургскіе литераторы принимали Кольцова съ высоты своего величія и съ тономъ покровительства, а онъ нарочно прикинулся предъ ними смиреннымъ и дѣлалъ видъ, что преклоняется предъ ихъ авторитетомъ, а имъ и въ голову не приходило, что онъ надъ ними исподтишка подсмѣивается».

Домой Кольцовъ возвратился на этотъ разъ уже не въ радужномъ настроеніи, надо полагать, потому, что тоскливая нотка все чаще и чаще начинаетъ звучать и въ пѣсняхъ его, и въ письмахъ.

Соловьемъ залетнымъ
Юность пролетѣла...

Миновало то счастливое время, когда даже

Вьюги зимнія,
Вьюги шумныя
.... Наводили сны,
Сны волшебные
Уносили въ край
Заколдованный.

Предъ Кольцовымъ, другомъ Бѣлинскаго, дѣлившимъ съ нимъ его радости и горе, дѣйствительность вставала безпощаднымъ призракомъ. И собственно лишь съ этого времени вполнѣ справедливы горячія слова критика: «Прасолъ, верхомъ на лошади, гоняющій скотъ съ одного поля на другое, по колѣна въ крови, присутствующій при рѣзаніи или, лучше сказать, при бойнѣ скота; приказчикъ, стоящій на базарѣ у возовъ съ саломъ, и мечтающій о любви, о дружбѣ, о внутреннихъ поэтическихъ движеніяхъ души, о природѣ, о судьбѣ человѣка, о тайнахъ жизни и смерти, мучимый и скорбями растерзаннаго сердца, и умственными сомнѣніями, и въ то же время дѣятельный членъ дѣйствительности, среди которой поставленъ, смышленый и бойкій русскій торговецъ, который покупаетъ, продаетъ, бранится и дружится Богъ знаетъ съ кѣмъ, торгуется изъ за копейки и пускаетъ въ ходъ всѣ пружины мелкаго торгашества,

которыхъ внутренно отвращается, какъ мерзости: какая картина, какая судьба, какой человѣкъ!»...

Интересно и поучительно для характеристики тогдашняго настроенія Кольцова большое письмо къ Бѣлинскому изъ Воронежа по пріѣздѣ. «Въ Воронежъ я пріѣхалъ хорошо; но въ Воронежѣ жить мнѣ противу прежняго вдвое хуже: скучно, грустно, бездомно въ немъ. И все какъ-то кажется то же, да не то». Вспоминая Москву, онъ пишетъ: «Благодарю васъ, благодарю вмѣстѣ и всѣхъ вашихъ друзей. Вы и они много для меня сдѣлали, о, слишкомъ много, много! Эти послѣднія два мѣсяца стоили для меня пяти лѣтъ воронежской жизни». О дѣлахъ своихъ онъ пишетъ: «Словесностью занимаюсь мало, читаю немного—некогда, въ головѣ дрянь такая набита, что хочется плюнуть; матеріализмъ дрянной, гадкій и вмѣстѣ съ тѣмъ необходимый». Жизнерадостное настроеніе овладѣваетъ имъ и теперь лишь минутами и самая степь на короткое время заняла и очаровала его. За жизнью природы онъ начинаетъ видѣть жизнь и людей, и въ одномъ изъ позднѣйшихъ писемъ (1839 г.) мы находимъ любопытное объясненіе, почему онъ писалъ мало въ послѣднее время: «...трудно отвѣчать и отвѣтъ смѣшной: не потому, что некогда, что дѣла мои были дурны, что я былъ все разстроенъ; но вся причина—эта суша (засуха), это безвременье нашего края, настоящій и будущій голодъ. Все это какъ-то ужасно имѣло нынѣшнее лѣто на меня большое вліяніе, или потому, что мой бытъ и выгоды тѣсно связаны съ внѣшней природой всего народа. Куда ни глянешь—вездѣ унылыя лица; поля, горѣлыя степи наводятъ на душу уныніе и печаль, и душа не въ состояніи ничего ни мыслить, ни думать. Какая рѣзкая перемѣна во всемъ! Напримѣръ: и теперь поютъ русскія пѣсни тѣ же люди, что пѣли прежде, тѣ же пѣсни, такъ же поютъ, напѣвъ одинъ,—а какая въ нихъ,—не говоря уже грусть, онѣ всѣ грустны,—а какая-то болѣзнь, слабость... Разгульная энергія, сила, могущество будто въ нихъ никогда не бывали. Я думаю, въ той же душѣ, на томъ же инструментѣ, на которомъ народъ выражался широко и сильно, при другихъ обстоятельствахъ можетъ выражаться слабо и бездушно. Особенно въ пѣснѣ это замѣтно. Въ ней, кромѣ ея собственной души, есть еще душа народа въ его настоящій моментъ жизни».

Когда человѣкъ пришелъ къ сознанію, что его внутреннія стремленія въ полномъ противорѣчіи съ дѣйствительностью, онъ долженъ либо разорвать съ этой дѣйствительностью, пойти по новому пути, либо покориться и дать заглохнуть своему лучшему «я»; иначе—изъ такого человѣка выйдетъ мученикъ. Ни того, ни другого Кольцовъ не былъ въ силахъ сдѣлать:

Много думъ въ головѣ,
Много въ сердцѣ огня!

. . . . . .

Да на путь по душѣ—
Крѣпкой воли мнѣ нѣтъ...

«Гнись въ дугу и стой прямо въ одно и то же время. И я все это дѣлаю теперь даже съ охотою». Кольцовъ не подозрѣвалъ, какой глубокій смыслъ въ этой обмолвкѣ; предполагая, быть можетъ, сказать, что онъ настолько выше сталъ окружающей грязи, что не боится уже замараться, хотя и находится вблизи нея, онъ говоритъ нѣчто прямо противоположное, и Бѣлинскій вполнѣ правъ, замѣчая, что тогдашнее состояніе его души въ этомъ письмѣ выражено вѣрнѣе, нежели какъ, можетъ быть, думалъ онъ самъ. Позднѣе, въ началѣ 40-го года, Кольцовъ уже болѣе искренно писалъ Бѣлинскому: «Пророчески угадали вы мое положеніе; у меня у самого давно уже лежитъ грустное это сознаніе, что въ Воронежѣ долго мнѣ не сдобровать. Давно живу я въ немъ и гляжу вонъ, какъ звѣрь. Тѣсенъ мой кругъ, грязенъ мой міръ, горько жить мнѣ въ немъ, и я не знаю, какъ еще не потерялся въ немъ давно. Какая-нибудь добрая сила невидимо поддерживаетъ меня отъ паденія. И если я не перемѣню себя, то скоро упаду; это неминуемо, какъ дважды-два четыре. Хотя я и отказалъ себѣ во многомъ, и частью, живя въ этой грязи, отрѣшилъ себя отъ нея, но все-таки не совсѣмъ, но все-таки я не вышелъ изъ нея». И какую жалкую и грустную картину представляетъ Кольцовъ, поэтъ земледѣльческаго труда, ведущій нескончаемыя сутяжническія дѣла съ крестьянами изъ-за арендъ и посѣвовъ и т. п., преслѣдующій этими дѣлами своихъ высокопоставленныхъ покровителей, которымъ ужъ конечно не былъ интересенъ и симпатиченъ Кольцовъ-дѣлецъ...

Тяжелое положеніе поэта было усилено и тѣмъ, какъ онъ поставилъ себя съ прежними друзьями. Роль ментора, которую онъ, повидимому, не прочь былъ разыграть на родинѣ, не удалась. Поражаетъ своею заносчивостью окончаніе письма, изъ котораго мы только-что приводили отрывки. «Съ моими знакомыми расхожусь помаленьку, наскучили мнѣ ихъ разговоры пошлые. Я хотѣлъ съ пріѣзда увѣрить ихъ, что они криво смотрятъ на вещи, ошибочно понимаютъ; толковалъ такъ и такъ. Они надо мною смѣются, думаютъ, что я несу имъ вздоръ. А повернулъ себя отъ нихъ на другую дорогу, хотѣлъ ихъ поучить—да ба!—и вотъ какъ съ ними поладилъ: все ихъ слушая, думаю самъ про-себя о другомъ; всѣхъ ихъ хвалю во всю мочь; всѣ они у меня люди умные, ученые, прекрасные поэты, философы, музыканты, живописцы, образцовые чиновники, образцовые купцы, образцовые книгопродавцы; и они стали мной довольны, и я самъ про себя смѣюсь надъ ними отъ души. Такимъ образомъ все идетъ ладно, а то что, въ самомъ дѣлѣ, изъ ничего наживать себѣ дура-

ковъ-враговъ. Ужъ видно, какъ кого Господь умудрилъ, такъ онъ со своею мудростью и умретъ». Поссорился онъ въ это время даже со своимъ первымъ покровителемъ Кашкинымъ...

По всей вѣроятности, отчасти такова же была причина частыхъ размолвокъ его съ отцомъ. Старикъ смотрѣлъ на сына, на его связи, какъ на доходную статью, и любилъ пускать ими пыль въ глаза знакомымъ, но во всемъ и всегда онъ поступалъ по-своему. Переводя на имя сына долги и векселя, тысячъ на 20, онъ связалъ его по рукамъ и ногамъ, такъ что А. В. пришлось отказаться поневолѣ отъ предложеній Краевскаго принять управленіе книжною лавкой на акціяхъ и завѣдываніе конторою «Отечественныхъ Записокъ». Стройка большого дома, по окончаніи которой Кольцовъ надѣялся сдать на руки отца приведенныя въ порядокъ дѣла, а самому заняться книжной торговлей въ родномъ Воронежѣ,—сильно заняла его на нѣкоторое время, но и здѣсь отецъ разстроилъ планы сына.

Новое большое горе еще пришибло Кольцова. Умеръ, въ концѣ 1838 г., отъ чахотки Серебрянскій, которому поэтъ далъ возможность умереть на родинѣ, на рукахъ матери и сестры. «Да, лишился я человѣка,—писалъ поэтъ Бѣлинскому, котораго любилъ столько лѣтъ и котораго потерю горько оплакиваю. Много желаній не сбылось, много надеждъ не исполнилось, проклятая болѣзнь! Прекрасный міръ прекрасной души, не высказавшись, скрылся навсегда... Вотъ почему я онѣмѣлъ было совсѣмъ и всему хотѣлъ сказать: прощай! и если бы не вы, я все бы потерялъ навсегда. Вѣдь меня не очень увлекала и увлекаетъ блестящая толпа; сходка, общество людей, конечно хорошо, но если есть человѣкъ, то такъ; а безъ него, толпа не много даетъ. Опять я такой человѣкъ, которому надобны сильныя потрясенія, иначе—я ноль. Никто меня не уничтожитъ съ другою душой, а собственную мою мнѣ уничтожить всякій».

За книгами, за стихами Кольцовъ еще забывался, но какъ въ письмѣ, такъ и въ стихотвореніяхъ, минорный тонъ преобладаетъ. Если онъ и подбадриваетъ себя порою, то руки у него тутъ же опускаются. Въ длинномъ письмѣ, отъ 15-го августа 1840 г., онъ писалъ критику: «Вы боитесь за меня, чтобы я скоро не потерялся. Это правда и такая правда, какая она лишь можетъ быть,—не только черезъ пять лѣтъ, даже и скорѣе, живя такъ и въ Воронежѣ. Но что-жъ дѣлать? Буду жить, пока живется, работать, пока работается. Сколько могу, столько и сдѣлаю; употреблю всѣ силы, пожертвую сколько могу; буду биться до конца края, приведу въ дѣйствіе всѣ зависящія отъ меня средства. И когда послѣ этого упаду, мнѣ краснѣть будетъ не передъ кѣмъ и предъ самимъ собою я буду правъ. Другого дѣлать нечего. А что въ 1838 году написалъ такъ много порядочнаго,—это потому, во-первыхъ, что я былъ съ вами и съ людьми,

которые меня каждый день настраивали, а во-вторыхъ, я почти ничего не дѣлалъ и былъ праздненъ. Тяготило меня до смерти одно дѣло, но только одно дѣло, не больше. И я все еще писалъ такъ мало. А здѣсь кругомъ меня другой народъ—татаринъ на татаринѣ, жидъ на жидѣ, а дѣлъ—бремя: стройка дома (которая кончилась съ мѣсяцъ назадъ), судебныя дѣла, услуги, прислуги, угожденія, посѣщенія, счеты, расчеты, брани, ссоры. И какъ еще я пишу. И для чего пишу?—для васъ, для васъ однихъ, а здѣсь я за писанія терплю одни оскорбленія. Всякій подлецъ такъ на меня и лѣзетъ, дескать, писакѣ-то и крылья ошибить... Это меня часто смѣшитъ, когда какой-нибудь чудакъ пѣтушится».

Жалобы поэта на лицъ, желавшихъ «ошибить крылья писакѣ», были, къ несчастію, вполнѣ справедливы. По разсказу де-Пуле, со стороны чиновниковъ, у которыхъ ему приходилось бывать по отцовскимъ дѣламъ, онъ встрѣчалъ крайне грубое отношеніе, обращенія на «ты», окрики: «ходите по угламъ да по закоулкамъ... плутуете, мошенничаете, а какъ дѣло—и лѣзете ко мнѣ!» Въ такомъ обращеніи было, повидимому, много преднамѣреннаго, если не съ цѣлью добиться взятки, то хоть оборвать, какъ литератора. Передавъ разговоръ Кольцова съ предсѣдателемъ палаты государственныхъ имуществъ Карачинскимъ, который, въ пику губернатору, покровительствовавшему Кольцову, нарочно тянулъ его дѣла, де-Пуле замѣчаетъ: «разсказанныя сцены, если бы онѣ и рѣже случались, а не почти ежедневно, въ состояніи были привести въ отчаяніе и возбудить негодованіе даже въ человѣкѣ, къ нимъ привыкшемъ. Кольцову онѣ были тяжелы тѣмъ болѣе, что онъ, благодаря своей литературной извѣстности, привыкъ къ лучшему обращенію; но для грубаго чиновничества тогдашняго времени онъ былъ прежде всего *мѣщаниномъ*, т.-е. человѣкомъ безъ всякихъ правъ на вѣжливое обхожденіе».

При цитированномъ письмѣ отъ 15-го авг. 1840 г. Кольцовъ Бѣлинскому прислалъ извѣстное стихотвореніе, рельефно рисующее его тогдашнее настроеніе:

Въ непогоду вѣтеръ
Вѣетъ, завываетъ...
Нѣту силъ—усталъ я
Съ этимъ горемъ биться,
А на свѣтъ посмотришь—
Жалко съ нимъ проститься...

Даже мысль о самоубійствѣ какъ будто мелькала въ его умѣ, если судить по «Расчету съ жизнью», посвященному Бѣлинскому:

Только тѣшилась мной
Злая вѣдьма—судьба;
Только силу мою
Сокрушила борьба...

Жизнь! зачѣмъ же собой
Обольщаешь меня?
Если-бъ силу Богъ далъ—
Я разбилъ бы тебя!

Только надежда на свиданіе со столичными друзьями «въ кипяткѣ жизни, въ борьбѣ страстей» поддерживала его, и въ томъ же письмѣ онъ восклицалъ о свиданіи: «ахъ, дай-то Богъ, чтобы оно скоро исполнилось; рвется душа моя видѣть васъ и слушать васъ...»

Бѣлинскій также съ нетерпѣніемъ ждалъ свиданія съ поэтомъ. «Бѣдный Кольцовъ,—пишетъ онъ Боткину въ Москву отъ 5-го сентября.—Его письмо потрясло мою душу. Все благородное страждетъ, одни скоты блаженствуютъ, но и тѣ и другіе равно умрутъ: таковъ вѣчный законъ Разума. Ай да Разумъ! Какъ пріѣдетъ въ Москву Кольцовъ, скажи, чтобы тотчасъ же увѣдомилъ меня; а если поѣдетъ въ Питеръ—чтобы прямо ко мнѣ и искалъ бы меня на Васильевскомъ островѣ (слѣдуетъ адресъ)... «У меня теперь большая квартира, и намъ съ нимъ будетъ просторно».

Къ началу октября Кольцовъ съ гуртомъ скота прибылъ въ Москву. Бѣлинскій опять звалъ его къ себѣ и въ письмѣ къ Боткину писалъ: «Кольцова расцѣлуй и скажи ему, что жду не дождусь его пріѣзда, словно свѣтлаго праздника. Катковъ умираетъ отъ желанія хотя два дня провести съ нимъ вмѣстѣ. Скажи, чтобы пріѣзжалъ прямо ко мнѣ, нигдѣ не останавливаясь ни па минуту, если не хочетъ меня разобидѣть».

Кое-какъ сбывъ съ рукъ дѣла въ Москвѣ, Кольцовъ поспѣшилъ къ другу въ Петербургъ и прожилъ съ нимъ до конца ноября. «Кольцовъ живетъ у меня,—писалъ критикъ 25-октября:—мои отношенія къ нему легки... Экая благодатная натура!» Видно, несмотря на то, что жизнь порядкомъ уже помяла поэта, въ немъ было еще много силъ и отзывчивости на все, къ чему стремился учитель русской литературы. Неискренность, малѣйшая ложь во взаимныхъ отношеніяхъ коробили нецстоваго Виссаріона и трудно было заслужить такую страстную приверженность съ его стороны. «Когда пріѣхалъ Кольцовъ,—писалъ онъ по отъѣздѣ Кольцова:—я всѣхъ позабылъ; я точно очутился въ обществѣ нѣсколькихъ чудныхъ людей... И вотъ я опять одинъ, и пуста та комната, гдѣ еще недавно такъ мой милый А. В. съ утра до вечера упивался чаемъ и меня поилъ.

Дѣла скоро отозвали Кольцова опять въ Москву и вскорѣ онъ писалъ критику: «Вамъ до послѣдней степени кажется невѣроятнымъ мое долгое молчаніе. 18 дней я живу въ Москвѣ и къ вамъ ни слова. Да, мнѣ самому это ужъ показалось очень страннымъ. Но или у меня такъ въ натурѣ, или, поѣхавши изъ Питера, мнѣ было очень горько: разстаться съ вами прежде было дѣломъ обыкновеннымъ, теперь не такъ. Я какъ долго не могъ привыкнуть, что уѣхалъ, ѣду, въ Москвѣ—и васъ со мною нѣту». Онъ точно предчувствовалъ, что это было послѣднее его свиданіе съ Бѣлинскимъ, и хандра, послѣ оживленія въ Петербургѣ, снова стала подкрадываться къ нему уже и въ Москвѣ.

Новый 1841 г. Кольцовъ встрѣтилъ у Боткина:

Прошедшій годъ, тебя я встрѣтилъ шумно
Среди знакомыхъ и друзей!—

вспоминалъ онъ черезъ годъ объ этомъ времени, когда жизнь была такъ же наполнена, какъ и въ 1837—1838 гг., но когда не было уже юношеской жизнерадостности. Всего черезъ десять дней послѣ этой встрѣчи новаго года, Кольцовъ тоскливо писалъ въ Петербургъ: «Да, милый В. Г., гдѣ вы, тамъ для меня жизнь всегда теплѣе, а гдѣ васъ нѣтъ — другое дѣло. Чѣмъ больше проходитъ время, тѣмъ больше эта истина доказывается опытомъ. Я теперь яснѣе началъ чувствовать, какъ цѣлый міръ иногда можетъ сосредоточиться въ одномъ человѣкѣ. Кажется, скоро придетъ пора, что вы для меня замѣните всѣхъ и все. Моя душа часто начала говорить про это и никуда не просится жить, какъ къ вамъ. Когда-то придетъ это время, когда можно будетъ мнѣ это сдѣлать не словами, а дѣломъ! Боже сохрани, если Воронежъ почему-нибудь меня удержитъ у себя еще надолго: я тогда пропалъ!» Критику понравились новыя его стихотворенія, и Кольцовъ въ восторгѣ: «Получилъ ваше письмо, прочелъ и подо мною земля загорѣлась!»

Время шло, приходила пора ѣхать домой, давать отцу отчетъ о дѣлахъ, совершенно развязаться съ которыми Кольцову представлялось невозможнымъ. На свои стихи онъ не надѣялся, а начинать снова поприще лавочнаго сидѣльца, приказчика, мелкаго торгаша—одна мысль объ этомъ приводила его въ бѣшенство. И онъ жилъ въ Москвѣ и хандрилъ. «Ахъ, если бы къ вамъ скорѣе!—опять писалъ онъ Бѣлинскому.—Если-бъ вы знали, какъ не хочется ѣхать домой—такъ холодомъ и обдаетъ при мысли ѣхать туда, а ѣхать—необходимость, желѣзный законъ!» И живя въ Москвѣ, онъ всею душою жилъ съ Бѣлинскимъ. Здоровье послѣдняго начинало разстраиваться уже въ это время. Кольцовъ, болѣе критика знакомый съ практической жизнью, большую часть этого письма посвящаетъ домашнимъ интересамъ Бѣлинскаго; какъ преданный дядька, даетъ ему практическіе совѣты и о хозяйствѣ, и о нужной ему гигіенѣ, и т. д.; онъ принимался даже лѣчить Бѣлинскаго. Онъ лучше и яснѣе многихъ понималъ въ то время громадное значеніе дѣятельности Бѣлинскаго. «На васъ глаза всѣхъ обращены, и ваше мѣсто торжественно и шатко»,—пишетъ онъ здѣсь же, и слова эти могли бы показаться лестью, если бы время не оправдало ихъ.

Дома Кольцова встрѣтили очень холодно. Отецъ былъ крайне разсерженъ неудачнымъ исходомъ операціи съ тѣмъ гуртомъ, съ которымъ Кольцовъ отправлялся въ Москву. На страстной недѣлѣ онъ заболѣлъ и чуть не умеръ. Есть основаніе полагать, что онъ поѣхалъ въ

столицы уже не совсѣмъ здоровымъ, и тамъ нѣсколько невоздержный образъ жизни пошатнулъ его здоровье окончательно. За нимъ очень участливо ухаживалъ врачъ Малышевъ и кое-какъ поставилъ его на ноги. Въ это время Кольцовъ сошелся съ извѣстной всему Воронежу камеліей Варварой Петровной Лебедевой. «Закрывъ глаза на все, полною чашею, съ безумною жаждою пилъ нашъ страдалецъ отравительные восторги,—говоритъ Бѣлинскій:—на бѣду его, эта женщина была совершенно по немъ—красавица, умна, образована, и ея организація вполнѣ соотвѣтствовала его кипучей, огненной натурѣ». Къ этой женщинѣ и относятся стихи Кольцова:

Ты въ путь иной отправилась одна
И для преступныхъ наслажденій,
Для страдострастья безъ любви
Другихъ любимцевъ избрала...
Какъ тяжело намъ проходить
Передъ язвительной толпою!..
Но я рѣшился, я пойду,
И до конца тебя не брошу...

Эта несчастная связь окончательно поссорила Кольцова съ родными, даже съ любимою его сестрой Анисьей:

Теперь яснѣй
Ужъ вижу я,
Огонь любви
Давно потухъ
Въ груди твоей.
Бывало, ты—
Сестра и другъ;
Бывало, ты –
Совсѣмъ не та!

Къ концу лѣта Кольцовъ немного поправился, но это было лишь отсрочкой смерти. Болѣзнь дѣлала свое разрушительное дѣло, которому помогли нелады въ семьѣ. Крутой нравъ былъ въ крови семьи и трудно сказать, кто больше виноватъ во всѣхъ столкновеніяхъ, тяжело ложившихся на чахоточнаго. Послѣднія его письма—одинъ нескончаемый вопль отчаянія, безконечныя жалобы, истерическія обвиненія всѣхъ и всего въ заговорѣ противъ него. Мы не станемъ цитировать этихъ писемъ и повторять разсказовъ объ издѣвательствахъ, которыя продѣлывались надъ больнымъ, сидѣвшимъ зачастую безъ дровъ въ холодномъ флигелѣ. Достаточно напомнить о такомъ фактѣ, котораго не отрицаетъ и де-Пуле, оправдывающій родныхъ Кольцова: незадолго уже до его смерти, его сестра со своими подругами устроили въ сосѣдней съ нимъ комнатѣ особую игру — громогласное отпѣваніе «раба Божьяго Алексѣя»...

Тоскливо начался 1842-й годъ. Кольцовъ писалъ, вспоминая прошедшій:

Прожитый годъ, тебя я встрѣтилъ шумно,
Въ кругу знакомыхъ и друзей—
Широко, вольно и безумно,
При звукахъ бѣшеныхъ рѣчей...
Но годъ прошелъ: однимъ—звѣздою ясной,
Другимъ—онъ молніей мелькнулъ:
Меня жъ годъ, встрѣченный прекрасно—
Какъ другъ,—какъ демонъ обманулъ...
Тяжелый годъ, тебя ужъ нѣтъ, а я еще живу,
И новый тихо безъ друзей встрѣчаю...

Какъ только ему становилось лучше, онъ снова начиналъ мечтать о жизни въ столицѣ, объ ученьи.

Но увы, нѣтъ дорогъ
Къ невозвратному,
Никогда не взойдетъ
Солнце съ запада...

Снова начиналась прежняя внутренняя борьба, не бросить ли навсегда Воронежъ и негостепріимную семью. Старикъ Кольцовъ не прочь бы еще былъ помириться съ сыномъ если бы тотъ согласился жениться по его желанію. Но это значило бы, писалъ онъ Бѣлинскому и Краевскому, «пожертвовать собой, сгубить женщину и себя». Не улыбалась ему перспектива:

Сидѣть дома, болѣть-старѣться,
Съ старикомъ отцомъ вновь ссориться.
Работать, съ женой хозяйничать,
Ребятишкамъ сказки сказывать...

Но страха предъ неизвѣстнымъ будущимъ онъ уже не могъ побороть въ себѣ, было слишкомъ поздно:

По людямъ ходить, за море плыть—
Надо кровь опять горячую,
Надо силу, силу прежнюю,
Надо волю безотмѣнную...

Друзья напрасно пытались воскресить въ немъ увѣренность въ его силахъ, напрасно звали къ себѣ.

«О Кольцовѣ нечего и толковать,—сообщалъ Бѣлинскій Боткину отъ 31-го марта 1842 г.—Я писалъ къ нему, чтобы онъ все бросалъ и, спасая душу, ѣхалъ въ Питеръ. Я бы не сталъ его приглашать къ себѣ изъ вѣжливости или такъ,—такими вещами я теперь не шучу. Богаты не будемъ, сыты будемъ. За счастіе почту дѣлиться съ нимъ всѣмъ... Пиши къ нему и заклинай ѣхать, ѣхать и ѣхать».

Кольцовъ не поѣхалъ. «Одна мысль о начатіи новаго поприща унижe-

нія, пролазничества, плутней, приводила его въ ужасъ,—говоритъ Бѣлинскій:—она-то и усахарила его!» Послѣдніе мѣсяцы онъ доживалъ одинъ, безъ друзей; вѣроятно, вслѣдствіе тяжелаго состоянія духа, онъ уже и не писалъ Бѣлинскому съ февраля мѣсяца. За полтора или два мѣсяца до смерти, его посѣтилъ извѣстный Аскоченскій, товарищъ Серебрянскаго по семинаріи. То былъ послѣдній гость поэта изъ его прежнихъ, когда-то многочисленныхъ знакомыхъ...

Короткій и грустный разговоръ коснулся и значенія литературной дѣятельности самого Кольцова. «Избаловали меня эти неумѣренныя похвалы нашихъ журналистовъ,—съ раздраженіемъ сказалъ Кольцовъ:—избавьте хоть вы меня отъ нихъ!»... «Во мнѣ хотятъ видѣть мѣщанина, а я прошу всѣхъ, чтобы на меня смотрѣли, какъ на человѣка... Я имъ даю фактъ... Что имъ за надобность—съ неба ли я беру мое вдохновеніе, или отъ земли?»

«Удушливый кашель прервалъ его рѣчь,—передаетъ Аскоченскій.—Я просилъ его успокоиться.

«Почетное ваше титло,—сказалъ я,—по которому васъ знаетъ Русь—поэтъ; всего прочаго она знать не хочетъ: и прасолу Кольцову также радуются, какъ и рыбаку Ломоносову.

«Благодарю васъ,—сказалъ онъ, крѣпко пожимая мнѣ руку:—мнѣ тутъ тяжело. Нѣтъ человѣка, который бы подарилъ меня хоть... одной свѣжей мыслью... Здѣсь пустыня... И баранъ—прекрасное твореніе Божіе... онъ даетъ волну, мясо... онъ полезенъ. Но людямъ унижаться до барановъ... быть только матеріально-полезными... это какъ-то... это какъ-то неловко. Они смотрятъ на меня, какъ на потеряннаго человѣка... оттого, что я не приношу имъ волны и сала. Богъ съ ними! Богъ съ ними!»

Комната, въ которой принималъ Аскоченскаго Кольцовъ, была очень бѣдна: столъ, кровать, два или три стула и больше ничего. На столѣ лежала библія, одинъ томъ сочиненій Жуковскаго, и только; въ углу на стѣнѣ висѣло небольшое распятіе изъ слоновой кости; по сторонамъ былъ миніатюрный портретъ Полежаева и Пушкина въ гробу...

Медленная агонія Кольцова закончилась 29-го октября 1842 г. На другой день въ одной изъ лавокъ Воронежа, по разсказу де-Пуле, происходила такая сцена:

«Приходитъ туда Василій Петровичъ (отецъ Кольцова), спрашиваетъ парчи, бахромы, кисеи и т. п., выбираетъ, торгуется. Хозяина при его приходѣ не было въ лавкѣ, но онъ скоро явился. Начались тары-бары между пріятелями. Василій Петровичъ пустился въ разсказы о томъ, какъ онъ вчера вечеромъ весело проводилъ время въ трактирѣ, по поводу того, что у него вышло какое-то подходящее дѣло съ дворянами... А кому ты

это парчу покупаешь? — прервалъ его хозяинъ лавки. — Сыну... Алексѣю вчерась померъ»...

Бѣлинскій съ друзьями не ранѣе, какъ черезъ мѣсяцъ, узнали о кончинѣ поэта, изъ стихотворенія «На смерть Кольцова», присланнаго въ редакцію «Отеч. Зап.» кѣмъ-то изъ воронежцевъ. Бумаги Кольцова—до самой почти смерти онъ писалъ—въ томъ числѣ и письма къ нему отъ цѣлаго ряда тогдашнихъ литературныхъ знаменитостей—все это было продано отцомъ на вѣсъ и безвозвратно пропало.

Въ 1868 г. въ Воронежѣ поставленъ памятникъ «поэту-прасолу». Но пѣсни его — памятникъ нерукотворный, къ которому не заростетъ «народная тропа», какъ къ созданіямъ другого поэта, учителя Кольцова. Значеніе этихъ пѣсенъ такъ безспорно общепризнано, что останавливаться на этомъ предметѣ нѣтъ надобности. Какъ пѣвецъ земледѣльческаго труда, Кольцовъ знакомъ каждому со школьной скамьи, и близокъ и дорогъ каждому, кто способенъ отдаваться обаянію русской пѣсни со всѣмъ роднымъ, — гдѣ слышится «то разгулье удалое, то сердечная тоска». Болѣе ³/₄ всего написаннаго Кольцовымъ положено на музыку, и многія пьесы по нѣскольку разъ и первоклассными композиторами. До извѣстной степени уже сбылось предсказаніе Бѣлинскаго, сдѣланное имъ въ біографіи своего друга: «И придетъ время, когда пѣсни Кольцова пройдутъ въ народъ и будутъ пѣться на всемъ пространствѣ безпредѣльной Руси».

Личность Кольцова не пользуется, однако, и долею извѣстности его пѣсенъ. Въ самомъ Воронежѣ значеніе его и смыслъ памятника, по многочисленнымъ о томъ сообщеніямъ въ газетахъ, почти неизвѣстны простонародью. Здѣсь мы не встрѣчаемъ и тѣни поэтической народной легенды, которая создалась, наприм., около имени Шевченка, вся поэзія котораго также коренится въ малороссійской народной пѣснѣ, какъ поэзія Кольцова—въ великорусской.

Быть можетъ, это приходится объяснять тѣмъ, что все-таки Кольцовъ не далъ всего, что могъ бы дать при болѣе благопріятныхъ условіяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ его творчествѣ почти совершенно отсутствуетъ мотивъ соціальный, который такъ силенъ у Шевченка и создалъ ему симпатію у простонародья. Крестьянинъ Кольцова представленъ почти исключительно лицомъ къ лицу съ природой, или же въ несложныхъ отношеніяхъ между влюбленными. Какъ ни сильна поэзія этого рода, какъ ни могучи и образны представленные имъ мотивы личной любви, личнаго горя, но около человѣка, поэтическое творчество котораго вращалось только въ этихъ сферахъ, не могло создаться легенды.

Шевченко, плоть отъ плоти, кровь отъ крови малорусскаго хлопа, достигъ той степени общаго развитія и образованія, до которой далеко бы-

ло Кольцову. Инстинктивное тяготѣніе къ народу у Шевченка было просвѣщено сознаніемъ законности этого тяготѣнія. У Кольцова мы видимъ только зачатки того «народническаго» настроенія, въ которомъ была главная сила украинскаго поэта. Оно проглядываетъ въ цитированномъ письмѣ къ Бѣлинскому, гдѣ Кольцовъ говоритъ, что «сушь» помѣшала ему писать, и даже отвѣтъ этотъ кажется ему смѣшнымъ...

Быть можетъ, эти зачатки развились бы и внесли въ творчество Кольцова новый элементъ, если бы развитіе его не прерывалось. Какъ разъ въ то время, когда прекратились личныя сношенія Кольцова съ Бѣлинскимъ, критикъ приходилъ къ окончательному разрыву съ гегеліанствомъ. Въ письмѣ къ Боткину отъ 8-го сентября 1841 г. онъ писалъ: «Соціальность—вотъ девизъ мой. Что мнѣ въ томъ, что живетъ общее, когда страдаетъ личность? Что мнѣ въ томъ, что я понимаю идею, что мнѣ открытъ міръ идеи въ искусствѣ, въ религіи, въ исторіи, когда я не могу дѣлиться этимъ со всѣми, кто долженъ быть моими братьями по человѣчеству, моими ближними по Христѣ, но кто мнѣ чужіе и враги по своему невѣжеству? Что мнѣ въ томъ, что для избранныхъ есть блаженство, когда большая часть и не подозрѣваетъ его возможностей? Прочь же отъ меня блаженство, если оно—достояніе мнѣ одному изъ тысячъ! Не хочу я его, если оно у меня не общее съ меньшими братьями моими! Сердце мое обливается кровью и судорожно содрогается при взглядѣ на толпу и ея представителей. Горе, тяжелое горе овладѣваетъ мною при видѣ и босоногихъ мальчишекъ, играющихъ въ бабки, и оборванныхъ нищихъ, и пьянаго извозчика, и идущаго съ развода солдата, и бѣгущаго съ портфелемъ подъ мышкою чиновника, и довольнаго собою офицера, и гордаго вельможи. Подавши грошъ солдату, я чуть не плачу; подавши грошъ нищей, я бѣгу отъ нея, какъ будто сдѣлавши худое дѣло и какъ будто не желая услышать шелеста собственныхъ шаговъ своихъ. И это жизнь: сидѣть на улицахъ въ лохмотьяхъ, съ идіотскимъ выраженіемъ на лицѣ, набирать днемъ нѣсколько грошей, а вечеромъ пропить ихъ въ кабакѣ,—и люди это видятъ, и никому до этого нѣтъ дѣла!... И это—общество, на разумныхъ началахъ существующее, явленіе дѣйствительности!... И послѣ этого имѣетъ ли право человѣкъ забываться въ искусствѣ, въ знаніи!» Содержаніе этого отрывка, въ настроеніи близкаго къ вышеупомянутому письму Кольцова, кажется, достаточно показываетъ то направленіе, въ которомъ могъ бы еще развернуться его талантъ...

Но само собою разумѣется, что оно могло бы развиться лишь въ томъ случаѣ, если бы Кольцовъ вполнѣ разорвалъ со своимъ мѣщанствомъ и со всѣми отрицательными сторонами этого быта, которыя въѣлись въ него смолоду.

Много лѣтъ спустя послѣ смерти поэта, старикъ Кольцовъ такъ выражался о сынѣ: «Разумная голова былъ мой Алексѣй, да Богъ не далъ ему пожить на свѣтѣ. Книжки его сгубили и свели въ могилу».

Въ сущности и де-Пуле держится того же мнѣнія, что сгубили Кольцова «книжки». Да, со старозавѣтной точки зрѣнія и такъ называемаго здраваго смысла, выраженнаго въ пословицѣ, — «всякъ сверчокъ знай свой шестокъ»,—книжки способны загубить человѣка. Чрезъ посредство Серебрянскаго и Бѣлинскаго и друг. онѣ создали драму въ душѣ Кольцова. Обстоятельства всѣ сложились такъ, что онъ палъ жертвою этой драмы, вызванной противорѣчіемъ «книжекъ» и «темнаго царства». Но только цѣною этой борьбы и могъ бы создаться художникъ съ сильно развитымъ чувствомъ истиннаго человѣческаго достоинства, съ широкими взглядами на дѣйствительность. Если изъ Кольцова не вышло пѣвца съ такимъ широкимъ кругозоромъ, какъ такой же «народный» пѣвецъ Шевченко, то вина въ томъ, конечно, не Бѣлинскаго. Хоть доля творчества Кольцова обязана поддержкѣ критика, и, «сбивая Кольцова съ толку» (по выраженію де-Пуле), онъ оказалъ русской литературѣ не послѣднюю услугу. Впрочемъ, вѣдь и все значеніе Бѣлинскаго, если угодно, въ томъ, что онъ «сбилъ со стараго толку не одно поколѣніе... И только ослѣпленное пристрастіе къ этому старому толку можетъ заставить бросить въ Бѣлинскаго камнемъ за Кольцова, въ которомъ вліяніе критика поистинѣ только и спасало живую душу.

Самъ Бѣлинскій, какъ мы упомянули въ началѣ очерка, видѣлъ въ жизни Кольцова преимущественно внѣшнее драматическое положеніе, заключавшееся въ томъ, что, говоря словами самого поэта въ предсмертной бесѣдѣ съ Аскоченскимъ, на Кольцова смотрѣли, какъ на потеряннаго человѣка, за то, что онъ не приноситъ волны и сала. Мы пытались указать болѣе на внутренній разладъ Кольцова, роднящій поэта съ каждымъ, кого мучили «проклятые вопросы», но совершенно превратно понятый де-Пуле. Помимо истинно общечеловѣчныхъ чертъ этого разсказа, онъ сближаетъ Кольцова и съ другими литературными дѣятелями сороковыхъ годовъ, которымъ точно также приходилось порою съ великими трудностями отстаивать свои права на общечеловѣческіе интересы, а также бороться, падать и снова подниматься въ столкновеніяхъ съ собственными усвоенными отъ среды привычками мысли и жизни. «Мѣщанинъ полѣзъ въ писатели!» — вотъ, въ сущности, какова негодующая мысль, проникающая всю біографію де-Пуле. Нужно ли еще доказывать, что Кольцовъ въ правѣ былъ сказать своимъ современникамъ и потомкамъ:

«Во мнѣ хотятъ видѣть мѣщанина, а я прошу всѣхъ, чтобы на меня смотрѣли, какъ на человѣка»...

VII.

Загадочная книга.

(Гоголь, «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями»).

„Это едва ли не самая странная и не самая поучительная книга, какая когда-либо появлялась на русскомъ языкѣ".

Бѣлинскій, соч. т. XI.

I.

Новые толки о Гоголѣ. — Писатель, какъ художникъ и какъ мыслитель. — Общее впечатлѣніе, произведенное книгою Гоголя при ея появленіи и толки о личности Гоголя.

Среди сочиненій всякаго выдающагося писателя найдутся такія произведенія, которыя читаются мало и хорошо извѣстны только записнымъ любителямъ автора, любовно изучающимъ его, да спеціалистамъ по исторіи литературы. Но иногда подобныя произведенія чрезвычайно интересны и поучительны для біографіи и характеристики личности писателя и по той борьбѣ противоположныхъ воззрѣній, которую они способны вызывать. Одно изъ такихъ мало популярныхъ произведеній — «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями» Гоголя. Въ любой библіотекѣ томъ собранія сочиненій Гоголя, содержащій «Переписку», окажется почти чистымъ и свѣжимъ, въ противоположность другимъ томамъ.

Въ свое время Бѣлинскій безпощадно заклеймилъ книгу Гоголя въ знаменитомъ письмѣ, до сихъ поръ извѣстномъ въ печати лишь въ сокращенномъ видѣ *). Письмо въ многочисленныхъ спискахъ распростра-

*) См. книгу г. Пыпина о Бѣлинскомъ или г. Барсукова: „Жизнь и труды М. Погодина", томъ VIII, стр. 593—607.

нилось по всей Россіи, заучивалось наизусть и разнесло всюду отрицательное отношеніе къ «Перепискѣ». Забавнымъ отголоскомъ этого отношенія является, напримѣръ, замѣчаніе Базарова въ «Отцахъ и дѣтяхъ»: «Я препакостно себя чувствую, точно начитался писемъ Гоголя къ калужской губернаторшѣ» (къ А. О. Смирновой). Критика шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ (Чернышевскій, А. Пыпинъ, Скабичевскій, О. Миллеръ) повторила въ общихъ чертахъ приговоръ Бѣлинскаго. Голоса за Гоголя вліяніемъ въ публикѣ не пользовались.

Но въ наши дни споръ сороковыхъ годовъ о странной книгѣ, отмѣтившей цѣлый періодъ жизни великаго писателя, снова поднятъ. Послѣдніе годы были богаты цѣнными детальными изслѣдованіями о Гоголѣ, которыя снова обратили вниманіе на личность его. Черезъ 50 почти лѣтъ послѣ появленія «Переписки» можно было бы, повидимому, отнестись къ дѣлу болѣе или менѣе объективно. Между тѣмъ сужденія о Гоголѣ и теперь носятъ такой отпечатокъ, будто она — событіе вчерашняго дня: съ разныхъ точекъ зрѣнія ее пытаются реабилитировать, одни лишь въ наиболѣе существенномъ, другіе—цѣликомъ, со всѣми мелочами и частностями.

Начнемъ съ отзыва человѣка, мнѣніе котораго всѣми выслушивается, каковъ бы ни былъ вопросъ, съ живѣйшимъ интересомъ, а многими—съ горячею вѣрою въ справедливость всего, что ни скажетъ этотъ человѣкъ.

Въ январской книжкѣ «Сѣв. Вѣст.» за 1893 г. г. Волынскій цитируетъ слѣдующее письмо гр. Л. Н. Толстого:

«Перечелъ я книгу въ третій разъ. Всякій разъ, когда я ее читалъ, она производила на меня сильное впечатлѣніе. Гоголь многое сказалъ въ своихъ письмахъ, но пошлость, имъ обличенная, закричала: «онъ сумасшедшій!» и Гоголь, нашъ Паскаль, лежитъ подъ спудомъ. Пошлость господствуетъ, и я всѣми силами стараюсь сказать то же, что сказано Гоголемъ». Хотя этотъ отзывъ и не развитъ, но для того, кто знакомъ съ моральною проповѣдью графа Л. Н. Толстого, очевидно, что обоихъ великихъ писателей могъ сблизить исключительный индивидуальный характеръ моральныхъ воззрѣній ихъ.

Критикъ «Сѣв. Вѣстн.» заговорилъ о Гоголѣ по поводу статей Чернышевскаго: «Критическіе очерки». Отрицательно отнесясь къ реалистическому взгляду предшествовавшей критики, г. Волынскій противопоставилъ ей «единственно вѣрное» направленіе философскаго идеализма, выразившееся въ «Перепискѣ». «Это оклеветанная замѣчательная книга, которою Россія можетъ гордиться передъ цѣлымъ свѣтомъ», такъ восклицаетъ г. Волынскій.

Далѣе, недавно вышли отдѣльнымъ изданіемъ статьи г. П. Матвѣева,

печатавшіяся въ «Русскомъ Вѣстникѣ» 1893 и 1894 гг. и спеціально посвященныя безпристрастному якобы пересмотру и опроверженію оппонентовъ «Переписки» *). Здѣсь мы читаемъ: «Поучительное и назидательное слово, обращенное авторомъ «Мертвыхъ Душъ» къ Россіи, въ книгѣ подъ заглавіемъ «Переписка съ друзьями», раздражило многихъ въ силу слишкомъ высокаго настроенія автора. Русское общество сороковыхъ годовъ жаждало всякаго прогресса, кромѣ того, который былъ указанъ въ этой книгѣ. Оно пришло въ смущеніе, когда любимый и авторитетный писатель, со всею силою горячаго убѣжденія, указалъ ему, что въ основѣ всякаго серьезнаго общественнаго воспитанія и развитія должно лежать стремленіе къ нравственному и духовному совершенствованію природы человѣка, передъ которымъ (?) все остальное не болѣе, какъ пыль. Такое удивленіе уже не удивляетъ теперь, но сорокъ лѣтъ тому назадъ такая мысль была признана вредною ересью со стороны друзей прогресса, прискорбнымъ заблужденіемъ разстроеннаго ума. Такимъ образомъ, книга Гоголя, которую объявили плодомъ его крайней отсталости, какъ оказывается, значительно опередила свое время. Въ этомъ едва ли не главная причина недоразумѣній, возникшихъ по поводу ея въ нашемъ обществѣ и печати, тяжело и болѣзненно отозвавшихся на дальнѣйшей литературной дѣятельности нашего великаго писателя».

Всецѣло на сторонѣ Гоголя и г. Барсуковъ, собравшій въ восьмомъ томѣ своей монографіи о Погодинѣ не мало матеріала о «Перепискѣ», которымъ мы далѣе и пользуемся. «Правдивымъ освѣщеніемъ содержанія книги Гоголя,—по мнѣнію г. Барсукова,—П. А. Матвѣевъ установилъ, что не Гоголь, а его критики заслуживаютъ осужденія исторіи... Вообще было бы желательно болѣе серьезное отношеніе къ перепискѣ Гоголя съ друзьями. Выбранныя мѣста изъ нея содержатъ въ себѣ обильную духовную пищу, столь необходимую въ наше время, скудное духовными идеалами, безъ которыхъ безсильно мятется и тоскуетъ человѣкъ, какъ птица безъ крыльевъ».

Книга Гоголя инымъ кажется, наконецъ, назидательною до такой степени, что недавно появилось изложеніе ея въ дешевомъ изданіи для народа (у Сытина въ Москвѣ), подъ многообѣщающимъ заглавіемъ: «Гоголь, какъ учитель жизни». Брошюрка сравниваетъ Гоголя съ евангельскою Маріею, которая, въ противоположность Мареѣ, для одного оставила многое. «Пройдутъ вѣка,—читаемъ вѣщее предсказаніе въ концѣ книжки,—многое погибнетъ, забудется и «отнимется». Забудется и «Ревизоръ», и «Мертвыя Души» Гоголя, но никогда не забудется и не отнимется у него

*) *П. Матвѣевъ.* Н. В. Гоголь и „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями".

одно; то, за что онъ вынесъ гоненіе при жизни и о чемъ сказалъ: «я не считалъ ни для кого соблазнительнымъ открыть публично, что я стараюсь быть лучшимъ, чѣмъ я есмь».

Такимъ образомъ, за «Переписку» вступились вдругъ люди самаго различнаго направленія: Левъ Толстой, на котораго ссылается критикъ либеральнаго журнала, повидимому, заодно съ авторомъ статей въ ретроградномъ журналѣ, и рядомъ — гг. Барсуковъ и анонимный авторъ назидательной брошюрки...

Заглянемъ и мы въ книгу Гоголя и въ исторію полемики, которая возгорѣлась изъ-за нея. Надо разобраться въ новыхъ толкахъ. Въ виду ихъ «Переписка» какъ бы получаетъ снова живой современный интересъ, приходится считаться снова съ мнѣніями, въ ней высказанными.

* * *

Прежде чѣмъ перейти къ самой книгѣ, необходимо еще установить какую-нибудь точку зрѣнія на вопросъ болѣе общій, на отношеніе въ писателѣ художника и мыслителя.

Нѣкоторые изъ теперешнихъ оппонентовъ критики шестидесятыхъ годовъ (напр. г. Буренинъ), говоря о Гоголѣ, усердно подчеркиваютъ ту мысль, что всякій великій художникъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и великій мыслитель. Намъ говорятъ, что къ воззрѣніямъ великаго человѣка нельзя подходить съ аршиномъ, который годится для обыкновенныхъ смертныхъ. Насъ увѣряютъ, что взгляды всякаго художника, претворяющаго въ живые образы всю несущуюся мимо жизнь, слишкомъ глубоки и широки для того, чтобъ ихъ могла оцѣнить сразу мелкая сошка — критика. Придетъ время (г. Матвѣевъ, какъ мы уже видѣли, полагаетъ, что оно уже пришло), когда потомство оцѣнитъ и приметъ, какъ живую истину, то, что отвергли современники великаго писателя.

Въ такомъ пониманіи художественнаго творчества кроется недоразумѣніе, столь же странное, сколько и не новое. Оно основано на одномъ чрезвычайно важномъ сходствѣ между художникомъ, образно воспроизводящимъ жизненныя явленія, и мыслителемъ, описывающимъ и объясняющимъ ихъ при посредствѣ понятій, которыя должны имѣть строго опредѣленный смыслъ. Дѣло въ томъ, что художественное и научное творчество въ исходной своей точкѣ почти тожественны.

Способность художественнаго творчества есть спеціальная способность, свойственная лишь немногимъ: она—непосредственный даръ природы. Анализъ этого дара, однако, вполнѣ возможенъ и сдѣланъ, напр., Гельмгольцемъ въ недавно напечатанной статьѣ о Гете (см. «Научное Обозрѣніе» 1894 г., Прилож.: «Гете и научныя идеи XIX вѣка»). Сущность худо-

жественнаго творческаго дара — необычайная способность воспріятія, при посредствѣ художественнаго созерцанія — интуиціи (Anschauung), типическихъ чертъ въ наблюдаемыхъ явленіяхъ; изъ этихъ типическихъ чертъ безсознательно складываются образы, которые художникъ и передаетъ намъ. Творческая мысль ученаго, открытіе закономѣрности въ изучаемыхъ имъ явленіяхъ, возникаетъ въ сознаніи мыслителя совершенно такъ же, какъ при художественномъ созерцаніи. Мгновенная интуиція, созерцательное проникновеніе въ смутный хаосъ явленій свойственно одинаково художнику и ученому. Но тутъ же пути ихъ и расходятся. То, что художникъ выражаетъ образами, ученый долженъ выразить словесно, опредѣленными понятіями. Правильность наблюденій художника, вѣрность его образовъ живой дѣйствительности мы повѣряемъ безсознательными представленіями о предметѣ, накопившимися въ теченіе жизни: чѣмъ тоньше наблюдательность человѣка и шире кругъ его обычныхъ представленій, тѣмъ онъ способнѣе оцѣнить художественное произведеніе. Но результаты работы ученаго мы можемъ провѣрить сознательно шагъ за шагомъ, идя отъ указанной имъ идеи (до него никѣмъ не высказанной и составляющей его славу) по пройденному имъ пути умозаключеній, наблюденій и опытовъ.

Эта разница между художникомъ и между ученымъ, т.-е. сравнительная общедоступность провѣрки результатовъ, къ которымъ пришелъ мыслитель, въ противоположность тому, что имѣетъ мѣсто при художественномъ творчествѣ, наиболѣе рѣзко выражена, если взять, напр., такого художника, какъ Шекспиръ, и такого ученаго, какъ Ньютонъ. Качественно эта разница между писателемъ-художникомъ и писателемъ-публицистомъ — та же; она менѣе лишь количественно, потому что умозаключенія относительно психологическихъ и соціальныхъ явленій провѣряются далеко не такъ легко, какъ, напр., та или иная гипотеза о фактахъ неорганической природы.

Въ силу этого, въ одномъ и томъ же писателѣ волей-неволей приходится иногда разграничивать художника отъ мыслителя, смотря по тому, въ какую сторону онъ уклонился болѣе: въ сторону ли образнаго воспроизведенія явленій, представившихся ему типическими, или же въ сторону описанія и объясненія ихъ въ цѣпи причинъ и слѣдствій при помощи доступныхъ провѣркѣ логическихъ умозаключеній.

Такимъ образомъ художественно-творческая и научно-творческая способность, исходя изъ одного и того же источника, существенно отличны по своимъ результатамъ. Гете, творецъ «Фауста», напр., глубоко проникалъ не только въ психологическія явленія своей эпохи и жизни человѣка, но былъ и замѣчательнымъ ученымъ, высказавшимъ и предчувствовавшимъ не мало свѣтлыхъ и глубокихъ идей, по достоинству оцѣниваемыхъ лишь

нынѣ. Но онъ потерпѣлъ полное фіаско въ своемъ любимѣйшемъ дѣтищѣ, въ теоріи цвѣтовъ, потому что у него не хватило съ одной стороны свѣдѣній, съ другой — той строгой дисциплины, которой требуютъ естественно-научныя изслѣдованія, провѣряемыя шагъ за шагомъ.

Точно также опредѣленными свѣдѣніями и извѣстною дисциплиною мысли долженъ обладать и писатель-художникъ, оставляющій художественное творчество для публицистики.

Этими соображеніями, въ сущности азбучными, но которыя все-таки приходится повторять, кажется, вполнѣ устраняются утвержденія теперешнихъ оппонентовъ критики шестидесятыхъ и сороковыхъ годовъ, оспаривающія право критики имѣть свое сужденіе имѣть о великомъ художникѣ. Падаютъ сами собою и насмѣшки, напр., надъ критикою шестидесятыхъ годовъ, сожалѣвшею о томъ, что Гоголь не былъ знакомъ съ правами и обязанностями французскихъ префектовъ или съ теоріею раздѣленія властей. Конечно, «Ревизоръ» не былъ бы выше, если бы Гоголь читалъ Монтескье (противоположное мнѣніе именно и приписывается Чернышевскому г. Волынскимъ), но не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что знакомство Гоголя съ Монтескье предохранило бы его, какъ публициста, какъ *объяснителя* дѣйствительности, отъ многихъ грубѣйшихъ ошибокъ.

Первый, кто рѣзко провелъ границу между Гоголемъ-художникомъ и Гоголемъ-мыслителемъ, былъ Бѣлинскій. Онъ заявилъ это печатно въ разборѣ «Переписки», помѣщенномъ въ «Современ.», и повторилъ такое мнѣніе въ письмѣ къ Гоголю.

Публика, главная масса которой въ своихъ взглядахъ шла за «Отеч. Зап.», болѣе всего и была поражена этою разницею между художникомъ и мыслителемъ. Книга вышла въ самомъ началѣ 1847 года. Въ «Финскомъ Вѣстникѣ», уже въ февральской книжкѣ этого петербургскаго журнала, было сказано: «Ни одна книга, въ послѣднее время, не возбуждала такого шумнаго движенія въ литературѣ и обществѣ, ни одна не послужила поводомъ къ столь многочисленнымъ и разнообразнымъ толкамъ». По свидѣтельству москвича Шевырева, «въ теченіе двухъ мѣсяцевъ по выходѣ книги Гоголя, она составляла любимый живой предметъ всеобщихъ разговоровъ. Въ Москвѣ не было вечерней бесѣды, гдѣ бы не толковали о ней, не раздавались бы жаркіе споры, не читались бы изъ нея отрывки». Въ общемъ представленіи не мирились Гоголь, авторъ «Выбранныхъ мѣстъ», и Гоголь, авторъ «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ», произведеній, которыя въ общественномъ отношеніи были поняты, какъ рѣзкій и правдивый протестъ противъ отрицательныхъ сторонъ русской дѣйствительности. Гоголь открещивался въ «Перепискѣ» отъ своихъ поклонниковъ и съ какою-то странною и угловатою рѣзкостью провозглашалъ идеаломъ многое изъ того,

что каждый день надутыми казенными фразами превозносилось на страницахъ «Сѣверной Пчелы» Булгарина или «Маяка» Бурачка, журналистами, пользовавшимися репутаціей въ родѣ теперешней репутаціи издателя «Гражданина». Книга произвела на всѣхъ, кому показалъ ее повѣренный поэта, — говоритъ г. Кулишъ въ «Запискахъ о жизни Гоголя», — такое впечатлѣніе, какое испытываетъ человѣкъ, когда его ведутъ на огромную фабрику, гдѣ отливаются изъ чугуна или бронзы колоссальныя созданія скульптуры. Множество народа мечется туда и сюда посреди таинственныхъ закоулковъ, дышащихъ жаромъ геенны: пламя хлещетъ въ гортань пещей, утоляя неутолимую ихъ жажду пламени; металлы, подобно ломкому льду, превращаются въ жидкость и грозятъ огненнымъ всепожигающимъ потокомъ. И вездѣ необъяснимый, незнакомый для слуха шумъ, клокотанье свистъ и шипѣнье; вездѣ загадочное, повидимому, безпорядочное и зловѣщее движеніе. Кажется, что искусство ваятеля выступило изъ своихъ предѣловъ, потеряло свои правила и гибнетъ вмѣстѣ со всею его спутавшеюся фабрикой. Такъ именно, по крайней мѣрѣ, на пишущаго эти строки подѣйствовала «Переписка съ друзьями». «За автора сжалось сердце у каждаго истиннаго цѣнителя его таланта».

Контрастъ между художникомъ и мыслителемъ заставилъ обратить все вниманіе на личность Гоголя. Старались понять причину, повидимому, радикальной перемѣны въ писателѣ, объяснить цѣль и мотивы книги, содержаніе которой представлялось, отчасти справедливо, черезчуръ знакомымъ. Не было недостатка ни въ предположеніяхъ, ни въ слухахъ, повторявшихся упорно. Единогласно находили, что «учительное» направленіе погубитъ художественный талантъ Гоголя. Наиболѣе рѣзко слышались два мнѣнія: первое—что Гоголь сумасшедшій, второе—что книга его не искренна. Его называли іезуитомъ, добивающимся весьма осязательныхъ выгодъ подъ покровомъ духовныхъ цѣлей: именно, распространился слухъ, что книга написана съ цѣлью попасть въ наставники къ сыну Наслѣдника, будто правительство, найдя неожиданно столь благонамѣреннымъ писателя, сочиненія котораго казались долго очень сомнительными, намѣрено отпечатать книгу во многихъ тысячахъ экземпляровъ и продавать ее по самой низкой цѣнѣ. Даже самъ Бѣлинскій, каравшій въ книгѣ Гоголя то преклоненіе предъ дѣйствительностью, въ которомъ былъ когда-то самъ повиненъ, заподозрилъ искренность Гоголя. Толковали даже, что книга просто мистификація, замысловатый малороссійскій жартъ, своеобразная реклама, и т. д.

Вообще, нисколько не удивительно, что споръ о «Перепискѣ» обратился въ значительной мѣрѣ въ споръ о личности Гоголя. Подобное же явленіе повторилось у насъ при поворотѣ, отъ художественнаго творчества къ

публицистикѣ, такихъ писателей, какъ Достоевскій, Левъ Толстой, Глѣбъ Успенскій. Ихъ личность, какъ извѣстно, занимала и занимаетъ публику не меньше, чѣмъ ихъ художественныя произведенія, и гораздо больше, чѣмъ ихъ публицистическія и учительныя произведенія. Это естественно уже потому, что въ подобномъ поворотѣ рѣзче и характернѣе всего высказывается нравственный обликъ писателя и невольно приковываетъ къ себѣ общее вниманіе. То, что иногда называютъ пошлымъ влеченіемъ толпы посплетничать насчетъ великаго человѣка, на нашъ взглядъ — проявленіе здраваго инстинкта массы (хотя и затемняемаго иной разъ мелкими мотивами). «Даже при самомъ поверхностномъ отношеніи къ великому человѣку,—замѣчаетъ Карлейль,—мы все-таки выигрываемъ кое-что отъ соприкосновенія съ нимъ. Онъ—источникъ жизненнаго свѣта, близость котораго всегда дѣйствуетъ на человѣка благодѣтельно». Мысли повторяются, но не повторяется человѣкъ, высказывавшій ихъ, и уже по тому одному личность его имѣетъ безконечную цѣну. Масса чувствуетъ это и жадно ловитъ все, что характеризуетъ личность великаго писателя или дѣятеля. Личность того или другого дѣятеля — его убѣжденность, его чувства—увлекаютъ людей сильнѣе, чѣмъ его мысли. Интересъ публики къ личности великаго дѣятеля, конечно, можетъ быть для него иногда очень тягостенъ. Но это уже шипы его дѣятельности, безъ которыхъ и розъ не бываетъ. Геній отдаетъ себя людямъ всецѣло.

Къ Гоголю отнеслись тѣмъ съ большею придирчивостью, чѣмъ выше было его вліяніе на публику, какъ художника, съ тѣмъ большимъ вниманіемъ, чѣмъ уже была сфера общественныхъ интересовъ, сосредоточивавшихся на одной литературѣ и крайне стѣсненной журналистикѣ. «Подозрительно и недовѣрчиво разобрано было всякое слово,—жаловался онъ въ «Авторской Исповѣди»,—и всякъ наперерывъ спѣшилъ объявить источникъ, изъ котораго оно произошло. Надъ живымъ тѣломъ еще живущаго человѣка производилась та страшная анатомія, отъ которой бросаетъ въ холодный потъ даже и того, кто одаренъ крѣпкимъ сложеніемъ». Но если эта страшная «анатомія» и была безконечно мучительна для Гоголя, то мы понимаемъ все-таки, что иначе и быть не могло, что «анатомія» была законнымъ явленіемъ. Намъ тоже приходится пойти тѣмъ же путемъ. Надо начать съ личности автора «Переписки», пользуясь для характеристики ея не только несчастною его книгою, которою руководились въ своихъ сужденіяхъ современники, но по возможности всѣмъ богатымъ матеріаломъ о Гоголѣ, уже собраннымъ *).

*) Особенно приняты во вниманіе: В. Шенрокъ, Отзывы современниковъ о „Перепискѣ“, „Русск. Стар.“ 1894 г., ноябрь (т. LXXXII), и П. Барсуковъ, „Жизнь и труды Погодина“, т. VIII.

Въ связи съ этимъ матеріаломъ постараемся разобраться и въ «Перепискѣ», и, быть можетъ, мы придемъ къ выводамъ, достаточно убѣдительнымъ для читателя,—къ выводамъ, далеко не въ пользу новѣйшихъ панегиристовъ Гоголя.

II.

Безсознательность художественнаго творчества Гоголя.—Стремленія къ общественной дѣятельности.—Сущность моральнаго настроенія, вызвавшаго „переписку".—Границы, въ которыхъ оно осталось заключено.—Мистическая экзальтація.

Предъ нами явленіе, дѣйствительно почти безпримѣрное. Юноша, воспитанный въ патріархальной украинской семьѣ, оставившій школьную скамью съ самымъ элементарнымъ и недостаточнымъ образованіемъ, попадаетъ въ столицу и черезъ нѣсколько лѣтъ заявляетъ себя геніальнымъ художникомъ, глубокимъ знатокомъ всей русской жизни; въ рядѣ замѣчательныхъ произведеній, вѣнцомъ которыхъ были «Ревизоръ» и «Мертвыя души», онъ, точно играючи, показываетъ всю Русь читателямъ, какъ въ зеркалѣ.

Извѣстно, какое глубокое впечатлѣніе произвели геніальныя комедія и эпопея Гоголя. «На зеркало неча пенять, коли у самого рожа крива»—гласилъ эпиграфъ «Ревизора». Заглавіе «Мертвыя Души» современники невольно поняли не только въ первоначальномъ, но и въ переносномъ значеніи, примѣняя его къ героямъ поэмы. Произведенія Гоголя дали правдивый матеріалъ для общественнаго самосознанія.

Но странное, на первый взглядъ, дѣло: самъ авторъ, какъ видно по всему, далеко не подозрѣвалъ всего значенія своихъ произведеній даже въ ту пору, когда не считалъ еще ихъ ничтожными. Онъ не сознавалъ ясно ни размѣровъ, ни характера своего дарованія. Его удивляла и до слезъ огорчала вражда, вспыхнувшая противъ него послѣ «Ревизора» среди всѣхъ, кто почувствовалъ себя уязвленнымъ прямо или косвенно. Знаменитыя слова городничаго: «Чему смѣетесь?—Надъ собой смѣетесь!» невольно были приняты публикою съ перваго представленія непосредственно на свой счетъ и до сихъ поръ производятъ со сцены глубокое впечатлѣніе, какъ квинтъ-эссенція всего общественнаго смысла комедіи. Между тѣмъ Гоголь вовсе не ожидалъ, что эти слова могутъ стать такъ многозначительны: въ «Развязкѣ Ревизора» онъ заявляетъ положительно, что вовсе не имѣлъ въ виду потрясающаго сценическаго эффекта, который получился самъ собою и до сихъ поръ повторяется при исполненіи роли городничаго артистомъ, сколько-нибудь талантливымъ.

Эта частность чрезвычайно характерна. Дѣйствительно, Гоголь не былъ

писателемъ, который съ раннихъ лѣтъ всецѣло отдался бы сознанному призванію. Онъ и самъ не разъ положительно заявляетъ о себѣ, что никогда не воображалъ, что достигнетъ славы словомъ и смѣхомъ. «Знаю только то,—говоритъ онъ въ «Авторской Исповѣди»,—что въ тѣ годы, когда я сталъ задумываться о моемъ будущемъ (а задумываться о будущемъ я началъ рано, въ тѣ поры, когда всѣ мои сверстники думали еще объ играхъ), мысль о писателѣ мнѣ никогда не всходила на умъ, хотя мнѣ всегда казалось, что я сдѣлаюсь человѣкомъ извѣстнымъ, что меня ожидаетъ просторный кругъ дѣйствій и что я сдѣлаю даже что-то для общаго добра. Я думалъ, просто, что я выслужусь и все это доставитъ служба государственная. Отъ этого страсть служить была у меня въ юности очень сильна». Аналогичныя заявленія мы находимъ и въ письмахъ Гоголя, напримѣръ, въ письмѣ къ Жуковскому (въ V томѣ тринадцатаго издан. сочин. Гоголя, 1893 г., стр. 257).

Извѣстно, что на дѣйствительной службѣ Гоголь научился только изящно сшивать свои рукописи, и она скоро ему надоѣла. Но онъ не сразу еще отдался писательству, пробуя свои силы то на педагогическомъ поприщѣ, то на ученомъ, даже въ то время, когда литературная извѣстность была уже блестяще завоевана «Вечерами на хуторѣ близъ Диканьки». Согласно извѣстному разсказу самого Гоголя, мы обязаны главнымъ образомъ Пушкину, его трезвому и свѣтлому вліянію тѣмъ, что Гоголь заявилъ себя писателемъ не только талантливымъ, но геніальнымъ, составившимъ эпоху въ русской общественной жизни и въ литературѣ.

То, что Гоголь не сознавалъ характера, размѣровъ и значенія своего художественнаго творчества,—явленіе само по себѣ, однако, ни исключительное, ни унижающее великаго писателя. Творчество дается генію въ той спеціальной области, которая ему всецѣло доступна, такъ просто, такъ легко, что онъ не въ силахъ видѣть заслуги своей и первоначально лишь отъ другихъ узнаетъ, что создаетъ нѣчто для другихъ недоступное. Шекспиръ, безпечно писавшій свои драмы безъ поправокъ, конечно, менѣе всего склоненъ былъ думать, что создаетъ нѣчто безсмертное; по мѣткому замѣчанію Дж. Льюиса, весьма возможно, что онъ, подобно большинству актеровъ, воображалъ себя геніальнымъ артистомъ. Ньютонъ считалъ высшимъ своимъ произведеніемъ не Principia, а примѣчанія къ Апокалипсису. Гете заявлялъ Эккерману, что свою (неудачную) теорію цвѣтовъ ставитъ выше всѣхъ своихъ поэтическихъ произведеній. Р. Вагнеръ считалъ свои стихи несравненно лучшими музыки. Левъ Толстой пренебрежительно отзывается о своихъ художественныхъ произведеніяхъ, ссылаясь на то, что они не стоили ему большого труда и писаніе ихъ было ему наслажденіемъ. Писемскій чрезвычайно дорожилъ своими неудачными обличи-

тельными комедіями, писанными въ старости. Кольцовъ стремится развивать философскія идеи въ «думахъ», по большей части вялыхъ и вымученныхъ. Какъ мать мучительно любитъ дитя, стоившее ей наибольшихъ страданій, такъ иногда писатель наиболѣе цѣнитъ трудъ, на который потратилъ наиболѣе усилій, потому что онъ лежалъ внѣ области его наибольшихъ способностей.

Какъ бы то ни было, подъ вліяніемъ Пушкина, взглядовъ другихъ друзей и горячей сочувственной критики Бѣлинскаго, Гоголь отдавался художественному творчеству, какъ занятію временному и не достаточно серьезному: въ его головѣ роились планы другого характера, не высказываемые и долго не налагавшіе тенденціознаго отпечатка на его сочиненія. Онъ мечталъ, что если выкажетъ въ своихъ сочиненіяхъ достаточное знаніе русскихъ людей, то ему дадутъ такое мѣсто, гдѣ онъ будетъ въ соприкосновеніи съ людьми разныхъ сословій, со многими людьми въ соприкосновеніи личномъ, а не посредствомъ бумагъ и канцелярій, и на такомъ мѣстѣ онъ мечталъ употребить съ дѣйствительною пользою свое знаніе человѣка (Автор. Исповѣдь).

Посмотримъ же, какъ подготовились форма и содержаніе взглядовъ, которые Гоголь воображалъ примѣнять на своемъ будущемъ мѣстѣ на пользу ближнимъ и всей Россіи и которые впослѣдствіи съ такою рѣзкостью выразились въ его «Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями».

Критика шестидесятыхъ годовъ, разбирая идеи «Переписки» въ связи съ письмами Гоголя, справедливо показала, что эти идеи отнюдь не были «измѣною» прежнимъ взглядамъ Гоголя, какъ предположили было въ сороковыхъ годахъ, когда не вѣрили своимъ глазамъ, сравнивая «Ревизора» и «Переписку». Въ шестидесятые же годы было также оставлено, какъ не заслуживающее уже вниманія, предположеніе о неискренности Гоголя. Послѣдніе годы его жизни слишкомъ ярко показали, что Гоголь страшно и до конца былъ искрененъ въ своемъ увлеченіи.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ отрицательно или пренебрежительно отнеслись и къ сущности моральнаго настроенія Гоголя, не отдѣляя этого настроенія отъ мистицизма и догматизма. Благодаря обилію матеріала о Гоголѣ, оно можетъ быть понятно и оцѣнено теперь вѣрнѣе и безпристрастнѣе, чѣмъ это могли сдѣлать критики прежняго времени. Въ пору безграничнаго раціонализма, когда всѣ человѣческія отношенія казалось такъ просто урегулировать на основаніи разумнаго эгоизма (вспомнимъ, напримѣръ, извѣстный романъ «Что дѣлать?»), настроеніе, вызвавшее „Переписку“, казалось совершенно ненужнымъ, чѣмъ-то случайнымъ. Въ сущности, корифеи публицистики руководились тѣмъ же настроеніемъ: они были одинаково проникнуты тѣмъ же чувствомъ какой-то личной обязанности,

толкавшей ихъ критически отнестись ко всѣму окружавшему и распространять свои новые идеалы общественной жизни. Но это настроеніе—какъ предполагали тогда одни—тѣсно связано съ опредѣленнымъ философскимъ міровоззрѣніемъ, которое обязываетъ къ такому-то образу дѣйствій; другіе же—какъ, напримѣръ, Писаревъ—отрицательно относились къ самому понятію нравственнаго долга, на дѣлѣ будучи до глубины души и мозга костей проникнуты сознаніемъ своей личной связи съ ближними, съ родиною.

Карлейль чрезвычайно мѣтко опредѣляетъ подобное (альтруистическое въ данномъ случаѣ) настроеніе; онъ называетъ его «религіею» человѣка, не въ смыслѣ догматическомъ, но въ широкомъ смыслѣ того, что составляетъ сущность и исходную точку развитія всѣхъ вѣроисповѣданій. «То, во что человѣкъ вѣритъ на дѣлѣ (хотя въ этомъ онъ довольно часто не даетъ отчета даже самому себѣ и тѣмъ менѣе другимъ); то, что человѣкъ на дѣлѣ принимаетъ близко къ сердцу, считаетъ за достовѣрное во всемъ, касающемся его жизненныхъ отношеній къ таинственной вселенной, его долга, его судьбы; то, что при всякихъ обстоятельствахъ составляетъ главное для него, обусловливаетъ и опредѣляетъ все прочее,—вотъ это его *религія* и, быть можетъ, его чистый скептицизмъ, его *безвѣріе* (no-religion)».

Постараемся выдѣлить это моральное настроеніе на первый планъ.

Характерная черта личности Гоголя—замкнутость. Въ раннемъ дѣтствѣ онъ былъ мальчикъ болѣзненный, то, что называютъ «мямлей»: товарищи такихъ дѣтей любятъ рѣдко и, дѣйствительно, въ Нѣжинской гимназіи онъ чуждается шумнаго, задорнаго, нетерпѣливаго товарищества. Ребенокъ, оторванный отъ семьи, уходитъ въ свою раковину, сосредоточенно живетъ собственною внутреннею жизнью, лишь пристально наблюдая внѣшнюю, но мало вмѣшиваясь въ нее. Въ школѣ Гоголь получилъ за свою всегдашнюю замкнутость прозвище «таинственный Карло».

По пріѣздѣ въ Петербургъ, онъ сходится, какъ искренній и близкій другъ, только съ Пушкинымъ. Смерть Пушкина была для Россіи невознаградимымъ ударомъ не только сама по себѣ, но еще и потому, что Гоголь очутился теперь снова въ одиночествѣ, безъ поддержки и руководительства: дружба съ А. О. Смирновой была, конечно, уже не то, что дружба съ Пушкинымъ.

До чего Гоголь не любилъ допускать людей въ свой внутренній міръ, достаточно ясно изъ тѣхъ разнорѣчивыхъ отзывовъ объ его личности, которые ходили въ публикѣ при его жизни и послѣ смерти ставятъ біографовъ своими противорѣчіями втупикъ.

Но эта же замкнутость, ставшая второю натурой Гоголя, была для

него, очевидно, причиною глубокихъ нравственныхъ страданій. Въ молодости человѣкъ еще можетъ довольствоваться самимъ собою, дѣти—самые страшные эгоисты, но съ годами потребность общенія и сближенія съ людьми становится все настоятельнѣе. Немногіе способны удовлетворить эту жажду близости, отдавая свои силы служенію какому-либо отвлеченному идеалу. Въ «Перепискѣ» мы, дѣйствительно, находимъ цѣлый рядъ мѣстъ, которыя, на нашъ взглядъ, представляются живымъ отголоскомъ внутреннихъ страданій Гоголя отъ неумѣнія непосредственно сближаться съ людьми.

Говоря о томъ, что въ людяхъ ослабѣло искреннее чувство христіанской любви, Гоголь, напр., мѣтко характеризуетъ филантроповъ, не знающихъ на дѣлѣ ни одной теплой человѣческой привязанности. «Все человѣчество готовъ онъ обнять, какъ брата, а брата не обниметъ,—говоритъ Гоголь о подобномъ человѣколюбцѣ:—и достанется его объятіе только тѣмъ, которые ничѣмъ еще не оскорбили его, съ которыми не имѣетъ онъ и случая столкнуться, которыхъ онъ никогда не зналъ и даже не видалъ въ глаза» (письмо XXXII). Непосредственное сближеніе съ людьми Гоголь цѣнитъ выше всего. «Клянусь, человѣкъ стоитъ того, чтобъ его разсматривали съ большимъ любопытствомъ, нежели фабрику и развалину»,—восклицаетъ онъ, требуя отъ графа А. П. Толстого внимательнаго изученія Россіи (письмо XXII), и въ томъ же письмѣ говоритъ: «Не полюбить вамъ людей до тѣхъ поръ, пока не послужите имъ. Какой слуга можетъ привязаться къ своему господину, который отъ него вдали и на котораго еще не поработалъ онъ лично? Потому и любимо такъ сильно дитя матерью, что она долго его носила въ себѣ, все употребила на него и вся изъ-за него выстрадалась». Въ письмѣ (XXI) «Что такое губернаторша?» мы находимъ то же самое требованіе непосредственнаго дѣятельнаго сближенія съ людьми, которое было бы чуждо отвлеченности, холодности и брезгливости, свойственныхъ людямъ, разсудочно принявшимъ извѣстныя правила жизни. «Не пугайтесь мерзостью,—пишетъ Гоголь,—и особенно не отвращайтесь отъ тѣхъ людей, которые вамъ кажутся почему-либо мерзкими. Увѣряю васъ, что придетъ время, когда многіе у насъ на Руси изъ *чистенькихъ* горько заплачутъ, закрывъ руками лицо свое, именно оттого, что считали себя слишкомъ чистыми, что хвалились чистотой своей и всякимъ возвышеннымъ стремленіемъ куда-то, считая себя чрезъ это лучшими другихъ» *).

«Боже, дай полюбить еще больше людей,—читаемъ, наконецъ, въ одной

---

*) Намъ кажется, что въ этихъ строкахъ Гоголемъ предсказанъ появившійся въ шестидесятые годы типъ „кающагося дворянина“, оплакивающаго свое безучастіе къ жизни народа, ранѣе прикрытое возвышенными стремленіями.

изъ записныхъ книжекъ времени переписки (Соч., т. V, стр. 407): — Дай собрать въ памяти своей все лучшее въ нихъ, припомнить ближе всѣхъ ближнихъ и, вдохновившись силой любви, быть въ силахъ изобразить! О, пусть же сама любовь будетъ мнѣ вдохновеніемъ».

Эта жажда привязанности къ живымъ людямъ, конечно, сказывалась въ сношеніяхъ Гоголя съ людьми и привлекала къ нему многихъ. Онъ самъ говоритъ, что, когда писалъ знакомымъ и полузнакомымъ свои письма, все какимъ-то инстинктомъ обращалось къ нему, требуя помощи и совѣта (письмо XVI). «Тутъ только узналъ я близкое родство человѣческихъ душъ между собою. Стоитъ только хорошенько выстрадаться самому, какъ уже всѣ страдающіе становятся тебѣ понятны и почти знаешь, что нужно сказать имъ».

Широкое чувство близости ко всѣмъ людямъ, сознаніе своей тѣсной связи съ ними, съ народомъ и родиною, несомнѣнно жило въ авторѣ «Вечеровъ на хуторѣ», полныхъ теплой симпатіи къ украинскому люду, въ авторѣ «Шинели». Оно получало характеръ тѣмъ болѣе сильный, что личныя привязанности Гоголю не удавались. «Я до сихъ поръ не могу выносить,— читаемъ во второмъ изъ писемъ о «Мертвыхъ душахъ»,—тѣхъ заунывныхъ, раздирающихъ звуковъ нашей пѣсни, которая стремится по всѣмъ безпредѣльнымъ русскимъ пространствамъ. Звуки эти вьются около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущаетъ того же. Кому, при взглядѣ на эти пустынныя, доселѣ незаселенныя и безпріютныя пространства, не чувствуется тоска, кому въ заунывныхъ звукахъ нашей пѣсни не слышатся болѣзненные упреки ему самому, именно ему самому,—тотъ или уже весь исполнилъ свой долгъ, какъ слѣдуетъ, или же онъ не русскій въ душѣ».

Чувство непосредственной общей связи между людьми—сущность религіи въ широкомъ смыслѣ слова. Самое слово «религія» значитъ этимологически «связь». Это первичное чувство можетъ принимать самыя разнообразныя формы въ зависимости отъ общихъ взглядовъ на міръ, усвоенныхъ отъ окружающей среды, и отъ личныхъ психологическихъ особенностей человѣка.

Поразительная увлекающая сила простодушныхъ взглядовъ на міръ, которыми живутъ массы, достаточно извѣстна: очень часто она одолѣваетъ то, что усвоилъ было разумъ, и при этомъ идетъ иногда путемъ самымъ неожиданнымъ. Невольное тяготѣніе отдѣльнаго человѣка къ массамъ, невольное стремленіе жить съ ними одною жизнью является въ подобныхъ случаяхъ едва ли не главнѣйшею причиною возвращенія къ старому. Любопытный примѣръ тому можно найти въ разсказѣ Герцена о томъ, какъ извѣстный славянофилъ Иванъ Кирѣевскій, по его собственнымъ словамъ,

вернулся къ православію. «Я разъ стоялъ въ часовнѣ,—говорилъ Кирѣевскій, — смотрѣлъ на чудотворную икону Богоматери и думалъ о дѣтской вѣрѣ народа, молящагося ей; нѣсколько женщинъ, больные, старики стояли на колѣняхъ и, крестясь, клали земные поклоны. Съ горячимъ упованіемъ глядѣлъ я потомъ на святыя черты, и мало-по-малу тайна чудесной силы стала мнѣ уяспяться. Да, это не просто доска съ изображеніемъ... Вѣка цѣлые поглощала она эти потоки страстныхъ возношеній, молитвъ людей скорбящихъ, несчастныхъ. Она сдѣлалась живымъ органомъ, мѣстомъ встрѣчи между Творцомъ и людьми. Думая объ этомъ, я еще разъ посмотрѣлъ на старцевъ, на женщинъ съ дѣтьми, поверженныхъ въ прахъ, и на святую икону,—тогда я самъ увидѣлъ черты Богородицы одушевленными, она съ милосердіемъ и любовью смотрѣла на этихъ простыхъ людей... и я палъ на колѣни и смиренно молился ей». Несомнѣнно, что этотъ прекрасный поэтическій разсказъ по существу глубоко матеріалистиченъ: представленіе о томъ, что доска впитала страстныя человѣческія чувства скорби и страданія и потому стала чудотворною, конечно, ничего общаго съ догматическимъ вѣроученіемъ не имѣетъ, и, однако, оно послужило мостомъ для возвращенія человѣка къ прежнему простодушному настроенію, дававшему глубокое нравственное удовлетвореніе.

Н. В. Гоголю не нужно было строить подобныхъ мостовъ. Внѣшняя сторона религіи была горячо усвоена имъ съ дѣтства и была наиболѣе привычною формою, въ которой удобно и просто выражалось его искреннее моральное настроеніе, выше характеризованное. Ему принадлежатъ, между прочимъ, «размышленія о Божественной Литургіи», показывающія, какъ легко и свободно Гоголь вращался въ догматической теологической сферѣ.

Съ дѣтства же Гоголь прочно усвоилъ всѣ тѣ обычныя представленія о сущности русской общественной и государственной жизни, какія господствовали въ средѣ, гдѣ прошли его дѣтство и юность, и въ средѣ литературно-аристократическаго круга, куда онъ попалъ въ Петербургѣ. Общественныя воззрѣнія этого круга, при всей привлекательной личной мягкости такихъ его представителей, какъ, напр., Плетневъ или Жуковскій, были столь же патріархально догматичны, какъ и общее ихъ міровоззрѣніе, суть котораго была въ «примиреніи съ жизнью» при помощи искусства и утѣшеній религіи. Критика шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ справедливо показала, что эта среда не могла подготовить Гоголя для принятой имъ впослѣдствіи на себя роли публициста. Глава круга, Пушкинъ, наиболѣе трезво относившійся къ тогдашней дѣйствительности и не пытавшійся ее излишне идеализировать, понималъ свой талантъ и талантъ Гоголя: онъ увлекалъ друга въ сферу художественную и чуждался «печного горшка» ближайшихъ общественныхъ вопросовъ.

Но все-таки догматизмъ воззрѣній, религіозный и общественно-политическій, не придали бы такого страннаго характера книгѣ Гоголя. Онъ написалъ ее, увлеченный страстною потребностью принести людямъ сразу осязательную пользу, но тутъ примѣшался аффектъ психіатрическій. Оригинальность «Перепискѣ» и придана тою болѣзненною мистическою экзальтаціей, подъ вліяніемъ которой онъ, очертя голову, бросился въ море діалектическихъ тонкостей со страстною увѣренностью, что здѣсь спасеніе и ему, и Россіи, что онъ безусловно вѣрно рѣшилъ всѣ нравственно-философскіе и общественные вопросы.

Эта мистическая экзальтація подгототовлялась издавна. Въ дѣтствѣ съ нимъ неоднократно бывали галлюцинаціи, о чемъ онъ разсказываетъ въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ»: онъ слышалъ таинственный голосъ, называвшій его по имени среди бѣлаго дня, и тогда его охватывалъ безграничный ужасъ. Съ годами онъ сталъ страдать рѣзко выраженною ипохондріей и иногда всецѣло былъ поглощаемъ тревогами о своемъ здоровьи. Страсть къ передвиженію, охватывавшая его по временамъ,—также одинъ изъ признаковъ нарушеннаго нервнаго равновѣсія. Съ ранняго возраста въ тайникѣ его души живетъ мысль, зароненная, быть можетъ, матерью, не чаявшей души въ своемъ «Николѣ», что онъ предназначенъ свыше для чего-то великаго. Сознаніе своего превосходства легко развивается во всякомъ выдающемся человѣкѣ: Nur die Lumpen sind bescheiden (только ничтожества скромны),— парадоксально замѣчаетъ Гете. Въ Гоголѣ такое сознаніе принимаетъ религіозную форму. Ему чудится, что онъ находится подъ особымъ и спеціальнымъ покровительствомъ божества. Онъ глухо упоминаетъ въ «Перепискѣ» о какомъ-то таинственномъ душевномъ обстоятельствѣ, внушившемъ ему, чтобы свои недостатки онъ передавалъ героямъ своихъ сочиненій. И это обстоятельство онъ не дерзнулъ открыть даже Пушкину.

Послѣ смерти Пушкина, среди близкихъ друзей Гоголя не нашлось человѣка, который подмѣтилъ бы, что дѣлается съ нимъ, и понялъ бы, до чего можетъ довести эта экзальтація. А. О. Смирнова благоговѣйно вслушивалась въ рѣчи своего друга и раздувала настроеніе, которое окончательно овладѣло великимъ писателемъ послѣ болѣзни 1841 г. Болѣзнь застигла его въ Римѣ, когда онъ заканчивалъ первую часть «Мертвыхъ душъ». Ему чудились какія-то страшныя видѣнія, быть можетъ, отголосокъ сказокъ, которыя онъ воплотилъ въ «Страшной мести» или «Вій». Его томилъ мучительный страхъ смерти. Онъ оставилъ завѣщаніе и первымъ пунктомъ было: не хоронить до тѣхъ поръ, пока не покажутся признаки разложенія.

Въ «Завѣщаніи» мы находимъ глубоко потрясающія мѣста, показы-

вающія, что человѣкъ, ихъ писавшій, находился на границѣ полнаго экстаза. «Соотечественники! страшно!.. Замираетъ отъ ужаса душа при одномъ предслышаніи загробнаго величія и тѣхъ духовныхъ высшихъ твореній Бога, предъ которыми пыль все величіе Его твореній, здѣсь нами зримыхъ и насъ изумляющихъ. Стонетъ весь умирающій составъ мой, чуя исполинскія возрастанія и плоды, которыхъ сѣмена мы сѣяли въ жизни, не прозрѣвая и не слыша, какія страшилища отъ нихъ подымутся», и т. д.

Ему, какъ видно, были близко знакомы тѣ странныя ощущенія, которыя онъ описываетъ въ одномъ мѣстѣ «Переписки» (XXVI письмо: «Страхи и ужасы Россіи»). Онъ говоритъ, что тьма обниметъ человѣчество, если оно не вернется ко Христу. «И плохо будетъ тому, кто объ этомъ не помыслитъ теперь же. Помутится умъ его, омрачатся мысли, и не найдетъ онъ угла, куда скрыться отъ своихъ страховъ. Вспомните египетскія тьмы, которыя съ такой силой передалъ царь Соломонъ *), когда Господь, желая наказать однихъ, наслалъ на нихъ невѣдомые, непонятные страхи и тьмы. Слѣпая ночь обняла ихъ вдругъ среди бѣла дня; со всѣхъ сторонъ уставились на нихъ ужасающіе образы; дряхлыя страшилища съ печальными лицами стали неотразимо въ глазахъ ихъ; безъ желѣзныхъ цѣпей сковала ихъ всѣхъ боязнь и лишила всего: всѣ чувства, всѣ побужденія, всѣ силы въ нихъ погибнули, кромѣ одного страха. И произошло это только въ тѣхъ, которыхъ наказалъ Господь; другіе въ то же время не видали никакихъ ужасовъ: для нихъ былъ день и свѣтъ. Смотрите же, чтобы не случилось съ вами чего-нибудь подобнаго.

Тревожное мистическое настроеніе, охватившее Гоголя, доводившее его почти до галлюцинацій, дѣйствительно, сближаетъ его съ Паскалемъ. Быть можетъ, вышеупомянутое таинственное душевное обстоятельство было въ родѣ того душевнаго переворота, памятникомъ котораго остался таинственный мистическій «амулетъ» Паскаля. Оба писателя движимы были однимъ моральнымъ настроеніемъ, но у Паскаля оно уцѣлѣло въ видѣ несравненно болѣе чистомъ, чѣмъ у Гоголя. Въ «Мысляхъ» Паскаля ясно и чисто можно выдѣлить моральную сторону апологіи христіанства: она не закрыта такъ, какъ у Гоголя, опредѣленными догматическими, рѣзко мистическими и опредѣленными политическими взглядами, имѣющими лишь случайную болѣе или менѣе связь съ сущностью христіанства. И вотъ почему можно съ глубокимъ сочувствіемъ читать Паскаля, даже не раздѣляя его мнѣній, и трудно не раздражаться, вчитываясь въ «Переписку». Эта безсильная борьба живого искренняго чувства, которое не можетъ пробиться сквозь груды принятыхъ на вѣру схоластики и предразсудковъ

*) Книга премудрости Соломоновой, главы XVII и XVIII.

о вѣковой незыблемости данныхъ общественныхъ формъ,—зрѣлище безотрадное. Человѣкъ самъ себя опутываетъ по рукамъ и по ногамъ сѣтью, напряженно завязываетъ узлы сѣти одинъ за другимъ и требуетъ, чтобы и другіе дѣлали то же.

Панегиристы Гоголя мечтаютъ нынѣ этою сѣтью уловить вселенную. Надо разобраться въ ней обстоятельнѣе, чѣмъ это мы въ общихъ чертахъ сдѣлали до сихъ поръ.

III.

Печальное внутреннее состояніе Россіи, какъ одинъ изъ мотивовъ, двигавшихъ Гоголемъ при изданіи „Переписки". — Признаніе крѣпостныхъ основъ русской жизни нормальными. — Индивидуально-моральный и аскетическій идеалъ. — Призывы къ патріотическому подвигу спасенія родины посредствомъ самосовершенствованія.

Чисто-художественная дѣятельность носитъ всегда характеръ нѣкоторой оторванности отъ жизни: художникъ болѣе созерцатель жизни, чѣмъ дѣятель. Если писатель, кромѣ художественнаго таланта, обладаетъ дѣятельною натурой и крайне развитымъ моральнымъ инстинктомъ, онъ легко не удовлетворяется художественнымъ творчествомъ: онъ хочетъ вмѣшаться въ жизнь. Эта жажда дѣятельнаго вмѣшательства въ жизнь овладѣвала и Гоголемъ, по мѣрѣ того, какъ вопросъ нравственный заслонялъ собою вопросъ о художественномъ творчествѣ.

Онъ, авторъ «Ревизора» и «Мертвыхъ душъ», не могъ не видѣть, что тогдашняя русская дѣйствительность далека отъ идеала. Теперь нельзя уже не признать, что Гоголемъ двигали недоумѣніе и скорбь о томъ, что на самомъ дѣлѣ творилось въ патріархальной Россіи, хотя наружно все было благополучно до поры до времени. Цензоръ А. В. Никитенко не пропустилъ въ книгѣ Гоголя самыхъ выразительныхъ мѣстъ о глубокомъ нравственномъ паденіи массы русскаго общества, справедливо тревожившемъ Гоголя. Въ непропущенномъ письмѣ «Страхи и ужасы Россіи» онъ говорилъ своей корреспонденткѣ, которая сообщала ему нѣсколько непривлекательныхъ фактовъ: «То, что вы мнѣ объявляете по секрету, есть еще не болѣе, какъ одна часть всего дѣла; а вотъ если бы я вамъ разсказалъ то, что я знаю (а знаю я, безъ всякаго сомнѣнія, далеко еще не все), тогда бы, точно, помутились ваши мысли, и вы сами подумали бы, какъ бы убѣжать изъ Россіи» (Письмо XXVI). Подобнымъ же образомъ въ письмѣ къ «занимающему важное мѣсто» (XXVIII письмо, также не пропущенное) Гоголь говоритъ о массовыхъ злоупотребленіяхъ: «Завелись такія лихоимства, которыхъ истребить нѣтъ никакихъ средствъ человѣческихъ. Знаю и то, что образовался другой, незаконный ходъ дѣйствій мимо законовъ

государства и уже обратился въ почти законный, такъ что законы остаются только для вида; и если только вникнешь пристально въ то самое, на что другіе глядятъ поверхностно, не подозрѣвая ничего, то закружится голова у наимудрѣйшаго человѣка». Тому же лицу Гоголь совѣтуетъ обнаружить всю правду начисто передъ дворянствомъ, сказать дворянамъ, что «Россія, точно, несчастна, что несчастна отъ грабительствъ и неправды, которыя до такой наглости еще не возносили рогъ свой»; далѣе Гоголь указываетъ на вихрь «возникнувшихъ запутанностей, которыя застѣнили всѣхъ другъ отъ друга и отняли почти у каждаго просторъ дѣлать добро и пользу истинную своей землѣ»; говоритъ о повсемѣстномъ помраченіи и всеобщемъ уклоненіи всѣхъ отъ духа земли своей; о массѣ «этихъ безчестныхъ взяточниковъ и плутовъ, продавцовъ правосудія и грабителей, которые, какъ вороны, налетѣли со всѣхъ сторонъ клевать еще живое наше тѣло и въ мутной водѣ ловить свою презрѣнную выгоду».

Опубликованные уже историческіе матеріалы, записки и письма современниковъ, съ достаточною яркостью рисуютъ намъ тѣ же печальныя картины. Сошлемся хоть на «Дневникъ» А. Никитенки и переписку И. С. Аксакова. Теперь намъ понятно, что Пушкинъ, слушая однажды чтеніе Гоголя «Мертвыхъ душъ», могъ, подъ живыми впечатлѣніями дѣйствительности и поэмы Гоголя, воскликнуть съ тоскою: «Боже, какъ грустна наша Россія!»

Самъ Бѣлинскій, безпощадно отнесшійся къ «Перепискѣ», готовъ былъ (см. его печатную статью о «Выбран. Мѣст.» въ XI т. сочиненій) подписаться подъ безотрадною картиной тогдашней Россіи, такъ очерченною во второмъ изъ писемъ о «Мертвыхъ душахъ» (XVIII). «Вотъ уже полтораста лѣтъ протекло съ тѣхъ поръ, какъ государь Петръ I прочистилъ намъ глаза чистилищемъ просвѣщенія европейскаго, далъ въ руки намъ всѣ средства и орудія для дѣла, и до сихъ поръ остаются такъ же пустынны, грустны и безлюдны наши пространства, такъ же безпріютно и непривѣтливо все вокругъ насъ, точно какъ будто бы мы до сихъ поръ еще не у себя дома, не подъ родною нашею крышей, но гдѣ-то остановились безпріютно на проѣзжей дорогѣ, и дышитъ намъ отъ Россіи не радушнымъ, роднымъ пріемомъ братьевъ, но какою-то холодною, занесенною вьюгой почтовою станціей, гдѣ видится одинъ ко всему равнодушный станціонный смотритель съ черствымъ отвѣтомъ: «Нѣтъ лошадей!»

Отчего это? Кто виноватъ?—спрашивалъ Гоголь.

Литература того времени уже давала, хотя и отдаленными намеками, совершенно опредѣленный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Въ извѣстныхъ кружкахъ людей сороковыхъ годовъ этотъ отвѣтъ произносился вслухъ и явился не съ вѣтра. Его можно формулировать двумя словами: «крѣпостное право»

или, вѣрнѣе, «крѣпостное безправіе». Дѣйствительно, въ дореформенной Россіи власть помѣщиковъ надъ крестьянами опредѣляла собою всѣ стороны государственнаго и общественнаго механизма и существеннѣйшую изъ нихъ безграничную бюрократическую опеку. Всесильная нейтрализованная бюрократія не знала себѣ узды, кромѣ палліативной мѣры наѣзжихъ ревизоровъ, ограниченія одного чиновника другимъ. Въ книгѣ Гоголя мы находимъ совершенно справедливое указаніе, что эта послѣдняя мѣра въ сущности ничего не достигала. «Вы очень хорошо знаете,—писалъ онъ «занимающему важное мѣсто»,—что приставить новаго чиновника для того, чтобъ ограничить прежняго въ его воровствѣ, значитъ дѣлать двухъ воровъ вмѣсто одного. Да и вообще система ограниченія—самая мелочная система. Человѣка нельзя ограничить человѣкомъ; на слѣдующій годъ окажется надобность ограничить и того, который приставленъ для ограниченія, и тогда ограниченіямъ не будетъ конца». Называя эту систему пустою и жалкою, Гоголь указываетъ на развращающее дѣйствіе подобной подозрительной опеки. «Кто знаетъ, что на него глядятъ подозрительно, какъ на мошенника, и приставляютъ къ нему со всѣхъ сторонъ надсмотрщиковъ, у того невольно отнимаются руки. Нужно развязать каждому руки, а не связывать ихъ». Только тогда,—думалъ Гоголь,—можно надѣяться на дѣйствительное соблюденіе закона со стороны чиновничества.

Но такой ясный взглядъ на дѣло представляется въ «Перепискѣ» рѣшительно случайнымъ и тонетъ въ морѣ предвзятыхъ взглядовъ на безусловное совершенство закона и принятой тогда системы. Даже свое общее міровоззрѣніе Гоголь съ какою-то педантичною систематичностью построилъ по тому же служебному типу, который проникалъ всю русскую жизнь. «Послѣ долгихъ лѣтъ и трудовъ, и опытовъ, и размышленій,—говоритъ онъ въ «Авторской Исповѣди»,—идя видимо впередъ, я пришелъ къ тому, о чемъ уже помышлялъ во время моего дѣтства, что назначеніе человѣка—служить и вся наша жизнь есть служба. Не забывать только нужно того, что взято мѣсто въ земномъ государствѣ затѣмъ, чтобы служить на немъ Государю Небесному, и потому имѣть въ виду Его законъ. Только такъ служа, можно угодить всѣмъ: государю, и народу, и землѣ своей».

Онъ и на писательство свое сталъ смотрѣть, какъ на службу государству, за которое совершенно естественно было вознагражденіе получать отъ государства. Для тѣхъ, кто не отожествлялъ тогдашняго государственнаго механизма со всею народною жизнью, это, конечно, казалось страннымъ и было также поводомъ для объясненія книги Гоголя мотивами корыстолюбивыми, чуждыми Гоголю въ дѣйствительности. Онъ совершенно искренно и наивно защищалъ и превозносилъ патріархальную опеку государства надо всѣмъ, тогда принятую.

Совершенно искренно изумился онъ и тогда, когда его собственныя сочиненія были всѣми поняты не только какъ художественныя произведенія, но и какъ вещи, имѣющія глубокій отрицательный общественный смыслъ.

Зачѣмъ я оказался учителемъ?—спрашиваетъ Гоголь въ одной изъ своихъ записныхъ книжекъ (Соч. т. V, стр. 402).—Я самъ не помню. Мнѣ казалось, что гибнетъ лучшее, что перо писателя обязано служить истинѣ и безпощадное жало сатиры коснулось, вмѣстѣ съ искорененіемъ злоупотребленій, и того, что должно составлять святыню; что слишкомъ уже много увлеклись теченіемъ времени и не останавливаются оглянуться вокругъ себя... Мнѣ такъ стало совѣстно за мою недѣятельность, мнѣ такъ стали тяжелы упреки, что я остаюсь такъ долго въ бездѣйственности. Я думалъ, что если обнаружу мое состояніе душевное и чѣмъ я занятъ...» (фраза не окончена).

Эти строки, для печати никогда не предназначавшіяся, конечно подтверждаютъ искренность всѣхъ заявленій Гоголя, что онъ лично не сочувствуетъ истолкованію «Ревизора» и «Мертвыхъ душъ». Онъ разсказываетъ, что еще со времени вышеприведеннаго восклицанія Пушкина при чтеніи «Мертвыхъ душъ» старался смягчить тягостное впечатлѣніе, которое могла произвести его поэма (Соч. т. V, стр. 96. Смотр. также страницы 4, 277, 309, 310). Когда «Мертвыя Души» были въ 1846 г. переведены на нѣмецкій языкъ, Гоголь въ письмѣ къ Языкову увѣрялъ, что это извѣстіе ему непріятно: «Я бы не хотѣлъ, чтобы иностранцы впали въ такую глупую ошибку, въ какую впала большая часть моихъ соотечественниковъ, принявшая «Мертвыя души» за портретъ Россіи». Въ большомъ отвѣтномъ письмѣ къ Бѣлинскому, которое, однако, не было послано и возстановлено лишь по клочкамъ, Гоголь спрашиваетъ: «Что, если и я виноватъ? Что, если и мои заблужденія послужили вамъ къ заблужденію? Но нѣтъ, какъ ни разсмотрю всѣ прежнія сочиненія (мои), вижу, что они не могли (соблазнить васъ)... Когда я писалъ ихъ, я благоговѣлъ передъ (всѣмъ, передъ) чѣмъ человѣкъ долженъ благоговѣть. Насмѣшки и нелюбовь слышались у меня не надъ властью, не надъ коренными законами нашего государства, но надъ извращеніемъ, надъ уклоненіемъ, надъ неправильными толкованіями, надъ дурнымъ (приложеніемъ ихъ)».

Эта предвзятая идеализація дѣйствительности заставляетъ Гоголя доходить до самыхъ неожиданныхъ наивностей. Вышутить ихъ—нѣтъ ничего болѣе легкаго, и Н. Ф. Павловъ далъ въ своихъ письмахъ о «Перепискѣ» чрезвычайно ѣдкіе образцы такого вышучиванія. Но эти наивности любопытны, потому что показываютъ, до чего договарился Гоголь, стараясь до конца остаться вѣрнымъ своимъ теоретическимъ, принятымъ на вѣру

представленіямъ объ общественномъ устройствѣ. «Чѣмъ больше всматриваешься въ организмъ управленія губерній,—говоритъ онъ, наприм., въ XXVIII письмѣ,—тѣмъ больше изумляешься мудрости учредителей: слышно, что Самъ Богъ строилъ незримо». Разсматривая со своимъ другомъ гр. А. П. Толстымъ разныя государственныя должности, Гоголь вмѣстѣ съ нимъ пришелъ къ убѣжденію, «что онѣ именно то, что имъ слѣдуетъ быть, всѣ до единой какъ бы свыше созданы для насъ» (Письмо XIV). Оказывалось только, что секретари, какъ моль, подтачиваютъ всѣ эти должности. «Секретари того... ненадежный народъ»,—говоритъ и Акакій Акакіевичъ.— Постоянно вмѣшивая Самого Бога въ административныя распоряженія, Гоголь доходитъ чуть не до того кощунства, съ которымъ, говорятъ, въ Сибири зарвавшіеся служаки писывали о себѣ: «Мы, Божіею милостію маіоръ...» Совершенно въ такомъ же тонѣ у Гоголя находимъ заявленіе, что для исполненія указа, какъ бы опредѣлителенъ онъ ни былъ, чиновнику требуется спеціальное Божественное просвѣтленіе. «Безъ того все обратится во зло» (второе изъ писемъ о «Мертвыхъ душахъ»).

Если все свыше устроено къ лучшему, то человѣку, конечно, не о чемъ думать, кромѣ личнаго совершенства. Гоголь былъ совершенно послѣдователенъ, когда на первый планъ выставилъ индивидуальную моральную точку зрѣнія.

Первоначально онъ примѣнилъ ее къ своимъ произведеніямъ, когда отвергъ, какъ ничтожность, ихъ художественное совершенство и вѣрность дѣйствительности. Въ «Развязкѣ Ревизора» онъ придалъ своей комедіи характеръ бездушной аллегоріи, справедливо возмутивъ этимъ, между прочимъ, артиста М. С. Щепкина, который писалъ ему, что не хочетъ разстаться съ героями комедіи, какъ съ людьми живыми: «Послѣ меня передѣлывайте хоть въ козловъ; а до тѣхъ поръ я не уступлю вамъ Держиморды, потому что и онъ мнѣ дорогъ». Подобнымъ же образомъ Гоголь пытался, и конечно—неудачно, придать аллегорическій моральный смыслъ «Мертвымъ душамъ»: «Весь городъ со всѣмъ вихремъ сплетней—преобразованіе праздности жизни всего человѣчества въ массѣ»—читаемъ въ замѣткахъ, относящихся къ первой части поэмы (Соч. т. IV, стр. 286). Въ этомъ же аллегорическомъ поучительномъ смыслѣ предполагалось обработать и вторую и третью части «Мертвыхъ душъ». Мы знаемъ, какъ неудачна вторая часть въ уцѣлѣвшихъ отрывкахъ, вездѣ, гдѣ на первомъ планѣ та же индивидуальная нравственная идея.

Въ перепискѣ Гоголя она высказана во всей своей наготѣ, въ мистической аскетической формѣ.

Желая подготовить себя для дѣйствительнаго служенія родинѣ, Гоголь обратился къ изученію человѣка вообще. «Я оставилъ на время все совре-

менное,—разсказываетъ онъ въ «исповѣди»,—я обратилъ вниманіе на узнаніе тѣхъ вѣчныхъ законовъ, которыми движется человѣкъ и человѣчество вообще. Книги законодателей, душевѣдцевъ и наблюдателей за природою человѣка стали моимъ чтеніемъ». Это было чтеніе того рода, которымъ образуются начетчики. Гоголь весь ушелъ въ богословскую область съ ея совершенно особыми діалектическими условіями, особенно увлекаясь, между прочимъ, Ѳомою Кемпійскимъ. Его «Подражаніе Христу» Гоголь навязывалъ даже друзьямъ въ видѣ особенно цѣннаго подарка отъ себя.

Подъ вліяніемъ мистической экзальтаціи, характеризованной въ предыдущей главѣ, у Гоголя незамѣтно, вмѣсто вопроса практической нравственности, на первый планъ выступаетъ вопросъ о спасеніи собственной души и душъ другихъ людей; вмѣсто подвига дѣятельной любви—требованіе отвлеченной духовной чистоты; вмѣсто жизненнаго идеала, хотя бы индивидуальнаго—является идеалъ аскетическій.

Вотъ нѣсколько цитатъ, показывающихъ, какъ жизненный вопросъ объ отношеніяхъ людей другъ къ другу, первоначальная причина душевнаго переворота въ Гоголѣ, подмѣнялся вопросомъ то догматическимъ, то вообще мистическимъ. «Воспитываются для свѣта не посреди свѣта,—говоритъ Гоголь,—но вдали отъ него, въ глубокомъ внутреннемъ созерцаніи, въ изслѣдованіи собственной души своей, ибо тамъ законы всего и всему: найди только прежде ключъ къ своей собственной душѣ; когда же найдешь, тогда этимъ же самымъ ключемъ отопрешь душу всѣхъ» (Письмо IX). Письмо XII, которое особенно понравилось г. Волынскому, посвящено мистической «мудрости», доступной истиннымъ аскетамъ, тѣмъ, кто *созерцаетъ* Христа (Гоголь не говоритъ о *жизни* по завѣту Христа). «Ни въ какомъ случаѣ не своди глазъ съ самого себя. Имѣй себя въ предметѣ всегда прежде всѣхъ. Будь эгоистъ въ этомъ случаѣ. Эгоизмъ—тоже не дурное свойство; вольно было людямъ дать ему такое скверное толкованіе, а въ основаніе эгоизма легла сущая правда. Позаботься прежде о себѣ, а потомъ о другихъ; стань прежде самъ почище душою, а потомъ уже старайся, чтобы другіе были чище» (Письмо XVI) *). Въ чемъ это мистическое очищеніе или «просвѣщеніе» (какъ иначе его называетъ Гоголь, иногда позволяя себѣ играть этимъ словомъ), какъ просвѣтиться—достаточно ясно видно изъ писемъ VIII, IX, XVII.

Въ примѣненіи къ жизни общественной этотъ индивидуально-мораль-

*) Г. Матвѣевъ въ одномъ мѣстѣ своей книги горячо защищаетъ Гоголя отъ сравненія съ цензоромъ А. В. Никитенкою, умѣвшимъ прекрасно устраивать свои матеріальныя дѣла. Приведенная только-что цитата, въ связи съ другими, напротивъ, очень сближаетъ Гоголя съ доктринеромъ Никитенкою, руководившимся, какъ видно изъ дневника его, узкимъ индивидуальнымъ моральнымъ идеаломъ, который, въ концѣ концовъ, и не давалъ ему удовлетворенія.

ный идеалъ въ аскетической и мистической окраскѣ высказывается Гоголемъ неоднократно. Приведемъ двѣ наиболѣе характерныя редакціи.

«Пускай вспомнитъ человѣкъ, что онъ вовсе не матеріальная скотина,—читаемъ въ отвѣтномъ письмѣ къ Бѣлинскому, — а высокій гражданинъ высокаго небеснаго гражданства, и до тѣхъ поръ, покуда каждый сколько-нибудь не будетъ жить жизнью небеснаго гражданства, до тѣхъ поръ не придетъ въ порядокъ и земное гражданство... Будемъ исполнять свое дѣло честно. Будемъ стараться, чтобы не зарыть въ землю талантовъ. Будемъ отправлять по совѣсти свое ремесло. Тогда все будетъ хорошо, и состояніе общества поправится само собою. Владѣльцы разъѣдутся по помѣстьямъ. Чиновники увидятъ, что не нужно жить богато, перестанутъ брать взятки; а честолюбецъ, увидя, что важныя мѣста не награждаютъ ни деньгами, ни богатымъ жалованьемъ...» (не окончено). Этотъ идиллическій, почти маниловскій взглядъ повторенъ Гоголемъ въ его предсмертномъ «напутственномъ словѣ» друзьямъ: «Благодарю васъ много, друзья мои,—читаемъ здѣсь:—вами украшалась много жизнь моя. Считаю долгомъ сказать вамъ теперь напутственное слово... Не смущайтесь никакими событіями, какія ни случаются вокругъ васъ. Дѣлайте каждый свое дѣло, молясь въ тишинѣ. Общество тогда только исправится, когда всякій честный человѣкъ займется собою и будетъ служить, какъ христіанинъ, служа Богу тѣми орудіями, какія ему даны, и стараясь имѣть доброе вліяніе на небольшой кругъ людей, его окружающихъ. Все придетъ тогда въ порядокъ; сами собой установятся тогда правильныя отношенія между людьми, опредѣлятся предѣлы законные всему, и человѣчество двинется впередъ»...

Нѣтъ надобности распространяться о томъ, что такой простодушный взглядъ на развитіе общества, предполагающій, что данныя общественныя формы представляютъ собою нѣчто неизмѣняемое, навѣки нерушимое, въ своей исключительности совершенно несостоятеленъ. Замѣтимъ лишь, что исторія наша вскорѣ совершенно опровергла всѣ мечтанія Гоголя о томъ, что несовершенства русскаго быта зависятъ только отъ частныхъ индивидуальныхъ недостатковъ русскихъ людей.

Онъ всецѣло вѣрилъ въ идеальное совершенство основъ тогдашней русской жизни и думалъ, что книга его выставитъ ихъ въ очищенномъ видѣ. Онъ взываетъ къ личному совершенствованію, къ благородству, къ патріотизму русскихъ людей. И въ этихъ призывахъ очистить русскую землю (не трогая существа русской жизни) онъ достигаетъ настоящаго паѳоса. «Всѣ мѣста святы,—твердитъ онъ на различные лады.—Въ Россіи теперь на всякомъ шагу можно сдѣлаться богатыремъ. Всякое званіе и мѣсто требуетъ богатырства. Каждый изъ насъ опозорилъ до того святы-

ню своего званія и мѣста (всѣ мѣста святы), что нужно богатырскихъ силъ на то, чтобы вознести ихъ на законную высоту» (второе письмо о «Мертвыхъ душахъ»). Но эти призывы съ наибольшею силой выражены не въ «Выбранныхъ мѣстахъ», а въ той рѣчи генералъ-губернатора, которою заканчиваются уцѣлѣвшіе отрывки второй части «Мертвыхъ душъ». «Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаніями нельзя искоренить неправды: она слишкомъ ужъ глубоко вкоренилась.»—Такъ говоритъ представитель, почти всесильный, тогдашней системы:—Безчестное дѣло брать взятки сдѣлалось необходимостью и потребностью даже и для такихъ людей, которые и не рождены быть безчестными. Знаю, что уже почти невозможно многимъ идти противу всеобщаго теченія. Но я теперь долженъ, какъ въ рѣшительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякій гражданинъ несетъ все и жертвуетъ всѣмъ, — я долженъ сдѣлать кличъ, хотя въ тѣмъ, у которыхъ еще есть въ груди русское сердце и понятно сколько-нибудь слово *благородство*... Дѣло въ томъ, что пришло намъ спасать нашу землю; что гибнетъ уже земля наша не отъ нашествія двадцати иноплеменныхъ языковъ, а отъ насъ самихъ; что уже, мимо законнаго управленія, образовалось другое правленіе, гораздо сильнѣйшее всякаго законнаго. Установились свои условія, все оцѣнено, и даже цѣны приведены во всеобщую извѣстность. И никакой правитель, хотя бы онъ былъ мудрѣе всѣхъ законодателей и правителей, не въ силахъ поправить зла» и т. д.

Рѣчь эта обрывается на полусловѣ. Но самая незаконченность ея получила свое значеніе. На кличъ этотъ не откликнулись. Уже было близко время Севастопольской войны, когда несостоятельность системы выступила наиболѣе ярко, въ той именно военной области, которою она наиболѣе кичилась. Въ періодъ 1848—1855 годовъ господствовавшая тогда система дѣлала послѣднія отчаянныя усилія, съ одной стороны, прервать притокъ новыхъ вѣяній извнѣ, изъ-за границы, съ другой—сохранить въ цѣлости и поддержать внутри прежній порядокъ, основанный на крѣпостномъ правѣ, предохранить его отъ внутренняго разложенія, грозные признаки котораго пугали Гоголя. Но въ обществѣ пробуждалось уже сознаніе, что система переживаетъ не только случайный припадокъ нездоровья, но близка къ послѣднимъ днямъ. Потому-то и книга Гоголя встрѣтила рѣзкій отпоръ себѣ, поэтому же общество русское съ восторгомъ привѣтствовало великую ликвидацію, которой система подверглась въ великіе шестидесятые годы.

Укажемъ въ существеннѣйшихъ чертахъ разнорѣчія между Гоголемъ и тогдашними умственными теченіями.

IV.

Офиціальная народность, западники и славянофилы. — Мнѣнія Гоголя о народности. — Враждебное отношеніе къ литературно-общественнымъ спорамъ. — Гоголь о современной ему журналистикѣ. — Мнѣнія его объ отношеніяхъ помѣщика и крестьянъ. — Естественность и законность рѣзкой оппозиціи Гоголю.

Въ столкновеніяхъ литературныхъ мнѣній этого періода видное мѣсто занималъ вопросъ о народности. Старались опредѣлить объемъ и содержаніе этого понятія съ различныхъ точекъ зрѣнія.

Такъ называемая офиціальная народность, подробно охарактеризованная въ извѣстной книгѣ А. Пыпина (Характеристики литературныхъ мнѣній отъ 30 до 50-хъ годовъ) и въ свое время пышно проповѣдуемая въ такихъ органахъ печати, какъ «Сѣверная Пчела», «Маякъ», «Москвитянинъ», была откровенною и безусловною защитой status quo, защитою патріархальнаго принципа всеобщей опеки. Признаками «народности» считались всѣ особенности русской жизни, и ихъ считалось нужнымъ отстаивать во что бы то ни стало.

Западники и славянофилы, расходясь съ «офиціальною» народностью, расходились въ пониманіи народности и другъ съ другомъ.

Западники совершенно отказывались связывать представленіе о народности съ неизмѣнными будто бы данными общественными и религіозными формами. Какъ совокупности признаковъ слишкомъ общихъ и неуловимыхъ, они придавали понятію народности значеніе второстепенное, находили, что хлопотать объ этихъ признакахъ много не приходится и настаивать на нихъ столь же странно, какъ странно отдѣльному человѣку хвастаться цвѣтомъ волосъ или глазъ. Офиціальная народность стремилась оградиться китайскою стѣной отъ европейскихъ вліяній, чтобъ отстаивать себя въ цѣлости. Западники указывали, что ограждаться такимъ образомъ—значитъ признавать свое безсиліе и безсодержательность.

Славянофилы (такіе, какъ Хомяковъ, Кирѣевскіе, К. С. Аксаковъ и друг., воспитанные на западно-европейской же наукѣ) съ своей стороны также отрицали китайскую стѣну. Подобно защитникамъ офиціальной народности, они связывали понятіе о народности съ извѣстною политическою и религіозною формой, но самое понятіе расширялось у нихъ. Національными признаками они дорожили, но старались отдѣлить изъ нихъ все случайное, и особенно бюрократизмъ, навязанный Руси Петромъ Великимъ; на первый же планъ они старались выставить въ качествѣ существенныхъ признаковъ русской народности такія, напримѣръ, черты русской жизни, какъ община, предполагаемое ими въ прошломъ любовное согласіе земли

и государства, и т. д. Въ практическихъ требованіяхъ обѣ враждовавшія партіи въ существенныхъ пунктахъ сходились, потому что въ сущности многіе славянофильскіе взгляды были лишь искусственно подводимы подъ понятія «народности», будучи усвоены изъ того же общечеловѣческаго источника, изъ котораго черпали свои воззрѣнія западники. И тѣ, и другіе одинаково желали уничтоженія крѣпостного права, свободы слова, реформы судоустройства и т. д. Въ шестидесятые года представители обоихъ воззрѣній работали рядомъ надъ проведеніемъ въ жизнь реформъ того времени. Къ концу сороковыхъ годовъ указанныя отношенія двухъ умственныхъ теченій уже успѣли достаточно выясниться.

Нигдѣ не высказываясь ясно, въ чемъ же, наконецъ, сущность, по его мнѣнію, русской «народности», Гоголь считаетъ это понятіе не требующимъ объясненія и неразрывно связаннымъ (какъ полагали и защитники официальной народности и славянофилы) съ религіозною и политическою идеей. Эта связь особенно подчеркивается Гоголемъ въ X письмѣ («О лиризмѣ нашихъ поэтовъ»). Источникомъ почти библейской силы этого лиризма Гоголь считаетъ то, «что наши поэты видѣли всякій высокій предметъ въ его законномъ соприкосновеніи съ верховнымъ источникомъ лиризма—Богомъ, одни сознательно, другіе безсознательно, потому что *русская душа, вслѣдствіе своей русской природы, уже слышитъ это какъ-то сама собой, неизвѣстно почему*». Подчеркнутыя нами слова очень характерны: на этомъ «неизвѣстно почему» въ сущности построена вся наивная аргументація въ защитѣ народности и превознесеніи чудесныхъ свойствъ природы русскаго человѣка. И великодушіе-то—спеціальное свойство русской души, и русскій языкъ оказывается полнѣйшимъ и богатѣйшимъ изъ всѣхъ европейскихъ языковъ, и т. п. Эта наивная дѣтская вѣра въ необычайное превосходство всего «истинно-русскаго» (кто рѣшаетъ, что то-то—«истинно-русское» явленіе, а то—не истинное?) сближаетъ Гоголя съ наивными защитниками официальной народности, съ квасными патріотами. Онъ, правда, говоритъ, что послѣ ихъ чистосердечныхъ похвалъ «только плюнешь на Россію». Но отъ квасного патріотизма не далеки многія заявленія Гоголя, въ родѣ того, наприм., что стоитъ только русскимъ людямъ заняться каждому внутреннимъ самоусовершенствованіемъ, и къ намъ сами собою явятся «желѣзныя и всякія дороги». Въ Европѣ-де уже стали спрашивать, зачѣмъ эта скорость сообщенія?—а «въ Россіи давно бы уже зацѣлась вся эта дрянь сама собою, съ такими удобствами, какихъ и въ Европѣ нѣтъ, если бы только многіе изъ насъ позаботились прежде о дѣлѣ внутреннемъ такъ, какъ слѣдуетъ» (письмо XXVIII). Въ томъ же духѣ предсказаніе, что лѣтъ чрезъ десятокъ (т.-е. во время севастопольскаго разгрома) «Европа пріѣдетъ къ намъ не за покуп-

кой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которую не
ше на европейскихъ рынкахъ» (письмо XXVI).

Нечего и говорить, что западники, болѣе трезво смотр
жаемыя чудныя свойства русской природы, не могли
общимъ тономъ отрицательнаго высокомѣрнаго отношенія
части и славянофилы не могли не возстать противъ пр
человѣка въ настоящемъ—идеаломъ. И. С. Аксаковъ, на
увидѣлъ закулисную сторону севастопольской войны, не
что на всѣхъ безобразіяхъ лежалъ собственно русской
жащій русскій характеръ («И. С. Аксаковъ въ его письма

Гоголь не преминулъ сверхъ того заявить, что и за
нофилы, не думающіе о внутреннемъ совершенствовани
вопросами русской жизни, занимаются пустяками: они
рикатурами на то, чѣмъ хотѣли быть (письмо XI), и о
приставать къ этимъ спорамъ людямъ умнымъ и пожил
склонялся, конечно, на сторону славянофиловъ; ихъ
отдѣлялъ отъ такихъ защитниковъ официальной народ
Шевыревъ и Погодинъ. Онъ, напр., съ восторгомъ
письмѣ къ Языкову стихи его, подъ заглавіемъ «Не наши», въ которыхъ
тотъ обрушивался на Грановскаго, Чаадаева и Герцена, какъ на измѣн-
никовъ и бунтовщиковъ*).

Гоголь хотѣлъ стать выше всѣхъ тогдашнихъ споровъ, онъ взывалъ къ примиренію другъ съ другомъ, къ примиренію съ жизнью, понимая это примиреніе такъ странно и узко, что, конечно, никого не могъ примирить: онъ предполагалъ, что всѣхъ можно привести къ одному убѣжденію, что въ сущности все идетъ прекрасно, и, конечно, ошибался. Содержаніе литературно-общественныхъ споровъ сводилось къ этому спору, и Гоголь не замѣчалъ, что самъ стоитъ всецѣло на одной сторонѣ.

Смутное тревожное настроеніе образованнаго общества Гоголь почувствовалъ вполнѣ правильно и ярко передаетъ его въ разныхъ мѣстахъ своей «Переписки». «Таинственною волей Провидѣнія сталъ слышаться повсюду болѣзненный ропотъ неудовлетворенія, голосъ неудовольствія человѣческаго на все, что ни есть на свѣтѣ», — говоритъ онъ въ письмѣ объ Одиссеѣ (VII). «И непонятною тоскою загорѣлась уже земля; черствѣе и черствѣе становится жизнь; все мельчаетъ и мелѣетъ, и возрастаетъ только въ виду всѣхъ одинъ исполинскій образъ скуки, достигая съ каж-

*) Эти и другіе стихи Языкова помѣщены въ VII томѣ біографіи Погодина. Они живо характеризуютъ тѣ пріемы, которыхъ постоянно держались и до сихъ поръ держатся наши „назадняки“.

дымъ днемъ неизмѣримѣйшаго роста. Все глухо, могила повсюду! Боже! пусто и страшно становится въ Твоемъ мірѣ» (письмо XXXII).

Но въ сонно-дремавшемъ обществѣ зарождались и опредѣлялись живые общественные интересы, литература, все болѣе сливавшаяся съ вопросами жизни, дѣлала свое просвѣтительное дѣло, и Гоголь рѣшительно ошибался, когда считалъ литературное движеніе—отчасти по наслышкѣ отъ друзей своихъ—пустяками. Охлажденія, которое Гоголь предполагалъ въ литературѣ, именно и не было. Въ то время, какъ число читателей на Руси постоянно увеличивалось, онъ увѣрялъ, что публика больше не читаетъ журналовъ, и «только одни задніе чтецы, привыкшіе держаться за хвосты журнальныхъ вождей, еще кое что перечитываютъ, не замѣчая въ простодушіи, что козлы, ихъ предводившіе, давно уже остановились въ раздумьѣ, не зная сами, куда повести заблудшія стада свои» (письмо объ Одиссеѣ).

Такимъ-то образомъ Гоголь очутился въ оппозиціи взглядамъ всѣхъ сколько-нибудь вліятельныхъ литературныхъ дѣятелей. О примиреніи не могло быть и рѣчи, потому что Гоголь заявлялъ себя рѣшительнымъ сторонникомъ всего патріархальнаго и допускалъ «примиреніе» только въ томъ смыслѣ, чтобы согласились принять его рѣшительныя и нетерпимыя мнѣнія.

Рѣзче всего эта рѣшительность сказалась, конечно, во мнѣніяхъ Гоголя о крѣпостномъ правѣ. Онъ не считалъ крѣпостной зависимости чрезмѣрнымъ зломъ, даже въ той формѣ, въ которой она практиковалась тогда и которая намъ хорошо извѣстна по «Запискамъ охотника», по «Пошехонской старинѣ». Г. Матвѣевъ, защищая Гоголя, дѣлаетъ предположеніе, что Гоголь, напротивъ того, желалъ освобожденія крестьянъ; въ подтвержденіе этого г. Матвѣевъ ссылается на то, что Пушкинъ, имѣвшій большое вліяніе на Гоголя, желалъ освобожденія, и предполагаетъ, что Гоголь во всемъ полагался на правительство. Къ сожалѣнію, ни въ письмахъ, ни въ сочиненіяхъ Гоголя нельзя найти указаній, чтобы Гоголь считалъ освобожденіе возможнымъ или необходимымъ.

Въ «Перепискѣ» передъ нами вездѣ человѣкъ, который говоритъ о помѣщичьей власти, какъ о явленіи вполнѣ нормальномъ и навѣки нерушимомъ. «Не смущайся мыслями, будто прежнія узы, связывавшія помѣщика съ крестьянами, исчезнули навѣки,—читаемъ мы въ самомъ началѣ пресловутаго письма о русскомъ помѣщикѣ (XXII).—Что онѣ исчезли, это правда; что виноваты тому сами помѣщики, это тоже правда; но чтобы навсегда или навѣки онѣ исчезнули,—плюнь ты на такія слова: сказать ихъ можетъ только тотъ, кто далѣе своего носа ничего не видитъ». Все письмо состоитъ изъ ряда совѣтовъ какому-то помѣщику, какъ возстановить преж-

нія патріархальныя узы, которыми прикрашивалось крѣпостное право. Гоголь совѣтуетъ помѣщику въ подтвержденіе своихъ правъ сослаться предъ мужиками на Евангеліе, освящающее будто бы крѣпостныя отношенія. Кстати сказать, текстъ, который имѣетъ въ виду Гоголь и который служилъ крѣпостникамъ теологическою опорой («всякая душа властемъ предержащимъ да повинуется» и т. д.), находится вовсе не въ Евангеліи, а принадлежитъ апостолу Павлу.

Помѣщику Гоголь ввѣряетъ не только вотчинную полицію и всѣ хозяйственные распорядки, но еще и духовную опеку. Этого не имѣла въ виду даже и тогдашняя правительственная система, и цензоръ не пропустилъ совѣты Гоголя помѣщику взять подъ строгій надзоръ священника и руководить имъ. Но и того, что пропустила цензура, было слишкомъ достаточно, чтобы возмутить всякаго, кто хоть сколько-нибудь отрицательно относился къ крѣпостному строю. «Скажи имъ (мужикамъ) всю правду,— писалъ Гоголь: — что съ тебя взыщетъ Богъ за послѣдняго негодяя въ селѣ» и т. д. Въ совѣтахъ указано, что надо убѣдить мужиковъ въ томъ, что помѣщикъ не ради своей выгоды заставляетъ ихъ трудиться, но потому, что Богомъ повелѣно человѣку трудомъ и потомъ снискивать себѣ хлѣбъ. Помѣщикъ долженъ показывать мужику, что лѣностью и нерадѣніемъ тотъ грѣшитъ не противъ помѣщика, а противъ Самого Бога. Помѣщикъ долженъ внушать уваженіе къ «примѣрнымъ мужикамъ», чтобы «летѣли бы шапки съ головы у всѣхъ мужиковъ и все бы давало дорогу» такому вѣрному слугѣ своего барина. А кто не поклонится, тому помѣщикъ можетъ прочитать слѣдующее наставленіе: «Ахъ, ты, не вымытое рыло! Самъ весь зажилъ въ сажѣ, такъ что и глазъ не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному! Поклонись же ему въ ноги и попроси, чтобы навелъ тебя на разумъ; не наведетъ на разумъ — собакой пропадешь!»

Далѣе идутъ спеціально-хозяйственные совѣты самому принимать живое участіе въ работѣ и, между прочимъ, совѣты на тему, какъ хорошо кстати загнуть крѣпкое словцо, чтобы подбодрить лѣнтяя.

Куралесовы и дѣдушки Багровы, герои «Семейной хроники» Аксакова, дѣйствительно были помѣщиками-патріархами, но они хоть Бога не мѣшали въ свое хозяйство; гоголевскій же идеальный помѣщикъ смахиваетъ на іезуита, на салтыковскаго Іудушку Головлева. У тѣхъ же Куралесовыхъ практиковался и тотъ патріархальный судъ, который рекомендуется Гоголемъ въ другомъ письмѣ (XXV): наказаніе и праваго и виноватаго, по завѣту капитанши изъ повѣсти Пушкина.

Перечтите, наконецъ, страницу въ томъ же письмѣ о помѣщикѣ, въ которой говорится о грамотѣ. Для мужика ея нужно ровно столько, чтобы

тотъ, кто поспособнѣе, могъ прочитать священныя книги. «Учить мужика грамотѣ затѣмъ, чтобы доставить ему возможность читать пустыя книженки, которыя издаютъ для народа европейскіе человѣколюбцы, есть, дѣйствительно, вздоръ. Народъ нашъ не глупъ, что бѣжитъ, какъ отъ чорта, отъ всякой письменной бумаги; онъ знаетъ, что тамъ притонъ всей человѣческой путаницы, крючкотворства и каверзничествъ. По-настоящему, ему не слѣдуетъ и знать, есть ли какія-нибудь другія книги, кромѣ святыхъ».

И въ заключеніе всѣхъ этихъ совѣтовъ удостовѣряется, что помѣщикъ, въ такомъ радѣніи о душахъ своихъ мужиковъ, самъ «разбогатѣетъ, какъ Крезъ».

И намъ говорятъ теперь, что человѣкъ, съ наивнымъ кощунствомъ писавшій все это, не кто иной, какъ «нашъ русскій Паскаль»,—Паскаль, лучшая слава котораго—борьба съ іезуитами. И на страницахъ двухъ современныхъ журналовъ противоположныхъ партій одинаково скорбятъ о томъ, что современники оклеветали книгу Гоголя. Неужели же не правъ былъ Бѣлинскій въ своемъ негодованіи противъ того, что все это проповѣдуется во имя Христа? Если современники почти единодушно возстали противъ Гоголя, то, конечно, потому, что всѣхъ одинаково соединило естественное моральное чувство, не искаженное до такой степени, какъ оно преобразилось у Гоголя, ослѣпленнаго мистикою, аскетизмомъ и увѣренностью въ совершенствѣ русскихъ общественныхъ формъ.

Бѣлинскій былъ, конечно, глубоко правъ, когда писалъ Гоголю: «Нѣтъ, если бы вы, дѣйствительно, преисполнились истиною Христовою, совсѣмъ не то писали бы вашему адепту изъ помѣщиковъ. Вы писали бы ему, что такъ какъ его крестьяне—его братья о Христѣ, и какъ братъ не можетъ быть рабомъ своего брата, то онъ и долженъ или дать ему свободу, или хотя, по крайней мѣрѣ, пользоваться трудами крестьянъ какъ можно льготнѣе отъ нихъ, сознавая себя въ ложномъ, въ отношеніи къ нимъ, положеніи». Нѣкоторые изъ славянофиловъ именно такимъ путемъ и приходили къ мысли объ уничтоженіи крѣпостного права. Такъ, А. И. Кошелевъ, вслѣдствіе религіознаго настроенія, и пришелъ къ мысли, что крѣпостное право — величайшій *грѣхъ* дореформеннаго быта («Біографія А. И. Кошелева», т. II, стр. 82). Понятно, что славянофилы, не менѣе чѣмъ западники, отнеслись отрицательно къ Гоголю. Г. Матвѣевъ, наивно предполагающій, что одобряемую Гоголемъ ругань помѣщика надо понимать аллегорически, поэтому совершенно голословно утверждаетъ, будто бы «довольно смутные взгляды славянофиловъ сороковыхъ годовъ на основы народной нашей жизни значительно очистились подъ вліяніемъ книги Гоголя, на первыхъ порахъ возбудившей въ извѣстной части ихъ совершенно непонятное и неразумное раздраженіе, такъ что приходится

допустить мелкія причины личнаго самолюбія и кружковщины для объясненія того ослѣпленія и гнѣва, которое заставило Аксаковыхъ принять усердное участіе въ травлѣ автора «Переписки». На дѣлѣ причины были вовсе не мелкія.

Въ печать своевременно не попали нѣкоторыя изъ писемъ Гоголя, въ которыхъ онъ говоритъ объ идеальномъ устройствѣ административныхъ отношеній. «Начальникъ долженъ быть отцомъ для своихъ подчиненныхъ» — такова суть наставленій Гоголя «занимающему важное мѣсто». Особенное умиленіе г. Матвѣева вызываютъ также тѣ строки, гдѣ Гоголь говоритъ о русскомъ дворянствѣ. По «Мертвымъ душамъ», «Запискамъ охотника», «Пошехонской старинѣ» и т. п., по сопротивленію, которое правительство встрѣтило при осуществленіи крестьянской реформы, мы знаемъ, каковъ былъ въ дѣйствительности нравственный и умственный уровень сословія, вскормленнаго крѣпостнымъ правомъ. Гоголь надѣялся, что если «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями» будутъ напечатаны цѣликомъ, безъ пропусковъ, то впечатлѣніе книги будетъ другое. Нечего и распространяться, какъ ошибочна была эта надежда: общее впечатлѣніе осталось бы прежнее. Для читателя это ясно уже потому, что, сопоставляя со взглядами современниковъ мнѣнія Гоголя, мы цитировали неоднократно именно непропущенныя мѣста, потому что они болѣе рѣзко подчеркиваютъ разницу его воззрѣній и взглядовъ оппонентовъ.

Послѣ всего вышесказаннаго, кажется, ясно, что оппонентами Гоголя въ сороковые годы руководили мотивы не случайные и не мелкіе. Приходится признать совершенно справедливымъ замѣчаніе Бѣлинскаго, что, каковы бы ни были мотивы автора книги, она не могла произвести иного впечатлѣнія на лучшую часть публики и литературы, кромѣ того, которое произвела. Если бы «Переписка» вышла цѣликомъ, авторъ ея былъ бы, можетъ быть, избавленъ лишь отъ нѣкоторыхъ придирокъ и раздраженныхъ возраженій въ родѣ язвительностей, какими обильны статьи Н. Ф. Павлова и А. Д. Галахова (Сто одного, въ «Отеч. Зап.»).

Но кромѣ рѣзко отрицательныхъ отзывовъ, при появленіи въ свѣтъ «Переписки» раздались и одобрительные. Надо разсмотрѣть и ихъ.

V.

Одобрительные отзывы о „Перепискѣ". — Мнѣнія о „Перепискѣ" представителей духовенства и администраціи. — Впечатлѣніе, произведенное неудачею книги на Гоголя. — Заключеніе.

Извѣстно, съ какимъ ожесточеніемъ встрѣтили нѣкоторые «Ревизора» и «Мертвыя души». Злостные толки о комедіи, переданные въ «Театраль-

номъ разъѣздѣ», нимало не были преувеличены Гоголемъ. По разсказу С. Т. Аксакова, въ одномъ домѣ, даже весьма расположенномъ къ Гоголю, онъ лично слышалъ, какъ извѣстный графъ Ѳ. И. Толстой (прозвищемъ «американецъ») доказывалъ, что Гоголь - врагъ Россіи и что его слѣдуетъ въ кандалахъ отправить въ Сибирь, и это мнѣніе нисколько не было исключительно. На-ряду съ такою ненавистью была въ обществѣ и горячая любовь къ Гоголю; не единицами считались люди, любившіе Гоголя, по выраженію Бѣлинскаго, «со всею страстью, съ какою человѣкъ, кровно связанный со своею страной, можетъ любить ея надежду, честь, славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія, прогресса».

При появленіи «Переписки» обѣ стороны перемѣнились мѣстами. Теперешніе панегиристы Гоголя, желая выставить въ болѣе жалкихъ краскахъ незаслуженное враждебное отношеніе къ Гоголю, замалчиваютъ то обстоятельство, что сочувствіе Гоголю высказывалось столь же рѣшительно и даже еще болѣе рѣзко, чѣмъ несочувствіе, потому что противники «Переписки» были крайне стѣснены въ печатномъ выраженіи своихъ мыслей. Но одобрительные отзывы тѣмъ не менѣе не могли доставить большого утѣшенія Гоголю: онъ чувствовалъ, что они либо не безкорыстны, либо слишкомъ личны, либо слишкомъ случайны, окрашены не сочувствіемъ Гоголю, а лишь враждой къ его прошлому.

«Я не въ состояніи дать вамъ ни малѣйшаго понятія о томъ негодованіи, которое возбудила ваша книга во всѣхъ благородныхъ сердцахъ,— писалъ Гоголю Бѣлинскій, — ни о тѣхъ вопляхъ дикой радости, которые издали при появленіи ея всѣ враги ваши и нелитературные (Чичиковы, Ноздревы, городничіе и т. д.), и литературные, которыхъ имена хорошо вамъ извѣстны». Бѣлинскій соглашался съ Н. Ф. Павловымъ, что «перенесенная въ сферу искусства книга Гоголя была бы превосходна, ибо ея чувства и понятія принадлежатъ законно Хлестаковымъ, Коробочкамъ, Маниловымъ и т. п.».

Особенно ликовала «Библіотека для чтенія». Сенковскій, этотъ литературный Хлестаковъ, потиралъ руки отъ удовольствія, что похвалы, которыми осыпали Гоголя, онъ «попираетъ ногами»; онѣ ему не нужны: потомство узнаетъ его величіе. Еще до выхода въ свѣтъ «Переписки» Сенковскій писалъ злорадно: «Я печаленъ — Гомеръ, знаете, боленъ! О самолюбіе, самолюбіе книжное! Сколько ты убиваешь умовъ и талантовъ!... Самолюбіе! Лютое самолюбіе! Посмотри, что ты сдѣлало изъ Гомера. Гомеръ боленъ! Гомеръ захворалъ на томъ, что онъ не въ шутку Гомеръ. Гомеръ возгордился неизлѣчимо!... Типунъ вамъ на языкъ!—въ томъ числѣ и мнѣ—вамъ, которые, когда явилась въ свѣтъ незабвенная поэма, предсказывали, что это тѣмъ кончится, что тутъ уже есть начало болѣзни. Гомеръ отрекается отъ без-

смертія, отъ удивленія народовъ, потому что народы не понимаютъ его». Прекрасныя страницы о святости религіи и обязанностяхъ христіанина, найденныя Сенковскимъ, по его словамъ, въ «Перепискѣ», не заставили его измѣнить этого развязно-злораднаго тона. Въ томъ же духѣ писали въ булгаринской «Сѣверной Пчелѣ», баронъ Розенъ, Л. Брандтъ и т. д. Похвалы благонамѣренности автора принимали обидный характеръ на страницахъ «Сѣверной Пчелы», для которой, какъ и для Сенковскаго, при этомъ случаѣ больше всего пріятно было оправдать дальновидность своихъ прежнихъ нападокъ на автора «Ревизора» и «Мертвыхъ душъ».

Рядомъ съ этими мнѣніями литературной и иной черни, обрадовавшейся, что писатель отрекается самъ отъ себя, вполнѣ достойно стоять хвалебное письмо извѣстнаго Филиппа Филипповича Вигеля, составившаго себѣ извѣстность патріотическою ненавистью къ внутреннимъ врагамъ Россіи. «Сочинитель этихъ «Писемъ», — пйсалъ Гоголю Вигель, — такъ же высоко стоитъ надъ авторомъ «Ревизора» и «Мертвыхъ душъ», какъ сей послѣдній далеко отстоитъ отъ Шаликова. Не могу описать восторговъ, съ которыми смотрѣлъ я на перерожденіе Гоголя». При сей вѣрной оказіи Филиппъ Филипповичъ изливалъ скорбь о томъ, что не цѣнятъ его усилій. «Ненависти онъ никогда не зналъ, хотя симъ именемъ и пятнали здѣсь сильное негодованіе его не на личныхъ своихъ враговъ, а на внутреннихъ враговъ порядка, вѣры и отечества его. Конечно, въ чувствѣ глубокаго презрѣнія, которое къ тому примѣшивалось, таится несогласная съ христіанскимъ смиреніемъ гордыня. Отнынѣ потщится онъ сіе чувство замѣнить состраданіемъ къ заблужденіямъ ихъ». Гоголь отвѣтилъ на эти изліянія сочувственнымъ письмомъ, подобно тому, какъ раньше выражалъ сочувствіе языковскому стихотворенію «Не наши»; онъ даже рекомендовалъ Вигеля вниманію Смирновой.

Въ частныхъ письмахъ Гоголю приходилось выслушивать со стороны подобныхъ цѣнителей вещи несравненно болѣе грубыя. Нѣкто Извединова въ письмахъ къ знакомой Гоголя, А. О. Ишимовой (издательницѣ журнала для дѣтей «Звѣздочка»), разразилась противъ Гоголя самою невѣжественною бранью. Она жестоко осуждаетъ не только Гоголя, какъ представителя отрицательнаго направленія литературы, но и Пушкина, такъ какъ «сей послѣдній могъ бы сдѣлать много хорошаго, если бы не употреблялъ умъ свой во зло». Особенно отзываются неподражаемою патріархальностью и наивностью взгляда слѣдующія строки этой замоскворѣцкой дамы, пользовавшейся извѣстнымъ авторитетомъ въ нѣкоторыхъ кружкахъ Москвы: «Облагородьте ваше перо, пишите примѣры добродѣтели, и порочные устыдятся и станутъ жить добродѣтельно». «Да, Гоголь всѣхъ смѣшилъ! Жалко! употребить всю жизнь, и такую краткую, на то, чтобы служить обезьяной

публикѣ!» Рекомендація Ишимовой юношеству сочиненій Гоголя привела добродѣтельную даму въ совершенный ужасъ: «я не хочу думать, чтобы вы, одаренная нѣжными чувствами ко всему истинно хорошему, были согласны возрастить въ юныхъ сердцахъ отвращеніе отъ нашего отечества, отъ уваженія къ святителямъ православной церкви, отъ святыхъ обителей,— словомъ, отъ всего святого, и бросить ихъ въ объятія непонятной гоголевской поэзіи».

Словомъ, Гоголю, который все это читалъ и перечитывалъ, приходилось выслушивать съ этой стороны преимущественно укоризны за прошлое.

Переходя къ мнѣніямъ личныхъ друзей Гоголя, замѣтимъ, что друзья, повинные до нѣкоторой степени въ появленіи книги, вступались за нее, совершенно искренно негодуя на рѣзкую оппозицію книгѣ и раздѣляя суть взглядовъ Гоголя. Вдохновительница Гоголя, А. О. Смирнова, Плетневъ, издававшій книгу; Загоскинъ, наивный авторъ «Юрія Милославскаго», говорившій, что надо ѣхать въ Неаполь и расцѣловать Гоголя; Жуковскій, князь Вяземскій —все это были люди однихъ воззрѣній, одного склада съ Гоголемъ.

А. О. Смирнова съ необычайнымъ раздраженіемъ нападала въ своихъ письмахъ на всѣхъ, кто по поводу «Переписки» имѣлъ сколько-нибудь самостоятельное мнѣніе. Съ Аксаковыми, безусловно отрицательно относившимися къ «Перепискѣ», она поссорилась было на смерть. Письма ея по поводу этого—не защита «Переписки», а обвиненія противниковъ въ неблагонамѣренныхъ и предосудительныхъ мнѣніяхъ. «Отзывы письменные вашихъ друзей,—писала она Гоголю, точно стараясь навсегда перессорить съ ними Гоголя,—просто не христіанскіе, не доброжелательные и въ ихъ глазахъ вы просто сумасшедшій... Кромѣ того, что васъ просто стараются уличить въ разстройствѣ ума, говорятъ еще, что вы католикъ, формалистъ; говорятъ, что вашею книгой могутъ только прельщаться плаксивые ханжи и скотный дворъ Θ. Н. Глинки. Я себя считаю теперь на скотномъ дворѣ и въ числѣ ханжей и, признаюсь, очень рада, что не обрѣтаюсь въ числѣ Аксаковыхъ, живущихъ по невѣдомому мнѣ закону любви, какъ и весь славянскій міръ. Ненависть къ власти, къ общественнымъ привилегіямъ, къ высокому рожденію и богатству — таковая-то отвлеченная страсть къ идеальному русскому, таящемуся въ бородѣ,—вотъ начало этихъ господъ. Не коммунизмъ ли это со всѣми своими гадостями, т.-е. коммунизмъ Жоржъ-Занда?»

Сколько-нибудь критически не могли отнестись къ книгѣ Гоголя ни Плетневъ, ни Жуковскій. Они жалѣли только о нѣкоторой рѣзкости тона и стилистическихъ неисправностяхъ; помимо послѣднихъ Плетневъ и совсѣмъ не находилъ въ ней недостатковъ. «Въ книгѣ Гоголя я не нахожу

такихъ ошибокъ, какія вамъ представляются, — писалъ Плетневъ Жуковскому.—Она только оригинальна, какъ самъ Гоголь и все, имъ написанное... Но благо, ею произведенное, не двусмысленно. Я знаю многихъ, которые восхищены этою новостью». С. Т. Аксакову, который ради славы и добраго имени Гоголя умолялъ Плетнева остановить изданіе книги, Плетневъ писалъ въ защиту Гоголя, что ошибка его происходитъ отъ того, что онъ слишкомъ любитъ Россію; а между тѣмъ, по долговременному изъ нея отсутствію, совсѣмъ не знаетъ ея. Ему воображается, что у насъ, какъ и за границею, признанный талантъ сдѣлался предметомъ всеобщаго вниманія, участія, любви; что всѣ отъ сердца интересуются его трудами, преднамѣреніями, даже частною его жизнью. Въ этомъ ослѣпленіи, движимый самыми живыми чувствами христіанской любви къ ближнимъ, онъ съ ними обращается, разговариваетъ съ ними, все разсказываетъ имъ, какъ нѣжнѣйшимъ друзьямъ, будучи убѣжденъ, что каждый шагъ его имъ дорогъ, и каждый вызовъ къ добру — священъ. Натурально, если бы въ его природѣ было менѣе самолюбія, онъ и въ нынѣшнемъ своемъ отношеніи къ Россіи не дошелъ бы до странностей, которыя такъ многихъ озадачили. Но эти странности даютъ намъ, друзьямъ его, только новый поводъ поддерживать честь имени его и сочиненій, что и сдѣлать намъ легко; потому что, осмѣлюсь повторить торжественно, нѣтъ ни въ одной фразѣ его ни безсмыслицы, ни подлости». Добродушный Плетневъ, конечно, ошибался, полагая, что легко будетъ поддержать честь имени Гоголя и что чистота мотивовъ, двигавшихъ писателемъ, оправдаетъ «странности», т.-е. въ дѣйствительности нетерпимое непониманіе насущнѣйшихъ нуждъ общественнаго развитія, выказанное въ «Перепискѣ».

Того же мнѣнія о доброкачественности и полезности книги держался и князь Вяземскій, выступившій въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» со статьею о «Языковѣ и Гоголѣ». «Вообще,—находилъ онъ,—все, на чемъ можетъ въ этой книгѣ остановиться строгій взоръ безпристрастной и добросовѣстной критики,—не что иное, какъ соринки, которыя автору легко смести однимъ движеніемъ пера. Но цѣлое есть чистая, свѣтлая храмина» и т. д.

Но замѣчательно, что и князь Вяземскій, подобно Смирновой, переходитъ въ наступленіе. Онъ прибѣгаетъ въ своей статьѣ къ тому же оружію, что и Смирнова, и это не могло не возмутить Бѣлинскаго, написавшаго Гоголю по этому поводу, что Вяземскій—князь въ аристократіи и холопъ въ литературѣ. По убѣжденію князя Вяземскаго, «книга Гоголя была нужна... На авторѣ лежала обязанность не двусмысленно, не сомнительно, а гласно разорвать съ частью своего прошлаго, т.-е. не столько своего собственнаго прошедшаго, сколько того, которое ему придали съ одной стороны безусловные и чрезмѣрные поклонники, а съ другой — многочисленные и не-

удачные подражатели... Его хотѣли поставить главою какой-то новой литературной школы, олицетворить въ немъ какое-то черное литературное знамя. На его душу и отвѣтственность обращались всѣ грѣхи, коими ознаменовались послѣдніе годы нашего литературнаго паденія. Какъ тутъ было не одуматься, не оглядѣться? Всѣ эти лекторы и глашатаи, которые шли около него и за нимъ со своими хвалебными восклицаніями и праздничными факелами, именно и озарили въ глазахъ его опасность и ложность избраннаго имъ пути. Съ благородною рѣшимостью и откровенностью онъ тутъ же круто своротилъ съ торжественнаго пути своего и спиною обратился къ своимъ поклонникамъ».

Князь Вяземскій, какъ видитъ читатель, еще преувеличилъ тѣ мотивы, по которымъ Гоголь отрекался отъ прежней своей дѣятельности. Мы видѣли, что Гоголь призналъ ее просто ничтожной и печатно заявлялъ, что огорченъ истолкованіемъ его произведеній въ отрицательномъ смыслѣ. Вяземскій уже прямо говорилъ о черномъ знамени, объ «опасности» направленія, которое такъ высоко ставило Гоголя.

Возставая противъ сомнѣній въ искренности автора «Переписки», и возставая, конечно, справедливо, князь Вяземскій въ своей статьѣ выказалъ вмѣстѣ съ тѣмъ полное непониманіе литературнаго значенія Гоголя. Онъ никакъ не ожидалъ, что «натуральная школа», какъ тогда выражались, начатая Гоголемъ, получитъ у насъ такое первенствующее литературное значеніе и выдвинетъ вскорѣ такихъ дѣятелей, какъ Тургенева, Достоевскаго, Льва Толстого, Гончарова и т. д.

«Наши критики,—писалъ князь Вяземскій Шевыреву, повторяя то же, что въ своей печатной статьѣ,—смотрятъ на Гоголя, какъ смотрѣлъ бы баринъ на крѣпостного человѣка, который въ домѣ его занималъ мѣсто сказочника и потѣшника и вдругъ сбѣжалъ изъ дома и постригся въ монахи». Это возраженіе было, однако, направлено совсѣмъ не по адресу. Если на автора «Ревизора» и «Мертвыхъ душъ» иные и смотрѣли, какъ на скомороха, то въ этомъ грѣхѣ ужъ конечно не были повинны тѣ, кто обрушился на «Переписку» Гоголя, какъ на измѣну прежнимъ взглядамъ и прежней дѣятельности: ни Бѣлинскій и западники, ни семья Аксаковыхъ и славянофилы. Для Бѣлинскаго литература была, конечно, не потѣшною забавой: ей онъ отдавалъ всю свою страстную душу. Критика Бѣлинскаго и устанавливала за сочиненіями Гоголя первостепенное литературное и общественное значеніе. Какъ о «побасенкахъ», о сочиненіяхъ Гоголя говорили не Бѣлинскій, не Конст. Аксаковъ, объявлявшій Гоголя Гомеромъ, а его ожесточенные недоброжелатели: Булгаринъ, Сенковскій, г-жи Извединовы и др. Гоголя самого глубоко оскорбляло такое отношеніе: припомните страстную отповѣдь на подобныя рѣчи о «побасенкахъ»,

помѣщенную имъ въ «Театральномъ разъѣздѣ». На самомъ дѣлѣ, именно близкіе друзья Гоголя, какъ этотъ самый князь Вяземскій, склонялись къ мнѣнію, что сочиненія Гоголя—«побасенки», хоть и очень остроумныя, но безсодержательныя. Только Пушкинъ, ставившій Гоголю въ примѣръ Сервантеса, былъ достаточно смѣлъ въ оцѣнкѣ таланта Гоголя. «Миръ и забвеніе бѣднымъ коллежскимъ регистраторамъ и другимъ канцелярскимъ служителямъ,—писалъ князь Вяземскій:—они до послѣдней нитки переплатились съ литературою нашей, которая взяла ихъ на откупъ. Гоголь до послѣдняго колоса перекосилъ низменныя жатвы нашего общества». Дѣло опять-таки въ томъ, что значеніе Гоголя и его школы не исчерпывалось обличеніемъ коллежскихъ регистраторовъ. На судъ была призвана вся русская жизнь съ ея пустотою, невѣжествомъ и безправіемъ. Самъ Гоголь говоритъ въ одномъ мѣстѣ «Переписки», что его дѣйствующія лица фигурируютъ въ разжалованномъ изъ генераловъ видѣ (стр. 96, соч. т. V). Гоголь же остался недоволенъ защитою князя Вяземскаго: въ письмѣ къ нему, онъ вступился за Бѣлинскаго. Какъ видно, ему не совсѣмъ понравилось, что князь Вяземскій какъ бы подтверждалъ то, что писалось Гоголемъ въ порывѣ самобичеванія, и соглашался съ тѣми, кто умалялъ талантъ автора «Ревизора».

Единственное, что цѣнно въ статьѣ Вяземскаго—это печатная защита искренности Гоголя. Не многіе, конечно, въ пылу полемики могли оцѣнить эту сторону статьи. Сочувствіе князю Вяземскому въ этомъ отношеніи выразилъ извѣстный П. Чаадаевъ, давно уже холодно наблюдавшій московскую жизнь, не вмѣшиваясь въ полемику: онъ стоялъ до извѣстной степени въ сторонѣ и потому могъ быть безпристрастнѣе другихъ.

Сочувственно къ моральному настроенію Гоголя отнеслись, наконецъ, въ то время еще очень молодые И. С. Аксаковъ и славянофильскій критикъ А. Григорьевъ, написавшій статейку о «Перепискѣ» въ «Московскомъ Городскомъ листкѣ». Мысль обоихъ не выходила изъ той же ограниченной рамки, въ которой судорожно билась мысль Гоголя; имъ поэтому было легче, чѣмъ кому бы то ни было другому, уловить глубокую сущность настроенія Гоголя, указанную нами выше, но и Григорьевъ не могъ не осудить «припадки односторонняго патріотизма» (въ XV письмѣ).

Если мы теперь обратимся къ мнѣніямъ лицъ, отъ которыхъ естественнѣе всего было ожидать полнаго сочувствія книгѣ Гоголя и ея консервативной тенденціи, то насъ поразитъ то обстоятельство, что мнѣнія эти были удивительно нестройны.

Съ такими представителями офиціальной народности, каковы были неразлучные Погодинъ и Шевыревъ, Гоголь чуть было совсѣмъ не разссорился изъ-за своей «Переписки». Онъ сходился съ ними во взглядахъ на

программу оффиціальной народности совершенно. О Шевыревѣ, впервые провозгласившемъ въ 1841 г. «гніеніе Запада», Гоголь писалъ Смирновой: «Человѣкъ этотъ стоитъ на точкѣ разумѣнія несравненно высшей, чѣмъ всѣ другіе въ Москвѣ, и въ немъ зрѣетъ много добра для Россіи». Но съ Погодинымъ лично Гоголь былъ въ отношеніяхъ очень натянутыхъ. Погодинъ безцеремонно приставалъ къ Гоголю съ просьбами дать что-либо для «Москвитянина», самовольно распорядился портретомъ его и т. п., основываясь на томъ, что Гоголь связанъ съ нимъ денежными расчетами. Въ книгѣ своей Гоголь напечаталъ чрезвычайно оскорбительный отзывъ о Погодинѣ и вдобавокъ прислалъ ее съ такою надписью: «Неопрятному и растрепанному душой Погодину, ничего не помнящему, ничего не примѣчающему, наносящему на всякомъ шагу оскорбленія другимъ и того не видящему, Ѳомѣ невѣрному, близорукимъ и грубымъ аршиномъ мѣряющему людей, даритъ сію книгу въ вѣчное напоминаніе грѣховъ его человѣкъ также грѣшный, какъ и онъ, и во многомъ еще неопрятнѣйшій его самого». Съ трудомъ изгладилось взаимное охлажденіе Погодина и Гоголя, вполнѣ понятное послѣ такихъ оскорбленій. Шевыревъ, конечно, былъ за Погодина—и сперва собирался написать безпощадный разборъ «Переписки». Однако, въ цѣляхъ ли противорѣчія западникамъ, смягченный ли Гоголемъ, онъ какъ бы ни было далъ въ «Москвитянинѣ» отзывъ сочувственный, но очень сдержанный.

Между прочимъ онъ сознавался, что не въ силахъ объяснить противорѣчія между прежнимъ художественнымъ направленіемъ Гоголя, которое все-таки цѣнилъ по-своему, и теперешнимъ дидактическимъ. Стоя на догматической точкѣ зрѣнія, конечно, нельзя было примирить ихъ, но у Шевырева не хватило духа быть послѣдовательнымъ и откровенно признать направленіе дидактическое единственно правильнымъ. Онъ глубокомысленно замѣчалъ только: «Мы не беремся объяснять этого явленія. Есть тайныя неизъяснимыя связи между искусствомъ и жизнью, есть процессъ въ движеніи самого искусства, который неуклонно слѣдуетъ своему началу. Отсюда можно только разгадывать причины такихъ важныхъ явленій». Пересыпавъ статью полемическими намеками на Бѣлинскаго и другихъ оппонентовъ «Переписки», косвенно Шевыревъ сознавался, что съ друзьями онъ вліялъ въ личныхъ отношеніяхъ на Гоголя въ томъ направленіи, которое погубило нашего писателя, защищалъ это свое направленіе болѣе, чѣмъ самую книгу Гоголя (попрекая его, наприм., возведиченіемъ личности на западническій образецъ), и укорялъ писателя въ преднамѣренности творчества. Вся статья приняла, вслѣдствіе этой нерѣшительности Шевырева, какой-то двусмысленный кисло-сладкій оттѣнокъ.

Если мы перейдемъ къ мнѣніямъ представителей тогдашней іерархіи,

то и здѣсь наткнемся на то же самое двойственное отношеніе къ Гоголю. Какое высокое мѣсто Гоголь ни отводилъ Церкви въ частной и общественной жизни, все-таки онъ оставался писателемъ черезчуръ свѣтскимъ. Хотя цензура и не пропустила того мѣста книги, въ которомъ Гоголь совѣтовалъ помѣщику взять подъ свой надзоръ и руководство сельскаго священника, тѣмъ не менѣе подобная тенденція, подчиненіе Церкви временнымъ государственнымъ цѣлямъ, чувствовалась въ книгѣ и, конечно, не могла нравиться. Въ одномъ письмѣ С. Т. Аксакова къ сыну читаемъ: «Филаретъ сказалъ, что хотя Гоголь во многомъ заблуждается, но надо радоваться его христіанскому направленію». Иннокентій, архіепископъ Херсонскій, просилъ Гоголя, чрезъ Погодина, не парадировать набожностью: она любитъ внутреннюю клѣть; если онъ будетъ не умѣренъ, то молодежь подыметъ его на смѣхъ, и плода не будетъ. Гоголь же, напротивъ того, прямо заявлялъ, что «не считалъ соблазнительнымъ ни для кого открыть публично, что старается быть лучшимъ, томиться и сгорать явно, на виду всѣмъ, желаніемъ совершенства». Вообще крупныхъ и мелкихъ поводовъ для разногласія между Гоголемъ и духовенствомъ было въ книгѣ не мало: наприм., очень не понравилось письмо Гоголя, защищавшее горячо театръ. Архимандритъ Игнатій Брянчаниновъ, извѣстный настоятель Сергіевой пустыни, находилъ въ книгѣ Гоголя смѣшеніе свѣта и тьмы. Были отзывы и совсѣмъ рѣзкіе. Наприм., преосвященный Григорій, епископъ Калужскій, по поводу разговора въ его присутствіи о томъ, что Гоголь даже богословъ, отозвался съ сожалѣніемъ о немъ: «Э, полноте—какой онъ богословъ, онъ просто сбившійся съ истиннаго пути пустословъ».

Гоголя особенно огорчило мнѣніе о «Выбранныхъ мѣстахъ» ржевскаго протоіерея Матвѣя Александровича Константиновскаго. Это была въ своемъ родѣ весьма замѣчательная, глубоко убѣжденная и послѣдовательная личность. Какъ замѣчательный проповѣдникъ, онъ прославился въ Ржевѣ и имѣлъ большое вліяніе на поворотъ населенія этого города отъ раскола къ православію. «Побѣда его была бы еще благотворнѣе, полнѣе и чище,—замѣчаетъ его біографъ Т. И. Филиппов (см. книгу Барсукова, т. VIII, стр. 568),—если бы въ послѣднее время своей жизни онъ не принялъ прямого участія въ преслѣдованіи раскола». Отецъ Матвѣй своею цѣльностью и послѣдовательностью совершенно увлекъ Гоголя. «По-моему,—писалъ Гоголь, зная отца Матвѣя еще только по письмамъ, которыми они обмѣнялись по поводу «Переписки»,—это умнѣйшій человѣкъ изъ всѣхъ, какихъ я доселѣ зналъ, и если я спасусь, такъ это, вѣрно, вслѣдствіе его наставленій, если только, нося ихъ предъ собой, буду входить больше въ ихъ силу». Отецъ Матвѣй очень напалъ на Гоголя за статью о театрѣ,

куда Гоголь будто бы посылалъ общество вмѣсто церкви. Вмѣстѣ съ тѣмъ отецъ Матвѣй писалъ, что «Выбранныя мѣста» должны произвести вообще вредное дѣйствіе и что Гоголь дастъ за нихъ отвѣтъ Богу. Онъ, наконецъ, совѣтовалъ Гоголю бросить имя литератора и итти въ монастырь. Гоголь, какъ извѣстно, уклонился исполнить этотъ совѣтъ, въ сущности вполнѣ послѣдовательный.

Такимъ образомъ, книга Гоголя оказалась въ глазахъ представителей духовенства все еще не достаточно сильной и послѣдовательной.

Люди религіозно-православнаго настроенія, въ родѣ Облеухова, мнѣніе котораго сообщаетъ г. Барсуковъ, точно также нерѣдко относились отрицательно къ «Перепискѣ». Облеуховъ, будучи человѣкомъ религіознымъ, кажется, долженъ бы былъ душевно радоваться перерожденію Гоголя, выразившемуся въ «Перепискѣ съ друзьями», но онъ не разъ говаривалъ, что это не призваніе Гоголя писать въ подобномъ направленіи, и притомъ выражалъ свое сожалѣніе, что великій авторъ «Мертвыхъ душъ» и «Ревизора» съ появленіемъ «Переписки съ друзьями» умеръ навсегда, какъ писатель Россіи.

Къ сожалѣнію, въ печати нѣтъ прямыхъ отзывовъ о книгѣ Гоголя со стороны представителей тогдашней государственности, которую онъ защищалъ въ ея данной временемъ формѣ такъ безусловно и такъ искренно. Но, кажется, и здѣсь Гоголь не встрѣтилъ того сочувствія, на которое могъ бы разсчитывать, если-бъ издалъ свою книгу съ задними мыслями.

Столкновеніе, при изданіи книги, съ цензурою доказываетъ это весьма ярко. Гоголь писалъ о Карамзинѣ: «Онъ первый возвѣстилъ торжественно, что писателя не можетъ стѣснить цензура, и если уже онъ исполнился чистѣйшимъ желаніемъ блага въ такой мѣрѣ, что желаніе это, занявши всю его душу, стало его плотію и пищею, тогда никакая цензура для него не строга, и ему вездѣ просторно... Какой урокъ нашему брату писателю! И какъ смѣшны послѣ этого изъ насъ тѣ, которые утверждаютъ, что въ Россіи нельзя сказать полной правды, и что она у насъ колетъ глаза!» (Письмо XIII). Гоголь очутился самъ въ комическомъ положеніи, когда пришлось выпустить нѣсколько писемъ цѣликомъ, а изъ пропущенныхъ писемъ вычеркивались цѣлыя страницы, казавшіяся черезчуръ рѣзкими.

Вообще въ это время къ литературѣ начинали относиться уже съ той точки зрѣнія, которую откровенно формулировалъ въ своемъ дневникѣ цензоръ А. В. Никитенко, когда она достигла полнаго господства. По его мнѣнію, «слѣдовало бы, по крайней мѣрѣ, хоть отличать тѣхъ отъ другихъ и ужъ, если укрощать однихъ, когда они врутъ, то поощрять другихъ. Но здѣсь всѣ подъ одну шапку: вы всѣ люди вредные, потому что мы-

слите и печатаете свои мысли» («Записки и Дневникъ», томъ I, стр. 509). Если къ Гоголю съ такой точки зрѣнія прямо и не отнеслись, то не выразили и сочувствія. Современные слухи о намѣреніи правительства отъ себя выпустить книгу въ продажу были, конечно, неосновательны. Если бы подобная мысль и возникла у кого-либо изъ представителей тогдашней администраціи, то, конечно, должно было пересилить соображеніе, что подобный шагъ имѣетъ и свои неудобства. Въ очеркѣ Салтыкова «Похороны» тогдашній взглядъ сверху на отношеніе литературы къ власти выраженъ весьма вѣрно и просто: «ни похвалы, ни порицанья!» Книга Гоголя, высказывавшая самостоятельныя и рѣшительныя мнѣнія, могла не нравиться, совершенно независимо отъ ея содержанія. Званіе литератора, которымъ оставался Гоголь, уже набрасывало на него извѣстную неблагопріятную тѣнь, и избавиться отъ этой тѣни было не такъ-то легко. Извѣстно вѣдь, какія сильныя затрудненія встрѣтило послѣ его смерти изданіе его сочиненій.

Рѣзкая оппозиція тому, что было высказано Гоголемъ, поразила, почти ошеломила его. Единодушіе и стройность ея далеко превысили своею внутреннею цѣнностью все, что могли сказать защитники, хотя и многочисленные, но случайные или не безкорыстные; среди нихъ не оказалось ни одного человѣка, который имѣлъ бы замѣтное вліяніе на общественное мнѣніе. Гоголь пробовалъ оправдаться; въ отвѣтномъ письмѣ Бѣлинскому онъ сперва хотѣлъ перейти въ нападеніе, но потомъ уничтожилъ это письмо и отправилъ короткое съ признаніемъ, что, можетъ быть, онъ и не правъ. Въ «Авторской исповѣди» онъ пробовалъ доказать, что предметъ его книги былъ исключительно психологическій. Онъ, конечно, не могъ сразу перемѣнить своихъ основныхъ убѣжденій, но, повидимому, ярко почувствовалъ, что въ его собственной точкѣ зрѣнія на вещи вообще и на состояніе Россіи въ частности нѣтъ ничего безусловнаго. Онъ признавался въ письмѣ къ Жуковскому: «Я размахнулся въ моей книгѣ такимъ Хлестаковымъ, что не имѣю духу заглянуть въ нее».

Гоголь не перемѣнилъ своихъ основныхъ убѣжденій, но все безусловное отошло въ нихъ послѣ такой неудачи на задній планъ. Впередъ выступила лишь общечеловѣческая гуманная сторона ихъ. Біографія Кулиша мѣстами живо передаетъ ту душевную простоту и мягкость, которая особенно дѣлала привлекательною личность Гоголя въ послѣдніе годы его жизни. Онъ снова могъ приняться за «Мертвыя души», и, повидимому, талантъ не измѣнялъ ему, пока не выступала на первый планъ несклад-ная морализирующая и консервативная тенденція, вызвавшая провалъ «Переписки».

И. С. Тургеневъ, подобно многимъ, привѣтствовалъ «фіаско книги Го-

голя, какъ одно изъ утѣшительныхъ проявленій тогдашняго общественнаго мнѣнія». Если въ наши дни книгу Гоголя снова начинаютъ горячо рекомендовать вниманію публики, то, конечно, это доказываетъ только неустойчивость и неопредѣленность теперешняго общественнаго мнѣнія.

Если съ психологической стороны книга, дѣйствительно, заслуживаетъ вниманія и если нынѣ нельзя въ этомъ отношеніи не признать искренности и благородства мотивовъ, руководившихъ Гоголемъ, все-таки эта сторона не можетъ быть признана въ общемъ нормальной. Говорятъ, что съ психологической стороны «Переписка» имѣетъ огромный интересъ; мы допускаемъ это лишь cum grano salis: интересъ этотъ болѣе отрицательный, чѣмъ положительный. Книга Гоголя—поразительный примѣръ извращенія живого нравственнаго чувства, которому были поставлены произвольныя, принятыя на вѣру границы и условія.

Что же касается тѣхъ изъ теперешнихъ панегиристовъ Гоголя, кто, вопреки его самого, готовъ защищать его книгу цѣликомъ и прельщается ея публицистическою тенденціей, какъ гг. Матвѣевы и Барсуковы, то критика Бѣлинскаго, уже безъ малаго 50 лѣтъ тому назадъ, произнесла надъ ними свой безпощадный приговоръ; онъ оправданъ былъ вскорѣ и исторіею, показавшею несостоятельность русскаго патріархальнаго крѣпостного строя.

VIII.

Два русскихъ общественныхъ типа.

„Записки и Дневникъ (1826 — 1877) А. В. Никитенки", Спб., 1893, 3 т.—„Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ въ его письмахъ". М. т. I и II, 1888, т. III, 1892 года.

Безъ борьбы нѣтъ заслуги, безъ заслуги нѣтъ награды, а безъ дѣйствованія нѣтъ жизни.
Бѣлинскій, „Литерат. мечтанія".

Записки, дневники и письма современниковъ имѣютъ у насъ особую цѣну: при оглашеніи ихъ въ печати всплываютъ наружу многіе факты и явленія, долгое время бывшіе подъ спудомъ; цѣлая эпоха представляется иногда въ новомъ и неожиданномъ освѣщеніи. Съ этой стороны записки и дневникъ Никитенки и переписка Аксакова были достаточно уже оцѣнены въ многочисленныхъ газетныхъ и журнальныхъ статьяхъ и рецензіяхъ. Мы не будемъ поэтому въ подробностяхъ касаться богатаго историческаго матеріала, который даютъ эти замѣчательныя изданія.

Помимо поглощающаго историческаго интереса, они заслуживаютъ полнаго вниманія и съ психологической стороны. Это — истинные «человѣческіе документы». Исторія внутренней жизни двухъ выдающихся дѣятелей недавняго прошлаго, отразившаяся въ ихъ запискахъ и перепискѣ, сама по себѣ поучительна. Отношенія ихъ къ жизни и обществу не могутъ утратить для насъ интереса, хотя бы давно уже измѣнились общественно-психологическія условія ихъ дѣятельности. А они-то, пожалуй, измѣнились сравнительно ничтожно. У современнаго средняго интеллигента, конечно, нѣтъ уже тѣхъ чертъ, какія были присущи интеллигентному че-

*) Со стороны издателя „Записокъ и Дневника Никитенки" является непростительнымъ упущеніемъ отсутствіе именного указателя, для подобныхъ изданій совершенно необходимаго.

ловѣку хоть въ сороковые годы, когда въ рукахъ его часто бывала судьба нѣсколькихъ, а то и многихъ человѣческихъ жизней—въ лицѣ безотвѣтныхъ крѣпостныхъ. Но

... на мѣсто цѣпей крѣпостныхъ
Люди придумали много иныхъ...

Тѣ идеальныя требованія, которыя ставились жизни дѣятелями прошлаго, кое въ чемъ удовлетворены; на мѣсто удовлетворенныхъ стали новыя. Содержаніе прежнихъ жизненныхъ запросовъ въ значительной мѣрѣ утратило для насъ жгучій интересъ. Но не утратили своего значенія и должны живо интересовать насъ тѣ нравственныя побужденія, которыя руководили недавними дѣятелями, ихъ манера ставить вопросы и требованія отъ жизни, ихъ взглядъ на личныя свои отношенія къ идеальному будущему, которому они думали служить.

Съ этой точки зрѣнія мы и попытаемся охарактеризовать фигуры Никитенки и Аксакова, на основаніи матеріала, оставленнаго ими самими. Частности ихъ общественно-политическихъ взглядовъ мы оставимъ въ сторонѣ.

Мнѣнія у нѣсколькихъ людей по разнымъ жизненнымъ вопросамъ могутъ быть одни и тѣ же; но у одного человѣка они захватываютъ очень мало, не отражаются на его личномъ поведеніи, тогда какъ для другого они—альфа и омега всего существованія и обращаются уже въ убѣжденія. У одного—взгляды на общество и задачи его носятъ характеръ чего-то отвлеченнаго; онъ интересуется ими, какъ гимнастикою, матеріаломъ для игры ума, и волнуется ими только въ томъ случаѣ, если они близко коснутся его узкихъ интересовъ. Другой за отвлеченными представленіями ежеминутно чувствуетъ живыхъ людей, наслаждающихся, страдающихъ, любящихъ, негодующихъ. Эта разница можетъ быть настолько велика, что различіе во взглядахъ или сходство совершенно стушевываются передъ нею, и мы можемъ тогда сравнивать людей, какъ нравственные типы, независимо отъ ихъ понятій о ближайшихъ общественныхъ задачахъ.

Glaubt, was ihr glaubt! Nur überzeugungsrein!
Nicht was wir meinen siegt, de-Santos. Nein!
Wie wir es meinen, das nur überwindet.
(Вѣрьте въ то, во что вы вѣрите! Пусть только будетъ чисто ваше убѣжденіе.
Побѣждаетъ не то, что мы думаемъ, де-Сантосъ. Нѣтъ!
Одолѣваетъ лишь то, какъ мы думаемъ).

Эти заключительныя слова «Уріэля Акосты» Гуцкова прекрасно выражаютъ, какъ слѣдуетъ смотрѣть на историческаго дѣятеля, когда прошло время ожесточенной борьбы съ его воззрѣніями или страстнаго сочувствія ему.

Никитенко былъ западникомъ, хотя и не примыкалъ непосредственно къ той группѣ людей сороковыхъ годовъ, главными представителями которой были: Бѣлинскій, Герценъ, Грановскій (Никитенко питалъ наиболѣе симпатіи именно къ послѣднему); Аксаковъ былъ славянофиломъ. Но мы оставимъ въ сторонѣ разницу ихъ общественно-политическихъ взглядовъ *). Попытаемся оцѣнить ихъ не только по тому, во что они вѣрили, но и по тому, какъ они вѣрили.

I.

Первое, что опредѣлило различіе отношеній Никитенки и Аксакова къ тѣмъ условіямъ, среди которыхъ имъ пришлось дѣйствовать — помимо неуловимыхъ физіологическихъ различій между ними — это, конечно, семейная обстановка, въ которой шло ихъ первоначальное развитіе.

А. В. Никитенко родился въ 1803 или 1805 году въ провинціи, въ семьѣ крѣпостного. Печальная судьба отца, получившаго по барскому капризу нѣкоторое образованіе, была постоянно предъ глазами Никитенки. Графы Шереметьевы деспотически распоряжались судьбою и тѣхъ крѣпостныхъ, кто, какъ отецъ Никитенки, поклонникъ Вольтера, стоялъ не ниже ихъ, пожалуй, по развитію. Попытки его бороться, отстаивать интересы односельчанъ и т. п. кончались для него новыми униженіями и страданіями. «Бѣдный, бѣдный отецъ! — вспоминаетъ о немъ Никитенко: — на что послужили ему способности, благородство чувствъ и честность поступковъ. Все это было въ немъ исковеркано, придавлено средой и обстоятельствами. Можно ли винить его въ томъ, что онъ не превозмогъ своей судьбы, не всегда умѣлъ противиться страстямъ? Нѣтъ, пусть ищутъ героевъ, гдѣ хотятъ, но не въ русскомъ крѣпостномъ человѣкѣ, для котораго каждое преимущество его натуры являлось новымъ бичомъ, новымъ поводомъ къ паденію» (I, 125). Трудная жизнь семьи, кочевавшей по разнымъ концамъ Россіи, подавляюще дѣйствовала на мальчика. Въ дѣтствѣ онъ не проявляетъ ни живости, ни активности. Въ столкновеніяхъ отца съ матерью онъ былъ всегда на сторонѣ послѣдней; эта женщина мало понимала своего мужа-идеалиста; она подчинялась ему, въ то же время постоянно давая понять, что исполняетъ это неохотно, что она несетъ свой крестъ, какъ подобаетъ христіанкѣ. Раннее сознаніе ненормальности своего положенія не пробуждаетъ въ Никитенкѣ, благодаря вліянію

*) Тѣмъ болѣе имѣемъ право это сдѣлать, что въ своихъ ближайшихъ требованіяхъ западники и славянофилы сходились: и тѣ, и другіе въ свое время одинаково желали облегченія цензурныхъ условій, улучшенія быта крѣпостныхъ, гласнаго суда и т. п.

матери, дѣятельныхъ стремленій такъ или иначе выйти изъ этого положенія: въ годы первой юности его преслѣдуетъ только мысль о самоубійствѣ, какъ объ исходѣ самомъ простомъ. Характеръ его представляется намъ съ самаго начала пассивнымъ и замкнутымъ.

Окончательное умственное развитіе Никитенки шло въ томъ кругу, въ которомъ въ двадцатые годы совершалось все тогдашнее либеральное движеніе. Изъ уѣздныхъ учителей онъ попалъ въ Петербургъ послѣ того, какъ обратилъ на себя вниманіе министра народнаго просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ, А. Н. Голицына, рѣчью, произнесенною въ мѣстномъ библейскомъ обществѣ. Случайно Никитенко познакомился съ К. Рылѣевымъ, и тотъ заинтересовался крѣпостнымъ учителемъ. Съ другими лицами своего круга Рылѣевъ неустанно преслѣдовалъ владѣльца Никитенки, пока тотъ не отказался, наконецъ, отъ своихъ правъ на крѣпостного, мечтавшаго объ университетѣ. Не въ примѣръ другимъ, Никитенку безъ испытанія допустили къ слушанію лекцій перваго учебнаго семестра, съ обязательствомъ только, при переходѣ во второй курсъ, сдать и вступительный экзаменъ. Въ это время Никитенко особенно сблизился съ Рылѣевымъ и княземъ Евгеніемъ Оболенскимъ. Послѣдній, въ іюлѣ 1825 г., даже пригласилъ его на жительство къ себѣ, въ качествѣ воспитателя младшаго брата. Либерально-просвѣтительныя идеи круга декабристовъ, которому Никитенко былъ обязанъ свободою, оставили извѣстный слѣдъ на мнѣніяхъ студента.

Декабрьскія событія, конечно, произвели на юношу, и безъ того замкнутаго, сдержаннаго и мало активнаго, впечатлѣніе самое удручающее. Въ университетѣ онъ поражаетъ своею солидностью и крайнимъ благоразуміемъ. «Я достигъ цѣли,—пишетъ онъ,—свергнулъ съ себя ненавистное иго, подъ бременемъ котораго чуть не палъ, и вступилъ на поприще благородное, но каждый шагъ въ достиженіи этого я покупалъ цѣною страданій и напряженія всѣхъ своихъ силъ. Дальнѣйшій мой путь въ главныхъ чертахъ намѣченъ, а настоящее для меня скрашено расположеніемъ профессоровъ и любовью товарищей, между которыми я даже пользуюсь своего рода авторитетомъ» (I, 192). Эти страданія и напряженія точно навсегда подломили въ немъ способность болѣе самостоятельно относиться къ жизни: главное, о чемъ онъ съ этого времени хлопочетъ,—внутреннее самодовольство. Онъ жалѣетъ о тѣхъ, кто не можетъ «находить удовлетвореніе въ самодовольствѣ: вѣдь оно способно скрасить самый адъ, имѣя въ него доступъ» (I, 198). Первое разсужденіе Никитенки, которое было напечатано въ «Сынѣ Отечества», называлось очень характерно и меланхолически: «О преодолѣніи несчастій». Профессоръ словесности Бутырскій нашелъ, что «оно поражаетъ богатствомъ и зрѣлостью мысли». То же нашли Булгаринъ и Гречъ, у которыхъ, какъ у редакторовъ «С. О.», счелъ дол-

гомъ побывать Никитенко, прося руководства и совѣтовъ. Первый, по сочиненію, думалъ, что Никитенко гораздо старше, и оба просили юношу не оставлять ихъ своими трудами.

Попечитель Бороздинъ высоко цѣнилъ многообѣщающаго студента. Никитенко работалъ въ его канцеляріи и имѣлъ такимъ образомъ возможность лично предъ попечителемъ вступаться за студентовъ; такъ онъ однажды отъ имени ихъ жаловался на извѣстнаго Сенковскаго, грубо обошедшагося со студентами. Между попечителемъ и Никитенкой установилась извѣстная интимность, такъ что Никитенко даже и не зналъ, чему приписать откровенность, съ какою тотъ говорилъ съ нимъ о разныхъ вещахъ, относящихся къ его службѣ и даже къ политикѣ (I, 217). По-видимому, дѣло объясняется тѣмъ, что попечитель замѣтилъ очень хорошо, какъ скромны на дѣлѣ возвышенныя стремленія благоразумнаго молодого человѣка къ нравственному и умственному самоусовершенствованію.

Уже съ этого времени дневникъ пріобрѣтаетъ двойственный характеръ. Въ авторѣ сказывается то просвѣщенный гуманистъ, преданный интересамъ просвѣщенія, понимающій и по достоинству оцѣнивающій самостоятельность науки и литературы, то робкій, черезчуръ ужъ благоразумный чиновникъ, который во всякомъ проявленіи такой самостоятельности готовъ увидѣть страшныя опасности для всеобщаго спокойствія. Вотъ, наприм., замѣчаніе Никитенки по поводу новаго устава народныхъ училищъ и гимназій: «Меня поразилъ духъ его устава. Намѣреніе разлить въ Россіи просвѣщеніе въ низшихъ классахъ столь рѣшительно и выражено въ столь сильныхъ мѣрахъ, что даже, кажется, переступлены границы благоразумной постепенности. Открытіе Ланкастерскихъ школъ, по одной на каждый или на два прихода, должно съ быстротою молніи подвинуть впередъ народный духъ» (I, 222). Это наивное мнѣніе, что уставъ могъ переступить границы благоразумія (это—въ 1827-мъ-то году!), принадлежитъ какъ бы совсѣмъ не тому человѣку, который нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ съ такою мѣткою ясностью указывалъ на несостоятельность проектовъ подогнать подъ одну красную шапку общественную мысль, указывая и на причину ихъ. «Неужели, въ самомъ дѣлѣ, — писалъ онъ, — хотятъ создать для насъ матеріальную логику, т.-е. навязать нашему уму самые предметы мышленія и заставить называть черное бѣлымъ и бѣлое чернымъ?.. Можно заставить не говорить извѣстнымъ образомъ и объ извѣстныхъ мысляхъ—и это уже много, но не мыслить!..» (I, 215).

По отношенію къ главному тогдашнему вопросу русской жизни, къ крѣпостному праву, опасливый Никитенко, конечно, занялъ ту же позицію, что и всѣ либерально-консервативные администраторы эпохи Николая Павловича. Задаваясь вопросомъ, должно ли просвѣщеніе уничтожить

рабство, или свобода предшествовать просвѣщенію, Никитенко стоитъ за постепенное освобожденіе съ постепеннымъ же просвѣщеніемъ народа (I, 222). Какъ извѣстно, вслѣдствіе этого не подвигалось впередъ ни то, ни другое.

По окончаніи университета Никитенкѣ было предложено отправиться за границу для приготовленія къ каѳедрѣ. Онъ отказался, чтобы не «закрѣпостить» себя обязательствомъ пробыть 14 лѣтъ профессоромъ, предпочитая «свободно» располагать собою въ Россіи. Мы увидимъ скоро, какъ призрачна оказалась эта дорогая ему свобода, когда онъ былъ сперва секретаремъ попечителя, потомъ цензоромъ и профессоромъ одновременно, и всегда почти исполнителемъ предначертаній, ему самому, въ сущности, чуждыхъ и несимпатичныхъ.

При первомъ своемъ появленіи на страницахъ «Русской Старины», дневникъ Никитенки прямо поразилъ читателей. Оказывается, что не многіе дѣятели тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ видѣли такъ ясно положеніе вещей, какъ именно этотъ цензоръ. По ясности пониманія и силѣ выраженія дневникъ мѣстами можетъ поспорить хоть со знаменитымъ письмомъ Бѣлинскаго къ Гоголю. Въ страстныхъ филиппикахъ Никитенко изливалъ всю желчь, которая накоплялась въ немъ отъ служебныхъ и житейскихъ впечатлѣній. Иногда цѣлыя страницы дневника посвящены анализу самому безотрадному всего дореформеннаго порядка вещей. «Въ странномъ положеніи находимся мы,—жалуется Никитенко на судьбу всѣхъ просвѣщенныхъ людей.—Среди людей, которые имѣютъ претензію дѣйствовать на духъ общественный, нѣтъ никакой нравственности. Всякое довѣріе къ высшему порядку вещей, къ высшимъ началамъ дѣятельности исчезло. Нѣтъ ни обществолюбія, ни человѣколюбія; мелочной отвратительный эгоизмъ проповѣдуется тѣми, которые призваны наставлять юношество, насаждать образованіе или двигать пружинами общественнаго порядка»... Указывая объективныя причины такого оскудѣнія, Никитенко съ удивительною силой рисуетъ цѣлую картину того, какъ оно происходило. «Сначала мы судорожно рвались на свѣтъ. Но когда увидѣли, что съ нами не шутятъ, что отъ насъ требуютъ безмолвія и бездѣйствія, что талантъ и умъ осуждены въ насъ цѣпенѣть и гноиться на днѣ души, обратившейся для нихъ въ тюрьму, что всякая свѣтлая мысль является преступленіемъ противъ общественнаго порядка, когда, однимъ словомъ, намъ объявили, что люди образованные считаются въ нашемъ обществѣ паріями, что оно пріемлетъ въ свои нѣдра одну бездушную покорность, а солдатская дисциплина признается единственнымъ началомъ, на основаніи котораго позволено дѣйствовать, — тогда все юное поколѣніе вдругъ нравственно оскудѣло. Всѣ его высокія чувства, всѣ идеи, согрѣвавшія его сердце, воодушевлявъ-

шія его къ добру, къ истинѣ, сдѣлались мечтами безъ всякаго практическаго значенія,—а мечтать людямъ умнымъ смѣшно. Все было приготовлено, настроено и устроено къ нравственному преуспѣянію—и вдругъ этотъ складъ жизни и дѣятельности оказался несвоевременнымъ, негоднымъ; его пришлось ломать и на развалинахъ строить канцелярскія камеры и солдатскія будки» (I, 326—328). Такихъ яркихъ страницъ читатель найдетъ въ дневникѣ не мало. Съ чисто Берновскою злостью Никитенко замѣчаетъ наконецъ, что главный недостатокъ цѣлаго періода тотъ, что весь онъ былъ ошибкою (II, 137).

Во второмъ и третьемъ томахъ, обнимающихъ дневникъ Никитенки въ царствованіе Александра II, мы видимъ того же чуткаго сторонника интересовъ просвѣщенія во всѣхъ случаяхъ, когда заходитъ рѣчь о мѣропріятіяхъ, такъ или иначе отзывающихся на наукѣ и литературѣ; здѣсь всегда тщательно отмѣчены факты, знаменующіе тѣ или иныя колебанія въ реакціи, и въ этомъ отношеніи Никитенко былъ всегда вѣренъ себѣ.

Трудно было служебное положеніе Никитенки при тѣхъ условіяхъ, которыя онъ самъ признавалъ противоположными дѣлу просвѣщенія. Временами онъ какъ будто чувствовалъ потребность оправдаться предъ самимъ собою и потомками. Вотъ что онъ писалъ въ 1841 г. по поводу своего участія въ составленіи весьма стѣснительныхъ правилъ объ устройствѣ публичныхъ лекцій: «Многіе недовольны не столько сутью постановленій, сколько появленіемъ ихъ на свѣтъ, и даже не оставляютъ безъ укора и меня. Но притомъ забываютъ или не хотятъ помнить, что идея закона не моя, а я, призванный осуществить ее, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, руководствовался однимъ, а именно: сдѣлать законъ наименѣе обременительнымъ, полагая, что если онъ попадетъ въ другія руки, о которыхъ шла рѣчь, то будетъ хуже для всѣхъ. Пусть упрекаютъ меня въ самопадѣянности, но, во всякомъ случаѣ, я дѣйствовалъ одушевленный благимъ намѣреніемъ и правиломъ: не отказываться ни отъ какого дѣла, если это обѣщаетъ хотя отрицательную, если не положительную пользу просвѣщенію» (I, 420). Нечего и говорить, какъ мудрено достигать чего-нибудь при такой тактикѣ, которой Никитенко старался держаться всегда. Могъ ли онъ съ осязательною пользой отстаивать интересы просвѣщенія хоть въ томъ цензурномъ комитетѣ, гдѣ ему приходилось иногда при защитѣ того или другого сочиненія прибѣгать къ ироніи и спрашивать: «Должны ли мы французскую революцію считать революціей, и позволено ли въ Россіи печатать, что Римъ былъ республикой, а во Франціи и въ Англіи конституціонное правленіе, или не лучше ли принять за правило думать и писать, что ничего подобнаго на свѣтѣ не было и нѣтъ?» (I, 372). На столь же скользкомъ пути приходилось лавировать ему и тогда, когда

онъ поступалъ въ неудачный комитетъ по реформѣ цензуры 1859 года, мечтая стать посредникомъ между литературою и правительствомъ (II, 136). Въ результатѣ этой тактики—желанія быть истинно полезнымъ для просвѣщенія тамъ, гдѣ—по его искреннему убѣжденію—о просвѣщеніи, по меньшей мѣрѣ, никто не думалъ, дѣятельность его, какъ цензора, ничѣмъ не отличалась отъ тогдашней дѣятельности всѣхъ другихъ его сослуживцевъ. Какъ сильно пострадали подъ его красными чернилами, напримѣръ, гоголевскія «Мертвыя души» (Скабичевскій, Очерки по исторіи русской цензуры, 283—286)! За помарки въ лермонтовскомъ «Маскарадѣ» г. Скабичевскій даже сравниваетъ его не совсѣмъ несправедливо съ преслову-тымъ Красовскимъ (Ibid. 280).

Обратимся къ профессорской дѣятельности Никитенки. Въ теченіе многихъ лѣтъ онъ былъ въ петербургскомъ университетѣ профессоромъ словесности, но дѣятельность эта не оставила по себѣ памяти сколько-нибудь прочной. Онъ не зналъ ни одного иностраннаго языка и это сильно вредило ему. «Стараюсь пополнить этотъ пробѣлъ чтеніемъ всего, что переведено и переводится на русскій языкъ,—писалъ онъ,—а пока главная моя цѣль: согрѣвать сердца слушателей любовью къ чистой красотѣ и истинѣ и пробуждать въ нихъ стремленіе къ мужественному, бодрому и благородному употребленію нравственныхъ силъ» (I, 379). Нравственное воспитательное вліяніе на слушателей у него, такимъ образомъ, на первомъ планѣ, потому что онъ настолько добросовѣстенъ, что сознаетъ полную свою неподготовленность для вліянія образовательнаго. «Элементами моей силы я считаю мысль и слово, а не эрудицію. Мое естественное влеченіе—обратить каѳедру въ трибуну. Я желаю больше дѣйствовать на чувство и волю людей, чѣмъ развивать передъ ними теорію науки. Мнѣ кажется, что я больше ораторъ, чѣмъ профессоръ... Я долженъ дѣлать доступными моимъ слушателямъ такія истины, которыя содѣйствуютъ прямо и непосредственно ихъ *внутренней гармоніи и ставятъ ихъ въ гармоническія отношенія съ человѣчествомъ*. Это—добро и такому добру я долженъ и хочу содѣйствовать. Если бы я былъ дѣятель политическій, я старался бы, чтобы люди были *довольны своимъ внѣшнимъ положеніемъ*. Но такъ какъ мнѣ это не дано, я долженъ содѣйствовать ихъ *внутреннему благородству*» *) (I, 418—419). Средствомъ для этого самымъ подходящимъ и представлялось ему изящное искусство. «Сущность моей дѣятельности на каѳедрѣ слѣдующая,—пишетъ, наконецъ, Никитенко уже значительно позднѣе: — 1) Элементъ изящнаго, неразлучный съ элементомъ идеальнаго, я считалъ важнымъ, необходимымъ дѣятелемъ въ исторіи человѣчества. Я всегда ста-

*) Курсивъ нашъ.

рался и психологически, и исторически поддерживать его достоинство, самостоятельную образовательную силу и значеніе; 2) преобладаніе этого элемента я считалъ немыслимымъ безъ тѣсной связи его съ нравственнымъ назначеніемъ человѣка и безъ благотворнаго вліянія на нравственное развитіе послѣдняго. Этими началами я старался освѣтить мою литературную критику и трудился надъ тѣмъ, чтобы внести ихъ въ умъ и въ сердце юношества» (III, 184—185). «Цѣлую жизнь мою я стремился къ одному, чтобы быть возвѣстителемъ и защитникомъ *чистой красоты* въ жизни и въ искусствѣ... Это было не юношеское одушевленіе, не поэзія возраста—нѣтъ, у меня это была строгая, непреложная задача жизни,—знамя, подъ которымъ я стоялъ и стою среди людей и на которомъ запеклось много крови изъ моего сердца» (I, 563).

Въ этой системѣ воззрѣнія на литературу и жизнь прежде всего, конечно, бросается въ глаза крайняя ея отвлеченность. Слова: добро, истина, красота, конечно, требуютъ по своей неопредѣленности выясненія. Между тѣмъ Никитенкѣ эти слова такими вовсе не казались. Онъ какъ-то умѣлъ довольствоваться ихъ общимъ расплывчатымъ смысломъ, довольствовался моральною проповѣдью студентамъ, не указывая имъ, какъ же реально могли бы проявляться эти понятія въ общественной жизни.

Въ качествѣ западника, Никитенко былъ индивидуалистомъ, не думавшимъ о мистическомъ значеніи всеобъемлющей народности, предъ которою преклонялись славянофилы. «Цѣлое есть отвлеченная идея,—говоритъ онъ:—не цѣлое живетъ, а живутъ недѣлимыя, которыя одни могутъ страдать или не страдать. Заботьтесь о недѣлимыхъ, а цѣлое всегда будетъ, такъ или иначе, хорошо, независимо отъ вашей воли» (I, 419). Такимъ образомъ, недѣлимое, личность, для Никитенки—главное. Къ личности и обращена его проповѣдь истины и красоты. Но личность эта остается у Никитенки совершенно ничѣмъ не связанною съ другими личностями, съ обществомъ — въ противоположность воззрѣнію Бѣлинскаго, Грановскаго. Въ этомъ, конечно, и лежалъ зародышъ неуспѣха Никитенки. Онъ застылъ на той точкѣ зрѣнія, на которой стоялъ Бѣлинскій въ самый первый періодъ своей дѣятельности, въ періодъ протестовъ крѣпостного права и т. д. во имя отвлеченной морали. Фантастическое представленіе о добродѣтельномъ человѣкѣ, совершенно независящемъ отъ внѣшнихъ жизненныхъ условій, наиболѣе и отличало Никитенку въ сороковые годы отъ такихъ западниковъ, какъ Бѣлинскій, Герценъ, Грановскій; для нихъ личность была также на первомъ планѣ, но не отвлеченная, а совершенно конкретная, стоящая въ опредѣленныхъ общественныхъ условіяхъ; «личность и сообразное ея требованіямъ общество»—такъ формулировали они сущность своего широкаго индивидуализма (напр. Грановскій, соч. т. II, стр. 220).

«Личность», бывшая идеаломъ Никитенки, взятая и сама по себѣ весьма мало напоминаетъ «личность» названныхъ нами людей сороковыхъ годовъ. Для нихъ—идеаломъ было полное всестороннее гармоническое развитіе всѣхъ силъ и способностей личности. Что-то пришибленное чувствуется, напротивъ того, въ идеалахъ человѣка, уже въ юности размышлявшаго «о преодолѣніи несчастій». Пассивно относясь къ внѣшнему міру, покоряясь «силѣ насъ гнетущей», личность, по воззрѣнію Никитенки, должна какъ можно больше замкнуться въ себя, стремиться къ внутренней гармоніи, и благо ей будетъ... «Умы нашего вѣка находятся въ какомъ-то неестественномъ лихорадочномъ состояніи,—жалуется Никитенко:—иные видятъ въ этомъ безпокойство великихъ нравственныхъ силъ, которыя отъ того рвутся и мятутся, что имъ душно и тѣсно въ своей сферѣ. Мнѣ кажется, что это недостатокъ нравственной силы, которая не умѣетъ владѣть собою. Жизнь всегда и вездѣ есть тѣснота для духа; но онъ долженъ стать выше жизни. *Великій характеръ тотъ, который умѣетъ наполнять собою всякую сферу*» *) (I, 529). Этотъ послѣдній афоризмъ, поистинѣ достойный Молчалина, вырвался у Никитенки не случайно. Это квинтъ-эссенція его жизненной философіи, которую онъ такъ старался проводить съ каѳедры и въ литературѣ. Чрезъ четыре года Никитенко говоритъ буквально такую же фразу: «Великій характеръ состоитъ въ томъ, чтобы наполнить собою всякую сферу, въ которой ему суждено пребывать и дѣйствовать» (II, 93). Въ сущности, значитъ, чѣмъ человѣкъ лучше приспособляется къ условіямъ своего существованія, которыя предполагаются чѣмъ-то навѣки нерушимымъ, ни сомнѣнію, ни критикѣ не подлежащимъ, тѣмъ онъ совершеннѣе; главное—достичь внутренней гармоніи и гармоніи съ даннымъ порядкомъ; характеръ тѣмъ выше, чѣмъ онъ гибче, чѣмъ онъ болѣе способенъ сжиматься, чѣмъ лучше человѣкъ умѣетъ сокращать на практикѣ свои высокія въ теоріи требованія. «По шапкѣ—Сенька» (а не наоборотъ).

Такимъ образомъ возвышенныя слова Никитенки о добрѣ, истинѣ, красотѣ украшали и маскировали собою самую обыденную и низменную философію; звучными фразами и изящными эпитетами онъ и самъ предъ собою старался затушевать мелочность своего нравственнаго идеала. И. С. Аксаковъ съ неподражаемою мѣткостью, какъ увидимъ далѣе, назвалъ подобный идеалъ—короткохвостымъ.

Къ чести А. В. Никитенки служитъ то обстоятельство, что жизненныя явленія то и дѣло вышибали его изъ той спокойной колеи, по которой онъ стремился итти. Даже тогда, когда внѣшнія обстоятельства были бла-

*) Курсивъ нашъ.

гопріятны, имъ зачастую вдругъ овладѣвало чувство протеста противъ собственной дѣятельности, не дававшей никакого успокоенія, и тогда онъ чувствовалъ себя глубоко и истинно несчастнымъ.

Всѣ сколько-нибудь реальныя стремленія его создать что-либо прочное для просвѣщенія разбивались о пассивное сопротивленіе административныхъ сферъ, окружавшихъ его. Время министерства Норова было временемъ наибольшаго вліянія Никитенки: ему очень довѣрялъ министръ и высоко его ставилъ. Между тѣмъ, перечисляя 27-го мая 1856 г. свои благія намѣренія, упорядоченіе гимназій, реформу университетовъ съ предоставленіемъ большей самостоятельности профессорамъ, облегченіе цензурныхъ условій и т. п., Никитенко признается: «Разумѣется, почти все это и многое другое было гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Канцелярія, точно крючьями, оттягивала осуществленіе всякой изъ этихъ идей и повергала ее во тьму кромѣшную, идѣже пребываютъ всякія пакости и ничесоже нѣтъ благого и раціональнаго. А министръ довольствовался тѣмъ, что поговоритъ со мной о высшихъ предметахъ—и довольно» (II, 44).

Служба отнимала у Никитенки много времени отъ занятій для университета. Съ самаго начала профессорства онъ жалуется, что «часто приходится обдумывать лекціи только у порога университета. Изъ всего этого выходитъ, что дѣятельность моя уподобляется нестройнымъ облакамъ, движущимся туда и сюда, по направленію вѣтра. Въ ней нѣтъ солнца истины, нѣтъ постояннаго животворнаго сіянія» (I, 315). Нѣкоторыя страницы дневника, писанныя въ добросовѣстномъ сознаніи безплодности своей дѣятельности, полны искренняго и глубокаго отчаянія. При этомъ онъ обвиняетъ во всемъ нашъ дореформенный строй, и въ словахъ его, конечно, слишкомъ много справедливаго, но будемъ помнить, что онъ добровольно поставилъ себя въ такое положеніе, создавъ себѣ мелкій и узкій идеалъ личности, хотя бы и просвѣщенной.

«Для насъ въ Россіи еще не насталъ періодъ нравственныхъ потребностей,—писалъ онъ не совсѣмъ прозорливо 28-го октября 1841 г., какъ разъ въ то время, какъ начинали проявляться умственныя теченія сороковыхъ годовъ, когда Бѣлинскій уже боролся съ гегелевскою діалектикой и съ признаніемъ ею дѣйствительности разумною, когда въ Москвѣ обострялась распря западниковъ и славянофиловъ.—Общественное устройство подавляетъ всякое развитіе нравственныхъ силъ, и горе тому, кто поставленъ въ необходимость дѣйствовать въ этомъ направленіи. Это самое тяжелое положеніе, потому что самое ложное. Не того намъ надо. Быть солдатомъ, а не человѣкомъ — вотъ наше единственное назначеніе. Возвѣщать науку? — гдѣ потребность въ ней? Она не имѣетъ поддержки въ жизни, и потому является только школьнымъ плетеніемъ понятій. Тутъ по-

неволѣ становишься въ ряды шарлатановъ» (I, 423). Послѣднее, ужъ конечно, зависѣло отъ самого профессора; Рѣдкинъ, Никита Крыловъ, Крюковъ,—не говоря о Грановскомъ, наконецъ, начавшіе уже тогда свою профессорскую дѣятельность въ Московскомъ университетѣ, въ ряды шарлатановъ не становились. «Особенно моя наука—сущая нелѣпость и противорѣчіе,—продолжаетъ Никитенко.—Я долженъ преподавать русскую литературу,—а гдѣ она? Развѣ литература у насъ пользуется правами гражданства? Остается одно убѣжище—мертвая область теоріи. Я обманываю и обманываюсь, произнося слова: *развитіе, направленіе мыслей, основныя идеи искусства*. Все это что-нибудь, и даже много значитъ тамъ, гдѣ существуетъ общественное мнѣніе, интересы умственные и эстетическіе, а здѣсь—просто швырянье словъ въ воздухъ. Слова, слова и слова! Жить въ словахъ и для словъ, съ душою, жаждущею истины, съ умомъ, стремящимся къ вѣрнымъ и существеннымъ результатамъ,—это дѣйствительное, глубокое злополучіе. Часто, очень часто, какъ, наприм., сегодня, я бываю пораженъ глубокимъ мрачнымъ сознаніемъ моего ничтожества. Если бы я жилъ среди дикихъ, я ходилъ бы на звѣриную и рыбную ловлю, я дѣлалъ бы дѣло,—а теперь я, какъ ребенокъ, какъ дуракъ, играю въ мечты и призраки! О, кровью сердца написалъ бы я исторію моей внутренней жизни! Проклято время, гдѣ существуетъ вымышленная, оффиціальная необходимость моральной дѣятельности, безъ дѣйствительной въ ней нужды, гдѣ общество возлагаетъ на васъ обязанности, которыя само презираетъ... Вотъ уже два часа ночи, а я все еще думаю о томъ же. Засну, завтра выйду изъ этого душевнаго хаоса, буду опять стараться обманывать себя и другихъ, чтобы не умереть отъ физическаго и духовнаго голода, пока дѣйствительно не умру и не унесу съ собой въ могилу горькаго сознанія безплодно растраченныхъ силъ» (I, 423—424).

Это настроеніе и позднѣе охватываетъ его съ такою же силой и разрѣшается также безплодно. «Я самъ себѣ кажусь ужасною гадостью,—пишетъ онъ 11-го декабря 1861 года,— а жизнь моя—безсвязнымъ, пустымъ, безплоднымъ сновидѣніемъ... Выходитъ, что сказано въ малороссійской пѣснѣ:

А вже сусідъ жито сіе,
А въ сусіда зеленіе—
А у мене не орано и не сіяно.

Правду сказать, орано-то много и сѣяно не мало, только ничего не выросло,—сѣяно, должно быть, на вѣтеръ, или самое сѣмя такое, что изъ него ничего вырости не можетъ» (II, 359). Едва ли послѣднее не справедливо...

Съ годами Никитенко все болѣе расходился съ литературою. Онъ до-

вольно равнодушно отнесся и къ тому дѣлу, съ которымъ почетно связано его имя. Мы говоримъ объ основаніи «литературнаго фонда». Никитенко, судя по дневнику, принималъ въ немъ участіе точно ex officio, какъ бы не довѣряя жизнеспособности новаго учрежденія. Мало-по-малу онъ переставалъ понимать литературныя теченія, негодовалъ на то, что было лишь естественною реакціей недавнему прошлому или слѣдствіемъ тѣхъ самыхъ требованій, которыя и онъ самъ когда-то высказывалъ.

Очень часто онъ и въ шестидесятые годы говорилъ то же, что и ненавистные ему «либералы» и «сторонники прогресса—сломя голову», когда, наприм., 5-го ноября 1861 г. отмѣчалъ начало поворота назадъ (III, 121) или когда объяснялъ (14-го іюля 1873 г.), почему испугались совершенно напрасно реформъ тѣ самые, которые ихъ произвели (III, 337). А между тѣмъ недовѣріе его къ общественно-литературнымъ теченіямъ, теперь опредѣлившимися, недовѣріе бюрократа къ неуловимой свободной дѣятельности писателя, вызываетъ его на выходки все болѣе рѣзкія и порою странныя.

Его раздраженныя писанія начинаютъ отзываться какимъ-то старичковскимъ брюзжаніемъ на весь міръ. «Ничто столько не содѣйствуетъ распространенію и усиленію умственной лѣни, какъ неумѣренное чтеніе»,— читаемъ въ одномъ мѣстѣ дневника; далѣе идутъ разсужденія о томъ, что такое чтеніе можетъ создать слишкомъ отвлеченное отношеніе къ жизни, и вдругъ эти разсужденія заканчиваются такъ: Не это ли многочитаніе, поглощающее время и умственныя наши силы, причиною того, что въ наше время такъ мало твердыхъ умовъ и твердыхъ характеровъ?» (II, 471). Ужъ русскимъ ли хвастаться многочитаніемъ! По поводу извѣстныхъ и таинственныхъ петербургскихъ пожаровъ онъ высказываетъ убѣжденіе въ полной деморализаціи русскаго народа, съ котораго сняли всякую будто бы узду: «Безнаказанность и «дешевка» — вотъ гдѣ сѣмя этой деморализаціи, которая свирѣпствуетъ въ нашемъ народѣ и превращаетъ его въ звѣря, несмотря на его прекрасныя способности и многія хорошія свойства» (II, 478—479). Тутъ онъ хоть хорошихъ свойствъ у народа не отрицаетъ, а позднѣе пишетъ (въ 1868 г.): «Почему бы, кажется, не предоставить каждому человѣку и каждому народу устраивать свои дѣла и жить, какъ онъ знаетъ и хочетъ. Но бѣда въ томъ, что дайте каждому волю это дѣлать, и онъ тотчасъ залѣзетъ въ чужой карманъ, въ чужое право или въ чужую землю» (III, 177). Мнѣніе о людяхъ въ достаточной мѣрѣ человѣконенавистническое... Тотъ же характеръ носятъ и высказываемыя имъ въ старости мнѣнія о жизни вообще: «Страданія необходимы, чтобы осмыслить жизнь. Только они даютъ ей серьезный характеръ. Былъ ли бы я или не былъ, или вмѣсто меня родилась бы какая-нибудь мало-

россійская скотина—не совершенно ли это все равно? Жизнь гадка не по страданіямъ, на которыя обречено всякое живое существо,—напротивъ, это только одно придаетъ ей значеніе,—но жизнь гадка по ничтожеству всего, что ее составляетъ, что ее движетъ и къ чему она движется. Она есть глубочайшее ничтожество, ничтожнѣе самаго ничтожества. И всего страшнѣе, всего страннѣе, что такъ необходимо и должно быть. Все живущее увлечено рокомъ, и единственное правосудіе рока въ томъ, что всѣ равно погибаютъ» (III, 10).

Немощный старческій пессимизмъ, которымъ проникнуты эти строки, отравлялъ Никитенкѣ его послѣдніе годы. Онъ тянулъ свою лямку, чувствуя, что онъ никому не нуженъ и безплодно растратилъ свою жизнь.

Подводя итоги своей дѣятельности незадолго уже до смерти, онъ сравниваетъ себя съ садовникомъ, который вздумалъ на сѣверѣ садить лимоны, апельсины и ананасы и, конечно, потерпѣлъ неудачу. «Вѣдь я то же дѣлалъ, что этотъ добрый, но нелѣпый садовникъ, проведя всю жизнь свою въ насажденіи въ умахъ возвышенныхъ нравственныхъ идеаловъ, понятій о человѣческомъ достоинствѣ тамъ, гдѣ въ нихъ вовсе не видятъ надобности. Вмѣсто картофеля и капусты, я хотѣлъ разводить лимоны и померанцы. Хорошо еще, что меня совсѣмъ не прогнали, а отнеслись ко мнѣ великодушно, давали мнѣ хлѣбъ, безъ сомнѣнія, видя во мнѣ забавнаго чудака» (III, 392).

Бѣдный старикъ до конца пытался обмануть самого себя. Ничто не связывало его съ людьми; самодовлѣющая независимость, оказалось, не могла ему дать внутренняго удовлетворенія, къ которому онъ такъ стремился. Онъ воображалъ, что исполняетъ свой нравственный долгъ, когда ломалъ себя, чтобы приноровиться къ внѣшнимъ условіямъ своей дѣятельности. И дневникъ его — печальная исторія недюжиннаго таланта (о силѣ его языка могутъ дать достаточное понятіе сдѣланныя нами выписки), который былъ загубленъ не столько враждебною средой, сколько собственнымъ непониманіемъ тѣхъ живительныхъ отношеній къ другимъ людямъ, къ родинѣ, къ человѣчеству, среди которыхъ всякій талантъ только и можетъ развиваться и дѣйствовать.

Обратимся теперь къ человѣку иного нравственнаго типа.

II.

Изданная пока переписка И. С. Аксакова обнимаетъ періодъ времени значительно меньшій, чѣмъ дневникъ Никитенки, именно время съ 1844 по 1861 г. Это нѣсколько затрудняетъ возможность проводить параллель между этими двумя дѣятелями. Но въ этотъ періодъ — въ сороковые и

пятидесятые годы—какъ разъ складывался весь характеръ И. С. Аксакова. Въ эти же годы онъ былъ чиновникомъ: вся его служебная карьера передъ нами и можетъ быть сопоставлена съ дѣятельностью А. В. Никитенки.

Въ семейной обстановкѣ Аксаковъ (род. 26-го сент. 1823 г.) былъ несравненно счастливѣе Никитенки. Сынъ автора «Семейной хроники», онъ унаслѣдовалъ отъ отца недюжинный поэтическій, преимущественно лирическій талантъ, въ свое время не оставшійся незамѣченнымъ. Въ дѣтствѣ первенствующее вліяніе на него имѣла мать его, О. С. Аксакова, но это была женщина совершенно иного типа, чѣмъ мать Никитенки, забитая крѣпостная женщина. Воспитанная въ самыхъ исключительныхъ патріотическихъ традиціяхъ, Аксакова и дѣтей вела такъ же: они даже читать учились по стихамъ И. И. Дмитріева:

Москва, Россіи дочь любима,
Гдѣ равную тебѣ сыскать?... и т. д.

Но, помимо «русскаго духа», вліяніе матери если и было не особенно плодотворно въ умственномъ отношеніи, то, во всякомъ случаѣ, оставило прочный слѣдъ на складѣ характера дѣтей. «Неумолимость долга, отвращеніе отъ всего грязнаго, сальнаго, нечистаго, суровое пренебреженіе ко всякому комфорту, правдивость, доходившая до того, что она не могла позволить сказать, что ея нѣтъ дома, когда она дома, презрѣніе къ удовольствіямъ и забавамъ, чистосердечіе, строгость къ себѣ и ко всякой человѣческой слабости, негодованіе, рѣзкость суда, при этомъ пылкость и живость души, любовь къ поэзіи, стремленіе ко всему возвышенному, отсутствіе всякой пошлости, всякой претензіи—вотъ отличительныя свойства этой замѣчательной женщины». Такъ характеризуетъ ее самъ И. С. «Но всѣ эти свойства,—говоритъ онъ,—составляли ея стихію, а не были чѣмъ-то надуманнымъ... Не то, чтобъ она только *не хотѣла*, но она *не могла* дѣйствовать вопреки своему убѣжденію». Сильный нравственный характеръ матери не подавлялъ въ то же время дѣтей. Въ домѣ Аксаковыхъ между родителями и дѣтьми не было ничего формальнаго: формальный авторитетъ отсутствовалъ. Здѣсь не было, собственно говоря, «дѣтской», того обособленнаго угла, въ которомъ такъ часто дѣти состоятельныхъ родителей развиваются подъ случайными вліяніями, чуждые отцу и матери. У Аксаковыхъ въ семьѣ не могло возникнуть какого бы то ни было разлада между «отцами и дѣтьми». Письма къ сыновьямъ, даже когда они далеко еще не были взрослыми людьми, Сергѣй Тимоѳеевичъ Аксаковъ неизмѣнно начинаетъ обращеніемъ: «Мой сынъ и *другъ*», подписываясь «твой отецъ и *другъ*». Это ласковое добавленіе—«другъ»—дѣйствительно выражало истинныя отношенія между родителями и дѣтьми.

Поступивъ въ Императорское училище правовѣдѣнія, И. С. Аксаковъ въ теченіе четырехъ лѣтъ велъ оживленную переписку съ домашними, повѣряя имъ всѣ мелочи своей внѣшней и внутренней жизни. Такимъ образомъ семейныя вліянія остались въ полной силѣ надъ Аксаковымъ и въ годы ученія. Привычку вести обстоятельную переписку съ семействомъ Аксаковъ усвоилъ навсегда; письма его къ отцу и братьямъ и составили тѣ три огромныхъ тома, которыми мы теперь воспользуемся.

Ребяческое руссофильство И. С. Аксакова мало-по-малу пришло въ извѣстную систему; взгляды его отлились въ славянофильскую форму, особенно послѣ сближенія съ Хомяковымъ, Кирѣевскими, Ю. Самаринымъ. Многое въ его воззрѣніяхъ было принято на вѣру, отъ многихъ вопросовъ, долгое время смутно тревожившихъ его, онъ уклонялся, стараясь топить ихъ въ дѣятельности, принимая готовыя рѣшенія. Это было оборотною стороной семейныхъ вліяній. Но нѣкоторая робость ума, мысли скрашивалась въ немъ своеобразнымъ нравственнымъ чувствомъ: отвлеченная разработка основныхъ нравственно-философскихъ вопросовъ о человѣческомъ существованіи, казалось ему, отвлекаетъ людей отъ дѣйствительной жизни, отъ ближайшей общественной дѣятельности, отъ которой никто не имѣетъ права уклоняться. Практическіе нравственные идеалы казались ему болѣе важными, а они вырабатываются человѣкомъ въ дѣйствительной жизни, а не въ разсужденіяхъ только о ней.

Потому-то онъ порою съ негодованіемъ протестовалъ противъ отвлеченности славянофильскихъ воззрѣній и въ частности противъ того, будто бы русская народная жизнь уже осуществила принципъ любви. Онъ говорилъ о себѣ:

«Я не могу, подобно Константину (брату), утѣшиться такими фразами: «главное—принципъ, остальное — случайность», или «что русскій народъ ищетъ царства Божія!» и т. д. Равнодушіе къ пользамъ общимъ, лѣнь, апатія и предпочитаніе собственныхъ выгодъ признаются за исканіе царства Божія. Что касается до принципа, то, признаюсь, это выраженіе Константина заставило меня улыбнуться. Это все равно, что говорить голодному: другъ мой, ты будешь сытъ на томъ свѣтѣ, а теперь голодай,— это случайность; намажь хлѣбъ принципомъ вмѣсто масла, посыпай принципомъ—и вкусно; нужды нѣтъ, что сотни тысячъ умрутъ, другія сотни уйдутъ,—это случайность. Легкое утѣшеніе. Если бы я такъ вѣрилъ въ принципъ и въ *жизненность* этого принципа въ русскомъ народѣ, то, право, и горевать бы не сталъ. Возмущаютъ меня факты, — ничего, вынулъ изъ кармана табакерку, понюхалъ принципа—и счастливъ! Гдѣ онъ, этотъ принципъ? Куда затесался? Поди, Константинъ, достань пыльную лѣтопись, поищи его въ XII и XIII вѣкѣ, когда князья терзали Рус-

скую землю, воюя другъ у друга удѣлы... Поздравляю съ этою находкой» (II, 300—301).

Эта черта молодого Аксакова—стремленіе къ непосредственной общественной дѣятельности ради осуществленія принципа и строгое отношеніе къ себѣ, постоянный вопросъ себѣ, не разсуждаю ли я безплодно, когда надо дѣйствовать,—выгодно выдѣляетъ его изъ среды современниковъ, среди которыхъ такъ распространенъ былъ типъ Рудина. Юношеская отзывчивость, поэтическіе порывы поразительно слиты въ Аксаковѣ съ развитымъ чувствомъ долга, съ сознаніемъ отвѣтственности за себя предъ обществомъ, съ рѣзкою силой воли и энергіей въ трудѣ. Онъ хлопочетъ не о независимости съ внутреннимъ довольствомъ, какъ доктринеръ Никитенко, не думаетъ «о преодолѣніи несчастій»,—всѣ мысли его о дѣятельномъ вмѣшательствѣ въ жизнь.

«Желалъ бы я знать свое будущее, — писалъ онъ, когда ему было 16 лѣтъ. — Какъ-то повезетъ судьба? Впрочемъ, если самъ не дашь ей толчокъ въ какую-нибудь сторону, такъ она и не повезетъ»... «Покуда живы,—писалъ онъ при окончаніи училища,—будемъ работать и предпринимать такіе труды, какъ будто бы вовсе мы не должны были умирать» (I, 36). Эти прекрасныя слова могъ бы взять девизомъ всякій дѣятель...

По окончаніи училища И. С. Аксаковъ поступилъ на службу. Кромѣ литературы и каѳедры, это былъ единственный путь, открывавшій человѣку нѣкоторую возможность такъ или иначе воздѣйствовать на жизнь. Однако, шуточная мистерія: «Жизнь чиновника», сочиненная въ это время Аксаковымъ, показываетъ, что онъ сильно колебался—поступать ли на службу или нѣтъ. Понятны эти колебанія. Достаточно вспомнить Гоголя, чтобы представить себѣ, чѣмъ было чиновничество въ Николаевскую эпоху. «Русскій чиновникъ—ужасная личность,—писалъ и Никитенко въ 1861 г.—Что будетъ впереди—еще неизвѣстно, а до сихъ поръ онъ былъ естественный злѣйшій врагъ народнаго благосостоянія» (Записки и дневникъ, I, 276).

Благодаря обширнымъ связямъ своего отца, Аксаковъ могъ бы быстро сдѣлать блестящую административную карьеру. Стоило только служить въ одной изъ столицъ и неуклонно исполнять предначертанія свыше, хотя бы и съ благимъ намѣреніемъ сдѣлать ихъ, если они покажутся нецѣлесообразными, какъ можно менѣе вредными. Вмѣсто блестящей столичной карьеры, Аксаковъ избралъ болѣе дѣятельную и менѣе видную службу въ провинціи—сперва по судебному вѣдомству, потомъ въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ. Онъ самъ напрашивался на хлопотливыя, сопряженныя съ разъѣздами ревизіи, на собираніе статистическихъ и иныхъ свѣдѣній (по расколу, о ярмаркахъ и т. п.). Всюду онъ искалъ непосредственнаго со-

прикосновенія съ живою жизнью, старался не терять изъ виду за ворохами бумаги, которые плодили все тогдашнее дѣлопроизводство, живые человѣческіе интересы и живыхъ людей.

Молодой чиновникъ повергалъ въ неописанное изумленіе самыхъ заматерѣлыхъ служакъ и своимъ умѣніемъ разбираться въ канцелярскомъ туманѣ, и своею энергіей. Иногда онъ по недѣлямъ работалъ чуть не по 16 часовъ въ сутки, работалъ точно въ лирическомъ увлеченіи, добиваясь правды отъ грудъ бумаги и чиновниковъ, ее переводившихъ. Эта работа, не будь она такъ постоянна и упорна, носила бы характеръ лирическаго порыва, родственнаго тѣмъ порывамъ, въ одномъ изъ которыхъ онъ писалъ:

Страннымъ чувствомъ объята душа,
Будто хочетъ проститься съ землею,
Будто все, чѣмъ земля хороша,—
Съ безконечной и пестрой семьею,
Все покинуть ей должно спѣша!..
И съ порывомъ тоскливо-больнымъ
Просить воли,—на мигъ позабыться,
Все вмѣстить, полюбить, всѣмъ земнымъ,
Всѣмъ дыханіемъ жизни упиться,
Всѣмъ блаженствомъ ея молодымъ!..

Для характеристики этого чиновника-поэта можетъ служить эпизодъ, вслѣдствіе котораго И. С. Аксаковъ оставилъ министерство юстиціи и на который онъ намекалъ впослѣдствіи въ «Руси», съ ужасомъ вспоминая, чѣмъ былъ дореформенный судъ: «Старый судъ! при одномъ воспоминаніи о немъ волосы встаютъ дыбомъ, морозъ деретъ по кожѣ!.. Мы имѣемъ право такъ говорить. Пишущій эти строки посвятилъ служебной дѣятельности въ старомъ судѣ первые, лучшіе годы своей молодости. Воспитанникъ училища правовѣдѣнія, стало быть, обязательно поступившій на службу по вѣдомству министерства юстиціи, еще въ сороковыхъ годахъ онъ извѣдалъ вдоль и поперекъ все тогдашнее уголовное правосудіе, въ провинціи и столицѣ, канцеляріяхъ и составѣ суда (въ послѣднемъ, какъ членъ по назначенію отъ правительства). Это было воистину мерзость запустѣнія на мѣстѣ святѣ! Со всѣмъ пыломъ юношескаго негодованія ринулся онъ, вмѣстѣ съ своими товарищами по воспитанію, въ неравную борьбу съ судейскою неправдой,-- и точно такъ же, какъ иногда и теперь, встревоженная этимъ натискомъ стая правосудовъ поднимала дикій вопль: «вольнодумцы! бунтовщики! революціонеры!..» Помнимъ, какъ однажды молодой оберъ-секретарь сената, опираясь на забытую и никогда не примѣнявшуюся статью свода законовъ, отказался скрѣпить истинно-неправедное постановленіе, благопріятствовавшее людямъ, занимавшимъ очень видное положеніе въ высшемъ обществѣ, и съ какимъ шумомъ, съ какимъ

гнѣвомъ встрѣтили сановные старики такое необычайное дерзновеніе! Помнимъ, какъ рябой нахалъ со знатнымъ именемъ подавалъ нашему товарищу для доклада присутствію свое письменное оправданіе, рекомендуясь, что «по милости царской—онъ сынъ барской», и какъ никакими доводами нельзя было предотвратить пристрастнаго въ пользу «барскаго сына» рѣшенія... Предъ нами невольно встаютъ воспоминанія—одно возмутительнѣе другого. Какія муки, какія терзанія испытывала душа, сознавая безсиліе помочь истинѣ, невозможность провести правду черезъ путы и сѣти тогдашняго формальнаго судопроизводства!» (II, 1—2).

Вслѣдствіе отказа Аксакова подписать пристрастный приговоръ, дѣло дошло до государя и было подвергнуто пересмотру, но безпокойнаго чиновника постарались сплавить изъ министерства юстиціи.

Въ концѣ-концовъ Аксаковъ совершенно оставилъ службу, и исторія его отставки интересна для характеристики и лично его, и взглядовъ тогдашнихъ административныхъ высшихъ сферъ на подобныхъ чиновниковъ. Просматривая документы, приложенные ко II т. переписки и содержащіе исторію отставки, убѣждаешься, что Аксаковъ былъ «лишнимъ», не ко двору среди людей, лучшими изъ которыхъ были рѣдкіе Никитенки.

За девять лѣтъ службы И. С. Аксаковъ успѣлъ достаточно зарекомендовать себя. Его изслѣдованія о расколѣ, произведенныя по порученію министерства внутреннихъ дѣлъ, до сихъ поръ не утратили своего значенія, и по серьезности и просвѣщенности воззрѣній эти труды не могъ бы не признать заслуживающими полнаго уваженія и ожесточенный противникъ славянофильства (см. отзывъ Пыпина, Характ. лит. мнѣній, стр. 347). Аксаковъ былъ даже въ прекрасныхъ личныхъ отношеніяхъ съ тогдашнимъ министромъ внутреннихъ дѣлъ Л. Перовскимъ.

До свѣдѣнія начальства Аксакова вдругъ дошло, что онъ сочинилъ и читаетъ знакомымъ какую-то поэму, и оно потребовало объясненій. Аксаковъ представилъ «Бродягу», ту самую поэму, которую онъ въ 1849 г., будучи арестованъ за письма домой объ арестѣ Ю. Ѳ. Самарина, представлялъ въ третье отдѣленіе и по поводу которой долженъ былъ дать объясненіе, почему избралъ предметомъ сочиненія бѣглаго человѣка. Въ «Бродягѣ», пропущенномъ третьимъ отдѣленіемъ, и министерство не нашло ничего предосудительнаго, однако Аксаковъ получилъ выговоръ въ томъ смыслѣ, что занятія литературою чиновнику не свойственны. Это взорвало Аксакова и онъ немедленно написалъ Перовскому письмо, совершенно нарушившее, конечно, правила безпрекословной субординаціи. «Не только правомъ, но и обязанностью своею считаю объяснить вашему сіятельству,— съ горечью писалъ Аксаковъ,—что не служба терпитъ отъ моихъ литературныхъ занятій, а литературныя занятія, нравственное и умственное

образованіе мое принесены въ жертву службѣ», и т. д. Этотъ отвѣтъ, конечно, показался дерзкимъ и имѣлъ слѣдствіемъ повый выговоръ съ указаніемъ, что «въ предписаніи его сіятельства (министра) не заключалось до васъ не только какого-либо обвиненія, но даже ничего, что могло бы огорчить васъ. Это недоумѣніе, что могло бы огорчить Аксакова, видимо, и переполнило его чашу терпѣнія, и онъ немедленно подалъ прошеніе объ отставкѣ.

Это извѣстіе—намѣреніе Аксакова изъ-за такихъ «пустяковъ» бросить службу—изумило почти всѣхъ его знакомыхъ. «Я усталъ душою и тѣломъ,—объяснялъ онъ 5-го марта 1851 г. Самарину, который въ числѣ другихъ уговаривалъ его взять назадъ прошеніе объ отставкѣ.—Пользы не вижу, кромѣ той мелкой и случайной, которую вездѣ и всюду приносить можно и для которой не стоитъ угнетать свою душу», т.-е. угнетать служебными впечатлѣніями. «Я не хочу, чтобъ отношенія ко мнѣ моего начальства походили на общія казенныя отношенія,—писалъ онъ въ томъ же письмѣ, излагая свои требованія отъ службы:—я хочу имѣть право на откровенное живое слово... Я хочу, чтобы мнѣ можно было служить *по-моему*: иначе я не могу. Если возможно возстановить *прежнія* отношенія, если министръ подъ той или другой формой уничтожитъ дѣйствіе его оскорбительныхъ бумагъ, я согласенъ остаться» (II, 407 — 409). Требованія Аксакова оказались неподходящими.

Въ томъ же письмѣ Аксаковъ дѣлаетъ одно признаніе, мѣтко характеризующее всю его страстную дѣятельную натуру. Все это, — говоритъ онъ о своихъ взглядахъ на службу,—вамъ покажется, можетъ быть,—особенно среди петербургской атмосферы и вѣрующихъ въ свою дѣятельность петербургскихъ администраторовъ, по большей части благородно-подлыхъ, — смѣшно, дико, *безтолково*... А со мною странное совершается: чѣмъ болѣе уходитъ моя молодость, чѣмъ дальше въ жизнь, чѣмъ зрѣлѣе становлюсь я,—тѣмъ сильнѣе и сильнѣе во мнѣ потребность говорить словомъ правды; тѣмъ живѣе чувствую я въ себѣ возможность *неблагоразумныхъ, непрактическихъ* *), но честныхъ поступковъ, тѣмъ гаже и гаже дѣлается для меня ложь оффиціальности, тѣмъ противнѣе самонадѣянная, довольная собою и игнорирующая живую жизнь манія администраціи» (II, 405).

Рѣдки натуры, въ которыхъ подобная непрактичность не блекнетъ съ годами. Аксаковъ на старости лѣтъ, какъ извѣстно, достаточно показалъ это страстное и благородное «неблагоразуміе» (такъ чуждое Никитенкѣ) знаменитою рѣчью о берлинскомъ трактатѣ, или горячею отповѣдью въ «Руси», почти наканунѣ смерти, въ отвѣтъ на предостереженіе, полученное газетою, съ обиднымъ упрекомъ въ недостаточномъ патріотизмѣ.

---

*) Курсивъ И. С. Аксакова.

Посмотримъ нѣсколько ближе, какъ относился этотъ удивительный по силѣ характера человѣкъ къ тѣмъ отрицательнымъ явленіямъ дореформенной русской дѣйствительности, которыя безпощадно осуждалъ и Никитенко. Но въ своей служебной практикѣ Никитенко растерялъ какую бы то ни было охоту дѣятельно отстаивать свои убѣжденія, и паліянія его въ желчномъ тонѣ человѣка-неудачника нерѣдко производятъ впечатлѣніе чего-то холоднаго. Никитенко— раздражительный скептикъ, Аксаковъ — вѣрующая лирическая натура; въ письмахъ Аксакова нѣтъ того довольно мелкаго чувства личной досады, съ которымъ постоянно встрѣчаешься у Никитенки. Жгучимъ чувствомъ негодованія, горя и скорби за людей и за родину проникнуты многія письма Аксакова: ему не за себя — «за человѣка страшно».

Особенно поучительно въ этомъ отношеніи все, что И. С. пишетъ по поводу севастопольской кампаніи. Онъ добровольно поступилъ въ ополченіе, потому что не считалъ себя вправѣ уклоняться отъ бѣдствія, обрушившагося на всю родину. Завѣдываніе финансовою частью серпуховской дружины поставило его лицомъ къ лицу съ закулисною стороною войны. Вчужѣ жутко становится за тѣ нравственныя муки, которыя приходилось здѣсь выносить Аксакову. Одно изъ писемъ—отъ 21-го декабря 1855 г.— производитъ потрясающее впечатлѣніе глубокою, близкою къ безысходному отчаянію скорбью, которая проникаетъ каждую строчку. «Ахъ, какъ тяжело, невыносимо тяжело порою жить въ Россіи,—пишетъ онъ, измученный всевозможными дрязгами:—въ этой вонючей средѣ грязи, пошлости, лжи, обмановъ, злоупотребленій, добрыхъ малыхъ мерзавцевъ, хлѣбосоловъ-взяточниковъ, гостепріимныхъ плутовъ,—отцовъ и благодѣтелей взяточниковъ! Не по поводу Ольшевскаго (комендантъ крѣпости Бендеры, откуда писано это письмо) написалъ я эти строки, я его не знаю,—но въ моемъ воображеніи представалъ весь образъ управленія махинаціи административной. Вы ко всему этому относитесь отвлеченно, издали, людей видите по своему выбору, только хорошихъ или одномыслящихъ,—поэтому вы и не можете понять тѣхъ истинныхъ мученій, которыя приходится испытывать отъ пребыванія въ этой средѣ, отъ столкновенія со всѣмъ этимъ продуктомъ русской почвы. Тамъ, что ни говорите въ защиту этой почвы, но несомнѣнно то, что на всей этой мерзости лежитъ собственно ей принадлежащій русскій характеръ! Не гожусь, не гожусь въ квартирмейстеры, въ казначеи, не гожусь, потому что не всегда выносишь эти душевные тиски,—а отъ этого можетъ произойти ущербъ выгодъ дружинныхъ *). Не

*) Какъ добросовѣстно отнесся И. С. Аксаковъ къ своему дѣлу, видно изъ того, что отчетъ его о продовольствіи дружины, будучи представленъ высшему начальству,

могу я совершенно m'encanailler, какъ говорится, а безъ этого дѣло не клеится. Надо быть за панибрата со всякимъ плутомъ, вести кумовство со всякимъ негодяемъ, какъ дѣлаютъ всѣ; въ противномъ случаѣ, вашей дружинѣ и квартиръ не дадутъ хорошихъ, и печей удобныхъ для хлѣба не отведутъ, и бумаги задержатъ, и начеты начтутъ... И негодяи эти, какъ русскіе, имѣютъ еще свойство, что если вы будете имъ платить деньги свысока, такъ они меньше для васъ сдѣлаютъ, чѣмъ для другого, который ихъ братъ, даетъ меньше, зато имъ кумъ и пріятель, одного съ ними закала... Мое присутствіе составляетъ такой странный диссонансъ въ этой общей гармоніи, въ этомъ могущественномъ хорѣ установившихся преданій, понятій, обычаевъ лжи и воровства, что отъ того выходитъ двойной вредъ и мнѣ, и дружинѣ... Какъ нельзя же щеголять и красоваться какимъ бы то ни было достоинствомъ предъ людьми, которыхъ, можетъ быть, только обстоятельства, нужда, весь складъ общественной жизни сдѣлали плутами, и какъ читать проповѣдь и заняться ихъ исправленіемъ некогда,— то обыкновенно выѣзжаешь на васъ, милый Отесенька, говоришь, что не имѣешь надобности, что у моего отца 1000 душъ, и проч. и проч. Между тѣмъ, тѣ уступки, сдѣлки, сбавки, которыя подрядчикъ предлагаетъ вамъ, стараешься обратить въ пользу дружины; разумѣется, онъ не вѣритъ, а думаетъ только, что я хитрѣе всякаго полкового». Жалуясь на вѣчный хоръ откровенныхъ рѣчей, Аксаковъ продолжаетъ: «Стараешься не оскорбить этихъ людей, обязанъ снискать ихъ благоволеніе, потому что отъ нихъ, повторяю, зависитъ удобство, необходимое для 1000 человѣкъ ратниковъ; не всегда это удается; выраженіе лица иногда измѣняетъ; какъ-нибудь покончишь дѣло и измученный, будто избитый тысячью палокъ, глубоко униженный, спѣшишь домой отдыхать отъ нравственнаго угара». Подъ вліяніемъ этой непрерывной нравственной пытки у него вырываются такія горькія слова: «Чего можно ожидать отъ страны, создавшей и выносящей такое общественное устройство, гдѣ надо солгать, чтобы сказать правду, надо поступить беззаконно, чтобы поступить справедливо, надо пройти всю процедуру обмановъ и мерзостей, чтобы добиться необходимаго, законнаго!

Эти цитаты (см. III томъ, стр. 176, 205—207 и мн. др.) рисуютъ съ достаточною ясностью то непосредственное и живое чувство, съ какимъ онъ относился къ неприглядным сторонамъ русской дѣйствительности. Благодаря интенсивности этого чувства, просвѣтленнаго воспитаніемъ и образо-

---

произведъ было настоящій скандалъ: умѣренные расходы, показанные Аксаковымъ, ярко обличали невѣроятный грабежъ, происходившій въ другихъ дружинахъ. Объ этомъ см., напр., въ словарѣ г. Венгерова.

ваніемъ (только дисциплинированный воспитаніемъ человѣкъ могъ въ дѣловыхъ сношеніяхъ такъ деликатно «выѣзжать на своемъ отцѣ»), въ рѣчи Аксакова всегда чувствуется нѣчто бодрящее умъ и душу. Если можно *такъ* негодовать и отчаиваться, не все еще потеряно. Порывы отчаянія Аксакова въ силѣ правды,—какъ это ни парадоксально на первый взглядъ,—полны страстной вѣры, скорби за правду. Жизненность скорби, которою дышатъ эти порывы, служитъ порукою, что въ человѣкѣ жива вѣра въ возможность борьбы съ тѣми условіями, при которыхъ родится такое отчаяніе.

Мы говорили, какъ узокъ былъ идеалъ Никитенки. Теорія личной независимости, исповѣдуемая имъ, приводила его незамѣтно къ полной отчужденности отъ всего, что творится на свѣтѣ. Идеалъ его, по существу,—идеалъ не общественный. Никитенко просто не понималъ людей съ развитымъ инстинктомъ общественности. О Бѣлинскомъ, напр., онъ записалъ слѣдующее: «На дняхъ у меня былъ Бѣлинскій. Онъ уменъ. Замѣчанія его часто вѣрны, умны и остроумны, но (?!) проникнуты горечью» (Дневн. I, 74). Между тѣмъ, Бѣлинскій только потому и представляетъ собою такую крупную величину въ исторіи русской литературы и общества, что не только разсудочно интересовался ими, но вкладывалъ въ свою дѣятельность всю свою страстную душу: ему ли было не быть проникнуту горечью, за что Никитенко какъ будто упрекаетъ его.

Какъ человѣкъ съ мало развитымъ инстинктомъ общественной солидарности, Никитенко, вѣроятно, совершенно не понялъ бы, что происходило въ душѣ двадцатилѣтняго Аксакова при томъ дорожномъ случаѣ, который онъ описываетъ отцу и который натолкнулъ его на глубокія думы. «Жизнь отдѣльнаго лица въ массѣ человѣчества сильно меня занимаетъ. Недавно сидѣлъ я вечеромъ въ избѣ, гдѣ потолокъ былъ черенъ, какъ уголь, отъ проходящаго въ дыру дыма, гдѣ было жарко и молча сидѣло человѣкъ пять мужиковъ. Молодая хозяйка одна, съ грустнымъ выраженіемъ лица, безпрестанно поправляла лучинку, и всѣ смотрѣли на насъ какъ-то странно. Мнѣ было и совѣстно, и тяжело. Это освѣщеніе въ долгіе зимніе вечера, эта женщина, безъ всякой свѣтлой радости проводящая рабочую жизнь, и мы, столь чуждые имъ...» (I, 44).

Эту нѣмую въ высшей степени характерную сцену, такъ понятную всякому интеллигенту, который приближался къ рабочему люду въ сознаніи извѣстнаго долга предъ нимъ, И. С. Аксаковъ цѣликомъ перенесъ впослѣдствіи въ свою поэму «Зимняя дорога».

Въ силу этого-то непосредственнаго чувства, безъ котораго невозможно сознавать себя членомъ общества, гражданиномъ, Аксаковъ и былъ далекъ какъ отъ отвлеченностей славянофильства, такъ и отъ пухлыхъ мудрство-

ваній Никитенки. Говоря иначе, и въ служебной, и въ литературной дѣятельности Аксаковымъ руководила всегдашняя, въ плоть и кровь вошедшая память—говоря его стихами—

О всѣхъ трудящихся,
О тѣхъ, кому въ удѣлъ
Страданье задано...

Непосредственностью нравственнаго чувства въ Аксаковѣ только и можно объяснить чарующее впечатлѣніе, произведенное имъ въ 1846 г. на Бѣлинскаго. Между тѣмъ, изъ писемъ Аксакова видно, что когда въ Калугѣ онъ встрѣтилъ Бѣлинскаго, при проѣздѣ его съ М. С. Щепкинымъ, то обошелся съ критикомъ болѣе чѣмъ холодно. И все-таки Бѣлинскій съ удовольствіемъ писалъ, что Аксаковъ такъ хорошъ, какъ будто никогда не былъ славянофиломъ («Р. М.», 1891 г., 1). Очевидно, настроеніями они сходились совершенно. Бѣлинскій со своими словами: «я не хочу счастія и даромъ, если не буду спокоенъ насчетъ каждаго изъ моихъ братьевъ по крови»—былъ духомъ гораздо ближе къ славянофилу И. С. Аксакову, чѣмъ, напр., къ своему единомышленнику, эпикурейцу В. П. Боткину, къ которому и были писаны приведенныя слова. Въ Аксаковѣ и Бѣлинскомъ было одинаково живо «святое недовольство» самимъ собою и жизнью,

То недовольство, при которомъ нѣтъ
Ни самообольщенья, ни застоя,
Съ которымъ и на склонѣ нашихъ лѣтъ
Постыдно мы не убѣжимъ изъ строя...

Никитенко постоянно недоволенъ собою за то, что никакъ не добьется внутренняго равновѣсія, довольства. Аксаковъ зорко слѣдитъ за собою, какъ бы не успокоиться, не примириться съ жизнью на какомъ-нибудь пустякѣ. Его преслѣдуетъ мысль, что, услаждаясь поэзіей и отдаваясь своему глубокому влеченію къ ней и къ природѣ, онъ измѣняетъ своему долгу:

Все какъ будто готовлю измѣну
Я великому множеству ихъ,
Обреченныхъ страданью и плѣну.
Бѣдныхъ, страждущихъ братій моихъ.

Это недовольство самимъ собою—такое неотъемлемое свойство его натуры, что онъ втупикъ становился, когда встрѣчалъ людей не только довольныхъ всѣмъ на свѣтѣ, но еще и возводящихъ это довольство въ цѣлую систему нравственной философіи. У него точно не было мозговой складки такой, чтобы постичь подобныхъ людей, и онъ раздражался иногда на нихъ всѣмъ страстнымъ негодованіемъ, къ какому только былъ способенъ. Въ этомъ отношеніи любопытенъ эпизодъ его столкновенія въ

Калугѣ съ извѣстною А. О. Смирновой (урожд. Россетти),—эпизодъ, на которомъ останавливаться слишкомъ долго. Укажемъ лишь, что къ ней относятся страстные стихи И. С. Аксакова:

Вы примиряетесь легко,
Вы снисходительны не въ мѣру,
И вашу мудрость, вашу вѣру
Теперь я понялъ глубоко, и т. д.

О петербургскомъ обществѣ, къ которому принадлежала А. О. Смирнова и другіе люди, поглощенные мелочами жизни и мелочною моралью, И. С. Аксаковъ писалъ въ 1849 году съ крайнею ѣдкостью, уже понятною намъ послѣ всего вышесказаннаго: «Необыкновенно противно видѣть, какъ эти господа сдѣлали себѣ тѣсто изъ одной доли христіанства, изъ двухъ четвертей языческой мудрости и изъ остальныхъ долей собственной человѣческой подлости, и изъ этого тѣста вылѣпили себѣ какой-то коротко-хвостый идеалъ нравственности, которымъ и удовлетворились и стали необыкновенно покойны и счастливы» (II, 135).

Нисколько не удивительно, что Аксаковъ своею прямотою и дѣйствительною, а не мнимою, нравственностью вездѣ наживалъ себѣ ожесточенныхъ враговъ, даже среди тѣхъ, кого онъ прямо не затрогивалъ. Но его честность была уже сама по себѣ достаточнымъ поводомъ къ враждѣ со стороны провинціальнаго общества. Никитенко этой чести не удостоился: у него были только мелкіе счеты съ людьми, подкапывавшими подъ него, чтобы сѣсть на его мѣсто.

Имѣя противниковъ, Аксаковъ умѣлъ и цѣнить ихъ по достоинству. Особенно замѣчательны его слова о Бѣлинскомъ. Какъ славянофилъ, онъ признавалъ взгляды знаменитаго критика невѣрными. Между тѣмъ, онъ говоритъ о немъ съ такимъ высокимъ безпристрастіемъ (столь чуждымъ Никитенкѣ), что не можемъ не привести этихъ словъ цѣликомъ. Они относятся къ 1856 году и имѣютъ также не малое значеніе, какъ несомнѣнное достовѣрное историческое свидѣтельство:

«Много ѣздилъ я по Россіи: имя Бѣлинскаго извѣстно каждому сколько-нибудь мыслящему юношѣ, всякому, жаждущему свѣжаго воздуха среди вонючаго болота провинціальной жизни. Нѣтъ ни одного учителя гимназіи въ губернскихъ городахъ, который бы не зналъ наизусть письма Бѣлинскаго къ Гоголю *); въ отдаленныхъ краяхъ Россіи только теперь еще проникаетъ это вліяніе и увеличиваетъ число прозелитовъ. Тутъ

*) Это письмо, ранѣе извѣстное въ печати по отрывкамъ, оглашеннымъ г. Пыпинымъ, напечатано нынѣ почти цѣликомъ въ восьмомъ томѣ обширнаго и детальнаго изслѣдованія П. Барсукова: „Жизнь и труды М. П. Погодина". Спб., 1894, стр. 593—607.

нѣтъ ничего страннаго. Всякое рѣзкое отрицаніе нравится молодости, всякое негодованіе, всякое требованіе простора, правды принимается съ восторгомъ тамъ, гдѣ сплошная мерзость, гнетъ, рабство, подлость грозятъ поглотить человѣка, осадить, убить въ немъ все человѣческое. «Мы Бѣлинскому обязаны своимъ спасеніемъ», — говорятъ мнѣ вездѣ молодые честные люди въ провинціяхъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ провинціи вы можете видѣть два класса людей: съ одной стороны, взяточниковъ, чиновниковъ, въ полномъ смыслѣ этого слова, жаждущихъ лентъ, крестовъ и чиновъ, помѣщиковъ презирающихъ идеалоговъ, привязанныхъ къ своему барскому достоинству и крѣпостному праву, вообще довольно гнусныхъ. Вы отворачиваетесь отъ нихъ, обращаетесь къ другой сторонѣ, гдѣ видите людей молодыхъ, честныхъ, возмущающихся зломъ и гнетомъ, поборниковъ эмансипаціи и всякаго простора, съ идеями гуманными. Они часто несутъ всякую чепуху и сами не видятъ, что путь ихъ логически (?) оканчивается подлостью петербургскаго практицизма, но порицаніе и отрицаніе ихъ понятны. И если вамъ нужно честнаго человѣка, способнаго сострадать болѣзнямъ и несчастіямъ угнетенныхъ, честнаго доктора, честнаго слѣдователя, который полѣзъ бы на борьбу,—ищите таковыхъ въ провинціи между послѣдователями Бѣлинскаго (III, 290—291).

Оставивши службу, Аксаковъ очутился на нѣкоторое время въ положеніи лишняго человѣка. Въ нравственномъ смыслѣ слова, лишнимъ былъ Никитенко, и онъ расплылся въ безплодныхъ жалобахъ, не замѣчая доли своей вины въ томъ, что чувствуетъ себя совершенно отчужденнымъ. Аксакову жалобы на враждебную среду глубоко ненавистны, хотя и ему случалось писать вещи въ родѣ стихотворенія, относящагося къ 1849 г.:

Пусть сгибнетъ все, къ чему сурово
Такъ долго духъ направленъ былъ:
Трудилась мысль, дерзало слово,
Въ запасѣ много было силъ...
Слабѣйте, силы! Вы не нужны!
Смирися, духъ! Давно пора!
Разсѣйтесь всѣ, кто были дружны
Во имя правды и добра! и т. д.

Вообще же между лирическими стихотвореніями И. С. Аксакова выдѣляются, какъ особо характеристичныя, тѣ, гдѣ онъ отрицательно относится къ рефлексіи сороковыхъ годовъ и къ привычкѣ сваливать все на среду.

Мы всѣ страдаемъ и тоскуемъ,
Съ утра до вечера толкуемъ
И ждемъ счастливѣйшей поры,—

съ досадою говоритъ онъ въ одномъ изъ такихъ стихотвореній:

Мы негодуемъ, мы пророчимъ,
Мы сѣтимся, мы хлопочемъ...
Куда ни взглянешь—всѣ добры!
. . . . . .
Но, свыкшись съ скорбью ожиданья,
Давно мы сдѣлали „страданья“
Житейской роскошью для насъ:
Безъ нихъ тоска! А съ ними можно
Разсѣять скуку—такъ тревожно,
Такъ усладительно подчасъ.

Въ стихотвореніи «Къ портрету» (своему собственному) Аксаковъ подобнымъ же образомъ энергически возстаетъ противъ людей (не исключая и себя изъ этого числа, что съ его стороны было проявленіемъ его обычной строгости къ себѣ), которые безплодно скорбятъ о трудныхъ внѣшнихъ условіяхъ дѣятельности

И тратятъ свой досугъ лѣниво и безплодно,
Всему сочувствовать умѣя благородно!
Ужели племя ихъ добра не принесетъ?—

спрашиваетъ онъ въ раздумьи:

Досада тайная подчасъ меня беретъ,
И хочется мнѣ имъ, взамѣнъ досужей скуки,
Дать заступъ и соху, топоръ желѣзный въ руки,
И, толки прекратя объ участи людской,
Работниковъ изъ нихъ составить полкъ лихой.

Аксаковъ, конечно, не буквально предлагалъ интеллигенціи сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ опроститься. Можетъ показаться, что Аксаковъ приходилъ къ тому же, что и Никитенко съ его проповѣдью о подчиненіи характера всякой сферѣ дѣятельности, что Аксаковъ проповѣдуетъ такъ-называемое «маленькое дѣло», которое недавно еще было выдвинуто, какъ нѣчто такое, что даетъ внутреннее удовлетвореніе интеллигенту и составляетъ всю его общественную задачу. Дѣйствительно, Аксаковъ говоритъ о себѣ, что понялъ

...что подвиговъ живыхъ,
Блестящихъ жертвъ, борьбы великодушной
Пора прошла,—и намъ, взамѣну ихъ,
Борьбы глухой достался подвигъ скучный!
. . . . . .
Есть путь иной, гдѣ вѣра не легка:
Сгораетъ въ немъ порыва скорый пламень;
Есть долгій трудъ, есть подвигъ червяка:
Онъ точитъ дубъ... Долбитъ и капля камень.

Однако, если присмотрѣться къ дѣлу внимательнѣе, не трудно убѣдиться, что между аксаковскими призывами къ «глухой борьбѣ», къ «подвигу червяка» (1849 — 55 гг.) и недавнею проповѣдью новѣйшихъ Никитенокъ весьма мало общаго. И предъ шестидесятыми годами, и теперь не мало твердили: «наше время — не время широкихъ задачъ» и т. п. Большая разница — признать ли это за фактъ, съ которымъ нельзя не считаться, хотя и не для чего мириться, или же признать, что иначе и быть-то не можетъ, и ради этого раздувать «маленькое дѣло» въ нѣчто великое. Послѣднее спутываетъ еще больше и такъ не слишкомъ ясныя ходячія представленія о ближайшихъ общественныхъ задачахъ. Аксаковъ принимался за свое «маленькое дѣло» — служба, изученіе Россіи — не воображая, что дѣлаетъ нѣчто великое, но просто какъ за средство, которое можетъ пригодиться если не ему самому (оно пригодилось ему въ его публицистической дѣятельности), то другимъ—когда-нибудь впослѣдствіи. Аксакову ли, человѣку, который могъ служить только «по-своему», было наполнять собою всякую данную узенькую сферу дѣятельности?

На этомъ мы и остановимся, не касаясь нравственныхъ качествъ И. С. Аксакова, какъ публициста. Достаточно извѣстно, что онъ въ этомъ отношеніи всегда былъ такъ же вѣренъ себѣ, какъ и въ годы молодости.

Въ концѣ концовъ, И. С. Аксаковъ и Никитенко являются предъ нами какъ два общественныхъ типа. Русская жизнь несомнѣнно склонна, въ силу цѣлаго ряда историческихъ условій, выдвигать—въ иную пору массами—людей типа Никитенки. Это одна изъ разновидностей такъ знакомаго намъ по литературѣ типа лишнихъ людей,—разновидность, выросшая на бюрократической почвѣ, въ прежнее время мало доступной наблюденію литературы. Всѣ же симпатіи общества, конечно, должны быть всецѣло на сторонѣ такихъ болѣе сильныхъ и цѣльныхъ натуръ (хотя и болѣе рѣдкихъ), какъ И. С. Аксаковъ. Мы видѣли, какъ фантастическое представленіе о самодовлѣющемъ характерѣ пришлось по плечу изломанной натурѣ Никитенки и какъ оно привело его къ полному разочарованію и сознанію, что жизнь прожита безплодно. Дѣятельность его, при наилучшихъ намѣреніяхъ содѣйствовать нравственному преуспѣянію общества, не опиралась на живое сознаніе всеобщей общественной солидарности и оказывалась мыльнымъ пузыремъ. Идеалъ его былъ мертвымъ, потому что не можетъ быть живого общественнаго развитія тамъ, гдѣ между личностью и обществомъ нѣтъ никакой связи: только она и даетъ смыслъ человѣческому существованію. Сколько Никитенко ни расточалъ негодованія противъ современнаго ему общества, какъ ни возвеличивалъ въ своихъ глазахъ и

въ глазахъ своихъ слушателей независимую личность, характеръ, наполняющій всякую сферу, онъ не чувствовалъ почвы подъ ногами.—И. С. Аксаковъ былъ счастливѣе: живое сознаніе своей связи съ другими людьми, рано развившееся чувство гражданскаго долга сразу указываютъ ему настоящую дорогу, по которой онъ и идетъ неуклонно. На этой дорогѣ ему и представилась полная возможность гармоническаго развитія чувства и воли, которыя крѣпнутъ въ постоянной дѣятельности и одни несутъ съ собою доступное человѣку внутреннее удовлетвореніе.

IX.

Человѣкъ трехъ поколѣній.

„Онъ не выживалъ изъ ума, потому что не выживалъ изъ людей; три поколѣнія прошли мимо его, и онъ понималъ языкъ каждаго; новизна его не пугала, потому что ничего для него не было ново".

Князь *В. Ѳ. Одоевскій.*

Давно и справедливо жалуются у насъ, что мы не умѣемъ цѣнить своихъ замѣчательныхъ людей. Многіе первостепенные дѣятели русскихъ литературы, искусства, науки и общественной жизни до сихъ поръ ждутъ своихъ біографовъ, не говоря уже о дѣятеляхъ второстепенныхъ. Недостатокъ культурности, прочной и наслѣдуемой по традиціи,—важнѣйшая тому причина: мы до сихъ поръ не прониклись тою простою истиной, что въ экономіи общественной жизни дорогъ всякій человѣкъ, дорого всякое усиліе на пользу общественную, что въ общественной жизни, какъ и во всей природѣ, ничто не уничтожается и не пропадаетъ. Забывая труды предшественниковъ нашихъ, не знакомые съ исторіей прошлаго, мы, какъ Сизифъ, должны начинать все сначала и сначала одну и ту же работу. Публицистикѣ все снова и снова приходится доказывать, что просвѣщеніе полезно, что наука не вредна, и, точно во времена Петра Великаго, мы по-дѣтски радуемся и торжественно открываемъ, что стремленіе народа къ знанію утѣшительно, а дѣло народнаго образованія—весьма важно. Полная разрозненность и отсутствіе преемственности въ просвѣтительной работѣ—едва ли не главное наше бѣдствіе.

Въ настоящемъ очеркѣ мы постараемся напомнить читателю образъ одного изъ оригинальнѣйшихъ русскихъ дѣятелей, полузабытаго большинствомъ русской публики, князя В. Ѳ. Одоевскаго. А когда-то его повѣстями и статьями зачитывалось молодое поколѣніе; когда-то, благодаря тѣс-

ной дружбѣ Одоевскаго съ лучшими представителями литературы, его салонъ славился въ обѣихъ столицахъ; когда-то его страстная филантропическая дѣятельность увлекала молодежь, писателей, служащихъ статскихъ и военныхъ, сливки аристократіи; когда-то горячее участіе Одоевскаго къ великимъ реформамъ прошлаго царствованія создавало ожесточенную ненависть къ нему со стороны «стрѣлецкой партіи», какъ онъ называлъ крѣпостниковъ.

Какъ писателя, князя Одоевскаго знаютъ очень мало уже потому, что полнаго собранія его сочиненій мы до сихъ поръ не дождались, да врядъ ли и дождемся раньше, чѣмъ еще черезъ 25 лѣтъ, когда минуютъ права литературной собственности никому невѣдомыхъ наслѣдниковъ князя.— Три тома собранія его сочиненій вышли въ 1844 году и теперь давно стали библіографическою рѣдкостью. Лучшіе разсказы перепечатаны въ трехъ книжкахъ суворинской «дешевой библіотеки» (до сихъ поръ переиздаются также «Сказки дѣдушки Иринея»), но полнаго понятія объ авторѣ они все-таки не могутъ дать.

Другая причина малой популярности В. Ѳ. Одоевскаго та, что онъ отличался большою скромностью, никогда не только не кричалъ о себѣ, но старался даже оставаться незамѣченнымъ. С. Д. Полторацкій, извѣстный библіографъ, составляя свой словарь русскихъ писателей, обратился въ 1849 г. съ просьбою объ автобіографіи и къ Одоевскому, и получилъ вмѣсто нея слѣдующую коротенькую замѣтку, которую приводимъ цѣликомъ:

«Одоевскій (князь Владиміръ Ѳедоровичъ) родился въ Москвѣ, іюля 30-го дня, 1804 года. Питаетъ особую ненависть къ автобіографіямъ и укрѣпился въ семъ чувствѣ еще болѣе по прочтеніи «Замогильныхъ записокъ» Шатобріана, зане въ автобіографіи трудно удержаться отъ колѣнопреклоненія предъ самимъ собою, и невольно впадаешь въ ложь, такъ называемую—простительную. Въ числѣ же немногихъ, но крѣпкихъ убѣжденій к. В. О. находится на первомъ мѣстѣ слѣдующее: что все зло происходитъ въ мірѣ ото *лжи*, вольной или невольной, и что всѣ затруднительные вопросы жизни разрѣшились бы весьма легко, если бы люди съ полнымъ сознаніемъ дали себѣ слово: *не лгать ни въ какомъ случаѣ и ни на крошечку* (что многіе даже добросовѣстные люди почитаютъ позволительнымъ). Человѣку два дѣла на свѣтѣ въ семъ отношеніи: или говорить правду, или молчать. То и другое очень трудно.—Къ числу убѣжденій к. В. О. принадлежитъ и слѣдующее: человѣкъ не долженъ ни создавать для себя самъ произвольно какой-либо дѣятельности, ни отказываться отъ той, къ которой призываетъ его сопряженіе обстоятельствъ его жизни. Если-бъ это правило исполнялось всѣми, то каждый человѣкъ былъ бы если не на сво-

емъ мѣстѣ, то, по крайней мѣрѣ, исполнялъ бы свое дѣло жизни по мѣрѣ силъ своихъ, а изъ суммы отдѣльныхъ усилій каждаго человѣка въ сферѣ, образуемой общею дѣятельностью всего человѣчества, произошло бы нѣчто болѣе стройное, нежели то, что существуетъ донынѣ въ мірѣ».

Эти строки уже обрисовываютъ намъ человѣка. Всегда правдивый, простой и искренній, онъ шелъ туда, куда влекли его любовь къ истинѣ и всѣ стремленья его богатой натуры, не сочинялъ себѣ выдуманной программы жизни, а работалъ, не отказываясь ни отъ какой дѣятельности, исполнялъ дѣло жизни по мѣрѣ силъ своихъ и дошелъ до тихой могилы, всю жизнь идя рука объ руку со временемъ, постоянно и сознательно пытаясь воплощать и проводить въ окружавшей его дѣйствительности лучшія стремленія науки и литературы *).

I.

Князь Владиміръ Ѳедоровичъ Одоевскій, прямой потомокъ Рюриковичей, воспитаніе получилъ въ московскомъ университетскомъ благородномъ пансіонѣ. Общій духъ воспитанія и обученія былъ религіозно-нравственный, почти мистическій; таковъ же былъ характеръ конца царствованія Императора Александра I. Оканчивая пансіонъ въ 1822 г. съ золотою медалью, Одоевскій на публичномъ актѣ въ присутствіи благочестиваго начальства развивалъ мысль, что науки должны быть религіозны и нравственны.

Какъ бы то ни было, изъ пансіона юноша вынесъ большую любовь къ литературѣ, философіи и музыкѣ. Литературныя занятія въ пансіонѣ очень поощрялись. Въ актовой залѣ его происходили торжественныя засѣданія общества любителей россійской словесности, на которыя допускались и студенты: они видывали здѣсь Карамзина, Жуковскаго и др., каждое засѣданіе возбуждало къ себѣ живой интересъ. «Всякое чтеніе въ обществѣ,— говоритъ Погодинъ, — дѣлалось предметомъ живыхъ споровъ и сужденій у студентовъ. Русскій языкъ былъ главнымъ любимымъ предметомъ въ пансіонѣ. Русская литература была главною сокровищницею, откуда

*) Кромѣ сочиненій князя В. Ѳ. Одоевскаго и чрезвычайно интересныхъ черновыхъ набросковъ его, помѣщенныхъ въ „Русскомъ Архивѣ“ (1874 г.), укажемъ слѣд. болѣе крупные очерки: *Сумцовъ*, К. Ѳ. Одоевскій, Харьковъ, 1884 г., *Пятковскій*, Очеркъ изъ исторіи нашего умственнаго и общественнаго развитія, т. II. *Е. Некрасова*, Писатели для народа, „Сѣв. Вѣстн.“ 1892 г., № 2. Новѣйшіе матеріалы для біографіи Одоевскаго даютъ новыя біографіи А. И. Кошелева и М. П. Погодина и матеріалы въ „Русск. Обозр.“ 1894 г., № 3, и „Русск. Архивѣ“, 1895 г., № 5. Многое остается до сихъ поръ не опубликованнымъ.

молодые люди почерпали свои познанія, образовывались. И въ этой школѣ образовался слогъ, развился вкусъ у Одоевскаго, равно какъ и у его товарищей, старшихъ и младшихъ.

Кромѣ литературы, воспитанники благороднаго пансіона знакомились и съ философіей, которую имъ читалъ послѣдователь Шеллинга и Окена, М. Г. Павловъ. Университетскія его лекціи по физикѣ и сельскому хозяйству, по отзыву Герцена, не могли научить ни тому, ни другому. Но онъ встрѣчалъ слушателей вопросами: «что значитъ познать природу? Познать самого себя?»—и сильно возбуждалъ умственную дѣятельность молодежи. Такое же вліяніе оказалъ онъ и на Одоевскаго.

Юноша не замедлилъ принять участіе въ той ожесточенной борьбѣ за «романтизмъ», которая только-что начиналась. Это было время, когда вопросы жизни все болѣе и болѣе стали переплетаться съ вопросами литературными. Романтизмъ, главнымъ представителемъ котораго въ эти годы являлся Пушкинъ, а теоретикомъ — Н. Полевой, былъ отраженіемъ въ литературѣ освободительныхъ теченій эпохи, такъ какъ главное историко-литературное значеніе романтизма — въ протестѣ противъ стѣснительныхъ и окаменѣлыхъ узъ и правилъ такъ называемыхъ ложно-классической и сентиментальной школъ. Одоевскій скоро сошелся съ тогдашними «романтиками» и лично. Нѣсколько статеекъ его въ «Вѣстникѣ Европы», направленныхъ противъ пустоты свѣтскаго общества, привлекли вниманіе даже Грибоѣдова, и скоро они стали близкими друзьями, подобно тому, какъ позднѣе онъ сталъ близкимъ другомъ Пушкина, кн. Вяземскаго и друг.

Служба въ московскихъ архивахъ, на которую поступилъ Одоевскій, давала ему много досуга: не даромъ и Грибоѣдовъ подчеркиваетъ, что Молчалинъ служитъ въ архивахъ, слѣд. серьезнаго ничего въ его службѣ нѣтъ. Свои досуги князь посвящаетъ сперва литературному «обществу друзей», бывшихъ воспитанниковъ пансіона, сгруппировавшихся вокругъ С. Е. Раича, одного изъ самыхъ плодовитыхъ поэтовъ своего времени. Это былъ, по словамъ И. С. Аксакова, человѣкъ въ высшей степени оригинальный, безкорыстный, честный, вѣчно пребывающій въ мірѣ идиллическихъ мечтаній, самъ олицетворенная буколика, соединившій солидность ученаго съ какимъ-то дѣвственнымъ поэтическимъ пыломъ и младенческимъ незлобіемъ. Онъ соединялъ около себя людей, впослѣдствіи разошедшихся сильно, Погодина и Шевырева, впослѣдствіи профессоровъ университета, извѣстныхъ своимъ казеннымъ славянофильствомъ, Кюхельбекера-декабриста, поэта Д. А. Веневитинова съ братомъ, братьевъ Кирѣевскихъ и друг. Одоевскій прочелъ здѣсь однажды переводъ первой главы натуральной философіи Окена: «О значеніи нуля, въ которомъ успокаиваются плюсъ и минусъ».

Отъ кружка Раича мало-по-малу отдѣлился другой, болѣе дѣятельный молодой кружокъ, «общество любомудрія», всецѣло занявшееся философіей. Его составили братья Кирѣевскіе и Венивитиновы, Одоевскій, Кошелевъ, Максимовичъ и другіе. Центромъ кружка былъ Д. А. Венивитиновъ, а собирались его члены обыкновенно у Одоевскаго.

Члены кружка иногда читали свои философскія сочиненія, а чаще просто толковали о читанномъ. По словамъ Кошелева, кружокъ совершенно предался изученію умозрительной философіи и считалъ христіанское ученіе годнымъ только для народныхъ массъ. Особенно высоко цѣнило общество Спинозу; творенія его оно ставило выше Евангелія и другихъ священныхъ писаній. Предсѣдателемъ общества былъ князь Одоевскій, а главнымъ ораторомъ—Дм. Венивитиновъ, который своими рѣчами приводилъ въ восторгъ... Далеко за полночь продолжались вечернія бесѣды и приносили несравненно болѣе пользы, нежели уроки профессоровъ.

Вообще, увлеченіе русской интеллигенціи вопросами отвлеченной философіи было естественною реакціей противъ крайней скудости текущихъ интересовъ дѣйствительности. Русская жизнь не удовлетворяла мало-мальски просвѣщеннаго и дѣятельнаго ума, и онъ бросался въ чистую и свѣтлую область отвлеченнаго разума, не знающаго обычныхъ житейскихъ границъ, ихъ же не прейдеши. Въ концѣ концовъ, люди все-таки возвращались на землю, къ живымъ человѣческимъ страданіямъ и интересамъ. Такъ было почти со всѣми людьми тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, то же случилось и съ Одоевскимъ. Отъ чистаго умозрѣнія, отъ того увлеченія, въ которомъ онъ, по словамъ Погодина, «во снѣ и наяву говорилъ о мысляхъ Окена», онъ незамѣтно перешелъ къ занятіямъ положительными науками и спустился на землю во всеоружіи идеаловъ, выработанныхъ этимъ умственнымъ процессомъ.

«Моя юность протекла въ ту эпоху,—вспоминалъ самъ Одоевскій въ 60-хъ годахъ,—когда метафизика была такою же общею атмосферой, какъ нынѣ политическія науки. Мы вѣрили въ возможность такой абсолютной теоріи, посредствомъ которой возможно бы было построить (мы говорили—конструировать) всѣ явленія природы, точно такъ, какъ теперь вѣрятъ въ возможность такой соціальной жизни, которая бы вполнѣ удовлетворяла всѣмъ потребностямъ человѣчества. Можетъ быть, дѣйствительно, и такая теорія, и такая форма и будутъ когда-нибудь найдены, но ab posse ad esse consequentia non valet. Какъ бы то ни было, но тогда вся природа, вся жизнь человѣка казалась намъ довольно ясною, и мы немножко свысока посматривали на физиковъ, на химиковъ, на утилитаристовъ, которые рылись въ *грубой матеріи*. Изъ естественныхъ наукъ лишь одна намъ казалась достойною вниманія любомудра—анатомія, какъ

наука человѣка, и въ особенности анатомія мозга. Мы принялись за анатомію практически, подъ руководствомъ знаменитаго Лодера, у котораго многіе изъ насъ были любимыми учениками. Не одинъ кадаверъ мы искромсали; но анатомія естественно натолкнула насъ на физіологію, науку, тогда только-что начинавшуюся и которой первый плодовитый зародышъ появился, должно признаться, у Шеллинга, впослѣдствіи у Окена и Каруса. Но въ физіологіи естественно встрѣтились намъ на каждомъ шагу вопросы, необъяснимые безъ физики и химіи; да и многія мѣста въ Шеллингѣ (особенно въ его «Weltseele») были темны безъ естественныхъ знаній. Вотъ какимъ образомъ гордые метафизики, даже для того, чтобы остаться вѣрными своему званію, были приведены къ необходимости завестись колбами, реципіентами и тому подобными снадобьями, нужными для грубой матеріи. Въ собственномъ смыслѣ,—мѣтко добавляетъ Одоевскій,—именно Шеллингъ, можетъ быть, неожиданно для него самого, былъ истиннымъ творцомъ положительнаго направленія въ нашемъ вѣкѣ, по крайней мѣрѣ, въ Германіи и Россіи». Изученіе естественныхъ наукъ, на которыя наталкивалъ Шеллингъ, и изученіе исторіи, къ которому привлекалъ своихъ адептовъ Гегель, быстро отрезвляли сознаніе лучшихъ нашихъ шеллингіанцевъ и гегеліанцевъ, такъ что, напр., позднѣйшая философія Шеллинга, завезенная въ 40-е годы къ намъ Катковымъ,—философія откровенія, имѣвшая слишкомъ ужъ откровенный обскурантный характеръ,—не могла уже имѣть сколько-нибудь значительнаго вліянія.

Въ 1823 году Одоевскій близко сошелся съ упомянутымъ уже товарищемъ Пушкина по лицею, В. Кюхельбекеромъ. Вмѣстѣ съ этимъ мечтателемъ, котораго называли первымъ славянофиломъ и который надѣялся пересадить на русскую почву лучшія стороны нѣмецкаго романтизма, именно стремленіе къ свободѣ и изученіе народа, Одоевскій издавалъ журналъ-альманахъ «Мнемозину». Здѣсь печатались стихи и проза Пушкина, Баратынскаго, князя Вяземскаго, Полевого, Павлова и др. Въ особенности же друзья хотѣли посвятить «Мнемозину» философіи, истинному любомудрію, котораго такъ мало было въ русскомъ обществѣ времени «Горя отъ ума».

Помѣщенные въ «Мнемозинѣ» сатирико-аллегорическіе наброски Одоевскаго обращаютъ на молодого писателя почетное неблагосклонное вниманіе пресловутыхъ Греча и Булгарина. Послѣдній, по выраженію Одоевскаго, опредѣлился къ нему «въ литературные адъютанты или церемоній-мейстеры» и обливалъ бранью «апологи» Одоевскаго за осмѣяніе, напримѣръ, литературныхъ старовѣровъ («Старики или островъ Панхаи»). Не ограничиваясь неприличною литературною бранью, Булгаринъ и прямо подавалъ потомъ доносъ на Одоевскаго, къ счастію, не имѣвшій серьезныхъ послѣдствій.

Литературная борьба съ такимъ нецеремоннымъ врагомъ оказалась не подъ силу мягкому Одоевскому. Вслѣдствіе этого «Мнемозина» далеко не имѣла такого распространенія и успѣха, какой имѣла, напр., «Полярная Звѣзда», альманахъ Рылѣева и Бестужева. Тѣмъ не менѣе «юношество,— какъ передаетъ Бѣлинскій,—одушевленное стремленіемъ къ идеальному, въ хорошемъ значеніи этого слова, какъ противоположности пошлой прозѣ жизни,—это юношество читало ихъ (апологи) съ жадностью, и благодатны были плоды этого чтенія. Мы знаемъ это по собственному опыту». Да и самымъ появленіемъ своимъ «Мнемозина» проложила дорогу другимъ изданіямъ, какъ первое явленіе новѣйшей русской журналистики, и приготовила почву позднѣйшему ея проявленію въ Москвѣ въ видѣ «Телеграфа» Полевого, «Телескопа» съ «Молвою», гдѣ работали Надеждинъ и Бѣлинскій и другъ.

Событія конца 1825 года отразились на московскихъ «архивныхъ юношахъ» прекращеніемъ «Мнемозины» и закрытіемъ ихъ «общества любомудрія». Подъ вліяніемъ знакомства съ будущими декабристами, общество любомудрія, гдѣ Рылѣевъ однажды читалъ свои «Думы», начало склоняться къ инымъ, менѣе умозрительнымъ интересамъ. Но послѣ 14-го декабря пришлось прекратить прежнія бесѣды. «Живо помню,—вспоминаетъ Кошелевъ,—какъ послѣ этого несчастнаго числа князь Одоевскій насъ созвалъ и съ особенною торжественностью предалъ огню въ своемъ каминѣ и уставъ, и протоколы нашего общества любомудрія».

Съ удаленіемъ съ литературной арены Кюхельбекера прервалась на время литературная дѣятельность и Одоевскаго. Въ 1826 году онъ оставилъ Москву и поступилъ на службу въ Петербургѣ въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, гдѣ и состоялъ при Блудовѣ до 1846 года. «Въ новой сферѣ, въ которую бросила меня судьба,—писалъ онъ въ 1828 году Полевому,—я часто скучаю и, измученный работой, часто принужденною, почти всегда сухою и изрѣдка безплодною, я съ грустью вспоминаю о томъ времени, когда я душевную дѣятельность посвящалъ изящнымъ искусствамъ». Дѣйствительно, ему, конечно, трудно бывало отрываться отъ любимыхъ литературныхъ, музыкальныхъ и ученыхъ занятій для того, напр., чтобы присутствовать при производствѣ крестьяниномъ графа Шереметева Попилинымъ очистки сомовьяго клея по изобрѣтенному имъ способу, свидѣтельствовать печи, устроенныя дѣйствительнымъ камергеромъ Витовтовымъ, разсматривать чертежи изобрѣтеннаго губернскимъ секретаремъ Вышеславцевымъ механическаго кухоннаго очага и т. п. А такія порученія князю Одоевскому приходилось исполнять неоднократно.

Болѣе производительны были, конечно, такія служебныя занятія князя Одоевскаго, какъ въ 1828 году, когда онъ, въ качествѣ секретаря, участ-

вовалъ въ комитетѣ для пересмотра «чугуннаго» цензурнаго устава 1826 г., составленнаго еще Магницкимъ и принятаго впопыхахъ; чрезъ 30 лѣтъ, какъ увидимъ, онъ снова ратовалъ противъ безцѣльныхъ цензурныхъ стѣсненій печатнаго слова.

II.

Тридцатые годы и начало сороковыхъ были наиболѣе производительными для князя Одоевскаго въ литературномъ отношеніи. Пушкинскій «Современникъ» далъ ему возможность принимать болѣе близкое участіе въ текущихъ литературныхъ дѣлахъ, а то часто было невозможно пристроить куда-либо полемическую статью. Напр., въ 1836 г. онъ написалъ замѣтку въ защиту Пушкина и «Современника» отъ неблаговидныхъ нападокъ и доносовъ Булгарина, и она появилась въ свѣтъ лишь чрезъ 28 лѣтъ въ «Русскомъ Архивѣ», потому что петербургская печать была въ рукахъ тріумвирата: Булгарина, Греча и Сенковскаго. Зато его очерки и повѣсти появлялись въ московскихъ журналахъ, а позднѣе въ «Отечественныхъ Запискахъ».

Если мы обратимся къ лучшимъ беллетристическимъ произведеніямъ Одоевскаго, прежде всего насъ поразитъ, конечно, форма, ихъ романтика и фантастика. Извѣстно, какъ увлекались у насъ Гофманомъ, и что этотъ романтикъ имѣлъ въ свое время въ Россіи успѣхъ едва ли не большій, чѣмъ въ Германіи. Какъ истый романтикъ, князь Одоевскій вмѣстѣ съ натурфилософіей «пристрастился,—какъ пишетъ Погодинъ,—къ сочиненіямъ мистиковъ среднихъ вѣковъ—химиковъ и алхимиковъ, физиковъ и метафизиковъ. Слушая его, нельзя было не подумать, что если бы родился онъ въ средніе вѣка, то вѣрно сдѣлался бы самымъ ревностнымъ ученикомъ Парацельса и пошелъ бы съ готовностью на костеръ съ Саванаролою».

Такія повѣсти князя Одоевскаго, какъ «Саламандра», цѣликомъ построены на мистико-алхимическихъ фантазіяхъ, примыкая къ извѣстному беллетристическому роду такъ называемыхъ «святочныхъ» разсказовъ. Но само собою разумѣется, что этотъ невинный родъ литературы не далъ бы Одоевскому права на вниманіе потомства, хотя бы онъ всецѣло насадилъ этотъ родъ у насъ. Вліяніе Одоевскаго было благотворно, благодаря глубокому содержанію его очерковъ, которое, конечно, не много зависѣло отъ романтической фантастической формы.

Лучшіе повѣсти и разсказы Одоевскаго, прежде всего, были глубоко истинны и правдивы, навѣяны дѣйствительными жизненными впечатлѣніями той аристократической среды, къ которой онъ принадлежалъ по происхожденію. Сохранилось любопытное письмо князя В. Ѳ. Одоевскаго о холерѣ 1831 г.; оно свидѣтельствуетъ, какъ глубоко, артистически вос-

принималъ онъ окружавшую его дѣйствительность, какъ она вызывала въ немъ чувства истиннаго художника, который способенъ находить матеріалъ для художественнаго воспроизведенія даже въ ужасномъ и безобразномъ. «Я все лѣто долженъ былъ,—разсказываетъ Одоевскій,—утѣшать, успокаивать, усовѣщивать, налагать эпитимью на моихъ дамъ и увѣрять ихъ въ моихъ необыкновенныхъ медицинскихъ познаніяхъ, которыя имъ замѣнятъ всякаго доктора. Изъ всѣхъ живыхъ существъ я видѣлъ почти одного Оленина *), въ огромной шинели на плечахъ, въ калошахъ на ногахъ, съ портвейномъ въ рукахъ, съ сигарой въ зубахъ, съ холерою на языкѣ и между тѣмъ съ спокойствіемъ на сердцѣ, ибо онъ принадлежалъ къ числу немногихъ, которые во время болѣзни сохранили присутствіе духа и хладнокровіе; онъ прекрасно дѣйствовалъ и со всеусердіемъ помогалъ больнымъ; я его вдвое больше полюбилъ съ сего времени. Городъ былъ весьма любопытенъ въ это время и олицетворилъ для меня Боккачіево описаніе моровой язвы. Блѣдныя испуганныя лица во фракахъ, съ губками и склянками, возлѣ церквей толпы женщинъ и мужчинъ, которые нашли искусство сдѣлать набожность отвратительною, на улицахъ гробовыя дроги и на нихъ веселыя лица гробовщиковъ, считающихъ деньги на гробовыхъ подушкахъ,—все это было Вальтеръ-Скотовъ романъ въ лицахъ и все это такъ было для меня любопытно, что я почти не могъ ничего ни читать, ни писать». Интересъ наблюдателя-художника къ такому явленію, какъ холера, добродушному Одоевскому, конечно, не мѣшалъ относиться къ ней, какъ къ народному бѣдствію, и дѣлать, что было въ его власти, для облегченія несчастныхъ, о чемъ онъ умалчиваетъ, забывая о себѣ и выставляя впередъ Оленина.

Обладая лишь второстепеннымъ талантомъ художественнаго воспроизведенія жизни, Одоевскій брался за перо лишь тогда, когда жизненныя впечатлѣнія съ особенною силой искали себѣ выхода. Къ первой же половинѣ тридцатыхъ годовъ относится письмо Одоевскаго къ Кошелеву, гдѣ онъ говоритъ о связи между обстоятельствами своей жизни, видимо тревожными, но неясными для біографа, и литературными занятіями. «Ты удивишься,— говоритъ онъ,— когда узнаешь, что мои арлекинскія сказки я писалъ въ самыя горькія минуты моей жизни; послѣ этого не упрекай же меня въ слабости характера,— это дѣйствіе было сильнымъ торжествомъ воли, къ которому немногіе могутъ быть способны. Въ это время я успѣлъ перейти всѣ степени нравственнаго страданія; по странному стеченію обстоятельствъ, долженъ былъ дѣйствовать прямо противъ себя, и утѣшаетъ меня одно, что я въ семъ случаѣ поступилъ хорошо и благородно.

*) Извѣстный другъ И. А. Крылова.

Когда увидимся, тогда все разскажу тебѣ. Одинъ разъ я позволилъ себѣ увлечься горемъ, и «Бахъ» есть слабый отпечатокъ того, что происходило въ душѣ моей. Пожалѣй обо мнѣ: фактически часть моей жизни растерзана, глубокое чувство подавлено; а отъ этой борьбы, что ни говори, душа всегда остается въ потерѣ: на такую борьбу она истрачиваетъ лучшія свои силы, и это ослабленіе я чувствую».

Загадочные намеки этого письма касаются, — судя по ссылкѣ на грустную повѣсть-біографію «Себастіанъ Бахъ», — семейной жизни князя Одоевскаго. Въ повѣсти этой мы находимъ такія строки: «Вскорѣ Бахъ сдѣлалъ страшное открытіе: онъ узналъ, что въ своемъ семействѣ онъ былъ — лишь профессоръ между учениками. Онъ все нашелъ въ жизни: наслажденіе искусства, славу, обожателей, — кромѣ самой жизни; онъ не нашелъ существа, которое понимало бы всѣ его движенія, предупреждало бы всѣ его желанія, — существа, съ которымъ онъ могъ бы говорить не о музыкѣ. Половина души его была мертвымъ трупомъ!» Быть можетъ, это и есть отголосокъ личныхъ отношеній князя Одоевскаго въ его семьѣ. Это была, быть можетъ, та же драма, что истерзала Пушкина, — драма тѣмъ болѣе жестокая, что длилась многіе годы и проходила въ блестящей свѣтской средѣ.

Эта среда возмущала Одоевскаго до всей глубины его мягкой, незлобивой души, и особенно такія черты, какъ притязательное самодовольство свѣта при полной пустотѣ и безцвѣтности всѣхъ его помысловъ.

Современники Гоголя названіе его поэмы «Мертвыя души» понимали не только буквально, но и въ переносномъ смыслѣ, примѣняя его къ героямъ похожденій Чичикова. Мертвыя души высшаго и средняго русскаго общества — герои и Одоевскаго. Разсказъ «Бригадиръ» ведется почти цѣликомъ отъ лица мертвеца (исполнительнаго и аккуратнаго сына отечества, примѣрнаго отца и семьянина), который въ настоящемъ свѣтѣ разсказываетъ свою безцвѣтную, бездушную и безсмысленную жизнь по завѣтамъ отцовъ и велѣніямъ обычая. Глубокій ужасъ наводитъ на автора искалѣченная свѣтскими нравами злобная старая дѣва. «Смотря на нее, я рядилъ ее въ разныя платья, т.-е. логически развивалъ ея мысли и чувства, представлялъ себѣ, чѣмъ бы могла быть такая душа въ разныхъ обстоятельствахъ жизни, и прямехонько дошелъ... до костровъ инквизиціи!» («Княжна Мими»). Нравственная смерть массы общества — основной мотивъ такихъ замѣчательныхъ разсказовъ, какъ «Балъ» и «Насмѣшка мертвеца», гдѣ Одоевскій достигаетъ истиннаго пафоса, саркастическаго и карающаго. «Гдѣ же всемощныя средства науки, смѣющейся надъ усиліями природы? — обращается онъ къ избранному обществу, охваченному паникою передъ наводненіемъ. — Милостивые государи! наука замерла подъ вашимъ дыха-

ніемъ. Гдѣ же сила молитвы, двигающей горы? Милостивые государи, вы потеряли значеніе сего слова. Что же остается вамъ?.. Смерть, смерть, смерть ужасная! медленная! Но ободритесь: что жъ такое смерть? Вы — люди дѣльные, благоразумные... Призовите на помощь свою прозорливость, испытайте надъ смертью ваши обыкновенныя средства: испытайте, нельзя ли обмануть ее льстивою рѣчью? нельзя ли подкупить ее? наконецъ, нельзя ли оклеветать? не испугается ли она вашего холоднаго, себялюбиваго, неумолимаго взгляда?» («Насмѣшки мертвеца»).

Но этотъ пафосъ направленъ лишь противъ цѣлаго общества и его нравовъ; въ отдѣльныхъ представителяхъ общества Одоевскій видитъ людей, онъ жалѣетъ и скорбитъ, напр., о той самой старой дѣвѣ, которая напоминала ему о кострахъ инквизиціи. Если слова сожалѣнія Одоевскаго о старой дѣвушкѣ могутъ показаться теперь немного запоздалыми, потому что такія мысли уже вошли до нѣкоторой степени въ обиходъ русскаго образованнаго общества, то надо помнить, въ какое время говорилъ Одоевскій. Еще рѣдко были слышны такія слова, какъ слѣдующія: «Что же дѣлать, если для дѣвушки въ обществѣ единственная цѣль жизни — выйти замужъ! если ей съ колыбели слышатся слова: «когда ты будешь замужемъ!» Ее учатъ танцовать, рисовать, музыкѣ, для того, чтобъ она могла выйти замужъ; ее одѣваютъ, вывозятъ въ свѣтъ, ее заставляютъ молиться Господу Богу, чтобы только скорѣе выйти замужъ. Это — предѣлъ и начало ея жизни. Это—самая жизнь ея. Что же мудренаго, если для нея всякая женщина дѣлается личнымъ врагомъ, а первымъ качествомъ въ мужчинѣ — *удобоженимость*. Плачьте и проклинайте, но не бѣдную дѣвушку!»

Чаще всего Одоевскій прибѣгаетъ при характеристикахъ къ тонкой, мѣстами чисто грибоѣдовской иронiи. Вотъ, напримѣръ, точно современныя намъ разсужденія графа Сквирскаго о просвѣщеніи; онъ не согласенъ съ мнѣніемъ, что главное — нравственность, а просвѣщеніе — развратъ: «просвѣщеніе необходимо, и я это докажу вамъ, какъ дважды-два — четыре. Вѣдь что такое просвѣщеніе? Вотъ, напримѣръ, мой племянникъ: онъ вышелъ изъ университета, знаетъ всѣ науки: и математику, и по-латыни — имѣетъ аттестатъ, и вотъ ему всюду открыта дорога, — и въ коллежскіе асессоры, и въ дѣйствительные. Вѣдь позвольте сказать: просвѣщеніе просвѣщенію рознь. Вотъ, напримѣръ, свѣчка: она свѣтитъ, намъ бы нельзя было безъ нея въ вистъ играть; но я взялъ свѣчу и поднесъ къ занавѣскѣ, — занавѣска загорится...» («Княжна Мими»).

Указанные нами мотивы разсказовъ кн. Одоевскаго и ихъ искренняя правдивость и задушевность достаточно объясняютъ, почему, въ то время расцвѣта оффиціальной народности съ ея тремя девизами, молодежь зачи-

тывалась такими вещами, какъ «Бригадиръ», «Балъ», «Насмѣшка мертвеца». «Чтеніе такихъ произведеній, — говоритъ о нихъ Бѣлинскій (Соч. т. IX),—производитъ на молодую душу, свѣжую, не подвергшуюся нечистому прикосновенію житейской суеты, дѣйствіе электрическаго удара, потрясающаго всю нервную систему. И подобный нравственный ударъ оставляетъ въ юной, исполненной благороднаго стремленія душѣ самыя благодатныя слѣдствія. Мы знаемъ это по собственному примѣру, мы помнимъ то время, когда избранная молодежь съ восторгомъ читала эти пьесы и говорила о нихъ съ тѣмъ важнымъ видомъ, съ какимъ обыкновенно неофиты говорятъ о таинствахъ своего ученія».

Кромѣ самого Бѣлинскаго и кружка Станкевича, вліяніе Одоевскаго, какъ подражателя Гофмана, распространилось и на А. И. Герцена, восторгавшагося повѣстями его и повторившаго въ «Запискахъ д-ра Крупова» мысль, высказанную Одоевскимъ въ «Русскихъ ночахъ», и даже на Гоголя: извѣстенъ фантастическій колоритъ «Носа», «Шинели», «Портрета». Въ послѣдней повѣсти мрачная фигура страшнаго ростовщика представляетъ собою почти точное повтореніе фигуры доктора Сегеліеля въ повѣсти Одоевскаго «Импровизаторъ».

Кромѣ содержанія и формы беллетристическихъ произведеній князя Одоевскаго, на современниковъ производили впечатлѣніе и тѣ гаданія, темныя предчувствія, а иногда и парадоксы философскаго характера, которые онъ щедрою рукою бросалъ въ своихъ очеркахъ.

Выходъ изъ состоянія нравственной смерти, изъ «матеріализма» общества Одоевскій указываетъ въ наукѣ, философіи и искусствѣ. «Каждый человѣкъ,— говоритъ онъ,—долженъ образовать свою науку изъ существа своего индивидуальнаго духа (составить себѣ міровоззрѣніе, говоримъ мы въ настоящее время)... Изученіе должно состоять въ постоянномъ интегрированіи духа, въ возвышеніи его, другими словами—въ увеличеніи его самобытной дѣятельности». Личность, вооруженная знаніемъ, не ограничится самобытною дѣятельностью своего духа, сумѣетъ самобытно, т.-е. критически, во имя идеаловъ всесторонняго самосовершенствованія, отнестись и къ окружающей ее дѣйствительности, содѣйствуя уничтоженію въ обществѣ «матеріализма». Знаніе, наука, конечно, являются средствомъ для этого не въ качествѣ разрозненныхъ фактическихъ свѣдѣній схоластическаго или прикладного характера; въ такомъ видѣ наука можетъ представлять изъ себя ancillam theologiae или чего угодно. Напротивъ, она должна быть одухотворена одною мыслью, во имя живыхъ человѣческихъ интересовъ должна стремиться къ одной истинѣ, должна быть свободна и едина: лишь тогда она достигнетъ власти надъ всею природой.

Эта идея энциклопедизма въ наукѣ—любимая идея князя Одоевскаго,

и онъ былъ едва ли не первымъ выразителемъ ея въ Россіи. Вотъ какъ изображалъ онъ хаотическую рознь ученыхъ спеціалистовъ. «Скажите мнѣ сдѣлайте милость, химическій составъ тѣхъ или другихъ веществъ, употребляемыхъ въ пищу, какое можетъ имѣть вліяніе на организмъ человѣка и слѣдственно на одинъ изъ источниковъ общественнаго богатства?— Извините, это не по моей части: я занимаюсь лишь финансовою наукой.— Скажите, нельзя ли объяснить нѣкоторыя историческія происшествія вліяніемъ химическаго состава веществъ, въ разныя времена употреблявшихся человѣкомъ?—Извините, я не могу развлекаться изученіемъ исторіи: я— химикъ.—Скажите, дѣйствительно ли изящныя искусства, и въ особенности музыка, имѣютъ такое сильное вліяніе на смягченіе нравовъ, и какой именно родъ музыки?—Помилуйте, вѣдь музыка—такъ, забава, игрушка,—когда мнѣ ею заниматься? я—юристъ»... и т. д.

Такимъ же энциклопедистомъ былъ Одоевскій и въ жизни, слѣдуя своему правилу—не отказываться ни отъ какой дѣятельности, къ которой приводитъ жизнь, особенно русская жизнь, въ которой такъ мало умѣлыхъ работниковъ.

Тридцатые годы въ жизни русскаго общества отмѣчены лишь общимъ сознаніемъ неудовлетворенности; напомнимъ «Ревизора» и друг. произведенія Гоголя, съ знаменитымъ концомъ одного изъ нихъ: «Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!» Тогда только подготовлялось раздѣленіе интеллигенціи на враждебныя теченія западничества и славянофильства. Въ Одоевскомъ, какъ человѣкѣ тридцатыхъ годовъ, мы видимъ слитыми элементы обоихъ міровоззрѣній. Высокое значеніе, какое онъ придаетъ личности, и вѣра въ опытную науку, хотя и подернутыя туманнымъ философскимъ мистицизмомъ, приближаютъ его къ западникамъ. Но германскій романтизмъ и Шеллингъ были родоначальниками и славянофильства, и между Одоевскимъ и славянофилами также оказалось не мало точекъ соприкосновенія. Мы знаемъ, кромѣ того, что и лично въ эти годы Одоевскій былъ близокъ какъ съ Хомяковымъ и Кирѣевскимъ, такъ и съ Шевыревымъ даже, который доводилъ взгляды славянофиловъ до абсурда и въ 1841 году составилъ себѣ статьею въ «Москвитянинѣ» извѣстность пресловутымъ открытіемъ, что Западъ представляетъ собою не что иное, какъ разлагающійся трупъ.

На черты славянофильства во взглядахъ Одоевскаго обрушился Бѣлинскій при выходѣ въ свѣтъ въ 1844 г. трехъ томовъ сочиненій Одоевскаго. Но и Бѣлинскій соглашается съ Одоевскимъ, когда тотъ «говоритъ объ ужасахъ царствующаго въ Европѣ пауперизма, о страшномъ положеніи рабочаго класса, умирающаго съ голоду въ кровожадныхъ разбойничьихъ когтяхъ фабрикантовъ и разнаго рода подрядчиковъ, о всеобщемъ скептицизмѣ и равнодушіи къ дѣлу истины и убѣжденія» (рѣчь идетъ особенно

о Франціи средины и конца тридцатыхъ годовъ). Въ самыхъ парадоксахъ князя Одоевскаго (объ умственномъ истощеніи Запада, о великой миссіи Россіи и т. д.),—говоритъ критикъ,—больше ума и оригинальности, чѣмъ въ истинахъ у многихъ изъ нашихъ критическихъ акробатовъ».

Въ силу всего вышесказаннаго, Одоевскій является однимъ изъ самыхъ оригинальныхъ и замѣчательныхъ литературныхъ дѣятелей тридцатыхъ годовъ; эти годы были вмѣстѣ съ тѣмъ временемъ его наибольшаго вліянія, какъ писателя.

III.

Для сороковыхъ годовъ нужны были публицисты болѣе рѣшительные и энергичные, чѣмъ мягкій Одоевскій, который не сумѣлъ подорвать въ обществѣ довѣрія даже къ Булгарину, что было совершено лишь Ѳеофилактомъ Косичкинымъ (самимъ Пушкинымъ) и потомъ Бѣлинскимъ. Новыя силы опередили Одоевскаго, и онъ не пытался состязаться съ ними.

Въ это время среди литературныхъ кружковъ онъ былъ извѣстенъ болѣе какъ хозяинъ блестящаго литературнаго салона, нежели какъ писатель. Сближенія между аристократическими знакомыми Одоевскаго и литераторами, правда, было немного: первые собирались въ гостиной хозяйки дома, вторые биткомъ набивались въ тѣсный кабинетъ князя, заставленный книжными шкапами, физическими приборами, колбами и ретортами. Здѣсь было не слишкомъ удобно, но тѣмъ непринужденнѣе была бесѣда гостей и рѣчь хозяина. Къ нему были примѣнимы слова его о дядюшкѣ изъ разсказа «Эльса»: «въ немъ не было этихъ сужденій, давно вымоченныхъ и выдавленныхъ, какъ старая свекловица на сахарномъ заводѣ; въ немъ не было этихъ фразъ, которыя у иныхъ людей васъ ожидаютъ въ томъ или иномъ случаѣ, какъ надпись надъ банкою въ кунсткамерѣ, или какъ припѣвъ водевильнаго куплета».

Въ 1838 г. Шевыревъ, заѣзжавшій въ Петербургъ, сообщалъ въ письмѣ Погодину про петербургскую литературу, что «вся она на диванѣ Одоевскаго». Здѣсь раньше, чѣмъ гдѣ бы то ни было въ петербургской публикѣ, становились извѣстны всѣ литературныя и художественныя новинки; многое читалось авторами въ рукописи; Глинка приносилъ сюда свои только-что имъ набросанные романсы; здѣсь возникла и осуществилась мысль о празднованіи юбилея Крылова; здѣсь обсуждалась программа «Сельскаго Чтенія», о которомъ рѣчь будетъ нѣсколько ниже; здѣсь отражалась немедленно московская распря западниковъ и славянофиловъ, и т. д. Окруженный по самому происхожденію своему аристократическою чернью, Одоевскій радушно и дружески протягивалъ руку всякому, безъ различія званія и состоянія, кто имѣлъ хоть самое ничтожное, но ничѣмъ не запятнанное

литературное имя. Въ тѣ времена, когда Пушкину въ присутствіи великой княгини Елены Павловны приходилось проглатывать презрительныя замѣчанія пресловутаго цензора Красовскаго о литературѣ, и когда самъ Пушкинъ стыдился порою своей литературной извѣстности,—въ эти времена радушное отношеніе князя Одоевскаго къ литераторамъ имѣло свое общественное значеніе.

Вообще, какъ человѣкъ, онъ былъ совершенно чуждъ предразсудковъ своей среды. Въ первые годы службы его въ Петербургѣ случилось событіе, прекрасно характеризующее этого человѣка. Петербургская городская дума предложила званіе гласнаго одному аристократу. Важная особа презрительно отказалась, ссылаясь на свою родовитость. Узнавъ объ этомъ, князь Одоевскій, первый аристократъ въ Россіи по древности рода, угасшаго вмѣстѣ съ нимъ, самъ просилъ городской совѣтъ принять его въ гласные думы, что совѣтомъ, разумѣется, и было исполнено.

Онъ неотразимо привлекалъ къ себѣ всякаго хорошаго человѣка. «Отличительнымъ свойствомъ князя Одоевскаго,—говоритъ о немъ Кошелевъ,—было, что онъ прежде всего и болѣе всего былъ человѣкъ, братъ всякаго человѣка. Узнавать все до человѣчества относящееся и могущее быть для него пригоднымъ, дѣйствовать на пользу своихъ собратій и помогать ближнему и совѣтомъ, и дѣломъ, и своими небольшими достатками—было дѣломъ всей его жизни... Одоевскій глубоко, благоговѣйно уважалъ свободу личности всякаго человѣка и никогда не позволялъ себѣ рыться въ чужой совѣсти. Въ самыхъ искреннихъ бесѣдахъ онъ никогда и ни о комъ не говорилъ дурно,—напротивъ, всегда старался отыскивать лучшія побужденія, которыя могли заставить людей дѣйствовать такъ или иначе, и особенное наслажденіе онъ находилъ въ защитѣ обвиняемыхъ».

Въ своемъ участіи и готовности на помощь нуждающемуся, онъ часто ошибался, часто разные проходимцы его дурачили; онъ говорилъ только: «ну, что жъ? я ошибся», и снова принималъ всякаго, готовый оказать посильное содѣйствіе совѣтомъ, рекомендаціей, деньгами, наконецъ, которыми никогда не былъ богатъ. Вотъ одинъ фактъ, который стóитъ сотенъ другихъ. Когда Одоевскаго назначили на мѣсто въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, вдругъ къ нему приходитъ чиновникъ Соколовъ, работавшій въ энциклопедическомъ словарѣ Плюшара и давно ждавшій именно этого мѣста. Онъ откровенно и прямо объяснилъ это князю, говоря: «Для васъ это мѣсто ничто, для меня единственный кусокъ хлѣба. Вы—князь, богатый аристократическими связями; я—бѣдный труженикъ, не имѣющій никакой подпоры. Скажите, справедливо ли это?» Князь Одоевскій, въ отвѣтъ на эту прямую рѣчь, сказанную безъ свидѣтелей, сталъ извиняться: онъ ничего этого не зналъ. Тотчасъ велѣлъ заложить карету, посадилъ въ

нее Соколова и вмѣстѣ съ нимъ поѣхалъ къ министру выпрашивать свое мѣсто для Соколова.

Въ сороковые годы болѣе всего поглощало Одоевскаго благотворительное «общество посѣщенія бѣдныхъ», основанное преимущественно имъ и благодаря ему ставшее на ноги: онъ былъ во все время существованія общества предсѣдателемъ безсмѣнно.

«Акробаты благотворительности» заслуженно не пользуются у насъ популярностью. Говоря объ Одоевскомъ въ роли филантропа, рискуешь уже по тому одному встрѣтить недовѣрчивое отношеніе. Но часто бываетъ важно, особенно при внѣшнихъ неблагопріятныхъ условіяхъ, не то, что успѣлъ сдѣлать человѣкъ, но *какъ* онъ дѣлалъ. Одоевскій весь отдался «обществу», сумѣвши привлечь и увлечь массу лицъ. Въ члены общества, состоявшаго подъ покровительствомъ Наслѣдника Цесаревича, поступилъ великій князь Константинъ Николаевичъ. На-ряду съ представителями высшей аристократіи, дѣятельными членами общества были всевозможные служащіе, военные и статскіе, писатели, изъ которыхъ назовемъ графа Соллогуба, Панаева, Дружинина, Некрасова, Анненкова, Маркевича, Никитенко, и пр., и пр. Нѣкоторыя изъ учрежденій «общества», лѣчебница для приходящихъ имени герцога Лейхтенбергскаго, Кузнецовская школа и др., пережили самое общество, вызвавшее ихъ къ жизни.

Вотъ что говорилъ въ 1858 г. о филантропической дѣятельности Одоевскаго баронъ М. А. Корфъ, въ оффиціальномъ донесеніи, испрашивая Одоевскому, служившему съ 1846 г. помощникомъ директора Публичной Библіотеки, награжденіе чиномъ тайнаго совѣтника. «Онъ есть *дѣйствительный основатель* въ Россіи дѣтскихъ пріютовъ, Елизаветинской клиники для новорожденныхъ, Максимиліановской лѣчебницы для приходящихъ и творецъ ихъ уставовъ и упрощенной, усовершенствованной имъ отчетности. Впродолженіе девяти лѣтъ князь Одоевскій былъ ежегодно и единогласно избираемъ въ предсѣдатели правленія бывшаго общества посѣщенія бѣдныхъ, котораго *дѣлопроизводство въ послѣднее время равнялось дѣлопроизводству министерскаго департамента*, и эту тяжкую обязанность, разстроившую его здоровье, принималъ на себя, уступая настоятельнымъ требованіямъ бывшихъ попечителей общества—герцога Лейхтенбергскаго и государя великаго князя Константина Николаевича; когда же, по совершенно внѣшнимъ обстоятельствамъ, послѣдовало закрытіе общества, то онъ былъ назначенъ предсѣдателемъ его ликвидаціонной комиссіи».

Подчеркнутыя нами выраженія о размѣрахъ дѣлопроизводства тѣмъ многозначительнѣе, что одною изъ постоянныхъ задачъ и Одоевскаго, и всего общества было стремленіе уменьшить всякую формалистику, сокра-

тить, елико возможно, все бумажное производство, которое въ тогдашнихъ канцеляріяхъ достигало колоссальныхъ размѣровъ. Быть какъ можно только ближе къ дѣйствительнымъ жизненнымъ потребностямъ нуждающихся— всегда было стремленіемъ общества. Характеренъ для Одоевскаго въ этомъ отношеніи слѣдующій забавный эпизодъ, передаваемый въ воспоминаніяхъ Фета; онъ относится, собственно, къ шестидесятымъ годамъ, когда Одоевскій жилъ уже сенаторомъ въ Москвѣ, но его умѣстно привести здѣсь, въ связи съ рѣчью о расцвѣтѣ филантропической дѣятельности Одоевскаго.

Князь передавалъ Фету о реформахъ, какія онъ завелъ въ качествѣ почетнаго опекуна въ Екатерининскомъ институтѣ. «Спрашиваю у начальницы, какъ идутъ у дѣвицъ рукодѣлья?—Меня приводятъ въ залу, уставленную пяльцами. Я говорю: «прикажите, пожалуйста, убрать всѣ эти пяльцы; желающія вышивать могутъ исполнять это на рукахъ; а главное, пріучайте ихъ къ шитью бѣлья. Умѣютъ ли, напримѣръ, онѣ кроить и шить мужскія и женскія сорочки?» При послѣднемъ словѣ я вижу явное недоумѣніе на лицѣ начальницы. Но, не обращая на это вниманія, я спрашиваю: «умѣютъ ли онѣ кроить и шить мужскіе кальсоны?»—«Ахъ!» вырвалось изъ груди начальницы. — «Да, да! кальсоны, — продолжаю я:—мы должны понимать, кого мы готовимъ. Я не говорю о томъ, что каждая дѣвушка мечтаетъ о будущемъ мужѣ; но у большинства уже въ настоящую пору есть небогатый отецъ, дядя, братъ, которые нуждаются въ опытной рукѣ молодой хозяйки».

Въ томъ же практическомъ духѣ направлена была и дѣятельность «общества». По тому подъему настроенія и по увлеченію, съ какимъ работало «оно», его не безъ основанія сравнивали съ Новиковскими дружескимъ и типографскимъ обществами. Оно было въ сороковые годы однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ проявленій духа общественности.

Причиною закрытія общества была волна реакціи, хлынувшая у насъ послѣ европейскихъ событій 1848 г. Увидѣли что-то опасное въ томъ сближеніи, которое устанавливалось между многочисленными членами «общества». Вслѣдствіе этого «общество посѣщенія бѣдныхъ» лишилось сперва значительнаго числа членовъ, такъ какъ военнымъ было приказано оставить его, а потомъ, ради строгаго контроля надъ дѣйствіями общества, его присоединили къ Императорскому человѣколюбивому обществу. «Общество посѣщенія бѣдныхъ», въ цвѣтущую пору дѣятельности имѣвшее на своемъ попеченіи до 15 тысячъ семействъ, существовавшее безъ всякаго постояннаго капитала, лишь энергіей членовъ, быстро сѣло на мель подъ строгимъ бюрократическимъ управленіемъ. Одоевскій долго боролся. «Мы должны употреблять паровую машину, чтобы поднять соломинку»,—жаловался онъ. Ему приходилось, напр., *ходатайствовать о разрѣшеніи*

просить у губернатора позволенія на какой-нибудь благотворительный вечеръ. Когда началась турецкая и затѣмъ крымская война, притокъ пожертвованій совершенно прекратился, и въ 1855 г. Одоевскій ликвидировалъ общество. Зашла было рѣчь объ исходатайствованіи особаго отличія Одоевскому за его филантропическую дѣятельность: письмомъ на имя вел. кн. Константина Николаевича Одоевскій просилъ ничѣмъ не выдѣлять его изъ числа прочихъ членовъ общества.

«Я всегда отклонялъ отъ себя всякую награду по *благотворительнымъ* учрежденіямъ,—писалъ кн. Одоевскій;—ибо, въ моихъ глазахъ, занятія сего рода въ сравненіи со службою—не что иное, какъ всякое другое житейское занятіе; тамъ святой долгъ, здѣсь просто *добрая воля* и удовлетвореніе внутреннему влеченію. То, что я дѣлалъ, сдѣлалъ бы всякій другой при тѣхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ я былъ поставленъ»,—и онъ скромно указывалъ, что если «общество» и приносило какую-нибудь пользу, то лишь благодаря энергіи всѣхъ его главнѣйшихъ дѣятелей.

Поглощенный дѣлами «общества», кн. Одоевскій въ сороковые годы переиздалъ только «Дѣтскія сказки дѣдушки Иринея». Дѣти до сихъ поръ любятъ дѣдушку Иринея, немножко охотника почитать мораль, но добродушнаго и иногда забавнаго разсказчика. Въ русской дѣтской литературѣ, во всякомъ случаѣ, эти сказки были для своего времени самымъ выдающимся явленіемъ.

Еще болѣе серьезное историческое значеніе имѣетъ «Сельское Чтеніе», сборникъ популярныхъ статей для народа, изданный въ сороковыхъ годахъ и выдержавшій нѣсколько изданій. Цѣлый рядъ статей по естествознанію, сельскому хозяйству, біографическихъ принадлежалъ самому Одоевскому и долго былъ единственнымъ образцомъ сочиненій подобнаго рода. Замѣчательно, что славянофилы несочувственно отнеслись къ просвѣтительной попыткѣ Одоевскаго и ставили вопросъ, повторенный впослѣдствіи и «великимъ писателемъ земли русской»: можетъ ли оторванная отъ народа интеллигенція учить его чему-нибудь? Въ сферахъ внѣ-литературныхъ опытъ Одоевскаго былъ встрѣченъ недоумѣніемъ, какъ странная причуда аристократа, вздумавшаго учить чему-то крѣпостныхъ. Только Бѣлинскій заявилъ при появленіи въ свѣтъ первой книжки «Сельскаго Чтенія» (всего было издано 4), что она вѣсомъ своей внутренней цѣнности перетянетъ многіе пуды романовъ, повѣстей, драмъ—даже «патріотическихъ»; онъ отмѣтилъ заслугу Одоевскаго, понявшаго, что въ книгахъ для народа не мѣсто поддѣлкамъ подъ народность, шуткамъ и прибауткамъ, а что «простота языка должна быть только выраженіемъ простоты и ясности въ мысляхъ».

Г-жа Е. Некрасова въ первой изъ статей о «писателяхъ для народа

изъ интеллигенціи» («Сѣв. Вѣстн.» 1892 г., № 2) обстоятельно и подробно знакомитъ читателя съ очерками Одоевскаго для народа и прекрасно оцѣниваетъ его заслугу. «Онъ первый показалъ, о *чемъ* прежде всего и настоятельнѣе всего надо говорить съ народомъ и *какъ* надо говорить». И наше уваженіе къ этому начинателю цѣлой общедоступной для народа литературы еще увеличится, когда мы снова вспомнимъ, что этотъ аристократъ сталъ хлопотать о просвѣщеніи народа еще въ тотъ «жестокій вѣкъ», по выраженію поэта, когда даже гордость и слава русской литературы, Гоголь, могъ давать помѣщику грубыя наставленія, какъ обращаться съ мужикомъ, съ этимъ «неумытымъ рыломъ».

Вѣчно занятый, вѣчно чѣмъ-нибудь волнующійся, князь Одоевскій скоро сталъ непонятенъ въ кругу Плетнева, Жуковскаго, князя Вяземскаго. Плетневъ въ 1845 г. жаловался Жуковскому на сближеніе Одоевскаго съ редакціей «Отечественныхъ Записокъ» и говорилъ: «Въ немъ все еще остается что-то неразгаданное. Онъ къ чему-то стремится. Только въ намѣреніяхъ и поступкахъ его, въ цѣли и средствахъ, въ желаніяхъ и ихъ осуществленіяхъ столько несогласія и противорѣчій, что я готовъ признать его за существо, отъ природы обдѣленное какимъ-нибудь органомъ». Этотъ органъ, вѣроятно, можно было бы назвать «органомъ приспособляемости», которою Плетневъ съ пріятелями, пришедшими въ восторгъ отъ несчастной гоголевской «Переписки съ друзьями», обладали въ высокой степени.

Въ Петербургѣ кн. Одоевскій все болѣе и болѣе отходилъ отъ славянофиловъ, пустившихъ корни главнымъ образомъ въ Москвѣ. Издатель «Отеч. Зап.», гдѣ съ 1839 г. работалъ уже Бѣлинскій, А. Краевскій убѣдилъ Одоевскаго стать пайщикомъ журнала. Несмотря на постоянные споры съ Бѣлинскимъ, князь Одоевскій всѣмъ своимъ умственнымъ складомъ просвѣщеннаго европейца былъ, напр., къ Бѣлинскому ближе, чѣмъ къ москвичамъ, которые въ рѣдкіе наѣзды Одоевскаго въ Москву напрасно старались переманить князя на свою сторону. «Бѣлинскій былъ одною изъ высшихъ философскихъ организацій, какія когда-либо встрѣчались въ жизни»,—писалъ Одоевскій впослѣдствіи о «неистовомъ Виссаріонѣ», грозѣ и предметѣ ненависти Шевыревыхъ и прочихъ тогдашнихъ ультранаціоналистовъ.

Собственно Одоевскій никогда не раздѣлялъ славянофильскихъ взглядовъ на Петровскую реформу и совершенно обходилъ вопросъ вѣроисповѣдный, такъ рѣзко подчеркиваемый хоть Хомяковымъ, подъ-стать официальной народности. Когда въ началѣ сороковыхъ годовъ началась ожесточенная полемика между «словенами и западниками», когда проф. Шевыревъ, провозгласившій въ «Москвитянинѣ» гніеніе Запада, обрушился на «чер-

ную сторону» русскаго просвѣщенія, намекая на Бѣлинскаго съ друзьями,—Одоевскій не могъ не отшатнуться отъ славянщины. Шевыревъ при этомъ очень наивно удивился, что Одоевскому статья показалась голубою.

Къ 1847 году относится даже, пожалуй, черезчуръ рѣзкій отзывъ Одоевскаго о славянофилахъ, за которыми въ исторіи русскаго общества нельзя не признать важныхъ заслугъ. «Я теперь убѣждаюсь, — писалъ Одоевскій Кошелеву, — что всѣ эти господа славяне — всѣ тѣ же нѣмцы, только въ зипунахъ, выстроили себѣ рядъ словъ съ неопредѣленнымъ значеніемъ и думаютъ, что они ими все истолковали; а надо всѣмъ этимъ просто лѣнь помѣщичья, только вмѣсто преферанса или гранъ-пасьянса они раскладываютъ лѣтописи и потому считаютъ себя въ правѣ ни въ грошъ не ставить наши пріюты, рукодѣльни, общія квартиры, школы, простонародныя книги и прочую рухлядь, надъ которой мы потѣемъ, — у нихъ все это — Западъ и потому ересь».

Этотъ отзывъ, сдѣланный въ разгаръ тогдашней полемики Бѣлинскаго со славянофильствомъ и квасным патріотизмомъ, какъ нельзя лучше показываетъ, какъ живо воспринималъ Одоевскій все тогдашнее умственное движеніе.

Оно было прервано, какъ мы знаемъ, суровою семилѣтнею реакціей, которая началась съ 1848 года и во время которой у одного изъ славянофиловъ, у И. С. Аксакова, вырвались слѣдующія полныя отчаянія строки:

Пусть сгибнетъ все, къ чему сурово
Такъ долго духъ готовленъ былъ:
Трудилась мысль, дерзало слово,
Въ запасѣ много было силъ....
Слабѣйте, силы, — вы не нужны!
Засни ты, духъ, — давно пора!
Разсѣйтесь всѣ, кто были дружны
Во имя правды и добра!

Помимо дѣятельности служебной и филантропической (до 1855 г.), Одоевскому ничего другого не представлялось теперь. Общій уровень умственныхъ интересовъ въ то смутное время страшно упалъ. Въ литературѣ это было время статей о значеніи кочерги и объ исторіи ухвата,— время безпредметнаго зубоскальства Чернокнижникова (Дружинина) и Кузьмы Пруткова. «Странности», чудачества, которыя найдутся во всякомъ человѣкѣ, въ Одоевскомъ среди литераторовъ рѣзали глазъ въ это смутное время. «Никто болѣе Одоевскаго, — писалъ объ этомъ Панаевъ,— не принимаетъ серьезно самыя пустыя вещи и никто болѣе его не задумывается надъ тѣмъ, что не заслуживаетъ не только думы, даже вниманія». Одоевскій въ эту пору то чернокнижникъ и алхимикъ, то музыкантъ

и изобрѣтаетъ какой-то музыкальный инструментъ, то поваръ и пишетъ подъ именемъ доктора Пуфа ученую поваренную книгу, то изучаетъ френологію, или изобрѣтаетъ клеенчатые плащи и собирается писать о сардинскихъ кухаркахъ. И все-таки всѣ эти невинныя чудачества со стороны гораздо милѣе и привлекательнѣе карточной игры и разливаннаго моря, чѣмъ пробавлялись въ трудное время среди большинства литературныхъ кружковъ.

IV.

Наступило и новое царствованіе, отдали Севастополь, котораго, по откровенному признанію И. С. Аксакова, не сумѣла защитить вся Россія, и настали новыя вѣянія.

По наброскамъ и замѣткамъ князя за конецъ 50-хъ и 60-е годы, напечатаннымъ послѣ его смерти въ «Русскомъ Архивѣ», можно составить отчетливое понятіе, какъ живо откликался этотъ удивительный старикъ на всѣ почти вопросы дня и какъ трезво понялъ значеніе переживаемыхъ Россіей историческихъ моментовъ.

Въ свои замѣтки князь Одоевскій заноситъ свѣдѣнія о ходѣ военныхъ дѣлъ и дѣйствіяхъ союзниковъ. Общій смыслъ и постоянная нотка этихъ замѣчаній — наша культурная отсталость и дикость, которыя и были причиною, что даже въ военномъ дѣлѣ, которымъ мы такъ кичились, мы отстали отъ Европы. Въ декабрѣ 1855 г. Одоевскій восторженно встрѣчаетъ знаменитый циркуляръ великаго князя Константина Николаевича по морскому вѣдомству, — тотъ циркуляръ, гдѣ сочувственно цитировалась ходившая по рукамъ рукописная записка съ доказательствами, что бѣдственное положеніе Россіи вызвано многосложностью формъ и офиціальною ложью. «Ложь, многословіе и взятки, — пишетъ Одоевскій, — вотъ тѣ три піявицы, которыя сосутъ Россію; взятки и воровство покрываются этою ложью, а ложь — многословіемъ. Этотъ циркуляръ есть истинный подвигъ, больше полезный для государя и отечества, нежели взятіе Карса... Можно отличить человѣка честнаго отъ негодяя только потому, что онъ или contra циркуляра».

Гласность представлялась для Одоевскаго первымъ условіемъ борьбы съ нашею культурною отсталостью. Въ 1858 г. онъ пишетъ въ пользу гласности обстоятельную записку о цензурномъ уставѣ, вѣроятно, для поданія куда слѣдуетъ, доказывая, что цензурныя стѣсненія цѣли своей никогда не достигаютъ, а между тѣмъ сильно вредятъ мирному развитію мнѣній и общественныхъ взглядовъ. Соображенія князя Одоевскаго и по сегодняшній день не утратили ни интереса, ни справедливости.

Главное примѣненіе цензурныхъ правилъ Одоевскій видитъ въ томъ, что цензура призвана къ безплодной борьбѣ съ неопредѣлительностью че-

ловѣческаго языка и съ возможностью придавать одному и тому же предложенію разные смыслы. «Это открываетъ широкій просторъ цензору, если мотивы запрещенія выражены въ общемъ и неопредѣленномъ смыслѣ, тѣмъ болѣе, что одна и та же фраза,—какъ ежедневно показываетъ опытъ,—можетъ показаться сегодня невинною, завтра предосудительною». Въ защиту цензуры приводятся обыкновенно мнѣнія, которыя, по взгляду Одоевскаго, представляютъ собою просто оптическій обманъ. При ничтожности въ Россіи числа читателей, о вредѣ книгъ для публики ужъ по этому одному не можетъ быть рѣчи. «Другой опасный оптическій обманъ заключается въ предположеніи, что отъ книги переходятъ мысли въ общество. Такъ! Но только тѣ, которыя нравятся обществу; не нравящіяся обществу мысли падаютъ незамѣченными. Большею частью книги (кромѣ книгъ геніальныхъ, весьма рѣдко появляющихся) суть лишь термометръ идей, уже находящихся въ обществѣ. Разбить термометръ — не значитъ перемѣнить погоду, а лишь уничтожить средство слѣдить за ея перемѣнами. Тѣ или другія мысли являются въ обществѣ подъ вліяніемъ не книгъ, но тысячи многоразличныхъ и многосложныхъ, часто почти неуловимыхъ причинъ. Рядъ событій политическихъ, судебныхъ, административныхъ, семейныхъ ближе затрогиваетъ участіе публики, нежели всѣ явленія литературныя, интересующія немногихъ; и то, что называется мыслью, распространенною въ публикѣ, есть не что иное, какъ выводъ, болѣе или менѣе точный, изъ всѣхъ отдѣльныхъ толковъ, производимыхъ какимъ-либо происшествіемъ. Вся разница между рѣзкою мыслью въ говорѣ и въ печати та, что, по самому свойству литературной рѣчи, эта мысль является на письмѣ въ формѣ болѣе благообразной и, какъ уже напечатанная, въ большей части случаевъ или перестаетъ возбуждать говоръ, или порождаетъ другую мысль, противодѣйствующую первой и ослабляющую ея дѣйствіе».

Въ то же время онъ тонко иронизируетъ надъ тѣми, кто готовъ былъ видѣть въ гласности панацею, и надъ тѣми, кто спрашивалъ, можно ли на гласность хоть пару сапогъ купить. Гласность есть лишь одно изъ необходимыхъ *условій* нормальнаго развитія общественныхъ силъ всякой страны.

Начиная съ крестьянской реформы, князь Одоевскій радостно привѣтствуетъ преобразованія 60-хъ годовъ, какъ первыя необходимыя средства дальнѣйшаго мирнаго развитія Россіи. Въ его бумагахъ сохранилось по поводу дня 19-го февраля 1861 г. слѣдующее его четверостишіе, подписанное «русскій дворянинъ»:

Тобой свершилося желанное вѣками;
Возрадовалась Русь, довольна и горда,
И празднуетъ народъ молитвой и слезами
Великій первый день свободнаго труда.

19-е февраля онъ назвалъ *новымъ годомъ Россіи* и положилъ съ 1861 г. всегда праздновать канунъ этого дня ужиномъ.

Послѣднею мечтой князя Одоевскаго, которую онъ таилъ много лѣтъ, было написать исторію Россіи во второй половинѣ XIX вѣка. Онъ составилъ недавно опубликованную («Русск. Архивъ», 1895 г., май) записку Государю Александру II, съ просьбою открыть ему архивы и изложеніемъ своихъ взглядовъ на современное состояніе Россіи. «Ваше царствованіе начало новую эпоху Россіи, — писалъ Одоевскій: — это говорю не я: говоритъ все, что думаетъ и чувствуетъ въ Россіи». Въ черновой запискѣ находимъ изложеніе главнѣйшихъ гражданскихъ завѣтовъ новому періоду и вступленіе къ предположенной книгѣ.

«Какъ въ жизни отдѣльнаго лица, такъ и въ жизни государства, — писалъ Одоевскій, — есть эпохи, въ которыхъ сосредоточиваются всѣ или большая часть жизненныхъ явленій,—эпохи, задачи которыхъ готовятся въ теченіе столѣтій, наконецъ получаютъ разрѣшеніе и въ свою очередь вліяютъ на всѣ послѣдующія явленія. Таковы вообще для европейскаго міра были: открытіе новой части свѣта, книгопечатаніе, реформація. Таковы для Россіи эпохи: уничтоженіе удѣловъ и установленіе самодержавія, уничтоженіе мѣстничества, эпоха Петра Великаго, наконецъ, въ ближайшее къ намъ время, событіе, затмевающее своимъ значеніемъ всѣ до того бывшія событія: уничтоженіе крѣпостного состоянія, обнародованное въ великій день 19-го февраля 1861 г. Этимъ днемъ заканчивается древняя исторія Россіи и начинается новая. Здѣсь свѣтлая точка, которою освѣщается и прошедшее, и будущее нашего отечества; здѣсь тотъ центръ тяжести, точка упора, безъ котораго движеніе русскаго народа было бы немыслимымъ».

Въ вышеупомянутой запискѣ Государю кн. Одоевскій, между прочимъ, горячо защищалъ новый судъ и основы его, набрасывая яркими чертами картины дореформеннаго быта и указывая на необходимость борьбы со всѣми его остатками и отголосками.

«Рядомъ историческихъ, какъ роковыхъ, такъ и случайныхъ, событій въ большей части изъ насъ утвердилась мысль, что закона собственно не существуетъ, а есть только сила, присвоенная разнымъ степенямъ государственной іерархіи. Слѣдствіе такой мысли: убѣжденіе, что силѣ можно противодѣйствовать хитростью, до случая, когда можно противодѣйствовать силою же. Отсюда стремленіе почти каждаго изъ насъ имѣть, по поговоркѣ, длинныя руки; отсюда наши взаимные упреки въ недобросовѣстности; отсюда умѣющій обходить законъ почитается дѣльцомъ, практикомъ; отсюда и страшная пословица въ народѣ: помути Богъ народъ, накорми воеводъ. Это безвѣріе въ святость, неизмѣнность закона въ нижнихъ классахъ выражается тысячью грустныхъ поговорокъ, въ высшихъ—еще болѣе груст-

ными явленіями: здѣсь удивляются, если судья оскорбляется просьбою наклонить дѣло въ ту или другую сторону; здѣсь рѣшеніе дѣла не въ пользу того, о комъ *просили*, бываетъ причиною вражды и мщенія... Но изображеніе всѣхъ проявленій этого нравственнаго состоянія потребовало бы многихъ страницъ.

«Между тѣмъ потребность правды неподкупной не умерла въ народѣ; всякое дѣйствіе правительства для утвержденія этой правды принимается съ восторгомъ всею честною и добродушною частью народа».

Судебная реформа 1864 г. съ ея началами равенства предъ закономъ, гласности и устности судопроизводства была именно такимъ дѣйствіемъ правительства, и она нашла себѣ горячаго защитника въ лицѣ кн. Одоевскаго, извѣдавшаго всѣ отрицательныя стороны старыхъ судовъ. Слова его тѣмъ знаменательнѣе, что онъ заявляетъ: «я обязанъ говорить, ибо я былъ въ числѣ сомнѣвающихся (въ успѣхѣ новыхъ судовъ), а имя мое могутъ обратить во зло». Особенно кн. Одоевскій отстаивалъ независимость суда отъ администраціи, указывая на общественно-воспитательное значеніе такой независимости.

Вообще, новый судъ представлялъ для кн. Одоевскаго одно изъ звеньевъ цѣпи реформъ, отстаивая цѣлость которыхъ въ совокупности, онъ и обращался къ Государю съ такими словами:

«Государь! Мнѣ жить осталось недолго; я одною ногой въ могилѣ; я бездѣтный, послѣдній въ родѣ; нѣтъ и не можетъ быть у меня честолюбивыхъ помышленій, кромѣ желанія Вамъ служить вѣрой и правдой, пока станетъ силъ. Я могу ошибаться. Но не даромъ прошло для меня болѣе сорока лѣтъ дѣятельной, всегда чернорабочей жизни и постояннаго изученія Россіи. Я преданъ Вамъ не только по долгу вѣрноподданнаго, но, смѣю сказать, я люблю Васъ горячо, какъ человѣка, и за Ваши милости, и еще болѣе за Ваши благодѣянія Россіи. Дорого мнѣ Ваше величіе. Совершенныя Вами преобразованія велики и такъ всѣ удались, какъ будто вѣкъ существовали; такъ были они впору, и истинно да не остановятся они на своемъ пути; пусть созрѣваютъ они стройно и нетревожно. Небольшія затрудненія, нѣкоторыя увлеченія исчезнутъ сами собою, какъ больныя вѣтви на здоровомъ деревѣ. Всякія преждевременныя измѣненія потревожатъ умы, уже привыкшіе къ данному Вами направленію. Въ разныхъ кружкахъ, неизвѣстно изъ какого источника, ходитъ боязнь, что учрежденное Вами подвергнется измѣненіямъ въ важнѣйшихъ частяхъ и относительно судовъ, и относительно земства, и даже относительно крѣпостного состоянія. Эти опасенія хотя не имѣютъ никакого прочнаго основанія, но пугаютъ людей прямодушныхъ; если они уклонятся отъ дѣлъ, то очистятъ мѣсто для людей, не сочувствующихъ Вашимъ предначертаніямъ».

«Я происхожу отъ одной изъ древнѣйшихъ русскихъ фамилій; но я убѣжденъ: 1) что до тѣхъ поръ Россія будетъ сильна и спокойна, пока въ ней не заведется то, что на Западѣ называется аристократіей и что основано на совершенно иныхъ началахъ, нежели наше дворянство; 2) что не полезно, если народъ будетъ смѣшивать происхожденіе царское съ происхожденіемъ дворянскимъ; для народа царь есть существо особаго рода, а не дворянинъ; 3) что единственное привиллегированное сословіе у насъ есть царское семейство и никто болѣе, да и члены сего семейства суть подданные; 4) что самодержавіе вмѣстѣ съ 19 февраля 1861 года, 6 сентября 1865 г., 1 января 1864 г. и 20 января 1864 г. есть сила, доселѣ на Руси небывалая и которой еще долго, на сотни лѣтъ, станетъ для Россіи, если не нарушать связи частей этого четверогранника».

Близкій другъ великой княгини Елены Павловны, около которой въ тѣ приснопамятные годы группировались лучшіе дѣятели крестьянской реформы, кн. Одоевскій былъ охваченъ весь новымъ освободительнымъ движеніемъ; оно и поддерживало его силы въ той чернорабочей лямкѣ, которую онъ тянулъ, никогда не жалуясь. Лѣтомъ 1861 года онъ писалъ В. Н. Каншерову: «Я тяну мою служебную лямку, которая поглощаетъ значительную часть моей жизни, — конечно, не безъ горя о другихъ, болѣе мнѣ сродныхъ занятіяхъ, но что дѣлать! Въ Россіи еще нѣтъ ни отдѣльнаго пространства, ни отдѣльнаго времени для искусствъ; мы находимся еще почти въ положеніи первыхъ плантаторовъ Америки, когда *каждый* долженъ былъ быть и хлѣбникомъ, и сапожникомъ, и дровосѣкомъ; въ такія эпохи отказываться отъ скучнаго, сухого дѣла для труда болѣе привлекательнаго было бы, при извѣстной личной обстановкѣ, до нѣкоторой степени эгоизмомъ, особливо теперь, когда Россія зажила повою жизнью, когда кипитъ въ ней сильное благородное движеніе, когда всѣ отрасли общественной жизни, словно раскрытые рты, требуютъ здоровой разумной пищи, — а между тѣмъ безлюдье большое! Однѣми идеями не накормишь; въ этомъ отношеніи я люблю повторять слова Гумбольдта о Христоферѣ Колумбѣ: «онъ великъ не тѣмъ, что открылъ Америку, но тѣмъ, что въ нее поѣхалъ». Въ новомъ поколѣніи у насъ много людей-начинателей, но изъ нихъ большая часть не могли еще отдѣлаться отъ нашей славянской родовой болѣзни: ничего не додѣлывать. Трудъ сухой насъ еще пугаетъ во всемъ, какъ въ общественномъ быту, такъ и въ наукѣ, и въ искусствѣ... Надѣюсь, что мы отъ этого вылѣчимся, какъ вылѣчились уже отъ многаго, но для этого нужны суровые учителя: время и опытъ».

Свои взгляды на реформы 60-хъ годовъ князь Одоевскій цѣликомъ выразилъ также въ замѣткѣ по поводу 19-го февраля 1868 г. (за годъ до смерти). Реакція противъ освободительнаго движенія давно уже наступила,

но Одоевскій надѣялся, что она будетъ безсильна. Онъ заявляетъ, что не хочетъ вѣрить, чтобы былъ «хотя одинъ русскій, не понимающій, что крѣпостная барщина лежала какъ чурбанъ между самыми благими мѣрами и дѣйствительностью». «Если есть такіе несчастные,—продолжаетъ онъ,—то въ этотъ великій день да простятся имъ грѣхи ихъ, покуда—грѣхи невѣжества и легкомыслія. Если кто-либо изъ нихъ, въ преступномъ самозабвеніи, мечтаетъ о возможности тайною крамолой поколебать дѣло 19-го февраля, во всѣхъ благодатныхъ преобразованіяхъ оставить слова и украсть смыслъ, подпилить понемногу всѣ благія послѣдствія великаго дня: гласный и для всѣхъ равный судъ, независимость судей, земское хозяйство, свободную печать, потрясти довѣріе къ правительству, возбудить раздоръ между сословіями присвоеніемъ тому или другому неузаконенныхъ правъ,—словомъ (какъ бы досадуя на общее довольство и спокойствіе), стараться кутить и мутить во что бы то ни стало,—то все это продлится недолго, и наши торіи — Хлестаковы скоро образумятся самою сущностью дѣла. Не семибоярщины же, не удѣльной же системы они добиваются! Или и эта мысль входитъ въ ихъ пустопорожнія головы? Несчастные вертопрахи, которые промышляютъ запугиваніемъ, сами, наконецъ, испугаются, видя, что всѣ ихъ продѣлки могутъ имѣть лишь два слѣдствія: въ настоящемъ—презрительное негодованіе, въ будущемъ—клеймо позора».

Что сказалъ бы теперь этотъ бѣдный шестидесятилѣтній мечтатель?!

Еще прямѣе говорилъ онъ въ 1865 году по поводу голосовъ, слышавшихся среди высшей аристократіи о необходимости «боярской думы» и т. п. «Господи Боже мой!—восклицалъ онъ въ письмѣ 13-го янв. 1865 г. къ Я. О. Орлу-Ошмянцеву,—что за... не скажу ослы, а что за безплодные лошаки! Нѣсколько глупыхъ фразъ—и увлечены; полагаютъ, что либеральничаютъ, и не видятъ, глупые, что они игрушка такого направленія, которое противно всей нашей исторіи, всему нашему быту, всѣмъ истинамъ, какія только выработало человѣчество потомъ и кровью.—Заводить *олигархію*, хуже веницейской,—и гдѣ же? въ Россіи! — Что всего хуже, такія штучки—совершенная лафа для людей, кои возстаютъ противъ настоящихъ преобразованій.—«Смотрите», говорятъ они, «какъ мы предсказывали, такъ и вышло; вотъ къ чему ведутъ свобода слова, свобода печати, гласныя и публичныя учрежденія; а вотъ какъ будетъ гласный судъ, такъ увидите, что выйдетъ!»—Если вся эта продѣлка не будетъ имѣть вліянія на уставъ книгопечатанія, нынѣ разсматриваемый, то это будетъ чудо *).—Въ этомъ сущее горе, а не то пусть бы ихъ тѣшились пустопорожними рѣчами и размазывали свое протухлое барство.—Что за невѣже-

*) Опасенія кн. Одоевскаго оказались вполнѣ основательны.

ство, что за незнаніе своего края, что за податливость на всякую чушь, лишь бы она пріятно щекотала помѣщичью косточку!» — По этому поводу онъ даже вступилъ было въ полемику съ крѣпостническою «Вѣстью», отъ чтенія которой одичалъ щедринскій помѣщикъ.

Однако, общественныя реформы, въ наиболѣе живое время ихъ, защищались людьми самыми различными,—и западниками, и славянофилами, и либеральными бюрократами, и людьми, мечтавшими о семибоярщинѣ и имѣвшими въ виду именно «оставить слова и украсть смыслъ», по мѣткому выраженію Одоевскаго. Заглянемъ поэтому глубже въ психологію его. Мы увидимъ, что предъ нами человѣкъ, не только внѣшне воспринявшій вѣянія времени, но человѣкъ, весь умственный и нравственный складъ котораго гармонируетъ съ глубокими теченіями тогдашней общественной мысли.

Прежде всего слѣдуетъ указать, что Одоевскій къ этому времени совершенно отрѣшился отъ славянофильскихъ взглядовъ, если не считать, что страстная вѣра въ способность русскаго народа къ развитію и прогрессу дѣлаетъ человѣка славянофиломъ. Въ 60-е годы славянофилы, долго не имѣвшіе спеціальнаго органа печати, получили, наконецъ, возможность высказаться. Наибольшое значеніе въ полемикѣ, тянувшейся уже съ начала сороковыхъ годовъ, придавалось вопросу о «народности». Въ эпоху реформъ онѣ были подведены подъ это условное и какъ угодно растяжимое понятіе. Но это обстоятельство не заслонило отъ князя В. Ѳ. Одоевскаго исключительности понятія о народности, той исключительности, что сближала славянофиловъ то и дѣло какъ съ офиціальною народностью предыдущаго царствованія, такъ и съ юродивымъ Аскоченскимъ, «получеловѣкомъ», по выраженію Одоевскаго. Ясность и точность возраженій Одоевскаго противъ смутной идеи народности, какъ ни небрежны они по своей формѣ, не имѣютъ уже ничего общаго съ метафизическими представленіями его юности объ угасающемъ Западѣ и блестящемъ будущемъ Востока.

«Наши неудачи,—говоритъ онъ,—просто слѣдствіе нашего незнанія и рукавоспустія. А что толкуютъ гг. славянофилы о какомъ-то допотопномъ славяно-татарскомъ у насъ просвѣщеніи, то оно пусть при нихъ и остается, пока они не покажутъ намъ русской науки, русской живописи, русской архитектуры—въ допетровское время; а какъ по ихъ мнѣнію вся эта допотопная *суть* сохранилась лишь у крестьянъ, т.-е. у крестьянъ, не испорченныхъ такъ называемыми балуй-городами, какъ, напр., Петербургъ, Москва, Ярославль и пр. т. п., то мы легко можемъ увидѣть сущность этого допотопнаго просвѣщенія въ той безобразной кривулѣ, которою нашъ крестьянинъ царапаетъ землю, на его едва взбороненной нивѣ, въ его посѣвахъ кустами, въ неумѣніи содержать домашній скотъ, на

который, изволите видѣть, ни съ того, ни съ сего находитъ чума, такъ—съ потолка, а не отъ дурного ухода; въ его курной избѣ, въ его потасовкѣ женѣ и дѣтямъ, въ особой привязанности свекровъ къ молодымъ невѣсткамъ; въ неосторожномъ обращеніи съ огнемъ и, наконецъ, въ безграмотности. Довольно! Допотопное просвѣщеніе во всей красѣ своей!» «Народность,—еще рѣшительнѣе заявляетъ онъ въ одномъ мѣстѣ,—есть одна изъ тѣхъ наслѣдственныхъ болѣзней, которою умираетъ народъ, если не подновитъ своей крови духовнымъ и физическимъ сближеніемъ съ другими народами».

Только въ общечеловѣческомъ просвѣщеніи—спасеніе отъ владѣющей русскими косности ума и воли, отъ духовной лѣни, противъ которой безсиленъ былъ бы самъ Фурье, со своею теоріей страстей, потому что эта страсть, замѣчаетъ Одоевскій, у насъ сильнѣе всѣхъ остальныхъ. «Просвѣщеніемъ вырабатывается достоинство человѣческое вообще, полупросвѣщеніемъ—лишь національность, т.-е. отрицаніе общечеловѣческихъ правъ».

Говоря объ общечеловѣческомъ просвѣщеніи, Одоевскій, конечно, имѣлъ въ виду не одну грамотность. Однако, въ виду нынѣшней путаницы понятій на этотъ счетъ, нелишне привести его подлинныя слова. «А наши умники?!—иронизируетъ онъ:—кто вовсе считаетъ и грамоту дѣломъ безполезнымъ, кто хочетъ держать нашихъ умныхъ, но вполнѣ невѣжественныхъ поселянъ на Часовникѣ! Какой нехристь будетъ отвергать и религіозную, и нравственную пользу Часослова и Псалтири? Но какой неучъ будетъ считать ихъ достаточными не только для геологическихъ, минералогическихъ, ботаническихъ, вообще для физическихъ свѣдѣній, но даже для содѣйствія ихъ наблюденію природы, къ уразумѣнію промышленныхъ видовъ, къ предметамъ, отъ коихъ зависитъ благосостояніе, даже безопасность страны?»

Философскою основой и подкладкой общественно-просвѣтительныхъ взглядовъ Одоевскаго является враждебный славянофильству и всякой догматикѣ широкій индивидуализмъ, зачатки котораго мы отмѣтили въ воззрѣніяхъ Одоевскаго 30-хъ годовъ и который теперь вполнѣ созрѣлъ; Одоевскій, слѣдовательно, развивался параллельно тому теченію русской мысли, которое проявилось въ дѣятельности Бѣлинскаго, Грановскаго, Герцена, пережило смутную эпоху пятидесятыхъ годовъ, вполнѣ выяснилось въ шестидесятые годы, и вполнѣ живуче, несмотря ни на что, и въ наши смутные дни. Вотъ данныя изъ profession de foi Одоевскаго.

«Подъ условнымъ словомъ здоровье,—говоритъ онъ,—мы разумѣемъ рядъ такихъ (нормальныхъ) выдыханій и тому подобныхъ органическихъ отправленій; отдѣльно отъ такихъ словъ здоровье не имѣетъ никакого смысла, какъ слова Иванъ, Петръ отдѣльно отъ человѣка, который называется

Иваномъ, Петромъ. Такъ, общество есть не что иное, какъ собраніе людей, индивидуальностей, и отдѣльно отъ людей слово общество есть также нѣчто въ родѣ Петра или Ивана, вывѣска, отдѣленная отъ магазина, къ которому она принадлежитъ». Въ примѣръ ложнаго пониманія, что̀ такое общество, народъ, отечество, Одоевскій приводитъ французскихъ террористовъ въ родѣ Марата, для которыхъ спасаемая ими «Франція была существомъ совсѣмъ отдѣльнымъ отъ французовъ, схоластическою субстанціей, отдѣльно отъ акцидентовъ, т. е. отъ людей, составляющихъ общество». «Жизненная сила индивидуумовъ—въ обществѣ, какъ жизненная сила ячеекъ въ организмѣ,—не въ мозгу, не въ крови, не въ нервахъ, но въ ячейкахъ. Внѣшній ударъ пагубенъ обществу лишь потому, что пагубенъ индивидуумамъ».

Такимъ образомъ личность, ея достоинство и ея правда для Одоевскаго на первомъ планѣ. Наука, царству которой нѣтъ предѣла, даетъ могучія средства для гармоническаго и всесторонняго совершенствованія личности и вмѣстѣ для совершенно устроеннаго общества, объединяющаго личности. Эта глубокая вѣра въ науку и вражда ко всякому на вѣру признанному авторитету, который непремѣнно родитъ мертвящую схоластику, также сближаетъ Одоевскаго съ лучшими стремленіями шестидесятниковъ, хотя онъ и былъ чуждъ увлеченія голымъ матеріализмомъ, какъ нравственно-философскою системой.

Онъ то ѣдко острить, то до глубины души возмущается схоластикою, въ какой бы области онъ ее ни видѣлъ. «Галилею, когда онъ открылъ юпитеровыхъ спутниковъ, птоломеисты отвѣчали, что это нелѣпо, ибо не можетъ быть болѣе 7 планетъ, потому что въ тѣлѣ человѣческомъ только семь отверстій: два уха, два глаза, двѣ ноздри и ротъ. А еще коечто, злодѣи, и забыли!» «Какъ только наука начинаетъ подчиняться какому-либо авторитету, кромѣ авторитета фактовъ, выработанныхъ добросовѣстнымъ наблюденіемъ, такъ становится безплодною». «Наука смирила человѣческую гордость. Она одна показала человѣку, что онъ не знаетъ даже пространства своего незнанія; съ той минуты палъ догматизмъ, выраженіе величайшей самонадѣянности». «Величайшее зло, больше нежели Вольтеръ и Болинброкъ, нанесъ религіи тотъ, кто осмѣлился выговорить: «credo, quia absurdum». «Les accéssoires religieux comme des branches gourmandes tuent toujours l'arbre qui les porte».

Наука,—вѣритъ Одоевскій,—должна исцѣлить и преобразить человѣчество и въ матеріальныхъ условіяхъ его жизни, и въ нравственныхъ его стремленіяхъ, потому что, какъ живое цѣлое, она рано или поздно сольется со всѣмъ человѣчествомъ, въ которомъ вѣчно живы нравственныя и умственныя потребности. Теперешнее состояніе человѣчества онъ характе-

ризуетъ однимъ словомъ—*недовольство*. «Это болѣзненное состояніе походитъ на тотъ моментъ, когда птица роняетъ перья, змѣя смѣняетъ кожу, гусеница хочетъ разорвать свою куколку. Общее тайное слово, выговариваемое человѣчествомъ: «приспѣло время мое». Нельзя не предчувствовать какой-то важной реформы въ общественномъ устройствѣ всего міра; въ чемъ она будетъ состоять, неизвѣстно... То, что называютъ судьбами міра, зависитъ въ эту минуту отъ рычажка, который изобрѣтается какимъ-то голоднымъ оборвышемъ на какомъ-то чердакѣ въ Европѣ или Америкѣ и которымъ рѣшится вопросъ объ управленіи аэростатами».

Стремленіе познать при посредствѣ опыта, наблюденія и наведенія вселенную и отношеніе личности къ ней и другимъ людямъ Одоевскій сравниваетъ со стремленіемъ математической величины 0,6666... къ ея предѣлу $^2/_3$. «Мы бы назвали нелѣпымъ того, кто бы принялся отыскивать дѣйствительное частное, происходящее отъ дѣленія 2 на 3. А между тѣмъ, сколько людей, которые требуютъ, чтобъ имъ показали конечную причину вещей... Человѣчество сдѣлаетъ великій шагъ, когда увѣрится во всѣхъ сферахъ своей дѣятельности, что формула $^2/_3$ есть лишь условный знакъ дѣленія 2 на 3, но не дѣйствительное искомое частное. Тогда, при убѣжденіи въ этой истинѣ, выведенной изъ разсмотрѣнія столь всѣмъ доступнаго явленія, рушатся безвозвратно всѣ схоластическія разглагольствованія объ абсолютныхъ идеяхъ, о врожденныхъ идеяхъ, а равно и ожиданія, что когда-либо, напр., при большемъ усовершенствованіи человѣчества, эти абсолютныя идеи упадутъ намъ съ потолка, и 0,666... вполнѣ сольется съ $^2/_3$».

Подобнымъ же образомъ,—убѣжденъ кн. Одоевскій,—и человѣчество въ его сознательномъ стремленіи впередъ все болѣе и болѣе будетъ приближаться къ идеалу, указываемому наукою.

Такое пониманіе науки вводитъ въ нее и самого человѣка со всѣми его стремленіями и запросами, такъ что живое цѣлое науки становится всеобъемлющимъ. Наука, такъ понимаемая, предполагаетъ сознательную выработку каждою личностью общихъ жизненныхъ убѣжденій: «всякое безсознательное убѣжденіе есть явленіе искусственное, изнасилованное»,—говоритъ Одоевскій. «Всѣ мы—дѣти одной матери—науки; она ведетъ насъ по пути жизни и спасаетъ насъ отъ пропастей и обрывовъ. Какъ добрая мать, она даетъ всякому только то, что онъ можетъ снести. Не все она знаетъ, но что знаетъ, того не лжетъ». И это руководительство науки, въ томъ всеобъемлющемъ значеніи слова, какое ему придавалъ Одоевскій, будетъ расти по мѣрѣ того, какъ она будетъ претворяться въ жизнь. «Когда въ человѣчествѣ выработаются истины, какъ математическія теоремы, то мѣсто такъ называемыхъ общихъ убѣжденій заступитъ общее *разумѣніе*. Человѣкъ не будетъ дѣлать зла не потому, что оно запрещено, но

по той же причинѣ, почему теперь никто не станетъ утверждать, что 2×2=5».

И практическую жизненную философію свою, построенную и прочувствованную на такихъ основахъ, доступную всякому, Одоевскій формулируетъ слѣдующими прекрасными словами: «Опыты, наблюденія, исторія, словомъ—все, что намъ доступно, убѣждаетъ насъ, что всякій человѣкъ, отдѣльно взятый, не можетъ удовлетворить вполнѣ ни одной изъ своихъ потребностей: любви, истинѣ, эстетическому элементу. Человѣкъ страждетъ и въ обществѣ, при отсутствіи истины въ обширнѣйшемъ смыслѣ, при отсутствіи любви, при отсутствіи эстетическихъ ощущеній. Будемъ же помогать другъ другу: любовью, которой возможное осуществленіе въ религіи; истиною, которой осуществленіе въ наукѣ; эстетическимъ стремленіемъ, котораго осуществленіе въ искусствѣ».

Чрезвычайно живо изложено и юношески свѣжо по мысли и привлекательно раздумье Одоевскаго, вызванное въ немъ тургеневскимъ «Довольно!»

«Въ минуту внезапной усталости художникъ вымолвилъ слово «Довольно!»—широкое и коварное слово! Какъ!—взялъ онъ у насъ родное русское слово, въ своихъ произведеніяхъ пріучалъ насъ читать самихъ себя,—и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, художникъ говоритъ: «будетъ съ васъ! довольно!» Нѣтъ! Такъ легко съ нами онъ не раздѣлается! Своею умною мыслью, своею изящною рѣчью онъ закабалилъ себя намъ; намъ принадлежитъ каждая его мысль, каждое чувство, каждое слово! они—наша собственность и мы не намѣрены уступить ее даромъ»...

«Довольно, потому что все извѣдано, потому что все было, все повторялось, повторяется тысячу разъ: и соловей, и заря,. и солнце». Что если бы какая чудодѣйная сила потѣшила художника, и, въ угоду ему, ничто бы въ мірѣ не повторялось? соловей бы пропѣлъ въ послѣдній разъ, солнце не взошло бы завтра, кисть навсегда бы засохла на палитрѣ, порвалась бы послѣдняя струна, замолкъ бы человѣческій голосъ, наука выговорила бы свое послѣднее слово?—Что же затѣмъ? Мракъ, холодъ, безконечное безмолвіе ума и чувства... О! тогда человѣкъ дѣйствительно получилъ бы право сказать: довольно! т.-е. дайте мнѣ опять тепла, свѣта, рѣчи, пѣнія соловья, шелеста листьевъ въ полумракѣ лѣса, дайте мнѣ страданіе, дайте просторъ моему духу, развяжите его дѣятельность, хотя бы въ ней была для меня отрава... словомъ, возсоздайте неизмѣняемость законовъ природы! Пусть снова возникнутъ предо мною неразрѣшенные вопросы, сомнѣнія, пусть солнце будетъ равно отражаться и въ безбрежномъ морѣ, и въ каплѣ утренней росы, повисшей на былинкѣ.»

«Въ самомъ ли дѣлѣ мы когда-нибудь старѣемся?—спрашиваетъ этотъ удивительный старикъ.—Этотъ вопросъ подлежитъ еще большому сомнѣнію. То, что я думалъ, чувствовалъ, любилъ, выстрадалъ вчера, за 20, 40 лѣтъ, не состарѣлось, не прошло безслѣдно, не умерло, но лишь преобразилось; старая мысль, старое чувство отзывается въ новыхъ чувствахъ; на мое новое слово, какъ сквозь призму, ложится разноцвѣтный оттѣнокъ бывшаго...»

«Прочь унынiе! прочь метафизическія пеленки!—восклицаетъ онъ, смѣло глядя на пропасть конца—могилы.—Не одинъ я въ мірѣ, и не безотвѣтенъ я предъ моими собратьями—кто бы они ни были: другъ, товарищъ, любимая женщина, соплеменникъ, человѣкъ съ другого полушарія. — То, что я творю,— волею или неволею, пріемлется ими; не умираетъ сотворенное мною, но живетъ въ другихъ жизнью безконечною. Мысль, которую я посѣялъ сегодня, взойдетъ завтра, черезъ годъ, черезъ тысячу лѣтъ; я привелъ въ колебаніе одну струну, оно не исчезнетъ, но отзовется въ другихъ струнахъ гармоническимъ гласовнымъ отданіемъ. Моя жизнь связана съ жизнью моихъ прапрадѣдовъ; мое потомство связано съ моею жизнью. Неужели что-либо человѣческое можетъ быть мнѣ чуждо? Всѣ мы—круговая порука...»

«Никто еще не подвергался такой напраслинѣ, какъ судьба-невидимка,—продолжаетъ онъ.—Всѣ мы больны одною болѣзнью—*«неприложеніемъ рукъ»*, но мы какъ-то стыдимся этой болѣзни и находимъ удобнѣе сваливать продукты нашей лѣни на судьбу,—благо она безотвѣтна. Съ «самозабвеніемъ и самопрезрѣніемъ» далеко не уйдешь; нужна во всѣхъ случаяхъ жизни извѣстная доля самоувѣренности: въ битвѣ ли съ жизнью, въ битвѣ ли съ общественною мыслью. Надобно умѣть прямо смотрѣть въ глаза другу и недругу, и успѣху, и неудачѣ».

«Еще разъ—не погибаетъ ничто, ни въ дѣлѣ науки, ни въ дѣлѣ искусства; проходятъ, сокрушаются временемъ ихъ вещественныя проявленія, но духъ ихъ живетъ и множится. Правда, не безъ борьбы достается ему эта жизнь, но самая эта борьба, записанная исторіей, есть для насъ назиданіе и одобреніе на дальнѣйшее подвиженье (прогрессъ)... Будетъ время, когда силы ума и тѣла не будутъ тратиться на взаимоистребленіе, а на взаимосохраненіе; данныя, выработанныя наукою, проникнутъ во всѣ слои общества, и вопросъ о продовольствіи (народныхъ массъ) дѣйствительно уподобится вопросу о пользованіи водою и воздухомъ...»

Но оставимъ космополитическую сферу,—заканчиваетъ кн. Одоевскій свои размышленія, изъ которыхъ мы передаемъ лишь наиболѣе характерное,—и приложимъ нашу мысль къ тому, что намъ ближе,—къ дорогой намъ всѣмъ Россіи. Скажемъ ли мы ей слово «Довольно!»?... Все великое

дѣло (19 февраля 1861 г.) сгибнетъ, если не найдемъ достойныхъ дѣлателей, и нужно ихъ не одинъ и не два. Есть ли возможность предаться бездѣйствію и сказать: «Довольно!»?—Не бѣда, что мы старѣемся; и въ послѣднія минуты мы не скажемъ Россіи, какъ гладіаторы римскому цезарю: «умирая, мы съ тобой раскланиваемся»; но припомнимъ: Go ahead, never mind, help yourself!—что по-русски переводится: брось прохладушки, недѣланнаго дѣла много!»

«Не довольно!» князя Одоевскаго приводитъ на память извѣстные стихи поэта про «святое недовольство»,—то недовольство,

...при которомъ нѣтъ
Ни самообольщенья, ни застоя,
Съ которымъ и на склонѣ нашихъ лѣтъ
Постыдно мы не убѣжимъ изъ строя,—
То недовольство, что душѣ живой
Не дастъ возстать противу новой силы
За то, что заслоняетъ насъ съ собой,
И старцамъ говоритъ: „пора въ могилы!"

Въ цитированной запискѣ для Государя кн. Одоевскій сочувственно говорилъ объ этой новой силѣ, о молодежи, подвергавшейся многимъ незаслуженнымъ нареканіямъ и заподозриваніямъ. Въ то время вопросъ объ «отцахъ и дѣтяхъ» былъ очень обостренъ, и «отцы», какъ извѣстно, достаточно часто винили дѣтей въ предосудительныхъ мнѣніяхъ, а волненіе молодежи ставили въ связь съ ненавистными имъ реформами. Кн. Одоевскій объяснялъ вполнѣ справедливо рѣзкости и крайности молодого поколѣнія, такъ называемый «нигилизмъ», какъ реакцію прежнимъ дореформеннымъ впечатлѣніямъ: «тревожное состояніе молодыхъ умовъ есть еще остатокъ впечатлѣній, бывшихъ до 19-го февраля».

«Откуда взялось то направленіе, которое обратило на себя вниманіе правительства?—писалъ кн. Одоевскій.—Что видѣли дѣти большей, къ сожалѣнію, части семействъ? Отецъ бралъ взятки съ живого и мертваго. Для семействъ это не было тайною; напротивъ, взяточникъ хвастался своими подвигами за самоваромъ, за попойкою; получивъ хорошій кушъ, онъ давалъ денегъ на платье, дѣтямъ—на *жуировку* *). Теперь за тѣмъ же самоваромъ дѣти слушаютъ гореванье объ уничтоженіи крѣпостного права; иные родители отказываютъ дѣтямъ въ деньгахъ, ссылаясь на то, что теперь уже нельзя брать оброка впередъ, и на прочія тому подобныя вещи. Другіе видѣли въ дѣтствѣ всѣ ужасы помѣщичьяго права—не только наказаніе, но битье холоповъ изъ одного удовольствія бить; видѣли, какъ помѣщики

*) Техническое выраженіе 30-хъ годовъ у игроковъ и взяточниковъ.

могли брать въ любовницы любую женщину, а въ случаѣ нужды отдавать мужа въ солдаты или ссылать на поселеніе; видѣли не только взятки, но и всякую неправду судей по движенію страсти или въ угоду сильныхъ или просто пріятелей; видѣли, словомъ, противорѣчіе между общественнымъ бытомъ и тѣмъ, чему ихъ учили въ классахъ катехизиса или философіи. Это противорѣчіе не осталось безъ дѣйствія. Все это не должно ли было возбудить волненіе въ молодыхъ душахъ? Не должно ли было состояніе такого общества имъ показаться невыносимымъ?»

«У всѣхъ на памяти, какъ самые добрѣйшіе помѣщики считали ни за что выдать дѣвицу замужъ поневолѣ, подарить человѣка, напр., мастерового или красивую женщину, секретарю, у котораго производится тяжба. Что происходило у злыхъ помѣщиковъ, о томъ довольно извѣстно. Но и не старики запомнятъ, какъ иногда взыскательная барыня не только била дѣвочекъ аршиномъ, но даже заставляла ихъ лизать языкомъ нечистоты, забытыя ими на полу. А изнасилованныя, а засѣченныя до смерти! Въ сенатѣ недавно судилось дѣло Вихвицкаго, повѣреннаго Кочубеевъ, который изнасиловалъ нѣсколько десятковъ женщинъ и засѣкъ до десятка мужчинъ; и все это закрывалось задаренною полиціей, врачами и судьями *). А сколько дѣтей, прижитыхъ съ крѣпостными и записанныхъ въ ревизскія сказки!»

«По естественному ходу вещей, юноши рады были обратиться къ такимъ теоріямъ, которыхъ творцы брались уничтожить всѣ эти противорѣчія между закономъ, вѣрою, правдою и жизнью, каковы, напр., Сенъ-Симонъ, Фурье, Овенъ, Контъ и другіе менѣе крупные соціалисты. Ни съ одной площади не проповѣдывались эти ученія; профессора боялись и упоминать о нихъ, и тѣмъ хуже: эти теоріи оставались безъ опроверженія; а между тѣмъ книги о нихъ, доставаемыя съ трудомъ, по самому этому прочитывались отъ доски до доски и, очевидно, могли увлекать молодое воображеніе возможностью осуществить всю эту фразеологію».

«Единственное спасеніе — возбудить любовь къ наукѣ и стараться, чтобы печать разсужденіями, насмѣшками уничтожала или ослабляла вредныя для государства понятія. — Изъ того, что какой-либо отъявленный негодяй читалъ Фейербаха или Бюхнера, отнюдь нельзя заключать, что всѣ читавшіе эти бредни должны сдѣлаться негодяями. Изъ семинарій

*) „Такъ закрывалось, что я, возмущенный до глубины души этимъ дѣломъ, долженъ былъ, помня о моемъ судейскомъ долгѣ, съ горестью въ сердцѣ, выразить мнѣніе, что преступленіе Вихвицкаго документами, находящимися въ дѣлѣ, не можетъ быть доказано, и испросить монаршее соизволеніе рѣшить сіе дѣло по совѣсти". Это примѣчаніе кн. Одоевскаго до нѣкоторой степени характеризуетъ его дѣятельность въ сенатѣ.

вышли Добролюбовъ, Чернышевскій, Помяловскій.—Отсюда*) наивныя глупости въ родѣ слѣдующей: намъ нужны не науки, а нужны идеи! — Но ни одна теорія не долговѣчна: она послѣ нѣкотораго времени сдается юношею въ архивъ. Иное происходитъ съ возбужденіями, ежедневно возобновляющимися въ домашнихъ, семейныхъ кружкахъ. Здѣсь есть личности, и ихъ довольно, которыя никогда не помирятся съ мыслью, что нельзя дѣвицу притащить къ себѣ въ постелю и надбавить на мужика оброка. Это одно они читаютъ между строкъ во всѣхъ фразахъ своихъ корифеевъ, и этому одному они рукоплещутъ, и ничѣмъ инымъ нельзя удовлетворить ихъ. Что предъ этимъ всѣ книги Молешотта, Фохта, Вирхова, Клодъ Бернара, относящіяся болѣе къ медицинѣ, нежели къ общественному устройству,—книги трудныя для понятія, предполагающія запасъ предварительныхъ научныхъ свѣдѣній?»

Это указаніе кн. Одоевскаго, что крѣпостническія вожделѣнія массы общества для правильнаго и спокойнаго общественно-государственнаго развитія гораздо опаснѣе, чѣмъ увлеченіе молодежи философскимъ матеріализмомъ, было, конечно, безусловно справедливо. Фраза относительно Добролюбова, Чернышевскаго, Помяловскаго редактирована нѣсколько непонятно, но если и предположить, что въ запискѣ предполагалось сослаться на нихъ, какъ на примѣръ «неодобрительныхъ» писателей, вышедшихъ, однако, изъ семинарій, независимо отъ чтенія Фейербаха, то, во всякомъ случаѣ, это предстательство за молодежь въ то довольно смутное время заслуживаетъ полной признательности историка.

Кн. Одоевскій не ограничивался платоническимъ сочувствіемъ къ молодежи. М. Д. Свербѣевъ разсказываетъ: «Въ годъ его смерти я былъ вольнымъ слушателемъ въ Московскомъ университетѣ, и мы между лекціями сиживали либо въ сѣняхъ и курили, или же въ передней у вѣшалокъ внизу и болтали. Въ одинъ изъ такихъ дней, когда мы занимались болтовней, сидя у вѣшалокъ, входитъ въ переднюю князь Одоевскій, въ своемъ теперь, пожалуй, модномъ пальто, съ потертымъ воротникомъ и широкимъ поясомъ, а за нимъ также извѣстный типичный его лакей Петръ, и идутъ они прямо отъ входной двери къ висящей напротивъ доскѣ, на которой подъ стекломъ вывѣшены различные студенческіе списки. Князь, не снимая своего чернаго бархатнаго картуза съ прямымъ козырькомъ, начинаетъ что-то списывать съ доски карандашомъ на бумагу. Мнѣ сейчасъ же вздумалось подлетѣть къ князю и съ нимъ поздороваться, что льстило моему

---

*) Т.-е. изъ этого заключенія многихъ, что каждый читатель Фейербаха—негодяй.—Изложеніе кн. Одоевскаго въ этомъ мѣстѣ черновой довольно небрежно, но мысль вездѣ ясна.

тогда юному и пылкому самолюбію, и я съ апломбомъ это сдѣлалъ, но на мое привѣтствіе услышалъ я отъ князя: «никогда меня здѣсь не узнавайте», такъ что сконфуженный отошелъ, и не мало же надо мной посмѣялись мои товарищи. Князь съ невозмутимымъ спокойствіемъ продолжалъ свое занятіе, а я потомъ узналъ, что князь записывалъ фамиліи студентовъ, не внесшихъ платы за лекціи, и вносилъ самъ деньги за тѣхъ, которые по справкамъ заслуживали помощи» («Русск. Арх.» 1895 г., май, стр. 54).

Заслоненный отъ публики волною движенія шестидесятыхъ годовъ, скромный В. Ѳ. Одоевскій былъ, такимъ образомъ, среди русской аристократіи однимъ изъ немногочисленныхъ въ этой средѣ «человѣкомъ шестидесятыхъ годовъ», какъ раньше былъ «человѣкомъ годовъ тридцатыхъ и сороковыхъ».

Пристрастившись въ послѣдніе годы жизни къ русской музыкѣ, которой оказалъ многія существенныя услуги, кн. Одоевскій очень рѣдко выступалъ печатно, но работалъ неутомимо, дѣлясь съ каждымъ желающимъ своими знаніями и щедрый на нравственную и матеріальную поддержку каждому, кто въ ней нуждался. «Человѣкъ благоволенія», какъ характеризовали его люди близкіе къ нему, не умиралъ въ немъ до конца дней.

Въ 1857 г. онъ ѣздилъ за границу, и въ Ниццѣ, по поводу одной враждебной статьи противъ Россіи, отвѣтилъ на нее рядомъ статей, которыя, по увѣренію Корфа въ официальномъ сообщеніи, возбудили общее сочувствіе между итальянцами. Эти статьи были соединены въ одну книжку, которая осталась намъ неизвѣстна, но, вѣроятно, должна найтись или въ Публичной библіотекѣ, или въ архивахъ министерства Императорскаго Двора, такъ какъ баронъ Корфъ хотѣлъ представить ее графу Адлербергу особо.

Въ 1862 г., будучи назначенъ въ московскій сенатъ, Одоевскій не мало занимался по обязанностямъ службы юриспруденціей и, помня прежнюю свою дѣятельность, сталъ было составлять пятую книжку «Сельскаго Чтенія», въ которую должна была войти его статья для народа о законахъ: «Права и обязанности». Она была задумана уже послѣ открытія новаго суда (1864 г.) и, какъ справедливо указываетъ г-жа Е. Некрасова, «она совсѣмъ не могла бы показаться лишней и для нашихъ дней; недостатокъ въ такого рода книгахъ чувствуется до настоящаго времени...»

Послѣднее печатное слово этой свѣтлой личности было также посвящено народному образованію. Незадолго до смерти, въ Москвѣ онъ слушалъ публичныя лекціи Любимова по физикѣ и въ особой брошюрѣ доказывалъ необходимость устройства подобныхъ постоянныхъ курсовъ по всѣмъ отраслямъ знанія, желая создать нѣчто въ родѣ народнаго университета.

Онъ умеръ 27-го февраля 1869 г. послѣ непродолжительной болѣзни. Похороны его были скромны и прошли незамѣченными. Ни балдахина, ни какихъ позументовъ, ничего украшающаго не было на гробѣ, когда останки князя двигались къ мѣсту вѣчнаго успокоенія—въ московскій Донской монастырь.

Государю была представлена копія съ черновой вышеупоминаемой «записки», и онъ карандашомъ написалъ на копіи, 29-го декабря 1869 г.: «Прошу благодарить отъ меня вдову за сообщеніе письма мужа, котораго я душевно любилъ и уважалъ».

Изъ скорбныхъ отголосковъ, вызванныхъ кончиною кн. Одоевскаго, особенно замѣчательны слова извѣстнаго славянофила и общественнаго дѣятеля Ю. Ѳ. Самарина, писавшаго своему другу, баронессѣ Раденъ: «Его смерть была для многихъ, даже для самыхъ близкихъ друзей его, какъ бы запоздалымъ разоблаченіемъ всего значенія и заслугъ его. Къ сожалѣніямъ о немъ примѣшивается чувство угрызенія совѣсти. Вообще къ нему не относились такъ серьезно, какъ онъ заслуживалъ бы во многихъ отношеніяхъ; напротивъ того, наивная искренность, съ какою эта вполнѣ безоружная натура давала поводъ посмѣяться надъ собою, вызывала только сарказмы. Я говорю себѣ, что въ Германіи или въ Англіи онъ менѣе заставлялъ бы смѣяться на свой счетъ, и спрашиваю себя, дѣйствительно ли эта чрезмѣрная и неоспоримая воспріимчивость нашего общества къ смѣшному есть доказательство превосходства, какъ воображаютъ многіе. Не есть ли это скорѣе полный недостатокъ серьезности?»

Въ самомъ дѣлѣ, очень грустенъ тотъ фактъ, что даже такіе люди, какъ Панаевъ, другъ Бѣлинскаго, могли относиться къ Одоевскому съ пренебрежительною насмѣшкой и вовсе не замѣчали за мелкими чудачествами этой наивной и прекрасной души ея подлинныхъ глубокихъ качествъ. Съ Одоевскимъ повторилась до нѣкоторой степени обычная и грустная исторія многихъ замѣчательныхъ людей, вызвавшая у Пушкина извѣстныя слова:

О, люди! Жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха!
Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!
Какъ часто мимо васъ проходитъ человѣкъ,
Надъ кѣмъ ругается слѣпой и буйный вѣкъ,
Но чей высокій ликъ въ грядущемъ поколѣньѣ
Поэта приведетъ въ восторгъ и умиленье!

Ко всей жизни князя Одоевскаго примѣнимы взятыя нами въ эпиграфъ слова его о дядюшкѣ изъ разсказа «Эльза»: «Онъ не выживалъ изъ ума, потому что не выживалъ изъ людей; три поколѣнія прошли мимо его, и онъ понималъ языкъ каждаго; повизна его не пугала, потому что ничего не было для него ново».

Какъ писатель, Одоевскій, несмотря на свои знанія и на свой несомнѣнный и оригинальный по преимуществу лирическій талантъ, не имѣлъ того вліянія, какое могъ бы имѣть, если бы натура его была натурою борца или полемиста въ родѣ Бѣлинскаго. Ученымъ, въ собственномъ смыслѣ слова, оригинальнымъ творцомъ въ наукѣ, онъ не былъ, хотя и былъ очень образованъ *).

Но всегда и во всемъ, за что бы ни брался этотъ удивительный человѣкъ, онъ былъ вѣренъ себѣ, не терялъ никогда руководящей идеи жизни и дѣятельности и всегда стоялъ на всей высотѣ умственнаго и нравственнаго развитія времени. Это былъ въ лучшемъ и благороднѣйшемъ смыслѣ слова человѣкъ *культурный*, типичнѣйшій представитель той просвѣщенной публики, которая всегда должна бы стоять между передовыми дѣятелями науки и литературы и между болѣе косною массой. Именно такими-то культурными дѣятелями мы такъ и бѣдны до сихъ поръ, и потому-то Одоевскій въ исторіи русскаго общества — личность гораздо болѣе замѣчательная, чѣмъ въ исторіи литературы. Имя его, какъ имя перваго писателя изъ интеллигенціи для народа, занимаетъ почетное мѣсто въ исторіи русскаго просвѣщенія. И долго еще свѣтлый образъ этого простодушнаго мечтателя долженъ бы привлекать къ себѣ всякаго, кому дорогъ многострадальный путь русскаго общественнаго развитія.

---

*) Вслѣдъ за г. Скабичевскимъ, біографы Одоевскаго проф. Сумцовъ и г. Пятковскій повторяютъ, на основаніи одного неяснаго мѣста, будто кн. Одоевскій „предсказалъ теорію Дарвина“. Самъ Одоевскій не только не претендовалъ на это, но въ его наброскахъ и замѣткахъ 60-хъ годовъ ни разу даже не упоминается о Дарвинѣ.

X.

Бѣлинскій о театрѣ.

„Бѣдная русская сцена: таланты есть, а театра нѣтъ!“

Бѣлинскій, соч., т. III, „Заколдованный домъ“.

У насъ въ общемъ любятъ театръ. Всякій, когда зайдетъ о немъ рѣчь, сумѣетъ назвать Грибоѣдова, Гоголя, Островскаго, какъ геніальныхъ драматическихъ писателей, сослаться на нашу образцовую сцену, московскій Малый театръ, какъ на стоявшую и нынѣ стоящую на такой высотѣ, которой достигаютъ немногіе первоклассные театры; всякій сумѣетъ назвать имена нѣсколькихъ нашихъ замѣчательныхъ артистокъ и артистовъ, и все-таки часто невольно повторяешь вслѣдъ за Бѣлинскимъ: «Бѣдная русская сцена: таланты есть, а театра нѣтъ!» Нѣтъ театра, съ одной стороны, какъ учрежденія художественно воспроизводящаго истинно художественныя драматическія произведенія, чѣмъ онъ долженъ быть, съ другой—какъ общественно-образовательнаго фактора, чѣмъ онъ несомнѣнно можетъ быть. До сихъ поръ въ этомъ отношеніи и въ публикѣ, и среди артистовъ (въ особенности въ провинціи) распространены подчасъ самыя странныя мнѣнія. Зависитъ это, между прочимъ, конечно, оттого, что театральная критика, которая должна бы распространять здравыя понятія о театрѣ, находится какъ-то въ загонѣ. Выдающіеся дѣятели литературы лишь мимоходомъ занимались театромъ: для нихъ, конечно, было много другого, болѣе важнаго дѣла. Бѣлинскій во второй половинѣ 30-хъ и первой 40-хъ годовъ, Аполлонъ Григорьевъ въ шестидесятыхъ, да г. Боборыкинъ въ семидесятыхъ—вотъ, кажется, и всѣ болѣе крупные писатели удѣлявшіе часть своего времени театру.

Крестный отецъ новой русской литературы—Бѣлинскій—былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и наиболѣе виднымъ зачинателемъ у насъ театральной критики. Уже по этому одному его воззрѣнія на театръ заслуживаютъ вниманія. Страстная любовь къ театру, цѣльность, послѣдовательность и ясность основныхъ взглядовъ на сущность и значеніе сценическаго искусства—и понынѣ дѣлаютъ очень интересными и поучительными его театральныя хроники: столько въ нихъ мыслей, не утратившихъ еще своего значенія и одушевленія! Намъ казалось поэтому, что попытка свести воедино взгляды Бѣлинскаго на театръ будетъ не лишена интереса для тѣхъ, кому дороги судьбы русской сцены.

I.

Въ какой мѣрѣ отразились измѣненія во взглядахъ Бѣлинскаго на его воззрѣніяхъ на театръ?—Чтобъ отвѣтить на это, напомнимъ, какъ въ общихъ чертахъ слагалось міровоззрѣніе критика.

Какъ извѣстно, изъ университета Бѣлинскій былъ исключенъ въ 1832 году за «неспособность», а въ сущности за свою трагедію, гдѣ онъ въ горячихъ тирадахъ возставалъ противъ безнравственности крѣпостного права. Въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» замѣтны еще слѣды того настроенія, въ какомъ написана трагедія,—идеалистической увѣренности, что личное совершенствованіе способно устранить всѣ бѣдствія человѣчества. Здѣсь уже сказалось вліяніе гегелевской философіи, культивировавшейся въ кружкѣ Станкевича. «Весь безпредѣльный прекрасный Божій міръ,—говоритъ Бѣлинскій, излагая гегелевскія положенія,—есть не что иное, какъ дыханіе единой вѣчной идеи (мысли—единаго вѣчнаго Бога), проявляющейся въ безчисленныхъ формахъ, какъ великое зрѣлище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи»; умиляясь премудрости этой идеи, теологически объясняя при этомъ причинную послѣдовательность явленій природы (идея «мудра», ибо все предвидитъ, все держитъ въ равновѣсіи: за наводненіемъ и за лавою ниспосылаетъ плодородіе,... въ пустыняхъ песчаной Аравіи и Африки поселила верблюда и страуса, въ пустыняхъ ледяного Сѣвера поселила оленя), Бѣлинскій спрашиваетъ, гдѣ же любовь этой идеи, и отвѣчаетъ: «Богъ создалъ человѣка и далъ ему умъ и чувство, да постигаетъ сію идею умомъ и знаніемъ, да пріобщается къ ея жизни въ живомъ и горячемъ сочувствіи, да раздѣляетъ ея жизнь въ чувствѣ безконечной зиждущей любви!» Нѣсколько позднѣе такое воззрѣніе на природу и мѣсто человѣка въ ней привело Бѣлинскаго къ преклоненію предъ дѣйствительностью во имя ея «разумности»; «все благо, все добро!»—постоянно восклицаетъ онъ въ статьяхъ того времени, къ кото-

рому относятся «Бородинская годовщина» и «Менцель, критикъ Гете». Благоговѣйное созерцаніе съ высшей ступени развитія абсолютной идеи на короткое время представилось ему высшею задачей человѣка. Но въ періодъ «Литературныхъ мечтаній» онъ былъ еще слишкомъ вѣренъ запросамъ своей порывистой натуры, жаждавшей борьбы, помнилъ, что «жизнь есть дѣйствованіе, и дѣйствованіе есть борьба», что «безъ борьбы нѣтъ заслуги, безъ заслуги нѣтъ награды, а безъ дѣйствованія—жизни». Сообразно этому онъ видитъ двѣ дороги для человѣка, два неизбѣжные пути, и страстно обрушивается на широкій, спокойный и легкій путь эгоизма. Соотвѣтственно путямъ любви и эгоизма, по одному изъ которыхъ идетъ каждый человѣкъ, есть двѣ дороги и писателю. «Сочувствуй природѣ, люби и изучай ее, твори безкорыстно, трудись безвозмездно, отверзай души ближнихъ для впечатлѣній благого и истиннаго, изобличай порокъ и невѣжество, терпи гоненія злыхъ, ѣшь хлѣбъ, смоченный слезами, и не своди задумчиваго взора съ прекраснаго, родного тебѣ неба. Трудно? тяжко?... Ну, такъ торгуй твоимъ божественнымъ даромъ, положи цѣну на каждое вѣщее слово, которое ниспосылаетъ тебѣ Богъ въ святыя минуты вдохновенія; покупщики найдутся, будутъ платить тебѣ щедро, а ты лишь умѣй кадить кадиломъ лести, умѣй склонять во прахъ твое вѣнчанное чело, забудь о славѣ, о безсмертіи, о потомствѣ, довольствуйся тѣмъ, если услужливая рука торгаша-журналиста провозгласитъ о тебѣ, что ты великій поэтъ, геній, Байронъ, Гете!...»

Позднѣе роль писателя незамѣтно свелась было для Бѣлинскаго почти исключительно на то, чтобы «не сводить задумчиваго взора съ прекраснаго родного неба». Запросы активнаго нравственнаго чувства заставили его бросить такой квіэтизмъ и разорвать съ гегелевскимъ міросозерцаніемъ во имя правъ личности. «Ты, я знаю, будешь надо мною смѣяться,—писалъ онъ въ письмѣ, полушутливомъ, но важномъ для характеристики его развитія, В. П. Боткину:—но смѣйся, какъ хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности, важнѣе судебъ всего міра! Мнѣ говорятъ: развивай всѣ сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утѣшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣстницы развитія, а споткнешься, падай—чортъ съ тобою—таковскій и былъ... Благодарю покорно, Егоръ Ѳедоровичъ (Гегель), кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ, честь имѣю донести вамъ, что если бы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія, я и тамъ попросилъ бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филиппа II и пр. и пр.; иначе я

съ верхней ступени бросаюсь внизъ головой. Я не хочу счастія и даромъ, если не буду спокоенъ насчетъ каждаго изъ моихъ братьевъ по крови... Говорятъ, что дисгармонія есть условіе гармоніи: можетъ быть, это очень выгодно и усладительно для меломановъ, но ужъ, конечно, не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участью идею дисгармоніи». Это письмо—первый шагъ къ тому складу міровоззрѣнія Бѣлинскаго, который преимущественно и имѣется въ виду, когда идетъ рѣчь о значеніи критика, какъ дѣятеля сороковыхъ годовъ. Послѣ короткаго періода примиренія съ дѣйствительностью, Бѣлинскій снова вышелъ на путь идейной борьбы, безъ которой нѣтъ жизни, за права человѣка; но этотъ человѣкъ — уже вполнѣ конкретное существо, живущее въ тѣхъ или другихъ общественныхъ условіяхъ, съ которыми такъ или иначе надо считаться; это уже не безкровное отраженіе саморазвивающейся идеи, не поводъ для прекраснодушныхъ и безплодныхъ изліяній противъ эгоизма. Впрочемъ, эта сторона взглядовъ Бѣлинскаго сороковыхъ годовъ достаточно извѣстна. Ограничимся для характеристики ея отрывкомъ изъ замѣтки критика о стихотвореніяхъ какого-то Петра Штавера (X т.), — отрывкомъ, случайно попавшимся намъ подъ руку. Мѣста аналогичныя читатель можетъ самъ въ изобиліи найти въ собраніи сочиненій Бѣлинскаго, безъ всякаго затрудненія.

«Въ наше время,—говоритъ Бѣлинскій, обращаясь къ начинающему поэтику,—поэтъ, какъ поэтъ, не можетъ обѣщать себѣ великаго успѣха, потому что время наше отъ каждаго—слѣдовательно, и отъ поэта — требуетъ, чтобы онъ прежде всего и больше всего былъ *человѣкомъ*. Не заботьтесь же о себѣ, какъ о поэтѣ, а воспитывайте въ себѣ человѣка»,— продолжаетъ онъ въ разрѣзъ прежнимъ совѣтамъ не спускать взора съ неба. «Вообще, люди по своей натурѣ болѣе хороши, нежели дурны, и не натура, а воспитаніе, нужда, ложная общественная жизнь дѣлаютъ ихъ дурными. Почти во всякомъ изъ нихъ, даже въ самомъ дурномъ, есть своя прекрасная, человѣческая сторона; только трудно подсмотрѣть и открыть ее. Послѣднее составляетъ благороднѣйшую миссію поэта: ему принадлежитъ по праву оправданіе благородной человѣческой природы, такъ же, какъ ему же принадлежитъ по праву преслѣдованіе ложныхъ и неразумныхъ основъ общественности, искажающей человѣка, дѣлающей его иногда звѣремъ, а чаще всего безчувственнымъ и безсильнымъ животнымъ. Люди—братья другъ другу, хотя неразумность ихъ отношеній и дѣлаетъ ихъ естественными врагами. Благородно, велико и свято призваніе поэта, который хочетъ быть провозвѣстникомъ братства людей...» «Въ небѣ, т.-е. въ верхнихъ слояхъ атмосферы, пусто и холодно, и человѣку хорошо только съ людьми—«въ тѣснотѣ люди живутъ»...» Только гор-

дость, основанная на самолюбіи и эгоизмѣ, — одинъ изъ самыхъ гибельныхъ пороковъ; только гордость гонитъ человѣка изъ общества ближнихъ его и стремитъ его на пустую и холодную высоту».

Въ силу всего склада своей богатой, дѣятельной натуры, Бѣлинскій не могъ долго оставаться на той холодной высотѣ надъ жизнью, куда было привелъ его Гегель. Но, говоря о театрѣ, Бѣлинскій сразу сталъ на ту точку зрѣнія, къ которой, въ отношеніи искусства вообще, пришелъ лишь послѣ нѣсколькихъ лѣтъ упорной внутренней работы и борьбы. Иначе и быть не могло: все значеніе сцены, какъ первое время понималъ ее Бѣлинскій, было въ томъ, что всѣми своими сторонами она удаляетъ зрителя отъ сухой и холодной высоты довольства самимъ собою. «Театръ!... Любите ли вы театръ такъ, какъ я люблю его,—читаемъ въ «Литературныхъ мечтаніяхъ»,—то-есть со всѣми силами души вашей, со всѣмъ энтузіазмомъ, со всѣмъ изступленіемъ, къ которому только способна пылкая молодежь, жадная и страстная до впечатлѣній изящнаго? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свѣтѣ, кромѣ блага и истины?» Почему можно до такой степени любить театръ и увлекаться имъ, Бѣлинскій объясняетъ слѣдующимъ образомъ: «не сосредоточиваются ли въ немъ всѣ чары, всѣ обаянія, всѣ обольщенія изящныхъ искусствъ?.. Какое изъ всѣхъ искусствъ владѣетъ такими могущественными средствами поражать душу впечатлѣніями и играть ею самовластно?... Лиризмъ выражаетъ природу неопредѣленно и, такъ сказать, музыкально; его предметъ—вся природа во всей ея безконечности; предметъ же драмы—исключительно человѣкъ и его жизнь, въ которой проявляется высшая, духовная сторона всеобщей жизни вселенной». Проявляется ли, не проявляется ли, дѣло не въ томъ, но очевидно, что разъ критику приходилось говорить о конкретномъ человѣкѣ драматическихъ произведеній, ему довольно трудно было связывать полеты въ высь съ реальными человѣческими страданіями и стремленіями, отразившимися въ любимой Бѣлинскимъ драмѣ Шекспира. И дѣйствительно, всѣ статьи критика о театрѣ, писанныя даже въ періодъ крайняго увлеченія Гегелемъ, поражаютъ своею трезвостью, яснымъ взглядомъ на тѣсную связь, какая должна существовать между сценой и реальною жизнью. Только время отъ времени, въ простую и убѣдительную рѣчь вплетаются, какъ что-то чуждое, обороты рѣчи, туманныя разсужденія о духѣ жизни, о жизни духа, о высшей дѣйствительности, напоминающія, что предъ нами гегеліанецъ.

Уже въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» мы находимъ отзывающееся гегелевской эстетикой разсужденіе, что «драма представляетъ человѣка въ его вѣчной борьбѣ съ своимъ «я» и съ своимъ назначеніемъ, въ его вѣчной дѣятельности, источникъ которой есть стремленіе къ какому-то тэм-

ному идеалу блаженства, рѣдко имъ постигаемаго и еще рѣже достигаемаго».

Въ извѣстной статьѣ «Гамлетъ, драма Шекспира, и Мочаловъ въ роли Гамлета» болѣе всего сказалось гегеліанство Бѣлинскаго. Самый типъ Гамлета, понимаемый Бѣлинскимъ согласно толкованію Гервинуса, объясняется съ помощью гегелевской діалектики: внутренняя борьба въ душѣ Гамлета очень легко укладывается въ формулу тезиса (прекраснодушныя мечтанія Гамлета до появленія духа), антитезиса (столкновеніе съ грубою призрачною дѣйствительностью) и синтеза (который примиряетъ и то и другое, но происходитъ лишь въ умѣ зрителя). Этимъ то примиреніемъ съ дѣйствительностью въ силу того, что она представляетъ отраженіе вѣчной, мудрой и любящей идеи, которая и является разоблаченной внутреннему взору внимательнаго зрителя, Бѣлинскій пытается объяснить въ заключеніи разбора «Гамлета» то, что зритель выходитъ изъ театра не придавленный трагической развязкой. «И вотъ опускается занавѣсъ,—говоритъ критикъ,—Гамлетъ погибъ, Офелія погибла, король также; нѣтъ ни добраго, ни злого—все погибло. Какое мучительное чувство должно бы возбудить въ душѣ зрителя это кровавое зрѣлище! А между тѣмъ зритель выходитъ изъ театра съ чувствомъ гармоніи и спокойствія въ душѣ, съ просвѣтленнымъ взглядомъ на жизнь и примиренный съ нею, и это потому, что въ борьбѣ личностей и личныхъ интересовъ онъ увидѣлъ жизнь общую, міровую, абсолютную, въ которой нѣтъ относительнаго добра и зла, но въ которой все—безусловное благо!...» Въ данномъ случаѣ Бѣлинскій, конечно, не могъ подозрѣвать, что впослѣдствіи это явленіе будетъ объяснено гораздо проще, на основаніи психофизіологическихъ данныхъ. «Такъ какъ воспріятіе страданія другого лица есть, нѣкоторымъ образомъ, начало страданія въ насъ самихъ,—читаемъ, напримѣръ, въ книгѣ Гюйо: «Искусство съ точки зрѣнія соціологіи»,—какимъ образомъ это страданіе можетъ, наконецъ, косвеннымъ образомъ доставить нѣкоторое удовольствіе? Таково удовольствіе мщенія у людей злыхъ, удовольствіе жалости нравственной или эстетической и т. п. Дѣло въ томъ, что пріятный или тягостный характеръ эмоціи происходитъ не отъ перваго умственнаго состоянія, которое служитъ его началомъ, а отъ дѣятельности послѣдующей внутренней реакціи. Эта реакція можетъ быть очень сильна, гораздо болѣе сильна, чѣмъ первая тревога; результатомъ этой реакціи является тогда возбужденіе нервной системы, а не упадокъ и истощеніе, и то, что должно бы было быть страданіемъ, превращается въ радость. Всякое легко побѣждаемое сопротивленіе доставляетъ удовольствіе отъ обнаруженной силы... Здѣсь происходятъ умственныя явленія, очень аналогичныя съ явленіемъ физіологическимъ, когда мы находимъ удовольствіе въ сильныхъ растираніяхъ кожи,

въ обливаніи холодной водой, во всякихъ возбужденіяхъ, сначала тягостныхъ, но вскорѣ затѣмъ пріятныхъ, вслѣдствіе притока нервной силы, который онѣ производятъ».

Вліяніе нѣмецкой философіи на Бѣлинскаго сказалось и въ сильномъ нерасположеніи его къ французскимъ писателямъ вообще и драматургамъ въ частности. Онъ одинаково презиралъ и ложноклассическую трагедію, и Мольера, и Бомарше, не говоря ужъ о Викторѣ Гюго, въ драмахъ котораго онъ видѣлъ одно уродство. Впослѣдствіи онъ отдалъ должное французамъ (напомнимъ хоть слова его въ знаменитомъ письмѣ къ Гоголю о Вольтерѣ, силою слова погасившемъ костры инквизиціи), но первоначально доходилъ до такихъ обвиненій, напримѣръ, противъ Бальзака, Гюго и Жоржъ-Зандъ, читая которыя, больно становится за Бѣлинскаго (II т., «Краткая исторія Франціи», Мишле): «За вкуснымъ обѣдомъ и бутылкою шампанскаго они охотно забываютъ свое ожесточеніе противъ жизни, а за порядочную сумму денегъ готовы написать диѳирамбъ въ честь ея... Дайте имъ денегъ—они обратятся къ религіи—и къ какой вамъ угодно къ христіанской (даже къ католицизму), къ магометанской, къ жидовской; надбавьте цѣну—они поклонятся идоламъ». Неудивительно послѣ такихъ выходокъ прочитать у Бѣлинскаго явно пристрастные отзывы и о французской комедіи. «Женитьба Фигаро» для него (III т.)—«произведеніе человѣка необыкновеннаго, даровитаго,—это доказывается ея чудовищнымъ успѣхомъ въ свое время; но, тѣмъ не менѣе, она сдѣланная, а не созданная вещь, произведеніе литературы, а не искусства, воображенія, а не фантазіи. Главный интересъ этой пьесы—политическій... Но теперь... что такое теперь эта пьеса?—По крайней мѣрѣ, мы не видимъ въ ней ничего, кромѣ длинной, утомительной и скучной пьесы, съ обыкновенными комическими пружинами прошлаго вѣка, съ натянутыми остротами и натянутыми положеніями». Даже позднѣе, въ 1842 г., когда гегеліанство было уже позади Бѣлинскаго, онъ полагалъ (IV т.), что «Мольеръ, какъ сатирическій живописецъ нравовъ чуждаго намъ общества и далекой отъ насъ эпохи, можетъ существовать для насъ, какъ фактъ исторіи ново-европейской литературы, на сценѣ же не имѣетъ для насъ никакого значенія, никакого смысла».

Двумя-тремя экскурсіями въ область «просвѣтленной дѣйствительности», гдѣ «все благо, все добро», въ родѣ вышеприведеннаго мѣста о дѣйствіи «Гамлета» на душу зрителя, да нападками на французовъ и ихъ дѣтище—водевиль,—вотъ чѣмъ ограничилось въ статьяхъ Бѣлинскаго о театрѣ вліяніе гегеліанства *).

*) Въ статьѣ о „Горѣ отъ ума“, гдѣ подробно разобранъ и „Ревизоръ“, съ точки зрѣнія удовлетворительности этихъ пьесъ по ихъ формальному эстетическому досто-

Теперь вернемся снова къ тому, что именно привлекало Бѣлинскаго въ театрѣ.

Въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» и затѣмъ въ статьѣ объ игрѣ Каратыгина причина страстной привязанности критика къ театру формулирована очень ясно, и она въ тѣсной связи съ тѣмъ морализирующимъ настроеніемъ его въ періодъ этихъ статей, какое уже указано нами. Проповѣдникъ любви, Бѣлинскій въ это время цѣнитъ въ театрѣ то, что, соотвѣтственно задачѣ человѣка—идти по пути любви, онъ способенъ вызывать это чувство въ человѣкѣ. «Вы здѣсь живете не своею жизнью, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своимъ блаженствомъ, трепещете не за свою опасность; здѣсь ваше холодное *я* исчезаетъ въ пламенномъ эѳирѣ любви». Зачѣмъ мы ходимъ въ театръ, зачѣмъ мы такъ любимъ театръ? Затѣмъ, что онъ освѣжаетъ нашу душу, завядшую, заплѣсневѣлую отъ сухой и скучной прозы жизни, мощными и разнообразными впечатлѣніями, затѣмъ, что онъ волнуетъ нашу застоявшуюся кровь неземными муками, неземными радостями и открываетъ намъ новый, преображенный и дивный міръ страстей и жизни! Въ душѣ человѣческой есть то особенное свойство, что она какъ будто падаетъ подъ бременемъ сладостныхъ ощущеній изящнаго, если не раздѣляетъ ихъ съ другою душой. А гдѣ же этотъ раздѣлъ является такъ торжественнымъ, такъ умилительнымъ, какъ не въ театрѣ, гдѣ тысячи глазъ устремлены на одинъ предметъ, тысячи сердецъ бьются однимъ чувствомъ, тысячи грудей задыхаются отъ одного упоенія, гдѣ тысячи *я* сливаются въ одно общее цѣлое *я*, въ гармоническомъ сознаніи безпредѣльнаго блаженства?»

Эти воззрѣнія не получили у Бѣлинскаго дальнѣйшаго развитія, остались лишь красивыми метафорами, но не трудно видѣть, что они могутъ служить объясненіемъ того нравственно-воспитательнаго значенія, какое можетъ имѣть театръ, какъ источникъ художественнаго наслажденія. Но на этомъ побочномъ вопросѣ не станемъ останавливаться.

II.

«Но возможно ли описать всѣ очарованія театра, всю его магическую силу надъ душою человѣческою?—спрашиваетъ Бѣлинскій.—О, какъ было бы хорошо, если бы у насъ былъ свой, народный русскій театръ!—мечтаетъ онъ.—Въ самомъ дѣлѣ, видѣть на сценѣ всю Русь, съ ея добромъ и зломъ, съ ея высокимъ и смѣшнымъ, слышать говорящими ея доблест-

---

инству, Бѣлинскій говоритъ о нихъ почти исключительно, какъ о литературныхъ, а не собственно театральныхъ произведеніяхъ. Поэтому мы сочли себя въ правѣ не останавливаться на этой статьѣ.

ныхъ героевъ, вызванныхъ изъ гроба могуществомъ фантазіи, видѣть біеніе пульса ея могучей жизни... О, ступайте, ступайте въ театръ, живите и умрите въ немъ, если можете!..»

«Но увы!—тутъ же расхолаживаетъ себя критикъ,—все это поэзія, а не проза, мечты, а не существенность! Тамъ, то-есть въ томъ большомъ домѣ, который называютъ русскимъ театромъ, тамъ, говорю я, вы увидите пародіи на Шекспира и Шиллера, пародіи смѣшныя и безобразныя; тамъ выдаютъ вамъ за трагедію корчи воображенія; тамъ васъ подчуютъ жизнью, вывороченною наизнанку,—словомъ, тамъ

...Мельпомены бурной
Протяжно раздается вой,
Тамъ машетъ мантіей мишурной
Она предъ хладною толпой!

Говорю вамъ, не ходите туда; это очень скучная забава!»

Рецензіи Бѣлинскаго доказываютъ, что это дѣйствительно была «скучная забава». Но онъ тутъ же добавляетъ: «не будемъ слишкомъ строги къ театру: не его вина, что онъ такъ плохъ. Гдѣ у насъ драматическая литература, гдѣ драматическіе таланты?» Что касается талантовъ, то позднѣе Бѣлинскій ужъ не жаловался на отсутствіе ихъ, но... театра все-таки не видѣлъ.

Когда Бѣлинскій начиналъ свою писательскую карьеру, т.-е. въ 1834 г., онъ признавалъ только двѣ русскія комедіи: «Недоросля», уже утратившаго свой интересъ во время Бѣлинскаго, да «Горе отъ ума». Позднѣе къ этимъ пьесамъ прибавились «Ревизоръ» и «Женитьба». Рядомъ съ ними могли стоять переводы двухъ-трехъ пьесъ Шекспира, Шиллера. Все остальное было ниже самой снисходительной критики, и это, конечно, отражалось на актерахъ.

Бѣлинскій держался мнѣнія, конечно, справедливаго, что «драматическіе поэты творятъ актеровъ. Намъ нужно имѣть свою комедію, и тогда у насъ будетъ свой театръ» (II т.). Критикъ довольно обстоятельно указывалъ на эту зависимость между достоинствами сценическихъ произведеній и достоинствами сценическаго исполненія. «Я сценическое искусство почитаю творчествомъ,—писалъ онъ въ первой статьѣ о театрѣ,—а актера самобытнымъ творцомъ, а не рабомъ автора». Если даже два равно образованныхъ читателя, одинаково понимая идею и идеалъ дѣйствующаго лица, «различнымъ образомъ будутъ представлять себѣ тонкія черты и оттѣнки индивидуальности»,—то тѣмъ болѣе свободы можетъ имѣть актеръ, «ибо онъ, такъ сказать, дополняетъ своею игрой идею автора, и въ этомъ-то дополненіи состоитъ его творчество. Но этимъ оно и ограничивается» (I). «Торжество сценическаго генія—въ совершенной гармоніи актера съ

поэтомъ», и вполнѣ развернуть свои силы истинно талантливый актеръ можетъ только въ истинно талантливомъ произведеніи. Примѣромъ и оправданіемъ этому для Бѣлинскаго постоянно служилъ Мочаловъ: онъ «въ своей игрѣ живетъ жизнью автора, и тотчасъ умираетъ, какъ скоро умираетъ авторъ». «Мы не вѣримъ таланту тѣхъ актеровъ,—говоритъ Бѣлинскій,—которые всякую роль, какимъ бы поэтомъ она ни была создана—великимъ или малымъ, превосходнымъ или дурнымъ—играютъ равно хорошо, или могутъ играть хорошо плохую роль». Послѣднее нѣсколько преувеличено,—опытный актеръ вѣдь можетъ придать посредственно обработанной роли характеръ роли художественной (этого, впрочемъ, не отрицаетъ и Бѣлинскій); во всякомъ случаѣ справедливо, что сценическіе таланты, геніи, могутъ вырабатываться лишь на художественномъ репертуарѣ, и первое мѣсто въ немъ долженъ занять Шекспиръ. «Благодаря Мочалову,—говоритъ Бѣлинскій,—мы только теперь поняли, что въ мірѣ одинъ драматическій поэтъ—Шекспиръ, и что только его пьесы представляютъ великому актеру достойное его поприще, и что только въ созданныхъ имъ роляхъ великій актеръ можетъ быть великимъ актеромъ» (II).

Обратнымъ образомъ, какъ актеръ-художникъ не можетъ существовать безъ художественнаго репертуара, такъ и «драматическая поэзія не полна безъ сценическаго искусства; чтобы понять вполнѣ лицо, мало знать, какъ оно дѣйствуетъ, говоритъ, чувствуетъ,—надо видѣть и слышать, какъ оно дѣйствуетъ, говоритъ, чувствуетъ». Въ публикѣ очень распространено мнѣніе, что классическія произведенія драматической литературы лучше читать, чѣмъ смотрѣть на сценѣ. Нѣтъ ничего болѣе ложнаго, чѣмъ это мнѣніе, исповѣдуемое, сказать мимоходомъ, болѣе всего тѣми, кто ничего не читаетъ, а въ театрѣ любитъ больше всего водевиль и оперетку. При самомъ посредственномъ исполненіи сценическая игра способна открывать такія стороны въ дѣйствительно художественной пьесѣ, освѣщать такія черты, какихъ невозможно замѣтить при чтеніи самомъ внимательномъ. По поводу игры Мочалова Бѣлинскій прекрасно показываетъ это значеніе сцены, какъ объяснительницы пьесы. Въ сценѣ, гдѣ Гамлетъ односложно разспрашиваетъ Горація о появленіи духа своего отца, Мочаловъ производилъ потрясающее впечатлѣніе. «Скажите Бога ради,—спрашиваетъ Бѣлинскій,—читая драму, увидѣли ли бы вы особенное и глубокое значеніе въ подобныхъ выраженіяхъ: «Онъ былъ угрюмъ?—И блѣденъ?—Увы, отецъ мой!—О небо!» Потрясли ли бы вашу душу до основанія эти выраженія? Еще болѣе: не пропустили ли бы вы безъ всякаго вниманія подобное выраженіе, какъ «о небо!»—выраженіе это столь обыкновенное, столь часто встрѣчающееся въ самыхъ пошлыхъ романахъ? Но Мочаловъ показалъ намъ, что у Шекспира нѣтъ словъ безъ значенія, но что въ каждомъ его словѣ заключается

гармоническій, потрясающій звукъ страсти или чувства человѣческаго... «О, зачѣмъ мы слушали эти звуки только одинъ разъ?»—съ грустью восклицаетъ Бѣлинскій.—Игра посредственныхъ актеровъ, конечно, въ меньшей степени способна къ художественному дополненію и освѣщенію геніальныхъ произведеній, но безъ посредственностей невозможно появленіе и сценическихъ талантовъ, которые могутъ развиваться и расти лишь на художественномъ классическомъ репертуарѣ.

Итакъ, этотъ художественный классическій репертуаръ отсутствовалъ во время Бѣлинскаго. Но что составляло тогдашній ежедневный репертуаръ, объ этомъ, кажется, даже въ наши дни, обильные плохими пьесами, трудно составить себѣ представленіе. До чего онъ плохъ былъ—можно судить по той снисходительности, съ какою Бѣлинскій, этотъ безпощадный разрушитель установившихся литературныхъ репутацій, готовъ былъ признать достоинства за всякой пьеской, имѣющей хоть какой-нибудь человѣческій смыслъ. По поводу одного фарса, «который смѣшитъ не замысловатостью, не остроуміемъ, а своею нелѣпостью», критикъ замѣчаетъ: «однако, онъ смѣшитъ, а не усыпляетъ: за неимѣніемъ лучшаго, и это достоинство, и за это спасибо». А жалобы на то, что «при нѣкоторыхъ оригинальныхъ россійскихъ драмахъ неумѣстны всѣ вопросы, задаваемые философіей, исторіей и искусствомъ» (V т. «Александръ Македонскій»)—вы найдете въ изобиліи во всѣхъ двѣнадцати томахъ сочиненій Бѣлинскаго. Наслажденіе давать характеристики дѣйствующихъ лицъ новой пьесы выпало ему на долю, кажется, только при исполненіи «Женитьбы». «Сколько юмора, какой языкъ, какіе характеры, какая типическая вѣрность натурѣ!—восклицаетъ онъ при этомъ.—Но, увы!—словно нетопыри прекраснымъ зданіемъ, овладѣли нашею сценой пошлыя комедіи съ пряничною любовью и неизбѣжною свадьбой! Это называется у насъ «сюжетомъ». Смотря на наши комедіи и водевили и принимая ихъ за выраженіе дѣйствительности, вы подумаете, что наше общество только и занимается что любовью, только и живетъ и дышитъ что ею! И какою любовью—безкорыстною, безъ всякаго расчета на приданое, на связи и покровительство!»... (VII т.).

«Подлинно премудро устроенъ Божій міръ,—читаемъ въ другомъ мѣстѣ (VI т.):—естествоиспытатель посредствомъ микроскопа открываетъ цѣлую вселенную въ каплѣ болотной воды; театральный рецензентъ посредствомъ простой зрительной трубки или лорнета открываетъ въ каплѣ русской литературы отдѣльную литературу—литературу сценическую или драматическую... И въ этой пародіи на драматическую поэзію, и въ этомъ крохотномъ, микроскопическомъ уголкѣ словеснаго міра есть свои авторитеты и авторитетики, свои геніи и таланты, словомъ,—свои аристократы и плебеи»... «На первомъ планѣ рисуется всеобъемлющій г. Кукольникъ; за нимъ на

почтительной дистанціи блистаетъ вѣчно юный талантъ, г. Полевой; за нимъ, на третьемъ планѣ, съ приличною истинному таланту скромностью, раскланивается публикѣ, за снисходительные вызовы, прилежное и усердное дарованіе г. Ободовскаго»... По поводу нелѣпыхъ оригинальныхъ и переводныхъ пьесъ этого театральныхъ дѣлъ закройщика, Бѣлинскій даетъ прекрасный совѣтъ, какъ быть счастливѣйшимъ человѣкомъ, дѣйствуя на литературномъ поприщѣ,—совѣтъ, которому вѣрно слѣдуютъ современные поставщики театральнаго сора, нелѣпыхъ передѣлокъ на русскіе нравы заграничныхъ драматическихъ глупостей. «Чтобы быть счастливѣйшимъ человѣкомъ въ мірѣ, дѣйствуя на литературномъ поприщѣ, прежде всего должно не имѣть таланта... да, не имѣть таланта, однакоже и не быть совершенно бездарнымъ писателемъ, а такъ себѣ—знаете—середка на половинѣ, ни то, ни се: толпа любитъ посредственность... Потомъ, должно имѣть много дѣятельности,—такъ, чтобы, напримѣръ, ставить драму за драмою—словно блины печь: толпа не злопамятна и требуетъ, чтобы ей безпрестанно напоминали о себѣ, чтобъ имя пришедшагося ей по плечу господина сочинителя безпрестанно рябило въ ея глазахъ». Мы не станемъ передавать содержанія того вздора, который приходилось разбирать Бѣлинскому. Лучшей характеристикой нелѣпицъ, составлявшихъ репертуаръ Александринскаго, да и Московскаго тоже, театра, бившихъ на самые пошлые вкусы, можетъ служить слѣдующая зазывательная бенефисная афиша, которую Бѣлинскій справедливо считалъ достойною сохраненія для потомства.

„*Великій актеръ, или любовь дебютантки*“. *Драма* въ трехъ *дѣйствіяхъ* и пяти *отдѣленіяхъ*, *соч.* П. П. Каменскаго. *Дѣйствіе первое. Отдѣленіе 1.* Театральный ламповщикъ и цвѣточница. *Дѣйствіе второе. Отдѣленіе 2.* Гамма страстей. *Дѣйствіе третье. Отдѣленіе 3.* Театральный буфетъ. *Отдѣленіе 4.* Уборная актрисы. *Отдѣленіе 5.* Представленіе Лира на Дрюриленскомъ театрѣ.

«Жены наши пропали! или майоръ bon vivant», соч. П. Григорьева 1-го.

„*Комедія о войнѣ Ѳедосьи Сидоровны съ китайцами*“. *Сибирская сказка, въ двухъ дѣйствіяхъ, съ пѣніемъ и танцами, соч.* Н. А. Полевого. *Дѣйствіе первое.* Русская Удаль. *Танцовать будутъ:* г. Пишо и г-жа Левкѣева *по-казацки. Дѣйствіе второе.* Китайская храбрость. *Танцовать будутъ*: гг. Шамбурскій, Свищевъ, Тимофеевъ, Волковъ и Николаевъ *по-китайски. Въ 1-мъ и 2-мъ дѣйствіяхъ хоръ пѣсенниковъ будетъ пѣть національныя пѣсни.*

Комическія сцены изъ новой поэмы: *Мертвыя души. Сочиненія* Гоголя (автора Ревизора). *Составленныя Т***.*

За разборомъ нелѣпостей, перечисленныхъ въ этой афишѣ, у Бѣлинскаго находимъ еще замѣтку, часть которой рѣшаемся также выписать: „*Людмила*", драма въ трехъ отдѣленіяхъ, подражаніе нѣмецкому (Leноге), составленная изъ баллады В. А. Жуковскаго, съ сохраненіемъ нѣкоторыхъ его стиховъ.—Объ этой пьесѣ намъ не слѣдовало бы и говорить—пьеса старая; но отъ избытка чувствъ уста глаголютъ... Это такая возмущающая душу нелѣпость, такая балаганная пьеса, что не знаешь, чему дивиться—смѣлости ли нѣкоторыхъ бенефиціантовъ, угощающихъ свою публику подобными пустяками, или готовности этой бенефисной публики восхищаться всякимъ вздоромъ... Драма изъ баллады съ мертвецомъ и кладбищемъ!... Приплели тутъ отечественную войну 1812 года, Смоленскъ, измѣну, заставили ломаться и кривляться какую-то невѣсту съ крѣпко намазаннымъ бѣлилами лицомъ, а жениха-мертвеца заставили, при свистѣ вѣтра, вызывать ее въ окно стихами баллады, которая когда-то тѣшила дѣтей. И все это возобновляется въ 1842 году!...» (VI т.).

А между тѣмъ Бѣлинскій горячо вѣрилъ въ возможность роскошнаго процвѣтанія русской сцены. Онъ справедливо находилъ, что русская историческая и современная дѣйствительность даютъ богатый матеріалъ для драмы. По поводу неудачной пьесы кн. Шаховского: «Ѳедоръ Григорьевичъ Волковъ, или рожденіе русскаго театра» (II т.), онъ горячо возстаетъ противъ частыхъ толковъ о томъ, «что въ нашемъ обществѣ нѣтъ страстей, волнованіе которыхъ составляетъ романическую прелесть жизни; что у насъ нѣтъ этого внутренняго безпокойствія, которое даже въ людяхъ низшаго класса пробуждаетъ стремленіе возвыситься надъ своею сферой и собственными силами создать себѣ средства и проложить дорогу къ славѣ». «Какое нелѣпое, пошлое мнѣніе!»—восклицаетъ критикъ и, ссылаясь на рядъ замѣчательныхъ русскихъ дѣятелей прошлаго вѣка, спрашиваетъ: «неужели во всемъ этомъ нѣтъ самобытности, оригинальности, жизни, движенія, поэтической прелести? И неужели еще наши писатели, или люди, почитающіе себя писателями, будутъ жаловаться, что русская жизнь не даетъ содержанія для романа, повѣсти, драмы?»

Какъ бы то ни было, бѣдность репертуара была фактомъ, съ которымъ надо было считаться. «Репертуаръ русской сцены необыкновенно бѣденъ,—писалъ Бѣлинскій въ 1841 г. (V т.).—Причина очевидна: у насъ нѣтъ драматической литературы. Правда, русская литература можетъ хвалиться нѣсколькими драматическими произведеніями, которыя бы сдѣлали честь всякой европейской литературѣ, но для русскаго театра это скорѣе вредно, чѣмъ полезно». «Драматическіе опыты Гоголя,—писалъ Бѣлинскій въ 1843 г. (VII т.),—представляютъ собою какое-то исключительное явленіе въ русской литературѣ. Если не принимать въ соображеніе комедіи Фонъ-

Визина, бывшія въ свое время исключительнымъ явленіемъ, и «Горе отъ ума», тоже бывшее исключительнымъ явленіемъ въ свое время,—драматическіе опыты Гоголя среди драматической русской поэзіи съ 1835 года до настоящей минуты *)—это Чимборазо среди низменныхъ, болотистыхъ мѣстъ, зеленый и роскошный оазисъ среди песчаныхъ степей Африки... Не трудно понять причину этого явленія: литература наша, хотя и медленно, но все же идетъ впередъ, а театръ давно уже остановился на одномъ мѣстѣ». Дѣло въ томъ, что литература вообще еще могла кое-какъ обходить тогдашнія суровыя условія печати; театральная же цензура, всегда болѣе строгая, чѣмъ общая, естественно представляла едва ли преодолимое препятствіе къ свободному развитію сценической литературы. Только въ 1828 г. разрѣшено было печатать разборы театральныхъ пьесъ, что прежде совершенно не допускалось, такъ какъ актеры считались людьми, состоявшими на службѣ, и сужденіе объ ихъ достоинствахъ и недостаткахъ принадлежало только ихъ начальству. Печатаніе этихъ разборовъ должно было, впрочемъ, происходить съ разрѣшенія начальника III отдѣленія собственной Е. И. В. канцеляріи. Какъ извѣстно, «Ревизоръ» попалъ на сцену лишь по личному заступничеству Императора Николая I.—Бѣлинскій говорилъ, что «вседневною пищей сцены должны быть произведенія низшія, беллетристическія» (въ противоположность произведеніямъ художественнымъ, такимъ, какъ «Ревизоръ» и «Горе отъ ума», представленія которыхъ, какъ «праздникъ, торжество искусствъ», не могутъ идти изо дня въ день, потому что «новость и разнообразіе необходимы для существованія театра»). Критикъ тутъ же объясняетъ, что подъ этими беллетристическими произведеніями разумѣетъ пьесы, «полныя живыхъ интересовъ современности, раздражающія любопытство публики: безъ богатства и обилія въ такихъ произведеніяхъ, театръ походитъ на призракъ, а не на что-нибудь дѣйствительно существующее». Нечего и говорить о томъ, что въ эпоху, непосредственно предшествовавшую сороковымъ годамъ, къ которой и относятся почти всѣ театральныя статьи Бѣлинскаго, «живые интересы современности» не могли, за исключеніемъ «Ревизора», попасть на сцену. Лишь съ наступленіемъ шестидесятыхъ годовъ, когда Островскій совершилъ свой почти безпримѣрный подвигъ,—создалъ живой репертуаръ для русской сцены,—лишь тогда «интересы современности» проникли на сцену, придавая театру общественно-образовательное значеніе, и тогда лишь наступила блестящая эпоха русскаго театра. Однако, вернемся къ Бѣлинскому.

---

*) До появленія пьесъ Островскаго,—приходится сказать нынѣ,—черезъ 50 лѣтъ послѣ словъ Бѣлинскаго.

III.

Онъ мастерски показываетъ, какъ гибельно отражается на актерахъ пустота и безцвѣтность репертуара. «Есть ли у насъ что-нибудь такое, что бы сколько-нибудь, хоть относительно — не говоримъ — подходило подъ эти пьесы (т.-е. «Ревизоръ» и «Горе отъ ума»), но не оскорбляло послѣ нихъ эстетическаго чувства и здраваго смысла?» — спрашиваетъ Бѣлинскій, и то, что онъ говоритъ дальше, цѣликомъ можно отнести къ новѣйшему, современному намъ репертуару. «Правда, иная пьеса еще и можетъ понравиться, но не больше, какъ на одинъ разъ,—и надо слишкомъ много самоотверженія и храбрости, чтобы рѣшиться видѣть ее во второй разъ. Да и все достоинство такихъ пьесъ состоитъ въ томъ только, что онѣ не лишаютъ актеровъ возможности выказать свои таланты, а совсѣмъ не въ томъ, чтобы онѣ давали актерамъ средства развернуть свои дарованія. Вообще, по крайней мѣрѣ, половина нашихъ актеровъ чувствуютъ себя выше пьесъ, въ которыхъ играютъ, и они въ этомъ отношеніи совершенно справедливы. Отсюда происходитъ гибель нашего сценическаго искусства, гибель нашихъ сценическихъ дарованій (на скудость которыхъ мы не можемъ пожаловаться): нашему артисту нѣтъ ролей, которыя требовали бы съ его стороны строгаго и глубокаго изученія, съ которыми надобно бы ему было побороться, помѣриться,—словомъ, до которыхъ бы ему должно было постараться возвысить свой талантъ; нѣтъ, онъ имѣетъ дѣло съ ролями ничтожными, пустыми, безъ мысли, безъ характера, съ ролями, которыя ему нужно натягивать и растягивать до себя. Привыкши къ такимъ ролямъ, артистъ привыкаетъ торжествовать на сценѣ своимъ личнымъ комизмомъ, безъ всякаго отношенія къ роли, привыкаетъ къ фарсамъ, привыкаетъ смотрѣть на свое искусство, какъ на ремесло, и много-много, если заботится о томъ, чтобы протвердить роль: объ изученіи же ея не можетъ быть и слова».

Когда торжествуетъ субъективность актера, когда публика идетъ въ театръ смотрѣть и слушать не пьесу, а тѣхъ или другихъ актеровъ, въ нихъ невольно развивается замашка во что бы то ни стало выдвигаться на первый планъ, добиваться личнаго успѣха, часто въ ущербъ успѣху пьесы. «Артисты,—говоритъ Бѣлинскій объ актерахъ Александринскаго театра (между которыми есть люди съ ярками дарованіями и замѣчательными способностями),—не имѣя ролей, выражающихъ взятые изъ дѣйствительности и творчески обработанные характеры, не имѣютъ нужды изучать ни окружающей ихъ дѣйствительности, которую они призваны воспроизводить, ни своего искусства, которому они призваны служить. Не играя пьесъ, проникнутыхъ внутреннимъ единствомъ, они не могутъ сдѣлать при-

вычки къ единству и цѣлостности (ensemble) хода представленія, и каждый изъ нихъ старается фигурировать предъ толпою отъ своего лица, не думая о пьесѣ и о своихъ товарищахъ. Мы несправедливы были бы, по крайней мѣрѣ къ нѣкоторымъ изъ нихъ, если бы стали отрицать въ нихъ всякій порывъ къ истинному искусству; но противъ теченія плыть нельзя, и, видя холодность и скуку толпы, они поневолѣ принимаются за ложную манеру, ради рукоплесканій и вызывовъ». Не диво, что при такомъ отношеніи къ дѣлу, «Игроки» Гоголя, по поводу которыхъ написаны эти строки (VII т.), не имѣли успѣха. Неуваженіе къ пьесамъ, не стоящимъ такого уваженія, невольно переносилось и на все остальное, такъ что Бѣлинскій по справедливости могъ жаловаться, что актеры, «когда имъ случится играть пьесу, созданную высокимъ талантомъ изъ элементовъ чисто русской жизни, дѣлаются похожими на иностранцевъ, которые хорошо изучили нравы и языкъ чуждаго имъ народа, но которые все-таки не въ своей сферѣ и не могутъ скрыть поддѣлки». Вслѣдствіе нелѣпаго репертуара, неудивительно, что «уваженія къ своему искусству, своему званію, вниманія къ себѣ, изученія, постояннаго, строгаго изученія—вотъ чего недостаетъ большей части нашихъ артистовъ».

На что же должно быть направлено это изученіе и вниманіе?—Сколько-нибудь систематически Бѣлинскій не отвѣчалъ на этотъ вопросъ, но то, что разсѣяно въ его замѣткахъ, говоритъ, что онъ тонко понималъ сценическое искусство. Высказываемые имъ взгляды и до сихъ поръ ни мало не утратили своего значенія: тѣ требованія, какія предъявлялъ Бѣлинскій актерамъ, и понынѣ въ общемъ исчерпываютъ содержаніе сценическаго искусства.

Когда Бѣлинскій начиналъ свою дѣятельность, были еще до нѣкоторой степени живы, въ особенности въ Петербургѣ, традиціи такъ называемой ложноклассической сценической школы. Ему не разъ приходилось жаловаться на «дурную манеру игры, вслѣдствіе ложнаго понятія о драмѣ, какъ о чемъ-то такомъ, въ чемъ ходули и неестественность составляютъ главное» (II), удивляться при игрѣ нѣкоторыхъ актеровъ: «Боже мой! гдѣ занимаютъ они эту трагическую дикцію, всю эту мишуру, этотъ протяжный вой и насильственные жесты классической Мельпомены?» (XII). Василій Каратыгинъ, по замѣчанію Бѣлинскаго, въ началѣ своей карьеры держался до нѣкоторой степени такой манеры игры, и этимъ отчасти надо объяснить сильное нерасположеніе къ нему, какое проявлялъ Бѣлинскій сначала; по мѣрѣ того, какъ этотъ артистъ отдѣлывался отъ старинныхъ пріемовъ и начиналъ играть проще и естественнѣе, мѣнялось къ нему и отношеніе критика. Но идеаломъ артиста для Бѣлинскаго былъ М. С. Щепкинъ. Игра его—постоянный предметъ восторга для критика. И прежде

всего онъ цѣнитъ въ немъ пониманіе цѣлей автора. «Актеръ понялъ поэта,—пишетъ онъ объ исполненіи Щепкинымъ роли городничаго:—оба они не хотятъ дѣлать ни карикатуры, ни сатиры, ни даже эпиграммы; но хотятъ показать явленіе дѣйствительной жизни, явленіе характеристическое, типическое» (II). Послѣ Щепкина невозможенъ уже былъ возвратъ къ отжившей ложноклассической игрѣ, и въ этомъ отношеніи значеніе артиста въ исторіи сценическаго искусства и значеніе критика въ исторіи литературы весьма схожи другъ съ другомъ. Бѣлинскій навсегда уничтожилъ возможность схаластики въ литературѣ, и она подъ скромнымъ именемъ «теоріи словесности» пріютилась подъ тѣнью гимназическихъ учебныхъ программъ. Въ частности, въ отношеніи театра Бѣлинскій уже въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» совершилъ мимоходомъ это разрушеніе, къ ужасу старовѣровъ, откровенно заявляя: «я не совсѣмъ хорошо понимаю различіе между словами комедія и драма, а слова трагедія совсѣмъ не понимаю», и подшучивая надъ происхожденіемъ трагедіи отъ греческаго козла (трагосъ). Щепкинъ въ исторіи театра занимаетъ подобное же мѣсто. «Несмотря на то, что въ «Матросѣ» Щепкинъ игралъ одинъ-одинехонекъ,—читаемъ у Бѣлинскаго,—эта пьеса произвела глубокое впечатлѣніе и доказала собою ту простую истину, что раздѣленіе драматическихъ произведеній на трагедію и комедію въ наше время отзывается анахронизмомъ, что назначеніе драматическаго произведенія—рисовать общество, страсти и характеры, и что трагедія такъ же можетъ быть въ комедіи, какъ и комедія въ трагедіи. Щепкинъ принадлежитъ къ числу немногихъ истинныхъ жрецовъ сценическаго искусства, которые понимаютъ, что артистъ не долженъ быть ни исключительно трагическимъ, ни исключительно комическимъ актеромъ, но что его назначеніе—представлять характеры безъ разбора ихъ трагическаго или комическаго значенія, но лишь соображаясь со своими внѣшними средствами, т.-е. не играя статныхъ молодыхъ людей, будучи человѣкомъ пожилымъ и тучнымъ, и т. п.» (IX). Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ паденіемъ схоластическаго раздѣленія драматическихъ произведеній пало и схоластическое раздѣленіе ролей на амплуа. Это послѣднее—амплуа перваго любовника, фата, резонера и т. п.—сохранилось нынѣ лишь ради нѣкотораго практическаго удобства, а въ сущности не имѣетъ уже никакого смысла.

Итакъ, «естественность»—девизъ новаго сценическаго искусства, горячимъ защитникомъ котораго былъ Бѣлинскій, а первымъ полнымъ выразителемъ Щепкинъ. Въ наши дни естественность сценическаго искусства доводится до натурализма, стремленіе къ ней доходитъ до попытокъ абсолютнаго перенесенія на сцену дѣйствительности, что, конечно, не имѣетъ смысла уже потому, что искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности,

а не сама дѣйствительность, и что условность сцены никогда не можетъ быть уничтожена окончательно. Бѣлинскій прекрасно понималъ это. Вотъ что, наприм., читаемъ у него по поводу исполненія Мочаловымъ знаменитаго монолога Гамлета: «Быть или не быть»,—монолога, который постоянно пропадалъ. «Очень понятно, отчего это всегда было такъ: Петровскій театръ, по своей огромности, требуетъ отъ актера голоса громкаго, а Мочаловъ хочетъ вѣрнѣе представить человѣка, погруженнаго въ своихъ мысляхъ. Для этого онъ начинаетъ свой монологъ въ глубинѣ сцены, при самомъ выходѣ изъ-за кулисъ, медленно приближаясь, тихимъ голосомъ продолжаетъ его, такъ что, когда доходитъ до конца сцены, то говоритъ уже послѣдніе стихи, которые поэтому одни и слышны зрителямъ. Это большая ошибка съ его стороны. Естественность сценическаго искусства совсѣмъ не то же, что естественность дѣйствительности; и смотрѣть на нее такъ—значитъ впасть въ ошибку французскихъ классиковъ, которые необходимымъ условіемъ естественности почитали единство времени и мѣста; искусство имѣетъ свою естественность, потому что оно есть не списываніе, не подражаніе, но воспроизведеніе дѣйствительности». То тягостное, какъ кошмаръ, впечатлѣніе, какое производитъ иногда игра талантливаго актера въ моменты изображенія чисто физическихъ мученій, умиранія, зависитъ именно отъ нарушенія сценической условной естественности. Чувство мѣры, сценическій художественный тактъ должны подсказывать актеру тѣ предѣлы, за которые онъ не можетъ переходить въ естественности игры, не нарушая художественнаго впечатлѣнія.

Но какъ дается актеру та художественная естественность, которая одна способна заставить зрителя невольно поддаться увлеченію чужими радостями и муками, которая, по выраженію Бѣлинскаго, способна перенести душу «въ пламенный эѳиръ любви»? Долженъ ли актеръ самъ цѣликомъ переживать всѣ волненія, изображаемыя имъ, или же онъ можетъ ограничиться передачей однихъ внѣшнихъ признаковъ этихъ волненій? Это—старый вопросъ объ игрѣ «нутромъ» и объ игрѣ «выучкой», употребляя актерскій жаргонъ,—вопросъ, до сихъ поръ не сданный въ архивъ и постоянно снова выдвигаемый. Бѣлинскій касался этого вопроса по поводу игры Мочалова, игравшаго «нутромъ», и трагика Каратыгина, бравшаго «выучкой», работой надъ внѣшностью. Сперва критикъ былъ всецѣло на сторонѣ Мочалова. Онъ посвятилъ даже ему большую горячую статью, которою рецензенты пользуются, чтобы укорять ею сплошь всѣхъ новыхъ русскихъ исполнителей роли Гамлета, и недоумѣвалъ, какъ можно восхищаться холоднымъ искусствомъ Каратыгина, построеннымъ исключительно на внѣшней эффектности. Съ теченіемъ времени, какъ мы уже упомянули, Бѣлинскій нѣсколько измѣнилъ свой взглядъ на Каратыгина,

или, вѣрнѣе, не столько измѣнилъ, сколько ограничилъ, призналъ въ Каратыгинѣ, который сначала только «удивлялъ» его, но никогда «не трогалъ и не волновалъ», замѣчательнаго артиста. Сравненіе этихъ двухъ артистовъ, дѣлаемое Бѣлинскимъ по поводу игры Каратыгина въ «Велизаріи», исчерпываетъ этотъ вопросъ о «нутрѣ» и «выучкѣ». Игра Мочалова, по моему убѣжденію,—говоритъ критикъ—иногда, есть откровеніе таинства, сущности сценическаго искусства, но часто бываетъ и его оскорбленіемъ. Игра Каратыгина, по моему убѣжденію, есть норма внѣшней стороны искусства, и она всегда вѣрна себѣ, никогда не обманываетъ зрителя, вполнѣ давая ему то, что онъ ожидалъ, и еще больше. Мочаловъ всегда падаетъ, когда его оставляетъ его волканическое вдохновеніе, потому что ему, кромѣ своего вдохновенія, не на что опереться, такъ какъ онъ пренебрегъ техническою стороной искусства; поэтому онъ всегда падаетъ и тамъ, когда берется за роли, требующія отчетливаго выполненія, искусства—въ техническомъ смыслѣ этого слова. Каратыгинъ за всякую роль берется смѣло и увѣренно, потому что его успѣхъ зависитъ не отъ удачи вдохновенія, а отъ строгаго изученія роли: поэтому онъ падаетъ только въ роляхъ и сценахъ, требующихъ, по своей сущности, огненной страсти, трепетнаго одушевленія, какъ въ Отелло; но его паденіе видно не толпѣ, а немногимъ знатокамъ искусства. Оба эти артиста представляютъ собою двѣ противоположныя стороны, двѣ крайности искусства, и оба они—представители нашихъ столицъ, со стороны вкуса и направленія публики. Оба они достойны того уваженія и той любви, которыми пользуется каждый на своей родной сценѣ. Безъ вдохновенія нѣтъ искусства; но одно вдохновеніе, одно непосредственное чувство есть счастливый даръ природы, богатое наслѣдство безъ труда и заслуги, только изученіе, наука, трудъ дѣлаютъ человѣка достойнымъ и законнымъ владѣльцемъ этого часто случайнаго наслѣдства, и они же утверждаютъ его дѣйствительность, а безъ нихъ оно и теряется, и проматывается. Изъ этого ясно, что только изъ соединенія этихъ противоположностей образуется истинный художникъ, котораго, напримѣръ, русскій театръ имѣетъ въ лицѣ Щепкина. Односторонности сами по себѣ неудовлетворительны. Что мнѣ за радость увидѣть умное, отчетливое, но холодное выполненіе роли Отелло, въ которомъ можно простить неровности, промахи, неудачи, но въ которомъ нельзя простить недостатка бушующей, опустошительной страсти африканскаго тигра и великаго человѣка вмѣстѣ?.. Съ другой стороны, что мнѣ за радость, увидѣвши въ патетической сценѣ Лира съ дочерью истинно оскорбленнаго отца-короля, видѣть потомъ какого-то мѣщанина, который силится увѣрить, что будто онъ король!.. Впрочемъ, въ историческомъ развитіи искусства односторонности имѣютъ свое значеніе,—добавляетъ Бѣлинскій и

выражаетъ пожеланіе, «чтобы московскій Мочаловъ не переставалъ, какъ весталка, хранить священный огонь сущности своего искусства, безъ которой нѣтъ искусства, а есть умѣніе; и пусть петербургскій Каратыгинъ не перестаетъ показывать, что такое художественность формы, безъ которой и истинное искусство недостаточно и неполно»...

Вообще, та склонность къ игрѣ исключительно «нутромъ», какую проявляетъ едва ли не большинство русскихъ талантливыхъ актеровъ, въ старину, во время Бѣлинскаго, имѣла себѣ объясненіе, какъ реакція противъ ложноклассической школы, гдѣ условно изящная внѣшность актера стояла на первомъ планѣ. Московскій театръ (гдѣ подвизался Мочаловъ), по выраженію Бѣлинскаго, въ его время былъ «плебей безъ предковъ, безъ преданія, безъ исторіи, романтикъ по своему духу, врагъ классицизма, пѣвучей дикціи и менуэтныхъ движеній». Съ легкой руки Мочалова, привычка играть по вдохновенію, тѣмъ болѣе, что она вполнѣ соотвѣтствовала россійской природной лѣни, широкимъ потокомъ разлилась по русской сценѣ, въ особенности провинціальной, сгубивши безвозвратно не мало дарованій. Въ настоящее время, однако, замѣчается уже реакція, и во главѣ ея, конечно, давно уже шла сцена московскаго Малаго театра. Бѣлинскій въ некрологѣ Мочалова опредѣленно высказывался за необходимость ея. «И невозможно себѣ представить,—писалъ онъ,—до какой степени воспользовался Мочаловъ богатыми средствами, которыми надѣлила его природа! Со дня вступленія на сцену, привыкши надѣяться на вдохновеніе, всего ожидать отъ внезапныхъ и волканическихъ вспышекъ своего чувства, онъ всегда находился въ зависимости отъ расположенія своего духа: найдетъ на него одушевленіе—и онъ удивителенъ, безподобенъ; нѣтъ одушевленія—и онъ впадаетъ не то чтобы въ посредственность,—это бы еще куда ни шло,—нѣтъ, въ пошлость и тривіальность... Конечно, безъ вдохновенія нельзя сыграть, какъ слѣдуетъ, никакой роли, тѣмъ болѣе трагической; но и безъ вдохновенія можно играть прилично, умно, отчетливо. Почти всякая роль начинается довольно холодно и разогрѣвается по мѣрѣ хода драмы. Вотъ тутъ-то особенно важно для актера не потеряться, испугавшись своего внутренняго нерасположенія къ игрѣ, но играть съ полнымъ присутствіемъ духа; вдохновеніе мало-по-малу придетъ само собою, его вызовутъ рукоплесканія публики; притомъ же, играя отчетливо, актеръ невольно входитъ въ свою роль и самъ себя разогрѣваетъ ею. Но этого обладанія своими средствами актеръ можетъ достичь только усиленнымъ и долговременнымъ изученіемъ своего искусства. Этого-то изученія и недоставало Мочалову, чтобы быть истиннымъ чудомъ сценическаго искусства. И потому онъ давно уже шелъ назадъ, вмѣсто того, чтобъ итти впередъ. Въ 1846 г. Мочалова едва узнавали на сценѣ не

видавшіе его лѣтъ шесть. Были и тутъ вспышки, но уже не прежняго Мочалова: голосъ хриплый; страсть еще есть, но уже средства для выраженія ея ослабли... Въ мірѣ искусства Мочаловъ—примѣръ поучительный и грустный. Онъ доказалъ собою, что одни природныя средства, какъ бы они ни были огромны, но безъ искусства и науки, доставляютъ торжества только временныя, и часто человѣкъ ихъ лишается именно въ ту эпоху своей жизни, когда бы имъ слѣдовало быть въ полномъ ихъ развитіи».

Бѣлинскій указываетъ въ игрѣ Каратыгина въ роли «Велизарія» мѣсто, которое показываетъ, на какую высоту способно подыматься даже холодное внѣшнее искусство, всецѣло захватывая зрителя, какъ и игра по вдохновенію. «Я врагъ эффектовъ,—пишетъ Бѣлинскій,—мнѣ трудно подпасть подъ обаяніе эффекта; какъ бы онъ ни былъ изященъ, благороденъ и уменъ, онъ всегда встрѣтитъ въ душѣ моей сильный отпоръ; но когда я увидѣлъ Каратыгина-Велизарія, въ тріумфѣ везомаго народомъ по сценѣ въ торжественной колесницѣ, когда я увидѣлъ этого лавровѣнчаннаго старца-героя, съ его сѣдою бородой, въ царственно-скромномъ величіи,—священный восторгъ мощно охватилъ все существо мое и трепетно потрясъ его... Театръ задрожалъ отъ взрыва рукоплесканій... А между тѣмъ артистъ не сказалъ ни одного слова, не сдѣлалъ ни одного движенія, онъ только сидѣлъ и молчалъ...» И въ послѣдній разъ Бѣлинскій говоритъ о Каратыгинѣ въ такихъ выраженіяхъ (IX т.): «О родѣ таланта г. Каратыгина каждый можетъ имѣть свое мнѣніе; но никто не можетъ, безъ нарушенія добросовѣстности, не согласиться въ томъ, что г. Каратыгинъ служитъ своему искусству не только умно и совѣстливо, что онъ—артистъ въ душѣ, и что съ его удаленіемъ со сцены Александринскаго театра удалится оттуда искусство, не оставивъ по себѣ и слѣда...»

Если тщательное изученіе сценическаго искусства важно для крупныхъ артистовъ на первыя роли, то еще важнѣе оно, указывалъ Бѣлинскій, для актеровъ на вторыя и третьи роли. «Таланты вездѣ рѣдки, природа скупа на нихъ. Невозможно требовать, чтобы такая огромная труппа, какъ труппа московскаго театра, была сформирована изъ однихъ талантовъ. Ни одинъ театръ въ Европѣ не можетъ похвалиться этимъ, потому что это не въ природѣ вещей. А между тѣмъ общность и цѣльность игры есть неотъемлемая принадлежность всякаго порядочнаго иностраннаго театра. Недостатокъ дарованій долженъ замѣняться умомъ, образованіемъ, изученіемъ. Есть такіе актеры, которые ни одной роли не сыграютъ художественно и въ то же время не испортятъ никакой роли, за какую ни возьмутся. Такіе актеры—дѣло важное, истинное сокровище для театра. Они сами не блестятъ, но даютъ возможность блестѣть другимъ. Безъ нихъ невозможно очарованіе истинности представленія» (II т., Московскій театръ).

Не останавливаемся на многихъ, мимоходомъ высказанныхъ, мысляхъ Бѣлинскаго о театрѣ. Упомянемъ лишь, что онъ, напр., постоянно высказывался противъ системы бенефисовъ, при которой ставились на сцену пьесы на скорую руку написанныя, по заказу, и кое-какъ разученныя, съ расчетомъ лишь бы привлечь публику. Мы привели выше образецъ бенефисной афиши. Далѣе Бѣлинскій возставалъ противъ обычая заключать спектакль послѣ серьезной драмы или комедіи непремѣнно водевилемъ; онъ указывалъ также, по поводу спектаклей Щепкина въ Александринскомъ театрѣ, на то, что такія «гастроли», употребляя утвердившееся нынѣ слово, могутъ быть немаловажнымъ средствомъ для поднятія сценическаго искусства. Обходя эти частности, заключимъ нашу статью общимъ обзоромъ дѣятельности Бѣлинскаго, какъ театральнаго рецензента.

Страстное одушевленіе, съ какимъ Бѣлинскій относился къ театру, выше характеризованное, онъ внесъ и въ свою дѣятельность рецензента новыхъ пьесъ и игры актеровъ. Какъ серьезно онъ смотрѣлъ на это занятіе, лучше всего видно изъ заключенія его первой статьи о театрѣ, гдѣ, всецѣло восхищаясь Мочаловымъ, онъ сильно нападаетъ на Каратыгина (I т.): «Я сказалъ все, что хотѣлъ сказать. Почитаю нужнымъ замѣтить, что никогда не бывалъ за кулисами, никогда не находился ни въ какихъ отношеніяхъ съ гг. артистами, о коихъ сужу, и незнакомъ ни съ однимъ изъ прочихъ, и потому судилъ безъ всякихъ личныхъ предубѣжденій, безъ всякаго личнаго пристрастія, по моей совѣсти и разумѣнію. Легко можетъ статься, что мое мнѣніе будетъ очень неважно какъ въ глазахъ артиста, такъ и въ глазахъ публики, но оно должно быть важно для меня, ибо тотъ недобросовѣстенъ, кто не дорожитъ своими мнѣніями, какъ человѣкъ, если не какъ литераторъ... Стыжусь и краснѣю, дѣлая эту пошлую оговорку; но что же дѣлать, когда не только толпа, но и нѣкоторые изъ людей, руководствующихъ мнѣніями этой толпы, во всякомъ сужденіи, откровенно и рѣзко высказанномъ не въ пользу судимаго лица, видятъ навѣты, недобросовѣстность и недоброжелательство». Отъ этихъ столь необычныхъ и теперь едва ли мыслимыхъ заявленій вѣетъ тѣмъ же юношескимъ задоромъ, съ какимъ за годъ передъ тѣмъ были написаны «Литературныя мечтанія».

Съ такимъ же увлеченіемъ, въ статьѣ о Мочаловѣ въ роли Гамлета, онъ ставитъ рецензенту такія требованія, какія были подъ силу, быть можетъ, ему одному: «Сценическое искусство есть искусство неблагодарное, потому что оно живетъ только въ минуту творчества и, могущественно дѣйствуя на душу въ настоящемъ, оно неуловимо въ прошедшемъ». Какъ воспоминаніе, игра актера жива для того, кто былъ ею потрясенъ, но не для того, кому бы хотѣлъ онъ передать свое о ней понятіе». Чтобъ уло-

вить творчество актера, передать другимъ представленіе о немъ, «не подробный и обстоятельный отчетъ должны мы написать,—говоритъ Бѣлинскій,—не мнѣніе наше должны мы представить на судъ читателей, которые могутъ и принять его, и не принять: мы должны заставить ихъ повѣрить намъ безусловно, а для этого намъ должно возбудить въ душахъ ихъ всѣ тѣ потрясенія, вмѣстѣ и мучительныя и сладостныя, неуловимыя и дѣйствительныя, которыми восторгалъ и мучилъ насъ по своей волѣ великій артистъ; должно ринуть ихъ въ то состояніе души человѣка, когда она, увлеченная чародѣйственною силой и слабая, чтобы защититься отъ ея могучихъ обаяній, предается ей до самозабвенія и, любя чужою любовью, страдая чужимъ страданіемъ, сознаетъ себя только въ одномъ чувствѣ безконечнаго наслажденія, но уже не чужого, а своего собственнаго,—словомъ, намъ должно сдѣлать съ нашими читателями то же самое, что дѣлалъ съ нами Мочаловъ... Да, надобно, чтобы каждое наше слово было проникнуто кровью, желчью, слезами, стонами, и чтобы изъ-за нашихъ живыхъ и поэтическихъ образовъ мелькало передъ глазами читателей какое-то прекрасное меланхолическое лицо, и раздавался голосъ, полный тоски, бѣшенства, любви, страданія, и во всемъ этомъ всегда гармоническій, всегда гибкій, всегда проникающій въ душу и потрясающій ея самыя сокровенныя струны...» Понятно, какъ трудна подобная задача; поставить ее себѣ можно только по поводу игры геніальнаго актера въ геніальномъ произведеніи, а чтобъ исполнить хоть сколько-нибудь удовлетворительно, «рецензенту надо сдѣлаться поэтомъ, и поэтомъ великимъ». Только при такомъ условіи рецензенту возможно достичь цѣли, къ какой онъ въ подобномъ случаѣ долженъ бы стремиться: «передавая глубокія и прекрасныя впечатлѣнія, которыми волновала зрителя игра великаго актера, «и указывая на тѣ минуты его высшаго одушевленія, которыя отдѣлялись отъ цѣлаго выполненія роли и съ особеннымъ могуществомъ потрясали души зрителей», заставить «бывшихъ на этихъ представленіяхъ сказать: «да, это правда: все было прекрасно, но эти мгновенія были велики», а тѣхъ, которые не видѣли «Гамлета» на сценѣ, заставить пожалѣть объ этой потерѣ и пожелать вознаградить ее...» И кто знаетъ, не потому ли только такъ великъ кажется Мочаловъ, что въ статьѣ о немъ Бѣлинскій осуществилъ до возможной степени этотъ идеалъ театральной критики, что другіе артисты, не менѣе Мочалова талантливые, не нашли себѣ такого истолкователя.

Мы говорили уже, что за репертуаръ былъ во время Бѣлинскаго и какъ отражался онъ на состояніи сцены. Уже въ самыхъ первыхъ статьяхъ критика находимъ жалобы: «Въ доброе старое время, въ это время холоднаго классицизма, пѣвучей декламаціи, въ это время царей, наперс-

никовъ, героевъ добродѣтели, злодѣевъ, опекуновъ, горничныхъ, любовниковъ,—въ это доброе старое время, говорю я, театръ понимали лучше. Идеи объ искусствѣ не было: цѣль была забава, но забава благопристойная. А теперь!... Теперь идея искусства только на журнальныхъ оберткахъ и афишкахъ, но въ художественныхъ произведеніяхъ (вѣрнѣе было сказать: претендовавшихъ на художественность,—скажемъ отъ себя) и на театрѣ ея и духу нѣтъ» (I т.). Естественно, что Бѣлинскій постепенно суживалъ свой взглядъ на роль рецензента, начиналъ относиться и къ театру гораздо холоднѣе, по мѣрѣ того, какъ убѣждался, что отъ идеала театра до осуществленія его при тогдашнихъ условіяхъ литературы цѣлая пропасть. Сперва онъ готовъ былъ довольствоваться одними намеками на осуществленіе этого идеала въ дѣйствительности: «Полное сценическое очарованіе возможно только подъ условіемъ естественности представленія, происходящей сколько отъ искусства, столько и отъ ансамбля игры... Но у насъ невозможенъ этотъ ансамбль... Что жъ тутъ дѣлать? остается смотрѣть внимательно на главный персонажъ пьесы и закрыть глаза для всего остального. Но ежели и актеръ, занимающій главное амплуа, не выдерживаетъ цѣлости роли, будучи превосходенъ только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оной, -- тутъ что остается дѣлать? ловить эти немногія мѣста и благодарить художника за нѣсколько глубокихъ потрясеній, за нѣсколько сладкихъ минутъ восторга, которыя вы уносите изъ театра и память о которыхъ долго, долго носится въ душѣ вашей». Мало-по-малу онъ пересталъ довольствоваться этимъ, и съ половины 1840 г. онъ даже прекращаетъ разбирать игру актеровъ, ограничиваясь одними замѣчаніями о пьесахъ и объ общемъ оскудѣніи театра. Это совершенно понятно съ его точки зрѣнія; дѣйствительно, не было возможности писать объ игрѣ актеровъ, съ сознаніемъ, что какъ бы они ни старались, сколько бы ни принимали во вниманіе замѣчаній вдумчивой, дѣльной критики, все равно нелѣпый репертуаръ заграждалъ дорогу ихъ развитію. Къ этому же времени относится «элегія о театрѣ», какъ самъ Бѣлинскій называетъ свои изліянія. «Театръ, театръ! какимъ магическимъ словомъ былъ ты для меня во время оно! — восклицаетъ онъ:—какимъ невыразимымъ очарованіемъ потрясалъ ты тогда всѣ струны души моей, и какіе дивные аккорды срывалъ ты съ нихъ!.. Такъ сильно было твое на меня вліяніе, что даже и теперь, когда ты такъ обманулъ, такъ жестоко разочаровалъ меня,—даже и теперь этотъ, еще пустой, но уже ярко освѣщенный амфитеатръ и медленно собирающаяся въ него толпа, эти нескладные звуки настраиваемыхъ инструментовъ, даже и теперь все это заставляетъ трепетать мое сердце какъ бы отъ предчувствія какого-то великаго таинства, какъ бы отъ ожиданія какого-то великаго чуда, сейчасъ готоваго совершиться передъ моими глазами... А

тогда!..»—восклицаетъ Бѣлинскій и на нѣсколькихъ страницахъ вспоминаетъ о юношескихъ мечтахъ увидѣть воплощеніе пьесъ Шекспира, вспоминаетъ, какимъ онъ видѣлъ Мочалова въ его лучшихъ роляхъ и въ лучшіе моменты его игры. «Я уже начиналъ было думать, что увидѣлъ въ театрѣ все, что можетъ театръ показать и чего можно отъ театра требовать,—продолжаетъ онъ,—но всякому очарованію бываетъ конецъ,—моему былъ тоже». Бѣлинскій убѣдился, что одинъ Мочаловъ, всегда неровный, «не въ силахъ поддержать на своихъ плечахъ громаднаго зданія Шекспировой драмы». «Мнѣ стало и досадно, и больно, — говоритъ критикъ.—Но вотъ пришло время, когда я уже не досадую, кромѣ развѣ тѣхъ случаевъ, когда, увидѣвъ въ длинной афишѣ нѣсколько новыхъ пьесъ и надъ ними роковую надпись: *въ первый разъ*... иду себѣ, какъ присяжный рецензентъ, въ храмъ искусства драматическаго, который для меня давно уже пересталъ быть храмомъ...» «Боже мой, какъ я перемѣнился!» — съ грустью добавляетъ Бѣлинскій и проситъ читателя, Бога ради, не смотрѣть на него, какъ на человѣка злого и недоброжелательнаго, который изливаетъ свою желчь на дѣйствительность за то, что она разрушила его мечты: какъ мы знаемъ, дѣйствительность, въ самомъ дѣлѣ, не заслуживала иного къ себѣ отношенія, чѣмъ то, какое мы видимъ у Бѣлинскаго.

Въ концѣ-концовъ дѣятельность Бѣлинскаго, какъ театральнаго рецензента, свелась на скромное собираніе матеріаловъ. «Мы сдѣлали театральную хронику постоянною статьею въ нашемъ журналѣ, — писалъ онъ въ 1844 г.,—совсѣмъ не для критической оцѣнки пьесъ, равно какъ и не для назиданія или удовольствія почтеннѣйшей публики Александринскаго театра. Да и къ чему бы послужило все это? Что можно сказать о «ничемъ»? Нѣтъ, наша цѣль совсѣмъ другая: мы трудимся для будущаго историка русскаго театра и русской драматической литературы, и надѣемся, что только наша театральная хроника дастъ ему истинно драгоцѣнные матеріалы». Думается, нами достаточно ясно показано, что къ иному результату театральная критика Бѣлинскаго и не могла притти. Какъ бы то ни было, все писанное имъ о театрѣ заслуживаетъ серьезнаго вниманія, и тотъ, кто не полѣнится пробѣжать театральныя хроники Бѣлинскаго, вѣроятно, въ этомъ не раскается. Глубокое пониманіе критикомъ сущности сценическаго искусства достойно стоитъ на ряду съ безпристрастнымъ и внимательнымъ отношеніемъ къ артистамъ, какое замѣчается въ первую половину его дѣятельности рецензента, когда онъ писалъ еще объ актерахъ: онъ всегда опредѣленно и ясно указывалъ на достоинства и промахи ихъ, не прибѣгая къ общимъ мѣстамъ и фразамъ, ничего не говорящимъ и скрывающимъ такъ часто незнаніе рецензента, что̀ сказать о томъ или

другомъ актерѣ. Вниманіе, съ какимъ Бѣлинскій отмѣчаетъ отношеніе публики къ актерамъ и пьесамъ, то сочувствуя ей, то негодуя на ея дикость и жалѣя объ ея невѣжествѣ, стоитъ въ тѣсной связи съ постояннымъ требованіемъ близости между сценою и жизнью, съ его мечтами «видѣть на сценѣ всю Русь, съ ея добромъ и зломъ, съ ея высокимъ и смѣшнымъ,— видѣть біеніе пульса ея могучей жизни». И каждая сторона театральныхъ хроникъ Бѣлинскаго, писанныхъ ровно полвѣка тому назадъ, все еще трепещетъ и дышитъ жизнью его порывистой души, въ каждой фразѣ дышатъ «то убѣжденіе и одушевленіе, безъ которыхъ, какъ онъ говорилъ о себѣ безъ ложной гордости и самохвальства, не можетъ и не умѣетъ писать, потому что почитаетъ это оскорбленіемъ истины и неуваженіемъ къ самому себѣ» *).

Такимъ образомъ, въ театральныхъ хроникахъ Бѣлинскаго мы видимъ затронутыми и объясненными, часто довольно подробно, основные вопросы и сценическаго искусства, и театра вообще. У критика ясно проглядывала мысль о двойственномъ общественномъ значеніи театра, съ одной стороны,

---

*) Даже переставъ слѣдить за текущею драматическою литературой рецензіями, Бѣлинскій продолжалъ живо интересоваться судьбою русскаго театра. Лѣтомъ 1846 года, по настоянію и на средства друзей, онъ путешествовалъ для поправленія здоровья по югу Россіи вмѣстѣ съ М. С. Щепкинымъ, къ которому былъ всегда очень расположенъ и лично. Изъ Одессы отъ 4-го іюля („Русск. Мысль", 1891 г., 1) онъ сообщилъ А. И. Герцену, что собирается писать для „Современника" путевыя впечатлѣнія. „А буду я писать вотъ о чемъ,—говорится въ письмѣ, и на первомъ мѣстѣ въ тогдашнихъ планахъ Бѣлинскаго—театръ:—„1. О театрѣ русскомъ, причинахъ его гнуснаго состоянія и причинахъ скораго и совершеннаго паденія сценическаго искусства въ Россіи. Тутъ будетъ сказано многое изъ того, что уже говорено и другими, и мною, но предметъ будетъ разсмотрѣнъ à fond. М. С. игралъ въ Калугѣ, Харьковѣ, теперь играетъ въ Одессѣ, а, можетъ быть, будетъ играть въ Николаевѣ, Севастополѣ, Симферополѣ и чортъ знаетъ гдѣ еще. Я видѣлъ много, ходя и на репетиціи и на представленія, толкаясь между актерами. Сверхъ того, М. С. преусердно снабжаетъ меня комментаріями и фактами, что все будетъ ново и сильно". Ближайшіе интересы русской литературы, полемика со славянофилами и т. д. помѣшали, однако, критику исполнить его намѣреніе „разсмотрѣть предметъ à fond", такъ что приходится довольствоваться тѣмъ, что было сказано Бѣлинскимъ болѣе или менѣе случайно въ его театральныхъ рецензіяхъ. Приведенный отрывокъ интересенъ и въ другомъ отношеніи: здѣсь самъ Бѣлинскій указываетъ косвенно, что взгляды его на театръ отличались опредѣленностью и устойчивостью. Мы уже упоминали, что главная масса рецензій написана критикомъ до 1842 года, слѣдовательно, еще въ то время, когда общее міровоззрѣніе его развивалось съ рѣзкими уклоненіями въ стороны, а въ письмѣ 1846 г. Бѣлинскій собирается лишь систематизировать, повторить о судьбахъ русскаго театра à fond то, что высказывалось имъ и въ періоды колебаній міровоззрѣнія.

какъ нравственно-воспитательнаго фактора, съ другой—какъ фактора общественно-образовательнаго. Сперва онъ подчеркивалъ, сообразно общему состоянію своего міровоззрѣнія, первую сторону; вторая была выдвинута лишь впослѣдствіи, какъ недосягаемый въ его время идеалъ, который и нынѣ остается недостигнутымъ. Условіемъ полнаго осуществленія театра, понимаемаго такимъ образомъ, является репертуаръ, составленный съ одной стороны изъ классическихъ художественныхъ пьесъ, представленія которыхъ—праздники сценическаго искусства, съ другой—изъ произведеній полныхъ живого интереса современности, пьесъ, въ которыхъ артисты могутъ блистать всѣми своими силами, развиваемыми въ пьесахъ первой категоріи. Артисты, слѣдовательно, находятся въ зависимости существеннѣйшимъ образомъ отъ репертуара, что мастерски показано Бѣлинскимъ.

XI.

М. С. Щепкинъ и его сценическая дѣятельность.

Per aspera ad astra.

«Театръ!.. Любите ли вы театръ такъ, какъ я люблю его, то-есть всѣми силами души вашей, со всѣмъ энтузіазмомъ, со всѣмъ изступленіемъ, къ которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлѣній изящнаго? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свѣтѣ, кромѣ блага и истины?»

Эти страстныя строки написаны Бѣлинскимъ въ 1834 году, когда онъ начиналъ свою дѣятельность рядомъ статей подъ заглавіемъ «Литературныя мечтанія». Онъ мечталъ о своемъ народномъ русскомъ театрѣ, мечталъ «видѣть на сценѣ всю Русь, съ ея добромъ и зломъ, съ ея высокимъ и смѣшнымъ, слышать говорящими ея доблестныхъ героевъ, вызванныхъ изъ гроба могуществомъ фантазіи, видѣть біеніе пульса ея могучей жизни»...

Дѣйствительность совсѣмъ не соотвѣтствовала идеалу, который рисовался предъ Бѣлинскимъ въ такихъ свѣтлыхъ и прекрасныхъ очертаніяхъ. Много воды утекло съ того времени. Къ комедіи Грибоѣдова вскорѣ прибавился «Ревизоръ», въ 50-е, 60-е и 70-е годы весь огромный репертуаръ Островскаго. Мы можемъ указать теперь образцовую русскую сцену, Малый театръ въ Москвѣ, стоящую на одной высотѣ съ лучшими западноевропейскими сценами, можемъ назвать цѣлый рядъ видныхъ сценическихъ дѣятелей и въ прошломъ, и отчасти въ настоящемъ. Жалобы на низкій уровень современнаго театра, однако, раздаются и понынѣ, и, къ сожалѣнію, въ нихъ много основательнаго. Какъ бы то ни было, нельзя отрицать одного: у насъ въ общемъ любятъ театръ. Въ особенности это замѣтно въ провинціи: стóитъ только въ любомъ, даже небольшомъ го-

родѣ появиться сколько-нибудь порядочной драматической труппѣ, и она становится на весь сезонъ чуть не главною злобою дня въ городѣ. При умѣломъ веденіи дѣла такая труппа ни въ какомъ случаѣ не можетъ пожаловаться на отсутствіе вниманія къ себѣ.

Если любовь къ сценическому искусству, такъ ярко вылившаяся во вдохновенныхъ словахъ Бѣлинскаго, не угасла въ русскомъ обществѣ, то причиною тому, конечно, развитіе театра въ томъ же направленіи, въ какомъ развивалась и литература. Это направленіе, при самомъ своемъ возникновеніи, получило названіе «натуральной» или реальной школы; характеръ ея достаточно извѣстенъ. Гоголь былъ ея родоначальникомъ, Бѣлинскій — теоретикомъ, продолжателями — Тургеневъ, Григоровичъ, Достоевскій, Левъ Толстой, Гончаровъ и проч. Требованія художественнаго реализма, преслѣдующаго цѣли идеальнаго характера, выдвинулись на первый планъ, средствомъ стало изображеніе русской дѣйствительности во всей совокупности ея общественно-бытовыхъ чертъ, изображеніе человѣка со всѣми его побужденіями, и низменными, и возвышенными. Нисколько не теряя своего высокаго самостоятельнаго значенія, «натуральная школа» была «искусствомъ для общества».

Сценическое искусство въ своемъ развитіи было крайне стѣснено репертуаромъ. Только «Горе отъ ума» да пьесы Гоголя и дошли до насъ изъ всѣхъ «оригинальныхъ» пьесъ, въ которыхъ преобразователю сценическаго искусства, Щепкину, пришлось развивать свои силы. Наша драматическая литература въ его время страшно отставала отъ романа и повѣсти. Это неблагопріятное обстоятельство тѣмъ болѣе увеличиваетъ заслуги Щепкина, какъ распространителя новыхъ воззрѣній на сценическое искусство, стоящихъ на уровнѣ новаго направленія всей литературы. Наше уваженіе къ Щепкину еще болѣе возростетъ, когда мы увидимъ, какого труда стоили ему самому эти воззрѣнія и проведеніе ихъ на практикѣ.

Подробности ранняго дѣтства М. С. Щепкина мы передавать не будемъ: онъ самъ живо и картинно разсказалъ ихъ въ своихъ запискахъ *). Отмѣтимъ лишь самое существенное.

Онъ родился 6-го ноября 1788 г. въ Курской губерніи, Обоянскаго уѣзда, въ селѣ Красномъ, что на рѣчкѣ Пенкѣ. Отецъ его, крѣпостной камердинеръ, а впослѣдствіи управитель графа Волькенштейна, пользовался большимъ расположеніемъ своего барина, человѣка образованнаго и добраго. Благодаря этому крѣпостное состояніе лично для Щепкина было сравни-

*) „Записки и письма М. С. Щепкина". М. 1864. Дѣтство и юность Щепкина также подробно пересказаны въ біографическомъ очеркѣ В. Ермилова: „Великій артистъ-крестьянинъ, Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ". М. 1892. Цѣна 35 к.

тельно не тягостно. Щепкинъ-отецъ старался дать сыну образованіе побольше. Миша Щепкинъ не только одолѣлъ премудрость часослова и псалтыря — чѣмъ тогдашнее обученіе зачастую и ограничивалось — но побывалъ и въ уѣздномъ училищѣ (въ Суджѣ), и въ губернскомъ въ Курскѣ. Тогдашняя наука, вся основанная на заучиваніи учебниковъ на зубокъ, легко давалась Щепкину, не по лѣтамъ умному, бойкому и наблюдательному. Горькій корень ученія, въ видѣ колотушекъ и неоднократной порки, пришлось все-таки извѣдать и Щепкину. Зато онъ вкусилъ и сладкихъ плодовъ, еще находясь въ курскомъ училищѣ: весь городъ зналъ «милаго Мишу, умнаго Мишу», крѣпостного, который перещеголялъ всѣхъ; его гладили по головѣ, ласково трепали по пухлымъ щечкамъ, а въ Свѣтлый праздникъ губернаторъ лично отъ себя посылалъ Щепкину полсотни крашеныхъ яицъ и 5 рублей ассигнаціями, на зависть и удивленіе всѣмъ его товарищамъ. Несмотря, однако, на такое всеобщее благоволеніе, Щепкина не пустили, какъ крѣпостного, въ дополнительный классъ училища, гдѣ обучали французскому языку дѣтей дворянъ. Это была одна изъ первыхъ обидъ Щепкину отъ званія крѣпостного, которую онъ почувствовалъ вполнѣ сознательно.

Какъ ни плоха была вся тогдашняя школа, все-таки она пробудила въ Щепкинѣ страстную охоту къ самообразованію. Одно время на молодого дворового, охотника до книжекъ, обратилъ вниманіе извѣстный авторъ эротической поэмы прошлаго вѣка «Душеньки», И. Ѳ. Богдановичъ. Онъ бывалъ у графа Волькенштейна, заинтересовался Щепкинымъ, сталъ давать ему книги изъ своей библіотеки, разспрашивалъ о прочитанномъ. Но Богдановичъ скоро умеръ, и Щепкинъ остался безъ руководителя, читалъ, что попадалось подъ руку и что давалъ знакомый приказчикъ изъ книжной лавки.

Изъ губернскаго училища Щепкинъ попалъ прямо въ многочисленную, не занятую ничѣмъ и потому, вѣроятно, порядочно распущенную среду дворовыхъ графа Волькенштейна. Юноша то рисовалъ какіе-то узоры для графини, то писалъ письма для графа, то былъ просто на побѣгушкахъ или оффиціантомъ. Какъ ловкаго и расторопнаго малаго, его нерѣдко выпрашивали у его господъ для прислуживанія на званыхъ обѣдахъ и вечерахъ. Щепкину было гдѣ приглядѣться и къ блестящей развеселой жизни тогдашняго дворянства, и къ оборотной сторонѣ ея. Впослѣдствіи онъ съ полнымъ правомъ говаривалъ, что знаетъ русскую жизнь отъ дворцовъ до лакейской. Онъ широко воспользовался природною своею наблюдательностью, когда на сценѣ пришлось играть людей всякаго званія и состоянія.

Трудно сказать, что могло бы выйти изъ талантливаго юноши, съ немалыми уже умственными запросами, въ той средѣ, куда бросила его

случайность рожденія. Безплодная гибель крупныхъ талантовъ въ крѣпостной средѣ не разъ составляла предметъ потрясающихъ душу разсказовъ. Щепкина спасли исключительное его положеніе, какъ сына графскаго управителя, и исключительная доброта его господъ, а болѣе всего рано овладѣвшая имъ страсть къ театру.

Она зародилась очень рано. На седьмомъ году жизни ему случилось видѣть оперу въ исполненіи графскихъ пѣвцовъ и музыкантовъ, и это представленіе произвело на него такое впечатлѣніе, что онъ всю жизнь помнилъ всѣ его подробности. Потомъ въ Суджѣ ему пришлось и самому, съ восторгомъ и увлеченіемъ, сыграть въ дѣтскомъ спектаклѣ, который устроенъ былъ уѣзднымъ учителемъ. Эта первая игранная Щепкинымъ роль была роль слуги Розмарина въ комедіи Сумарокова «Вздорщица». Спектакль произвелъ фуроръ въ уѣздномъ городишкѣ и былъ повторенъ съ неменьшимъ успѣхомъ въ домѣ городничаго на свадьбѣ. При этомъ Мишу Щепкина, въ отличіе отъ прочихъ актеровъ, городничій не расцѣловалъ, какъ другихъ, а только погладилъ по головкѣ и въ видѣ особой милости далъ Щепкину поцѣловать свою ручку, со словами: «Ай-да Щепкинъ! Молодецъ! Бойчѣе всѣхъ говорилъ; хорошо, братецъ, очень хорошо! Добрый слуга будешь барину!»

Въ Курскѣ Щепкинъ нашелъ средство бывать въ театрѣ постоянно. Музыканты графа Волькенштейна играли въ театральномъ оркестрѣ. Щепкинъ помогалъ имъ носить ноты и инструменты и вмѣстѣ съ музыкантами пробирался въ оркестръ. Чрезъ товарища по училищу, родственника содержателей театра, Щепкинъ перезнакомился и съ актерами и скоро сталъ за кулисами своимъ человѣкомъ.

Тутъ его поразило, между прочимъ, одно обстоятельство. Среди актеровъ тоже были люди крѣпостные. Но съ ними даже ихъ господа обращались какъ-то иначе, не говоря о другихъ закулисныхъ завсегдатаяхъ изъ публики. Да и сами крѣпостные актеры, особенно же выдававшіеся талантомъ, умѣли держать себя съ достоинствомъ. Мечтою Щепкина стало сдѣлаться актеромъ не только потому, что сценическое искусство неудержимо влекло его къ себѣ, но еще и потому, что если оно свободы человѣку и не давало то все-таки выдѣляло его изъ безправной и темной закрѣпощенной массы.

Свою сценическую карьеру Щепкинъ началъ, подобно многимъ знаменитымъ артистамъ, съ должности суфлера, котораго не разъ замѣнялъ, когда тотъ по болѣзни или отъ пьянства къ своему дѣлу не годился. Только осенью 1805 года Щепкину представился случай выступить актеромъ.

Къ графу Волькенштейну пріѣхала съ бенефисною афишей актриса П. Г. Лыкова. Графъ взялъ у нея билетъ и велѣлъ Мишѣ проводить ее въ чайную и напоить кофе (поступокъ, характеризующій тогдашнее отно-

шеніе общества къ званію актера). Въ разговорѣ Лыкова жаловалась Щепкину, что одинъ изъ актеровъ закутилъ такъ, что не можетъ играть своей роли, и она не знаетъ, какъ быть. Щепкинъ съ замираніемъ сердца предложилъ свои услуги: роль Андрея-почтаря, которую долженъ былъ играть закутившій актеръ въ комедіи «Зоя», была хорошо знакома Щепкину, такъ какъ онъ нѣсколько разъ суфлировалъ эту пьесу. Лыкова согласилась и обѣщала переговорить съ содержателемъ театра Барсовымъ. Щепкинъ въ лихорадкѣ и восторгѣ ждалъ книги, которую обѣщала прислать Лыкова, бросался всѣмъ на шею, такъ что, наконецъ, его подняли на смѣхъ. Наконецъ, онъ не вытерпѣлъ, побѣжалъ самъ къ Барсову, получилъ книгу и полное согласіе, и еще на улицѣ, возвращаясь домой, началъ учить свою роль. Вечеромъ онъ читалъ уже выученную роль Лыковой и одобреніе ея привело его въ такой восторгъ, что онъ тутъ же расплакался. Вообще сильное волненіе, и тяжелое и радостное, разрѣшалось у него слезами: признакъ натуры крайне впечатлительной и отзывчивой. На другой день на репетиціи одобрилъ игру Щепкина и Барсовъ, только совѣтовалъ, какъ и Лыкова, читать не скоро. Съ трудомъ дождался юноша спектакля, десятки разъ протвердивъ свою драгоцѣнную роль. «Не припомню всего костюма, въ который меня нарядили, — разсказываетъ Щепкинъ въ своихъ «Запискахъ», — знаю только, что на ноги мнѣ надѣли страшные ботфорты, которые только одни и были во всемъ театрѣ, и потому приходились на всѣ ноги и возрасты. Чѣмъ ближе шло къ началу спектакля, тѣмъ становилось для меня жарче (хотя всѣ жаловались на холодъ), такъ что передъ выходомъ на сцену я былъ уже совершенно мокръ отъ испарины. Какъ я игралъ, принимала ли меня публика или нѣтъ? — этого я совершенно не помню. Знаю только, что по окончаніи роли я ушелъ подъ сцену и плакалъ отъ радости, какъ дитя».

Публика и актеры одобрили горячую игру Щепкина. Дома — дворовые, музыканты встрѣтили его съ поздравленіями и объятіями. Самъ графъ, бывшій тоже въ театрѣ, поцѣловалъ его и въ видѣ поощренія пожаловалъ новый триковый жилетъ. Всю ночь счастливецъ пробредилъ игрою. «На другой день, — вспоминаетъ Щепкинъ, — все вчерашнее мнѣ казалось сномъ; но подаренный жилетъ убѣждалъ меня, что то была сущая истина, и этого дня я никогда не забуду: ему я обязанъ всѣмъ, всѣмъ!»

Послѣ дебюта въ бенефисъ Лыковой Щепкинъ сталъ чаще и чаще играть въ Курскомъ театрѣ, сперва замѣняя собою другихъ актеровъ и играя самыя разнообразныя роли. Надъ страстью его къ сценѣ смѣялись и прозвали за малый ростъ «контрабасною подставкой». Щепкинъ не смущался насмѣшками. Скоро публика стала отличать его и, наконецъ, Щепкинъ достигъ значительнаго по тому времени жалованья въ 350 рублей ассигнаціями въ годъ.

Не красна была та обстановка, среди которой пришлось вращаться Щепкину: она только одною ступенью была выше той среды крѣпостной дворни, изъ которой онъ вышелъ. Какъ мы уже сказали, среди актеровъ было не мало крѣпостныхъ, но и тѣ и другіе были равно отщепенцами. Въ Россіи актеры никогда не подвергались тѣмъ тяжелымъ карамъ, какъ въ Западной Европѣ, въ видѣ отлученія отъ церкви или лишенія церковнаго погребенія, что едва не было примѣнено, напр., даже къ Мольеру. Но тяжесть недовѣрія со стороны общества и черни лежала на русскихъ актерахъ съ такою же силою. Отъ нихъ ждали и требовали только развлеченія, забавы и сообразно этому и относились къ нимъ. И до сихъ поръ уцѣлѣло это живучее недовѣріе. Тѣмъ сильнѣе пренебреженіе было во времена крѣпостного права. Мы упомянули о томъ, какъ графъ Волькенштейнъ послалъ артистку Лыкову пить кофе со своими дворовыми. Позднѣе, когда Щепкинъ былъ уже въ Москвѣ знаменитымъ актеромъ, съ нимъ однажды случилось то же самое: одно высокопоставленное лицо, къ которому Щепкинъ пріѣхалъ съ билетомъ на свой бенефисъ, послало его пить кофе къ экономкѣ въ столовую, въ которой господа уже кончили завтракать. «Налила она мнѣ чашку кофе, — разсказываетъ Щепкинъ, — и вѣдь я ее выпилъ, едва справляясь съ чувствомъ негодованія. Когда же я поуспокоился да поразмыслилъ, то пришелъ къ заключенію, что меня вовсе и не желали обидѣть, напротивъ... Но только форма-то вниманія была груба, потому что въ этотъ домъ не проникло еще понятіе о равенствѣ, о достоинствѣ актера-человѣка».

Провинціальные актеры и до сихъ поръ «птицы перелетныя», живущія со дня на день. Во время Щепкина печальное ихъ экономическое положеніе принимало формы еще болѣе рѣзкія, оскорбительныя для тѣхъ изъ нихъ, кто цѣнилъ сценическое искусство. Такъ, актеры не только лично развозили билеты на свои бенефисы, что дѣлается въ провинціи и до сихъ поръ, но долгое время должны были прямо на сценѣ принимать денежныя подачки отъ публики, которая отличившимся бросала на сцену кошельки, комки ассигнацій и т. п. Иные актеры и сами со сцены требовали такихъ подачекъ. Идетъ, напр., опера «Мельникъ» Аблесимова, и актеръ, играющій мельника-колдуна, долженъ пѣть:

Я вамъ, дѣтушки, помога,
У кого есть денегъ много.

Послѣдній стихъ актеръ переиначиваетъ и, называя фамилію какого-нибудь тутъ же сидящаго денежнаго туза, поетъ: «У N. N. есть денегъ много».

Пренебреженіе со стороны общества заставляло актеровъ замыкаться въ какую-то касту. Этотъ кастовый узко-корпоративный духъ уцѣлѣлъ и

по наше время: немного профессій, которыя клали бы на отдавшихся имъ такой рѣзкій отпечатокъ, какъ профессія актера. Понятно, какъ вредна эта замкнутость для самого сценическаго искусства. Вращаясь вѣчно въ одной и той же средѣ, варясь, такъ сказать, въ собственномъ соку, актеръ теряетъ способность сознательно относиться къ исполняемымъ имъ ролямъ, изображающимъ лица изъ сферъ ему чуждыхъ. Образуется привычка играть по шаблону, согласно тѣмъ представленіямъ о той или другой роли, которыя сложились въ актерской средѣ и передаются какъ нѣчто незыблемое отъ поколѣнія къ поколѣнію. Теряется способность критически относиться къ собственной игрѣ, и искусство, не идя впередъ, неминуемо падаетъ.

Нечего и говорить, что Щепкинъ, попавши въ невѣжественную среду актеровъ, прежде всего усвоилъ себѣ всѣ традиціонные пріемы тогдашней сценической игры. На провинціальной сценѣ они были, конечно, еще карикатурнѣе, чѣмъ въ игрѣ актеровъ столичныхъ сценъ, которыя стояли въ условіяхъ болѣе благопріятныхъ.

Актеръ всецѣло зависитъ отъ репертуара: послѣдній не только даетъ матеріалъ для артиста, но опредѣляетъ и то, какъ должно обработать этотъ матеріалъ. Репертуаръ начала вѣка состоялъ главнымъ образомъ изъ произведеній такъ называемой ложно-классической французской школы и изъ «оригинальныхъ» произведеній, представлявшихъ рабскій сколокъ съ французскихъ пьесъ. Условный характеръ господствовавшаго литературнаго направленія не могъ не отражаться и на манерѣ сценической игры. Собственно говоря, Сумароковы, Озеровы и проч., вслѣдъ за французами, заботились не столько о вѣрномъ изображеніи современной или исторической дѣйствительности, сколько объ украшеніи и возвышеніи ея, вполнѣ сообразно тогдашнему господствующему взгляду на искусство: оно должно было уносить своихъ адептовъ въ сферы, съ низменно обыденною жизнью ничего общаго не имѣющими. И искусство создало своеобразный міръ прекрасныхъ пастуховъ и пастушекъ, героевъ—царей и царицъ съ ихъ наперсниками и наперсницами, по гробъ вѣрныхъ, нѣжныхъ любовниковъ и любовницъ, чудовищъ злодѣйства и адамантовъ добродѣтели, свой міръ, въ которомъ торжествуетъ условная добродѣтель и карается столь же условный порокъ, гдѣ все совершается въ точности по тремъ единствамъ: мѣста, времени и дѣйствія. Соотвѣтственно духу репертуара, и сценическая игра не могла имѣть цѣлью не вѣрность дѣйствительности, но украшеніе, возвышеніе ея. Актеръ стремился передать не дѣйствительность, но ту условную красоту, которая жила для современниковъ въ тогдашней литературѣ.

Пріемы, съ помощью которыхъ достигалось впечатлѣніе красоты, не

могутъ въ насъ не возбуждать улыбки и въ пьесахъ современнаго бытового репертуара ужъ конечно совершенно немыслимы. Но не надо забывать, что онѣ были лишь формою, въ которую талантливые артисты, какъ Волковъ, Дмитревскій, Плавильщиковъ, Яковлевъ, Семенова и др., умѣли вкладывать содержаніе, въ основѣ то же, что составляетъ душу и современнаго сценическаго искусства: картину всѣхъ чувствъ и душевной борьбы человѣка. Вѣянія романтизма внесли болѣе разнообразія въ сценическіе пріемы начала вѣка: желаніе поразить зрителя огнемъ игры стало преобладать надъ желаніемъ возвысить и украсить роль. Въ то же время появлялось смутное предчувствіе новаго сценическаго искусства, которое было бы болѣе соотвѣтственно реалистическому направленію, сказывавшемуся въ аблесимовскомъ «Мельникѣ», въ комедіяхъ Екатерины II и болѣе всего въ комедіяхъ Фонъ-Визина. Въ результатѣ сценическіе пріемы въ началѣ вѣка представляли порядочный сумбуръ. Великая заслуга Щепкина въ томъ и состоитъ, что онъ сумѣлъ отбросить ихъ, когда понялъ, что старыя формы стали слишкомъ тѣсны для искусства.

Онѣ жили долго и послѣ того, какъ Щепкинъ сталъ уже знаменитъ. Даже Бѣлинскому въ его дѣятельности, какъ театральнаго рецензента, не разъ приходилось жаловаться на традиціи ложно-классической школы, на дурную манеру игры, вслѣдствіе ложнаго понятія о драмѣ, какъ о чемъ-то такомъ, въ чемъ ходули и неестественность составляютъ главное (Соч. т. II), дивиться на игру нѣкоторыхъ актеровъ: «Боже мой! гдѣ занимаютъ они эту трагическую дикцію, всю эту мишуру, этотъ протяжный вой и насильственные жесты классической Мельпомены?» (Соч. 7. XII). «Декламація трагическаго артиста Василія Андреевича Каратыгина была весьма своеобразна,—разсказываетъ Тургеневъ: — не могу забыть, какъ онъ декламировалъ, напр., извѣстное стихотвореніе:

На берегу пустынныхъ волнъ
Стоялъ онъ, думъ великихъ полнъ.

Какъ усиливался представить предъ зрителями пустыню—разводя руками, и волны, и Петра Великаго; при этомъ случаѣ самымъ зычнымъ образомъ возвышалъ свой голосъ; а затѣмъ самою жалостною, кислою физіономіей пытался представить ничтожество утлаго челнока, брошеннаго на эти волны». Каратыгинъ въ этомъ отношеніи позволялъ себѣ уже не малыя вольности и отступленія отъ правилъ прежней школы. Жена Каратыгина, Александра Михайловна Колосова, была болѣе предана традиціямъ. «Медленныя движенія, крайне растяжимая декламація тогда никого не поражали, а, напротивъ, восхищали,—передаетъ о Колосовой Тургеневъ же.—Не могу забыть, напримѣръ, какъ восторгались ею въ извѣстной тогда мелодрамѣ «Слѣпая Валерія». Между прочимъ, тутъ пріѣз-

жаетъ на сцену экипажъ-ландо. Валерія, еще слѣпая, почему-то съ неудовольствіемъ слышитъ о пріѣздѣ этого экипажа и говоритъ: «этотъ противный ландо». Два-три слова этихъ она начинаетъ говорить на одномъ концѣ сцены, у рампы, и тянетъ, переходя сквозь всю громадную сцену театра... Это умѣніе растянуть два-три слова на медленный переходъ чрезъ большую сцену чрезвычайно тогда нравилось».

Разсказъ самого Щепкина дорисовываетъ намъ тогдашнюю манеру игры, и эту манеру онъ поспѣшилъ усвоить, не видя вокругъ себя ничего иного. «Припомню, сколько могу, въ чемъ состояло, по тогдашнимъ понятіямъ, превосходство игры: его видѣли въ томъ, когда никто не говорилъ своимъ голосомъ, когда игра состояла изъ крайне изуродованной декламаціи, слова произносились какъ можно громче, и почти каждое слово сопровождалось жестами. Особенно въ роляхъ любовника декламировали такъ страстно, что вспомнить смѣшно; слова: любовь, страсть, измѣна — выкрикивались такъ громко, какъ только доставало силы въ человѣкѣ; но игра физіономіи не помогала актеру: она оставалась въ томъ же натянутомъ, неестественномъ положеніи, въ какомъ являлась на сцену. Или еще: когда, напримѣръ, актеръ оканчивалъ какой-нибудь сильный монологъ, послѣ котораго долженъ былъ уходить, то было принято въ то время за правило—поднимать правую руку вверхъ и такимъ образомъ удаляться со сцены. Кстати, по этому случаю я вспомнилъ объ одномъ изъ своихъ товарищей: однажды онъ, окончивши тираду и удаляясь со сцены, забылъ поднять вверхъ руку; что же?—на половинѣ дороги онъ рѣшился поправить свою ошибку и торжественно поднялъ эту завѣтную руку. И это все доставляло зрителямъ удовольствіе! Не могу пересказать всѣхъ нелѣпостей, какія тогда существовали на сценѣ; это скучно и безполезно. Между прочимъ, во всѣхъ нелѣпостяхъ всегда проглядывало желаніе возвысить искусство: такъ, напримѣръ, актеръ на сценѣ, говоря съ другимъ лицомъ и чувствуя, что ему предстоитъ сказать блестящую фразу, бросалъ того, съ кѣмъ говорилъ, выступалъ впередъ на аванъ-сцену и обращался уже не къ дѣйствующему лицу, а дарилъ публику этой фразой; а публика, съ своей стороны, за такой сюрпризъ апплодировала неистово».

Такова была та практическая школа сценическаго искусства, въ которую попалъ Щепкинъ. «О, ступайте, ступайте въ театръ, живите и умрите въ немъ, если можете!—восклицалъ Бѣлинскій въ выше цитированной статьѣ, но тутъ же и расхолаживалъ себя, рисуя дѣйствительную картину современнаго ему театра:—Но увы! все это поэзія, а не проза, мечты, а не существенность! Тамъ, то-есть въ томъ большомъ домѣ, который называютъ русскимъ театромъ, тамъ, говорю я, вы увидите пародіи на Шекспира и Шиллера, пародіи смѣшныя и безобразныя; тамъ выдаютъ вамъ за траге-

дію корчи воображенія; тамъ васъ подчуютъ жизнью, вывороченною наизнанку; словомъ, тамъ

...Мельпомены бурной
Протяжный раздается вой.
Тамъ машетъ мантіей мишурной
Она предъ хладною толпой!

Говорю вамъ, не ходите туда; это очень скучная забава!»

Старинное изреченіе гласитъ, что геній не что иное, какъ величайшіе трудъ и терпѣніе. Щепкинъ, если допустить вѣрность этого изреченія, долженъ быть безспорно признанъ геніемъ за тотъ трудъ, который ему пришлось потратить, чтобы поставить сценическое искусство на новый путь. Среди невѣжественныхъ актеровъ, предъ публикою, плохо понимавшей, чего хочетъ Щепкинъ, при репертуарѣ, который повергалъ въ глубокое отчаяніе всякаго человѣка со здравымъ смысломъ и сколько-нибудь высокими требованіями отъ искусства, Щепкину приходилось своимъ умомъ доходить до азбуки дѣла и избавляться отъ рутины, уже усвоенной.

Первый толчокъ въ этомъ направленіи далъ Щепкину любитель сценическаго и другихъ искусствъ князь Мещерскій. «Все, что я пріобрѣлъ впослѣдствіи,—заявляетъ самъ Михаилъ Семеновичъ,—все, что изъ меня вышло, всѣмъ этимъ я обязанъ ему, потому что онъ первый посѣялъ во мнѣ вѣрное понятіе объ искусствѣ и показалъ мнѣ, что искусство настолько высоко, насколько близко къ природѣ».

Князю П. В. Мещерскому, когда Щепкинъ случайно увидѣлъ его въ роли скупца Салидара въ комедіи Сумарокова «Приданое обманомъ», было уже лѣтъ 70. Вельможа Екатерининскихъ временъ, все еще бодрый, онъ привлекалъ къ себѣ и своимъ образованіемъ, и благородствомъ своей здоровой и крѣпкой старости. Щепкинъ давно слышалъ о Мещерскомъ, какъ о замѣчательномъ актерѣ, и приготовился смотрѣть въ оба, когда, пріѣхавши лѣтомъ 1810 года въ имѣніе князя Голицына, попалъ на домашній спектакль съ участіемъ Мещерскаго. Въ «запискахъ» находимъ обстоятельный разсказъ о потрясающемъ впечатлѣніи, которое произвела на Щепкина игра князя, и нѣкоторыя указанія на тотъ трудъ, какой Щепкинъ долженъ былъ затратить, чтобы понять, въ чемъ искусство князя, и добиться того же и отъ своей игры.

«...Вотъ я въ театрѣ,—вспоминаетъ Щепкинъ, страшно волновавшійся предъ представленіемъ, — вотъ оркестръ заигралъ симфонію, вотъ поднялся занавѣсъ, и предо мною князь... но нѣтъ! это не князь, а Салидаръ скупой! Такъ страшно измѣнилась вся фигура князя: исчезло благородное выраженіе его лица, и скупость скареда рѣзко выразилась на немъ». Несмотря на эту разительную перемѣну въ князѣ, Щепкину сначала пока-

залось, что тотъ играть совсѣмъ не умѣетъ, говоритъ просто, какъ всѣ говорятъ, жестикуляціи никакой особенной нѣтъ. Другой любитель, размахивавшій руками и горячившійся, какъ настоящій актеръ, понравился Щепкину гораздо больше князя. Но чѣмъ дальше шло дѣйствіе, тѣмъ сильнѣе приковывалъ къ себѣ вниманіе именно князь. Гдѣ только шла рѣчь о деньгахъ, видно было, что это касается самаго больного мѣста души скряги. Наконецъ, Щепкинъ никого уже больше не видѣлъ, кромѣ князя, приросъ къ нему. «Его страданія, его звуки отзывались въ душѣ моей; каждое слово его своею естественностью приводило меня въ восторгъ и вмѣстѣ съ тѣмъ терзало меня. Въ сценѣ, гдѣ открылся обманъ и Салидаръ узналъ, что фальшивымъ образомъ выманили у него завѣщаніе, я испугался за князя; я думалъ, что онъ умретъ, ибо при такой сильной любви къ деньгамъ, какую князь имѣлъ къ нимъ въ Салидарѣ, невозможно было, потерявъ ихъ, жить ни минуты».

Пьеса кончилась, всѣ были въ восторгѣ, всѣ хохотали, только Щепкинъ заливался слезами. Въ головѣ его всѣ прежнія представленія о сценическомъ искусствѣ были поставлены игрою князя вверхъ дномъ. Ему было на дѣлѣ показано, что только то и хорошо и производитъ впечатлѣніе, что естественно, вѣрно жизненной правдѣ и просто. Щепкинъ мечталъ уже поразить товарищей въ Курскѣ новыми пріемами: ему казалось, что и онъ сумѣетъ передать роль какъ князь. Дѣло, однако, оказалось не такъ просто. Подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ онъ сталъ разучивать роль Салидара, но, къ своему ужасу, убѣдился, что простота и естественность не даются, какъ кладъ. Онъ разыгрывалъ всю комедію въ рощѣ съ деревьями, на десятки ладовъ читая роль, и чувствовалъ, что все выходитъ что-то не то. Онъ пошелъ было тою же дорогой, какою идутъ неопытные актеры, подражающіе игрѣ какой-нибудь знаменитости, но Щепкинъ не удовлетворился тѣмъ, что могъ очень ловко передавать игру князя, а въ то же время ему не приходило въ голову, что для того, чтобы быть естественнымъ, прежде всего должно говорить своими звуками и чувствовать по-своему, не передразнивая чужой игры. Послѣ долгихъ трудовъ, оставшись недоволенъ собою, Щепкинъ упалъ было духомъ и отказался было отъ недостижимаго ему идеала.

Однако, этотъ идеалъ крѣпко засѣлъ въ его головѣ. Когда начались спектакли въ Курскѣ, онъ не бросалъ своихъ попытокъ, пока случай не помогъ ему. Это былъ, конечно, тотъ же благодѣтельный случай, который выводилъ на дорогу всѣхъ замѣчательныхъ людей, всецѣло поглощенныхъ одною мыслью,—случай, открывшій Галилею законъ качаній маятника или Ньютону—законъ всеобщаго тяготѣнія. Въ жизни Щепкина этотъ случай, конечно, занимаетъ такое же мѣсто, какъ анекдотическое яблоко въ жизни Ньютона.

Шла репетиція мольеровской комедіи «Школа мужей», гдѣ Щепкинъ игралъ Сганареля. Ее много репетировали и это Щепкину наскучило, да и голова его была занята чѣмъ-то постороннимъ. Онъ велъ репетицію спустя рукава, не стараясь играть, а только говорилъ, что слѣдовало по роли (ихъ онъ всегда училъ твердо), и говорилъ обыкновеннымъ своимъ голосомъ. «И что же?—вспоминаетъ онъ;—я почувствовалъ, что сказалъ нѣсколько словъ просто, и такъ просто, что если бы не по пьесѣ, а въ жизни мнѣ пришлось говорить эту фразу, то сказалъ бы ее точно такъ же. И всякій разъ, какъ только мнѣ удавалось сказать такимъ образомъ, я чувствовалъ наслажденіе, и такъ мнѣ было хорошо, что къ концу пьесы я уже началъ стараться сохранить этотъ тонъ разговора». Секретъ былъ открытъ, но старанія еще не могли помочь Щепкину: заученные интонаціи и жесты врывались въ его новую игру и портили то, что подсказывалось непосредственнымъ чувствомъ; и простота и естественность снова ускользали, хотя только-что были здѣсь. «Все пошло на выворотъ: чѣмъ больше я старался, тѣмъ выходило хуже,— разсказываетъ Щепкинъ,— потому что переходилъ опять въ обыкновенную свою игру, которой уже не удовлетворялся, такъ какъ втайнѣ смотрѣлъ на искусство другими глазами. Да, втайнѣ! Если бы я высказалъ зародившуюся во мнѣ мысль, то меня бы всѣ осмѣяли. Эта мысль была такъ противоположна господствующему мнѣнію, что товарищи мои къ концу пьесы осыпали меня похвалами, потому что я стараніемъ попалъ въ общую колею и игралъ такъ же, какъ и всѣ актеры, и даже, по мнѣнію нѣкоторыхъ, лучше всѣхъ».

Таковы были первые шаги Щепкина по проложенной имъ новой дорогѣ. Онъ скромно приписывалъ всѣ заслуги въ исторіи театра по введенію простоты и естественности игры князю Мещерскому или провинціальному актеру Угарову. Но, конечно, ни любитель-князь, ни невѣжественный Угаровъ не могутъ сравняться со Щепкинымъ по вліянію на современное имъ сценическое искусство. Они были лишь его предшественниками.

Считая съ 1805 года, Щепкинъ игралъ на провинціальныхъ южныхъ сценахъ цѣлыхъ 17 лѣтъ (изъ нихъ 10 въ Курскѣ). Слава его достигла, наконецъ, такихъ размѣровъ, что въ 1818 г. полтавская публика оригинально выразила свое сочувствіе артисту: она положила начало выкупу Щепкина изъ крѣпостной зависимости. Князья Репнинъ и С. Г. Волконскій, графъ Разумовскій и др. приняли дѣятельное участіе въ устройствѣ подписки среди дворянъ и купечества на спектакль съ цѣлью выкупа: нужно было собрать 10.000 руб. Въ заголовкѣ подписного листа, съ которымъ князь Волконскій обошелъ въ генеральскомъ своемъ мундирѣ и въ орденахъ купцовъ, съѣхавшихся въ Ромны на Ильинскую ярмарку, значилось: «Въ награду таланта актера Щепкина для основанія его участи, іюля

26-го дня, 1818 г. Креслы». Первымъ подписалъ князь Репнинъ—200 руб., затѣмъ князь Волконскій — 500 руб. и т. д., между прочимъ была записана сумма (впрочемъ, не полученная) 1,992 рубля, выигрышъ одного игрока. Недостававшія для выкупа деньги внесъ князь Репнинъ; поэтому Щепкинъ числился еще три года крѣпостнымъ, только не графа Волькенштейна, а князя Репнина. Окончательно на свободу Щепкинъ вышелъ лишь въ 1821 году, причемъ для выкупа нѣкоторыхъ членовъ своей семьи ему съ большимъ трудомъ пришлось искать поручителя для векселей, которые онъ выдалъ князю Репнину. Щепкинъ вышелъ на свободу съ матерью (отецъ уже умеръ), женою и шестью дѣтьми.

Черезъ годъ послѣ освобожденія Щепкинъ уже дебютировалъ на московской сценѣ, а съ весны 1823 года началась и постоянная его дѣятельность въ Москвѣ. Скитанія по провинціи кончились. «Я такъ уже счастливъ, — говоритъ Щепкинъ года два спустя на пожеланія успѣховъ, которыя расточали его земляки,—что совѣстно мнѣ и желать болѣе. Я теперь въ такомъ положеніи, что могу уже двѣ тысячи рублей употреблять на воспитаніе моихъ дѣтей».

Въ Москвѣ Щепкинъ быстро пріобрѣлъ широкій кругъ знакомства въ московской интеллигенціи. Съ увѣренностью можно сказать, что общеніе съ лучшими представителями тогдашней умственной жизни много помогло Щепкину въ развитіи и обработкѣ самаго сценическаго таланта его. Поэтому, прежде чѣмъ перейти къ сценической дѣятельности Щепкина въ Москвѣ, скажемъ нѣсколько словъ о томъ, чѣмъ былъ Щепкинъ въ обществѣ и что онъ бралъ отъ него.

Затруднительно было бы перечислить всѣхъ замѣчательныхъ людей, съ которыми былъ близокъ Щепкинъ. Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Лермонтовъ, Гоголь — наиболѣе видные представители изящной литературы, искренно уважавшіе и цѣнившіе Щепкина и какъ артиста, и какъ человѣка. Въ концѣ тридцатыхъ и въ сороковые годы вы видимъ Щепкина одинаково окруженнымъ представителями враждовавшихъ тогда партій западниковъ и славянофиловъ; онѣ сходились въ оцѣнкѣ таланта и личныхъ качествъ артиста. Съ одной стороны—Станкевичъ, Бѣлинскій, Грановскій, Герценъ, Огаревъ, Тургеневъ, Боткины, гр. Соллогубъ и пр., съ другой—семья Аксаковыхъ, Хомяковъ, Кирѣевскіе, Погодинъ, Шевыревъ, Катковъ и пр. и пр. Были тутъ и представители отвлеченной науки, какъ профессоръ астрономіи Перевощиковъ, отъ котораго Щепкинъ выслушивалъ астрономическія свѣдѣнія съ такимъ же интересомъ, съ какимъ прислушивался къ философскимъ спорамъ въ кружкѣ Станкевича и потомъ Грановскаго и къ эстетическимъ спорамъ Бѣлинскаго съ тонкимъ знатокомъ искусствъ В. П. Боткинымъ. Живой, на все отзывчивый умъ Щепкина привлекалъ къ нему

всякаго; всегда ровный, ласковый и простой въ обращеніи, онъ дѣлалъ своимъ другомъ всякаго, кто поговоритъ съ нимъ полчаса.

Щепкинъ былъ замѣчательный собесѣдникъ; живой малороссійскій юморъ въ жизни былъ ему присущъ такъ же, какъ и на сценѣ когда онъ выступалъ въ комедіяхъ изъ малороссійскаго быта Котляревскаго. Своими разсказами онъ по желанію могъ морить дружескій кружокъ хохотомъ и до слезъ растрогать слушателей: самъ человѣкъ крайне впечатлительный и чувствительный (въ старости слезы текли у него при малѣйшемъ волненіи), онъ умѣлъ и другимъ передавать свои чувства.

Крѣпостное право и грубость нравовъ, какъ его слѣдствіе, были одною изъ постоянныхъ темъ разсказовъ Щепкина. Они, конечно, оставили свой слѣдъ въ тогдашней литературѣ и не остались безъ вліянія на общественное мнѣніе. Изъ позаимствованій, которыя сдѣлалъ изъ разсказовъ Щепкина Гоголь, отмѣтимъ передаваемый Чичиковымъ «симпатическій» анекдотъ: «полюби насъ черненькими, а бѣленькими насъ всякій полюбитъ»; анекдотъ этотъ, живо рисующій «жестокіе» нравы эпохи, — истинное происшествіе, свидѣтелемъ котораго былъ Щепкинъ. Разсказъ Михаила Семеновича объ ужасной судьбѣ одной талантливой крѣпостной актрисы, съ которою онъ познакомился во время скитаній по провинціи, послужилъ темою для прекраснаго разсказа Герцена: «Сорока-Воровка». Графъ Соллогубъ передалъ въ повѣсти «Собачка», даже со значительными смягченіями, разсказъ Щепкина о томъ, какъ полицмейстерша одного города отымала у жены антрепренера хорошенькую болонку. Въ запискахъ Щепкина также разбросано не мало чертъ, рисующихъ эпоху и показывающихъ, какъ сознательно и трезво смотрѣлъ Щепкинъ на доброе старое время: самъ крѣпостной по происхожденію, онъ не могъ идеализировать его или мириться съ нимъ.

Оба лѣта 1845 и 1846 годовъ весь кругъ московскихъ западниковъ собирался въ подмосковной дачной мѣстности Соколовѣ, гдѣ жили Грановскій и Герценъ. Здѣсь же жилъ и Щепкинъ со своею громадною семьей; къ этому времени она разрослась такъ, что за столъ у него садилось не меньше 25 человѣкъ. Въ Соколовѣ образовалось нѣчто въ родѣ конгресса всего лучшаго, что было въ тогдашней интеллигенціи; блестящіе представители науки, литературы и искусства съѣзжались къ постояннымъ обитателямъ Соколова и какъ въ калейдоскопѣ смѣняли другъ друга. Шелъ дѣятельный обмѣнъ мыслей по всѣмъ вопросамъ нравственно-философскимъ, литературнымъ и эстетическимъ; полное отсутствіе какихъ бы то ни было стѣсненій свободно выражаемому мнѣнію, высокій уровень интересовъ, которые одинаково захватывали и мужское, и женское общество,—все это придавало своеобразный поэтическій колоритъ «рыцарскому братству безъ

писанаго устава», которое, по выраженію П. Анненкова, сложилось здѣсь. Споры, которые велись въ Соколовѣ, особенно замѣчательны тѣмъ, какъ это передаетъ Анненковъ же (Воспоминанія, т. III, «Замѣчательное десятилѣтіе»), что тутъ впервые въ кругѣ западниковъ сталъ обсуждаться вопросъ о крѣпостномъ людѣ, объ его правахъ на самостоятельность; послѣдняя выдвигалась не только какъ вопросъ отвлеченной справедливости, но какъ главный и существеннѣйшій вопросъ всей русской жизни. Такіе дѣятели позднѣйшей эпохи, какъ Н. Некрасовъ, И. С. Тургеневъ, К. Д. Кавелинъ и др., именно изъ Соколова выносили укрѣпленное сознаніе великой важности крестьянскаго вопроса, и нѣтъ сомнѣнія, что Щепкинъ, старикъ уже, внесъ и свою немалую лепту въ это дѣло своимъ постояннымъ участіемъ въ бесѣдахъ и преніяхъ дружескаго круга.

Пробуждая въ лучшихъ умахъ глубокую симпатію къ безправному закрѣпощенному народу, Щепкинъ, какъ малороссъ, неустанно пропагандировалъ и украинскую поэзію, пробуждалъ братскій интересъ къ малороссійскому народу. Послѣ появленія въ Петербургѣ въ началѣ сороковыхъ годовъ «Кобзаря» Шевченко, Щепкинъ угадалъ въ начинающемъ поэтѣ крупную величину. Въ литературныхъ московскихъ кружкахъ онъ любилъ читать Шевченко: «Думы мои, думы, лыхо мыни зъ вамы». Теплую привязанность его лично къ Шевченку не могли охладить ни годы дружбы, ни опала, обрушившаяся на поэта. По возвращеніи послѣдняго изъ ссылки, въ 1857 году, Щепкинъ, уже 70-лѣтній старикъ, нарочно для свиданія съ другомъ ѣдетъ въ Нижній-Новгородъ. Принимая участіе во всякой мелочи, касавшейся Шевченко, Щепкинъ изъ себя вышелъ, послѣ того какъ узналъ, что тотъ по отъѣздѣ его запилъ съ тоски: «Никакая пощечина меня бы такъ не оскорбила,—писалъ онъ.—Богъ тебѣ судья! Не щадишь ты ни себя, ни друзей своихъ. Не набрасывай *этого* на свою натуру и характеръ».

Остается упомянуть еще объ одной общественной заслугѣ Щепкина, именно его предстательствѣ за сочиненія Гоголя. Посмертное изданіе ихъ встрѣтило сильныя цензурныя затрудненія. Въ концѣ 1852 г., прибывъ въ Петербургъ для участія въ представленіяхъ Александринскаго театра, Щепкинъ, при содѣйствіи нѣкоторыхъ лицъ, старался снять опалу съ памяти Гоголя, пріискивая случаи читать разныя его сочиненія во вліятельныхъ салонахъ. При помощи друзей Гоголя, это ему удалось вполнѣ. Щепкину не разъ посчастливилось читать Гоголя въ присутствіи в. кн. Елены Павловны и в. кн. Константина Николаевича. Кромѣ искусства читать, М. С. Щепкинъ, весь проникнутый любовью и уваженіемъ къ памяти Гоголя, умѣлъ такъ трогательно разсказывать о немъ свои воспоминанія и такъ живо изображать всю несправедливость гоненія на его память, что

невольно подчинялъ своему убѣжденію самыхъ равнодушныхъ слушателей. Горючими слезами оканчивалъ обыкновенно Щепкинъ свою защиту. Весною 1853 г. онъ снова пріѣхалъ въ Петербургъ и на этотъ разъ привезъ съ собою нѣсколько рукописей покойнаго Гоголя. Великій князь, вслѣдствіе ходатайствъ Щепкина, обратился, наконецъ, къ Государю, и дѣло изданія увѣнчалось успѣхомъ.

Тѣсная связь между Щепкинымъ и жизнью тогдашней интеллигенціи была, конечно, выгодна для обѣихъ сторонъ. Самъ Щепкинъ, съ обычною своею скромностью, склоненъ былъ приписывать свое умственное развитіе, какъ человѣка и артиста, исключительно вліянію среды, въ которую онъ попалъ въ Москвѣ. На первый планъ онъ выдвигалъ домъ С. Аксакова, затѣмъ высоко цѣнилъ въ этомъ отношеніи московскій университетъ. «Я не сидѣлъ на скамьяхъ студентовъ,—говорилъ Щепкинъ,—но съ гордостью скажу, что много обязанъ московскому университету въ лицѣ его преподавателей: одни научили меня мыслить, другіе—глубоко понимать искусство». Особенную благодарность онъ питалъ къ Грановскому. «Бесѣды съ Грановскимъ поднимали меня нравственно, укрѣпляли во мнѣ постоянно упорную и неутомимую любовь къ труду и искусству». Помимо общаго вліянія на Щепкина общенія съ цвѣтомъ русской интеллигенціи, это общеніе было ему полезно и непосредственно: какъ актеръ, онъ учился у нихъ. Врядъ ли какой-либо другой артистъ относился къ указаніямъ дѣятелей науки и литературы съ бо́льшимъ вниманіемъ и уваженіемъ. Онъ искалъ и добивался этихъ указаній, и друзья охотно шли ему навстрѣчу. Для Михаила Семеновича спеціально переводились съ иностранныхъ языковъ цѣлыя статьи о театрѣ. Изъ иностранныхъ драматурговъ Щепкинъ охотнѣе всего игралъ въ пьесахъ Мольера. Друзья рылись для него въ иностранныхъ критикахъ, излагали различныя пониманія той или другой роли, отыскивая все, что необходимо было для пониманія пьесы. И въ комедіяхъ Мольера образъ того или другого лица являлся въ исполненіи Щепкина столько же плодомъ сильнаго таланта, сколько и глубокаго и обстоятельнаго литературнаго изученія.

Взгляды Щепкина на театръ быстро созрѣли и окрѣпли подъ благотворнымъ вліяніемъ избранныхъ умовъ московскаго общества. Извѣстно то высокое значеніе, которое придавали у насъ искусству въ тридцатые и сороковые годы. «Во всѣ вѣка искусство было всегда впереди массы,—писалъ Щепкинъ, сообразно высокому взгляду на общественно-просвѣтительную задачу искусства:—а потому, добросовѣстно занявшись онымъ, нечувствительно и масса подвигается впередъ». Актеру, для такого служенія задачамъ жизни, только одинъ путь—добросовѣстная передача того, что даетъ авторъ-художникъ, т.-е. сценическое искусство должно быть всецѣло подчинено

драматической литературѣ, актеръ-артистъ долженъ быть и всегда будетъ лишь слугою и помощникомъ автора. И Щепкинъ умѣлъ подчинить свое актерское самолюбіе высшимъ требованіямъ и нравственно-просвѣтительнымъ цѣлямъ искусства вообще: никогда не искалъ онъ ролей только эффектныхъ, которыя сосредоточивали бы интересъ на немъ, Щепкинѣ, а не на самой пьесѣ. Литературныя, художественныя достоинства ея стояли для него выше личнаго успѣха: своею игрой онъ добивался не своего успѣха, а успѣха автора.

Тутъ ему то и дѣло приходилось сталкиваться съ пьесами, которыя такого отношенія къ себѣ часто вовсе не заслуживали. По театральнымъ хроникамъ Бѣлинскаго мы можемъ составить себѣ нѣкоторое понятіе о вопіющемъ вздорѣ, который былъ главною частью тогдашняго репертуара. Во всѣхъ 12 томахъ сочиненій найдется сколько угодно горькихъ жалобъ критика на то, что «при нѣкоторыхъ оригинальныхъ россійскихъ драмахъ неумѣстны всѣ вопросы, задаваемые философіей, исторіей и искусствомъ». Горько жаловался и Щепкинъ на пустоту тогдашняго репертуара, подолгу приходилось ему «тосковать по Мольерѣ». Но и пьесы Мольера не удовлетворяли его: онъ жаждалъ оригинальной русской комедіи съ живыми типами русской дѣйствительности, ролей, надъ которыми нужно было бы работать, пользуясь всѣмъ богатѣйшимъ запасомъ своихъ наблюденій надъ русскою жизнью. Такія роли были для него въ «Горѣ отъ ума» и въ особенности въ «Ревизорѣ» (объ этой пьесѣ будемъ еще говорить ниже), но это были, по выраженію Бѣлинскаго: «Чимборазо среди низменныхъ болотистыхъ мѣстъ, зеленый и роскошный оазисъ среди несчаныхъ степей Африки». Онъ ожилъ при постановкѣ на сцену «Ревизора», но оживленіе смѣнилось снова унынiемъ, когда за драматическими произведеніями Гоголя не слѣдовало ничего равнаго имъ. Публика, плохо понимавшая Гоголя, приводила Щепкина въ то же негодованіе, въ какое его приводилъ репертуаръ. Вотъ что писалъ Щепкинъ въ августѣ 1848 года своему сыну:

«...О себѣ скажу: здоровъ, но грусть меня одолѣваетъ. Занятіе мое по службѣ сдѣлалось мнѣ несносно, даже отвратительно, потому что изъ артиста дѣлаютъ поденщика; репертуаръ преотвратительный—не надъ чѣмъ отдохнуть душою, а вслѣдствіе этого память тупѣетъ, воображеніе стынетъ, звуковъ недостаетъ, языкъ не ворочается. Все это вмѣстѣ разрушаетъ меня, уничтожаетъ меня,—и не видишь ни въ чемъ отрады, не видишь ни одной роли, надъ чѣмъ бы можно было отдохнуть душѣ, что расшевелило бы мою старость. Да, я могу еще встрепенуться; но надо, чтобы это была роль и роль! Безъ этого я черствѣю до гадости и мнѣ совѣстно самого себя, совѣстно выходить передъ публику; а она, голубушка, также милостива ко мнѣ, не видитъ, что къ ней на сцену выходитъ не артистъ уже, одаренный вдохно-

веніемъ, посвятившій себя всего своему искусству, но поденьщикъ, неуклонно выполняющій и зарабатывающій свою задѣльную плату. Нѣтъ, ей все равно! выходитъ туловище, которое носитъ названіе Щепкина, и она въ восторгѣ. Грустно, страшно грустно! Знаешь ли: мнѣ бы легче было, если бы меня иногда ошикали, даже это меня бы порадовало за будущій русскій театръ; я видѣлъ бы, что публика умнѣетъ, что ей одной фамиліи недостаточно, а нужно дѣло... Фу, какъ я глупъ! я все толкую объ искусствѣ, когда его здѣсь и въ поминѣ нѣтъ; шарлатанство и шарлатанство!»

Въ этомъ уныломъ письмѣ слѣдуетъ объяснить жалобы Щепкина на то, что «артиста дѣлаютъ поденьщикомъ». Дѣло въ томъ, что матеріальное положеніе Щепкина въ пору блеска и зрѣлости его таланта было далеко не блестящее. Причиною тому было, конечно, огромное семейство; несмотря на большое жалованье, онъ едва сводилъ концы съ концами. Щепкину въ преклонные уже годы, для поправленія дѣлъ, приходилось испрашивать позволенія ѣздить играть въ другіе города. Но были и другія причины, тяжело дѣйствовавшія на Щепкина: прежде всего щекотливыя отношенія съ театральной дирекціей, которая—хотя и стояла выше тогдашней петербургской—зачастую относилась къ театру съ узко-чиновнической точки зрѣнія: на то, въ какихъ условіяхъ приходилось играть актерамъ, не обращали вниманія, лишь бы была въ порядкѣ отчетность, лишь бы исправно очищались документы. Сохранилось одно письмо Щепкина, въ которомъ ясно бросается въ глаза халатное отношеніе управленія театровъ къ артистамъ; рѣчь идетъ о спектакляхъ въ подмосковномъ паркѣ Нескучномъ лѣтомъ 1830 г.

«Посылаю тебѣ,—писалъ Щепкинъ Сосницкому,—афишу о спектаклѣ въ Нескучномъ; прочти со вниманіемъ и пожалѣй; другъ твой до сихъ поръ обязанъ боли въ ногѣ, что онъ не ломался въ семъ балаганѣ, но какъ оная прошла, то скоро достанется и на его долю ломаться, ибо я этого не могу иначе назвать: вообрази, театръ весь открытый, какъ надъ зрителями, такъ и надъ сценой, задъ сцены не имѣетъ занавѣса и примыкаетъ прямо къ лѣсу; вмѣсто боковыхъ кулисъ врыты деревья; при малѣйшемъ вѣтрѣ не слыхать ни слова; къ тому же карканье воронъ и галокъ служитъ въ помощь къ оркестру; сухого пріюта нигдѣ нѣтъ, ибо и уборныя покрыты только холстомъ; возятъ всю школу, несмотря на дождливую погоду, на репетицію, а равно и дѣйствующихъ; когда дѣлали первую репетицію, то пошелъ дождь, принуждены были прервать оную часа на два и прятаться въ сырыхъ уборныхъ и потомъ продолжать на мокрой сценѣ... Чѣмъ это кончится—не знаю. Но у меня сердце рвется, я боюсь сойти съ ума или взбѣситься; послѣднее, кажется, вѣрнѣй; не шутя, очень грустно, ибо это очень схоже съ звѣриной травлей».

Неудовлетворительная внѣшняя обстановка, при которой часто прихо-

дилось работать Щепкину, отражалась и на его здоровьѣ. Въ 1837 году онъ, собираясь лѣчиться, жаловался тому же Сосницкому: «голосъ мой до того ослабѣлъ отъ безпрестаннаго усилія, которое необходимо на нашемъ театрѣ, что нѣтъ роли, въ которой бы не утомилъ горла и не охрипъ; и это, усиливаясь со дня на день, дошло до того, что уже и въ комнатѣ и говоря безъ усилія начинаю чувствовать то же».

Таковы въ общихъ чертахъ неблагопріятныя условія сценической дѣятельности Щепкина въ Москвѣ. Вернемся теперь снова къ пониманію имъ задачъ драматическаго и сценическаго искусствъ.

«Цѣль театра,—говоритъ Шекспиръ устами Гамлета,—всегда состояла и всегда будетъ состоять въ вѣрномъ изображеніи дѣйствительности, какъ въ зеркалѣ. Добродѣтель, преступленіе, нравы вѣка—все должно быть представлено на сценѣ такимъ, какимъ оно существуетъ на самомъ дѣлѣ. Разъ такое изображеніе будетъ преувеличено или ослаблено, то, конечно, этимъ можно добиться одобренія и смѣха невѣждъ, но утонченно понимающій дѣло зритель будетъ этимъ оскорбленъ. Мнѣніе же одного такого зрителя должно цѣниться гораздо выше, чѣмъ восторгъ всей прочей толпы, наполняющей театральную залу». Вся дѣятельность Щепкина и его взгляды на театръ—наглядная иллюстрація къ этимъ словамъ.

«Ревизоръ» Гоголя былъ понятъ Щепкинымъ, какъ глубоко вѣрная картина русской дѣйствительности, какъ произведеніе, выставлявшее рядъ жизненныхъ типовъ; вѣрно изобразить ихъ на сценѣ представлялось Щепкину задачею, достойною великаго артиста-художника. Какъ умѣлъ Щепкинъ пользоваться авторомъ, чтобы лучше выразить только намѣченную имъ мысль, видно изъ того, что знаменитую фразу: «Чего смѣетесь?—Надъ собой смѣетесь!» Щепкинъ первый произнесъ, обращаясь ко всему театру, чего вовсе не имѣлъ въ виду Гоголь, о чемъ самъ и заявлялъ въ «Развязкѣ». Съ тѣхъ поръ это обращеніе навсегда удержалось на сценѣ, и извѣстенъ неожиданный глубоко-драматическій эффектъ, который всегда производитъ эта часть монолога городничаго въ мало-мальски удовлетворительномъ исполненіи. Можно себѣ представить этотъ эффектъ, когда Щепкину приходилось играть въ уѣздныхъ городахъ, гдѣ при исполненіи «Ревизора» и на сценѣ былъ городничій и въ креслахъ городничій, и на сценѣ судья и въ креслахъ судья, и т. д. Какъ извѣстно, Гоголь отнесся впослѣдствіи отрицательно къ своей дѣятельности и сдѣлалъ попытку объяснить «Ревизора», какъ аллегорію. «Развязка Ревизора», написанная въ этомъ смыслѣ, возмутила Щепкина. Письмо его по этому поводу къ Гоголю ярко даетъ чувствовать, какъ понималъ Щепкинъ задачи драматическаго искусства. «Прочтя ваше окончаніе «Ревизора», я бѣсился на самого себя, на свой близорукій взглядъ, потому что до сихъ поръ я изу-

чалъ всѣхъ героевъ «Ревизора» какъ живыхъ людей; я такъ видѣлъ много знакомаго, такъ родного, я такъ свыкся съ Городничимъ, Добчинскимъ и Бобчинскимъ въ теченіе десяти лѣтъ нашего сближенія, что отнять ихъ у меня и всѣхъ вообще—это было бы дѣйствіе безсовѣстное. Чѣмъ вы ихъ мнѣ замѣните? Оставьте мнѣ ихъ, какъ они есть. Я ихъ люблю, люблю со всѣми слабостями, какъ и вообще всѣхъ людей. Не давайте мнѣ никакихъ намековъ, что это-де не чиновники, а наши страсти; нѣтъ, я не хочу этой передѣлки: это люди, настоящіе живые люди, между которыми я взросъ и почти состарѣлся. Видите ли, какое давнее знакомство? Вы изъ цѣлаго міра собрали нѣсколько человѣкъ въ одно сборное мѣсто, въ одну группу; съ этими въ десять лѣтъ я совершенно сроднился, и вы хотите ихъ отнять у меня. Нѣтъ, я ихъ вамъ не дамъ! не дамъ, пока существую. Послѣ меня передѣлывайте хоть въ козловъ; а до тѣхъ поръ я не уступлю вамъ Держиморды, потому что и онъ мнѣ дорогъ».

Мы уже упомянули, что Щепкинъ подчинялъ себя автору. Бѣлинскій именно и цѣнилъ въ Щепкинѣ прежде всего глубокое пониманіе цѣлей автора, которое по отношенію къ Гоголю сказалось хоть въ приведенномъ только-что письмѣ, сказывалось и въ сценическомъ исполненіи. «Актеръ понялъ поэта,—пишетъ Бѣлинскій объ исполненіи Щепкинымъ роли городничаго,—оба они не хотятъ дѣлать ни карикатуры, ни сатиры, ни эпиграммы, но хотятъ показать явленіе дѣйствительной жизни, явленіе характеристическое, типическое» (Соч. Бѣл., т. II). По добросовѣстному отношенію къ пьесамъ Щепкинъ былъ артистъ безпримѣрный. «Избави Богъ не знать роли или передавать своими словами!—съ негодованіемъ говаривалъ онъ:—какъ публика и критика могутъ судить о языкѣ автора, если мы будемъ сочинять по-своему?» Тщательное заучиваніе ролей, какъ бы слабы онѣ ни казались ему, было со стороны Щепкина еще не самымъ большимъ самопожертвованіемъ. Гораздо труднѣе бывало ему сдерживать себя во время исполненія той или другой пьесы, чтобы не торжествовать своимъ личнымъ комизмомъ или огнемъ и не выдвигаться на первый планъ, гдѣ это не соотвѣтствовало намѣреніямъ автора. «Никогда Щепкинъ не жертвовалъ истиною игры для эффекта, для лишнихъ рукоплесканій,—говоритъ о немъ Аксаковъ,—никогда не выставлялъ своей роли на показъ, ко вреду играющихъ съ нимъ актеровъ, ко вреду цѣльности и ладу всей пьесы; напротивъ, онъ сдерживалъ свой жаръ и силу его выраженія, если другія лица не могли отвѣчать ему съ такою же силой; чтобы не задавить другихъ лицъ въ пьесѣ, онъ давилъ себя и охотно жертвовалъ самолюбіемъ, если характеръ играемаго лица не искажался отъ такихъ пожертвованій. Всѣ это видѣли и понимали многіе, и надобно признаться, что рѣдко встрѣчается въ актерахъ такое самоотверженіе».

Такое самоотверженіе было доступно Щепкину, конечно, потому, что въ его исполненіи талантъ, мгновенный приливъ вдохновенія—были подъ строгимъ контролемъ сознанія, и всякая роль въ его исполненіи являлась, какъ уже сказано, созданіемъ сколько широкаго и сильнаго таланта, столько и кропотливаго глубокаго изученія. Эту черту творчества Щепкина подчеркнулъ Бѣлинскій, сравнивая игру Каратыгина и Мочалова. Игру перваго критикъ называлъ нормою внѣшней стороны искусства, его технической стороны, доступной изученію и пріобрѣтенію; игра второго основана была исключительно на порывахъ чувства, которые иногда были удачны и увлекали зрителей до самозабвенія, а чаще игра Мочалова оскорбляла зрителей своею неестественностью. Эти односторонности были соединены въ Щепкинѣ. «Безъ вдохновенія нѣтъ искусства,—говоритъ Бѣлинскій,—но одно вдохновеніе, одно непосредственное чувство есть счастливый даръ природы, богатое наслѣдство безъ труда и заслуги; только изученіе, наука, трудъ дѣлаютъ человѣка достойнымъ и законнымъ владѣльцемъ этого, часто случайнаго, наслѣдства, и они же утверждаютъ его дѣйствительность, а безъ нихъ оно и теряется, и проматывается. Изъ этого ясно, что только изъ соединенія этихъ противоположностей образуется истинный художникъ, котораго, напримѣръ, русскій театръ имѣетъ въ лицѣ Щепкина».

Разсмотримъ въ отдѣльности эти стороны артистической дѣятельности Щепкина.

Небольшой ростъ и тучная фигура, а также преобладаніе въ обычномъ настроеніи Щепкина природнаго добродушнаго юмора сдѣлали то, что довольно скоро его спеціальностью стали «комическіе старики». Однако, это нисколько не было выраженіемъ того, чтобы въ Щепкинѣ преобладалъ комическій талантъ. Напротивъ, талантъ Щепкина отличался именно универсальностью, и въ исторіи русскаго театра эта черта имѣетъ особое значеніе.

Новая «натуральная» школа совершенно уничтожила схоластическія раздѣленія поэзіи на роды и виды, перемѣшавъ ихъ такъ, что они потеряли всякое значеніе; это смѣшеніе не миновало и театра. Въ настоящее время—наприм., въ сочиненіяхъ Островскаго—невозможно часто рѣшить, какъ назвать ту или другую пьесу: комедіей, драмой, трагедіей; по большей части и комическіе, и драматическіе элементы перемѣшаны такъ же, какъ въ жизни. Бѣлинскій еще въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» отмѣчалъ, что схоластическія раздѣленія потеряли всякое значеніе. Къ ужасу литературныхъ старовѣровъ, онъ откровенно заявлялъ: «я не совсѣмъ хорошо понимаю различіе между словами комедія и драма, а слова трагедія совсѣмъ не понимаю», и вышучивалъ происхожденіе трагедіи отъ греческаго

козла (трагосъ). Такой же схоластическій характеръ носили и прежнія раздѣленія ролей на искусственныхъ амплуа: драматическія и комическія, на амплуа первыхъ любовниковъ, героевъ, наперсниковъ, благородныхъ отцовъ, злодѣевъ и т. д. Амплуа эти были тѣсно связаны съ господствовавшимъ тогда репертуаромъ ложно-классической драмы и комедіи. По мѣрѣ того, какъ въ репертуаръ вторгалось новое реалистическое теченіе, теряли смыслъ и эти искусственныя раздѣленія. Щепкинъ болѣе, чѣмъ кто бы то ни было другой, содѣйствовалъ разрушенію господствующихъ взглядовъ на этотъ предметъ. Въ этомъ отношеніи можно сказать, что въ исторіи русскаго театра Щепкинъ занимаетъ такое же мѣсто, какое въ исторіи литературы занимаетъ Бѣлинскій: оба одинаково разрушали схоластику, искусственность въ искусствѣ.

«Несмотря на то, что въ «Матросѣ» Щепкинъ игралъ одинъ-одинехонекъ,—читаемъ въ одной изъ театральныхъ хроникъ Бѣлинскаго,—эта пьеса произвела глубокое впечатлѣніе и доказала собою ту простую истину, что раздѣленіе драматическихъ произведеній на трагедію и комедію въ наше время отзывается анахронизмомъ, что назначеніе драматическаго произведенія—рисовать общество, страсти и характеры, и что трагедія также можетъ быть въ комедіи, какъ и комедія въ трагедіи. Щепкинъ принадлежитъ къ числу немногихъ истинныхъ жрецовъ сценическаго искусства, которые понимаютъ, что артистъ не долженъ быть ни исключительно трагическимъ, ни исключительно комическимъ актеромъ, но что его назначеніе—представлять характеры безъ разбора ихъ трагическаго или комическаго значенія, но лишь соображаясь со своими внѣшними средствами, т.-е. не играя статныхъ молодыхъ людей, будучи человѣкомъ пожилымъ и тучнымъ, и т. п.» (IX). Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ паденіемъ схоластическаго раздѣленія драматическихъ произведеній пало и схоластическое раздѣленіе ролей на амплуа. Послѣднее дѣленіе имѣетъ нынѣ совсѣмъ не то значеніе, что встарину; употребительныя теперь названія—амплуа драматическаго любовника, резонера, актера на характерныя роли—относятся теперь именно къ актерамъ, характеризуютъ ихъ средства и не имѣютъ почти никакого отношенія къ самымъ пьесамъ.

Обладая голосомъ «жидкимъ, трехнотнымъ», по выраженію Аксакова, Щепкинъ достигалъ при своей неэффектной фигурѣ драматическихъ эффектовъ, благодаря тому жару, который онъ вкладывалъ въ выраженіе задушевныхъ чувствъ человѣка. Въ этомъ отношеніи онъ былъ артистомъ «сочувствующимъ», по его собственному выраженію: онъ жилъ на сценѣ. «На сценѣ,—говоритъ Щепкинъ въ одномъ письмѣ,—гораздо легче передавать все механическое, для этого нуженъ только разсудокъ,—и актеръ (какъ Каратыгинъ, напр.), разсчитывающій только на внѣшнее свое ис-

кусство, «постепенно будетъ приближаться и къ горю и къ радости настолько, насколько подражаніе можетъ приблизиться къ истинѣ». «Сочувствующій артистъ—не то; ему предстоитъ невыразимый трудъ: онъ долженъ начать съ того, чтобъ уничтожить себя, свою личность, всю свою особенность, и сдѣлаться тѣмъ лицомъ, какое ему далъ авторъ; онъ долженъ ходить, говорить, мыслить, чувствовать, плакать, смѣяться, какъ хочетъ авторъ,—чего выполнить, не уничтоживъ себя, невозможно». Въ примѣръ разницы между истиннымъ чувствомъ и притворствомъ на сценѣ Щепкинъ приводилъ французскихъ актрисъ Плесси и Вольнисъ. «Я видѣлъ Плесси и Вольнисъ,—говоритъ онъ,—и скажу, что видѣлъ и то и другое. Первая—почти въ цвѣтѣ лѣтъ, со свѣжими звуками, обладаетъ искусствомъ совершенно, хороша, очень хороша! Вторая—почти въ сорокъ лѣтъ, съ пострадавшими звуками, но она чувствуетъ, страшно чувствуетъ, и какъ бѣдна дѣлается Плесси со всѣмъ своимъ искусствомъ! Я отъ Вольнисъ только услышалъ страдательные звуки, но такіе звуки, которые во мнѣ остались на всю жизнь».

Одною изъ особенностей игры Щепкина, которая была въ связи и съ его воззрѣніемъ на сценическое искусство, и съ нравственными чертами его характера, было постоянное стремленіе вездѣ, гдѣ это было возможно безъ вреда для намѣреній автора, «очеловѣчить» роль, придать ей искру Божію, изображать человѣка со всѣми его слабостями и пороками, но не утратившимъ образъ и подобіе Божіе. Эта черта дѣлала игру Щепкина всегда симпатичною зрителямъ.

Было бы безполезно приводить восторженные отзывы современниковъ объ игрѣ Щепкина, такъ какъ они все-таки не могутъ дать представленія о ней. Вотъ, напр., въ какомъ тонѣ писалъ Бѣлинскій: «Что бы мы ни сказали объ игрѣ этого великаго артиста въ роли Брандта («Дѣдушка русскаго флота»), ничто не дастъ о ней и приблизительнаго понятія. Слезы навертываются на глазахъ при одномъ воспоминаніи объ этомъ старческомъ голосѣ, въ которомъ такъ много трепетной любви молодого чувства. А искусство, эта вѣрность роли (которую на сценѣ создалъ самъ артистъ независимо отъ автора) отъ перваго до послѣдняго слова—все это выше всякихъ похвалъ, самыхъ восторженныхъ, самыхъ энтузіастическихъ»... Вмѣсто того, чтобы приводить такіе отзывы, просто укажемъ, какія роли считались современниками лучшими въ исполненіи Щепкина.

Прежде всего слѣдуетъ назвать роли Фамусова и городничаго. Первая считалась не только лучшею его ролью, но общій голосъ былъ, что никто не игралъ Фамусова лучше Щепкина. Мы уже упоминали, что Щепкинъ, въ первое время пріѣзда въ Москву, тосковалъ по Мольерѣ; съ особеннымъ успѣхомъ онъ игралъ Арнольфа въ «Школѣ женъ» (любимая его роль),

Гарпагона («Скупой»), Сганареля (роль, натолкнувшая его на правильное пониманіе сценическаго искусства); слѣдуетъ упомянуть изъ переводныхъ пьесъ еще о Шейлокѣ и роли Досажаева (сэра Питера Тизля въ передѣлкѣ комедіи Шеридана «Школа злословія»). Роли выборнаго въ «Наталкѣ Полтавкѣ» и Чупруна въ «Москалѣ-Чаривникѣ» давали Щепкину возможность блеснуть малороссійскимъ юморомъ. Изъ болѣе новыхъ оригинальныхъ русскихъ пьесъ особенно удавались Щепкину роль приживальщика Кузовкина въ комедіи Тургенева «Нахлѣбникъ», роль стряпчаго въ «Провинціалкѣ» Тургенева же, и, наконецъ, роли Большова («Свои люди — сочтемся») и Любима Торцова («Бѣдность не порокъ»). Замѣчательно, что Щепкинъ не сочувствовалъ произведеніямъ Островскаго: они казались ему черезчуръ реалистичны, — можетъ потому, что изображаемый Островскимъ бытъ былъ знакомъ Щепкину сравнительно мало.

Кромѣ городничаго, въ пьесахъ Гоголя Щепкинъ игралъ Подколесина и Кочкарева въ «Женитьбѣ», Утѣшительнаго въ «Игрокахъ» (восторженныя воспоминанія объ этой роли оставлены А. А. Стаховичемъ, «Р. М.» 97 г., ноябрь), Бурдюкова въ «Тяжбѣ», дворецкаго въ «Лакейской». Въ развязкѣ «Ревизора», написанной послѣ поворота въ душевной жизни Гоголя, приведшаго къ «Перепискѣ съ друзьями», Гоголь въ дѣйствующихъ лицахъ этой пьесы называетъ перваго комическаго актера—Михаила Семеновича Щепкина—и заставляетъ артистовъ вѣнчать его на сценѣ.

Ничто не можетъ воскресить для насъ того обаянія, въ которомъ Щепкинъ держалъ своихъ зрителей, исполняя названныя нами здѣсь роли и многія другія. Но тотъ путь, которымъ великій артистъ достигалъ этого обаянія, весь передъ нами,—путь суроваго неустаннаго труда надъ своимъ дарованіемъ въ сознаніи отвѣтственности, налагаемой талантомъ.

«Въ эпоху блистательнаго торжества,—говоритъ Аксаковъ,—когда Петровскій театръ, наполненный восхищенными зрителями, дрожалъ отъ восторженныхъ рукоплесканій, былъ въ театрѣ одинъ человѣкъ, постоянно недовольный Щепкинымъ: этотъ человѣкъ былъ самъ Щепкинъ. Никогда не былъ собою доволенъ «взыскательный художникъ», «ничѣмъ не подкупный судья»! Это поистинѣ было, по выраженію поэта, «святое недовольство»—

То недовольство, при которомъ нѣтъ
Ни самообольщенья, ни застоя.

Какъ яркій примѣръ этой строгости къ себѣ, которая заставляла его работать и работать, можно указать его всегдашній отзывъ о своей коронной роли Фамусова. «Хвалятъ меня въ Фамусовѣ,—говорилъ онъ,—а я не баринъ: нѣтъ у меня барской ноты. Вотъ Петя Степановъ, если бы не лѣнился, больше меня былъ бы на мѣстѣ: у него барскія ноты».

Это постоянное стремленіе къ усовершенствованію, невниманіе къ внѣшнему успѣху у публики Щепкинъ ставилъ первымъ требованіемъ для актера, желающаго стать поистинѣ артистомъ, художникомъ. «Помни,—писалъ онъ знаменитому впослѣдствіи молодому актеру Шумскому,—что совершенство не дано человѣку; но, занимаясь добросовѣстно, ты будешь къ нему приближаться настолько, насколько природа дала тебѣ средствъ... Слѣди неусыпно за собой; пусть публика тобой довольна, но самъ къ себѣ будь строже ея—и вѣрь, что внутренняя награда выше всѣхъ аплодисментовъ». — «Ахъ, какъ я люблю драматическое искусство!» бывало скажешь,—такъ вспоминаетъ г-жа Шубертъ, ученица Михаила Семеновича,—и получала въ отвѣтъ: «Врешь, маточка, ты его еще не понимаешь, а ты любишь, что молодежь тебѣ много въ ладоши хлопаетъ; безкорыстной любви ты еще не знаешь».

Мы говорили уже, какъ Щепкинъ относился къ подготовительной работѣ артиста, къ литературно-общественному изученію представляемыхъ ролей и къ мнѣнію знатоковъ. Совѣты его Шумскому вполнѣ исчерпываютъ въ этомъ отношеніи вопросъ о томъ, что нужно актеру-художнику.

«Что же достается даромъ, и что же бы значило искусство,—говорилъ Щепкинъ,—если бы оно доставалось безъ труда? Пользуйся случаемъ, трудись, разрабатывай данныя Богомъ способности по крайнему своему разумѣнію; не отвергай замѣчаній, а вникай въ нихъ глубже, и для повѣрки себя и совѣтовъ всегда имѣй въ виду натуру; влазь, такъ сказать, въ кожу дѣйствующаго лица, изучай хорошенько его общественный бытъ, его образованіе, его особенныя идеи, если онѣ есть, и даже не упускай изъ виду общество его прошедшей жизни. Когда все это будетъ изучено, тогда—какія бы положенія ни были взяты изъ жизни—ты непремѣнно выразишь вѣрно: ты можешь сыграть иногда слабо, иногда сколько-нибудь удовлетворительно (это часто зависитъ отъ душевнаго расположенія), но сыграешь вѣрно... Старайся быть въ обществѣ—сколько позволитъ время, изучай человѣка въ массѣ, не оставляй ни одного анекдота безъ вниманія, и всегда найдешь предшествующую причину, почему случилось такъ, а не иначе: эта живая книга замѣнитъ тебѣ всѣ теоріи, которыхъ, къ несчастію, въ нашемъ искусствѣ до сихъ поръ нѣтъ».

Замѣняя трудомъ и наблюденіями отсутствіе теорій, Щепкинъ не могъ равнодушно смотрѣть на пренебрежительное отношеніе актеровъ къ ролямъ. Его постоянно огорчало, что «при нашей сильной природѣ, мы не доросли еще до добросовѣстности труда, и потому за нами нуженъ присмотръ; а то мы какъ разъ съѣдемъ на русское авось, а оно въ искусствѣ, кромѣ вреда, ничего не принесетъ». Не бывало за то примѣра, чтобы Щепкинъ когда-нибудь положился на авось. «Во всѣ пятьдесятъ

лѣтъ театральной службы Щепкинъ не только не пропустилъ ни одной репетиціи, но даже ни разу не опоздалъ,—передаетъ Аксаковъ.—Никогда никакой роли, хотя бы то въ сотый разъ, онъ не игралъ, не прочитавъ ее наканунѣ вечеромъ, ложась спать, какъ бы поздно ни воротился домой, и не репетируя ея настоящимъ образомъ на утренней пробѣ въ день представленія». «Я знаю роль, а все повторяю,—писалъ самъ Щепкинъ,— и почти каждый разъ не даромъ: что-нибудь да замѣтишь, ускользнувшее прежде; а иногда замѣтишь и то, что поумничалъ прежде, а дѣло гораздо простѣе». «Гуляя по улицѣ,—вспоминаетъ г-жа Шубертъ,—онъ постоянно думалъ о какой-нибудь роли, забывался иногда и говорилъ вслухъ. На репетицію иногда ѣдемъ въ казенной каретѣ, онъ такъ просто, естественно начинаетъ говорить,—думаешь, что это онъ мнѣ говоритъ, а оказывается—роль читаетъ наизусть, да такъ твердо—слова не переставитъ». Роли Щепкина поэтому никогда не лежали безъ движенія, а совершенствовались постоянно. Нечего и говорить, съ какимъ негодованіемъ онъ относился къ простому незнанію актеромъ роли; это онъ называлъ двойнымъ невѣжествомъ—и предъ публикою, и предъ искусствомъ.

Вообще вся сценическая дѣятельность Щепкина въ Москвѣ была живымъ примѣромъ для всякаго артиста. Ему, болѣе чѣмъ кому бы то ни было другому, императорская московская сцена обязана образованіемъ прочныхъ традицій самоотверженной преданности искусству, которыя и ставятъ эту сцену на такую высоту. Не мало значенія имѣла при этомъ и дѣятельность Щепкина, какъ руководителя драматической школы. Его внимательное отношеніе къ воспитанникамъ, всегдашняя готовность помочь и словомъ и дѣломъ товарищамъ, скромность и добродушная ровность въ обращеніи со всѣми создавали ему общую симпатію, столь рѣдкую за кулисами. Еще бы можно было обвинять въ пристрастіяхъ или недобросовѣстности человѣка, который даже ни одного изъ своихъ сыновей не пустилъ по театральной дорогѣ, тогда какъ при томъ вліяніи, какимъ онъ пользовался въ театральномъ міркѣ, ему ничего бы не стоило посадить дѣтей на казенные хлѣба. Разъѣзды по провинціи—даже тогда, когда другой давно бы почилъ на лаврахъ,—имѣли также не малое значеніе для русскаго театра: вездѣ, гдѣ ни игралъ Щепкинъ, онъ сѣялъ новыя представленія о сущности сценическаго искусства и самъ былъ лучшимъ выразителемъ ихъ на дѣлѣ *).

Глубокая преданность искусству, служеніе которому для Щепкина было

*) Не лишне упомянуть здѣсь же, какъ объ особой заслугѣ Щепкина, о томъ, что благодаря, главнымъ образомъ, его хлопотамъ, актерамъ императорскихъ театровъ были даны права почетнаго гражданства.

служеніемъ всѣмъ высшимъ идеаламъ человѣческой дѣятельности, сдѣлало, наконецъ, что театръ сталъ для Щепкина,—по выраженію Аксакова же,— «необходимостью, воздухомъ, условіемъ жизни... Жить для Щепкина значило—играть на театрѣ, играть значило—жить. Сцена сдѣлалась для него цѣлебнымъ средствомъ въ болѣзняхъ духа и тѣла. Горевалъ ли онъ о чемъ-нибудь, какъ человѣкъ, которому надо было много преодолѣть препятствій, много биться съ жизнью,—искусство мирило его съ дѣйствительностью; болѣлъ ли тѣломъ—искусство, оживляя его нервы, чудотворно врачевало его тѣло. Много разъ и многіе были тому свидѣтелями, что Щепкинъ выходилъ на сцену больной и сходилъ съ нея совершенно здоровый».

Нѣтъ надобности говорить о томъ, какъ любила и восторженно встрѣчала Щепкина публика, въ нору полной зрѣлости его таланта. Талантъ великаго артиста, его любовь къ искусству и добросовѣстное служеніе ему по мѣрѣ всѣхъ недюжинныхъ силъ и способностей были по достоинству оцѣнены лучшими представителями науки, литературы и искусства во время блестящаго празднованія юбилея 50-лѣтней сценической дѣятельности.

Это было торжественное заявленіе общественныхъ симпатій къ Щепкину, какъ человѣку и артисту. На обѣдъ 26-го ноября 1855 г. въ залѣ Училища живописи и ваянія собралось около 200 человѣкъ. Передъ обѣдомъ Константинъ Аксаковъ, сидя за особымъ столомъ вмѣстѣ со Щепкинымъ, который плакалъ и смѣялся, прочелъ очеркъ сценической дѣятельности артиста, составленный старикомъ Аксаковымъ. Письмо-адресъ отъ всѣхъ петербургскихъ литераторовъ—съ подписями Льва Толстого, Тургенева, Гончарова, Некрасова, Майкова, Плетнева, князя Вяземскаго и пр. и пр.— живо передавало общее чувство искренняго благоговѣнія передъ личностью Щепкина. «Въ эти полвѣка, — говорилось, между прочимъ, въ письмѣ,— тысячи тысячъ зрителей, постоянно смѣняясь, покидали театръ съ сердцемъ, умягченнымъ благодатью безкорыстныхъ слезъ, добраго, свѣтлаго смѣха,—и какъ сосчитать, сколько благородныхъ движеній пробуждено артистомъ, сколько готовыхъ навсегда погаснуть чувствъ вызвано изъ усыпленія, оживотворено имъ?.. Это—заслуга невидимая, неизслѣдимая, но великая; общее сочувствіе—ей награда, лучшая награда, какой можетъ желать человѣкъ». Глубоко растрогала всѣхъ присутствующихъ теплая рѣчь К. П. Барсова; онъ благодарилъ Щепкина, пріютившаго подъ свой кровъ бѣдную его семью, вспоминалъ, что въ домѣ артиста безпрестанно находили пріютъ все новыя и новыя лица и жили у него сколько хотѣли: кто мѣсяцъ, а кто и годъ, и «едва ли кому-нибудь изъ нихъ удалось поблагодарить гостепріимнаго хозяина и благотворительнаго человѣка. Михаилъ Семеновичъ не выслушивалъ благодарности». За рѣчами и то-

стами въ честь Щепкина, какъ артиста и человѣка, шли рѣчи о заслугахъ его, какъ геніальнаго истолкователя литературныхъ типовъ, какъ распространителя симпатій къ Малороссіи, съ которою, по словамъ М. Погодина, онъ знакомилъ лучше, чѣмъ сама исторія и даже поэзія. Изъ многочисленныхъ цѣнныхъ подарковъ, поднесенныхъ Щепкину, выдавались, между прочими, славянофильскій ковшъ и западническій кубокъ: они были обносимы всѣмъ присутствующимъ и каждый долженъ былъ выпить за здоровье Щепкина изъ обоихъ, въ знакъ примиренія враждующихъ сторонъ на нейтральной почвѣ искусства.

Но наибольшій восторгъ на этомъ свѣтломъ праздникѣ былъ вызванъ тостомъ К. Аксакова въ честь общественнаго мнѣнія. Поводомъ къ этому тосту послужило единодушіе, съ какимъ встрѣтили тостъ Погодина за старика С. Т. Аксакова, но очевидно, что нигдѣ тостъ за общественное мнѣніе не былъ такъ кстати, какъ именно на юбилеѣ Щепкина, гдѣ оно выразилось такъ согласно и сильно. «Константинъ съ бокаломъ вошелъ въ средину стола,—передаетъ С. Т. Аксаковъ въ письмѣ сыну Ивану,—и сказалъ слѣдующее: «Тостъ вашъ для меня дорогъ. Благодарю васъ отъ имени моего отца, благодарю всею душою за ваше сочувствіе. Выраженіе общественнаго сочувствія, общественнаго мнѣнія драгоцѣнно, и отецъ мой ставитъ его выше всего. Я не могу лучше отвѣчать на вашъ тостъ, столь для меня драгоцѣнный, какъ предложивъ тостъ: въ честь общественнаго мнѣнія!»—Двѣ секунды продолжалось молчаніе и разразилось крикомъ и громомъ рукоплесканій. Всѣ встали съ своихъ мѣстъ, чокались, обнимались, незнакомые знакомились съ Константиномъ... Ни музыкой, ни тостомъ въ честь искусства и театра не могли унять хлопанья и крика. Константинъ поспѣшилъ уѣхать въ домъ Щепкина, гдѣ его встрѣтили: иллюминація, толпа актрисъ и знакомыхъ женщинъ и—малороссійскія пѣсни». Шумно и непринужденно кончился этотъ день въ гостепріимномъ домѣ Щепкина, изнемогавшаго отъ обилія всѣхъ этихъ радостныхъ впечатлѣній, и надолго оставилъ по себѣ память у москвичей. Если мы вспомнимъ, что дѣло было въ самомъ началѣ царствованія императора Александра II, когда только-что сказывались первые проблески общественнаго движенія шестидесятыхъ годовъ, то юбилей Щепкина явится еще болѣе знаменательнымъ явленіемъ. Общество (или, по крайней мѣрѣ, часть его) чествовало въ лицѣ Щепкина—быть можетъ, не совсѣмъ ясно сознавая это—одного изъ представителей предшествовавшей эпохи, когда только-что зарождалось общественное самосознаніе, чествовало ожесточеннаго врага крѣпостного права, друга Грановскаго (скончавшагося полтора мѣсяца передъ тѣмъ), друга автора «Кто виноватъ?» и «Сороки-воровки»,—словомъ, чествовало человѣка сороковыхъ годовъ.

Это подтверждается, хотя и косвенно, но очень выразительно однимъ пасквилемъ на Щепкина. Въ пятидесятыхъ годахъ графинею Растопчиной былъ написанъ «Московскій сумасшедшій домъ», неудачное подражаніе гораздо болѣе извѣстному «Сумасшедшему дому» Воейкова, писанному въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ. Вотъ въ какомъ видѣ фигурируетъ Щепкинъ у Растопчиной, враждебно относившейся ко всему кругу его знакомыхъ:

Шутъ, не шутъ, а въ этомъ родѣ,—
Громче всѣхъ кричитъ старикъ *)...
О хохлацкой въ немъ породѣ
Намъ донесъ его языкъ!
Сыплетъ фразы заказныя,
Приправляетъ ихъ слезой,
Часто промахи смѣшные
Отпускаетъ съ чепухой.
Долго онъ талантомъ рѣдкимъ,
Наблюдательнымъ умомъ,
Бойкой шуткой, словомъ мѣткимъ
На Руси былъ всѣмъ знакомъ,
Былъ въ чести;—но вдругъ природу
Извратить онъ нужнымъ счелъ,
Проповѣдывать свободу
И гуманность онъ пошелъ.
Онъ на сценѣ ужъ не комикъ,
Не артистъ и не актеръ:
Пестрый сборникъ, толстый томикъ;
Въ немъ чужой столпился вздоръ!
Подражая демократамъ,
На властей, на баръ гремитъ...
Ставъ Терситомъ, не Сократомъ,
Бѣдный старецъ насъ смѣшитъ!

По французской пословицѣ: Rira bien, qui rira le dernier, теперь смѣшонъ, конечно, не Щепкинъ.

Съ безсильно-злобнымъ пасквилемъ Растопчиной можно сопоставить и отзывъ, который сдѣлалъ о престарѣломъ Щепкинѣ московскій генералъ-губернаторъ Закревскій въ смутную эпоху цензурныхъ и иныхъ гоненій 1848—1855 гг.: «желаетъ переворотовъ и на все готовый».

Какъ всѣ лучшіе люди сороковыхъ годовъ, Щепкинъ восторженно встрѣтилъ великій манифестъ 19-го февраля 1861 г., со вниманіемъ и увлеченіемъ юноши слѣдя за ходомъ всѣхъ подготовительныхъ работъ этой реформы. Она была свершеніемъ давнишнихъ надеждъ и его лично, и того круга, къ которому онъ принадлежалъ, какъ членъ общества. Онъ любилъ въ это время повторять стихи изъ одного водевиля:

*) Среди поклонниковъ Герцена.

Честь тому, кто глубь земли
Тяжкимъ заступомъ копаетъ;
Кто трудами для семьи
Хлѣбъ насущный добываетъ;
Кто надъ плугомъ льетъ свой потъ;
Кто слугой у господина
Ношу тяжкую несетъ
Для жены своей, для сына.
Честь и слава ихъ трудамъ!
Слава каждой каплѣ пота...
Честь мозолистымъ рукамъ...
Да спорится ихъ работа!

Великая реформа, дававшая свободу милліонамъ такихъ тружениковъ, была для Щепкина, поистинѣ, благодатною вѣстью: «Нынѣ отпущаеши раба твоего»...

Онъ умеръ 11-го августа 1863 года и погребенъ въ Москвѣ, на Пятницкомъ кладбищѣ, вблизи могилы Грановскаго, какъ онъ самъ завѣщалъ. На могильномъ памятникѣ, представляющемъ цилиндрическую глыбу,— простая, но краснорѣчивая надпись: «Михаилу Семеновичу Щепкину. Артисту-человѣку» *). Она выражаетъ собою все, что мы можемъ сказать объ этой свѣтлой и сильной личности, оставившей по себѣ замѣтный слѣдъ въ русской жизни. Имя актера Щепкина, самоучки-крѣпостного, неразрывно соединено съ именами лучшихъ дѣятелей просвѣщенія въ Россіи. Сценическое искусство до сихъ поръ идетъ по пути, проложенному у насъ Щепкинымъ. Если обаяніе сценическаго таланта его недоступно намъ и лишь по единодушнымъ отзывамъ современниковъ мы можемъ составить себѣ нѣкоторое слабое представленіе о степени этого таланта, то всякому доступны средства, при помощи которыхъ Щепкинъ далъ своему таланту полное развитіе. Въ этомъ отношеніи работа великаго артиста надъ своимъ дѣломъ поучительна не для однихъ сценическихъ дѣятелей: имъ-то она должна бы быть всегдашнимъ идеаломъ и образцомъ. Значеніе дѣятельности Щепкина шире. «Если мы признаемъ за истину,—говорилъ С. Аксаковъ,—что воспитаніе, усовершенствованіе въ себѣ природнаго дара есть общественная заслуга, то не должны ли мы признать, что Щепкинъ оказалъ такую заслугу русскому обществу?» Постоянный и упорный трудъ Щепкина надъ своимъ талантомъ, при условіяхъ, въ началѣ карьеры, самыхъ неблагопріятныхъ,—не только заслуга, но и примѣръ каждому изъ насъ. Per aspera ad astra.

---

*) Памятникъ Щепкину нынѣ поставленъ также въ Суджѣ.

ТОГО ЖЕ АВТОРА

общедоступныя изданія книжнаго склада А. М. Муриновой (Москва, Тверской бульв. д. Кириковой).

№ 8. **Жизнь и пѣсни А. В. Кольцова.**
„ 9. **Жизнь и стихотворенія И. С. Никитина.** 2 изданіе.
„ 11. **Тарасъ Григорьевичъ Шевченко,** украинскій поэтъ.
№ 12. **Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ.** Біографическій очеркъ и отрывки его произведеній.
„ 17. **Н. В. Гоголь и его произведенія.**

ДЕШЕВАЯ БИБЛІОТЕКА СУВОРИНА.

Шериданъ. Школа злословія, комедія въ 5 дѣйств., переводъ съ англійскаго, съ біографіей автора, Ч. Вѣтринскаго.

Шериданъ. Соперники, комедія въ 5 дѣйств., перев. съ англійск. его же.

STANFORD LIBRARIES
To avoid fine, this book should be returned on
or before the date last stamped below
10M-9-50-67002

APR 14 1966

PG 3011
C524

PG 3011 .C524
V sorokovykh godakh AMD6600
Hoover Institution Library
3 6105 082 435 145